

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Пантелеймон Романов



[illegible]

Два раза в неделю  
каждый из них должен  
наблюдать, какой

то Туча мена Билана

yes" / & tomorrow is Saturday  
morning. My face is so red so  
bad.

будет почесно и неимоверно  
много тысяч чужих юнцов, которые  
будут ~~и~~ а также отнесут  
материю в судимости. Это нас изводит  
а славными покаянием катит море. Это мучит  
сынею духа покаянием, жаким  
всем  
море и ~~на~~ нас с сажа

[illegible]





**А**нтология Сатиры и Юмора России XX века





*Пантелеймонъ Романовъ*

**А**нтология Сатиры и Юмора России XX века

---

*Пантелеймон Романов*

---

«ЭКСМО» 2004

УДК 82-7(082.21)  
ББК 84(2Рос-Рус)6-7  
Р 69

## АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Пантелеймон Романов

Серия основана в 2000 году



*С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»*

### Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,  
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн переплета Лев Яковлев

Книга иллюстрирована работами художника Александра Умярова

**Романов П.**

Р 69 Антология Сатиры и Юмора России XX века.  
Том 34. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 704 с., ил.

УДК 82-7(082.21)  
ББК 84(2Рос-Рус)6-7

ISBN 5-699-07957-2 (т. 34)  
ISBN 5-04-003950-6

© Никоненко С. С., предисловие,  
составление, 2004  
© Кушак Ю. Н., составление, 2004  
© ООО «Издательство «Эксмо», 2004

# СОДЕРЖАНИЕ

Ст. Никоненко. ...Я НЕ ОПИСЫВАЮ СМЕШНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ 9

АВТОБИОГРАФИЯ 24

РАССКАЗЫ

РУССКАЯ ДУША 31

В ТЕМНОТЕ 59

НАСЛЕДСТВО 64

ДЫМ 70

ТРУДНОЕ ДЕЛО 76

ТРЕТЬИМ ЭТАЖОМ 82

БЛАЖЕННЫЕ 87

СОБОЛИЙ ВОРОТНИК 93

ВОСЕМЬ ПУДОВ 98

БЕЗЗАЩИТНАЯ ЖЕНЩИНА 102

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ 105

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 109

ДОМ №3 113

ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ 118

ГЛАС НАРОДА 122

ТРИНАДЦАТЬ БРЕВЕН 128

ТРИ КИТА 132

ХОРОШИЙ КОМИТЕТ 140

ХОРОШАЯ НАУКА 145

ХОРОШИЙ ХАРАКТЕР 150

КУЧКА РАЗБОЙНИКОВ 154

МЕЛКИЙ НАРОД 159

ЛАБИРИНТ 163

СИНЯЯ КУРТКА 168

ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ  
РОДНОЙ ЯЗЫК  
ВРЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
СВЕТЛЫЕ СНЫ  
БОГАТСТВО  
ХОРОШИЕ МЕСТА  
ВРЕДНАЯ ШТУКА  
ГАЙКА  
ОПИСЬ  
КРЕПКИЙ НАРОД  
РЯБАЯ КОРОВА  
ЗЕЛЕНАЯ АРМИЯ ИЛИ УМНЫЕ КОМАНДИРЫ  
НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ НАРОД  
ЗНАЧОК  
ДРУЖНЫЙ НАРОД  
СКВЕРНЫЙ ТОВАР  
ТЕРПЕЛИВЫЙ НАРОД  
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СТАДО  
ГОСТЕПРИИМНЫЙ НАРОД  
ЗАКОН  
НАХЛЕБНИКИ  
ПЛОХОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
О КОРОВАХ  
ИТАЛЬЯНСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК  
СПЕКУЛЯНТЫ  
ДУБОВАЯ СНАСТЬ  
БУФЕР  
ДВЕ ПАСХИ  
ВЕРУЮЩИЕ  
ПОРОСЕНОК  
ЗЕМЛЕМЕРЫ  
КОЗЯВКИ



НЕСМЕЛЫЙ МАЛЫЙ	342
ИНСТРУКЦИЯ	347
КОМНАТА	352
КУЛАКИ	356
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВО	360
ТЯЖЕЛЫЙ СЕДОК	365
ЗАКОЛДОВАННЫЕ ДЕРЕВНИ	369
ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОВА	376
СТЕНА	382
РУЛЕТКА	386
РЕДКАЯ СЛУЖБА	390
ПРОБКИ	395
ПОРЯДОК	398
НЕПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК	402
ШВЕДСКАЯ МАШИНА	409
КРЕПКИЕ НЕРВЫ	414
ХУДОЖНИКИ	418
ХУЛИГАНСТВО	423
ХОРОШИЙ НАЧАЛЬНИК	428
СЛАБОЕ СЕРДЦЕ	433
ПЛОХОЙ НОМЕР	437
ГРИБОК	441
ИРОВОДО ПЛЕМЯ	445
КУЛЬТУРА	450
ХОРОШИЕ ЛЮДИ	454
МАШИНКА	462
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ	467
НЕПОНЯТНОЕ ЯВЛЕНИЕ	472
СУД НАД ПИОНЕРОМ	483
ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК	491
ЛЕГКАЯ СЛУЖБА	497
ЭКОНОМИЯ	501
ПЛАЦКАРТА	505

ЗАГАДКА	50
ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ	51
В ТЮРЬМЕ	52
ДОРОГАЯ ДОСКА	53
БЕЛАЯ СВИНЬЯ	53
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ	53
БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА	53
КАРТОШКА	53
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО	53
ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР	53
МОСКОВСКИЕ СКАЧКИ	53
НОС	56
СЕКЦИЯ	53
ШЕРЛОК ХОЛМС	57
ЛОШАДИ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ	57
КОМЕДИЯ В 3 х ДЕЙСТВИЯХ	
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ	60
ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК	
СВЕЖЕСТЬ ЖИЗНИ	66
СОВРЕМЕННИКИ О ПАНТЕЛЕЙМОНЕ РОМАНОВЕ	
А.М. Шаломытова-Романова. ЧЕЛОВЕК, ИЗЛУЧАЮЩИЙ	
ЛАСКОВУЮ ТЕПЛОТУ	678
Е. Соловьева. ОН УЧИЛ ГЛЯДЕТЬ И ВИДЕТЬ	685
Александр Вьюрков. ВСЕ К НЕМУ ОТНОСИЛИСЬ	
С УЛЫБКОЙ	688
Виктор Ардов. ЕМУ ДОСТУПНА БЫЛА ВСЯ МЫСЛИМАЯ	
ПАЛИТРА ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ	692
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ	696

...Я не описываю смешных  
положений...

Так заметил однажды в своей записной

книжке Пантелеймон Сергеевич Романов, писатель, которым зачитывались российские читатели первой половины прошлого века, книги которого после полувекового перерыва вышли огромными тиражами в разгар перестройки и затем вновь исчезли с прилавков магазинов на полтора десятилетия.

Ни читатели, ни критики, ни власть никак не могли разобраться: что же это за писатель? В какой ряд его поставить? Кому он ровня, а кому — нет? Плохой или хороший? Трудную работу задал он тем, кто читал его простые и даже вроде бы простоватые произведения. Смущала именно эта простота. А где же мораль, где выводы, где политические оценки, где глубокое отражение современности?

У Романова есть замечательный рассказ, который так и называется. Опубликован он был впервые спустя полвека после смерти писателя.

Один из героев рассказа — редактор, объясняя автору, почему не может пропустить его произведение, говорит: «Антисоветский рассказ. Сочтут за насмешку над нашим животноводством и квалифицируют как вылазку классового врага. Ведь ты в нем искажаешь действительность. У нас, насколько тебе известно, есть и плохое и хорошее, даже грандиозное, а ты выбрал один уродливый факт и приклеиваешь его ко всему животноводству».

Вняв увещаниям редактора, автор переписывает рассказ, втиснув туда всевозможные научно-статистические данные по животноводству. Редактор остался доволен и поинтересовался:

« — А для первого варианта ты никакой литературы не изучал?

— Какая же там литература, там — жизнь, — сказал писатель».

Именно жизнь, живая жизнь, которая, казалось, так и рвалась на волю из произведений Романова (некоторые критики, стремясь отделить его творчество от большой литературы, заявляли: это просто фотография, а не искусство, — не учитывая, что фотография тоже может быть искусством, большим искусством), вызывала раздражение, неприятие и даже ненависть со стороны ревностных защитников пролетарского искусства, призванного воспевать труд рабочих и крестьян и романтизировать светлое будущее.

Поскольку в произведениях Пантелеймона Романова критики не могли обнаружить ярких образов строителей социалистического общества, стойких борцов с пережитками прошлого, героических тружеников села, ударников индустриализации, постольку его быстро причислили к выразителям интересов классового врага, а отсюда — рукой подать до ярлыка «враг народа».

Вот несколько примеров из оценок тех лет. Маяковский писал в стихотворении «Лицо классового врага» в 1928 году:

Миллионм набит карман его,  
а не прежним  
советским «лимоном».

Он мечтает  
узреть Романова...  
Не Второго —  
а Пантелеймона.

На ложу,  
в окно  
театральных касс

тыкая  
ногтем лаковым,

он  
дает  
социальный заказ  
на «Дни Турбиных» —

Булгаковым\*.

\* Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1958. Т. 9. С. 48.

Здесь по крайней мере, пусть и негативно оценивая, Маяковский ставит в один ряд Булгакова и Романа, тем самым признавая их равный художественный уровень.

А заведующий пресс-бюро Агитпропа ЦК ВКП (б) С. Ингулов пускается во все тяжкие, не сдерживая эмоций и не выбирая выражений, начиная с названия своей статьи «Бобчинский на Парнасе»: «Произведения Пантелеимоны Романова по линии основных вопросов культуры и быта выражают устремление активизировавшегося мещанства. В то время как другие писатели осторожно и лениво двигаются проселками в стороне от крупных бытовых проблем, Романов самонадеянно вылез на столбовую дорогу современности, суетливо поднимает густые клубы пыли и пускает ее в глаза любознательному читателю»\*.

К началу тридцатых годов имя Романова уже прочно обосновалось в списках классовых врагов, так что неудивительно, что его романы «Товарищ Кисляков» (1930) и «Собственность» (1933) получили суровую отповедь критики, и писателю на несколько лет был закрыт доступ в издательства, на страницы журналов и газет.

Вполне естественно, что свои обвинения в адрес писателя в политической неблагонадежности критики стремились подкрепить утверждениями о его художественной несостоятельности. Отсюда штампованные характеристики его стиля: «фотографичность», «отсутствие развития образов», «статичность», «бытовизм», «вульгарность языка»...

Как красная тряпка на быка, на ретивых критиков из пролеткульта действовала высокая оценка, которую дал творчеству Романова еще в 1925 году профессор Н.Н. Фатов: в большой статье «Пантелеймон Романов» он назвал его писателем первой величины.

«По манере письма, — отмечал Фатов, — П. Романов примыкает к великим писателям прошлого, прежде всего к Гюголю, Гончарову, Л. Толстому и Чехову»\*\*.

---

\* Молодая гвардия. 1929. №11. С. 80.

\*\* Прибой. Альманах первый. Л., 1925. С. 271.

Как бы предвидя весь тот шквал хулы, который вскоре обрушится на писателя, Фатов высказал положение, которое оказалось пророческим: «Многим такое утверждение, быть может, покажется чересчур смелым, но стоит только представить себе, каким богатейшим художественно-бытовым материалом будет через 50 — 100 лет то, что уже написано П. Романовым, чтобы не испугаться такого утверждения»\*.

Фатов имел в виду в первую очередь рассказы, которых к середине 20-х годов Романовым было написано и опубликовано уже более сотни. Этому жанру он остается верен до последних своих дней. Именно рассказы составляли пеструю, живую, подвижную широкую картину эпохи. Романов писал вроде бы не о существенном, а о частном, мелком, находящемся вне главных, определяющих проблем современности. Он сам полагал, что писатель, как и всякий художник, должен найти именно сущностное, постоянное в быстро-проходящем и воплотить это в произведении, и тогда это произведение передаст эпоху и будет понятно не только современникам, но и будущим поколениям.

Но как же тогда понять то обилие его сатирических рассказов, в которых высмеиваются апатия и бездельность русских мужиков, их лень и корыстолюбие, жадность и завистливость и множество других непривлекательных черт? Неужели эти нерешительно переминающиеся с ноги на ногу, покорно склоняющиеся перед судьбой головы, неужели эти мужики могли совершить революцию и созидать новое общество? — вопрошали критики, намереваясь этим вопросом разом уничтожить писателя Романова (именно такими приемами широко пользовался один из наиболее беспощадных «уничжителей» Романова критик А. Прозоров). Им, этим критикам, можно ответить: да, и эти мужики, — вместе с другими, у которых было энергии и образованности побольше. Быть может, потому и было столько наломано дров и в процессе революции, и после нее, что зачастую на руко-

---

\* Прибой. Альманах первый. С. 271.



водящих постах оказывались мужики с отнюдь не ангельскими характерами?

Отечественная литература наша полнится произведениями, насыщенными критическими оценками русского характера. Достаточно вспомнить Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Лескова. Да вот даже у Владимира Даля в его очерке «Русак», в целом воспевающем ум и сметливость русского народа, мы встречаем следующий пассаж, который отнюдь не идеализирует русского мужика: «Смышленостью и находчивостью неоспоримо может похвалиться народ наш... но вообще, по косности своей, он даже не любит собственно для себя улучшений и нововведений раздражательных; и это особенно относится до домашнего его быта и хозяйства. Зато он крайне понятлив и перемчив, если дело пойдет по промышленной и ремесленной части; но здесь четыре сваи, на которых стоит русский человек, — авось, небось, ничего и как-нибудь, — эти четыре сваи на плавучем материке оказываются слишком ненадежными; жаль, что они увязли глубоко и что их нельзя заменить другими»\*.

А Лесков отмечал, что в благородном свободомыслии «у русских людей не бывает недостатка, пока они не видят необходимости согласовать свои слова с делом»\*\*.

И Романов, который искал во всех явлениях наиболее существенные и постоянные свойства, волей-неволей находил в русском характере немало отрицательных черт.

Критики считали это вызовом социалистическому строительству, перестройке сознания на социалистический лад, они полагали, что искусство периода созидания нового общества должно лишь воспевать эпоху, и любые негативные литературные образы расценивали как подрыв устоев государства.

Но не только на родине не сумели увидеть в Романове большого писателя. Среди критиков Русского За-

---

\* Даль В.И. Повести, рассказы, очерки, сказки. Л., 1961. С. 389.

\*\* Лесков Н.С. Собр. соч. М., 1980. Т. 3. С. 447.

рубежья его творчество тоже не было по достоинству оценено.

Лишь Георгий Адамович однажды, прочитав романовскую повесть «Детство», отметил: «... это настоящий писатель». Критик писал: «... есть в ней аксаковское неутомимое внимание к мелочам и та же беззаботность в воспроизведении мелочей. Как будто читатель и забыт, интересно ему или нет, автор не знает; он отмечает все, что видит или помнит: природу, домашний быт, бесчисленные мелочи, мебель в комнатах, кушание, детские игры, прогулки, празднества — все. И так как он говорит о настоящей жизни, то читателю всегда интересно. Выводы, идеи, обобщения мы найдем сами. От писателя мы прежде всего требуем, чтобы он ввел нас в обстановку, в которой все эти отвлеченности скрыты или воплощены»\*.

Г. Адамович верно схватил главную особенность творческой манеры Пантелеймона Романова: в своих произведениях писатель говорит о настоящей жизни и делает это так убедительно, что вызывает живой интерес читателя.

Именно благодаря этому свойству небольшие книжки рассказов писателя мгновенно раскупаются, в журналах и газетах читатели ищут произведения, подписанные его именем.

В 1925—1927 гг. выходит собрание сочинений Романова в семи томах, а в 1928—1929 годах вышло уже Полное собрание сочинений в двенадцати томах.

В 1939 году, уже после смерти писателя, выходит книга «Избранное». И потом на долгие годы — забвение, замалчивание. Лишь спустя 45 лет тульское издательство выпустило сборник его произведений, куда вошли повесть «Детство» и избранные рассказы. А затем одна за другой в течение нескольких лет были изданы более десяти книг, в том числе и эпопея «Русь». Все книги разошлись в короткие сроки (а общий их тираж превысил 2 миллиона экземпляров!). Значит, творчество Пантелеймона Романова выдержало испытание временем.

---

\* Звено. Париж, № 170. 1926. С. 1—2.



Пантелеймон Сергеевич Романов родился 25 июля 1884 года в селе Петровском Одоевского уезда Тульской губернии (А.М. Ремизов в «Мышкиной дудочке» иронизировал: «... про Пантелея на Москве говорили, что он как Лев Толстой, да и сам Пантелей думал, что он Толстой: тоже из Тулы»\*) в семье мелкого чиновника. Если в некоторых автобиографиях Романов сообщал: «мать Мария Ивановна из духовных, была дочерью псаломщика с. Сныхова», то об отце он старался давать менее конкретные сведения. В одной из автобиографий он говорил, что его отец был сыном городского священника, в других случаях он вообще предпочитал умалчивать об отце. И очевидно, для того были основания, ибо современные исследователи установили, что отец Пантелеймона Сергеевича служил губернским секретарем (должность, правда, небольшая, по Табели о рангах — XII класс, но все же соответствовала армейскому поручику) и был потомственным дворянином. Во всяком случае, в одном из ранних автобиографических сочинений (оно относится примерно к 1905 г.) он вспоминает о том, как отец продавал свое имение Петровское и как покупатели (богатые крестьяне) «кланялись в пояс барину».

Объяснение такой невнятицы в отношении своего происхождения мы найдем в рассказе Романова «Итальянская бухгалтерия» (1923). Герой рассказа мучается над вопросами анкеты, которую должен заполнить. Он забыл, что им было сказано в прошлой анкете. И вот теперь пишет: «... дед мой — благочинный, отец — землевладелец (очень мелкий), сам я — почетный дворянин... То бишь, потомственный. Стало быть, по правде-то, какого же я происхождения?» Сын подсказывает: в прошлый раз ты указал «адвокатского». А другой сын утверждает: «нет, духовного». На черновике герой набросал, что он «сын дворничихи и штукатура».

Рассказ очень смешной. Но для его героя, как и для многих тысяч ему подобных российских граждан, обо-

---

\* Ремизов А.М. Собр. соч. М., 2003. Т. 10. С. 112.

значить нужное происхождение (лучше всего — пролетарское) было вопросом выживания.

Это в наши дни, как грибы после дождя, стали появляться потомственные дворяне, князья, графы и т.п. Мода такая. А в 20-х годах элитой считались рабочие и крестьяне. Так что можно вполне понять Пантелеймона Романова, когда он усердно подчеркивал бедность родителей (отцу из-за бедности пришлось продать село и купить маленький хутор).

Детские годы будущего писателя ничем не отличались от жизни деревенских ребят из семей небольшого достатка. Летом вместе с деревенскими мужиками и ребятами косил траву, стерег скотину, караулил пчел, занимался молотью. Принимал участие в обычных деревенских развлечениях — любил петь и плясать, играл на гармонике. В общем, он ничем не выделялся из среды своих сверстников. Обычные ребята и интересы были характерны и для Романова-гимназиста. Учился он неважно и даже оставался на второй год.

Жизнь в деревне, ее быт, люди, картины природы оставили глубокий отпечаток в сознании будущего писателя, и впоследствии, спустя годы, он будет обращаться в своем творчестве к картинам детства.

Тяга к сочинительству появилась у него уже в начальных классах гимназии. Лет в десять он пытается писать роман, и хотя вскоре бросает эту затею, но, познав радость творчества, создания нового мира, который рождается из собственного сознания, изнутри, Романов уже не отступится от своего призвания, не предаст его. Он присматривается к окружающим, вслушивается в их слова, задумывается над их поступками. Он еще ничего не создал, не написал, но писатель уже в нем живет. В последних классах гимназии он делает наброски повести о детстве, которая им будет завершена лишь через семнадцать лет, причем многие фрагменты и даже главы, написанные им в гимназии, войдут в неизменном виде в опубликованную в 1923 году книгу «Детство».

Поступив в 1905 году на юридический факультет Московского университета, Пантелеймон Романов уже

через несколько месяцев покидает его. 15 сентября 1905 года он записал в дневнике: «Я нашел себе смысл жизни, нашел счастье жизни, моя жизнь — это непрерывное соби́рание, труд, творчество...» Не всякий решится на такой ответственный и решительный шаг. Для этого необходима огромная вера в свое призвание, в свои силы. Такая вера была у Ивана Алексеевича Бунина, когда он бросил гимназию, чтобы посвятить себя литературе. Такая вера поддерживала Романова во все годы становления его как писателя, — ведь никто в семье не поддерживал его, его поступки расценивали как блажь, смотрели на него как на дармоеда. Но он сумел преодолеть сопротивление внешних обстоятельств.

Его писательской школой стало творчество Пушкина, Льва Толстого, Достоевского, Гоголя, их он выбрал своими учителями.

Работает он кропотливо, относится к каждому слову, к каждой своей строчке строго, придирчиво. Когда читаешь прозу Романова, кажется, какая легкость и простота! Но стоит взглянуть на сохранившиеся в архивах рукописи, и скажешь: какой огромный труд! Романов шлифовал каждую фразу, вычеркивал абзацы и целые страницы, и все ради того, чтобы любой читатель мог его понять, чтобы между ним — автором — и любым читателем возникло полное взаимопонимание.

Лишь в 1911 году он публикует первый рассказ «Отец Федор», за ним последовали этюд «Суд», затем повесть «Писатель» (1915). Ни славы, ни материального достатка они не принесли. Для заработка Романов был вынужден около полутора лет прослужить конторщиком в банке. Правда, деятельность эта была связана с командировками и позволила писателю изъездить всю Русь с востока на запад и с севера на юг. В конечном итоге Романов не жалел: он лучше узнал родную страну, ее быт, ее людей. А ведь у писателя все идет в дело, любой опыт, любое знание. Так, служба военным статистиком во время Мировой войны (на фронт его не взяли по причине почти полной глухоты на одно ухо из-за перенесенной в детстве болезни) помогла Романову написать несколько ярких страниц в 4-й и 5-й частях «Руси» —

эпопеи, которую он задумал еще в 1907 году, писал потом всю жизнь и считал главным своим делом.

За свою относительно недолгую жизнь — Романов умер в апреле 1938 года, не дожив нескольких месяцев до 54-летия, — он успел сделать очень много: эпопея «Русь», романы «Новая скрижаль», «Товарищ Кисляков», «Собственность», сотни рассказов, несколько пьес... Его книга о процессе художественного творчества «Наука зрения» до сих пор не опубликована. В различных архивах хранятся его дневники, записные книжки, рукописи теоретических работ — все это когда-нибудь дойдет до читателей, и тогда только в полной мере придет осознание, что Пантелеймон Романов не просто один из талантливых русских писателей XX века, а действительно крупный, умный, самобытный художник, каких не столь уж много породила русская земля в трагическую эпоху потрясений, преступлений, побед и потерь.

Сам Романов полагал, что самое большое его достижение — эпопея «Русь», в которой он мыслил выразить свою эпоху и показать русского человека, русский характер во всех его ипостасях, в переломные в буквальном смысле моменты истории. Писатель считал, что всю глубину его произведения еще не скоро поймут. Возможно, он был и прав, и когда наконец кто-то найдет где-нибудь в архиве последнюю, 6-ю часть эпопеи, замысел его сочинения раскроется адекватно перед нами, потомками, и мы сумеем и правильно понять и оценить это творение.

Однако сегодня, когда нам доступно все напечатанное Романовым, мы все же отдадим предпочтение его небольшим рассказам.

Да, конечно, и его замечательная повесть «Детство», и романы «Товарищ Кисляков» и «Собственность» могли бы стать гордостью любой литературы, любой страны. Его комедия «Землетрясение» (1923), раздерганная на цитаты десятками советских юмористов и сатириков первой половины XX века, — первоклассное произведение, столь же глубокое, сколько по-настоящему искрящееся смехом, шуткой, ненадуман-ным юмором.



И все же настоящим открытием, настоящим самобытным вкладом в русскую литературу XX столетия стали его юмористические рассказы, лаконичные, острые, меткие, глубокие.

Каждый большой художник, говорил Лев Толстой, создает и новую форму произведения. В подтверждение своей мысли он назвал «Мертвые души» Гоголя, лермонтовского «Героя нашего времени», «Записки из мертвого дома» Достоевского, тургеневские «Записки охотника», «Былое и думы» Герцена. Каждая из этих книг действительно отличается необычностью построения, новизной повествовательной формы.

Романов как крупный художник создал свою, новую форму — небольшой рассказ, миниатюру, где автор совсем не виден, где говорят персонажи, и их голоса воссоздают и человеческие характеры, и эпоху.

И речь персонажей, и авторская речь чрезвычайно просты, и кажется, что вовсе не рассказ читаешь, а воспринимаешь кусочек жизни.

Композиционно большинство рассказов Романова построены одинаково, фабула их проста, события разворачиваются в короткий отрезок времени, и, как правило, мы о них узнаем из диалога. Но романовский рассказ — это цельное законченное произведение, лаконичное и емкое по содержанию, чрезвычайно обобщенное и вместе с тем поражающее своей конкретностью, богатством интонаций. Даже не прибегая к выразительному определению, эпитету, писатель достигал замечательных эффектов.

Очень часто в ситуациях, какие нам рисует Романов, смешного мало. И если мы все же смеемся, то вовсе не благодаря выдумке писателя, а вследствие удивительной достоверности этих ситуаций, а главное потому, что персонажи, попавшие в эти ситуации, поступают, действуют, говорят в полном соответствии с собственным характером и с теми обстоятельствами, в каких они оказались. Какими бы невероятными и случайными эти обстоятельства ни были, они жизненны, они ни на секунду не производят впечатления чего-то выдуманного.

Писатель находит своих героев среди простых людей — это крестьянин, торговец, мешочник, мастеро-

вой, совслужащий, солдат и т.п. Эту движущуюся массу людей Романов рисует на крышах вагонов, на улице, в коридорах учреждений, на площадях и толкучках, где продают все, что только можно вообразить, на железнодорожных станциях, и в борьбе за место в вагоне, у постели умирающей старушки в борьбе за комнату. У этих персонажей нередко отсутствует имя, их можно различить разве лишь по одежде или какой-либо вещи в руках — мужик в чуйке, солдат с чайником, баба в валенках... Но они говорят, действуют, живут на страницах рассказов Романова, и мы физически ощущаем, как густо, плотно населена его проза живыми людьми. Мы погружаемся в атмосферу 20-х годов прошлого века, в России...

Многочисленные рассказы Романова обращены к эпохе военного коммунизма и становления нэпа. Неразбериха на транспорте, продовольственный кризис, перетасовка учреждений, ломка старых отношений в деревне и в городе, рождение новых форм быта и экономики — это не просто фон, это — само содержание, живая ткань произведений. Отсюда и столь органичное проявление типичных черт человеческих характеров, отсюда столь живые коллективные портреты, портреты человеческих масс, толпы («Мелкий народ», «Наследство», «Третьим этажом», «Дружный народ», «Загадка»).

Рассказы его посвящены деревне, которую он хорошо знал и чувствовал: светлые и темные стороны деревенской жизни, заботы и волнения мужиков, нравы и обычаи русской деревни оживают на страницах его произведений. Романов не идеализирует мужика, но и не осуждает: пытается показать таким, каков он есть, — жадным собственником и мечтателем («Трудное дело», «Хорошие места», «Светлые сны»), недоверчиво относящимся к распоряжениям новой власти, пытающимся его обмануть («Рыболовы»), наивно уступающим инстинкту стадности («Дружный народ», «Синяя куртка», «Верующие»)...

В этой связи небезынтересно отношение М. Горького к деревенским рассказам Романова.

23 июня 1925 года Горький писал Н.И. Бухарину: «... когда я вижу, что о деревне пишут — снова! — дифирамбы гекзаметром, создают во славу ее «поэмы» в сти-

ле Златовратского, — это меня не восхищает. Мне гораздо более по душе и по разуму соленьенькие рассказы о деревне старого знакомого моего Пантелеймона Романова»\*.

Эти же черты обнаруживает Романов и в коллективном портрете городской массы («Бессознательное стадо», «Значок», «Дом №3», «В темноте»).

Стремление воссоздать жизнь, ее проблемы руководит Романовым, когда он пишет не только сатирические, но и серьезные психологические произведения, в которых порой сочетаются лиризм и ирония («Русская душа», «Яблоневый цвет»), а иногда трагическое соседствует с сатирой и мягким юмором («В тюрьме», «Лошади английского короля»).

Есть два способа художественного преодоления низин жизни, говорил Романов. Один из них — показать вершины, героическое. Другой — дать микроскопическое исследование этих низин. При этом писатель должен оставаться на высоте, и тогда его личный критерий в оценке явлений жизни будет передаваться читателю. Романов пользовался именно этим, вторым способом, ясно понимая, что такой путь небезопасен и тернист.

В дневнике писателя есть запись от 5 сентября 1926 года: «Когда я пишу, у меня всегда есть соображение о том, что может не пройти по цензурным условиям или ханжи критики (а теперь их особенно много) обвинят в порнографии. И это уменьшает мои возможности и правду того, что пишешь, на 50%. Вообще все время чувствуешь над собой потолок, дальше которого нельзя расти. Правоверный марксизм, начетчики марксизма тоже связывают по рукам и ногам. Но это было в России всегда. Да и не в одной России, а почти везде. Нельзя требовать, чтобы рост был без утечки, чтобы ничто не мешало. Важно через препятствия эпохи все-таки осуществить себя. И я сделал это все-таки в очень большой степени»\*\*.

---

\* Известия ЦК КПСС. 1989. №3. С. 181.

\*\* РГАЛИ. Ф.1281. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 27.

И это вполне справедливая самооценка. Несмотря на внутреннюю самоцензуру, Романову за оставшиеся ему 12 лет жизни удалось не только написать, но и опубликовать значительное количество произведений, каждое из которых могло послужить поводом к шельмованию в печати и даже к аресту за антисоветскую направленность. Шельмование было, нападки были, доносы были, но тем не менее писатель избежал участи таких своих коллег, как Борис Пильняк, Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Михаил Козырев, Аркадий Бухов. Пантелеймон Романов остался на свободе, и это тем более удивительно, что содержание его рассказов «Белая свинья», «Замечательный рассказ», «В тюрьме», «Хорошие люди», при жизни не опубликованных, было хорошо известно его знакомым и сотрудникам многих редакций, газет и журналов, куда он их приносил.

Так что вполне можно понять нынешних историков, когда они в справке о Романове указывают: «Незаконно репрессирован»\*. Утверждение хотя фактически и лживое, но, по сути, логически вытекавшее из соотношения творчества писателя и политики властей.

Клеймо антисоветчика столь плотно припечаталось к облику Пантелеймона Романова, что даже спустя много лет после смерти его вдове Антонине Михайловне Шаломытовой-Романовой не удавалось напечатать хотя бы одну его книгу.

Да и сегодняшние издатели относятся к его творчеству настороженно. А вдруг в его рассказах и романах можно вычитать что-нибудь идущее вразрез с нынешней политикой властей?

Хочется отметить: если первые писательские опыты Романова были благожелательно встречены такими классиками русской литературы, как В.Г. Короленко и А.М. Горький, то спустя более шести десятилетий после смерти к его творчеству обратил свой взор большой русский писатель второй половины 20-го столетия А.И. Солженицын. И это тем более ценно, что не столь уж многим писательским собратьям уделяет он свое внимание.

---

\* Известия ЦК КПСС, 1989. №3. С. 183.

«... П. Романов сразу стал зорким, вернейшим бытописателем советского времени в его самых частных, мелких, житейских бытовых осколках, — говорит Солженицын. — У него — открыты, вбирчиво открыты глаза и уши, — и он дает нам бесценные снимки и звуковые записи, которых нигде бы нам не собрать, не найти. И тем достовернее их свидетельство, что они писались и печатались по самому горячему следу протекающей живой жизни... Это его описание раннесоветских годов — сейчас, в отдалении, становится тем более неотразимым свидетельством той эпохи. Запечатленная жизни! — так старательно потом и замазанная, и забытая. Живейшие люди того времени! Не случайна была и острая популярность у читателей — рассказы его шли нарасхват, имя его стояло сенсационно, вопреки недремлющей зубодробительной советской критике»\*.

А. Солженицын высоко оценивает Пантелеймона Романова именно за его проницательность, прозорливость, за то, что он увидел и смело сказал в тех уродливых явлениях советской жизни, которых другие писатели как бы не замечали.

А между тем Романов никогда и не стремился быть политическим писателем. Он просто как можно полнее хотел раскрыть русский национальный характер. Вернемся к той его записи, которую мы упомянули в самом начале, и приведем ее до конца: «... я не описываю смешных положений, я открываю какое-нибудь национальное свойство, и на нем строится само собой рассказ, благодаря этому в нем все имеет отношение к одному основному смыслу и всякое смешное положение получается высшее художественное оправдание»\*\*.

Именно в этой особенности творчества Романова и кроется тайна его актуальности и полвека назад, и вчера, и сегодня, и завтра.

Неудобный писатель. Мудрый писатель.

*Ст. Никоненко.*

---

\* Солженицын А. Пантелеймон Романов — рассказы советских лет // Новый мир, 1999. №7. С. 198—199.

\*\* РГАЛИ. Ф. 1281. Оп. 1. Ед. хр. 92. Л. 45.

**С**ело Петровское, Одоевского уезда,

Тульской губернии — моя родина. Родился в 1884 году. Детство провел на маленьком хуторке в Белевском уезде в версте от деревни Карманье, Володьковской волости. Там теперь пустое распаханное поле.

Друзья детства — деревенские ребята, товарищи по работе — мужики деревни Карманье, с которыми косил сено, возил снопы. У отца был один рабочий при 50 десятинах земли, так что мне часто приходилось и пахать, и скородить, и стеречь скотину. Последнее занятие — отвратительно. Но еще отвратительнее было караулить пчел, которых до сих пор боюсь и не люблю.

Истинное же призвание было — рыбная ловля. В маленькой речке под лесом, с ее прозрачными омутами, водились окуни, язи, щуки.

А из работ самая приятная была молотьба и возка снопов. Не плохо было также водить поить лошадей по вечерам в Коловну (так называлась речка).

Первое учебное заведение, в которое я поступил, было Жуковское училище в Белеве, потом Белевская прогимназия и наконец Тульская гимназия.

Первое литературное произведение, начатое на хуторе в амбаре на чердаке, был роман из английской жизни. Осталось неоконченным вследствие недостаточного знакомства с бытом и нравами Англии.

Участие в гимназических журналах всегда терпело полное фиаско, все рассказы оказывались забракованными вследствие полной бездарности, несмотря на то, что основателем их был мой близкий друг Николай Проферансов, с которым в долгие зимние вечера обдумывали подробно свою предстоящую поездку вокруг света и занимались химией, благодаря чему на нас нельзя было наготовиться штанов: все прожигали.



Впервые получил одобрение на литературном приеме в 5 классе гимназии, когда написал на заданную тему сочинение о деревне с описаниями природы. Сочинение было отмечено как «необыкновенное». Но потом опять впал в ничтожество. Да и это торжество было омрачено: на полях было что-то неразборчиво написано рукой преподавателя. Я стал разбирать. Десяток завистливых глаз тоже потянулись прочесть, что написано, какое еще отличие. Оказалось, что надпись гласила: «Написано необыкновенно хорошо, но и необыкновенно безграмотно». Я поторопился спрятать тетрадь, а потом стер резинкой вторую половину надписи.

Также подолгу гостил у дяди, у которого было маленькое имение в Одоевском уезде, в селе Яхонтове. Там жить было приятнее, потому что не заставляли работать и караулить пчел.

Характер этой семьи совсем не тот, что изображен в «Детстве». Это была обыкновенная мещанская семья, где, например, в праздники, когда собиралась молодежь, танцевали под гармошку. А играл сельский учитель, очень милый и бесконечно добрый человек, но с некоторыми странностями: он, во-первых, очевидно, считал своим призванием и обязанностью ездить на праздники по своим знакомым со своими двумя гармониками, что делал до сорока лет, так как архиерей, увидев его на улице с гармоникой, когда он еще был семинаристом, запретил ему до сорока лет жениться и быть священником. И он действительно ждал до сорока лет, но от гармоники отказаться не мог.

Вторая его странность была та, что он, приезжая на один день, захватывал с собой целый узел, в котором чего только не было, и прежде всего — всевозможная одежда. Все это привозилось завязанным в простыню.

Я ждал его всегда с особенным нетерпением, потому что он всегда захватывал что-нибудь и на мою долю: например, свисток какой-нибудь, — если его опустить в воду и дуть, то похоже на соловья. Причем я свистел, а он радовался не меньше меня, стоя рядом и потирая руки.

В гимназии учился плохо. Моими друзьями были Миша Долومانов и Миша Вавилов, с которыми у нас

было что-то вроде коммуны: у меня были белые пышки, которые я привозил из дома, а у Миши Вавилова — деньги. У Миши Долomanова ничего не было, потому что он в первый же день по приезде из дома все свое съедал и проживал, потом «ехал» на нас. Коммуна лопнула после непродолжительной, но энергичной схватки.

Миша Долomanов умер, а Вавилов сейчас очень большой инженер.

Но не в этом дело.

Дело, конечно, в том пути художественного развития, каким я шел.

Ясно помню, что стремление к писательству родилось благодаря сидению на уроках. Бывало, сидишь и вызываешь в воображении все картины домашней жизни, рыбной ловли, охоты, природы.

Тогда я попытался написать то, что так ярко видит воображение. Но сразу почувствовал свое бессилие. Картины выходили мертвые, ненужные.

Я стал читать классиков и увидел, что главным их свойством является необычайная живость, ясность и яркость изображения.

Несколько лет я употребил на то, что изо дня в день выписывал особенно яркие живые места, старался постигнуть законы творческого изображения и попутно с этим учился сам выражать словом все, что оставалось на себе внимание.

Я начал, таким образом, не с рассказов, а с писания художественных «палок», с выражения отдельных черточек. Например: «К сараю по снегу идет дворник, стараясь ступать в следы».

Записывая такие черты и свои «открытия» в области законов творчества, а также те мысли, какие мне приходили в связи с этим, увидел, что во мне рождается что-то совершенно не зависимое от того, что меня заставляют делать в школе.

Я почувствовал, что настоящая подлинная моя жизнь — эта, потому что рождается из меня, из моей природы. А та жизнь, которая шла по приказу и воле людей, это подставная, которую в готовом виде преподносят всем.

Для меня явился вопрос, по какому пути идти — по общему для всех или по этому своему?

Если я добросовестно пойду по общему пути, я должен поставить крест над своей подлинной жизнью, потому что мне некогда будет собирать ее ступени, складывать ее клочок к клочку. Я решил поставить все на карту и идти дорогой своей подлинной жизни, получать материал жизни только от своей природы, а не от посторонней воли людей. Обыкновенно же люди выбрасывают за борт все, что рождает их природа, и берут только то, что дают им другие.

Собирая свои ступени и попутно читая великих мыслителей и художников слова, я скоро увидел, что моя жизнь состоит не из одной дороги, а из многих и многих дорог, которые связаны одна с другой единством общего источника. Я не имел дела на стороне, не искал работодателя. Я в дело пустил то, что я переживал, что проходило через меня, как через одну из частиц огромного целого — народа. Но из этого брал только то, что могло иметь значение для всех, что являлось бы общим фондом, из которого каждый мог бы черпать то, что ему свойственно. Мне казалось, что вся моя жизнь должна представлять собой органическое целое, раз я, не пропускал ничего, собираю все, что моя природа дает мне. И мне думалось, что я должен написать такое произведение, чтобы оно было синтезом всей этой жизни, которая является не моей только, а вообще путем подлинной жизни человека. Я должен знать обобщенный результат своего опыта.

Результатом этого явились записки «О пути жизни».

Но тут же рядом мне грезились огромное художественное произведение, на которое можно было бы положить всю жизнь. Из этого впоследствии родилась «Русь». И когда я понял, к чему я иду, я стал изучать по книгам и в жизни русского человека, т.е. те его прочные, живущие веками черты, которые отличают его, как особую индивидуальность, среди других народов.

Я увидел, что зарождавшиеся у меня типы являются только чертами одного общего характера.

Первые три части «Руси», состоящие из трех томов и представляющие собою надгробный памятник про-

шлому, вышли в рабочем издательстве «Прибой». Теперь я продолжаю четвертую часть — войну. Но отнюдь не как хронику или летопись. Я смотрю, как русский, воспитанный царизмом, защищал свое отечество. Если про первую часть говорят, что это жестокий разговор, то IV часть, кажется, обещает быть еще более жестокой.

Замечаю, что революция дала мне как бы второе рождение: до нее я начал с маленьких вещей — пришел к большим. Потом с начала революции начал опять с маленьких рассказов и постепенно иду к большим полотнам, причем характер языка и построения всего творчества уже какой-то другой. Точно я органически перерождаюсь для писания последних частей «Руси», эпохи войны и революции.

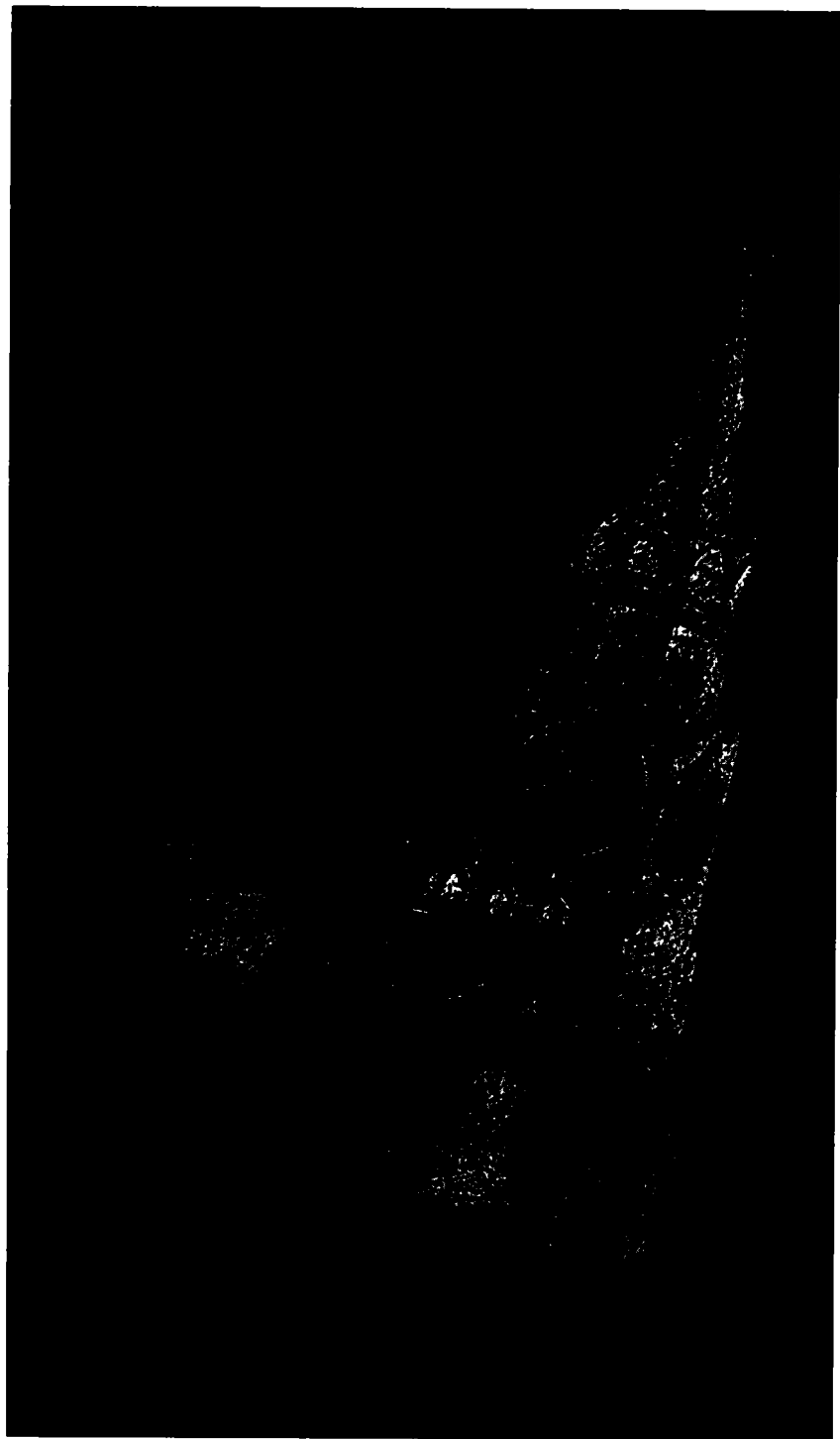
[1927]

Пантелеймон

Романов

# Рассказы





# Русская душа

Эпюд

I

Профессор Московского университета,

Андрей Христофорович Вышнеградский, на третий год войны получил письмо от своих двух братьев из деревни — Николая и Авенира, которые просили его приехать к ним на лето, навестить их и самому отдохнуть.

«Ты уж там заkis небось в столице, свое родное позабыл, а здесь, брат, жива еще русская душа», — писал Николай.

Андрей Христофорович подумал и, зайдя на телеграф, послал брату Николаю телеграмму, а на другой день выехал в деревню.

Напряженную жизнь Москвы сменили простор и тишина полей.

Андрей Христофорович смотрел в окно вагона и следил, как вздувались и опадали бегущие мимо распаханные холмы, проносились чинимые мосты с разбросанными под откос шпалами.

Время точно остановилось, затерялось и заснуло в этих ровных полях. Поезда стояли на каждом полустанке бесконечно долго — зачем, почему, никто не знал.

— Что так долго стоим? — спросил один раз Андрей Христофорович. — Ждем, что ли, кого?

— Нет, никого не ждем, — сказал важный обер-кондуктор и прибавил: — Нам ждать некого.

На пересадках сидели целыми часами, и никто не знал, когда придет поезд. Один раз подошел какой-то человек, написал мелом на доске: «Поезд № 3 опаздывает на 1 час 30 минут». Все подходили и читали. Но прошло целых пять часов, никакого поезда не было.

— Не угадали, — сказал какой-то старичок в чуйке.

Когда кто-нибудь поднимался и шел с чемоданом к двери, тогда вдруг вскакивали все и наперебой бросались к двери, давили друг друга, лезли по головам.

— Идет, идет!

— Да куда вы с узлом-то лезете?

— Поезд идет!

— Ничего не идет: один, может, за своим делом под-  
нялся, все и шарахнули.

— Так чего ж он поднимается! Вот окаанный, по-  
смотри, пожалуйста, перебаламутил как всех.

А когда профессор приехал на станцию, оказалось,  
что лошади не высланы.

— Что же я теперь буду делать? — сказал профессор  
носильщику. Ему стало обидно. Не видел он братьев  
лет 15, и сами же они звали его и все-таки остались  
верны себе: или опоздали с лошадьми, или перепута-  
ли числа.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал носильщик,  
юркий мужичок с бляхой на фартуке, — на постоялом  
дворе у нас вам каких угодно лошадей предоставят. У  
нас на этот счет... Одно слово!..

— Ну, веи на постоянный двор, только не пачкай так  
чемоданы, пожалуйста.

— Будьте покойны... — мужичок махнул рукой по  
чехлам, перекинул чемоданы на спину и исчез в тем-  
ноте. Только слышался его голос где-то впереди:

— По стеночке, по стеночке, господин, пробирайтесь,  
а то тут сбоку лужа, а направо колодезь.

Профессор как стал, так и покатился куда-то с пер-  
вого шага.

— Не потрафили... — сказал мужичок. — Правда,  
что маленько грязновато. Ну, да у нас скоро сохнет.  
Живем мы тут хорошо: тут прямо тебе площадь широ-  
кая, налево — церковь, направо — попы.

— Да где ты? Куда здесь идти?

— На меня потрафляйте, на меня, а то тут сейчас  
ямы извезочные пойдут. На прошлой неделе землемер  
один чубурахнул, насилиу вытащили.

Профессор шел, каждую минуту ожидая, что с ним  
будет то же, что с землемером.

А мужичок все говорил и говорил без конца:

— Площадь у нас хорошая. И номера хорошие, Се-  
лезневские. И народ хороший, помнящий.

И все у него было хорошее: и жизнь и народ.



— Надо, видно, стучать, — сказал мужичок, остановившись около какой-то стены. Он свалил чемоданы прямо в грязь и стал кирпичом колотить в калитку.

— Ты бы потише, что ж ты лупишь так?

— Не беспокойтесь. Иным манером их и не разбудишь. Народ крепкий. Что вы там, ай очумели все! Лошади есть?

— Есть... — послышался из-за калитки сонный голос.

— То-то вот — есть! Переснете всегда так, что все руки обколотишь.

— Пожалуйте наверх.

— Нет, вы мне приготовьте место в экипаже, я сяду, а вы запрягайте и поезжайте. Так скорее будет... — сказал Андрей Христофорович.

— Это можно.

— А дорога хорошая?

— Дорога одно слово — луб.

— Что?

— Луб... лубок то есть. Гладкая очень. Наши места хорошие. Ну, садитесь, я в одну минуту.

Андрей Христофорович нащупал подножку, сел в огромный рыдван, стоявший в сарае под навесом. От него пахло пыльным войлоком и какой-то кислотой. Андрей Христофорович вытянул на постеленном сене ноги и, привалившись головой к спинке, стал дремать. Изредка лицо его обвевал свежий прохладный ветерок, заходивший сверху в щель прикрытых ворот. Приятно пахло дегтем, подстеленным свежим сеном и лошадьми.

Сквозь дремоту он слышал, как возились с привязкой багажа, продергивая веревку сзади экипажа. Иногда его возница, сказавши: «Ах ты, мать честная!», что-то чинил. Иногда убегал в избу, и тогда наступала тишина, от которой ноги приятно гудели, точно при остановке во время езды на санях в метель. Только изредка фыркали и переступали ногами по соломе лошади, жевавшие под навесом овес.

Через полчаса профессор в испуге проснулся с ощущением, что он повис над пропастью, и схватился руками за край рыдвана.

— Куда ты! Держи лошадей, сумасшедший!

— Будьте спокойны, не бросим, — сказал откуда-то сзади спокойный голос, — сейчас другой бок подопру.

Оказалось, что они не висели над пропастью, а все еще стояли на дворе, и возница только собирался мазать колеса, приподняв один бок экипажа.

Едва выехали со двора, как начался дождь, прямой, крупный и теплый. И вся окрестность наполнилась равномерным шумом падающего дождя.

Возница молча полез под сиденье, достал оттуда какую-то рваную дрянь и накрылся ею, как священник ризой.

Через полчаса колеса шли уже с непрерывным журчанием по глубоким колеям. И рыдван все куда-то тянуло влево и вниз.

Возница остановился и медленно оглянулся с козел назад, потом стал смотреть по сторонам, как будто изучая в темноте местность.

— Что стал? Ай заблудился?

— Нет, как будто ничего.

— А что же ты? Овраги, что ли, есть?

— Нет, оврагов как будто нету.

— Ну, так что же тогда?

— Мало ли что... тут, того и гляди, ссунешься куда-нибудь.

— Да осторожнее! Куда ты воротишь?

— И черт ее знает, — сказал возница, — так едешь — ничего, а как дождь, тут подбирай огузья...

## II

Николай писал, что от станции до него всего верст 30, и Андрей Христофорович рассчитывал приехать часа через три. Но проехали 4—5 часов, останавливались на постоялом дворе от невозможной дороги и только к утру одолели эти 30 верст.

Экипаж подъехал к низенькому домику с двумя выбеленными трубами и широким тесовым крыльцом, на котором стоял, взгромоздившись, белый петух на одной ноге. Невдалеке, в открытых воротах плетневого сарая, присев на землю у тарантаса, возился рабочий

с приязкой валька, помогая себе зубами и не обращая никакого внимания на проезжего.

А с заднего крыльца, подобрав за углы полукафтанье и раскатываясь галошами по грязи, спешил какой-то старенький батюшка.

Увидев профессора, он взмахнул руками и остался в таком положении некоторое время, точно перед ним было привидение.

— Ай ты приехал уж? Мы только собираемся послышать за тобой. Почему же на целый день раньше? Ай случилось что?

— Ничего не случилось. Я же телеграфировал, что приеду пятнадцатого, а сегодня шестнадцатое.

— Милый ты мой! Шестнадцатое — говоришь?.. Это, значит, вчера листик с календаря забыли оторвать. Что тут будешь делать! Ну, здравствуй, здравствуй. Какой же ты молодец-то, свежий, высокий, стройный. Ну, ну-у... — Это и был младший брат Николай. — Пойдем скорей в дом. Что ты на меня так смотришь? Постарел?

— Да, очень постарел...

— Что ж сделаешь, к тому идет... Ниже, ниже голову, — испуганно крикнул он, — а то стукнешься.

— Что ж ты дверей себе таких понаделал?..

— Что ж сделаешь-то... — И он улыбался медлительно и ласково. — Да что ты все на меня смотришь?

Андрей Христофорович, раздеваясь, правда смотрел на брата. Полуседые нечесанные волосы, широкое доброе лицо было одутловато и бледно. Недостаток двух зубов спереди невольно останавливал внимание. А на боку было широкое масляное пятно, с тарелку величиной. Должно быть, опрокинул на себя лампадку. Сначала, наверное, ахал и прикрывал бок от посторонних, а потом привык и забыл.

— Вот, братец, затмение-то нашло, — сказал он, кротко моргая и с улыбкой потирая свои вялые, пухлые руки.

— Какое затмение?

— Да вот с числом-то. — И он опять улыбнулся. — Отроду со мной ничего подобного не было.

— А где же Варя и девочки?

— Одеваются. Врасплох захватил. А, вот и они...

В дверях стояла полная, такая же, как и Николай, рыхлая женщина, со следами быстро прошедшей русской румяной красоты. Теперь все лицо ее расплылось, и сама она как-то обвисла. У нее тоже не доставало передних зубов.

Андрей Христофорович поздоровался и невольно подумал: «Как это можно так разъестся?» Но у нее были такие хорошие, невинные детские глаза, и она так трогательно, наивно взглянула на гостя, что профессору стало стыдно своей мысли.

— Вот вы какой, — сказала она медленно и улыбнулась так наивно, что Андрей Христофорович тоже улыбнулся. — Я думала, что вы старый. — И, не зная, о чем больше говорить, прибавила:

— Пойдем чай пить.

К обеду пришла старушка со слезящимися глазами — тетя Липа. Она заслонила рукой глаза от света и долго рассматривала племянника.

— О, батюшка, да какой же большой ты стал! — сказала она и засмеялась, засмеялась так же, как Николай, как Варя, так наивно и по-детски радостно, что Андрей Христофорович опять невольно улыбнулся.

Обед состоял из окрошки с квасом и щей, таких горячих и жирных, что от них даже не шел пар, и стояли они, как расплавленная лава. Жаркое потонуло все в масле.

— Что ж это вы делаете? — сказал Андрей Христофорович.

— А что? — испуганно спросил Николай.

— Да ведь это надо луженые желудки иметь — жиру-то сколько.

Николай успокоился.

— Волков бояться — в лес не ходить, — сказал он. — Нельзя, милый, нельзя, для гостя нужно получше да пожирней. А ты гость. — И он, ласково улыбнувшись, дотронулся до спины брата. — А кваску что же?

— Нет, благодарю, я квасу совсем не пью.

— Вот это напрасно. Квас на пользу, — сказал Николай.

А Липа добавила ласково:

— Если с солью, то от головы хорошо, ежели с водкой, то от живота. Вот Варечку этим и отходила зимой.

— А что у нее было?

— Живот и живот, — сказал Николай, сморщившись и мхнув рукой.

— У меня под ложечкой очень подкатывается, — сказала Варя. — Как проснешься утром, так и сосет и томит, даже тошно. А слюни вожжой, вожжой.

— Что? Как? — переспросил Андрей Христофорович.

— Вожжой, — сказал Николай.

— Умирала, совсем умирала, — сказала Липа, горестно глядя на Варю.

— Так это у нее и есть катар. Ей ничего жирного, и кислого нельзя, — умереть можно.

— Нет, бог милостив, квасом с водкой отходили, — сказала Липа.

— Тебе бы нужно ее в Москву свозить, — сказал Андрей Христофорович, обращаясь к Николаю.

— Что вы, что вы, бог с вами! — воскликнула Варя.

— Еще вырезать что-нибудь начнут, — сказала Липа. — Она вот тут обращалась к доктору, а он ей воду прописал, боржом какой-то... Пьет и хоть бы что — все так же.

Ели все ужасно много, и больше всех Липа. Так что даже девочки останавливали ее.

— Бабушка, довольно вам, перестаньте, Христа ради.

После холодного кваса, который наливали по целой тарелке, по две, ели огневые жирные щи, потом утку, которая вся плавала в жиру, потом сладкий пирог со сливками. Потом всех томила жажда, и они опять принимались за квас. А Варя, наклонив горшочек с маринадом, нацеживала в ложку маринадного уксуса и пила.

— Ну что вы делаете, Варя? — крикнул Андрей Христофорович.

Варя испугалась и уронила ложку на скатерть. Все засмеялись.

— К нечаянности... — сказала Липа.

— Да она уж привыкла к маринаду, — сказал Николай, — это жажду хорошо унимает. Ты попробуй, немножко ничего.

Он подставил свою ложку, выпил и, весь сморщившись, крикнул, посмотрев на брата одним глазом. Все смотрели то на него, то на гостя и улыбались.

Варя ела все и всего по целой тарелке. После этого пила уксус из маринада, а после уксуса боржом.

И опять все рассказывали, как в прошлом году она умирала от живота.

### III

После обеда Николай повел брата отдохнуть в приготовленную для него комнату.

— Вот окошечко тебе завесили. Варя и кваску поставила на случай, если захочется.

— У вас день как распределяется? — спросил Андрей Христофорович.

Николай не понял.

— Как распределяется? Что распределяется?

— Ну, когда вы встаете, работаете, обедаете?

— Ага! Да никак не распределяется. Как придется. Живем неплохо и стеснять себя незачем. И ты, пожалуйста, не стесняйся. Я вот нынче встал в три часа: собаки разбудили, пошел на двор, посмотрел, а потом захотелось чаю, сказал Варе самовар поставить, а в 8 часов заснули оба. Так и идет. Ну, спи, а мне надо тут съездить версты за три.

И Николай, мягко улыбнувшись, ушел, осторожно ступая на носки, как будто Андрей Христофорович уже спал. А потом ходил по всему дому, натыкался на стулья и искал шляпу. Только и слышалось:

— Где же она? Вот чудеса. Отроду со мной ничего подобного не было.

Когда Николай вернулся, Андрей Христофорович не спал и, стоя поодаль от кровати, смотрел на нее, как будто там обнаружилось что-то живое.

— Что ты? — спросил с тревогой Николай.

— Не знаю, как тебе сказать... У тебя тут столько клопов...

Николай освобожденно вздохнул.

— Фу-ты! Я уж думал, какая-нибудь неприятность... Что же, кусались? Ах, собаки! Нас что-то не трогают.

Никогда, — подтвердила подошедшая Варя. — Это они на свежего человека полезли. А вот суток трое пройдет, они успокоятся. Я их, пожалуй, помажу чем-нибудь.

После чаю все сидели на крыльце и смотрели, как плыли вечерние облака на закате и зажигались первые звезды.

— Какой воздух! — сказал профессор.

Воздух? Да ничего, воздух хороший. У нас, милый, и все хорошо.

— Что ж так сидеть-то, может быть, яблочка мочевого принести? — сказала Варя, которая никогда не могла сидеть с гостями без еды.

Профессор отказался от моченых яблок.

— Ты для деревни надел бы что-нибудь попроще, а то смотреть на тебя жалко, — сказал Николай, посмотрев на воротнички и манжеты брата. — У нас, милый, тут никто не увидит.

— Зачем же, я всегда так хожу.

— Всегда? Господи! — удивилась Варя. — Вот мука-то.

— Да, — сказал Николай, — каждый день одеваться да чиститься — это с тоски помрешь. Это ты, должно быть, за границей захватил.

— Право, мне не приходило в голову, откуда я это захватил.

— Нет, это оттуда, — сказал Николай и стал смотреть куда-то в сторону. Потом повернулся к брату и сказал: — И сколько ты, милый, исколесил на своем иску?

— Да, я много путешествовал. В прошлом году был в Италии.

— В Италии! — сказала Варя.

— Потом во Франции, в Англии.

— В Англии! — сказала Варя. — Господи!

— И как тебе это не надоело? — сказал Николай.

— Он вот не любит, — подтвердила Варя. — Мы как к отцу на именины поедem на три дня, так он по дому скучает, ужас!

— Отчего же надоест? Посмотреть, как живут другие люди...

— Ну, чего нам на других смотреть!

— Как чего? Разве не интересно вообще узнать что-нибудь новое?

— Узнавай не узнавай, все равно всего не узнаешь, как говорила Варина бабушка, — сказал Николай.

— Дело не в том, чтобы все узнать, а чтобы приобщиться к иной, более высокой жизни. Я, например, говорил по телефону за две тысячи верст и испытывал почти религиозное чувство перед могуществом ума человеческого...

— Пошла прочь, шляется тут, — шепотом сказала Варя кому-то.

Андрей Христофорович оглянулся.

— Это соседская гусыня повадилась к нам.

— Ну, ты уж напрасно так этим восторгаешься, — сказал Николай, положив ногу на ногу. — В этом души нет, духовности, а раз этого нет, нам задаром его не нужно, — заключил он и, запахнув полу на коленке, отвернулся, но сейчас же опять повернулся к брату. — Ты вот преклоняешься перед машинкой, тебя восхитило то, что ты за две тысячи говорить мог, а это, голубчик, — все чушь, внешнее. Русскую душу, ежели она настоящая, этим ничем не удивишь.

— Да что такое — внешнее?

— То, в чем души нет. Ясно.

— Я, по крайней мере, думаю, что душа есть там, где работает человеческая мысль, — сказал Андрей Христофорович.

— Так то — дух! — сказал Николай. — Это же дух, — повторил он с улыбкой. — Ты не про то говоришь совсем.

— Нет, пойду орешка принесу, а то скучно так, — сказала Варя.

Она ушла, братья замолчали. Ночь была тихая и теплая. Андрею Христофоровичу не хотелось идти в комнаты, где, он помнил, были клопы, которые пронюхали в нем свежего человека.

Прямо перед домом было огромное пространство, слившееся с ржаными полями и уходившее в безграничную даль. Но его все досадно загораживали выросшие целой семьей какие-то погребки, свинарники, курятники, расположившиеся перед окнами в самых неожиданных комбинациях.



— Что, на наше хозяйство смотришь? — сказал Николай. — Удобно. Все на виду. Это Варина мысль.

Андрей Христофорович и сам так думал.

— Ну, что ты тут делаешь, когда нет службы? — спросил он.

— Мало ли что... — отвечал Николай.

Значит, дела много? А я думал, что тебе все-таки скучновато здесь.

— Нет, — сказал Николай, — не скучно. — И прибавил: — Чего же дома скучать? Дома не скучно.

— Ну, а все-таки, что поделяваешь?

— Да как сказать, мало ли что? Весной, еще с февраля семена выписываем и в ящиках сеем.

— Какие семена?

— Огурцы да капусту.

— Потом?

— Потом... ну, там сенокос.

— Подожди, как сенокос? Сенокос в июне, а от февраля до июня что?

— От февраля до июня?.. Ну, мало ли что, сразу трудно сообразить. Всякие текущие дела. Да, а попечительство-то! Попечительство, комитет, беженцы, — вдруг вспомнил Николай. — Совсем из головы выскочило. У нас дела гибель! Как же, нельзя — такое время.

— Сколько же ты времени на него тратишь?

— На кого?

— Фу-ты, да на это дело.

— Ну, как сколько? Разве я считаю? Трачу, и только. Да что это тебя интересует так?

— Просто хотелось уяснить себе, как вы тут живете. За литературой, наверное, перестал следить?

— ...Нет, слежу, — не сразу ответил Николай.

— Много читаешь? Ах, как нам нужно научиться работать, не тратить даром ни одной минуты, чтобы наверстать упущенное время. А времени этого — целые века.

— А что ж, не наверстаем, что ли? — сказал Николай. — Придет вдохновение, и наверстаем.

— Нате орешка, — сказала Варя.

— Нет, спасибо. Зачем же ждать вдохновения?

— А без этого, голубчик, ничего не сделаешь, — сказал Николай, махнув рукой.

— Так его и ждать?

— Так и ждать.

— А если оно не придет?

— Ну, как не придет? Должно прийти. Это немцы корпят и все берут усилием, а мы, брат...

— Да, именно, нужно постоянное усилие, — сказал профессор, — усилие и культура.

— А душу-то, милый, забываешь, — сказал ласково Николай.

— Сейчас на кухню солдатка Лизавета приходила, — сказала Варя, — говорит, мужа ее ранили. И когда это кончится? А потом говорит, будто крепость какую-то взяли и всю дочиста взорвали, а с ней сто тысяч человек.

— Кто у кого взял?

— Не спросила. Пойдемте ужинать.

— Вот поговорили, а теперь хорошо и закусить, — сказал Николай, ласково потрепав брата по плечу и провожая его первым в дверь.

#### IV

Андрей Христофорович испытывал странное чувство, живя у брата.

Здесь жили без всякого напряжения воли, без всяких усилий, без борьбы. Если приходили болезни, они не искали причины их и не удаляли этих причин, а подчинялись болезни, как необходимости, уклоняться от которой даже не совсем и хорошо.

Зубы у них портились и выпадали в сорок лет. Они их не лечили, видя в этом что-то легкомысленное.

— Ей уж четвертый десяток, матушке, а она все зубки свои чистит, — говорила про кого-нибудь Липа.

— А уж мать четверых детей, — прибавлял кто-нибудь.

Если у них заболели зубы, они обвязывали всю голову шерстяными платками, лезли на стену, стонали по ночам и прикладывали, по совету Липы, к локтю хрен.

А сама Липа ходила следом и говорила:

Пройдет, бог даст. Ему бы только выболеть свое. Как выболит, так конец. Хорошо бы индюшиный жир к питкам прикладывать.

Против природы не пойдешь, — говорил, идя следом, Николай.

Как не пойдешь? — сказал один раз Андрей Христофорович, возражая на подобное замечание. — Что ты издор говоришь? Вот мне пятьдесят лет, а у меня все зубы целы.

У Николая на лице появилась добродушно-лукавая улыбка.

— А в сто лет у тебя тоже все зубы будут целы? Ага! Ну-то, брат. Два века не проживешь. От смерти, батюшки, не отрекайся, — сказал он серьезно-ласково и повторил таинственно: — Не отрекайся.

И в лице его, когда он говорил о смерти, появилась тихая сосредоточенность. Казалось, что от лица его исходил свет.

— Смерть, это такое дело, милый...

Николай, несмотря на свои 44 года, был совсем старик, с животом, с мягкими без мускулов руками, без зубов.

И когда Андрей Христофорович по утрам обтирался холодной водой и делал гимнастику, Николай говорил:

— Неужели так каждый день?

— Каждый. А что?

— Господи! — удивилась Липа.

— И зачем вы себя так мучаете? — говорила Варя. — Смотреть на вас жалко.

— Правда, напрасно, брат, ты все это выдумываешь. Ты бы хоть пропускал иногда по одному дню, — говорил Николай.

День здесь у всех проходил без всякого определенного порядка: один вставал в 6 часов, другой — в девять. Дети, которых родителям было жалко будить, спали иногда до 12 часов.

Обедали то в два часа дня, то в одиннадцать утра. А то кто-нибудь подойдет перед самым обедом к шкафчику, увидит там вчерашнюю вареную курицу и приберет ее всю. А там отказывается от обеда, жалуясь на

то, что у него аппетита нет. К вечернему же чаю, глядишь, тащит себе тарелку холодных щей.

Потом кто-нибудь после вечернего чаю прикурнет на диване и, смотришь, промахнул до самого ужина.

— Что это Варя спит? — спросил Андрей Христофорович.

— Отдохнуть после обеда легла, да заспалась, — ответил Николай. А когда уж все легли, она бродит ночью по дому, натываясь на стулья, и бормочет, что наставили всего на дороге. Утром же, по обыкновению, жалуется на бессонницу.

— Сушеной мяты под подушку хорошо от бессонницы класть, — говорила Липа.

— Сколько верст от тебя до Москвы? — спросил один раз профессор.

— Верст двести, не больше. Пять часов езды, — отвечал Николай. — Почему ты спрашиваешь?

— Так, просто захотелось спросить.

— Близко. К нам все в тот же день приходит.

Памяти ни у кого не было. Если нужно было купить что-нибудь в городе, то писали все на записку с вечера, и весь платок завязывался узелками. Но Николай каждый раз ухитрялся платок оставить дома, а записку потерять. Один раз он собирался на почту. Андрей Христофорович попросил его отправить срочное заказное письмо.

— Пожалуйста, не забудь, — сказал профессор.

— Ну, вот, что ты, слава богу, на плечах голова, а не котел. — А через три дня полез к себе зачем-то в карман и выудил оттуда засаленный конверт.

— Что такое? — бормотал он в недоумении. — Да еще как будто на твой почерк похоже, Андрей. — И тут его осенило. Он хлопнул себя изо всей силы по лбу.

— Братец ты мой, да ведь это твое! Что же это? Отроду со мной такой истории не было.

Конверт был уже настолько грязен и замусолен, что пришлось писать другое письмо и еще радоваться, что он не отправил его в таком виде.

Перед домом была неудобная земля, кочкарник, и Андрей Христофорович, как-то посмотрев на него, сказал:

— Что же это ты?

— А что? — спросил Николай.

— Да раскопал бы кочки-то, а то прямо неприятно смотреть, вместо хорошей земли перед глазами какие-то полдыри.

— А зачем тебе непременно сюда смотреть, мало тебе другого места. У нас, брат, вон сколько его!

— Некрасиво же.

— Не ищи, батюшка, красоты, а ищи доброты, — говорила ласково Липа. — Так-то!

— Во всех этих прикрасах, милый, толку мало. Природа, уж если она природа — красивей ее не сделаешь. А натуральней русской природы нету, хоть весь свет обойди.

— Да ведь ты не видел.

— И видеть не желаю, — отвечал Николай. Он помолчал, потом прибавил: — Все от своих коренных занесено, подалеже уйти хотим, а это-то и плохо.

— Да в чем они, эти заветы? Отдай, пожалуйста, себе хоть раз ясный отчет.

— Как в чем? Да мало ли в чем... — сказал Николай. И никто ни разу не спросил профессора о чужих краях, о его путешествиях. Только один раз племянница поинтересовалась узнать, правда ли, что в Италии живут на крышах.

— А тебе зачем это понадобилось? — сейчас же строго крикнула на нее Липа. — Себе на крышу хочешь залезть, бесстыдница?

— Слушай, что бабушка говорит, — сказала Варя и прибавила: — И куда нелегкая носит, скоро на стены полезут!

## V

— Ну, а как живет Авенир? — спросил один раз Андрей Христофорович, соскучившись у Николая.

— Авенир, брат, живет хорошо.

— А сколько у него детей?

— Восемь сынов.

— Как много! Ему, должно быть, трудно с ними.

— Нет, отчего же трудно... на детей роптать нехоро-

шо, это дар... И он все такой же горячий, проворный. Умная голова.

— У него всегда было слишком много самоуверенности, — сказал Андрей Христофорович.

— Да, ум у него шустрый, это правда, — сказал Николай, покачав опущенной над коленями головой, и вдруг поднял ее. — Вот, брат, настоящий человек.

— То есть как настоящий? — спросил профессор, почувствовав какой-то укол, точно в этом была косвенная мысль о том, что сам Андрей Христофорович не настоящий... — Как настоящий? — повторил он.

— Да так, — сказал Николай, — вот ты говорил, что ценишь людей, у которых мысль постоянно работает. Вот тебе Авенир. У него, милый, мысль ни на минуту без работы не остается.

— Может быть, — сказал профессор, — но вопрос: над чем и как?

— Мало ли над чем, — сказал Николай.

— А местечко у него хорошее?

— Ничего. Но все-таки, конечно, не то, что у нас. И потом, — продолжал Николай, — это человек — весь без обмана.

— Как без обмана?

— Ну, как тебе сказать... вообще природный. Душа настоящая русская.

— Да что же, у меня-то не настоящая, что ли? — спросил, почти обидевшись, профессор.

Николай сконфузился.

— Ну, что ты... бог знает что выдумал. — Но профессор чувствовал, что в его словах не было уверенности. И к тому же Николай сейчас же переменял разговор.

— Он приедет сюда, как только получит мое письмо, как узнает, что ты здесь, так и прискачет. Вот, брат, кому расскажешь!..

И правда: один раз, когда все сидели в саду за чаем, со стороны деревни послышался отчаянный лай собак и дребезжание колес. Видно было, как на двор влетела взмыленная лошадь, запряженная в тележку без рессор. Сидевший в ней человек в мягком картузе и короткой сборчатой поддевке на крючках как-то особенно проворно соскочил на землю, продернул и при-

натянул ножки в кольцо под навесом. А сам, отряхнув полы, посмотрел на свои сапоги, потом вопросительно на окна дома.

— Да ведь это Авенир! — сказал радостно Николай, и, как показалось Андрею Христофоровичу, более радостно, чем при его приезде. — Я говорил, что прискачет... Ну и молодец, вот молодец!

Обнялись.

— Европейец, европейец, — сказал Авенир, поцеловав Брита. Он отступил на шаг со снятым картузом на отлете в руке и оглядывал профессора.

— Ну, брат, ты того... совсем, так сказать...

— Что? — почти с тревогой спросил Андрей Христофорович.

Но Авенир ничего не ответил. Он сейчас же забыл об этом и стал рассказывать, как он ехал, что с ним случилось.

Варя с его приездом повеселела и оживилась.

Целый вечер говорили, потом спорили о душе. Десять раз Авенир говорил Андрею Христофоровичу:

— Ну-ка, Расскажи, брат, как вы там, европейцы, живете. — Но с первого же слова перебивал брата и пустился рассказывать про себя.

Было уже 10 часов вечера, потом 11, 12, а они все еще говорили, вернее, говорил один Авенир. Говорили о политике, о воздухоплавании, о войне, и Авенир нигде не отставал и никогда не сдавался.

Он имел такой вид, как будто только что приехал с места, где он все видел и изучил, а Андрей Христофорович сидел в глуши и ничего не знает.

— Наши аэропланы, брат, самые лучшие в мире. В три раза лучше немецких. У них неуклюжая прочность и только, а у нас!..

— Откуда ты это знаешь? — спросил Андрей Христофорович, которому хоть раз хотелось найти основания их суждений.

— Как откуда? Мало ли откуда? Это даже иностранцы признают. А ты, значит, не патриот?

— Кто же тебе это сказал?

— По вопросу, брат, видно, и вообще по холодности. У тебя нет подъема. Это нехорошо, брат, нехорошо.

— Да постой, голова с мозгом!

— Что же мне стоять? У тебя холодное, рассудочное отношение, разве я не вижу.

— Мы слишком много говорим вместо дела, — сказал Андрей Христофорович.

— Где же много, — сказал Авенир, — ты бы послушал, как мы... И потом, про разговоры ты напрасно... В слове мысль, в мысли — дело. И теперь мы уже совсем не те, что были раньше; ты это особенно заметь, — сказал Авенир, поднимая палец. И повторил: — Особенно!

— А какие же? — спросил Андрей Христофорович.

— Ну вот, ты даже спрашиваешь, какие? У тебя скептицизм. — И ответил: — Совсем, брат, другие.

— Вот и я тоже говорю ему, — сказал Николай, запахивая свою масляную полу.

— Совсем другие! — повторил еще раз Авенир. — Было время, да прошло.

— Может быть, ужинать пойдете? — сказала Варя, которая уже томилась оттого, что долго не ели.

## VI

— Ну что же, поедem теперь к нам, — сказал на третий день Авенир.

— Хорошо, а как ехать?

— Со мной на лошадях поедem, чем тебе кружить полтора верста по железной дороге. Я, брат, всегда на лошадях езджу.

— А сколько до тебя на лошадях?

— Восемьдесят верст.

— Да, на лошадях лучше, — сказал Николай. — А то там изволь каждый раз поспевать вовремя.

— На одну минутку опоздал, и весь день пропал к черту, — прибавил Авенир.

— И звонки эти дурацкие, — сказал Николай.

Пошли смотреть экипаж. Это была тележка без рессор, тарантас, как называл ее Авенир. Сиденье у этого тарантаса было такое низкое, что колени у сидящих в нем подходили к самому подбородку.

— Сидеть-то не особенно удобно, — сказал Андрей Христофорович.



— А что? — спросил Авенир и живо вскочил в тарантас.

— Как — что? Сиденье очень низко.

— Ну, уж это так делается, брат; кузнец при мне делал другим.

— Как так делается, если это неудобно?

— Нет, это правда, Андрей, — в тарантасах сиденье высоко не делается. У кого ни посмотри.

— Ну, брат, — сказал Авенир (он даже опечалился), — тебя, милый мой, Европа, я вижу, подпортила основательно.

— Чем подпортила?

— Обудобствах уж очень заботишься.

— Нет, я все-таки поеду по железной дороге, да и грязь, я вижу, порядочная.

— На колеса смотришь? Это еще с Николина дня. Тогда грязь была, правда. А теперь все высохло.

— У нас, милый, места хорошие, — сказал Николай.

Кончили на том, что Авенир подвязал потуже живот, перецеловался со всеми, похлопал себя по карманам и покатил один. Профессор поехал по железной дороге. Когда приехал, Авенир сам выехал за ним на станцию.

— У нас, брат, отдохнешь. У нас воздух здоровый, не то что у Николая. У тебя, должно быть, от этой учебы да от книг голова порядком засорилась... Ну да, толкуй там, как будто я не знаю. Это ты там закис, вот и не замечаешь. Прочищай тут себе на здоровье. Я тебе душевно рад и скоро от себя не выпущу... И брось ты, пожалуйста, все это. Живи просто, — проживешь лет сто. Живи откровенно. Все, брат, это чушь.

— Как — живи откровенно? Что — чушь? — спросил озадаченный профессор.

— Все! — сказал Авенир. — Вот моя хижина, — прибавил он, когда подъехали к небольшому домику в сирени.

— Входи... Пригнись, пригнись, — поспешно крикнул он, — а то лоб расшибешь!

— Как это вы себе тут лбы не разобьете, — сказал Андрей Христофорович.

— Я и правда частенько себе шишки сажаю. А вот мои сыновья, — сказал Авенир. — После познакомишься, сразу все равно не запомнишь. Катя! — крикнул он, повернувшись к приотворенной двери.

Вышла Катя, крепкая, в меру полная и красивая еще женщина с родинкой на щеке, очевидно, смешливая. Она, забывшись, вышла в грязном капоте и вдруг, увидев профессора, вскрикнула:

— Ах, матушки! — засмеялась и убежала.

— Врасплох захватил, — сказал Авенир так же, как Николай.

Все комнаты, с низенькими потолками, оклеенными бумагой, были завешены сетями — рыболовными, перепелиными, западнями для мелких птиц, насаженными на дужки из ивовых прутьев. А над постелями — ружья и крылья убитых птиц. И везде валялись на окнах картонные пыжи, машинки для закручивания ружейных гильз.

Нравы были несколько грубоваты. В особенности у старшего сына Петра, который травил деревенских собак и ел сырую рыбу.

Больше всех профессору понравилась Катя. Она была всегда ясная, приветливая и только необычайно смешливая, что, впрочем, удивительно шло к ней. Смех наступал ее, как стихия, и она уже ничем не могла сдержать его, убегала в спальню и хохотала там до слез, до колик в боку.

## VII

С самого раннего утра, едва только солнце встало над молочно-туманными лугами и зажгло золотой искрой крест дальней колокольни, как в сенях уже хлопали двери и раздался голос Авенира:

— Захватил весло? Бери удочки... да не нужно эту чертову кривую! Что же ты крыло-то не зачинил, тюря? Собирай, собирай, господи благослови. К обеду приедем.

И наступила тишина, как будто уехала толпа разбойников или людоедов.

Часов в двенадцать приехали с рыбной ловли, и Авенир прислал младшего сына за Андреем Христо-

форовичем. Он должен был непременно идти и посмотреть улов.

Связанные вместе две лодки были причалены к берегу и привязаны одной цепью за столб с кольцом. На одной из них сидел Авенир в широкой соломенной шляпе, в рубашке с расстегнутым воротом. Рукава у него были засучены выше локтя. И он, опустив в садок обе красные руки, водил ими по дну.

— Иди сюда, Андрей! Смотри, вот улов!

— Да я вижу отсюда.

— Нет, ты сюда подойди. Вот гусы! Хорош?

И он на обеих ладонях разложил огромного карпа, который, лежа, загибал то хвост, то голову.

А сыновья — огромные, загорелые, тоже с засученными рукавами и вздувающимися мускулами под мокрой прилипшей рубашкой — развешивали сети на шестах вдоль берега.

Потом отбирали рыбу на обед; Авенир, отгоняя мух и отирая сухим местом засученной руки пот со лба, только покрикивал:

— Клади большого, клади его, шельмеца. Так! Стой! Это на жаркое. Доставай теперь налима... Смотри, Андрей, князь мира грядет.

Профессор смотрел. Из садка показывались огромные коричневато-зеленая голова и скользкое туловище.

И князя мира опускали головой в мешок,

— Это на уху.

Потом долго купались, причем сыновья плавали молча или лежали под солнцем на воде, раскорячившись, как лягушки, а Авенир каждую минуту окунался с головой и кричал:

— Боже, как хорошо! Вот чудо-то! Лезь, Андрей, наплюй на докторов. Все это, брат, ерунда!

Наконец он оделся, сидя на зеленом бережку, и они пошли по узенькой каменистой тропинке в гору к селу, мимо огородов, где на полуденном, знойном солнце желтели за частоколом подсолнечники.

Авенир остановился, посмотрел на реку, где еще продолжали купаться сыновья, и крикнул:

— Не отставай, не отставай, Петр! Чище работай. Ох, рано вылез. Ну, делать нечего. Огурец зацветает. Ну

и лето! А земля-то: нигде такой земли не найдешь. Что ни посади, все вырастет. Захочешь дыни — дыни будут расти, винограду — и виноград поспрет.

— А у тебя и дыни есть?

— Нет, только огурцы да капуста пока, а если б захотеть!.. Стоит только рукой шевельнуть!

Дома уже был готов обед. Ели здесь еще больше, чем у Николая. Сыновья ели молча, а отец говорил, не переставая:

— В три часа выехали нынче. Заря была — чудо! Поедем, Андрей, как-нибудь с нами. Катя и то ездит, она — молодец!

Катя улыбалась.

— Я люблю это — если бы только меня зубы не мучили.

— Разве мучают? — спросил Андрей Христофорович.

— Зубы и зубы! — сказал Авенир, махнув рукой. — Мы все от них на стену лезём. Ешь, пожалуйста, капусту, Андрей. Это, брат, удивительно полезная вещь. У меня, брат, система, чтобы все было по-настоящему, то есть по-простому. Вот Николай в неметчину ударился, воды какие-то пьет. Видал?

Только под конец обеда заметили, что Петра за столом нет, да и тетка Варвара исчезла куда-то.

— А где же Петр? — спросил Авенир.

— Он закупался. Его бабушка рассолом поит, — сказал Павел, наливая себе вторую тарелку крошки.

— Редкий человек тетка Варвара, — сказал Авенир, — без нее было бы плохо.

— А что он чувствует? — спросил Андрей Христофорович.

— Да его мутит, — сказал Павел, — как до дома дошел, так и начало мутить.

— Ну, иди теперь отдыхай. Тебе никто не помешает. У нас в этом отношении...

И, проводив брата до его комнаты, Авенир исчез.

Андрей Христофорович постоял, вынул часы, положил их на стол, потом поискал чего-нибудь почитать, но ничего не нашел.

Минут через пять дверь приотворилась, и в нее прогнулась голова Авенира.

— Андрей, ты не спишь? — спросил он шепотом.

— Нет еще.

— Ну, давай поговорим.

— Как бы не забыть, — сказал Андрей Христофорович, — мне нужно в город послать. Это можно?

— Сколько угодно, Павел живо скатает. И ты, пожалуйста, не стесняйся, как что нужно — говори. Я очень рад.

— Ну, отправь, пожалуйста, вот это сегодня же.

Перед вечером Авенир повел брата на курган показать красивый вид.

— Пойдем, пойдем. Вот вы там все по Швейцариям сидите, а своего родного не замечаете.

— Что же, в город поехали?

— Ах, братец ты мой! Изума вон! Где Павел? — спросил Авенир, оглянувшись на сыновей, которые молча следовали за ними.

— Он от живота катается, — сказал Николай.

По дороге на курган Авенир вспомнил, что он когда-то был большим любителем театра.

— Я, брат, всем интересуюсь. Ты небось думаешь, что мы живем тут в глуши и ни бельмеса не смыслим. Ну, кто теперь в Малом играет?

— Садовская — бытовых комических старух, — сказал профессор.

— Бытовых комических, — повторил Авенир, — так, слышу теперь.

— Ермолова — драматическая.

— Драматическая? Так.

— Ну, Рыбаков играет стариков, конечно.

— Стариков... А Чацкого кто играет?

— Чацкого недавно играл Яковлев.

— Ну, довольно, а то пере забуду. Вот и курган. Занятно отсюда как виден. Вот картина! А то ваши художники что-то, говорят, завираться стали. Становись сюда, отсюда виднее, — говорил Авенир, втаскивая брата за рукав к себе, так что тот от неожиданности даже не упал.

— Оглянись кругом, какова высота. Что, брат!.. На реку-то глянь, на реку! Ручейком отсюда кажется. Вот отсюда бы читать стихи. Вот статья бы сюда, а слушатели там, где река. Все эти актеры ваши — дрянь. Нужно что-нибудь могущественное. Простор-то какой. Куда ж они, к черту, годятся. — Потом, помолчав, добавил: — Да, лучше наших мест все-таки нигде не найдешь. Один простор чего стоит.

— Ну, милый, одним простором не проживешь. Нужна работа.

— Да над чем работать-то?

— Как над чем?! Теперь и ты спрашиваешь, над чем работать? Так я тебе скажу, что помимо всего прочего, нам нужно работать над тем, чтобы выработать в себе потребность знания и деятельности. Это — первая ступень.

— Ну, от добра добра не ищут, как говаривал Катин дедушка, — сказал Авенир.

— Я пол-Европы объехал, и никто даже не спросил меня ни разу, как и что там. А все от чего? От самоуверенной косности. Ты не обижайся на меня, но мне хотелось наконец высказаться.

— Ну, за что обижаться, бог с тобой! — горячо сказал Авенир.

— Ты живешь тут и ничего не видишь, не видишь никаких людей, никакой другой жизни и заранее ее отрицаешь. Все эти две недели мы только и делаем, что говорим и все ниспровергаем, а между тем я не могу добиться пустяка: послать в город.

— Завтра пошлем, Андрей, ей-богу, пошлем. Это вот некстати у Павла живот заболел.

— Дело не в том, что ты завтра пошлешь, я говорю сейчас вообще... Но самое главное, что у вас нет ни малейшего стремления к улучшению жизни, к отысканию других форм ее. И все это от страшной самоуверенности. Вы не верите ни знаниям, ничему. Я приехал сюда, — слава богу, человек образованный, много видел на своем веку, много знаю, а я чувствую, что вы не верите мне. У вас даже не зародилось ни на минуту сомнения в правильности своей жизни...

— Сядь, сядь сюда на камешек, — сказал Авенир.

— Спасибо, я не хочу сидеть. Ты знаешь, я — профессор старейшего в России университета, — приехав сюда, чувствую, что у тетки Варвары гораздо больше авторитета, чем у меня. Ты ни разу, положительно ни разу, ни в чем со мной не согласился. А подрядчика, который и грамоты, наверное, не знает, ты вчера слушал со вниманием, которому бы я позавидовал.

— Жулик, мерзавец, каких мало, — сказал Авенир. — Он сорок тысяч тут на одной постройке нагребил. Его давно в тюрьму пора.

— Ну вот, а у тебя к нему доля какого-то уважения есть.

— Ну что ты, какое может быть уважение, — сказал Авенир. Потом, помолчав и покачав головой, прибавил: — А все-таки умница! Это уж не какая-нибудь учеба, а природное, настоящее. Нет, ты напрасно, Андрей, думаешь, что я тебя не слушаю, не ценю, я, брат... — Он итал и крепко пожал руку брату.

— Ты знаешь, — продолжал Андрей Христофорович, — когда оглянешься кругом и видишь, как вы тут от животов катаетесь, а мужики сплошь неграмотны, дики и тоже, наверное, еще хуже вашего катаются, каждый год горят и живут в грязи, когда посмотришь на все это, то чувствуешь, что каждый уголок нашей бесконечной земли кричит об одном: о коренной ломке, о свете, о дисциплине, о культуре.

Авенир кивал головой на каждое слово, но при последнем поморщился.

— Что она тебе далась, право...

— Кто — она?

— Да вот культура эта.

— А что же нам нужно?

— Душа — вот что.

## VIII

Уже давно прошел тот срок, который профессор назначил себе для отъезда. Каждый день он просил отпустить его на станцию, и каждый день отъезд почему-нибудь откладывался.

То лошадей не было. То Авенир забыл сказать с вечера малому, чтобы он утром пригнал лошадь из табу-

на. И в последнем случае Авенир хватался за макушку и восклицал:

— Ах, братец ты мой! Как же это я забыл.

Несмотря на живость характера, он так же все забывал, как и Николай.

И все у них было так же, как у Николая. Так же, как и там, говорили не своими словами, а пословицами и поговорками. Были те же приметы, те же средства от болезней. Там ими пользовала всех Липа, а здесь тет-ка Варвара.

— Да что вы — часто бываете друг у друга, что ли? — спросил один раз профессор, думая в этом найти причину такого сходства.

— Пять лет друг друга не видели. Когда Катиного дедушку хоронили, с тех самых пор, — сказал Авенир, — а что?

— Так, пришло в голову. И, пожалуйста, дай мне завтра лошадей.

— Все-таки завтра?

— Что значит «все-таки», когда я у тебя каждый день прошу.

— Не выйдет завтра, — сказал Авенир.

— Отчего?

— Тарантас сломан.

И еще раз убеждался Андрей Христофорович, что эти люди совершенно не могли жить в каких-либо определенных сроках. Все определенное, заключенное в какие-нибудь рамки, не укладывалось в их натуре. Если Андрей Христофорович говорил, что ему нужно ехать к 15 числу, Авенир возражал на это:

— Не все ли равно тебе к шестнадцатому? Эка важность — один день.

Накануне отъезда, когда все сидели за ужином и ели квас и таранку, кто-то стукнул в окно. Авенир вышел в сени и через минуту вернулся с письмом.

— От Николая, — сказал он.

Распечатали конверт. Там было короткое извещение: Липа умерла. Отчего — неизвестно. Пришла с пасеки, съела две тарелки крошки, а к вечеру и померла.

Все удивились. Катя перекрестилась и долго ути-



рила слезы. И все вспоминали, какая была хорошая стиралка — Липа.

— Теперь без нее плохо будет Николаю, — сказал Авенир, — заболеет кто — лучше ее никто не знал, как помочь.

— И отчего умерла, — сказала Катя, — хоть бы болела какая была...

— Ну, да смерть окладное дело, все туда пойдем. А жиль, заговоров одних сколько знала.

А потом заговорили о другом и через полчаса уже забыли про Липу.

— Ну, вот хорошо, что побывал у нас, освежился, по крайней мере, — говорил Авенир брату, когда наконец у крыльца стоял добытый у кого-то вместо сложенного тарантаса рыдван, обитый внутри полосатым ситцем.

— Ты пиши, кто в театрах будет играть в следующем сезоне. Я, брат, всем интересуюсь. Так как бишь? Ермолова — драматическая, Садовская — трагическая.

— Комическая.

— Да, комическая. Помню, помню, ты сказал: комическая. А Рыбаков, значит, Чацкого.

— Да какого Чацкого! Рыбаков — старик!

— Тьфу, старик! Ну, конечно, старик. Я это запишу. Пиши о событиях. До нас немцы, положим, не дойдут. Клянися, брат, Москве, скажи ей, что за нею стоит сила. Вот она! — И он с размаху ударил по плечу Петра, который даже не пошатнулся. — Уж она себя покажет в случае чего. А, Петух?

Петр повернул свою огромную на толстой шее голову и вдруг, не удержавшись, усмехнулся так, что профессору стало жутко. Такая усмешка появлялась у Петра, когда Павел рассказывал про него, как он один со своим «Белым» травил десяток деревенских собак.

— Ну, с богом!

Андрей Христофорович простился с Авениром, который заключил его в свои объятия и троекратно поцеловал. Потом простился с Катей и, пожав огромные кисти своих племянников, сел в рыдван.

Лошади тронули. Его сейчас же толкнуло в затылок, потом подбросило вверх и пошло перебрасывать с боку на бок.

Андрей Христофорович точно в лодке в бурю держался обеими руками за края экипажа.

— Заваливайся и спи! — крикнул ему Авенир, стоя без шапки посередине дороги. — Дай бог!

1916



**В** разбитую парадную дверь восьмизэтажного

дома вошли старичок со старушкой. Столкнувшись с каким-то выходившим человеком, старичок спросил:

— Скажи, батюшка, как пройти к швейцару бывшему Кузнецову?

— Идите на пятый этаж, считайте снизу пятнадцатую дверь. Только по стенке правой стороны держитесь, а то огня по всей лестнице нет и перила сломаны.

— Спасибо, батюшка. Старуха, не отставай. Права держи. О господи, батюшка, ну и темень...

Некоторое время было молчание.

— Да не лети ты так! Чего понесся, постой, говорю!

— Что ты там?

— Что... запуталась тут где-то...

— Вот еще наказание. Говорил — сиди дома. Куда нечистый в омут головой понес? Ой, мать, пресвятая богородица, и чем это они, окаянные, только лестницу поливают? Начал по дверям считать, поскользнулся и спутался. Вот и разбирайся теперь, сколько этажей прошли...

— Да куда ты всеверху-то лезешь?

— А ты думаешь, на пятый этаж взобраться все равно что на печку влезть? Черт их возьми, нагородили куланчей каких-то, чисто на Ивана Великого лезешь. Что-то даже голубями запахло.

— Ты смотри там наскрозь не пролезь.

— Куда — наскрозь? Ой, господи, головой во чтой-то уперся... Что за черт? Куда ж это меня утораздило?.. Даже в пот ударило. Хоть бы один леший какой вышел. Прямо как вымерли все, окаянные...

Бывший швейцар, переселившийся из своего полуподвала в пятый этаж, сиделся вечером пить чай, когда на лестнице послышался отдаленный крик.

Через минуту крик повторился, но уже глуше и где-то дальше.

— Кого это там черти душат? Выйди, узнай, — сказала жена, — еще с лестницы сорвется. Перила-то, по-честь, все на топливо растаскали.

Швейцар нехотя вышел на лестницу.

— О господи, батюшка, — донеслось откуда-то сверху, — уперся головой во чтой-то, а дальше ходу нет.

— Да куда тебя нелегкая занесла! — послышался другой голос значительно ближе.

— Должно, дюже высоко взял. Уперся головой в какой-то стеклянный потолок, а вниз ступить боюсь. Замерли ноги, да шабаш. Уж на корячки сел, так пробую.

— Кто там? Чего вас там черти носят? — крикнул швейцар.

— Голубчик, сведи отсюда! Заблудились тут в этой темноте кромешной. Стал спускаться, да куда-то попал и не разберусь: где нихватишь — везде стены.

— К кому вам надо-то?

— К швейцару, к бывшему.

— Да это ты, что ли, Иван Митрич?

— Я, батюшка, я! К тебе со старухой шел, да вот нечистый попутал, забрел куда-то и сам не пойму. Чуть вниз не чубурахнул. А старуха где-то ниже отбилась.

— Я-то не отбилась. Это тебя нелегкая занесла на самую голубятню.

Швейцар сходил за спичками и осветил лестницу. Заблудшийся стоял на площадке лестницы, в нише, лицом к стене и шарил по ней руками.

— Фу-ты, черт! Вон куда, оказывается, попал. Все правой стороны держался. Лестница-то вся обледелена, как хороший каток... того и гляди.

— Воду носим, — сказал швейцар, — да признаться сказать, и плеснули еще вчера маленько, а то, что ни день, то какая-нибудь комиссия является — кого уплотнять, кого выселять. Тем и спасаемся. Нижних уплотнили, а до нас не дошли — так вся комиссия и съехала на собственном инструменте.

— Надо как-нибудь искитряться.

Все спустились в квартиру.

— Ну и страху набрался, — говорил гость, — думал, ума решаюсь: где ни хвачу рукой — везде стенка...

— Спервоначалу тоже так-то путались, — сказала жена швейцара, — зато много спокойней. Сами попривыкли, а чужому тут делать нечего.

— Это верно. А то какой-нибудь увидит, что чисто, сейчас тебя под статью подведет, и кончено дело.

— Не дай бог...

— А вот хозяин мой этого не понимает, все норовит чистоту навести.

Швейцар молчал, а когда жена вышла на минуту в коридор, сказал:

— Наказание с этими бабами... Перебрались сюда, думал, что получше будет, чем в подвале, а она тут как основалась, так и пошла орудовать. Из кресел подушки зачем-то повытащила. Теперь у нее в них куры несутся. Тут у нее и поросенок, тут и стирка, тут и куры, а петуха старого вон между рамами в окно пристроила.

— Отдельно? — спросила старушка-гостья.

— Да, молодого обижает. Это они с невесткой тут орудовали, когда я за продовольствием ездил. Из портьер юбок себе нашили. Не смотрят на то, что полоска поперек идет, вырядилась и ходит, как тигра, вся полотною.

За дверью слышалась какая-то возня и голос хозяйки:

— Ну, иди, домовой, черти тебя носят!

Дверь открылась, и из темноты коридора влетел выпихнутый поросенок, поскользнулся на паркете и окотбенел; остановившись поперек комнаты, хрюкнул.

— Это еще зачем сюда?

— Затем, что у соседей был. Спасибо, хватилась, а то бы свистнули.

— Ты бы еще корову сюда привела, — сказал утрюмо швейцар.

— А у тебя только бирюльки на уме... Вот хозяина-то бог послал...

— Ну, старуха, будет тебе...

— Да как же, батюшка: барство некстати одолело. Первое дело из подвала сюда взгромоздился. Грязно ему, видите ли, там. Умные люди на это не смотрят, а глядят, как бы для хозяйства было поудобнее. Теперь вон на нашем месте что поселились, — у них коза прямо из окна в сад выходит. А тут поросенка сама в сортир носи. А лето подойдет, погулять ему, — нешто его, демона, на пятый этаж втащишь. И опять же каждую минуту выселить могут. Это сейчас-то отделяваешься: лестницу водой поливаешь, а летом, брат, не польешь...

На лестнице опять послышался какой-то крик и странные звуки, похожие на трепыханье птицы в захлопнувшей клетке.

— Что это там, вот наказание. Пойди посмотри.

Швейцар вышел, и хозяйка продолжала:

— Вон соседи у нас — какие умные люди, так за чистотой не гонятся. Нарочно даже у себя паркет выломали, чтоб никому не завидно было, два поросенка у них в комнате живут, да дров прямо бревнами со снегом навалили. А окно разбитое так наготове и держат — подушкой заткнуто, — как комиссия идет, они подушку вон и сидят в шубах. Так у них не то чтоб комнату отнимать, а еще их же жалеют: как это вы только живете тут? А они — что ж, говорят, изделаешь, время тяжелое, всем надо терпеть. Вот это головы, значит, работают.

— Верно, матушка, верно.

— Тоже теперь насчет лестницы: освещение было сделал, мои матушки! Ну, лампочку-то хоть на другой день какие-то добрые люди свистнули. Я уж говорю: что ж ты, ошалел, что ли? Сам в омут головой лезешь. Теперь каждый норовит в потемочках отсидеться, а ты прямо на вид и лезешь. Вот теперь темно на лестнице, сам шут голову сломит, зато спокойны: ни один леший за комнатой не лезет, от всякого ордера откажется. Намедни комиссия приходила, чуть себе затылки все не побили: поскользнется, поскользнется, хлоп да хлоп!

Вдруг на лестнице послышался голос швейцара, который кричал на кого-то:

— Куда ж тебя черти занесли? Не смотрите, а потом орете. Вот просидела бы всю ночь тут, тогда бы знала.

Швейцар вернулся в свою комнату и с досадой хлопнул дверью.

— Что такое там? — спросила жена.

Швейцар повесил картуз на гвоздь, потом сказал:

— Старуха какая-то не разобралась в потемках, вместо двери в лифт попала да захлопнулась там.

1917



**П**оезд медленно взбирался на подъем.

В стороне от полотна дороги виднелась усадьба с елками.

Посредине зеленой лужайки с бывшими когда-то цветниками возвышалась груда битых кирпичей и мусора.

А по сторонам стояли с раскрытыми крышами амбары и сараи, с сорванными с петель дверями и воротами.

— Вон они, умные головы, что тут наработали, — сказал сидевший у окна вагона рабочий в теплом пиджаке и шапке с наушниками. — Заместо того чтобы народное добро сберечь, они по ветру его пустили.

— У нас тут везде так-то, — отозвался сидевший против него мужичок в полушубке, поминутно почесывавший то плечо, то под мышкой. — Я сторожем в саду был у нашего помещика — вроде как садовник, — так все по бревну растащили. Дом был громадный, полы эти, как их... паркетные были, а в сенцах пол мраморными плитками весь выстелен был. Так их ломали, эти плитки-то, да таскали домой. Через месяц на этом месте только куча кирпичей осталась, не хуже этого. Вот ей-богу.

— Ну вот, — сказал рабочий, — от большого ума.

— Потом сторожем меня от общества к усадьбе приставили от разграбления, — продолжал мужичок.

— Что ж ты, сторожем был, а у тебя только кирпичи остались?

— Одна проформа, — сказал мужичок, махнув рукой и посмотрев в окно. — Им говоришь, а они: «Мы, говорят, тебя поставили, значит, мы хозяева. А то, говорят, вовсе прогоним, если воровать мешать будешь». Ну, недели две всего и посторожил.



— А от кого сторожил-то? — спросил кто-то.

— От кого... А кто ее знает, от кого. Для порядка, — сказал мужичок. — Да мне и не платили ничего, только что сам утащишь, то и есть.

В это время вошел новый пассажир, малый в картузе с острыми краями и причудливой тросточкой, так что все сначала посмотрели на тросточку, а потом уже на него.

— Можно сказать, в наследство богатство досталось, — сказал рабочий, бросив взгляд на тросточку. — и ежели бы люди с разумом да с образованием, так тут бы каких делов наделать можно. Небось сами в свинных закутках живете, а какой домино своротили ни за что.

— Я тут ни при чем, — сказал мужичок, — я брал, что без лому. И другие бы ничего. А тут в соседней деревне как стали тащить, поневоле себе... Там целыми юзами возили.

— Целыми возами! — сказал старичок из мещан в пиджаке и с толстым шарфом на шее, придвинувшись поближе к говорившим.

— Умные головы... — сказал опять рабочий, утрюмо глядя в окно, — заместо того чтобы с пользой употребить, они его по бревну...

— Покамест ты их с пользой-то будешь употреблять, от них щепки не останется, — сказала дружно несколько голосов.

— Нешто можно, время горячее, — отозвался старичок с шарфом.

— Сначала захвати, а потом будет что с пользой употребить, — сказал еще голос невидимого пассажира откуда-то сверху. Очевидно, он лежал на самой верхней полке и, свесив оттуда голову вниз, слушал, что говорят.

— У нас тоже иные умники так-то вот говорили, все ждали, не трогали, а на поверку остались без всего, — сказал мужичок в полушубке.

— Это что там говорить. Бобы-то разводить всякий...

Рабочий, на которого напали со всех сторон, казалось, был сконфужен и некоторое время не находил что сказать. Потом вдруг обернулся к мужичку, кото-

рый в это время свертывал папироску, положив на колени кисет с махорчиками по углам, и спросил его в упор:

— К какой партии принадлежите?..

Все замерли, повернувшись к мужичку и ожидая, что он скажет.

— Социалисты мы... ну? — ответил мужичок, глядя прямо в глаза рабочему, как будто он был готов сколько угодно выдержать вопросов.

— Социалисты... Нешто социалисты так должны поступать?

— А как же еще?

— Как... — упрямо отозвался рабочий, — чтобы всем досталось, вот как.

— Кто не зевал, тем и досталось. Нешто мы запрещали. Я вон сторожем был и то ни слова никому. Вот кабы мы сами воровали, а другим не давали, вот бы тогда другое дело.

— Тогда б вы вовсе жулики были.

— А теперь кто?

— А черт вас знает.

— То-то вот и оно-то.

— Без обозначенья остались... — заметил старичок с шарфом, с улыбкой слушавший разговор.

— Без обозначенья, зато с добром, — сказал сторож, сматывая кисет и держа свернутую папироску в зубах.

— С каким добром?

— С хлебом, с каким же больше... А вон у нашего барина в саду куклы белые какие-то были, так их, конечно...

— Толку мало...

— Мы тоже так-то, — сказал парень с тросточкой, — когда своего разбирали, так думали — конца добру не будет: и хлеба, и всего, а как пошли, так окромя цветочков, да картинок, да финтифлюшек разных, ни черта и нету.

— Не понимаешь ни черта — вот и нету, — сказал рабочий.

— Да чего ж тут понимать, — сказал парень, — кабы люди делом занимались, а то он все баб срисовывал.

— А куклы белые были? — спросил сторож.

— Были.

— Ну вот, до старости дожили, а на уме все куклы.

— Вот так наследство досталось! — сказал старичок с шарфом, засмеявшись.

— Кто век свой не работает, от того много не остается.

— Цветочки да картинки получай. А тут хлеба нету.

— Мы этими картинками и так уж горшки накрываем.

— Больше их и некуда.

— Опять же цветы эти... Вот себе только тросточку и сделал, — сказал парень.

Все посмотрели на тросточку.

— Из какого дерева? — спросил сторож, взяв в руки тросточку и осматривая ее.

— А чума ее знает. Высоченное какое-то стояло, листья в целый пирог... Это уж я из сучка сделал.

— Только всего и наследства получил? — спросил веселый старичок с шарфом.

— Наследство хорошее... — отозвалось несколько насмешливых голосов.

— Пойди поищи охотника, может, и тросточку твою купит. У них есть такие. Они всякую чепуховину покупают, ездят тут.

— Есть, есть, — сказал парень, — к нам приезжали, нас кукол этих спрашивали, а мы им всем почесть носы поотбивали.

— И без носу возьмут.

— Что трудовому народу даром не нужно, они еще деньги хорошие заплатят.

— Очень просто. К нам все приезжали уж от начальства, из Москвы, картины искали. А у нас только от них одни рамы остались, хорошие рамы были.

— Со стеклами?

— Стекла-то мы раньше выбили.

— Да... наследство...

Поезд остановился. Вошел еще пассажир, высокий худой мужик в старом оборванном лохматом полушубке с мешком на спине, под тяжестью которого он согнулся.

Все молча посмотрели на него.

Он, ни на кого не глядя, искал глазами по полкам места, чтобы положить мешок, который, видимо, оттянул ему все плечи.

— Тяжелый мешок-то? — ласково сказал старичок с шарфом.

— Тяжелый, чума его задави, — сказал мужик и с досадой ткнул мешок на лавку, в угол, придавив его руками, чтобы он не валился.

Он ответил с такой досадой, с какой отвечает мачеха, у которой спрашивают про мальчика, думая, что это ее сын.

— Что в мешке-то? — спросил старичок.

— Книги... — неохотно ответил мужик. Он снял лохматую баранью шапку и почесал спутанные волосы, оглядывая вагон, как бы не зная, стоять ему тут или идти дальше искать места, где можно сесть.

Рабочий быстро взглянул на мешок.

Сторож заметил его взгляд и, подмигнув соседу, спросил у мужика:

— Всем достались?

— Кто дурак был, тем и достались, — раздраженно ответил владелец мешка.

— Тоже наследство, значит? — спросил парень с тросточкой.

— Чего?

— Откедова, говорю, везешь?

— Вон, с экономии, — сказал недовольно мужик, ткнув корявым пальцем куда-то в угол через плечо.

Все помолчали.

— Что ж так плохо? Ничего не было больше-то?

— Быть-то было... Да мы схватились, когда умные люди все путное уж разобрали. Нам только одни книжки достались, отобрал какие потолще, да и сам не рад.

— А вам что надо-то было? — сказал парень с тросточкой.

— Хлеба искали...

— А куклы белые были? — спросил сторож.

— Были... — ответил угрюмо мужик.

— Значит, все как полагается.

— Как человек умный, так он из всего пользу делает, а как дурак — ему ни от чего проку не будет. —

сказал долго молчавший рабочий, уже покинутый всеми.

— Пойди-ка вот из этого пользу сделай, — сказал парень с тросточкой. Он достал из мешка самую толстую книгу, подержал ее на руке, как бы пробуя вес, покачал с усмешкой головой и развернул.

Все притихли и смотрели то на книгу, то на парня.

— Словарь ан...ан...глийский, — прочел он, — а дальше крючки какие-то. Тащи, брат, штука хорошая попалась.

— Горшки накрывать годится, — сказал с полки невидимый пассажир. — Это еще способней картинок.

— Куда, — тяжельше. Гнет тоже на творог хороший.

Мужик молча взял книгу, сунул ее в мешок и, наступив лаптями на ноги сидевших в проходе, пошел в своем прорванном кафтанишке обиженно искать другого места.

— Ай да наследник! — сказал ему парень вслед.

— Да, жили, жили целый век на трудовой шее, а пришел народ наследство получать — и нету ничего.

— Дураку никакое наследство впрок не пойдет, — сказал рабочий.

— А горшки-то накрывать зато есть чем, — сказал неслый парень.

Все засмеялись.

Дня за три до престольного праздника

председателя сельского совета вызвали в волость.

Оставив ребятишек курить самогонку, он пошел с секретарем.

Проходя по деревне, они посмотрели на трубы и покачали головами: из каждой трубы вилась струйка дыма.

— Все работают... — сказал председатель. — Думали ли, что доживем до этого: у каждого дома свой завод винокуренный.

— Благодать, — отвечал секретарь, — не напрасно, выходит, головы-то ломали.

Через полчаса они вернулись бегом. Председатель стучал в каждое окно и кричал:

— Гаси, дьяволы, топку. Объявляю все заводы закрытыми.

И когда из изб выскакивали испуганные мужики и спрашивали, в чем дело, он кричал:

— Агитатор по борьбе приехал. Держи ухо востро. Прячь.

— Да куда ж ее девать-то теперь, когда уж затерто все?

— Куда хочешь. Хоть телятам выливай. А ежели у какого сукина сына найду, тогда не пеняй. — И побежал дальше.

— На собрание!.. — кричал в другом конце секретарь.

— Сейчас, поспеешь, дай убрать-то.

— Вот и делай тут дело, — говорили мужики, бегая с какими-то чугунами, и сталкивались на пороге с ребятишками, которые испуганно смотрели вслед.

— Вы чего тут под ногами толчетесь! Вас еще не хватало. Бабы, работай! Волоки чугуны на двор.

Через полчаса председатель вышел на улицу и посмотрел на трубы. Дыму нигде не было.

— Здорово сработали, — сказал секретарь, — в момент вся деревня протрезвела.

— Дисциплина.

Приехавший человек, в кожаной куртке с хлястиком сзади и с портфелем в руках, пришел в школу, где было назначено собрание, и прошел через тесную толпу, которая раздвигалась перед ним на обе стороны, как это бывает в церкви, когда проходит начальство.

Остановившись перед столом, приезжий разобрал портфель, изредка поправляя рукой, закидывая назад волосы, которые у него все рассыпались и свешивались наперед, когда он наклонялся над столом. Потом он несколько времени подозрительным взглядом смотрел на толпу и вдруг неожиданно спросил:

— Самогонку гоните?..

Все молчали.

— Кто не гонит, поднимите руки.

Все стояли неподвижно.

— Что за черт... — сказал приезжий. — Всей деревней валяете! — И обратился к переднему: — Ты гонишь?

— Никак нет...

— Так чего ж ты руки не поднимаешь?

— А что ж я один буду?

— А ты?..

— Никак нет.

— Так вот... товарищи, объявляется неделя борьбы с самогонкой: кто перегоняет хлеб на водку, тот совершает величайшее преступление, так как этим самым подрывает народное достояние. Хлеба и так мало, его надо беречь. Понятно?

— Чего ж тут понимать. Известное дело... — сказали несколько голосов.

— Ну вот. И вы сами должны смотреть, если у вас есть такие несознательные члены общества, которые не понимают этого.

Передние, стоя полукругом перед столом, со снятыми шапками в руках, как стоят, когда слушают проповедь, при последних словах стали оглядываться и во-

дить глазами по рядам, как бы ища, не окажется ли здесь каких-нибудь несознательных членов.

— А то я проезжал по одной деревне, а там почти из каждой трубы дымок вьется.

— Нешто можно... Да за такие дела... тут дай бог только прокормиться.

— Праздник... — сказал чей-то нерешительный голос сзади.

— Мало ли что праздник. У вас вон тоже праздник, а дыму ведь нет.

Крайние от окон мужики пригнулись и зачем-то посмотрели на улицу, поведив глазами по небу.

— А нельзя эту неделю на ту перенести? — спросил чей-то нерешительный голос.

— Что?..

Вопрос не повторился.

— А по избам пойдете?

— Что там еще?

Ответа не последовало.

Через полчаса приезжий, закинув рукой волосы назад, вышел из школы. Все, давя друг друга в сенях, вытеснились за ним на улицу и, затаив дыхание, ждали, куда пойдет... Приезжий стоял с портфелем в руках и водил глазами по крышам изб. Мужички, справляясь с направлением его взгляда, тоже водили глазами.

— Дыму, кажется, нигде нет, — сказал приезжий.

— У нас никогда не бывает, — поспешно ответил председатель, протискавшись вперед.

— Это хорошо. А то у ваших соседей из каждой трубы дымок.

— Дисциплины нету, — сказал секретарь.

— Ну, так вот... объявляется, значит, неделя борьбы с самогонкой. Слушайте председателя и во всем действуйте ему.

— А после этой недели как?..

— Что?..

Никто ничего не ответил.

— Наказание божие, — говорили мужики, — праздник подходит, все приготовили честь честью, затерли, вдруг нате, пожалуйста.



— Скоро еще, пожалуй, объявят, чтоб неделю без порток ходить.

— Вроде этого. У людей праздник, а у них — неделя.

— А может, разводить начинать? — сказал голос сзади, когда приезжий скрылся за поворотом дороги.

— Я те разведу... — крикнул председатель. — Раз тебе сказано, что в течение недели — борьба, значит, ты должен понимать или нет?

Подошел, запыхавшись, кузнец. Его не было на собрании.

— Где пропадал?

— Где... — сказал кузнец, вытирая о фартук руки, — баба со страху корове вывалила затирку из чугуна, а та нализалась и пошла куролесить, никакого сладу нет.

— Прошлый раз так-то тоже прискакали какие-то, — сказал шорник, — а у меня ребяташки курили, да так напсвистались, шатаются, дьяволята. Один приезжий что-то им сказал, а мой Мишка восьмилетний — матом его. Ну, прямо обмерли со старухой.

— С ребятами беда. Все с кругу спились.

— Заводчики — своя рука владыка.

— Моему Федьке девятый год только пошел, а он каждый божий день пьян и пьян, как стелька.

— Молод еще, что же с него спрашивать.

— Да, ребятам — счастье: нашему брату подносить стали, почесть, когда уж женихами были, а эти чуть не с люльки хлещут.

— Зато будет что вспомнить.

— На войне уж очень трудно было. Пять лет воевали, и скажи, голова каждый день трезвая. Ну, прямо на свет божий глядеть противно было.

— А тут опять теперь затеяли. Что ж, они не могли в календарь-то посмотреть; под самый праздник подгадали.

Председатель что-то долго вглядывался из-под руки в ту сторону, куда уехал агитатор, потом спросил:

— Не видали, что, он мостик проехал или нет?

— Вон, уже на бутор поднимается, — сказала несколько голосов, и все посмотрели на председателя. Тот, достав кисет и ни на кого не глядя, стал свертывать шпиреску.

— Да, во время войны замучились. Бывало, праздник подойдет — водки нет. И ходят все, ровно потеряли что. Матерного слова, бывало, за все святки не услышишь.

— Вот это так праздник.

— Это что там — мертвые были.

— Эх, когда заводы громили... Вот попили... в слободке, как дорвались до чанов со спиртом, так и пили, покамест смерть не пришла.

— Вот это смерть... в сказке только рассказывать.

— Да... бывало, по деревне пойдешь, словно вымерла вся: без памяти лежит.

— Свободы настоящей нет. Эх, — сказал кто-то, вздохнув. — Ведь это сколько даром хлеба-то пропадает — на этот налог обирают. Ведь ежели бы он целиком-то оставался, тут бы как с осени котел вмазал, ребят в дело запряг и лежи, прохлаждайся. А то вот праздник подходит, а мы как басурмане...

— Наоборот все пошло, — сказал кто-то, — прежде под праздник люди были пьяные, коровы трезвые, а теперь люди трезвые, коровы пьяные.

Кузнец только молча плюнул. Потом, немного погодя, сказал:

— Бутылки на две выжрала, анафема.

— А какую водку стали было гнать. Прежде, бывало, пьешь, — мать пресвятая богородица, за что ж ты наказала, и гарью какой-то и дегтем от нее воняет, после головы не подымеешь. А теперь только наострились, а они со своими неделями. Да аппараты еще отбирают. Значит, опять на стену лезть.

— Нешто они об этом думают? Им одна только забота — дело развалить.

— Да нешто без водки можно? Не говоря уж о том, что душа требует, а и дела без нее никакого не сделаешь: заявление какое подать, в волость идти — что ж, ты и явишься с пустыми руками?

Председатель молча курил и, сплевывая, все поглядывал на бутор.

— Верно, верно, — отозвались дружные голоса.

— Я вот лошадям своим пачпорт опоздал выправить. Им уж давно совершеннолетие вышло, а они у меня

без прописки сидели. Думал, засудят. А привез три бутылочки...

— Ежели где председатель хороший, понимающий попадется, там жить еще можно.

— А главное дело, все равно это ни к чему: раз природой устроено, тут мудри не мудри, все то ж на то ж сойдет.

— Это верно... прошлый год всю рожь на водку перегнали, сами не жрамши на одной мякине сидели, а к празднику у каждого полное обзаведение, и на первый же день праздника так насвистались, что как колчупшки лежали.

— Как же можно... народ-то православный, слава тебе господи, лбы еще не разучились крестить, особенно, где председатель понимающий.

Председатель докурил папироску и, оглянувшись на бугор, сказал:

— Скрылся...

Все повернулись к нему и замерли.

— По случаю праздника... принимая во внимание местные нужды и обстоятельства населения... объявлю заводы... открытыми. Но ухо держи востро. Ежели в эту неделю кого замечу, спуску не дам.

— А как же дым-то? — сказал кто-то сзади.

— Дым куда хочешь девай, и ребят пьяных по улице не распускать, а то так-то какой-нибудь нагрянет, а они у вас лыка не вяжут.

— Слушайся председателя, — сказал секретарь.

## Трудное дело

**П**редстояло совершенно новое дело:

дележка помещичьей земли. Собрание происходило около чайной на траве.

Председатель вынул из бокового кармана френча часы и, посмотрев на них, сказал:

— Открываю собрание... Товарищи, землю будем делить не нынче, как хотели, а завтра. А нынче лучше столкнемся обо всем.

Все разговоры стихли. Никто ничего не ответил.

— Чтoб разговору после не было, — сказал Федор.

— Чтo ж, пушай, — отозвалось нерешительно несколько голосов.

— Делить будем не в собственность, а во временное пользование, — сказал председатель.

— Чтoб на срок только, — нерешительно пояснил Федор, как бы не совсем уверенный в своем толковании, посмотрев при этом на председателя.

Но, несмотря на толкование Федора, все загудели.

— Это, значит, воевали, воевали и опять насчет земли утерлись?..

— Обуть хотят...

Федор в затруднении переводил взгляд с председателя на мужиков и не знал, что ему делать.

— Прежде хоть какая ни на есть, а была собственность, — сказал Иван Никитич, — а теперь хочуть уж и к этой подобраться...

— Да, это дело неподходящее, — сказал Федор и, отойдя от крыльца чайной, где стоял председатель, сплюнул. Потом подошел к мужикам.

— Да, это выходит, что работаешь, работаешь, а она все не твоя...

Председатель стоял молча на крыльце и слушал,

поглядывая то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, где больше кричали.

— Теперь я говорить начинаю. Слушайте! — крикнул председатель.

Все замолчали.

— Галдите, а чего — сами не знаете. Это делается для того, чтобы кулаки не могли скупить землю у беднейших. Беднейший может ослабеть, а кулак купит у него землю, он опять гол как сокол. А теперь, когда собственности не будет, беднейших разорить никто не может.

Все опять замолчали.

— Он бы рад скупить, ободрать бедного человека, — сказал Федор, подходя опять ближе к крыльцу, — а нельзя, потому законом запрещено.

И он оглянулся за подтверждением на председателя.

— Это правильно, — сказали нерешительно перелетевшие.

— Что ж, тогда так, видно, надо, — отозвались задние.

— Вот, скажем, у меня земля стала плохо рождать, — говорил негромко Афоня Сидору, — ежели в собственность, так я так и сиди, значит, на ней, покамест не околеешь, а временное пользование, то при другом перераспределении я опять свеженькую получу.

Длинный, унылый Сидор, тяжело моргая, казалось, с усилием усваивал то, что ему говорил его приятель.

Все, притихнув, слушали, что говорит Афоня.

— Или, скажем, у меня на другой год рвы размоет или кочки повыскочат, — сказал Софрон, — тогда эту получай, а мне давай хорошую.

— Правильно, — сказали все.

— Значит, собрание окончательно решило во временное пользование? — спросил председатель, поставив стоймя карандаш на обшивку крыльца.

— Постой, постой! Дай сообразиться, — торопливо крикнул кто-то, — а то сразу не разберешься.

Все замолчали и стали переглядываться.

— Гляди не попади... — сказал сзади неизвестно кто.

— Не согласны!.. — крикнули также поспешно почти все в один голос.

— Да, накошеляешь себе на шею, а потом распутывайся, — сказал Федор, отходя опять от крыльца.

— Я свою буду навозить, ходить за ней, а какой-нибудь лодырь, может, одного возу не вывезет, и ему через год перейдет моя навоженная, а я получай постную, — сказал Иван Никитич.

— К черту! Не желаем! — закричали уже все. — В собственность давай!

Председатель стоял на крыльце и ни слова не говорил, спокойно глядя на мужиков, которые размахивали перед самым его носом руками и кричали, что их не обуешь, головы, слава тебе господи, работают.

— Воля ваша, берите в собственность, — сказал он, — только тут вы, пожалуй, промахнетесь.

— А что? — спросил тревожный голос из середины толпы.

— А то, что ежели получите в собственность, то сколько кому придется, столько и навсегда останется. А ежели во временное пользование, то можешь получать по своей потребности: скажем, родился у тебя сын — получай лишнюю палку на него. Или кто выписался из общества, опять дележка на всех поровну.

Все замолчали. Федор опять подвинулся к крыльцу.

— Ежели прибавится, тогда что ж, надо подумать...

— Мало ли кто может уехать, не пожелает в деревне жить, — сказал Федор, — вот его землю и давай.

— Правильно, тут и раздумывать нечего! — крикнули сзади.

— Значит, постановлено?

Все хотели было согласиться, но сзади кто-то сказал:

— Это, выходит, какой-нибудь черт наплодит целую кучу ребят, а у меня для него землю оттяпают... Здорово!

— Они будут ребят рожать, а мы им землю готовить — тоже здорово! — слышался еще один голос.

Подожли еще несколько человек запоздавших. Это все были вернувшиеся с фронта молодые солдаты и фабричные рабочие. Они прошли на крыльцо и сели около председателя, свертывая папироски и поглядывая на толпу.

Потом один из них в распахнутой шинели встал и сказал:

— Прошу слова.

При этом он взял из рук председателя карандаш. Все замолчали.

— Таким манером вы будете галдеть до самого вечера, а толку все равно у вас никакого не будет, — сказал он. — И нищие все будете ходить. А хотите жить по-человечески или нет? — спросил он решительно.

— Отчего не хотеть?

— Ну вот. Тогда надо всем не только землю, а все вместе делать. А то у одного, скажем, молотилка есть — он молотит, а другие облизываются. У другого земля есть, а лошади нету. А сделать все общее — землю, скот, инвентарь, — вот у всех все и будет. Правильно я говорю или нет, товарищи?

— Правильно, — сказал Федор.

— Правильно... — нерешительно отозвались все.

— А то иному нужно что, он пойдет просить у соседа, дадут тебе или нет, это еще неизвестно.

— Нипочем никто не даст! — сказали дружно все в один голос.

— Вот умный человек пришел, все стало на свое место.

— А тогда мы все устроим в лучшем виде: земля общая, значит, и семена общие. Ссыплем все в один амбар — и кончено дело.

— По потребности будут и пользоваться.

— Это я, значит, спину буду гнуть, а Захар Алексеевич, что сидит все время на завалинке, будет пользоваться? — сказал опять Иван Никитич.

Захар Алексеевич, сидевший на бревне опустив голову и державший бороду в кулаке по своему обыкновению, поднял голову, посмотрел на говорившего и опять принял прежнее положение.

— А вот я сейчас спрошу, — сказал оратор. — Товарищи, он беднейший?

— Беднейший, — сказали все.

— А что, мы должны помогать слабым или нет? — спросил он громким среди тишины голосом.

— А то нешто мы звери какие, — отозвались все.

— Значит, вопрос отпадает. Дальше, потребуются для всего хранилища, скажем для молока. Выстроим

общий ледник и поставим его посредине села, чтобы никому не было обидно, — сказал опять солдат.

— Около церкви, — сказал Федор, — это хорошо.

— Захотелось молочка хлебнуть — и беги с богом с Ивановской слободы, — сказал Сенька. — Попил — тем же порядком назад. Раза три сбегашь — заснешь лучше.

Все оглянулись на него и озадаченно молчали. Никто даже не улыбнулся на шутку.

— Ну прямо мозги в голове все перевертываются, — сказал кто-то.

— Да, работу хорошую задают.

Встал председатель и, постучав карандашом, сказал:

— Вон в городах на фабриках теперь все будут вместе обедать, по звонку, никому отдельно и готовить не надо, — мы тоже можем сделать так. То у вас двести хозяек обед готовят, а их, самое большее, десять человек потребуется, а остальные другое, что нужно, делай. Правильно?

— Правильно, — сказал кто-то нехотя и прибавил: — Этот черт как подденет, так и повезет, пропади он пропадом.

— Набрались там...

— Что ж мы, собаки, что ли, ученые, по звонку будем бегать?

— У тебя, может, живот болит, а в это время в колокол в этот ударили. Ты, значит, подбирай огузья и беги опрометью? — сказал еще один голос.

— Или, скажем, к куме зашел, а тут опять колокол, — значит, бросай все и мчись?

— Не желаем. Ссаживай! — закричали все и, загалдев, перепутались. А Николай, сапожник, вскочил на бревно и стал говорить против.

Сидевшие на крыльце что-то говорили председателю, но он, не слушая, стоял на крыльце и смотрел на мужиков. Потом он сошел с крыльца и молча встал на дубовый обрубок, сделавшись при этом на голову выше Николая.

Мужики, начавшие было собираться около Николая, который говорил против председателя, остано-



лись и посмотрели на председателя. Тот стоял неподвижно и спокойно смотрел на них.

— Что за черт, чего стал? — спросил кто-то.

— Знать, чтой-то сказать хочет.

— Так чего ж он молчит-то?

— Черт-те что, стал статуем каким-то и молчит, — говорили в толпе.

Но те, кто говорил это, протеснялись через толпу и понемножку подходили к председателю, окружая его. И чем он дольше молчал, тем больше редел круг слушателей около Николая. Наконец кто-то и вовсе крикнул на Николая:

— Будет тебе брехать-то. Завел свою мельницу. Не видишь, человек сказать хочет.

И когда Николай остался один на бревне, председатель поднял вверх руку с карандашом и сказал:

— Наговорились?

— Наговорились... — проворчал кто-то недовольно.

— Ну вот и ладно. А теперь дело делать надо. А то вас не останови, вы до завтрашнего утра говорить будете.

— Правильно, — отозвались дружно все.

— От общего владения имуществом освобождаетесь, — сказал председатель. — Никто вам не имеет права приказать. Ваша воля во всем.

— Сбавил...

— Вот это молодец, — сказал кто-то.

— А земля остается во временное пользование, — продолжал председатель, не взглянув в сторону раздавшегося голоса, — и в этом вам никто запретить не может.

— Стой! Стой! Да мы и не собирались...

— Мало чего не собирались. Вы ежели будете собираться, половина с голоду подохнет.

— Правильно! — опять дружно отозвались все.

— Значит, принято, — сказал председатель.

— Попали! — сказал кто-то негромко сзади.

Мужики было всколыхнулись, но председатель уже сошел с обрубка и входил на крыльцо.

## Третьим этажом

— Ч то вы стали-то посередке, ни взад,

ни вперед. Проходи!

— Куда ж тут проходить? На человека, что ли, лезть, когда весь вагон забит.

— О, господи, батюшка, весь живот размяли, — говорили и кричали люди с вещами в руках, сбившиеся у дверей вагона.

— Ну, укомплектовались так, что больше некуда, — сказал высокий солдат с ружьем, пробившийся внутрь вагона. И он обвел глазами верхние полки, где по несколько человек, скрючившись, сидели люди, упираясь головой в потолок.

— Да, уж холодно не будет, — проговорил маленький солдатик, которого так сжали со всех сторон, что он не мог выпростать рук.

— Беда... — сказала женщина, повязанная большим платком под плечи, — не то что самой приткнуться негде, а и узел сунуть местечка не найдешь, лежит вот на самой дороге.

— Узел не велика беда, полежит на дороге.

— Да у меня в нем, окаянном, посуда.

— Посуда — это другое дело.

— Да что ты ногами на голову!.. Залез туда, чисто архангел какой, — сказала женщина, поправляя платок и оглядываясь на верхнюю полку, где под самым потолком сидел солдат с завязанными зубами.

— А куда ж я ноги дену... «архангел», выражайся поосторожнее.

— Господи, и откуда столько народу едет... — сказала женщина уже сама с собой, вздохнув и покачав головой.

— С фронту... Все оттуда. Мобилизуемся. Прямо сила народу идет. Теперь, ежели кому вылезать надо или,

скажем, по своему делу, — не пробьешься нипочем. Вишь, проход-то как законопатили — соломинки не просунешь.

— А не просунешь — по головам пойдем, — отозвался солдат с ружьем.

— Вторым этажом иди! — крикнул старичок с трубкой куда-то в глубину вагона. — Становись ногами на спины и катай.

— Неловко будто.

— Ничего, потерпим.

Показалась фигура солдата в куртке без пояса. Он, держась руками за полки, шагал по спинам сидевших в проходе людей.

— В валенках-то хорошо, мягко, — сказал какой-то солдат в распахнутой овчинной куртке, когда проходивший стал ему на спину, — а вчера один в сапогах с подковами прогулялся, так весь день, чума его задави, спина ныла.

— В сапогах хуже.

— И скажи на милость, отчего так разладилось все. От Брянску едем, едем четвертые сутки и все вот так, не спамши и сесть негде.

— И тащит-то, что тебе не паровоз, а сивая кобыла. Тут домой до смерти хочется, а он...

— Нет, мы от Киева скоро ехали, — сказал высокий солдат с ружьем. — Ох и скоро. Как на остановке долго застрянет, так сейчас с ружьем к машинисту. Покажешь ему, — жарь. «Разладилось, говорит, никак невозможно». — «Жарь, а то на месте...», и никаких — едем дальше. Кульерские таким манером обгоняли.

— Живо наладили, — сказал маленький солдатик. — Их ежели не пугнешь, никакого толку не добьешься.

— Первое дело...

— Народ избалованный очень, особенно железнодорожники, — сказал высокий солдат. — Бывало, в вагоне чистота, аккуратность, место у тебя завсегда есть. И перед каждой станцией, как полагается, кондуктор проходит по вагону и станцию называет. Хочешь вылезай, хочешь нет. А теперь как черти в воду попрятались, ни одного оглашенного не увидишь, и едем незнамо где.

- Может, уж промахнули давно...
- Очень просто. Зги божьей не видеть.
- Ружьем бы их...
- Уж пугали, не один раз...
- Вторым, вторым иди, — послышался голос в проходе.
- Вот полезут теперь, — проворчал солдат с ружьем, недовольный перерывом разговора.
- Погляди-ка, в валенках он?..
- В валенках...
- Не задерживайся, спина не казенная, — послышался недовольный голос.
- Ничего, ничего, милый человек, у меня валенки сухие.
- Сухие... Дело не в том, что они у тебя сухие... Вот голова-то с мозгом!
- Вот теперь тоже насчет свечей: темень кромешная, и ни одного черта нет, чтобы прийти да поставить свечку. Как щипцами этими постукивать, так они мастера...
- Мы от Брянску ехали, — сказал маленький солдатик, — сунулся было один с щипцами, так мы, братец ты мой, как дверь сундуками задвинули, — сабаш! Постучат, постучат и мимо.
- С ними иначе нельзя.
- Работа не чижолая, ходи да пощелкивай.
- Они вот и пощелкивают, а дело все разладилось — седьмые сутки едем.
- Передайте, голубчики, ребеночка в уборную, пушай его там оправят.
- А, чтоб тебе... послушать не дадут. Что тебе передать?
- Да вот ребеночка моего в уборную переправить. Самой не добраться.
- Ребеночка можно.
- Так-то я вчера ехала, и все с рук на руки ребяточек передавали. Перелетывают себе, сердешные, из конца в конец, как херувимчики... вот и еще один.
- Ну что ж ты берешь-то его поперек, как кошку каковую.
- Да вот только и дела, что ребят ваших переправ-

лять. Да ничего не видать еще. Не несут свечей, сто чертей им в брюхо.

Поезд замедлил ход и остановился.

— Станция... — сказал кто-то из темноты, — может быть, кому-нибудь вылезать давно пора. Ах ты, мать честная...

— Вот сидим как оглашенные, а где едем, ничего не известно.

— Высунься хоть в окно, что ли, спроси, какая станция. А то я на прошлой неделе в одну сторону прокатил дальше верст на сто, потом в другую опять шибануло станции на три лишнего. Не попаду никак на свою станцию, да сабаш.

Солдат с ружьем опустил раму, оглянулся на обе стороны и, увидев кондуктора с фонарем, крикнул:

— Эй ты, черт, Гаврила! Какая станция? Слышишь, что ли?.. И отвечать не хочет.

— Вот дьяволов-то насажали на нашу душу.

— Ох и не любят, когда их Гаврилами зовут, — сказал маленький солдатик.

— Ну прямо никакого порядку, что они есть, что их нету. Все разладили, окаянные. Вишь, толстый идет...

— Ребеночка моего оправили там?

— Оправили, — донесся густой бас из уборной.

— А где же он?

— В платочке ваш? — спросили откуда-то из темноты.

— В платочке, платьице розовенькое.

— Рассмотрись тут, в каком он платьице, — проворчал высокий солдат.

— Так его в тот конец отправили. Только что по рукам пошел.

— Ах, матушки!

— Матушка, это не мой! — крикнул кто-то из дальнего конца вагона. — Мой малый, а тут девку пригнали.

— Ну, переменишься с кем-нибудь, только и дела. Уж крику этого от баб сколько, подумаешь невесть что, — сказал старичок, выбивая о каблук потухшую грубочку.

— Ах, мать честная, видно, опять в темноте сидеть.

В дверь понесло холодом. Это выходивший солдат возвращался с площадки в вагон.

— Ой, что это? — сказал чей-то испуганный голос в темноте.

— Дозвольте пройтись...

— Чтоб тебя... испугал. Не пройдешь, там дальше женщины стоят. Да куда ты лезешь-то — тут окно, вон где проход.

— Сюда, сюда держи. Да где ты, на голос иди.

Солдат перешагнул по спинам сидевших и остановился в затруднении, ощутив перед собой в темноте платки женщин.

— Что, ай на заставу попал?

— На заставу, — проворчал недовольно солдат, — наставились тут, не прочкнешься...

Он пошарил рукой вверх, ухватился за трубы отопления и, подтянувшись на руках, пошел шагать с одной полки на другую над головами стоявших в проходе.

— Ну что, пролез, что ли? — спросила женщина с посудой.

Старик с трубкой зажег спичку, осветил ею и, посмотрев вдоль вагона, сказал:

— Пролез; третьим этажом пошел.

## Блаженные

Поезд шел от германской границы.

Народ набился в вагон, заполнил все проходы, верхние полки, уборные, площадки. Окна были выбиты, двери не закрывались. И с площадки все высовывались лица солдат, приподнимавшихся на цыпочки и старавшихся через головы заглянуть в вагон...

— Да что ты все жмешь? — сказал, сердито обернувшись, солдат с повязанным накрест по груди башлыком на какого-то без шапки человека, напиравшего на него.

— В вагон, может, пробираться можно, — отвечал тот, — а то дюже холодно без шапки.

— А шапку куда дел?

— Украли. Как границу переехал, так и смахнули. Дозвольте, пожалуйста, пройтись.

— Да куда тебе?.. Что ж в вагоне-то, лучше, что ли? — сказал раздраженно солдат.

— Может, ветер потише.

— Потише, — отозвался недовольно какой-то старик с черным носом и щеками, в морщины которых набилась угольная пыль, очевидно кочегар, — тут так свистит, хуже, чем в поле.

— Они привыкли, что вагон, и прут, — сказал сидевший на мешке в проходе бородатый мужик в армяке, — а каково в этом вагоне — не разбираются. — И он, завернув с одной стороны лицо армяком, привалился головой к стенке, как приваливаются, когда едут в санях и метель.

— Ну что за сукины дети, шапку уж с головы волокут! Вот разбойники-то.

— Прямо ездить нельзя, — сказала старушка, стоявшая в проходе с узлом. — За карман держишься, от ушла отойти боишься. Сейчас поезд на станции пяти минут не простоял, а уж двоих обчистили.

— Да, народ способный.

— Плохо смотрите, вот у вас и воруют, — заметил какой-то угрюмый человек с лавки, — глаза распусти-те по сторонам, вот и... Только людей-то в грех вводите.

— «Плохо смотрите». Глазастый какой нашелся! — отозвался сердито солдат, лежавший на верхней полке. — Я на вокзале служил, уж на что смотрели в де-сять глаз, и то все ложки и стаканы за эту зиму пере-таскали, не говоря уж об том, что без денег полопает да улизнет.

— Значит, и в десять глаз плохо смотрели.

— Заладил свое... где ж за ними усмотреть, кабы это жулики были, тех сразу видно, а то они всем народом воруют.

— Это хоть правда, за всем народом не углядишь, — сказала старушка. — Уж на что аккуратны стали. Я вот на вокзале кушала, так с меня деньги вперед взя-ли, и человек за стулом все время стоял, пока тарелку с ложкой не сдала. Стаканчик чайку взяла, с меня трид-цать целковых залогу за стакан положили.

— К стойке-то буфетной подойдешь, так за тобой как за жуликом смотрят, — проговорил человек в чуйке, — даже обидно.

— Чего ж обижаться, ведь он на тебя не кричит, а смотреть — господь с ним, пушай смотри.

— Обижаться тут нечего, — сказала несколько голо-сов, — кабы за тобой одним смотрели, теперь за всеми смотрят.

— Сколько ни смотри, все равно ни черта не поможет, — сказал солдат с верхней полки, лежа на спине и гля-дя в потолок. — Ежели их триста человек набьется, три-ста служащих надо, чтобы у каждого за стулом стоять.

— Да еще за этими, что стоят, тоже по человеку надо, — сказал какой-то веселый мастеровой.

— Для контролю?

— А то что ж.

— Иначе и не обойдешься.

— Что они, за войну, что ль, так изворовались?

— Кто их знает.

— А я вот из Германии еду, — сказал человек без шапки, кое-как протеснившись в вагон, — так пока до



границы ехал — ничего, а как только границу перескал, так шапку и мешок с сухарями уперли.

Все посмотрели на его голову.

— С приездом на родину поздравили, — сказал веселый мастеровой.

— Зазевался небось, — вот и уперли, — заметил угрюмый человек.

— Отвык, дюже давно дома не был, два года на французском фронте был, да в плену восемь месяцев держали.

— Два года... пора отвыкнуть, тут и без порток прийдешь, а не то что без шапки.

— А там, ай не воруют? — спросил голос с верхней полки.

— Никак... Вот какие, окайные, честные, ну просто...

Головы всех бывших в вагоне повернулись к солдату.

Только угрюмый человек, глядя в окно, сказал:

— Глазами по сторонам не водят, вот и не крадут.

— Нет, они какие-то блаженные. Там, бывало, выходишь на станции — берешь сам, что тебе пондравится, и потом расплачиваешься.

— Господи! — воскликнула старушка. — Вот, небось, обчищают-то...

— И даже не проверяют, сколько ты съел, вроде как совестятся.

— И у вас не проверяли?

— ...Первое время нет, — сказал пленный, не сразу ответив.

— Вот сволочи, благородные какие.

— Там благородно. У нас вот тут за стаканы залог берут, да еще смотрят все за тобой, а там, бывало, съешь целковых на три, а скажешь на полтинник. И ничего, сходит.

— Прямо блаженные какие-то. Вот обувать-то кого...

— И жилось же спервоначалу хорошо, а потом один из наших проштыкнулся — ложку с вилкой упер, — тут уж ту же стало.

— Гонять стали? — спросил мастеровой.

— Нет, гонять не гоняли, а только подойдешь к буфету, — как увидят, что русский, то руками не велят ни до

чего дотрагиваться. А обращение такое же, и «вы» говорят, и все, как полагается.

— Скажи на милость, какой душевный народ. А говорили — басурмане, изверги. Они, может быть, еще получше нас.

— Получше, не получше, а худого сказать ничего нельзя. Вот в другой раз тоже: один из наших ложку украл...

— Да что они на ложки-то накинулись — дорогая, что ль? — спросила нетерпеливо старушка.

— Блестела, говорит, очень... Да... так его не били, ничего, а подошли двое и говорят: вы по ошибке нашу ложку взяли... ну, конечно, на своем языке.

— Тут бы его смертным боем бить, — сказал утрюмый человек. — Воруй, да не попадайся. Мозги курьи, а туда же лезет — воровать.

Старушка вздохнула и пощупала свой узел. Потом, оглянувшись на своего соседа, подвинула от него узел к себе поближе.

— Как наслушаешься этого всего, — сказала она, — и так-то едешь...

Поезд остановился у станции. Пленный с мастеровым перелезли через старушкин узел и протискались к выходу, чтобы идти в вокзал.

Старушка, долго переминавшаяся с ноги на ногу, вздохнула и сказала:

— Счастье вот, у кого вещей с собой нету, а то выйти нужно, а боишься.

— Это счастье тебе в одну минуту устроят.

— О господи, батюшка. Ну, прямо сил никаких. Батюшка, кормилец, посмотри за узелочком, я сейчас приду, — сказала она, обратившись к утрюмому человеку.

— Ладно...

Старушка пошла, но около двери оглянулась на свой узел и сказала, обращаясь к солдату в башлыке:

— Батюшка, посмотри за тем человеком, что за моим узлом смотрит...

В зале вокзала, куда вошли пленный с мастеровым, за столами без скатертей, без посуды, сидели пассажиры и мешали лучинками чай в стаканах без

блюдец. Другие — среди неубранных объедков, пролитых щей ели из глиняных мисок большими деревянными ложками, какими едят крестьяне в деревнях. На других столах сидели, лежали солдаты с мешками, женщины с кричавшими младенцами на руках.

А сзади обедавших пассажиров стояло несколько лакеев, которые, как старосты на полевых работах, зорко смотрели по всем направлениям.

— Нечего вылизывать, сдавай тарелку и уходи, — кричал старый бритый лакей, с грязной, как тряпка, салфеткой, на маленького обросшего солдатика, который взял тарелку в обе руки и вылизывал языком остатки.

— Чего лаешься, нужна мне очень твоя тарелка.

— Место освобождай, вот чего... Лижет, лижет, — проворчал лакей, сердито убирая за солдатиком и поглядывая ему вслед, — а чуть отвернулся — и тарелку слизнет.

— Куда стакан поволок, залог тридцать рублей давай, — кричал буфетчик на какого-то человека в валенках и овчинной куртке, подпоясанной ремнем.

— Нельзя ли повежливее, не видите — интеллигентный человек.

— Все равно залог давай. Интеллигентный... черт вас теперь разберет, оборвались все, чисто арестанты, а тоже обижаются, — проворчал буфетчик, сунув залог в ящик.

— Господ-то тоже, знать, не очень балуют? — спросил пленный.

— Теперь одна честь всем.

— Это что ж тут — первый класс, что ли, был? — спросил бывший пленный, оглянувшись кругом.

— Да. Классы-то эти им теперь прочистили.

— Скатерти, цветы-то эти убрали, что ли?

— Что потаскали, что успели убрать.

— Чудно, — сказал пленный, опять оглядываясь.

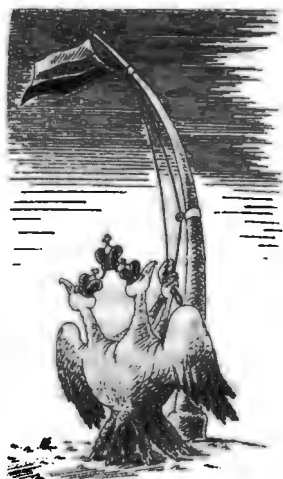
— Это тебе с непривычки, а дальше поедешь, там обтерпишься.

— Вон ложки в буфете прибраны, — сказал мастеровой.

— Граждане, отходи дальше от буфета! — крикнул, выйдя из-за самовара, толстый буфетчик.

— Потише! Кричи, когда поймашь, а раз рук не протягивают, помалкивай, а то по шее.

1917



## Соболий воротник

**П**очтмейстерша сидела со старой

кузнечихой и пила чай, когда приехала матушка отправлять посылку. Ее звали пить чай.

— Господи, — сказала она, оглядываясь по стульям и углам, ища, куда положить шляпу, — посмотрела я тут, как вашего помещика-то разделали, — окна в доме выбиты, железо с крыши содрано.

— У нас тут все сердце за него изболело, — проговорила почтмейстерша. Она, не садясь, стояла, держась за спинку стула, и ждала, когда сядет гостья.

Кузнечиха, отошедшая было к двери, где она стояла, скромно сложив на груди руки под платком, по приглашению хозяйки опять села и, поправив платочек, моргая, пила чай с блюдечка.

— Да, вот народ-то наш какой оказался, — сказала матушка и придвинула к себе вазочку, придерживав бахромю платка, свесившегося с руки. — А кто виноват? Все наша интеллигенция воспитала, потому что сами бездомовники, безбожники, вот на чужое рука и поднялась. Чужое-то добро легко раздавать.

— Если бы вы, матушка, посмотрели, что тут было в первые дни: один стол ореховый тащит, другой — часы бронзовые, третий — рояль везет на голой телеге.

— И кому же это все досталось? — сказала, прервав, гостья. — Хамам, которые ничего в этих вещах и не понимают.

— Вот это-то больше всего и возмущает. У шорника, говорят, рояль стоит в сенцах, в избу не вошел, куры в ней несутся.

— Ну вот...

— А тут скупщики из города понаехали, потом все у мужиков перекупали.

— Как руки-то не отсохнут награбленное скупать, чужой бедой пользоваться, — сказала кузнечиха.

— Тут уж глаза у всех разгорелись, обо всем забыли, когда рояли за тридцать целковых покупали. Из наших тут кое-кто вышел было купить, куда там — все в момент расхватили. Мой Иван Платоныч встретил нашего столяра — стол ореховый вез: продай, говорит; отказывается, уж продал... за 10 рублей. Да еще кричит: пойди сам возьми.

— Пойди... туда, небось, и не подступишься к этим грабителям, самого еще убьют, — сказала матушка, — ведь ваши совсем какие-то разбойники. Вам-то, небось, ничего не дали?

— Какой там, матушка, — сказала почтмейстерша, махнув рукой. Потом, несколько помолчав, уже другим тоном прибавила: — Вот только этот шкапчик и то уж выпросил Иван Платоныч, да кресло потом столяр принес; я у него всех детей крестила. А посуда, серебро кое-какое сам старик раньше принес спрятать на сохранение, да так кое-что из вещей.

— Где ж он теперь, сам-то? — спросила матушка, подвинувшись со своим стулом ближе к хозяйке, и более пониженным тоном.

— В городе живет.

— Небось, назад будет требовать?

— Бог его знает, может быть, уедет куда-нибудь дальше.

— Может, бог даст, уедет, — сказала кузнечиха. — Писал один раз, просил привезти. Да я побоялась, отнимут еще дорогой.

— Боже вас избави! — воскликнула матушка, в свою очередь замахав на хозяйку руками. — Сами еще насидитесь.

— Да и лошади у нас нет сейчас.

— Какие теперь лошади!

— Да и то сказать: у него, небось, и кроме этого много.

— Мы уж так-то с мужем толковали, — сказала матушка, — наверное, успел кое-что припрятать.

— Да, добра было много. Если бы раньше-то знать... конечно, всего не сообразишь, а в первый-то день тут такие вещи продавались прямо нипочем: зеркала ка-

кие, шубы, воротник соболий, ему цена пять тысяч, а его за пять рублей продали.

— Ну, что же вы-то? — спросила взволнованно матушка.

Почтмейстерша сначала вздохнула и промолчала, потом через минуту сказала:

— Вспомнить стыдно: в руках, можно сказать, был. Иван Платоныч смотрел его, у них вот был, — сказала почтмейстерша, кивнув головой на кузнечиху.

— У нас, у нас, — сказала кузнечиха, — я-то, дура старая, не догадалась, что вам пондравится. А тут, только ваш Иван Платоныч ушел, скупщик приехал, ему все огулом и продали, уж так тужила, когда узнала, что нам хотелось.

— Так только дурак последний может поступить, как мой Иван Платоныч; пришел спросить, видите ли, покупать или нет. Это за пять рублей-то.

— Тут с руками надо было рвать, — сказала матушка, — просто вот за вас расстроилась, — прибавила она, откидывая платок, точно ей стало жарко.

— Да как же, такая вещь!.. Ведь такого случая век жди — не дожدهшься. А у меня как сердце чуяло; я уж давно поговаривала генералу: «Давайте воротник ваш спрячу». Так нет, жалко стало.

— Жадность все, — сказала матушка. — Все до последнего держатся.

Все замолчали, расстроенные слишком яркими и волнующими воспоминаниями...

— Просто, как вспомню, сколько всего упустили, так сердце перевертывается. Ведь если бы человек-то оборотистый да проворный был, а не такой, как мой Иван Платоныч, — сколько бы тут можно было добра набрать.

— Тут только подгребай, вот сколько было, — отозвалась кузнечиха.

Почтмейстерша раздраженно передвинула сахарницу и ничего не сказала.

— Нет, а у нас хорошие мужички, — сказала матушка, — Можно положительно сказать, что никому за прету не было, когда нашего громили: приходи и бери. За моим отцом Петром даже присылали, когда помещичьи доски разбирали.

— Господи, — воскликнула почтмейстерша, — вот это люди!

— А у нас звери дикие, — сказала кузнечиха, приглядываясь к варенью и подвигая к себе вазочку.

— Нет, на наших обижаться нельзя, — сказала матушка, — как разгромили, прямо и объявили: бери кто хочешь, потому что это народное и все имеют право. Ну, конечно, кто проворней, тот побольше нахватал. Нам-то всего только три комода досталось да кофейник серебряный, ну, еще там кое-какие пустяки.

— Да, у вас муж такой человек. Не то что мой Иван Платоныч. Вот блаженный какой-то. Наказал господь. Как вспомню про этот соболий воротник... — она не договорила и отвернулась.

Кузнечиха опустила глаза, как опускают, когда собеседник высказывает какое-нибудь истерзавшее душу горе и не может удержать слез.

— Нет, у нас и ваш Иван Платоныч свою часть получил бы. Ну, конечно, не так много, а все-таки. Доски-то даже поровну потом распределили, а моему отцу Петру еще лишнего дали.

— Вишь ты вот, какие хорошие, — сказала кузнечиха.

— Хорошие, матушка. Ну, а комоды-то эти мы еще раньше к себе перетаскили, когда видели, что все равно им один конец будет.

— А у вас-то не отберут? — спросила почтмейстерша.

— Мы не помещики... — сказала, вдруг замкнувшись и охладев, матушка. — А ежели что взяли, так для потребности, а не для наживы.

И она поднялась, ища глазами икону.

— Нет, пора, пора, — проговорила она торопливо на приглашение хозяйки посидеть еще.

— Матушка... — сказала почтмейстерша, как будто вспомнив что-то, упущенное ею из вида, — так вы говорите, что у вас три комода.

— Теперь два. Один уже продали.

— Может быть, один на мою долю оставите.

— Хорошо, хорошо. Я там посмотрю.

Матушка уехала. А почтмейстерша стала собирать



посуду, даже не спросив у кузнечихи, не хочет ли она еще чаю.

— Приехала — только всю душу растравила, — сказала она, — как вспомню про этот собольи́й воротник, так сердце и перевертывается.

1918



**М**ужики стояли целой толпой в усадьбе

около сеновала и уже два часа говорили, кричали и спорили по поводу дележа сена...

Сначала условились все делить поровну. Рожь разделили поровну, вышло хорошо. Стали делить телеги, тоже поровну, получалась нескладница: кому прищлась ось, кому колесо. И когда поделили, то оказалось, что инвентаря нет и телег ни у кого нет, — ездить опять не на чем. Коров решили в таком случае поровну не делить, а дать сначала неимущим.

Но, когда начали давать, стало вдруг жалко, и все оказались вдруг неимущими.

— Дай вот молодые с фронту придут! — кричали беднейшие, у которых отобрали назад коров.

Теперь с сеном: как ни прикидывали, все-таки оставался кто-нибудь недоволен.

— Ну, думай, думай, ворочай мозгами, — сказал прасол в синей поддевке, — надо разделиться, пока молодые с фронту не пришли, а то эта голытьба окаянная заведет тут свои порядки.

— Вот что! — крикнул кузнец. — Клади всем по восьми пудов, а что останется, отдать беднейшим. И нам не обидно, и они внакладе не останутся.

— Правильно!

— Теперь можете быть спокойны, — сказал Сенька беднейшим, — коров не дали, зато сена вволю получите, давай только подводы.

— ...Чтобы отвечать, так уж всем... — сказал сзади неизвестно чей голос.

Это слово было услышано в первый раз за все время.

— Кто это народ мутит!.. — крикнул сердито прасол, оглядывая задние ряды.

Все тоже оглядывались, и никто не знал, кем это сказано.

— Ну, вали за подводами.

Все бросились по дворам, остались одни беднейшие, которые не имели подвод, у них были только доставшиеся от дележа оси, оглобли, которые они с досады в первый же день пожгли.

Через полчаса весь двор заставили санями. Кузнец был возбужден больше всех. Он бегал и кричал, как на пожаре. Лавочник и прасол прикатили на двух санях. Огородник был тоже возбужден: он то подбегал к своим саням, у которых стоял его малый в больших сапогах с кнутом, то убегал к сеновалу, как бы проверяя, хватит ли сена.

Прежде всего все захватили по большой охапке подстелить в сани и дать лошади, не в счет.

— Эй, больше двух охапок не брать! — крикнул председатель, стоя с вилами у сеновала, так как видел, что иные, вместо саней, запикивали куда-то за сарай.

— Мы и две хороши накрутим, — сказал кузнец, натягивая веревку на огромной вязанке и наседая на нее коленом.

И правда, накрутил такую, что когда пошел с ней к саням, то самого было не видно, а только двигалась какая-то копна на двух палочках.

Бабы, приехавшие без своих мужиков, выбивались из сил, чтобы побольше захватить в две охапки. Столяриха связала свои вязанки, вцепилась в них, но поднять не смогла. Заплакала с досады и, оглядываясь на сеновал, где со всех сторон мужики, как муравьи, тащили сено, причитала:

— Господи, батюшка, силы нету.

— Прямо кишки все себе повьпускают, — говорили мужики, глядя, как мучаются бабы.

— Эй, по восьми пудов, больше не брать! — кричал председатель.

— Чего стоишь, зеваешь! — закричал, подбегая к сыну, весь потный огородник, нырявший уже несколько раз за сарай и весь обсыпанный мелким сухим сеном. — Накладывай!

— Успеется, не уйдет, — сказал малый.

— У дурака успеется, а умный за это время два воза свезет. — И сам, схватив лошадь за вожжу, оглядываясь на нее и попадая в снег, бегом повел ее к сеновалу.

— Гони скорей, — торопливо говорил он сыну, когда тот ехал уже на возу в ворота. — Сам дома оставайся, скажи, чтобы вместо тебя Митька ехал, да чтоб твою шапку не надевал, чертенок, а то ходите в одной, за десять верст видать, что из одного двора.

Около сеновала шла горячая работа. На самом сеновале работали человек десять дюжих мужиков, сваливая оттуда в несколько вил валом сено на возы, как будто спасая его — от пожара. Не попавшее на воз и свалившееся на землю сено мгновенно исчезало куда-то, точно проваливалось сквозь землю.

— Да ты что же это накручиваешь-то! — кричал председатель на кузнеца, который наваливал столько сена, что сани у него трещали, и сам он сидел, как на каланче. — Сколько это у тебя выйдет?..

— Восемь пудов... — хрипло и не оглядываясь, весь в поту и в мелком сене, отвечал кузнец, подхватывая новую охапку и уминая ее ногами.

А в ворота скакали уже те, кто успел один раз свезти.

— Глянь! Эти-то, окаянные, опять прискакали...

— Вы зачем сюда опять заявились?

— Да мы посмотреть...

— Братцы, старайтесь, чтоб по совести! — кричал своим тоненьким голоском Степан.

— В лучшем виде будет, — отвечал кузнец, наступая ногой на конец веревки и укручивая воз.

Навившие воза гнали домой лошадей так, что в воротах на раскате, стукнувшись о столб, только гокали и терли потом себе под ложечкой.

Кончили сено, на двор прибежали беднейшие — Степанида, Захар Алексеич, которые бегали по деревне и просили подводу, так как той же Степаниде при разделе инвентаря достался тележный передок с двумя старыми колесами.

Захар Алексеич, поспешивший, должно быть, первый раз в своей жизни, прибежал в своей большой овчинной шапке на двор с таким видом, с каким прибегает хозяин на пожар своего дома, когда уже все сгоре-

ло, он и ахал, и хлопал по полам полушубка руками, и оглядывался — то на сеновал, то на выезжавшие со двора воза.

— Иван Никитич, сделай милость, дай сани...

— Нет у меня саней... — торопливо сказал Иван Никитич и сейчас же заторопился куда-то.

И к какой кучке беднейшие ни подходили, кучка редела, и через минуту они оставались одни и с озлоблением взглядывали друг на друга, так как каждую минуту встречались нос к носу.

— Да чего вы беспокоитесь-то? Раз сказано — по восьми пудов... Ай уж в самом деле?

— По восьми-то по восьми, а ты захватывай скорей! — сказал какой-то мужичок, только что навивший свой второй возок и торопливо проводивший мимо лошадь.

— Кончили, что ли! — крикнул председатель. — Кончили.

— В рабочую пору так не работал, — сказал кузнец, сдвинув со лба назад шапку и утирая фартуком пыль и пот с лица. — Восемь пудов, а взопрел так, что полушубок мокрый.

— А нам-то что же?! — сказали беднейшие.

— Остальное все — ваше, — отвечал Сенька, — делите. Старайтесь, чтоб по совести.

# Беззащитная женщина

**П**оезд только что остановился у станции,

как с той стороны, где обыкновенно стоят у конюшезей лошади, послышались выстрелы.

Праздничный народ — солдаты, мужики, бабы, бывшие на вокзале, — давя друг друга в дверях, бросился на платформу.

— Батюшки, перебьете всех! — кричали бабы.

— Жива будешь. Пусти полу-то, — кричал солдат, у которого в дверях прищемили полу шинели.

— Господи, чтой-то там? — спрашивала старушка из окна вагона.

— Да это у нас дурак тут дезертир пьяный привязался к женщине с мальчишкой, арестовать вас, говорит, надо, — сказал солдат, высвободивший полу и отряхивавший ее около вагона. — Мальчишка испугался и бросился бежать, а он стрелять начал, ну народ и шарахнулся.

— Ах ты господи, какие дела. А остановить-то его нельзя?

— Отчего же, остановить можно бы сразу, он едва на ногах держится, да еще представить куда следует.

— Как бы двум зайтить сзади да за руки взять и готово, — сказал старичок в поддевочке.

— Сюда идет!.. — крикнул кто-то.

Солдат первый схватился и перемахнул через решетку палисадника.

Старичок, испуганно оглянувшись, залез под вагон.

А к дверям опять бросились люди, раздались крики прищемленных, бабий визг, и платформа опустела.

Сбоку, со стороны товарного пакгауза показался человек в военной куртке. Он шел с усилием, как бы против сильного ветра, так как его шатало назад.

— Где он? Подать мне его! — говорил он, оглядывая мутными глазами платформу.

В поезде торопливо подняли и закрыли окна и спрятались за стенки.

— Один человек и сколько может безобразия натворить, — сказала старушка, разговаривавшая с солдатом, евшим яйцо. — Каково матери-то сейчас, ведь того и гляди сына застрелит.

— Не дай бог, — сказал другой солдат с красным лицом и в смятом картузе, только что проснувшийся на лавке от криков и выстрелов.

— Вишь, идет, разбойник, едва на ногах держится. Солдат посмотрел в окно.

— Его один человек со всеми его револьверами скрутить может.

— Да и стоит. Ведь это что, защиты ни от кого нет. Над женщиной измывается. И отчего это они безобразничают так? Ведь сколько народу, а он себе и не боится.

— Сейчас бы — сзади двоим зайти и цоп за руки.

— И одного хватит... — сказал недовольно только что проснувшийся солдат, смотревший в окно, и, отвернувшись, стал смотреть в другое окно, выходявшее в сторону леса.

— Матушки, сюда идет!.. Да закройте окно-то. Что ны повыпятелились там, какого лешего не видали. Чтоб еще к нам привязался.

— Нет, на станцию опять пошел. Ведь мальчишка совсем, материно молоко на губах не обсохло.

— Ох, сейчас расподдаст их всех оттуда! — сказал, усмехаясь, солдат, евший яйцо.

В самом деле, через минуту слышались выстрелы, двери вокзала, распахнувшись на обе половинки, хлопнули по стенам, и на платформу вывалилась опять толпа солдат, мужиков и баб.

— Так, лупи их — ах, нечистый! — крикнул солдат и, стряхнув с колен крошки яйца, подбежал к окну. — Один — человек триста гоняет туда и сюда.

— Больше! Человек четыреста будет.

— Да в поезде еще человек пятьсот наберется.

— И всех держит, и поезд из-за него стоит.

Народ, выбежавший на платформу, бросился врассыпную — кто к товарному сараю, кто по другую сторону поезда через площадки и под колеса.

Все было спрятались, окна в вагонах закрыли, но через минуту опять с любопытством и страхом высунулись.

— Ну что, где он? — слышались из окон вопросы оглядывавшихся друг на друга людей.

Из двери вокзала выскочили два мальчишки и закричали:

— В грязь шлепнулся... растянулся в луже и заснул, кажется. Идите скорей, теперь ничего. — кричали они в сторону сарая, из-за которого начал понемногу выходить народ.

— Вот тут бы ему в луже-то горячих всыпать, — сказал веселый солдат, когда поезд тронулся.

— Его спервоначалу же можно было окоротить, — сказал старичок в поддевочке, — как двоим зайтить бы сзади, да за руки...

— Правильно! Не измывайся над беззащитной женщиной.

1918



## бетованная земля

олнце еще не поднималось, а в ложине

под деревней было пасмурно и сыро, а уж мужики выехали пахать и сеять — в первый раз на помещичью землю.

Сколько лет ждали ее, смотрели на нее и работали на ней, как на чужой, а теперь — своя.

Жалкое, изрезанное узкими полосками крестьянское поле, все изрытое рвами и промоинами, жавшееся по буграм, смотрело бедно и убого. А рядом с ним — целое, разделенное на большие участки, — свободное поле, точно обетованная земля.

В поле выехали все. Впереди молодежь, сидя бочком на лошадях с сохами на возилках, чертивших бороздки на влажной утренней пыли дороги. За ними пожилые мужички и старики. Даже старушки — и те вышли в поле, захватив с собой какие-то узелки.

Поднявшееся над березовым леском солнце окрасило румяным светом березки на бугре и белые рубахи мужиков.

Даже старик Софрон, весь седой, шатающийся от ветра, — и тот вышел с палочкой, в белых онучах на иссохших ногах, посмотреть на землю.

Старики были не столько радостны, сколько серьезны и озабочены.

Земля лежала перед ними, с виду покорная, обещающая, но они хорошо знали эту покорность.

— Что-нибудь не потрафишь, вот и утрешься. Семена пропали.

— Очень просто. Ведь прежде, бывало, на свою-то землю и то разве с бухты-барахты выезжаешь?

— Да... Бывало, с поста еще начинают приготовляться, по приметам соображаться, когда пахать, когда сеять, а теперь, вишь вон, молодые-то: папироски

закурили, шапки набекрень, и пошел с некрещеным рылом.

— Прежде без толку не делали, — сказал Софрон, — на все дни знали счастливые. Одной воды святой сколько изводили.

— Это что там...

— Бывало, перед тем как сеять, старики недели за две выйдут в поле и все на небо смотрят.

— Галок считали? — спросили молодые.

— Галок... Посмотрят, а потом, как по написанному, все знают, когда сеять, когда что. А мы теперь что же — окромя понедельника и пятницы — тяжелых дней — больше ничего не знаем.

— Да, на понедельник с пятницей далеко не уедешь. А прежде и по понедельникам сев начинали: какой-то водой побрызгают, бывало, — готово. Сей и не сумлевайся. А то опять тоже на небо поглядят.

— Теперь на небо смотреть не любят. Они все думают силой взять. Не-ет, сколько спину ни гни, а ежели благословения на тебе нет, и не будет ничего.

— Без благословения и человек не родится.

— То-то девок наших, должно, дюже все благословляет кто-то, что они каждый год в конопях рожают, — сказал кто-то из молодых.

— Бреши еще больше... На какое дело едешь, а язык без привязи.

— Нету благодати... — сказали старушки, — нету!..

Приехали в поле, выпрягли лошадей из телег с семенами и откинули веретья, под которыми лежало тяжелое, гладкое зерно.

Старушки стали доставать из узелков просvirки, желтые копеечные свечи. А молодежь села на рубеже покурить.

— Эх, машину бы сюда хорошую, — сказал Николай-сапожник, — раз проехал — готово. Тут бы до самого нутра ее взворочали, поневоле родила бы.

— Бывало, как с иконами да со звоном пойдем по ней всем народом, — говорила старушка Аксинья, вдова Тихона, — в небе жаворонки поют, в лощине ручейки журчат, солнышко играет, а тут Христос воскре-се. Как посмотришь, бывало, на нее, на землю-то,

так и зарадуешься. А теперь чтой-то словно и нет радости.

— Какую же тебе еще радость надо, — сказал солдат Андрюшка, — по две палки тебе дали, лишних пять четвертей сгребешь, свинью выкормишь да портки сыну сошьешь, а то у него все огузья уж прогорели.

— Нам, брат, этой радости не надо, — отозвался Николай, — а вот с силами соберемся да машину поставим, тогда твоего бога силком работать на нас заставим да барыши гнать... А то вы со своей радостью каждый год с пустым брюхом да без порток сидите.

— Нет, батюшка, бога машинкой не поймаешь, сколько ни лови. Все промеж пальцев выскочит. Не в том месте ловишь.

— Ну да, заладил свое...

— Да уж что ж там, вы до всего дошли. Заместо навозу порошками какими-то стали посыпать. Прежде за такие дела ловили да били чем попадя.

— Только об этом и стараются, как бы бога обойтись. Лучше порошком каким ни на есть посыплю, а уж богу не поклонюсь!

— Не очень-то об нем думают теперь. Бывало, в поле без молитвы и не выезжают, а теперь лошадь у него с борозды свернула, а он ее матом; так надо всем полем и стоит.

— Веселей выходит... Убраться бы вам пора под березки, — сказал Андрюшка, кивнув головой в сторону кладбища.

— Мы-то уберемся, нас господь не забудет, — отвечал Софрон, — на ней, матушке, с молитвой работали, в нее и ляжем.

— И хорошее дело. И вам покойней и людям просторней...

Когда начали сеять, старушки раскрошили прошивку и крошки побросали на новую землю, а свечку прилепили на грядку телеги перед иконкой и зажгли.

Пламя свечи, почти невидное в свете утреннего солнца, горело не колеблясь. И над полем, в свежей синеве небес, пели жаворонки.

— Сколько лет уж не делали так-то, не перепутать бы... — говорили старики, с надеждой следя глазами

за проворными руками старушек, которые уверенно делали свое дело.

Даже молодые на время как будто присмирели — столько было торжественности и уверенности в движениях старушек. Только Николай не удержался и сказал:

— Скорей кончайте свою музыку-то. Дело делать надо, а не чепуховину разводить. Лиц тухлых зачем-то притащили... Что ж, у тебя и куры, что ли, святые?

Никто ничего не ответил. Старушки, не обращая внимания, заканчивали молитву. Молодежь сидела и курила на травянистом рубеже с прошлогодней жесткой травой, через которую из сырой весенней земли уже пробивалась нежная молодая травка.

Кругом синели и сверкали в утреннем блеске освобожденные из-под снега поля. Вверху свежо синело небо, а на нем четко вырисовывались красноватые ветви берез с надувшимися тройчатыми почками и пробивающимися, туго сложенными пахучими листочками.

Было тихо. Концы полотенца, на котором стояла в семенах икона, едва колебались от слабого ветерка. А над головами едва заметно вились к небу два дымка: один — из кадильницы с ладаном, другой — от папирос молодежи.

# Государственная собственность

По большой дороге ехал обоз,

направлявшийся в губернский город. В передних санях, чем-то нагруженных и увязанных веревкой поверх перетя, сидел мужичок в армяке с подвязанными платочком ушами.

Около саней шли двое других мужиков, соскочивших на горке погреться и поразмять ноги.

— Вот как погладили, что лучше и не надо, — рассказывал ехавший в санях мужичок, сев спиной к ветру. — Мы думали, барская земля с усадьбой целиком к нам отойдет и, значит, почесть, ничего не тронули.

— Как!.. Ни скотины, ни корму не брали? — спросил шедший рядом с санями высокий мужик в валенках с кнутиком.

— Нет, это-то все вычистили. И дом, можно сказать, пообрали как следует. А только не ломали ничего.

— Ну вот. Нам даже благодарность за это вынесли.

— Так...

— А вы обрадовались?

— Вроде этого. А они, чума их задави, старух каких-то нагнали в этот дом-то да по мере картошек со двора на них, пропади они пропадом.

— Так... взнуздали.

— А там, глядим, говорят — хозяйство у них тут будет, государственное, старух кормить.

— Вот как этими старухами донимают, сил нет.

— Старухами да ребятами, — сказал высокий, идя рядом с санями и держась рукой за грядку.

— Да, маху дали; ничего не надо было оставлять.

— Все под метелку надо было, — сказал высокий. — Мы живем теперь — горя мало, к нам старух не напишешь — некуда. Вот сейчас с горки спустимся, потом на изволок поднимемся, тут наши места пойдут. Есть

на что посмотреть. У нас прямо, как только объявили, так и пошло... Господи, что только было!.. Экономии все большие были, заводы при двух были, как повезли все!.. Ну, прямо комари лесные. Кто железную трубу с фабрики тащит, кто стол, кто полмашины уволок. Завод один целую неделю ломали.

— Неделю?! А богатство какое было... Это вы, значит, спервоначалу хватились? — спросил мужичок в платочке.

— Прямо с самого начала. А уж потом где ж, тут комиссаров наставили, свои молодые в начальство выскочили. Ежели бы момент пропустили, ничем бы не пользовались и не хуже вашего на эту государственную собственность налетели бы. А тут, как гладко все, — пойдди, устраивай, — заново строиться надо.

— Верно, это что там.

— У нас чуть до драк не доходило: молодые наши умники сначала кричали все: граждане, будьте сознательны, не уничтожайте своего собственного.

— Собственное только то, что в кармане... — отозвался угрюмо третий, все время молчавший мужик. — Трубу уволок, продал, вот тогда она и в кармане.

— Да... мы тоже так-то смекали, — сказал высокий. — Лес помещичий как начали валить да на короткие чурки кромсать, управляющий нам и говорит: «Дураки, зачем же вы добро-то портите, ведь все равно теперь ваше». А дураки знают что делают: потом пришли отбирать это государственное, думали дом заново построить из этого лесу, а там вместо лесу только колчупшки лежат, — стройся!

— Обмозговали.

— Иначе и нельзя. Ну, машины разобрали, за постройки взялись. Все по бревнышку.

— Обстроились? — жадно спросил сидевший в санях и даже отвернул мешавший слушать воротник армяка.

— Опять же на дрова! Чудак человек!

— Они те обстроят, — сказал молчаливый мужик.

— Сунулись было потом это государственное заводить, а у нас чисто, — сказал высокий мужик и вдруг закричал, показывая куда-то направо: — Вон, вон, гляди!

Там, куда он указывал, виднелось ровное место, среди которого в нанесенных сугробах торчали обгоревшие столбы.

— Это наше. Мы работали. Вон посередке, где кирпич навален, тут дом был — огромный!.. Потом присажали из центра; как, говорят, вам не совестно, мы бы, говорят, вам тут народный дом могли устроить, лекции читать, али, говорят, мастерские.

— А вы что же?

— Что ж, говорим, мы народ темный.

— Они устроят, а там с тебя меру картох, — сказал молчаливый.

— Это — первое дело. А вон в низочке столбы торчат — это паровая мельница была. А поближе сюда сад был десятин пять.

— Скажи на милость, обзаведение какое было! — сказал мужичок, сидевший в санях.

— Страсть! Больше ста лет стояло, все обстраивалось.

— Долго ломали?

— Больше трех недель.

— Да... скорей и не справишься, — сказал мужичок в платочке, посмотрев на широкое снежное пространство, бывшее под заводом, и покачав головой.

— Теперь-то многие схватились, — сказал опять высокий, — да уж поздно: дома стоят не тронуты, а к ним стража приставлена. Так ни с чем и остались. Только и есть, что по ночам таскают.

— Много не натаскаешь.

— Уж очень зло берет, — сказал мужичок в платочке, — стоят окаянные в два этажа, да с балконами с разными. И добро бы заняли чем-нибудь, на дело бы употребили, а то и этого нет: приезжают теперь по воскресеньям, осматривают. А бревна толстые в стенах!

— А что осматривают-то?

— А черт их знает. Подойдет к какому-нибудь стулу и смотрит, потом округ стола начнет ходить, тоже смотрит.

— Тут спичку надо... — сказал утрюмо молчаливый.

— Известное дело, спичку. Вон мишенские подпалили, теперь бога благодарят — на этом месте огород развели. Нам старики еще спервоначалу говорили: «Ох,

попадете вы под барщину!» Так оно и вышло. Лошадей было захватили с барского двора, обрадовались, а они подводами очередными замучили. Коров получили — их на мясо веда.

— Все в пользу государства?

— Все в пользу, пропади оно пропадом, — сказал мужичок в платочке и высморкался через грядку.

— Нет, мы хорошо обернули, — сказал высокий, — приехали еще один раз из самой Москвы и говорят: черти, оголтелые, что же вы, говорят, все разгромили и сами голые сидите? Есть, говорят, у вас соображение, ведь самих себя грабите?

— Голые, да зато взять нечего, — сказал хромой.

— А как же... Вон, вон, опять наши места пошли! — закричал высокий мужик, ткнув кнутовищем куда-то налево. — Тут молочная прежде была, в Москву молоко отправляли, там — завод стеклянный был.

— Ничего чтой-то не видать, — сказал мужик в платочке, повернувшись всем туловищем в санях.

— Как нету ничего, так и не увидишь ничего, — сказал высокий.

— Богатое обзаведение было?

— Страсть.

— А завод большой был?

— Пять недель ломали.

1918



К двухэтажному дому с каменным

низом и деревянным верхом подъехали на санях какие-то люди с ломами и топорами.

— По всей улице чисто Мамай прошел, — сказал один в овчинной шапке и в нагольном полушубке, оглянувшись назад вдоль улицы, на обеих сторонах которой то там, то здесь виднелись разломанные на топливо старые деревянные дома.

Приехавшие остановили лошадь и, отойдя на середину улицы, стали смотреть на дом и о чем-то совещаться.

Прохожие, посмотрев на совещающихся, тоже останавливались, пройдя некоторое расстояние, и тоже смотрели на крышу, не понимая, в чем дело.

— Чего это они выглялись-то? — тревожно спросила женщина, выбежав в платке под ворота из сеней.

Ей ничего не ответили.

— Черт ее знает, — тут и дров-то два шиша с половиной, ведь только один верхний этаж деревянный, — сказал человек в нагольном полушубке и высморкался в сторону, сняв с руки рукавицу.

— Чего вы смотрите-то? — крикнула опять женщина беспокойно. — Вот ведь окаянные! Подъехали ни с того ни с чего и вытаращились. На крыше, что ли, что делается?..

И она, выбежав на середину улицы, тоже стала смотреть на крышу.

— Что-нибудь нашли, — сказал старичок из прохожих, — зря не станут смотреть, не такой народ.

— Крыша как крыша, — говорила женщина в недоумении, — и бельмы таращить на нее нечего.

— На наших соседей так-то смотрели, смотрели, а потом — хлоп! Да всех в Чеку.

— Очень просто.

— Да что у них, окаянных, язык, что ли, отсох? — крикнула опять женщина. — У них спрашиваешь, а они, как горох к стене, ровно ты не человек, а какой-нибудь мышь.

Приехавшие докурили папироски и еще раз с сомнением посмотрели на дом.

— Какие только головы орудуют, — сказал человек в теплом пиджаке, — живут себе люди, можно сказать, и во сне не снится, вдруг — хлоп — пожалуйста на мороз для вентиляции.

— Ну, рассуждать не наше дело. Зря делать не будут. Инженеры небось все обмозговали. Наше дело — вали да и только.

— Против этого не говорят. А я к тому, что все-таки головы дурацкие — ведь вон рядом-то пустой стоит, разломан наполовину, а он свежий давай разворачивать. Вот к чему говорят.

— А что тебе, жалко, что ли? — сказал человек в пиджаке. — Наше дело поспевай ломать, а думать пушай другие будут.

— А как же с этими быть, что живут?

— Это уж их дело.

— Да, вот какие дела, — сказал человек в нагольном полушубке и пошел к воротам, в которых, кроме женщины в платке, стояло еще человек десять жильцов. — Вот что, вы собирайтесь, а мы пока над крышей тут будем орудовать.

— Что орудовать?.. Над какой крышей?..

— Над вашей, над какой же больше.

— Я говорил, даром смотреть не будут, — сказал старичок.

— А мы-то как же, ироды! — закричала женщина.

— Об вас разговора не было. Поэтому можете свободно располагать, — сказал, подходя, человек в пиджаке.

— Да чем располагать-то?

— А без задержки можете перебираться, вам задержки никакой, и ничего вам за это не будет.

— Какой номер дома велено ломать? — крикнул человек в рваном пальто, выбежавший из дома.

— Третий номер, — ответил человек в пиджаке и посмотрел на номер дома у ворот.

— В точку попал, как есть, — проговорил старичок, тоже посмотрев на номер и покачав головой.

— В общем порядке, ввиду топливного кризиса приказано разобрать на дрова.

— А вы помещение нам приготовили?

Человек в пиджаке сначала ничего не ответил, потом, помолчав, проговорил:

— Это ежели всем помещение готовить, то дело делать некогда будет.

— Молчите лучше, — сказал негромко старичок, обращаясь к женщине, — а то хуже засудят. На нашей улице как только такие подъезжают, так все — кто куда. Дома, мол, нету. А там, когда выяснится, что ничего, объявляются.

К говорившим подошел еще один из приехавших в теплом пальто с порванными петлями и в валенках.

— Ну, чего ты, старуха, ну, пожила и довольна. Об чем толковать.

— Да куда же нам деваться-то? Как у вас руки на чужое-то поднимаются? Креста на вас нет.

— Да, неловко получается, — сказал человек в нагольном полушубке. — Мы, говорят, жильцов в другое помещение перевели. Вот так перевели: они все тут живьем сидят.

— А может, пройтись спросить.

— Ни к чему. Жалко, что вот ты уж очень набожная старуха-то, — сказал человек в пиджаке, обращаясь к женщине, — на чужое рука у тебя не поднимется, а то бы я тебя устроил.

— А что, кормилец? — встрепелась женщина.

— Кто внизу у вас живет?

— Генерал бывший...

— Помещение просторное?

— Просторное.

— Ну, занимай, а там видно будет.

— Захватывай помещение! — торопливо шепнул женщине старичок, которая стояла неподвижно, как стоит курица, когда у нее перед носом проведут мелом черту.

Женщина вдруг встрепелулась и бросилась в дом.

— Что сказали? В чем дело? — спрашивали ее другие жильцы, но она, ничего не видя, пролетела мимо них наверх и через минуту скатилась вниз с иконой и периной в руках.

— Перины-то после перенесешь, — крикнул ей старичок, — полегче бы взяла что-нибудь, только чтоб место свое заметить.

Через полчаса приехавшие поддевали ломами железные листы на крыше, которые скатывались в трубы и, гремя, падали на тротуар. А внизу шла спешная работа, бросались наверх за вещами и скатывались вниз по лестнице в двери нижнего этажа мимо перепуганных, ничего не понимающих владельцев.

— Корежишь, Иван Семенович? — крикнул проезжавший по улице ломовой, обращаясь к работавшим на крыше.

— Да, понемножку. Из топливного кризиса выходим; умные головы начальство наше — вот хороший дом и свежем.

— Ну, давай бог. Может, потеплей изделаете. А то эдакий холод совсем ни к чему.

— Черт знает что, — говорили мужики на крыше, работая ломами, — жили все по-хорошему, как полагаются, и вдруг нате, пожалуйста... А где людям жить, об этом думать — не наше дело. Ну-ка, поддень тот конец, мы его ссодим сейчас. Ох и крепко сколочен, мать честная, он бы еще лет сто простоял.

— Построить трудно, а сжечь дело нехитрое.

Когда крыша была свалена, какой-то человек в санях, с техническим значком на фуражке, подъехал к соседнему старому пустому дому, вошел во двор, кого-то поискал, посмотрел, потом опять вышел на улицу и плюнул.

— Этим чертям хоть кол на голове тещи! Ведь сказал, к двенадцати часам быть на месте.

Потом его взгляд остановился на сломанной крыше другого дома. Человек озадаченно замолчал и полез в карман за книжкой. Посмотрел в книжку, потом номер дома. И еще раз плюнул, пошел к работавшим.

— Вы что ж это делаете тут, черти косорылые! — закричал он на крышу.

Мужики посмотрели вниз.

— А что?..

— А что?.. Глаза-то у вас есть? Вы что же это орудуете? Какой номер вам приказано ломать?

— Какой... Третий, — ответил мужик в полушубке и полез в карман.

— Читай! — крикнул на него человек с техническим значком, когда тот вытащил из кармана полушубка бумажку и долго с недоумением смотрел на нее.

— Ну, третий, а тут какая-то буковка сбоку подставлена.

— То-то вот — буковка. Вот этой буковкой тебя... Сказано номер три-а, а ты просто третий полыхнул?

— Ах ты, мать честная... — сказал мужик в полушубке, еще раз с сомнением посмотрев на бумажку, — два часа задаром отворочали. А я было и глядел на нее, на буковку-то; думал, ничего, маленькая дюже показала. Вот ведь вредная какая, скажи пожалуйста. Ну, делать нечего, полезай, ребята, на следующий.

— Лихая их возьми, выдумали эти буквы, — сказал старичок, — они вот тут так-то потрутся, да всю улицу и смахнут. Такое время, а они буквы ставят...

## Пределы власти

После пожара потребовался лес для

постройки. Попавший во владение лес еще срезали зимой и весь разделили, искромсав на дрова с таким расчетом, что ежели вздумают отбирать, так чтобы и отбирать нечего было.

Около каждой избы лежали кучи обрубков бревен, хворосту, молодняка, осинника и березняка.

Члены волостного комитета сунулись посмотреть, не осталось ли где случайно лесу, но скоро вернулись.

— Что, чисто?

— Все под гребенку, — сказал председатель, — даже молодняк березовый по буграм толщиной в руку и тот смахнули.

Председатель, засучив рукава, показал свою руку.

Все посмотрели на его руку.

— Осинник молодой, толщиной в палец, и тот повычистили, — сказал огородник.

— Хороший-то лес оболванили так, что из него ничего не сделаешь, — сказал кузнец и показал пальцем на раскиданные короткие обрубки, сваленные около избы председателя.

— Затем и оболванили, чтобы ничего нельзя было сделать, — сказал кто-то.

— Это верно. Вот они хоть никуда не годятся, зато за ними казна уж не погонится.

— С непривычки-то не знаешь, как перевертываться... Ежели бы не искромсали, глядишь, отобрали бы.

— А теперь вот и не отобрали, а лесу все нету. Взять бы эти умные головы, да об чурки об эти...

— Вот это бы ладно было.

— Кто это только выдумал?

— Постановление общим голосованием, — сказал лавочник, — отменить может только общее собрание.

Все замолчали.

— Да тут теперь и отменять нечего, — сказал кто-то сзади.

— Вот что, — сказал председатель, выступая в круг, — теперь уж разговаривать не об чем. Где у нас еще в уезде леса есть?

Все переглянулись.

— У ивановских был... — сказали сзади.

— У козловских был...

— И у нас был... — подсказал Сенька-плотник.

— Будет язык-то чесать... — сказал, оглянувшись на него, председатель. — Тут думают дело... Говорите, у кого есть, а что было, то считать нечего.

— Рожновские мужики, кажись, оставили свой лесок.

— Ну и ладно, — ответил председатель. — Сейчас... По постановлению комитета... отпустите лесу... сколько потребуется на постройку... Вот тебе квиток и жарь. Постой, дай печать приложить.

Сенька-плотник, Андриюшка-солдат и кузнец запрягли и поехали. Андриюшка, весь обмотанный пулеметными лентами, взял с собой ружье.

Когда приехали в лес, там рожновские мужики косили траву. Кузнец стал привязывать лошадь. Андриюшка пошел смотреть деревья. Привязав лошадь, кузнец пошел к крайнему мужику, стоявшему с косой, и, ткнув ему бумажку с печатью в руку, спросил, с какого конца начинать.

— Что, с какого конца?.. — спросил мужик, бывший в лаптях с привязанной к ноге жестяной брусницей. Он поставил косу стоймя и посмотрел бумажку, сначала с той стороны, где было написано, потом зачем-то с обратной.

— Комитет постановил лесу вырубить на избы, — сказал кузнец.

— У нас свой комитет.

— Наш касаться запретил, — сказали еще подошедшие мужики.

— А как же теперь наш-то?

— А шут его знает... — сказали мужички. — Ваш только до вашего пределу.

— До нашего?..

— А как же. Вот мы, скажем, со своим только до самой водотечи, а там Измайловский.

Кузнец, Сенька и вернувшийся с осмотра Андрюшка посмотрели на водотечь, куда указывал рукой мужик, держа поставленную на землю косу в другой руке.

— Полянский комитет вон до того дуба...

Все посмотрели на тот дуб.

— А дальше как?

— А дальше так и пойдет...

Мужики попались хорошие, разговорчивые; все присели на траву и закурили.

— Дела... — сказал кузнец. — Куда ж нам теперь?

— Да вон чей-то лес виднеется, — сказали мужики, — Ломакинский, что ли. — И указали направо.

— Жарь, видно, туда, — проговорил Андрюшка.

— А в записке показан ваш, Рожновский.

— Это зачеркни, а Ломакинский напиши, — сказал Андрюшка.

Кузнец в затруднении посмотрел сначала на бумажку, потом на мужиков.

— А что ж, — сказали те, — ведь печать на бумажке есть?..

— Печать есть... — отвечал кузнец, опять посмотрев на бумажку.

— А раз печать есть, пиши, что хочешь. Только повыше печати забирай.

— А лесок-то хорошенький.

— Лесок — ничего, — сказали мужики.

— У нас еще лучше был, — сказал Сенька.

— Смакнули?

— Да...

— Значит, глядели в оба.

— Да, это мы еще, когда молодые с фронту не приезжали.

— Вот-вот...

— Однако надо двигаться. В какой же теперь? — спросил кузнец, посмотрев на Андрюшку.

— Выбирай любой, — сказали мужики, сидя на траве, — как нашу водотечь перейдете, так и лупи. Только на бумажке проставляйте.

— Это, значит, до самого того дуба ваш?



— Нет, там уж другая власть, там Измайловский.

— Да, бишь, Измайловский... А от дуба Щербаковский.

— Нет, от дуба опять Измайловский: водотечь петлю там делает...

— Ну, прямо голова крутом идет, — сказал кузнец.

На деревне собирались ужинать, а посланных за лесом все еще не было. Наконец кто-то крикнул:

— Едут!..

Все вышли навстречу. Ехали пустые подводы.

— Что ж вы, черти?

— Что ж, пол-уезда, должно, изъездили. «Черти»... — передразнил Андрюшка и, сойдя с дроз, стал снимать с себя ленты патрон.

— Наш комитет только до водотечи касается, — сказал кузнец, ни на кого не глядя и отпрягая свою лошадь.

— Всякая власть имеет свои пределы... — сказал Сенька, подмигнув и отряхивая полы от пыли.

— Давай бумажку, — сказал председатель, некоторое время посмотрев на них. Кузнец подал бумажку. Председатель долго смотрел на нее.

— Что за черт, — сказал, наконец, председатель. — Где же тут... По постановлению... отправлены в Рожновский... тут замазано... в Ломакинский.

— Так, так, — сказал кузнец, — выше поднимайся, — и показал своим кривым пальцем.

— По постановлению — в Щербаковский... по постановлению — в Слободский...

— В девяти лесах были, — сказал Андрюшка, освободившись от патрон и держа их в руке, как пахарь, отпрягнув лошадь после трудового дня и разговаривая с соседом, держит в руках снятую сбрую.

— То-то вот, умные головы... достался им лесок — нали на дрова. Коли начинать, так прямо с него.

— А с чего же было начинать? — спросил недовольно председатель, все еще смотревший на бумажку.

— С чего другие начали, с того и нам надо было. По крайней мере, и с лесом были бы, и с дровами.

Все почему-то посмотрели на помещичьи строения и ничего не сказали.

Разнесся слух, что комитеты будут

уничтожены и вместо них организуются советы. Из Москвы с завода приехал Алексей Гуров и каждый день собирал около себя молодых солдат, вернувшихся с фронта, и говорил с ними о чем-то.

Старые члены комитета, в особенности лавочник, ходили встревоженные. Лавочник, поймав кого-нибудь на дороге, говорил:

— Что делается!.. Только было начали налаживать, а они теперь все насмарку пустят. Ведь эта голытьба окающая сама никогда ничего не имела и других теперь хочет по миру пустить.

Прежде, когда лавочник был председателем, он был строг и недоступен, и у мужичков уже начало накапливаться недовольство им. Но теперь он стал такой хороший и разговорчивый, что все растрогались и говорили:

— От добра добра не ищут. Нам новых не надо.

— Ведь они все разбойники, — говорил лавочник, — ведь у них ни бога, ничего нет.

— Это верно, о боге теперь не думают.

— И потом, нешто они дело тебе понимают! — продолжал лавочник. — На каждое дело нужна особая специальность, а они, кроме того что глотку драть, ни на что больше не годны.

— Это что там...

— Мы трудились для вас, можно сказать, все начало положили, они хотят готовенькое подцапать, а нас долой. Правильно это?..

— Кто там хочет! — слышались голоса. — Мы выбирали вас, значит — наша воля. Нам нужны дельные, одно слово, чтоб человек основательный был. А это что. Голытьба! Так она и всегда голытьбой будет, не

хуже этого Алешки. В пальто ходит и думает... Когда только этот корень окаянный выведется!

— Значит, поддержите? — спрашивал лавочник.

— Не опасайтесь. Мы за вас, как один человек, поднимемся... Глас народа, брат, одно слово. Раз уж мы выбирали, на вас положились, значит, крышка.

— А то придут какие-то голодранцы, у которых материно молоко на губах не обсохло, и пожалуйста, выбирайте их.

— Силантыч просит того... чтобы поддержать его, — говорили мужики тем, которые не присутствовали на беседе.

— Это можно.

— Ну видишь, все, как один человек, за тебя стоят. Ставь, брат, магарыч. Не выдадим! Хоть иной раз и прижимал нашего брата, ну, да что там, без этого нельзя.

— Ведь обязан был, на основании, — говорил лавочник. — Ежели бы моя воля, так я бы со всеми, как с братьями. А ежели иной раз за дело, так ведь сам понимаешь — нельзя.

— Правильно! — говорили мужики. — А что строг бывал, так с нашим братом иначе и нельзя; ты с ними хочешь по-благородному, а они тебе в карман накладывают.

— Значит, буду надеяться?.. — спрашивал лавочник.

— Сказано уж, чего там! Прямо как один человек встанем.

В воскресенье около школы толпились мужики. Все сидели на траве, на бревнах, курили, говорили и поглядывали на дверь школы, куда пошли молодые солдаты с фронта с высоким человеком в пальто с барашковым воротником.

— Что-то они дуже долго разговаривают-то там?

— Хотут умными себя показать.

Из школы вышел солдат и позвал всех на собрание.

В передней части школы, где обыкновенно заседал президиум комитета, за столиком сидел Алексей Гуров, и около него два молодых солдата в шинелях и в шапках.

— Шапки-то можно бы и снять, — сказал кто-то не-

громко в задних рядах.

— У них головы воздуху не терпят, — ответил насмешливый голос.

Лавочник стал на виду у окна передней части школы и водил глазами по лицам. Все ему подмигивали. Степан, товарищ председателя, кротко сидел на подоконнике. Николая-сапожника не было видно, — очевидно, опоздал на собрание.

Сидевший за столом Алексей Гуров, так же, как и лавочник, тоже смотрел на все, как бы следя, чтобы не было лишней толкотни и чтобы все скорее расселись. Лицо его было серьезно. Он не узнавал знакомых, как будто совсем не тем был занят.

— Словно начальство какое... Сел себе за стол, никто его не просил... Чего же это Силантьич-то молчит?

— Нахальный человек, и больше ничего, — кому охота связываться.

— Все равно. Раз против него все, тут сколько ни нахальничай, толку не будет, — говорили в разных углах.

— Сели? — раздался голос сидевшего за столом.

— Сели... — сказали недовольно сзади.

— Ну, вот и ладно. Вы прежним президиумом довольны?

— Довольны! — сказали дружно голоса, и многие посмотрели при этом на лавочника.

Лавочник опустил глаза.

— Хорошо. Теперь по декрету комитеты отменяются. На их место приказано организовать советы. Президиум можете оставить старый, можете выбрать новый.

— Думали, нахальничать будет, а он — ничего, благородному, — послышался после некоторого молчания голос из угла.

— Малый как будто ничего...

— А чем вы довольны старым президиумом? — спросил Алексей.

Все молчали.

— Землю они вам разделили?

— Насчет земли разговор был, — сказал нерешительный голос.

— А дележа не было еще?  
— Подождать велели, — ответил тот же голос.  
— Значит, ждете по собственному желанию?  
— По собственному... чтобы по порядку все было, — сказал Иван Никитич, — а не зря.

Он хмуро сел, взглянув при этом на лавочника. Тот тоже посмотрел на него.

— А еще насчет чего разговор был?  
— Мало ли насчет чего... — ответил опять неохотно голос сзади.

— Насчет хлеба был. Хлеб и скотину уже поделили.  
— А у кого она, эта скотина-то? — спросил Алексей.  
— К прасолу в гости пошла... — сказал Семен-плотник, — она богатых дюже любит.

— Вот-вот, — послышалось несколько голосов, — бедным дали, а она опять к богатым прибежала.

— Так... — сказал Алексей; он все сидел за столом и держал в руках карандаш, повертывая его за рубчики. — А сеять на помещичьей земле будете?

— Велели подождать. Как там порешат...

— Так вы довольны?

— Вот черт-то, исповедовать пошел. Крючком за губу поймал и ведет, — сказал недовольно Иван Никитич и прибавил громко: — Чем довольны-то?

— Да вот, что подождать-то велели...

— Чемуж тут быть довольным? — отвечал хмуро Иван Никитич, но взглянул на лавочника и еще более хмуро сказал: — Известно, довольны, потому — порядок.

— Так... А ежели сейчас такой закон выйдет, что бери землю и — никаких!

Все переглянулись.

— Чем скорей, тем лучше, — сказал Иван Никитич, не взглянув на лавочника, который быстро поднял голову.

Все посмотрели на лавочника.

— Как бы Силантыча не обидеть... — сказал кто-то.

— А чем его обидишь. Ему-то что? Он, что ли, отвечает? Раз такой закон вышел... выберем его в совет, только и дело.

— Что ж, ежели такой закон вышел, отчего и не брать, ежели по шапке за это не попадет! — сказала уж

несколько голосов.

— А то прежде ждали и теперь опять жди.

— Правильно!

— Им-то хорошо, они залезли себе в комитет и гребут, а мы, дурачки, ждать будем?

— Чего вы, черти! Силантьич услышит, — слышались негромкие голоса.

— А пуцай слышит. Он карманы-то себе набил!

Лавочник водил глазами по всем скамьям, но никак не мог ни с кем встретиться взглядом. Все смотрели мимо него или так водили глазами, что за ними невозможно было утоняться.

— Нечего глаза-то таращить... — сказал кто-то, видимо, по адресу лавочника, — денежки-то все себе загребли...

— Николка хоть по глупости много распустил по ветру, а этот, черт, лапы-то загребушие... прежде все время сок жал и теперь тоже. Мы «подожди», а он себе в карман... У, сволочь!

— Да, Николай — это все-таки человек с совестью.

— Ну да, тоже Николай твой языком только молоть здоров, а что от него? Степан вот, правда, — святой человек.

— То-то этот святой корову у меня взял да на нижнюю слободу ее отдал... Святой начнет стараться — хуже дурака выйдет...

— Все они хороши, дьяволы.

Алексей, что-то писавший, поднял голову и сказал:

— Так вот, товарищи: власть теперь ваша и земля ваша. Берите землю, берите хлеб, чтобы этих чертовых гнезд тут больше не было. Кто против этого, прошу встать.

Все сидели. У лавочника упала шапка и покатилась.

— Шапка уже в руках не держится!.. — сказал чей-то голос.

— Разъелся, вот и не держится!.. Ишь, черт... Когда только корень этот окаянный выведется!..

— Предлагаю произвести перевыборы в совет, — сказал Алексей. — Сейчас будут объявлены два списка: в одном старый президиум, в другом — новый. Огласи... — обратился он к секретарю, подавая ему

два листочка.

Все выслушали молча.

— В новом-то он и эти двое с фронту? — спросил передний мужичок.

— Выходит, так, — ответил сосед.

— Кто за старый состав... прошу поднять руки.

Все сидели неподвижно.

— Кто за новый?..

Все подняли руки.

Лавочник взял шапку и пошел, ни на кого не глядя, к двери.

— Что тут? — спросил запоздавший Николай-сапожник, войдя в школу и тревожно оглядываясь.

— Новых выбрали, — сказал задний мужичок в лохматой шапке.

— Кто же это?

— Все. Прямо, как один человек, поднялись.

— Глас народа, брат...

1918

## Тринадцать бревен

**М**ужики деревни Свиной Рог имели

луга за рекой и всю жизнь мучились во время покоса: все сено приходилось перевозить на двух-трех лодках. И для поездки в город приходилось делать крюк в три версты на мост в соседней деревне.

Прошел слух, что совет идет навстречу: дает материалов и даже денег на постройку.

Мужики не поверили. Но факт подтвердился.

— Не все их ругать, а приходится и похвалить, — говорили мужики.

— Как же не похвалить, чужак человек: ведь если бы, скажем, это большой проезд был, для всей округи, ну тогда государство должно уж позаботиться. А то для одной деревни и то, пожалуйста, мост готов. Вроде подарка. А то ведь измучились.

— Измучаешься каждое лето по охалке из-за реки сено таскать. Больше его рассоришь, чем перевезешь.

— Нет, ведь это что: мало того, что бесплатно лесу отпустили, а еще плотников оплатить хотят.

— Какие ж плотники, мы сами же и делать будем.

— Вот та-то и штука-то. Выходит, что и мост получим — с неба свалился, — и еще подработаем на нем.

В ближайшее воскресенье возили доски из леса всей деревней. Вышло как раз поровну: каждому пришлось съездить по одному разу.

Остались незахваченными только тринадцать бревен для свай.

В понедельник сразу же приступили к работе. Одни тесали на берегу бревна, другие строга́ли доски, чтобы уж мост был как игрушечка.

— Любо смотреть, — говорил кто-нибудь, проходя мимо.

— Как начальство хорошее, так и работать любо, — отвечали мужики.



— В начальстве все дело.

— А как же. Спокон веку на лодках сено таскали, никто не заботился. А теперь поглядели, видят, что мужичкам неспособно так, нате вам материалу, нате вам денег, — говорили мужики, стуча топорами.

— Кабы начальство везде было хорошее, тут бы делов натворили — страсть! Ведь вот мост-то через неделю уже готов будет.

— Взялись здорово, — сказал черный мужик в длинной рубахе. — Кирюха, подождал бы сваи-то ставить, — прибавил он, обращаясь к шустрому мужичку, который, сняв только портки и замочив рубаху до пояса, лазил в воде, принимая бревна, которые спихивали к нему с берега.

— Чего ждать-то? — спрашивал Кирюха, поправляя мокрой рукой наехавший на глаза картуз.

— Чего... что ж, у тебя свай-то только ведь до половины реки хватит, пушай остальные тринадцать бревен привезут, тогда и ставь заодно все подряд.

— Ни черта, покамест их привезут, а у меня уж полмоста будет готово.

— Да как же насчет этих тринадцати-то? — спрашивал кто-нибудь. — Надо бы привезти их.

— Вот воскресенье придет, тогда всей деревней и поедем.

— Да что же там всей деревней делать. Там подвод шесть надо, не больше. Шесть человек отрядить, вот и все.

— А что, за них плата какая-нибудь будет?

— Платы никакой, потому что все израсходовали прошлый раз. Да уж, кажется, и совестно плату спрашивать: и так для себя же возили, и нам же за провоз заплатили. Дальше иттить некуда. Что ж, тринадцать штук не можем бесплатно для себя привезти?

— Это конечно. Что говорить.

— Ну, вот и поезжай, — крикнул Кирюха из воды.

— Я-то поеду, я не отказываюсь, а мне еще пять человек давайте. Что ж я один буду возить. Вот поедем со мной, что ты там в воде-то все чупахтаешься?

— Я дело делаю, а не чупахтаюсь.

И как только заходил вопрос о том, кому ехать, так все оказывались необыкновенно заняты: кто стучал

топором, не разгибая спины, кто натягивал набеленный мелом шнурок и щелкал им по бревнам, кто забивал сваи в воде.

— Я бы поехал, — говорил кто-нибудь, поднимая голову от бревна, которое он тесал, — да у меня кобыла брюхатая, где ж ей бревна таскать. А ведь их пропереть пять верст — тоже штука не легкая.

— И черт их знает, как они остались? Почему их в один раз-то не захватили?

— Почему не захватили — потому что не поместились на подводы.

— Прямо, ей-богу, досада. Какой-нибудь пустяк, а глядишь, все дело задержит.

— Ничего не задержит, привезет кто-нибудь.

Но каждый старался не очень говорить о них, чтобы ему не сказали: «Кричишь больше всех, давно бы уж перевозил их».

И поэтому больше делали вид, что все в порядке, бревна пока что не нужны.

А Кирюха уже догнал мост до половины.

— Бревна давайте, сваи ставить надо, — кричал он.

— Откуда ж мы тебе их возьмем, — отвечали с берега, — делай там еще что-нибудь. А завтра привезем.

— Все уж сделано давно.

Он вылез из воды вместе со своими подручными, надел портки и сказал:

— Наше дело кончено, пойдем похлебку хлебать, а когда бревна привезете, тогда кликните.

И, вскинув пиджаки на плечи, пошли к деревне. Все посмотрели им вслед и сказали:

— Нароботались... Чего ж мы-то будем тут околачиваться?

— Наперед подготовим, — сказал кто-то, — когда бревна привезут, у нас уже все будет готово.

Говоривший это воткнул топор в бревно и сел покурить. Остальные тоже воткнули топоры.

На другой день пришли опять на работы, стали тесать. Но мост, покинутый остальной партией, выглядел сиротливо, так что у работавших было такое впечатление, как будто они работают над каким-то брошенным делом.

Стало скучно.

А перед обедом пришли остальные с Кирюхой во главе и крикнули:

— Привезли бревна?

— Кто же тебе их повезет? Мы дело делаем. Это вы там похлебку хлебаете.

— Ну, покамест не привезете, мы и ходить сюда не будем.

Повернулись и пошли.

Мужики посмотрели им вслед и сказали:

— Что за господа такие?.. Фу-ты ну-ты... Бревна им возить. Посидел на мосту, так уж фасон сразу взял, мы, выходит, для них не то подмастерья, не то и вовсе черт знает что. Пушай сначала сваи вобьют, тогда мы будем работать. А то что ж мы над пустым местом будем сидеть тут.

Выходило так, как будто ушедшая партия была какими-то барами, а эти — их рабочими.

— Да на черта они нужны! Мы свое дело сделали: доски выструганы, бревна обтесаны. Работали не хуже, а они командуют.

— Покамест они не придут, не делать ни черта. Бросай к черту!

Мужики бросили доски и пошли к деревне. На другой день Кирюха вышел за околицу, загородил глаза рукой от солнца и посмотрел на берег. Там никого не было. Потом вышел один из враждебной группы и тоже посмотрел из-под руки на берег. Там никого не было.

— Все похлебку хлебуют, господа-то наши, — сказал он, вернувшись.

— Ну и черт с ними. Покамест они не выйдут — не ходить!

— Ах, сволочи... Все дело теперь к черту полетит, — говорили мужики. — Там небось и материал весь уже разволокли.

— Ну, как дела? — спрашивали соседи.

— Плохо. Совет у нас уж очень... Материал выдал, денег выдал, и на том дело кончено. Опять на лодках придется перевозить. Вот наказал бог!..

**К**ак только прошел слух, мужики

сейчас же выбрали комитет. А в комитет избрали трех человек: Николая-сапожника, Степана и лавочника.

Николая выбрали за то, что он очень долго говорить мог и выдумывать то, чего до него никто не выдумывал.

Степана выбрали за то, что у него душа была уж очень хорошая, он всегда говорил о том, чтобы всем было хорошо и чтобы все было по справедливости, и все были бы равны.

И совесть у него была замечательная. Он скорее своему готов был отказать, но чужому никогда не отказывал.

Лавочника выбрали просто от хороших чувств. От этих же чувств выбрали бы и помещика, чтобы показать, что они зла не помнят, но не решились, побоявшись молодых, которые должны были скоро вернуться с фронта. И потому остановились на лавочнике.

— Он хоть жулик номерный, но деляга, — говорили мужики.

— Без жулика нешто можно, потому он тебе все знает, где, как и что. Может, он не для себя только будет стараться, а и для общества.

— Довольны своими? — спрашивали соседние мужички из слободки.

— На что лучше. Одно слово — три кита. На подбор.

Деятельность избранных распределилась очень хорошо.

Николай работал головой и языком. Он добивался главным образом того, чтобы устроить жизнь так, как еще нигде не было. И потому он взял на себя разработку планов, проектов.

— Главное дело — выдумать, — говорил он, — а сделать-то всякий дурак делает.

Но у него был один серьезный недостаток: он свои планы никогда не согласовывал с жизнью. Чем меньше возможности было выполнить на деле то, что он придумал, тем для него было лучше: значит, так сразу далеко шагнул, что и рукой не достанешь. Значит, голова работает.

А голова, действительно, хорошо работала: не проходило дня, чтоб его не осеняла новая идея. Идей этих было столько, что он едва успевал их выкладывать, и даже часто сам забывал сегодня о том, о чем говорил вчера.

— Что ж ты, черт! Ведь вчера совсем другое говорил! — кричали ему мужики.

— Нешто все упомнишь, — отвечал Николай, — хорошо у вас одно дело, а я обо всем думаю.

Начал он с того, что деревню сразу превратил в столицу. По его плану, нужно было открыть школу для взрослых, столярную мастерскую, агрономические курсы, народный дом, пчеловодные курсы и театр. И все сразу и в разных помещениях, чтобы путаницы не было.

— А денег откуда возьмешь? — спрашивали мужики.

— Ерунда. По копейке со всех соберем, вот тебе и школа для взрослых.

— А насчет столярной мастерской?

— Ерунда. По две копейки со всех соберем, вот и все.

— А на агрономические курсы, значит, по три будет?..

На другой день школа и курсы отменялись, потому что у Николая мысль направилась куда-нибудь совсем в другую сторону. И мужики облегченно вздыхали при мысли, что одна копейка, две копейки и три копейки останутся в кармане. И чувствовали даже повышенное расположение к Николаю, что он так хорошо говорил, и в конце концов ничего не придется платить за это.

Такие перемены в решениях и планах Николая происходили оттого, что он никак не мог утерпеть, чтобы не говорить о задуманном со всяким встречным или первым попавшимся под руку приятелем. И если таких приятелей попадалось десятка полтора, то к вече-

ру задуманное до того ему надоедало, и так он уставал от него, точно работал целую неделю день и ночь.

— Как у тебя голова только терпит? — говорили мужики.

— Что ж сделаешь-то, время такое, надо стараться, — отвечал Николай, — зато теперь про нас в газетах пишут.

И, правда, писали, что в таком-то селе открылась школа для взрослых, народный дом, пчеловодные курсы и т. д. Это происходило потому, что Николай в волостном комитете рассказывал председателю, как о задуманном, председатель волостного комитета рассказывал в уездном комитете, как о начатом, председатель уездного рассказывал в губернском, почти как о законченном, в расчете на то, что пока он до губернии доедет, там уж обделают дело. А тот печатал в газете, как об открытом.

И не только не видели никакого убытка от деятельности Николая, а частенько получали и кое-какую выгоду. Николай вдруг решит разобрать на школу помещичью кухню. Разберут с удовольствием. Но школу класть еще не начали, как у Николая новая идея.

А кирпич лежит свободный.

А в хозяйстве он каждому нужен.

И когда Николай решит общественную библиотеку построить, наложивши на каждого по четыре копейки, то оказывается, что четырех копеек платить не придется, потому что и никакого кирпича нет.

Пойдет посмотреть на то место, где лежал кирпич, — его и правда нет.

— Ну и черт с ним, — скажет Николай, — какая тут библиотека, когда бани нету, ходим все как черти мытые.

Библиотеку откладывали.

— Вот это другое дело, — говорили старички, — в баньке попариться не грех, это всякий с удовольствием.

— Взносы небось придется на нее делать? — спрашивал кто-нибудь.

— Нет, — отвечал Николай, — вот амбар помещичий приспособим, перегородки из закромов высадим — и ладно.

Перегородки высаживали, и, когда приходили к нему за дальнейшими указаниями, он раздраженно кричал:

— Ну, какого черта еще прилезли? Чего вам?

— Насчет бани...

— Насчет какой бани?

— Общественной.

— Вот надоели с этой баней. Всю жизнь сидели без бани — и ничего, а то вдруг им баня понадобилась.

— Да нам не к спеху.

— Не к спеху, а лезешь?..

Баню пока откладывали.

— А перегородки себе взять можно? — нерешительно спрашивал кто-нибудь.

— Можно.

— Вот так до весны подработаем — везде чисто будет.

Когда выбирали Степана, который старался всегда, чтобы все было хорошо, то каждый думал, что раз Степан — хороший человек, то он уж не откажет, если, к примеру, пойтить насчет леску попросить.

И так как каждому что-нибудь было нужно, то поэтому к Степану шли все.

И он никому не отказывал. Писал на бумажке какие-то крючки и отправлял к лавочнику для выполнения.

Но получалось всегда так, что одному даст — глядишь, обидел другого. Написал одному выдать корову, отобрал ее у прасола, мужичок ушел, благословляя Степана. А через минуту прибежал прасол, прося написать бумажку о том, что его корова не подлежит реквизиции. Степану как-то неловко было отказать и этим обидеть человека. Он написал и прасолу. И когда мужичок прибежал, запыхавшись, и показал прасолу бумажку насчет коровы, прасол, прибежавший еще более запыхавшись, показал ему тоже бумажку насчет той же коровы.

Когда разговор заходил о том, чтобы делить помещицью землю, Степан первый присоединялся к этому, говоря, что несправедливо одному владеть тысячей десятин, когда у мужика и пяти нету.

Но, когда разговор заходил о том, чтобы в это воскресенье начать делить, Степану становилось жаль

помещика — тоже человек, и он говорил, что лучше подождать.

— Как там решат всем народом, так тому и быть. Немножко и подождать-то. Скоро соберутся.

— Да до каких пор ждать-то! Жрать нечего, — говорил кто-нибудь.

— Ну, я тебе записочку к арендатору напишу, он тебе муки даст.

— Что ж ты, одному только напишешь, а остальные облизываться будут?

— Зачем одному, можно и не одному.

И все, окружив Степана, получали записки и бежали к арендатору за мукой.

— Вот человек, вот это душа. Чтобы он когда-нибудь тебе в чем-нибудь отказал — примеру еще такого не было, — говорили мужики. — Не ошиблись, выбрали.

— На душу гляди, никогда не ошибешься.

А минут через десять прибежал арендатор и торопливо говорил:

— Голубчик, дай скорей записочку, а то всего оберут, сукины дети.

И чем Степан был добрее ко всем, тем больше его начинали ненавидеть. И дошло наконец до того, что не могли слышать одного его имени, чтобы при этом не помянуть своих и чужих родителей.

Лавочник, согласно своему призванию, занялся хозяйственной частью, главным образом кооперативом, куда посадил своего племянника, у которого нос постоянно был в саже, а правая рука почему-то поднималась вместе с левой.

Но лавочник свое призвание, имевшее определение номерного, направлял односторонне: только для себя, забывая при этом об обществе. Поехал к Пасхе за товаром и привез почему-то одного мыла. Дешево очень было. Все подходили к прилавку, на котором лежали бруски серого мыла, и, потрогав руками, уходили.

— Хочешь умывайся, хочешь разговляйся, — сказал Сенька.

— Бани не построили, зато мыла сколько хочешь.

И так как мыла за глаза было много, то лавочник от



себя стал сбывать его. Деньги за проданный крестьянам помещичий скот тоже поступили к нему.

— Квиток-то дашь? — спрашивал иногда какой-нибудь мужичок, только что внесший за корову деньги.

— Какой же тебе квиток, — говорил лавочник, — я вот тут тебя запишу.

Он ставил на клочке бумажки какой-то крючок и совал бумажку себе в карман, где у него были еще такие же бумажки.

— Не спутались бы, — говорил мужичок, — по разным карманам бы разложил.

— На каждого черта особый карман, что ли, буду готовить? — отвечал лавочник. — Жирно будет, облопаетесь.

А потом и правда оказалось, что бумажки спутались: неизвестно, кто платил, кто не платил, и выходило так, что будто вовсе никто не платил, потому что, когда понадобились деньги на покупку товара, денег никаких не оказалось.

— Да ведь бумажки-то ты с нас брал? — закричали все в один голос.

— Брал, — ответил лавочник.

— Крючки-то свои ставил?

— Ставил.

— Ага, ставил? Так где ж они?

— Кто?

— Да бумажки-то эти с крючками?

— Он, должно, не в тот карман их клал...

— Чего галдите, вот ваши бумажки. Все тут записано. Проверь.

И вынул из кармана пачку смятых истертых бумажек. Все посмотрели на бумажки и замолчали.

— Вывернулся, черт...

— Этот всегда вывернется. Вот отчетность бы завести, тогда бы они попрыгали. А деньги-то у тебя где?

— Деньги разошлись. Где ж им быть? Что я их, съел, что ли? Очень мне нужны ваши деньги! — кричал уже лавочник. — Ежели бы я квитанций вам не показал, могли бы орать, а раз все тут, значит, и не галдите.

— Товар надо осмотреть, — сказал кто-то.

— Правильно. Веди в лавку. Зови дьячка для контроля.

Пришли в лавку, стали проверять. Оказалось, что в кассовой книге, в графе, где стоят рубли и копейки, записано «поступило три свиньи».

— Что-то они не в ту закуту попали, — сказал дьячок, держа желтый табачный палец на графе и повернув к мужикам голову с подпрыгнувшей под воротник полукафтаны косичкой.

Ближние к дьячку нагнули головы к книге.

— Ты бы поаккуратней писал-то, — сказал кузнец малому, — тебе тут рубли нужно писать, а ты свиней сюда нагнал!

— Это я спутался, их вон куда надо... — сказал чернососый малый, полез правой рукой почесать затылок, и левая стала подниматься.

— Ты, должно быть, не той рукой писал... — сказал Сенька.

— Поаккуратней надо, — сказал член комиссии, — а то, за тобой не догляди, ты к весне тут целое стадо разведешь.

— Правильно, что ли? — спрашивали задние.

— Черт его знает! Уж очень намазано чтой-то... Про свиней прочли, а про деньги чтой-то ничего не разберешь.

— Это я тут ошибся да пальцем растер, — сказал малый недовольно.

— Зачеркивал бы. А то скоро кулаком по всей книге начнешь мазать.

Когда же с лавочником заговорили о земле, то он, сам имевший 20 десятин купленной, говорил:

— С этим надо подождать, как там решат. Сейчас пока только налаживаем. Без закону нельзя. Вот соберутся, тогда... Зато мы с вас никаких налогов не берем.

Если кто-нибудь приходил к нему с запиской от Степана, который просил выдать просителю кирпича на хату, лавочник говорил:

— Нету кирпича. На школу пошел.

— Да ведь школы-то нету?

— Школы нету потому, что курсы решили строить.

— Да ведь курсы-то не построили?

— А, черт, пристал... У Николая спрашивай.

Проситель шел к Николаю.

— Кирпич из разломанной кухни брал? — спрашивал Николай.

— Брал...

— Ну, так какого же черта лезешь!

И выходило так, что все терпели от троих. С одной стороны, от пустой головы Николая, с другой — доброй души Степана, с третьей — от односторонне направленного номерного дара лавочника.

— Этому черту в святые надо было идти, а не общественными делами заниматься, — говорили про Степана.

— Вот засели, окаянные, на общественную шею. Когда ж это с фронту придут?!

— Кто же это вам удружил таких? — спрашивал кто-нибудь из мужиков.

— Сами, конечно. Кто ж больше? Ведь это какой народ...

[1918]

# Хороший комитет

Эпоха 1917 г.

**В**сяких мешков и сундуков было

столько, что ими заставили все углы и проходы в вагоне.

Маленький веснушчатый солдатик едва втащил свой пятый мешок. От напряжения и возни у него оторвался сзади хлястик, и шинель распустилась балахоном.

— Мобилизуетесь? — спросил его солдат в стеганой ватной куртке с тесемочками.

— Да, с фронта, — отвечал солдатик, вытирая руки о штаны.

— Я уж по вещам вижу.

— Все руки, нечистый их возьми, оттянул.

— Не дай бог, сам возил, знаю. А помногу досталось?

— Да вот все тут. Да еще раньше домой свез почесть столько же.

— Пудов десять будет, — сказал третий, высокий солдат, свертывавший папироску, бегло взглянув на вещи. — Через комитет делили?

— Через комитет.

— О!.. Значит, хороший комитет. А в других местах едут безо всего. Смену белья дали да шинелишку с сапогами, и буде.

— Это верно, — сказал голос с полки, — у нас в полку тоже так-то, ничем не дали попользоваться; только что сами раньше ухватили, то и есть.

Все оглянулись на голос.

— Очень просто...

— Нет, наш комитет хороший, — сказал владелец мешков, — у нас почесть все цоровну. Одного сахару пришлось по пуду на человека.

— По пуду!..

— Да... а какие раньше еще ухватили, когда не знали, что дележка будет, и думали, что все в казну отой-

дет. Шинели по три штуки, консервы эти, уздечки, седла, ну, — словом сказать, — все, что на себе унести можно. А что тяжелое — на месте распродали: повозки, лошадей там...

— Поровну тоже?

— А как же!

— Хороший комитет, — сказали в один голос несколько слушателей, не принимавших до того участия в разговоре. — Это редкость.

— Обиды, можно сказать, не было, — сказал солдатик скромно и, загнув руки за спину, стал прикреплять сзади хлястик, весь сморщившись от напряжения, в то время как слушатели молча смотрели на него и ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь.

— А вот у нас комитет — так собачий был!.. — сказал голос с полки. — Ничего не дали. До какого паскудства дело доходило: белье, скажем, сносилось, приноси старое, тогда получишь новое.

— Последнюю рубашу дерут.

— А отчего у вас комитет собачий был, — спросил солдат в стеганой куртке, — ты не знаешь?

— Ась?..

— Отчего, говорю, комитет собачий у вас был? — повторил солдат в стеганой куртке, прибавив голоса.

— Отчего? Кто же его знает отчего.

— То-то вот... Оттого, что у самих мозги курьи. Сами же выбирали, а вышел — собачий. У нас тоже заикнулись было: «Не позволим, расхищение достояния», так на другой же день слетели, новых выбрали.

— Вот так не позволили!..

— Это тоже глядя по фронту: на одном хорошо было, а на другом беспорядок — не хуже северного. Там даже плохо было.

Поезд остановился у станции. Окно спустили и выгнулись. Напротив стоял товарный поезд, очевидно только что подошедший. Из отодвинутой широкой двери поспешно вылезали солдаты и спускали на платформу вещи.

— Ну, у этих не жирно, мешочек-другой и — обчелся. Должно, с северного, — сказал солдат, куривший папироску и, по-видимому, знавший все порядки.

— С какого фронта?.. — спросил солдатик с оторвавшимся хлястиком, высунувшись в окно.

— С северного... — ответил утрюмо солдат, вытаскивавший мешок из вагона.

— Ну вот, я говорил, что с северного. На северном совсем, можно сказать, мало взяли.

— Врасплох захватили?..

— Да. Да и порядку настоящего не было. Зато западных сразу узнаешь.

— Нет, наш комитет, можно сказать, на диво, — как только стали доходить слухи, так комитет прямо вынес решение...

— То-то, вот какие понимают по-божески, а какие норовят...

— Нет, у нас на диво, — повторил солдат с оторвавшимся хлястиком. — Я, можно сказать, всю семью одел. Сейчас все солдатами ходят: и отец и дед. Даже баба и та в офицерской непромокайке ходит.

— Тоже досталась?

— Нет, с товарищем поменялся. Мне-то она подходяща.

— А у нас умные головы пулеметы делить додумались. Два пулемета в полку, а они их делить, кому винтик, кому что.

— Нешто это можно?.. — сказало сразу несколько голосов.

Солдат в стеганой куртке на это ничего не ответил.

— У нас пулеметы продавали, а уж деньги делили, — сказал солдатик, хваливший свой комитет.

— Вот то-то что понятие-то разное бывает. У них вон люди с разумом, а у нас все лукошки набраты. Так никто ничем и не пользовался.

— Да на винтике-то на этом далеко не уедешь.

— Что ж там...

— Ох и дешево же эти пулеметы шли. Иные откупали, себе везут.

— И пулеметы везете?

— Мы все везем. Это сообщение отчего-то разладилось, а то бы... Сейчас уж берешь, что нужно только.

— А вот наши раньше мобилизовались, — сказал опять голос с полки, — так чего только не навезли...

— Это с западного, что ли?

— Да, когда первые года шли.

— Тогда лучше было. И опять же западный фронт. Другого такого не было.

— Вон, какие-то едут, по вещам и не разберешь, — сказал высокий солдат, когда проезжали мимо полутанка, — не много, не мало — середка наполовине.

— Откедова вы?..

— С кавказского... — ответил голос из-за окна.

— Ну вот, я уж вижу, не то и не это.

— А куда вы пулеметы продавали? — спросил молодой солдатик с безусым лицом и в рваной шинели.

— Куда... — не глядя на спрашивающего, недовольно проговорил солдат, хваливший свой комитет. — С фронту ты едешь или нет? — спросил он, уже прямо глядя на молодого солдатика.

— С фронту...

— По делу-то не видно, что с фронту.

Все долго молчали, подозрительно поглядывая на рваную шинель.

— Ну, а насчет денег как?

— Насчет каких?..

— Да опять же полковых?

Солдат с хлястиком некоторое время молчал.

— Деньги не тронули, — сказал он наконец, — потому деньги — это государственное.

— Кто это вам сказал?.. — быстро спросил высокий солдат.

На него все оглянулись и ждали.

— Кто сказал... комитетчики.

— Нет, это значит, не государственное, а что как вы есть ослы, дураки, лукошки, то и везите себе винтики, и они это государственное себе повезут.

— Чтоб легче было!..

— Вот-вот.

— То все было народное, а как до денег дошли, так сразу издалось государственное, — заговорило несколько голосов.

— Они думают, что ежели залез в комитет, так гребни один, а людям не надо.

— С винтиками обойдутся... — сказал солдат, ре-  
завший краюшку хлеба.

Солдат, хваливший свой комитет, стоял озадачен-  
ный, как бы плохо понимая, и только оглядывался во  
все стороны на говоривших.

— Околпачили здорово... — сказал кто-то.

— Дуракам-то, видно, кого ни выбери, все равно  
один толк, — сказал солдат в стеганой куртке, — осто-  
лопов выбрали, добро промеж пальцев пропустили, по  
винтикам, а на умных наскочили — эти околпачили.

— А ведь и то, чтой-то промахнулись... — сказал на-  
конец солдатик, хваливший комитет. — Ну да подожди,  
в третий раз поеду, тогда уж...

Но его уже никто не слушал.

— Во, во! — закричал солдат в стеганой куртке, что-  
то увидев в окно.

Все оглянулись и сдвинулись у окна. Из товарного  
поезда, стоявшего на втором пути у станции, вылезали  
солдаты и тащили, шатаясь от тяжести, огромные  
мешки.

Высокий солдат до половины высунулся в окно и  
крикнул:

— Откедова везете?

— С западного... — донеслось оттуда.

— Без комитета делили?

— Без комитета.

— Вот это я понимаю! А то жди — хороший он попа-  
дется либо нет, а тут уж без ошибки.

[1918]



# Хорошая наука

Эпюд

**В** понедельник все были несколько

взволнованы неожиданным событием: в соседней слободке в ночь на воскресенье зарезали в саду четырех человек.

— Прямо почем зря стали резать, — сказал кузнец, прибежавший из своей кузницы в фартуке и валенках послушать, что рассказывали два Митьки, как всегда первые принесшие это известие.

— Да за что же они их, ироды? — сказала, всплеснув руками, старушка Аксиныя.

— Сад им общество сдало восьмью человекам, да промахнулось, — сказал рыжий Митька, — взяли с них триста, а там яблоч-то оказалось на большие тыщи, ну и испугались, что те много пользуются...

— Надумались было отнять сад либо надбавить цену, — вставил черный Митька, — а те говорят: раньше чего глядели? И ружья наставили на них. Ну, те отступились, а ночью пришли да четырех и прирезали.

— Ловко! — крикнул Андрюшка, сбив картуз назад с вьющегося расчесанного вихра.

На него оглянулись.

— Чего ты, домовый? Ай уж ошалел совсем, прости господи... — сказала старушка Аксиныя, держа на груди руки под холстинным фартуком и повернувшись к Андрюшке.

— А что ж!.. — сказал Андрюшка и, сплюнув, отошел в сторону.

— До чего озверел народ, господи батюшка.

— Прямо звери дикие. Ему теперь за копейку ничего не стоит человека зарезать.

— Мудрость какая, — сказал Андрюшка, сев в стороне на бревно.

На него не обратили внимания, только Аксинья повернулась к нему, что-то хотела сказать ему, очевидно, сильное, потому что у нее дрожали губы, но потом с гневом отвернулась, ничего не сказав.

— Прежде, бывало, человечью кровь пролить хуже, чем самому умереть, — сказал старик Софрон.

— Прежде — страсть, — кузнец старый нечаянно пристрелил человека и на суде его оправдали, а бывало, идешь мимо него, глянешь — и даже жутко как-то станет: человека убил. И так с ним до смерти осталось: вроде как печать какая...

— Да, да, — сказала старушка Аксинья, покачив головой, — и сделался он после того какой-то нехороший, вроде как с лица потемнел и все больше молчал. Наша Марковна поглядела на него — «не жить, говорит, ему, думы замучают»... Так и помер.

— Смерть пришла, вот и помер, — сказал кто-то из молодых.

— То-то вот, страху перед кровью нет.

— Удивление, — сказал Фома Коротенький, — и ведь люди те же, а поди...

— Я про себя скажу, — заметил солдат Филипп, — прежде, можно сказать, боялся курицу зарезать. Как объявили войну, ну, думаю, пропал, кровь пролить придется.

— Об чем толкует... — проворчал опять Андриюшка и, усмехнувшись, сплонул, сидя на бревне.

— Бывало, на ученье, — продолжал Филипп, насыпая на оторванную бумажку табаку из кисета, — повесят чучело — немца изображает, — коли, говорят, его... кричи ура и коли...

— Что ж, немец-то не человек, что ли... — сказала старушка Аксинья.

— Да, вот закричишь ура, — продолжал Филипп, оглянувшись на Аксинью, — побежишь, двух шагов не добежишь, подумаешь, что живого человека будешь так-то колоть, — руки и опустятся. Народ в церковь идет, у людей праздник, а мы как очумелые бегаем, орем и штыком ткаем. Когда народу много, еще ничего, а когда один бежишь, а все смотрят, так словно стыдно чего-то.

— С непривычки...

— Кто ее знает... Ну, потом обошлись и ничего, — ткаешь за мое почтение, бывало.

— Приучили. Мы тоже так-то, — сказал Захар с нижней слободы, стоя в распахнутой поддевке и сапогах, — уж на что я... и то спервоначалу страшно было, особливо когда в атаку шли. А у нас ротный — образованный такой был, — ну дай бог ему здоровья, научил: ты, говорит, когда бежишь, кричи что есть мочи и глаза выкатывай, как ни можно больше.

— Вот, вот. Это первое дело, — сказал Филипп, раскуривая от Федоровой трубки свернутую папироску. — Потом-то и мы доперли. Бывало, бежишь, а сам zenки выкатишь и орешь что есть мочи ура. Тут уж ничего не чувствуешь, вроде как самого себя заглушаешь.

— Что ж начальники-то ваши, из господ которые, неужто тоже людей убивали или командовали только?

— Ну, они первое время повострей нашего брата на этот счет были, — сказал Захар, — потому мы от сохи, а они хорошую, можно сказать, науку прошли.

— Образованные, как же можно, — сказал Федор, — насасывая трубочку, которая плохо курилась.

— У нас в полку мальчики совсем были, офицерики, шейки тоненькие, беленькие, как у девочек, а мы спервоначалу против них как старые бабы были. Как-то наскочили на нас разведчики немецкие, поранили мы их маленько и не знаем, что с ними делать, а тут наши барчуки подскочили и штыками их прямо в горло ткнут — и никаких... Те плачут, просят...

— Плачут? Ах, господи, батюшка, неужто нельзя было по-человечески, как...

— Значит, не полагается, — сказал Фома Коротенький, неуверенно оглянувшись.

— Верно, верно, — сказал Захар, — у нас тоже так-то.

— Ну что же, когда таких-то раненых кололи, тоже кричали? — спросили старушки.

— Мы кричали, а барчуки нет. Они, бывало, когда свинью поймает, так первое дело — тащи к ним, — любили их штыками колоть, особливо когда боев долго не было.

— Это первое дело... На этот счет молодцы, смелые были.

— Бывало, еще смеются над нами, что у нас от человеческой крови руки трясутся.

— Теперь не затрясутся, — проворчал Андриюшка со своего бревна.

— Теперь... про это никто и не говорит, — сказал недовольно Захар, оглянувшись на Андриюшку.

— Теперь, можно сказать, тоже школу хорошую прошли, — сказал Филипп, — сами образованные стали. А прежде бывало... — он макнул рукой и, усмехнувшись, покачал головой, — даже перед мальчиками перед этими стыдно было, до чего крови боялись, особенно кто постарше, как подумаешь, бывало...

— Думать — спаси бог... У нас молоденький офицерик был, так тот все нам говорил: первое дело не думай да ори покрепче. Вот тебе, говорит, вся наука.

— А все-таки господам небось трудней было, — можно сказать, головой приучены работать, а тут во всю войну не думай, а только ори во всю глотку.

— Привыкли... И наука тоже помогла небось.

— Конечно, когда охота есть, скоро привыкнуть можно.

— Вот священник с крестом тоже хорошо помогал; как выбежит, бывало, вперед, так прямо в голове помутится, летишь как очумелый, только ищешь глазами, в кого бы штыком пырнуть.

— Да, с крестом здорово! Тут, кажется, отец родной подвернись, и того зарежешь, — сказал Захар.

— Ах, господи, какой народ стал, — сказала старушка Аксинья, — и отчего так? Батюшка в церкви уж прошлое воскресенье говорил: опомнитесь, говорит, вы сердцем ожесточились, хуже, говорит, зверей стали, образ божий, говорит, потеряли, неужто по-человечьи-то нельзя? Потом вышел с крестом, а мне будто стыдно крест-то целовать, а с чего — сама не знаю.

— С нами тоже встретился наш ротный, — сказал Филипп, — добрый человек, тихий такой, только до немцев был — яд; тоже, бывало, говорил, чтобы первое дело — не думать. Разговорились мы по душам; что же это вы, говорит, словно звери стали? Что это с вами сделалось? Отчего вы так обезумели, говорит, про крест-то забыли, что на шее носите? А нам тоже нехорошо

стало, вроде как совесть заговорила. Хороший человек-то уж очень.

— Боялись прежде человеческую кровь лить, боялись, — сказал старик Софрон, стоя по-прежнему опершись грудью на палку и трясая седой головой, скорбно глядя куда-то перед собой вдаль.

— И отчего так повернулось? — сказал, недоумевая, Фома Коротенький, поглядывая то на одного, то на другого, как бы ожидая, не скажет ли кто-нибудь.

Но никто ничего не ответил.

[1918]



## Хороший характер

Член волостного комитета

Николай-сапожник сидел с Федором на завалинке. Они поглядывали по сторонам и мирно беседовали.

Говорил, собственно, Николай, а Федор только соглашался. Сначала слышалась длинная плавная речь Николая, а потом коротко и дружелюбно отзывался Федор.

— Правильно... Верно... Это как есть...

Федор самый приятный собеседник. Он всегда сидит, слушает, свертывает папироску, положив кисет на колени, и только соглашается.

Кажется, еще не было ни одного случая, чтобы он с кем-нибудь не согласился. На собрании всякий говорящий последним получает полное одобрение и поддержку Федора. Все партии, начиная подсчет своих сил, одним из первых называют Федора. Федор всегда соглашается со всеми искренне, от души и совершенно бескорыстно.

— Непутевый народ мужики, — скажет иногда Николай, когда у него назреет потребность жаловаться, — темный, необразованный; где с ними какие-нибудь реформы жизни проводить.

— Правильно, — скажет Федор, — не разбираются.

— Пустобрех этот Николай, — скажут иногда мужики, — наговорил с три короба, а дела на поверку на грош нету.

— Правильно, заносится уж очень, — скажет Федор, — уж он думает сразу все захватить.

При встрече с Николаем он так же дружелюбно и ласково будет его слушать и соглашаться с тем, что ему кажется верно. А верно ему кажется все, потому что нет такой мысли, которая не была бы верна хоть с какой-нибудь точки зрения. Федор же всегда из сим-

пации становится на точку зрения того, кто с ним беседует, а на собраниях — на точку зрения того, кто говорит.

И оттого, что он всегда со всеми согласен, ни в ком не видит противников собственным убеждениям, он всегда ко всем дружественно расположен и спокоен душой. И все про него говорят одно:

— Хороший характер.

— С такими людьми и поговорить хорошо.

Так же они и сейчас сидели с Николаем и с удовольствием и взаимной приятностью беседовали, глядя вдоль по улице.

— А все-таки теперь куда лучше прежнего стало.

— Как же можно, — сказал Федор, доставая свой красный кисет с махорчиками по углам, — не сравнишь.

— Возьми хоть то, что вольные люди, ведь обсуждать можем.

— На что лучше.

— И руки теперь развязаны. Ведь если бы не мужики наши сиволапые, каких бы делов натворить можно: школ бы настроили, мастерских, больниц этих, только бы руки приложить.

— С одного маху бы сделали, — сказал Федор.

— А прежде, как язык протянул, сейчас тебе по затылку.

— Это сейчас — крышка.

— А голова какая была? — продолжал Николай. — Чисто тебе в тумане. Мыслей этих уйма, можно сказать, а протянуть языка не смей. Тебя, может, осенило, а ты молчи.

— Это что там, слова не давали сказать.

— А язык теперь возьми, — продолжал возбужденно Николай, — ведь прямо развязался, можно сказать. Бывало, к помещику придешь, станешь в передней, как холоп, выйдет к тебе хозяин, о деле еще туда-сюда, выразишь, а хочется по душам поговорить — и нету ничего: язык как суконный.

— Верно, верно, — отозвался Федор.

— Бывало, на сходке выйдешь, пик-мик — трех минут проговорить не можешь. На сходке-то еще так-сяк,

свои люди, а вот один раз на суде у земского срезался. Главное дело, там руками махать нельзя. А я без рук говорить никак не могу.

— Не можешь?..

— Никак. Мне первое дело, чтобы руки были свободны. Начну, бывало, говорить, помню, еще столяриху взялся защищать (холсты потаскала), начал бойко так, а земский говорит: «Не махай руками», я и забыл, что дальше. Только соберусь с мыслями, подниму правую руку, а он, нечистый, опять: «Опусти руки!..» А теперь пожалуйста, махай сколько хочешь, никто тебе слова не скажет.

— Теперь насчет этого свободно, — сказал Федор.

— Все диву дались... Огородник взялся после тебя, так больше часу не мог.

— Это у меня еще горло болело. Нет, а ты заметь: все-таки час даже огородник говорил. А прежде тот же огородник, много он тебе наговорить мог? Пяти минут не выдержал бы.

— Ежели бы вот так на середку поставить?.. И двух минут не проговорил бы, — сказал возбужденно Федор.

— О чем калякаете? — спросил, подходя к приятелям, печник.

— Да вот говорим, что в нынешнее время не в пример лучше стало, язык и руки, можно сказать, развязались. — отвечал Николай.

Федор, сидя на завалинке, посмотрел на печника, ожидая, что он скажет. Но печник ничего не сказал и молча сел на завалинку.

— Где ты, нечистый, шляешься? — слышался бабий голос. — Лошади стоят не поены, коровам корму не дадено. Завел опять свои гусли-то.

— Это тебя кличут, — сказал Федор Николаю.

— Слышу. Иду сейчас!

Он нехотя поднялся и, прощаясь, сказал мрачно:

— Вот баб бы этих еще к черту надо!

Печник посмотрел ему вслед и сказал:

— Вот мельница-то пустая... Мелет, мелет... прямо слушать тошно. Оттого вот и маемся без хлеба, что надели нам на шею такие-то вот говоруны. Какая это жизнь подошла, скажи на милость.



Федор молча махнул рукой, сплюнул и потом сказал:

— Да, без хлеба — беда.

— А прежде и хлеба было сколько хочешь, и всего.

— Баранок, бывало, из города сколько хочешь кажное воскресенье привозишь.

— А сапоги почему прежде были? Бывало, пять целковых отдашь, думаешь, переплатил.

— Верно, — сказал Федор возбужденно, — я, помню, за четыре целковых покупал. А бабе и вовсе — за два с полтиной.

— Взять бы эту шушель поганую — Миколку да еще этого Андриюшку, — да помелом поганым, чтобы они не болтали много, вот бы дело сразу пошло лучше.

— Вот это правильно, — сказал Федор.

1918

# Кучка разбойников

**В**одно из воскресений слободские

мужики сидели на завалинке около избы овчинника и толковали о новых порядках.

Говорили о том, что весь народ против, только вот завелась кучка разбойников на деревне и безобразничает, и что все равно их дело не выйдет, потому что народ хороший, помнящий и бога еще не забыл. А раз народ весь против, тут все равно ничего не сделаешь.

Проезжавший по деревне кузнец из соседнего села остановил лошадь и подошел к говорившим поболтать и выкурить трубочку.

— Об чем разговор? — спросил он, присаживаясь и доставая кисет.

— Да вот, об новом начальстве говорим, об этих разбойниках.

— А... — сказал кузнец, кивнув головой. — А у нас и все-то словно взбесились, как злодеи сделались. Прежде бога помнили, чужого не касались, а теперь пондравилось: что чужое — давай сюда...

— Нет, у нас — слава богу, на редкость люди хорошие. Как заговорили эти разбойники, чтобы отнимать у богатых землю и имущество, так все против были. Прямо их в глаза разбойниками так и зовем.

— Да, это на редкость, — сказал кузнец, покачав головой. — А у нас такие злодеи все, не дай бог. Что наше начальство-то это новое скажет, то и вали! Отбирать у кого, выселять... там еще декрету такого не вышло, а они уж стараются.

— Нет, у нас люди хорошие. Хоть бы один когда за них руку поднял — ни за что! Они свое говорят, а мы напротив. На собрание нас позовут — говорите, граждане, высказывайтесь... А мы молчим. Газет для нас выписали, а мы их все на сигарки. Вот, ей-богу.

— А у нас, братец ты мой, начали с земли помещицкой... «Кто за то, чтобы отнять?» Все, как один человек.

— Обрадовались... Ах, сукины дети, разбойники. А у нас, когда первый раз только заговорили, чтобы отбирать, так все такой шум подняли, что просто беда. Ёгоа, кричим, забыли, разбойники! Вам на большую дорогу только впору иттить... — сказал овчинник.

— Да, — продолжал кузнец, — и отобрали, братец ты мой, землю.

— И никто не нашелся против? Все поднимали руки?

— Все.

— У вас, значит, все такие-то, как у нас эти пять человек?

— Выходит, так. А у вас, значит, землю совсем не тронули? — спросил кузнец.

Наступило молчание.

— Да нет, землю-то и мы отобрали...

— Кто же у вас-то постарался? Общество?

— Нет, какое там общество, общество все было против. Все вот эти пять разбойников.

— Что ж это вы допустили-то?

— А ну их к черту, связываться еще. Отстранились, и кончено дело. Им отвечать, а не нам. Подожди, ответят... Вот мы их тогда обнаружим. Ведь что, сукины дети, делают! Андрей Степаныч у нас, арендатор этот — человек, можно сказать, первый сорт был, так эти разбойники постановили все у него отобрать, а самого выселить, чтобы, говорят, гнезда эти с корнем вывести и ладно, а то нынче тут хороший сидит, а завтра какой-нибудь злодей придет и опять кровь будет пить. Так можешь себе вообразить — плакали все мы-то.

— Плакали?

— Да. Человек очень хороший был. Все против были, как один.

— И пришлось выселять?

— Что ж сделаешь-то... И не то что выселили, а еще и растащили все до последней щепки. Все через них, через окаянных, берите, говорят, а то другим отдадим. Ну, известно, каждый думает, что раз все равно раз-

берут, так уж лучше мы возьмем, чем другие попользуются.

— И все эти пять человек в должности состоят? — спросил кузнец.

— Все до одного,

— Отчего ж так вышло-то?

— Оттого, что народ у нас хороший очень, — недовольно отозвался овчинник. — Нешто богобоязненный и правильный человек пойдет на такую должность, душу марать! Да еще... отвечать потом. А эти, как они наглые сукины дети, так и прут всюду: и в председатели и куда хочешь. Ведь это что — какой разбой развели: садик был у этого Андрея Степаныча, так весь его на глазах у него обтрясли, с ветками оборвали.

— Кто ж это?

— Кто. Трясли-то, конечно, все... да ведь все из-за них, из-за разбойников: они слух пустили, что кто трясти не будет, тому из имущества арендаторского при дележе ничего не достанется. Ну, тут, конешное дело, так все принялись бузовать, что только треск идет.

— Здорово, — сказал кузнец. — А у нас слух прошел, что вы будто сами пожелали и землю делить и все.

— Какое там — сами. Все против были! И мы так смотрим, что ни к черту их дело не пойдет, потому что раз весь народ — против, тут уж ничего не сделаешь. А ответить им когда-нибудь придется... вот уж тогда мы все причем...

На улице показался молодой парень в кожаной фуражке, он быстро шел мимо и на ходу крикнул:

— Собирайтесь к Иванихе на двор, сарай будем ломать. Под клуб пойдет.

Когда он прошел, овчинник угрюмо посмотрел ему вслед и сказал:

— Видал?.. Вот они, вот отродье чертово. Чужую собственность ломать. Ни святого — ничего! И какие-нибудь молокососы.

— А все-таки здорово: даже никто не отозвался, — сказал кузнец. — А у нас сразу бы все вскочили.

— Ну, чего сидите-то! По десяти раз к вам прикла-

дываться! — крикнул проходивший по улице человек в пальто с оборванными пуговицами и с большой книгой под мышкой.

— Сам председатель... — сказал овчинник, кивнув кузнецу на проходившего. — Чем черт не шутит! — прибавил он, покачав головой.

Из двери начали показываться мужики и, надевая шапки, почему-то сначала оглядывались на обе стороны улицы. Человек пять нехотя пошло в ту сторону, куда ушел председатель. Остальные, посмотрев на них и опять на обе стороны улицы, тоже пошли.

— Эй, вы куда? — крикнул овчинник.

— Пойти посмотреть, что эти умные головы орудовать будут, — ответили уходившие.

— Пойти себе посмотреть, — сказал овчинник.

Кузнец тоже поднялся и поехал в лавочку на конец села. Когда он оглянулся, то увидел, что из сеней высккивают запоздавшие и, надевая на бегу одежду, рысью бегут догонять остальных.

— Эй, стойте, куда пошли-то?

— Да вот эти разбойники еще чтой-то ломать выдумали.

— Ах, пропасти на них нет! А вы что ж не скажете... каждый сукин сын норовит вперед забежать...

Когда кузнец ехал обратно мимо усадьбы, за плетнем стоял шум, треск ломаемых бревен, летела, оседая на траву, пыль, точно от молоты, и слышался говор и крик многих голосов, как бывает на пожаре. Мужики, все в пыли, в гнилой трухе, копошились как муравьи. Только слышалось со всех сторон:

— Сыпь!.. Ломом-то поддень, черт! — кричали в одной стороне.

— Стропила веревкой бы зацепить, да и свалить.

— Где же ее возьмешь, веревку-то...

— Э, черти безголовые... тоже идет дело делать...

А на высоком пне стоял председатель, как на обзорной башне, и, едва успевая оглядываться, кричал каждую минуту:

— Эй, куда бревно поволок!.. Брось сейчас, сукин сын!.. Не отрывать петли! Вынимай сейчас все из кар-

мана!.. Ломаем для общего пользования, а ты себе тащишь, бессовестные!..

А с другой стороны навстречу кузнецу, через разломанный плетень, согнувшись и подхватив под мышку доску, прошмыгнул овчинник. Но наперерез ему бросился парень в кожаной фуражке.

— Куда тащишь, мать твою!.. Брось сейчас!

Овчинник оглянулся и, как бы соразмерив расстояние и увидев, что ему не убежать, бросил доску.

— Подавись!..

Парень поднял с дороги доску, швырнул ее через плетень и пошел во двор.

— Промахнулся?.. — сказал кузнец.

— Э, сволочи... — проговорил овчинник, сплкнув. И, подойдя к телеге, сказал, указав на разломанный сарай:

— И неужто это им так пройдет, разбойникам?!

1918

# Мелкий народ

Платформа гудела тысячами голосов.

Под бесконечным навесом со стеклянной крышей стояли толпы людей с сундуками, мешками, ружьями, в серых шинелях и шапках.

— Святители преподобные, ну где ж тут в вагон пробиться? — сказала старушка в шубенке с вытершимся воротником.

Какой-то старичок, по-бабы повязанный платком, утер нос рукавицей и проговорил:

— Вот уж четвертые сутки сажусь, никак не сяду.

— Поезд подадут. Отсаживай от краю.

— Святители преподобные, батюшки...

— Отходите, сейчас стрелять начнут, — сказал старичок в платке.

— Ах, матушки, зачем стрелять?

— Положено. При посадке каждый раз стрельба.

— Испужать думают, да не на таких напали, — сказал солдат с мешками, — слава тебе господи, четыре года в окопах просидели и не такую стрельбу слышали.

— А стреляют-то как, по верхам или в самую середку?

— Как придется.

— Нет, все по верхам, — сказал старичок в платке, — и уж четвертый день сажусь, не было примера.

— Что ж он стал-то, домовый. Два шага проедет и октановится.

— Ждут, чтоб остепенились. Уж мудрят, мудрят... Вчерась очередь вздумали строить.

— Ошалели совсем.

— В Москве вчерась тоже хотели было соорудить, — сказал солдат с мешками, — а нас подобралось человек десять, ребята все один к одному... Как всей кучей двинули, куда твоя очередь делась. Как смыло. Так

первыми и промахнули в вагон. А то бы нипочем не сели.

— Мужчинам-то все лучше, — сказала женщина в шали с кошелкой под мышкой, — а тут натужаешься из всех сил, а толку нет.

— Ну, становись промеж нас.

— Только кошелочку, батюшка, мне не раздавите. Яички везу.

— Народу бы надо подобрать настоящего, а то мелюзга какая-то все напихалась. Нешто с такими сядешь. Эй ты, дядя большой, сюда иди. Становись, говорят, сюда, черт! Что ж ты, в одиночку, что ли, в самом деле думаешь пробиться? Ну-ка, пролезай с сундуком-то наперед. А то мешками мягкими прешь — никакого толку.

— Подходит, подходит, господи батюшка.

— Гляди в оба, — крикнул солдат с мешками на своих; потом, выждав момент, хрипло и отрывисто крикнул: — Дуй!..

И сам врезался в толпу.

— Осади назад... Стрелять будем... В очереди! — кричали с площадки, как безумные, люди в лохматых шапках и размахивали штыками перед носами напиравших.

— Лезь, лезь, по верхам будут...

— Куда ж тут лезть, пузо, что ли, распороть. Ошалел, мои матушки.

— Завели зачем-то эту моду — со штыками, напирать надо, а тут того и гляди кишки выпустят.

— Еще разок. Налегай...

— Да что вы все прете-то, — кричала какая-то женщина, которую прижали к запертой двери вагона.

— Ай заперто? Ну что за окаянные. Что ж они не пускают-то? ..

— Опять ждут, когда остепенятся, — прохрипел старичок в платке, которого стиснули со всех сторон так, что он, как утопающий, только выставил бороду из сжавших его плеч и глотал воздух.

— Эх, народ мелкий... Тут первое дело налегать надо. Сгрудиться бы всем дружно и — готово дело.

— Что ты наваливаешься-то, тетка? Мокрое у тебя что-то...



— Ох, матушки, подавили, знать... Матушки, все до единого...

— Что ж ты и пригадала яйца-то везти? Тут от отца родного откажешься, а она с яйцами нянчится. Наказание с этими бабами...

— Вишь распустила, едут ноги назад, да сабаш.

— Еще бы народу... — говорил солдат с мешком, стоя одной ногой на ступеньке и беспокойно оглядываясь. — О, дядя здоровый, сюда, сюда. Нажми сундуком-то как следует, они и раздвинутся. Большая дубина, а пройти не знает как.

Огромный веснушчатый детина проламывался вперед, и от него во все стороны, как спелая рожь, раздался народ.

— А ты что? С какого фронта? Пехота, что ли? — крикнул солдат с мешками, нагибаясь со ступеньки вниз.

— Пехота, — отвечал ближний солдатик, у которого от тесноты картуз съехал козырьком на глаза.

— То-то вот и есть, что пехота... а наперед лезешь?

— О, господи батюшки, совсем пропадаю... — говорила женщина с яйцами, выдираясь откуда-то снизу из-за плеч. — Голубчики, дяденька, ослобони мне немножко эту руку, дай отдышаться Христа ради...

— После отдышишься, видишь, сам стою как спеленутый...

— Что-то остепенились, знать?

— Не остепенились, а они с того боку зашли, там открыли...

— Ах, разорви их, проморгали.

— Дуй... Сундуком-то работай, черт, пехота окаянная, совсем уж в свой картуз провалился...

— О, господи. О, святители. Об яйцах уж не говорю.

— Всем народом, всем народом. Наваливайся! — кричал солдат с мешками.

— Стреляем. Осади назад.

— Нажимай, по верхам будут.

Платформа дрогнула от выстрелов. На мгновение все оцепенели. Потом оглянулись друг на друга.

— По верхам?

— По верхам.

— Дуй...

Что-то загудело и заревело, послышался звон разбитых стекол, заглушаемый каким-то рычанием и воплем прищемленного в окне человека, болтавшего ногами в воздухе.

— Круши, — кричал, как безумный, солдат с мешками, — сейчас пробьемся. На баб нажимай, скорей подадутся.

Маленький солдатик из пехоты со спиной, испачканной яичными желтками, совался со всех сторон, ища места, где бы себе пристроиться, и, задирая вверх голову, выглядывал из-под съехавшего на глаза картуза.

Вдруг с противоположной стороны площадки ринулась новая лавина мешков и сундуков. Солдат с мешками взмахнул руками и, не удержав равновесия, слетел вниз. Остальные тоже ссыпались.

— Пропало дело. Наперерез пошли...

— Что ж вы, дьяволы... Сундуки еще нацепили, пехота проклятая. Вам сопли утирать, а не в вагон садиться.

— Слиско дюже, упору никакого нет.

— Что, ай не сели? — тревожно спросил подбежавший солдат в бараньей шапке.

— Да нет, народ уж очень мелкий. Нешто с такими сядешь. Вишь вон, куда с ним, к черту, садиться: у него картуз наехал на глаза, он и не видит ничего. Да яйца еще какая-то умная голова подавила. Тут напирать надо, а у них едут ноги назад, да сабаш. А старух этих прямо гнать надо. Старый человек, сырой, а туда же на машине лезешь ехать?

— Батюшки, да ведь каждому хочется...

— Мало, что хочется... Должна сообразоваться...

— Ай, мать честная, что ж теперь делать-то?

— Что делать? Другого ждать... Только теперь уж эту мелюзгу к черту, подберу настоящих молодцов. Как ахнем завтра со свежими силами, чтобы куда куски, куда милостинка.

# Лабиринт

На площади маленького уездного

городишка, около пожарной каланчи стояли два каких-то человека и с отчаянием оглядывались по сторонам на соседние дома и вывески.

— Черт ее знает, куда теперь?.. — сказал один из них, высокий, в барашковой шапке и в валенках.

— Этак до вечера проплутаешь, — отвечал его спутник, маленький человек в меховой рыжей шапке с наушниками, завязанными под подбородком тесемочками.

Проходившие мимо оглядывались на них, как в столице оглядываются на провинциалов, заблудившихся среди бесчисленных улиц, домов и переулков.

— Вам что надо-то? — спросила, остановившись, старушка в большом платке, спешившая куда-то с керосинной жестянкой.

— Да вот прислали нас в продовольственный отдел, никак не найдем. Наговорили нам много отделов, рядом с какими он, а мы и спутались. На какой улице-то он?

— Улицы у нас тут, батюшка, никак не называются, а вы идите и по вывескам по отделам разбирайтесь.

— А в какую сторону идти?

— Идите сначала мимо финотдела...

— Мимо чего?.. — спросил высокий, повернув ухо.

— Финотдел... финансовый, батюшка.

— Так... ну?

— Ну, финотдел этот пройдете, — сказала старушка, став лицом вдоль улицы и показывая рукой, — медицинский отдел пройдете, охрану материнства с младенчеством пройдете и мимо санитарного с уголовной комиссией, не доходя до собеса, сверните к широдному хозяйству, напротив его еще большая вы-

веска земельного отдела висит; как ее увидите, так еще домов пяток пройдете и прямо упретесь в культпросвет; рядом с ним будет секция какая-то, господь ее знает, забыла, а рядом с этой секцией и есть упродком.

— Постой, а около собеса-то куда сворачивать?

— Как около собеса?! — спросила в свою очередь старушка. — Там собесу никакого нету.

— Как же нету, когда ты сама сказала.

— Про собес я не говорила. Я говорила про медицинский, про охрану материнства, потом про санитарный.

— Еще чтой-то про младенчество как будто было... — заметил нерешительно маленький человек в шапке с наушниками.

— Младенчество, батюшка, в охране же и помещается.

— Черт ее разберет тут... — сказал высокий, — вишь расплодили, сами уж путаетесь. Откуда ж я мог взять этого собеса, когда я и слова-то такого отродясь не слышал? Что это такое будет-то?

— Собес-то? Да там насчет старух... над старухами что-то орудуют.

— Ну вот, значит, был собес.

— Был, был, — сказал маленький, — я еще подумал, что это против религии что-нибудь.

Старуха оглянулась на маленького, сбита с толку, потом обиделась и ушла.

— Что вы дорогу-то загородили — сказал, проходя по тротуару, старичок в чуйке, — станьте вон к сторонке, а то сватаетесь по самой середке, другим проходу из-за вас нет. Об чем у вас разговор-то?

— Да вот два часа бьемся, продовольственного отдела найти никак не можем, начала нам пересчитывать, мимо каких отделов идти, да сама сбилась.

— Эх, народ, — сказал старичок, мельком взглянув на старушку, — до своей печки скоро дорогу потеряете. Это в пяти шагах отсюда. Только она зря вас запутала, через переулки послала. А вы лучше идите вот куда, тут хоть попутаннее немножко, зато рукой подать. Идите вы мимо торгового отдела, нотариальный отдел пройдете, городское хозяйство пройдете...

— Постой, у старухи тоже какое-то хозяйство было...

— Это народное. То городское, а то народное — дружки не касается... Ну вот, потом, значит, будет налоговый подотдел...

— Ну-ка, записывай лучше, — сказал высокий своему спутнику, — а где ж эту ораву упомянуть.

— Это тебе, милый, с непривычки, а мы их все напечет.

— Значит, нотариальный, городское, налоговый, финансовый...

— Финансовый не надо, зачеркни его, это если по другой дороге иттить.

— Ну прямо в голове помутится! — сказал высокий раздраженно.

— Привыкнешь, батюшка. Сначала мы сами так-то, а потом обошлись и горя мало.

— Не очень-то обошлись... — заметил угрюмо высокий.

— Ну, пиши дальше: значит, после налогового будет народное, после народного — культпросвет, потом технический, после технического — заготовительный, после заготовительного — райсоюз. Тут повернетесь в переулочек и упретесь сначала в собес...

— Вот опять этот черт!.. — сказал маленький человечек, перестав писать.

— Да как же так? Ведь старуха нас по одной дороге направляла, там этот черт был, а ты теперь совсем по другой направляешь, а он уж и сюда припутался?

— Ну что ж, там кольцом и сойдется.

— Что кольцом сойдется?

— Да мы про что говорили-то? Что последнее было?

— То-то вот... у вас всех, должно быть, тут кольцом сошлось, — сказал высокий, показав себе на лоб.

Старичок несколько времени посмотрел на него, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, только пожевал губами, потом плюнул и ушел.

— Вот чертова каша-то! — проворчал маленький, привязав тесемки на шапке и с недоумением глядя то на тетрадку, то на вывески. — Паршивый городишко, три улицы да пять переулков, а отделов этих развели столько, что голова кругом идет.

— Надо сначала, как старуха-то говорила, мимо каких проходить?

— А черт их знает, я не записывал... Постой, сейчас попробую на память записать.

— А старичок сколько тебе насчитал?

— Да вот двенадцать отделов записано, а дальше опять неизвестно куда.

— По вывескам смотреть надо, — сказал высокий, — ноги гудят. Вы, говорят, до обеда сбегать успеете... Черти вам в живот ввалились, окаянные! Ну, что ж ты стал, до ночи, что ли, ходить так будем? Сколько у тебя отделов записано?

— Тридцать пять набрал... Это ежели охрану пополам разбить.

— Да за коим же чертом ты две дороги-то в одну сбил? Чертова голова! Вот с остолопом свяжешься... Читай последние все подряд. Мимо каких?

— Финотдел, медицинский подотдел, народное хозяйство, культпросвет, охрана материнства, дальше идет младенчество, заготовительный, милиция, санитарный, технический... райсоюз, печати... какие-то печати, — повторил маленький, подняв голову от тетрадки.

— Ну, ну, дальше...

— Информационный, лесной, секция какая-то...

— Про секцию ни старуха, ни старик ничего не говорили.

— Это я, должно, раньше спрашивал, — сказал маленький, зажав пальцем в книжке и подняв глаза на своего спутника.

Тот махнул рукой и сел на тумбу.

— Делай что хочешь, нету никакой возможности.

— Сейчас вот до конца прочту, а там разберемся... Где тут... да, вот оно: секция, агитационно-вербовочный, жилищный, а тут опять собес... вот стерва-то!

— Ну тебя к черту! — сказал высокий и зашагал прочь от своего спутника.

— Ай не нашли еще? — спросила старушка, возвращаясь с кросином.

Маленький человек в наушниках посмотрел на нее мутными глазами, ничего не сказал и тоже пошел.

— Что это они? — спросил проходивший мимо с кистью маляр.

— Господь разум помутил, — сказала старушка. — В трех соснах заблудились.

1918



**П**еред самыми выборами в земельный

комитет приехал какой-то человек в синей куртке и лаковых сапогах с большими усами и бритым круглым подбородком.

Он пришел на выборы в школу, и все, недоброжелательно косясь на него, спрашивали друг у друга:

— Чей-то такой?

— Да, говорят, Андреев сын, что выписался из общества лет двадцать назад и уехал в Севастополь.

— Кум из слободки его встречал там. Вроде как в жандармах, говорит, служил.

— Похоже на то. Куртка-то синяя.

— Там его знают, что он за птица, жить нельзя, вот он и прилетел сюда.

— Ну, да у нас долго не заживется.

— Много этих прощелыг шляется. Лучше бы ноги поскорей уносил отсюда.

Приезжий что-то говорил с лавочником, председателем совета, стоя у окна в передней части школы, где стоял стол для президиума совета. Все молчали и следили за ним подозрительными и недоброжелательными взглядами.

— По усам видно, с какого чердака кот, — сказал кто-то.

— Главное дело — куртка синяя. Синего сукна, окромя жандармов, никто не носил.

— Петлички спорол и думает провести. Нет, брат, не на простачков напал.

Вдруг все повернули головы: к председательскому столу подошел незнакомец, постучал карандашом, как бы требуя тишины, и с минуту постоял в ожидании полного успокоения, посмотрел рассеянно на отдуш-



ник, на стенные часы, потом на свои часы, вынув их из жилетного кармана.

Наступила полная тишина. Взгляды всех обратились на незнакомца.

— Ровно к присяге собрался приводить, — сказал сзади негромкий голос, — взять бы его да от стола в три шеи...

— Товарищи! — раздался громкий, спокойный и уверенный голос незнакомца. — Я потребую на пять минут вашего внимания, и затем мы приступим к выборам.

Задние толпой подвинулись вперед и тесным полукругом без шапок, как перед чтением манифеста, остановились перед столом.

— Я здесь родился, вырос, ваш земляк и вот теперь приехал поработать на родине. В такое трудное время каждый обязан.

— Бреши, бреши... — сказал сзади негромко кузнец.

— Принимаете вы меня в свое общество?

Мужики хотели было промолчать, но так как незнакомец, говоря это, остановился взглядом на Федоре, стоявшем в полушубке с прорванным плечом, тот, почти против воли, потому что как-то неловко было не ответить, раз к нему обращаются, сказал неохотно:

— Что ж, милости просим.

— Отчего же не принять... — сказали остальные уже совершенно против воли и только потому, что один сказал и молчать было неудобно. Даже кузнец, который от печки в ярости погрозил кулаком Федору, и тот сказал:

— Очень даже рады будем...

— Вот у вас затевается земельный комитет. Дело для нас новое, и я не откажусь помочь.

— Убирайся ты к черту лучше, пока есть время, — проворчал опять кузнец так, что ближние оглянулись на него.

— Много таких помощников... — сказал утрюмо печник, обращаясь к шорнику, с которым они оба жались на уголке лавки.

Рядом с незнакомцем стал лавочник.

— Предлагаю собранию кандидатуру товарища Ломова на должность председателя комитета.

— Просим... — неожиданно вырвалось у Федора, и он, испуганно оглянувшись на кузнеца, махнул рукой и сел на дальнюю лавку.

— Вот дьявол-то! — сказал кузнец и почти со злобой крикнул:

— Просим.

Федор со своей лавки увидел уже несколько кулаков.

— Его с первого слова надо бы по шеям отсюда гнать, а они голос за него подают, — сказал шорник печнику, который совсем нехотя сказал свое «просим» и теперь с ненавистью поглядывал на Федора.

— Да что ж там говорить: синяя куртка, дело ясное.

— Вишь, словно начальство какое... карандашом еще стучит, — говорили в дальнем углу.

— Привык командовать-то...

— У нас не покомандует, — сказал Андрюшка, сидя на лавке, спиной к столу, около Федора, которого он взялся караулить.

— Товарищи! — раздался опять твердый и спокойный голос от стола.

Некоторые голоса, как бы из протеста, продолжали говорить, но новый председатель земельного комитета постучал концом карандаша по столу. Все смолкло, и взгляды всех обратились к нему.

— Только и берет, дьявол, тем, что карандашом стучит, — проворчал кузнец.

— Товарищи! Предлагаю сосредоточить денежные поступления в руках какого-нибудь избранного вами лица, ответственного перед обществом. В случае же нежелательности лишних расходов я могу взять это на себя, представляя еженедельные отчеты.

— Прос... — сказал было Федор. Но карауливший его Андрюшка поспешно ткнул его кулаком в спину, и он, поперхнувшись, не договорил.

Рядом с Ломовым стал лавочник, и, так как кругом загалдели протестующие голоса, он взял из рук избранного председателя карандаш и постучал им по столу.

— Вот моду-то взяли окаянные, — сказал кузнец.

— Теперь окрутит этих остолопов — лучше не надо.

— Вырвали бы у них этот карандаш-то.

— Я предлагаю просить товарища Ломова во избежание расходов принять это на себя. Кто за мое предложение, прошу поднять руки.

Все молчали.

— Пришел незнамо откуда, первый раз его видим, и ему — денежные суммы, — тихо сказал печник Иван Никитич, усмехнувшись и покачав головой.

— Прибегаю к поименному голосованию. Иван Никитич, ваше мнение?

Печник растерянно оглянулся.

— Что ж мое мнение. А мне нужно? Мне все равно, как другие...

— Значит, хотите просить товарища Ломова?

— Что ж, пушай, — сказал Иван Никитич.

И когда лавочник обратился к другим, он плюнул и отвернулся.

— На какие штуки пошли, — сказал он, обращаясь к шорнику, — поименное, говорит, голосование. Ведь он же, черт, видит, что я не согласен, так нарочно взял и прямо с меня начал.

— Оплетать умеют. Им обоим синюю куртку носить.

— В самый раз.

— Товарищи, — продолжал лавочник, — для сокращения ставлю для всех вопрос: кто против, поднимите руки.

Все молчали и сидели неподвижно.

— Единогласно...

И лавочник махнул рукой, как бы отрубив что-то.

— Объявляю собрание закрытым.

Все стали нехотя подниматься и расходиться.

— Попали... — говорили мужики, выходя. — И что за народ, бестолочь. Такого сукина сына на порог пускать было нельзя, а они его выбирают.

— Его бы, как он пришел, взять бы голубчика под ручки да в волость. Так и так, мол, товарищ волостной председатель, не угодно ли вам побеседовать.

— Насчет куртки порасспросить, почему она синяя, — добавил насмешливый голос.

— Вот-вот.

— Ах, черти бестолковые. Теперь засядет, будет нас гнуть да карман набивать, и ни черта с ним не сделаешь.

— Главное дело избран единогласно, вот что плохо.

1918



## Тяжелые вещи

На базарной площади, где прежде

торговали готовым платьем, железом, горячей колбасой и всем прочим, стояли запертые и забитые досками лавчонки, а в проходах между ними и по всей площади, на навозе и подтаявшем льду были разложены на мокрых рогожках всякие товары: у кого пара ржавых селедок, две пуговицы и коробка спичек, кто продавал какую-нибудь рваную шубенку или менял серебряную ложку на хлеб.

— Облавы нынче не было? — спрашивали вновь подходившие.

— Вчерась была, — неохотно отвечал кто-нибудь из торговцев.

Продавцы то и дело зорко оглядывались по сторонам и при всякой тревоге делали приседающее движение, чтобы схватить за углы свои рогожки с товарами и лететь куда-нибудь на ближайший пустой двор.

Какая-то барыня в мятой шляпке принесла лампу с абажуром в виде матового шара и, нерешительно оглянувшись по сторонам, спросила:

— А ничего, позволяют торговать-то?

На нее и на ее лампу молча и недоброжелательно посмотрели.

— Позволяют... тому, у кого ноги проворные, — сказала молодая торговка в полушубке, поправив платок на голове и не взглянув на спрашивавшую.

— А ты, матушка, в первый раз, что ли, вышла? — спросила пожилая торговка, у которой на рогожке были разложены пять селедок и велосипедный насос.

— В первый...

— То-то я вижу... лампу-то с шаром взяла. Ежели, грешным делом, спешить придется, как бы тебе ее не унесли.

— Они все чисто с неба свалились...

— Ты уж, как чуть что, поглядывай вон на того старика, что замками торгует, он у нас сметливый.

Какой-то человек в поддевке, торговавший стаканами и вазочками, недовольно покосился и сказал:

— С замками-то всякий дурак будет сметлив. Их стряхнул в мешок и айда. А ты посуду пойди так-то стряхни. Вот наказал бог товаром.

— А вон еще умная голова идет.

Все оглянулись. К ним подходила женщина с креслом на голове, которое торчало ногами вверх. Женщина поставила кресло и остановилась, тяжело дыша.

— Еще-то у тебя потяжельше ничего не нашлось? — спросила молодая торговка.

— Последнее, матушка.

— Они все думают, как до свободы.

Вдруг все прислушались.

— Стой, свистят...

В самом деле послышался какой-то свист.

Старичок с замками не обратил никакого внимания на свист и даже стал раскуривать трубочку. Все мало-помалу успокоились.

— Пропasti на вас нет, запугали наотделку, все сеledки со страху в грязь вывалила, — сказала селедочница.

— Вот как этого свисту боишься, ну хуже нет...

— Вчерась без свисту хорошо обделали...

— У тебя-то что — схватила свою рогожку и до свидания, а вот эти-то — с лампой да с креслом — что будут делать? Спаси, царица небесная.

Из переулka выехал человек с кадкой капусты на ручной тележке и поехал на средину рынка.

— Сторонись, бабы. Облава вчерась была?

— Была.

— Ну, значит, нынче не будет.

— Вишь, прямо чуть не на телеге прискакал. Тише ты, домовой, прет прямо на человека.

— Вот такие-то оканные, случись что — и пойдут со своими кадушками через головы скакать. И как не запретят только.

Вдруг старичок с замками насторожился, ни слова не говоря, сунул в карман трубочку, стряхнул в мешок замки и юркнул в толпу.

А вдаль уж был слышен продолжительный негромкий свист, каким охотник дает знать товарищу о замеченном звере.

Пожилая торговка беспокойно оглянулась и вскрикнула:

— Ах, нечистые, с того конца зашли...

— Вот ведь, окаянные, каждый день наладили.

Все мгновенно зашевелились и бросились во все стороны, как раскинувшийся лагерь бросается, ища спасения в бегстве при неожиданном нападении врага. Только виднелись вскидываемые на плечи мешки, кадки, ящики.

— Что на дороге-то мешаешься, чертова голова, раньше бы собирала, не научили тебя еще.

— А ты куда по следам шлепаешься? Угорел совсем, мои матушки.

А дальше слышался испуганный визг и хруст посуды: это мужик в фартуке с кадкой капусты катил по рядам.

— Господи, батюшка, вот отнялись ноги со страху, и бежать не знаю куда, — говорила, сидя на снегу и плача, какая-то баба.

— Луи в ту сторону. Отседа зашли.

Но навстречу бросившейся толпе раздался свистки милицейских.

— Отрезали, дьяволы! — сказал солдат с мешком картошки на спине, остановившись и плюнув. — Вон куда — за водокачку надо было обходить. Как бы сразу зашли, так бы и прорвались к переулку.

— Теперь живьем возьмут... да куда ты тут со своей лампой-то! Абажур еще прихватила. Наказание с этим народом.

— Порядков не знают, вот тащут что попало.

— А там вон один оленьи рога приволок. Как подденет, подденет под бок, ну прямо душа с телом расстается.

— Эй вы, чего там заснули? — крикнул солдат в суконной шапке с шишаком. — Обходи справа да загоняй всех в угол.

Из-за водокачки выскочили солдаты и рассыпным строем стали сгонять всех в одну сторону.

— Плянь, они и за водокачкой сидели.

— Заходят, кругом заходят. Ах, нечистые! — говорили бабы.

— Обошли... теперь крышка всем, — сказал солдат с картошкой, — они подготовку izdelали.

— Сейчас хоть не стреляют, а спервоначалу, бывало, как залпом в воздух хватят, хватят, так присядешь и ноги как чужие.

— Они и сейчас, брат, как не свои.

Старик с селедочницей, молодой торговкой и приставшим к ним солдатом раньше всех успели юркнуть в какую-то подворотню, пригнувшись, пробрались к пустырю вдоль разломанного забора.

— С креслом-то женщина осталась, бедняжка.

— Вперед наука. Еще бы комод на себе приперла.

— Вутол погнажи. Вот дуют-то! — говорил солдат. — Ах, ловко. Это еще что... вот мы, когда Ерзерум брали, как налетели таким же манером на базар — куда тебе твои столики. Что тут было! Ну, что ж они не стреляют? Тут первое дело в воздух палить надо без остановки, покамест очумеют. Тогда голыми руками прямо бери.

— Что это кверху ногами-то бегают?.. — сказала молодая торговка. — Вон, вон, вишь... остановилось. Опять, опять побежало.

Все посмотрели по указанному направлению. Народ, потеряв голову, бросался целым стадом то в одну, то в другую сторону, а среди этой свалки металось по базару какое-то кресло вверх ногами.

— Ох, это она, знать. Спаси, царица небесная.

— Надорвется, — сказал старичок.

— Разве можно в такое время с такими вещами.

— Эх, стреляли мало, — сказал солдат, когда сбитую в кучу толпу на рынке стали строить в очередь, — тут бы без остановки лупить надо.

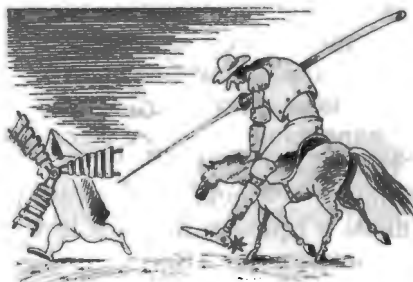
Когда все пошли, он еще несколько времени смотрел на рынок с опрокинутыми столиками и рассыпанными селедками, потом, плюнув, сказал:



— Все-таки мастера, дьявол их побери. Мы, когда Ерзерум брали, у нас хоть конница была, а эти пеший как обработали.

— Тут и без конницы хорошо выходит, — заметил старичок. — Вы Ерзерум-то этот один раз брали, а они тут по семи раз в неделю орудуют, пора руку набить.

1918



**Н**а длинной платформе вокзала

колыхалось целое море голов, солдатских шинелей, со вскинутыми на плечи сундучками и мешками.

Когда какой-нибудь солдатик в съехавшем набок картузе протискивался со своими мешками через толпу ближе к платформе, раздавались крики и ругань.

Издали донесся свисток паровоза, и головы всех повернулись к подходившему поезду.

— Ну, прямо невозможно стало ездить, — проговорила женщина в дорожной поддевке и теплом платке, — ругань везде такая, что сил нет.

— Привыкнешь, — сказал стоявший рядом с ней солдат с мешком и привязанным к нему чайником, недовольно покосившись на нее.

Паровоз, обдав людей холодным паром и скрыв в нем на минуту платформу, пронесся мимо. Толпа загудела и, спираясь воронками у входов на площадки, полезла, не дав поезду остановиться.

— Дуй напрямик, господи, благослови.

— Куда на человека прешь, я те благословлю, мать!..

Минут пять стоял сплошной гул, из которого только вырывались отрывистые хриплые крики:

— Ах, мать... Куда, мать...

Первым вскочил в вагон солдат с мешком и чайником, за ним женщина в платке, потом какой-то добродушный солдатик, который только улыбался, высовывал свой узелочек над головами кверху и покрикивал:

— Легче, легче, родимые... Все огузья оборвете...

Несколько времени все стояли молча в тесноте.

— Ну и развязались язычки, — сказал добродушный солдатик, оглядывая полки и ища, куда пристроить свой узелок.

— Да уж всех родителей помянули.

— Без этого нельзя.

— А зачем ругаться-то, — сказала женщина, разматывая съехавший на глаза платок, — что, тебя за язык, что ли, тянули.

— А куда ж ты без ругани нынче сунешься, — отозвался, недовольно покосившись на нее, солдат с чайником, утирая рукавом шинели пот с лица, как после тяжелой работы, — тут, когда все горло продерешь, тогда только и проткнешься.

— Молитву бы сотворил, — заметила старушка с лавки.

— Молитву... Что ж, тебя оглоблей, скажем, в бок сажали или не хуже теперешнего сундуком в рыло заехали, ты и будешь молитву читать... — сказал какой-то угрюмый солдат от окна.

— Двинул матом как следует, вот и ладно.

— На что лучше.

— И все нехорошими словами, — сказала старушка, не обратив внимания на слова угрюмого солдата. — Заместо того, чтобы перекреститься перед дорогой, он по-матерному.

— Это у нас заместо господи благослови идет, — сказал солдат с чайником.

— Вот, вот...

— Это, брат, для всего годится — лошадь ли подогнать, в вагон ли пробиться, — и везде тебя понимают.

— В лучшем виде.

— Как же, иной раз просишь честью: господа, дозвольте пройти, — ни черта, как уши свинцом залили. Потом как двинешь — сразу прочистится.

— Момент.

— Нешто можно без ругани, — сказал угрюмый солдат, — они уж природу сверху тормашками хотят перевернуть.

— А я вот на Кавказе служил, так там никак не ругаются, — сказал добродушный солдатик.

Все некоторое время молчали.

— Что ж, они не люди, что ли?... — спросил угрюмый солдат, недовольно покосившись от своего окна. — По ихнему не понимаешь ни черта, вот и не ругаются, —

может, когда он с тобой говорит, он тебя матом почему зря кроет.

— Нет, это верно, иностранцы слабы насчет этого.

— Может, язык неподходящий?

— Да и язык: «ла фа-фа, та-фа», бормочет и не разбираешь, что он ругается, ежели языка не понимаешь.

— А тут ка-ак ахнешь, — сказал солдат с чайником, — мертвый очнется!

— Как же можно — слова явственные.

— Ох, за эту войну понавострились, — сказал добродушный солдатик, покачав головой, — говорят, лучше нас нигде не ругаются, всех превзошли.

— Да уж насчет этого можем.

— Немцев мы учили по-нашему, так те прямо диву дались. Мы, говорят, далеко до вас не дошли.

— Когда ж им было, все пушки свои лили.

— И что, братец ты мой, сколько местностей я объехал на своем веку, везде своего брата узнаешь. Иной раз, бывало, встретишь какого-нибудь, думаешь — иностранец: манжеты эти и все прочее, как полагается. А разговорился по душам или на башмак ему сапогом наступил — глядишь, земляком оказался.

— Что уж, настоящее, природное, никакими манжетами не выживешь.

— Как же можно. А то рабочий у нас тут один из Америки приехал (тоже манжеты эти, ну, одним словом, все до точности), а как, говорит, на границе первое матерное слово услышал, так сердце и запрыгало, перекрестился даже.

— Родина-то, брат... Что там ни говори.

— Вот ты говоришь, что слова везде одни, — обратился добродушный солдатик к солдату с чайником. — Слова-то одни, а разговор везде по-разному идет. Саратовские, скажем, те все со злостью дуют, чтоб он тебя когда-нибудь от доброго сердца пулянул — ни за что. Все, как собака, — срыву. А орловские, к примеру, ни одного матерного слова не пустят без того, чтобы милачком тебя не обозвать али еще как.

— Душевный народ?

— Страсть... Вечерком сойдутся на завалинке, только и слышишь, матюгом друг дружку кроют. Ежели ты

их не знаешь, подумаешь, что ругань идет, а они это для своего удовольствия. Когда по-приятельски потолковать сойдутся, других слов у них нету. И все так ласково, душевно.

— На Волге здоровы ругаться, — сказал солдат с чайником, — эх здоровы.

— Там иначе нельзя: работа тяжелая, — сказал добродушный солдатик, — я тоже везде побывал, сразу могу отличить, из какой местности человек.

— Нехорошо, — сказала старушка с лавки.

— Что ж изделаешь-то, кабы можно было обойтись, никто б и не говорил.

— Это верно — кабы нужды не было, и разговору бы не было.

Поезд остановился, в открывшуюся в конце коридора дверь ворвались какие-то крики, шум, возня...

— Что на дороге-то поставили, холуи косорылые... Принимай, в лепешку расшибу!

— И так пролезешь, не барин, — послышался сердитый бабий голос.

— Я те пролезу, мать...

— С Волги, знать, — сказал, прислушиваясь, солдат с чайником.

Добродушный солдатик, вытянув шею, прислушался, как прислушиваются к родному языку, услышанному на чужой стороне.

— Тверяки, — сказал он с довольной улыбкой и, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть через головы, крикнул что было силы: — Го-го-го, земляки, дуй... Вашу так!..

— Ну прямо терпенья нет, — сказала женщина в поддевке, нервно поводя плечами.

— Нежны очень стали, — сказал недоброжелательно утрюмый солдат, — иностранка, что ли, какая, что родной язык тебе противен. Жандармов-то теперь нет, придется потерпеть.

— Милая, ты не обижайся, Христа ради, — сказал добродушный солдатик. — Нешто я со зла. Я ведь от души. Я в Твери два года работал, земляки они, как услышу, так сердце и запрыгает.

— Понимает она тебе это, — сказал утрюмый солдат.

— Уж седина показывается, отвыкать бы пора.

— Эх, тетенька, да неужто уж... Господи, — сказал добродушный солдатик, приложив обе руки к груди, — я, можно сказать, человек тихий, смирный, цыпленочка и то на своем веку, скажем, не обидел, а когда меня на войне ранили, дал я зарок, чтобы никаких слов. Думаю, лучше буду святителей поминать, коли что, вот как бабушка говорила.

К нему все обернулись.

— Ну, и что же? — спросил нетерпеливо солдат с чайником.

— Ну наши на другой же день заметили: чтой-то ты, говорят, вроде как полоумный стал? А я скажу слово, да спотыкнусь. Думали уж, что язык отниматься стал. Почесть ничего сказать не могу, нету слов, да на-поди.

— Обойтись своим умом задумал, по-иностранному, — сказал угрюмый солдат.

— Целый месяц, братец ты мой, держался.

— Трудно было?

— Не дай бог, прямо как без рук.

— Никто человека не мучает, так он сам себе муку выдумал.

— Бывало, в праздник люди сойдутся, у них разговор идет, а я как немой сижу. И взяла меня тоска...

— Чем кончилось-то? — спросил нетерпеливо солдат с чайником.

— Чем?.. Да один раз жена мне похлебкой руку обварила, я как двину ее... С тех пор и пошло.

— Разум прочистило, — сказал угрюмый солдат.

— И прямо, братец ты мой, как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый, мать твою...

— О боже мой, — сказала женщина в поддевке, — хоть бы в другой вагон перейти.

Поезд опять остановился у станции. И сейчас слышалось:

— Эй, милый, проходи!

— Лезь, голубь, лезь, мать!..

— Ну, ну, старина, домовой облезлый, карабкайся, мать...

Добродушный солдатик повернул голову к двери, с заигравшей улыбкой слушал некоторое время, потом,

ни слова не говоря, ринулся вперед по головам и закричал что было силы над самым ухом женщины:

— Го-го-го... Орловские, что ли, мать вашу?!

— Они самые, соколики, — донеслось оттуда.

— По разговору узнал, четыре года там работал.

1918



## Вредный человек

### В деревне Хлыновке загорелась

крайняя изба на верхней слободе. Пока ударили в набат, пока сбежался народ — загорелась другая изба.

Человек пять тушили, бабы-погорелицы голосили, а остальные стояли, смотрели на пожар и рассуждали:

— А горит здорово.

— Горит хорошо.

— Сухо, вот и горит.

— Дальше, должно, не пойдет. Эта прогорит и конец, — сказал кто-то.

— Это еще как ветер... А то ежели ветер подымется, так и до потребиловки хватит.

— Навряд... Это уж какой ветер нужно...

— Хорошо, что ее в сторонке поставили, а то вот так-то случись что, ветер подымется, и в один момент все на воздух.

— Дело не в ветре, — сказал мужичок с замотанным вокруг шеи шарфом, сидевший на бревне, — а ежели близко к учету, так она за две версты загорится. И без всякого ветру.

— Эй, Кузнецов, не зевай, как бы до твоей избы не добралось, за твоей черед.

— О, и то... — сказал Кузнецов, поправил шапку, окунул веник, прикрепленный к шесту, в кадку с водой и стал с ним наготове около своей избы.

— Вон и заведующий вышел.

— За товар боится. Не дай бог... Года два хлопотали, насилиу построили и вдруг — на воздух все...

— Ситцу, говорят, много? — сказала молодая баба в поневе.

— Много.

— А что, учет-то скоро? — спросил кто-то.



— Чтой-то, кажись, говорили, на следующей неделе.

Все посмотрели на потребиловку.

— Не выдержит, загорится.

— Может, послать бы с ведрами человек трех на всякий случай постоять там.

Вдруг на выгоне показалась бегущая фигура без шапки, босиком. Все узнали Карпуху, который всегда ходил разувшись и без шапки. Он отличался тем, что на собраниях не соглашался ни с какими предложениями и постановлениями и предлагал свои. Нужно — не нужно, но он свое мнение высказывал, спорил, кричал и сбивал всех с толку.

Он еще издали что-то кричал и махал руками в сторону потребиловки.

— Чегой-то он? Ай потребиловка загорелась?

— Нет, чтой-то не видать.

— Не дай бог. Ситцу одного, говорят, рублей на пять-сот.

— Эй, Кузнецов, к тебе села!

— Где?.. Ой, чтоб тебе...

— Да, бабам к празднику наготовили. Заведующий говорит, прямо надоели, все ходят, смотрят. Покупать не покупают, а только все загодя присматривают да выбирают. Ой, братец ты мой, вот чешет-то!..

Две избы, стоявшие рядом, ярко горели, солома на крышах уже прогорела и обваливалась с них огненными кучами, из которых шел тот особенный серо-желтый дым, когда в середине есть еще несгоревшая солома. Обнажившиеся стропила жидко горели перебегающими зайчиками.

Карпуха, запыхавшийся от бега, с растрепавшимися нечесаными волосами, не добежав до толпы, остановился и крикнул:

— Что ж вы, окаянные! Товар-то ведь весь сгорит!.. Вытаскивать надо!

— Далеко, что ему сделается, — сказал один голос из толпы.

— Далеко-то далеко, — отозвался другой, — а на всякий случай не мешало бы.

Несколько человек отделилось от толпы.

— Куда это они?

— Да вон, потребиловку отстаивать выдумали. Они бы лучше тут стояли, Кузнецова изба того и гляди загорится.

Еще отделилось несколько человек, а за ними, колебавшись несколько времени, как колеблется на ярмарке толпа, не зная, к какому балагану идти, вдруг хлынули все к потребительской лавке. А впереди молодые бабы.

— Давай ключи, отпирай! — кричал Карпуха на заведующего.

— Какие тебе ключи, ошалел.

— Какие... выносить надо. Не видишь — горит.

— Да ведь горит-то за полверсты.

— В Слободке за версту горело и то не выдержала. Давай, говорят.

Лавку отперли, и все, давя друг на друга, бросились выносить.

— Стойте, стойте, по порядку! — кричал заведующий.

— Есть когда разбирать. Покамест порядку дожидаться будешь, все и сгорит.

Бабы бросились прежде всего к ситцу.

— Что вы за ситец-то хватаетесь, муку волоките!

— Дюже тяжело...

— Волоки товар в одно место! — кричал Карпуха. — На середку выгона складывай, там не достанет.

Но выбегавшие из лавки бабы с потными, красными лицами и со съехавшими с голов платками со штуками ситца в руках и прочими товарами бежали не в одно место, а все в разные: кто в конопляники, кто на задворки.

От пожара, увидев, что потребиловку выносят, бросились все остальные, даже Кузнецов, бросив свой венник с шестом посередине выгона.

— Черт чумовой, ты-то куда прибежал? — кричали на него.

— Ладно, — сказал тот, отмахнувшись, и схватил в обе руки какие-то оставшиеся на его долю коробки.

— Эй, куда в конопляники тащишь! — кричали на баб.

— Лучше, не сгорит...

— Теперь хоть завтра назначай учет, — не загорится.

Когда спасли весь товар и посмотрели на место на выгоне, куда велено было складывать, то оказалось, что там лежали три железных ведра, связка баранок и две лопатки.

Около товара стояла куча народа и смотрела на них.

Подбежал Карпуха, как на войне подбегает командир после атаки, посмотреть, сколько взято пленных, и крикнул:

— Куда ж остальное-то делось?!

— Еще не донесли, значит. А может, в другое место положили, от огня подальше.

А из конопляников выбегали потные, растрепанные бабы и, увидев, что на них смотрят, сейчас же переменили бег на неспешный шаг и начинали на ходу оправливать сарафаны, как будто они не за тем делом туда ходили.

— Ты откуда?! — кричал Карпуха, встречая каждую такой фразой.

— Из конопляников — не видишь?

— А зачем туда ходила?

— Зачем туда ходят-то...

— А товар брала?

— Какой товар?

— Да из потребиловки.

— Что ты, очумел! Я и в глаза его не видала.

— Соберешь после, главное дело вытащить, — говорили в толпе.

— Матушки, кузнецовская изба загорелась.

И бросились к пожару. А впереди всех сам Кузнецов со своими коробками под мышкой.

— Ах ты, дьявол тебе в живот!.. — кричал Кузнецов, тыкая в отчаянии багром в горящую стену своей избы. — Вот подвернулся-то, собака, с своим товаром. Ну, как ни вякнет, так уж знай, какая-нибудь штука выйдет.

— Теперь пошло дело, — говорили в толпе, — брось, а то хуже шапки летят. Ведь вот, правда, вредный человек какой. И черт его дернул вякнуть.

— А потребиловку-то спасли? — спрашивали вновь подбежавшие.

— Ее и спасать нечего было. Товар только вынесли.

— Много?

— Нет, почесть ничего не было. Там на выгоне лежит чтой-то.

— Его, этого Карпуху, самого за это в огонь надо. То же в прошедшем году с этим амбаром помещичьим, хорошие деньги за него давали, продать хотели, а он и вякнул на собрании: «Как бы, говорит, товарищи, петли с дверей да железо с крыш не растащили, железо-то уж очень хорошее. Такое, говорит, толстое старинное железо, какого теперь ни за какие деньги не купишь». Все прислушались. А на другой день посмотрели, железа половины на крыше нет. А через три дня и вовсе на этом месте чисто. Вот он какой черт.

— Человек вредный — это что и говорить.

Когда изба Кузнецова догорела, он отошел, сел на бревно и стал осматривать свои коробки. Открыл одну, потом другую, третью и плюнул: во всех были детские погремушки и резиновые соски.

— Что, собрали товар-то? — спросил кто-то.

— Собрали... И изба лишняя сгорела, и потребиловки нету.

— Ведь вот как заведется такой вредный человек, так от него всякая беда и идет.

[1919]

Красно-желтый ущербный месяц

бледно светил над церковью. Деревня спала, и только в редких избах тускло светились огни. На завалинке у своей избы сидел старик Софрон и, почесывая бока и локти, вздыхал чего-то.

— Не спишь, дядя Софрон? — спросила, подходя босиком по ночной росе, старуха Аксинья, садясь на завалинку.

— Да, не спится что-то.

— Вот и мне так-то. Как месяц на ущерб пойдет да свет вот такой красный от него, нехороший, — так и сон плохой. Все пугаешься чего-то во сне... Да и сны какие-то чудные стали сниться, бог с ними...

— Это верно, сны прямо замучили... Прежде, бывало, все хорошие сны снились, а теперь и не разберешь что.

— Вот-вот. Прежде сны были явственные, — сказала Аксинья, поправляя платок и подпრтывая под него клочки седых волос, — и каждый сон означал, что полагается. Бывало, пойдешь к Марковне, так она прямо как на ладонке разглядит все и разберет, что твой сон значит. А теперь и она не может.

В соседнем сарае закрипели ворота.

— Да... сна нету, а заснешь, снится бог знает что. Вон и Фома Коротенький не спит, — сказал Софрон, приглядевшись в полумраке. — Что, не спится, дядя Фома?

— Не спится, — отозвался Фома, босиком и в рубахе без пояса подходя к разговаривающим, — отчего так, ума не приложу.

— Ай сны нехорошие снятся?

— Да и сны снятся...

— Вот об том и толкуем, прямо замучили сны, — сказал Софрон.

Он посмотрел перед собою вдаль. Напротив, через улицу, стоял плетень, над плетнем — неясно видные в красноватом полусвете месяца, нагнулись над бурьяном плакучие вербы, а дальше в неясной мгле золотилось спелое ржаное поле.

— Бывало, господи, какие светлые сны снились! — сказала Аксинья, старушечьим жестом вытирая рот рукой.

— Прежде другие сны были.

— Все больше видела я, будто умирать собираюсь, все так это хорошо... будто прощаюсь со всеми, и все будто окружили меня и тоже со мной прощаются ласково так, словно я куда уезжать собралась в дальние страны. И будто обхожу в последний разочек все места, каждый бугорочек, каждое деревцо. И лицо у меня будто такое светлое-светлое, и покрыта я беленьким платочком.

— Беленьким?

— Да.

— Это хорошо, к тихой кончине.

— Да... и будто все сама убираю — свечку, икону, что мне на грудь положить с собой, рубаху чистую — все сама будто... И приходит ко мне старец, — продолжала Аксинья, с тихой улыбкой умиления глядя перед собой, — и говорит: «Ну, собралась, говорит, на вечный покой иттить, отдохнуть, говорит, от тяжелой жизни, представиться светлomu лику господню?» — А я говорю: «Собралась, батюшка, только полотенчико забыла вынуть, на чем нести-то меня». — «Ну, возьми, говорит, и полотенчико».

— Скажи, пожалуйста, все до точности.

— Да... И просто так, ровно я в город собралась ехать. И спешу это поскорей убраться, а сама чувствую — светлая вдруг сделалась...

— Светлая... Скажи пожалуйста!

Софрон сидел молча и все смотрел вдаль, на далекое ржаное поле, как человек, которому по себе все это известно, и он ничему уже не удивится в рассказе другого.

— Проснешься, бывало, и целый день ходишь, ровно на тебя свет снизошел. Думаешь, видно, господь упредить хочет, святого батюшку какого-нибудь присылая ко мне, к себе требует или напоминает, чтоб душу не пачкала.

— А какой из себя лицом-то был?

— Так, седенький, ряска худенькая...

— Николай, должно, угодник. Это он больше по таким делам... старика какого утешить, осчастливить. Это он — первое дело — любит. Да, хорошие сны были, — сказал он, вздохнув, — а теперь незнамо что пошло.

Вдруг где-то за деревьями раздался дальний выстрел. Все замолчали.

— Все сады свои караулят: жадность одолела. И нас-то через них нечистый путает... Бывало, спать ляжешь — спина гудит, руки от работы ломит, а на сердце весело: знаешь, что во сне либо райский сад увидишь, либо матушку царицу небесную в сиянии. А теперь как заколодило: не то что царицы небесной или райского сияния, а даже Флор и Лавра, батюшка, не показывается... Это что для скотины хорош...

— Знаю... — сказал Софрон, кивнув головой, — сам почесть кажную неделю его видел.

— Намедни такое видела, что стыдно и сказать: опять будто помирать собралась и смотрю, никто за мной оттуда не пришел... Скушно мне стало. Потом вдруг откуда ни возьмись — шась какой-то рябой, нехороший, вроде как наш поп. «Керенки-то, говорит, пересчитала свои?» А я будто хватилась — батюшки, не считаны! Да в чулан скорей, а он за мной... Я заперла дверь и скорей прятать их, да никак не придумаю, куда их сунуть, а руки трясутся, сердце зашлось, — вот, думаю, не успею... а там, глядь, каким-то манером нет ни чулана, ни керенок, ничего... а я тащу бревно из усадьбы.

— Что за оказия! — воскликнул Фома, хлопнув себя по колену. — Что ж, ходила к Марковне?

— Ходила... — сказала неохотно Аксиныя.

— Что ж она?

— Да что... вы, говорит, с такими снами теперь ходите, что и разбираться в них не стоит. Это, говорит, все его дела.

- Его?..
- Да.
- Ах, ты, господи, батюшка, вот еще наказание!
- Ая будто все в землю зарываю, — сказал Софрон, — будто деньги золотые да серебряные.
- Серебряные?
- Что ни попадется, все будто хороню. А потом отрою поглядеть, а там лошадиный помет.
- Тыфу, чтоб тебя. Вот небось жалко-то?
- Известно, жалко.
- Да, светлых снов не осталось, только и знаешь, что бревна какие-то таскаешь, да все в землю прячешь, только и толку.
- Кабы хорошее прятать, это бы хорошо, — сказал Фома, — а вот котяхи-то зарывать... толку немного. Ая прошлой ночью все будто железо таскал. Ташу, а на меня еще наваливают, чувствую, что подохну, — не доташу, а все хочется еще захватить.
- Вот-вот, то бревна, то железо.
- И отчего такое, к чему бы это?
- Господь его знает...
- А не говорила Марковна, что к богатству?
- Нет, не говорила.

Все замолчали и сидели, понутив головы. Роса пала на траву еще сильнее, вербы слились в сумраке с плетнем, но спать никому не хотелось: светлых снов не увидишь...

1919



# Богатство

Эпоха 1919 г.

**М**ужики сидели около потребительской

лавочки и говорили о том, сколько теперь денег в деревне стало.

— Сейчас ко мне Архипова старуха приходила, — сказал заведующий, — тысячу рублей просила разменять.

— Чудеса!.. У Архиповой старухи тысяча рублей...

— Да, господь батюшка смилостивился, богатство послал, — сказали старушки.

— И ведь до чего денег много стало!.. Прежде, ежели есть сотенная, так уж и богач, а теперь это нипочем.

— Теперь вон какие дела завелись, — сказал опять заведующий. — приходит ко мне на днях тоже вот такая-то старушка. Нефедова мать из слободки. «Свешай, говорит, мне, батюшка, деньги, а то я считать не умею». И подает мне хороший узелок. Свешал я. Три фунта!..

— Три фунта? — воскликнули все.

— Да... А их в фунте-то тысяч пять будет, этих маленьких-то.

— Больше!

— Ни у какого купца прежде денег столько не было, сколько у нас теперь.

— Нам председатель говорил наемдни, что ежели собрать все деньги, керенки эти, какие сейчас у народа есть, так будто до Питера можно дорогу ими выстелить и на два аршина землю покроют.

— Страсть!..

— Вот богатство, мои матушки!

— А почему?.. Потому что мужичок по ветру не будет распускать, а все припрятывает да припрятывает. Иные, как им в руки попало, так сейчас в «дело» их пускают, или нарядов и прочее обзаведение, а у нас, вишь, вот овчинник сотни тысяч имеет, а как ходил в опор-

ках, так и ходит. Прежние господа в такой избе, как у него, телят не стали бы держать, а он живет, терпит. Зато в кармане есть.

— Это верно, — сказал мужичок в заплатанном полушубке, — вон хоть моих соседей взять: керенок этих и николаевских прямо фунтами вешают, а сами на одной картошке сидят да хлеб с мякиной трескают, зато каждую неделю по мешку муки в Москву отвозят. Они уж на пустяки копеечку не истратят, в «дело» не дадут.

— А поспеел народ — страсть, — сказал заведующий. — Намедни председатель говорил: обложили всех на больницу на два с полтиной, так и то все просрочили.

— Добровольный сбор, что ли? — спросил мужичок из слободы.

— Добровольный. Да... А потом еще всей деревней рассрочить просили.

— А как же, — сказала какая-то старушка, — богатство-то так и собирается. Ежели копеечки выпускаешь туго, они и не разлетятся.

— Да уж так туго, что туже некуда. Бывало, кусок хлеба попросишь — никто не задумается. А сейчас первым делом прикидывает, сколько он за этот кусок полчить может. Побирושкам отказывают.

— Когда денег мало было, тогда их меньше жалели.

— Почему так?

— Кто ее знает...

Мимо разговаривающих прошла грязная оборванная старушка, посмотрела на всех из-под руки пристально, по-старушечьи, и повернула к потребительской.

— Вот тоже, — сказал заведующий, — ей на паперть по виду становиться впору: оборванная, разутая, грязная, а у нее большие тысячи. Сын все хлеб да спирт в Москву возит.

— Да, господь за терпение богатство дал...

Через минуту старушка вернулась и подошла к разговаривавшим.

— Ты тут, а я в лавку пошла, — сказала она, обращаясь к заведующему. — Посмотри, кормилец, какие это у меня денежки, не понимаю ничего: то все были ма-

ленькие, а теперь целыми листами чтой-то уж пошли. Что это, хуже или лучше?

— Это государственный заем. По сту рублей штука.

— По сту?..

— Да...

Старушка задумалась, глядя на листы, потом спросила:

— А как же их — считать или вешать?

— Безразлично, — сказал заведующий. — Да чего там считать, положи в сундук или в землю закопай, и пусть лежат.

— Хорошо, батюшка.

— Ты бы в «дело» их отдала, — сказал насмешливый голос.

Старушка не поняла, только посмотрела на говорившего, потом озадаченно — на деньги и, ничего не сказав, пошла.

— Эй, постой, постой! — крикнул заведующий. — А больничный сбор уплатила? С тебя пять целковых.

— Рассрочили, батюшка.

И она поплелась домой.

— Прямо беда с этими сборами. Вот теперь тоже учителя — уж два месяца жалование им не плачено, а ни у кого копейки не вытянешь.

— Что там учителя, когда сами не жрамши сидят.

— Берегут копеечку, берегут, — сказала старушка, — по ветру не распускают. Зато богаты.

— Только много пропадает все-таки денег: иной в стену спрячет, глядишь — изба сгорела — деньги пропали.

— В избах не прячут теперь, все больше в землю закапывают, — сказал мужичок в заплатанном полушубке, закуривая трубочку.

— Везде напихано... А Петрухина баба в тряпку завернула да под печкой в золе держала, а тряпка-то масляная была, мыши и съели шесть фунтов керенок этих...

— Что ж делать? Без этого нельзя, от случая не убежишь. Зато держат крепко. Ведь это, — шутка сказать, — вот посмотри ты хоть наше село: грязь по колени, по вечерам сидят с коптелками, на керосин жале-

ют, ребятам молока не дают, уж у них животы барабанами пошли; а подсчитать — на всем селе больше миллиону наберется.

— Больше. У одного овчинника шесть фунтов керенок.

— Вот это богатство.

— Ужаси!.. Только бы господь дал как-нибудь до весны дотянуть, с голоду не подохнуть, а то муку всю распродали.

1919



## Хорошие места

Когда поделили помещичью землю

и прошло некоторое время, мужики опять стали жаловаться на малоземелье.

— Да ведь у вас против прежнего-то больше стало? — спрашивал заведующий уземотделом.

— Что ж, что больше... у нас места дюже плохие.

— Нешто это места, — говорил кузнец, — одни эти рвы замучили. В прошлом году на моем поле маленький ровочек был, можно даже сказать — пахать не мешал, и ровный такой: идешь по краю с сохой, как по ниточке. А в нынешнем году нечистые его рассадили такой, что не пересигнешь, да еще вавилонами какими-то пошел. Крутишься, крутишься около него с сохой — сил нет.

— Да и земля не та стала, — сказал старик Софрон, который любил хвалить только старину, а к настоящему времени относился не иначе как с презрением. — Бывало, какие луга, лесу одного сколько было, а теперь откуда-то, чума их знает, кочки повыскакали. Да и рвы тоже. Прежде рвов не было, а теперь их год от году все больше.

— Вот у немцев этих рвов отчегой-то нету, — проговорил солдат Филипп, во время войны бывший в плену.

К нему все повернулись.

— Нету?

— Никак.

— Места, значит, хорошие, — сказал Софрон, — на хорошие места попали.

И он, стоя, опершись на палку, стал скорбно глядеть куда-то в сторону.

— Попробовали бы они тут, пошли, пошли, повертелись, — заметил кузнец.

— Да они, эти хорошие места-то, все равно что клад, в руки не даются, — проговорил коновал.

У него болели глаза, и он сидел в стороне босиком на земле, с обвязанной тряпкой головой, и говорил оттуда, повернувшись спиной к говорившим, со стороны которых светило солнце и мешало ему смотреть.

— Вот хоть взять глаголевскую землю, — сказал он, раскурив трубку и сплюнув, — в старые времена какие урожаи на ней бывали.

— Страсть...

— Андросовские мужики давно на нее зарились, потом осилили, купили, два года попользовались урожаями; можно сказать, земля прямо сама рожала без навозу, без всего. А потом отчегой-то зачиврела и сошла на нет.

— И отчего такое?

— Поздно захватили, — ответил Софрон, — портиться стала. Сапоги, скажем, снашиваются — так и земля.

— Эх, кабы на хорошие места попасть, — сказал возбужденно кузнец.

— Да, тут натворили бы делов.

В стороне, на пустующем месте, где была прежде изба и садик умершего в прошлом году старого кузнеца, ребяташки сбивали камнями и палками маленькие зеленые яблоки и, подпрыгнув, ломали ветки, на которых виднелись яблоки. Одна палка упала около разговаривавших, сидевших на бревнах.

— Ну, вы, чертенята, — крикнул кузнец, оглянувшись на ребят, — зачем с той стороны кидаете, не можете отсюда зайтить? Головы-то ни черта не работают.

Все оглянулись на ребят и помолчали несколько времени.

— Вишь, вон тут яблоки-то какие, — сказал Филипп, — в орех... А у немца, братец ты мой, чего только нету: яблоки в два кулака, груши, сливы эти... Ну, прямо рай.

— Места хорошие — вот и рай, — сказал, вздохнув, Софрон и опять стал смотреть в сторону.

— Дуракам всегда хорошие места достаются, — заметил угрюмо коновал, держась одной рукой за глаз, а

другой приминая пальцем огонь в трубке, которую, жмурясь, насасывал без перерыва.

— Не любят они народ, эти хорошие места, все подальше хоронятся: как где трудовой народ, так тут и нету ничего. Смотреть противно. Вот возьми ты хоть нашу округу — где ни посмотришь, везде рвы, кочки эти, нет на них погибели, рожь тощенькая, лесу не осталось, пары голые, скотина заморенная. А вот где народа еще нет, там места хорошие, жирные.

— Это верно. Наши уехали лет пяток назад, куда-то в Сибирь, что ли, подались... Так сначала писали, что рожь рожается, словно тебе лес.

— Лес... а, скажи на милость.

— Картошки... прямо тыщи.

— Тыщи...

— И, прямо сказать, никакого труда не нужно: пахать — не пахут, а так поскребут, поскребут еловыми сучьями и ладно, лежи всю зиму на печке.

— Вот это места, — сказало несколько голосов.

— Да. А потом пожили года три, а она — мое почтение — уж заартачилась, родить перестала. Лес отчего-то, пишут, погорел.

— Что за причина?

— Кто ее знает.

— Значит, опять не пондравилось, что народ пришел.

— Теперь уж и неизвестно, где эти хорошие места-то остались, — сказал, вздохнув, Софрон.

— Говорят, туда подались, — проговорил сидевший в том же положении коновал и, не глядя ни на кого, показал большим пальцем куда-то через плечо, далеко направо.

Все посмотрели туда, где за ржаными полями, на горизонте синели вдали туманные полосы лесов.

— Нет уж, видно, куда ни ходи — конец один, — сказал Андрей Горюн, тощий мужик, сидевший босиком на бревне, махнув рукой. Он повесил голову и задумался о чем-то безотрадном.

— Да, вот теперь и земли прирезали, — сказал Софрон, — а ведь она все та же, здешняя, земля-то. Кабы с нового места, вот бы другое дело. Или раньше бы годовков на двадцать. Вот бы двадцать годов попользова-

лись хорошей землей. А теперь года три попашешь, она и сойдет на нет.

И он, сняв свою войлочную шляпу, медленно почесал голову.

— И трех еще не пропащешь, — заметил кузнец.

— А вон, никитовскую землю какие-то чухонцы тогда купили, так она у них никак не сходила.

— Рано захватили, вот и не сходила.

— Кто ее знает. Мяту эту все сажали.

— Слово небось знают, вот и не сходит.

— Это верно, — согласился Софрон, — как для плода, так и для земли надо слово знать. А кто его нынче знает? Вишь, молодежь-то какая пошла.

Он опять стал смотреть куда-то в сторону, потом, помолчав, прибавил:

— Вот оттого и сходит все на нет. Лесу нет за двадцать верст, земля как зола. Теперь этой прирезанной-то на много ли хватит? Как подати велят за нее платить, она и выдохнется.

— Очень просто...

— За хорошими местами бы иттить...

— Угоняешься за ними, — сказал мрачно коновал, — нынче ты на него сел, а завтра оно из паров выйдет...

— Очень просто...

— Хоть бы годочек попользоваться такою, чтоб сама рожала, — сказал кузнец, — а не гнуть бы спину-то.

— Или бы слово узнать. В старину много слов знали... пошепчет, пошепчет и — готово, загребай.

— Словами-то тоже небось не всегда потрафишь, — сказал Филипп, — а вот у немцев бы отхватить кусок хороший с хорошими местами, это бы ладно было.

— Все равно, и на два года не хватит — рвами пойдет да кочками, — отозвался безотрадно Андрей Горюн.

— Вот кабы места хорошие найти, да к этому еще слова разузнать. — сказал кузнец, оглянувшись на всех.

Но все уныло молчали: слова все позабыли, а хорошие места все равно долго трудового народа не выдержат.



# Вредная штука



коло шалаша в бывшем помещицѣм

саду сидели мужики, арендаторы нынешнего урожая, и варили себе кашу с салом в закопченном котелке, висевшем в ямке над огоньком.

— Новым хозяевам мое почтенье, — сказал проходивший по дороге мужичок с палочкой, останавливаясь и снимая лохматую шапку.

Все тоже сняли шапки.

— Что, в собственность к вам отошел? — спросил прохожий, кивнув головой на сад и садясь на перевернутый яблочный ящик.

— Нет, в аренду взяли, — отвечал мужичок, набиравший трубочку.

— Собственность эту теперь прикончили, — сказал другой, сидя на корточках перед котелком с ложкой наготове, чтобы снять накипающую пену, когда начнет уходить через край.

— Довольно, побаловались. Вишь, черти, огородились. Бывало, только ходишь да поглядываешь на него, на сад-то. Сторожей сколько нагнато было. Все боялись, как бы кто яблочком не попользовался. А то они обеднеют от этого.

— Жадность. Не хочется из рук соринки одной упустить.

— Да, держались крепко, — проговорил мужичок с трубочкой. Он закурил от уголька и, сплотив в огонь, утер рюк рукой, в которой держал трубку. — Бывало, за лето человек десять в волость сволокут. Собаки какие были — по проволоке бегали. А он себе выйдет, прогуляется с панирской и опять пошел газету читать. Спокойно жили.

— Потому священно и неприкосновенно... — проговорил молодой малый, сидевший босиком на обрубке и чинивший рубаху.

— Теперь эту неприкосновенность-то здорово трянули.

— Да... вредная штука. Ведь вот, братец ты мой, — сказал мужичок с ложкой, — пока у человека ничего нету, он тебе все понимает, к чужому горю отзывчив, из-за копеечки не трясется. А как сюда попало, так кончено дело.

— Это верно. У кого два гроша в кармане, тот не задумается половину отдать. А у кого две тысячи, тот скорей удавится, чем тебе десятую долю отдаст. Намедни кум просит рублевку, а у меня у самого две. Что ж, дал... А попроси у богатого...

— Да, штука вредная, это что и говорить. И до чего человека она портит... пока бедный — хорош, а как собственностью обзавелся, набил карман — он хуже собаки.

— Верно, верно.

Все помолчали.

— А яблочек-то порядочно... — сказал прохожий, поведив глазами по деревьям.

— Яблоки есть...

— Мужики-то вас не обижают? Не трясут?

— Нет, малость... у него не обтрясешь, — отвечал мужик с трубкой, кивнув на малого, чинившего рубаху.

— Ядовит, значит? — спросил прохожий, улыбнувшись и подмигнув на малого.

— Ядовит не ядовит, а за свое кишки выпущу, — сказал малый, кончив рубаху и встряхивая ее.

Он встал от костра, потянулся, но вдруг, не докончив движения, быстро присел и посмотрел под яблоню в сторону забора. Потом, не говоря ни слова, бросился в шалаш, выхватил оттуда ружье и понесся босиком куда-то по траве, пригибаясь под ветки.

— Ай-яй-яй! Держи!

Затем раздался выстрел и испуганный крик бабы на деревне:

— Чтобы вам подохнуть, сволочи! В малого из ружья стреляют! А! Что же это делается!

— Уж и лют! — сказал, улыбнувшись и покачав головой, мужичок, варивший кашу. — Ну что, попал? — спросил он, когда малый вернулся и повесил ружье в шалаше на сучок.

— На бегу стрелял, — ответил тот мрачно, — выше взяло.

После тревоги разговор возобновился.

— Эх, ежели бы господь дал — ни граду бы не было, ни бури, — уж и сгребли бы денежек, мать твою!.. Прямо бы из нищих капиталистами изделались. Мы бы тогда показали...

— Да, деньжонок сгребете, — заметил прохожий, опять посмотрев на яблони.

— Сами того не ждали. Обчество нам с весны за пустьак отдало, думало, что урожая не будет, а она потом как полезла, матушка, из-под листьев, как полезла!.. Они уж теперь кричат, что мало с нас взяли.

— Пядели бы раньше. Шиш теперь с нас возьмешь, — сказал мужик с трубкой, сплюнув в огонь.

— А как силком заставят?

— Попробуй, заставь, — угрюмо сказал малый, — я уж тогда ружье не горохом буду заряжать... да еще спалю их всех, сукиных детей.

— Были бы деньги, с деньгами все можно сделать — сунул председателю, вот и ладно. Деньги и виноватого правым сделают. Главное дело, штука хорошая: вот лето посидим, похлебку помешаем, а там по 2 рубля за меру будем гладить.

— Еще больше возьмете, — сказал прохожий.

— О!.. Ну, по четыре.

— По-питерскому?

— Безразлично...

— Нет, безразлично, — сказал малый, — надо еще в городе узнать, почем там будут. По четыре еще в прошедшем году торговали.

— О?.. Ну, по шесть.

— Денег — уйма...

На дорожке в глубине сада показался какой-то человек. Все замолчали. А малый сделал движение к шалашу за ружьем. Но потом остановился. Это оказался мужичок в рваном кафтанишке. Он шел и, прикрывая рукой глаза от солнца, приглядывался к яблкам.

— Эй, ты чево там шляешься? Что тебе надо? — крикнул на него малый.

— Мне, батюшка, на луг тут поближе где-нибудь пройти, — ответил мужичок, остановившись и не сразу поняв, откуда ему кричат.

— Проходи, проходи, да в другой раз не попадайся... Вишь, черти, — на луг ему пройти. Он пройдет, а наутро — глядишь, яблоня обтрясена.

— Вот из-за этого не дай бог, — сказал мужичок, варивший кашу; он, сморщившись, попробовал с ложки горячей жижи и, выплеснув остатки на траву, продолжал: — Из-за этого и, не дай бог, ночи не спишь, а днем только и знаешь, что по сторонам смотришь да всего боишься; то думаешь, как бы град не пошел да мальчишки не забрались. Он, может, и украдет-то всего десяток, а у тебя все сердце перевертывается, удавить его готов.

— За свое всегда так-то трясешься, — сказал прохожий, постукивая палочкой по лаптю. — Иначе и нельзя. Потому ты сидишь вот, пот льешь, а другой спины не гнул, поту не лил, а придет и сграбастает.

— А у самих, у окаянных, руки отсохли — посадить яблоню или, скажем, сливу. Ведь дело нехитрое: сунул в землю прививок, глядишь, через три года на нем уж яблоки. А то все готовое да чужое подцапать.

— А оттого, что все потакают. Стащишь его в волю, сутки там продержат и отпускают, — его бы, сукина сына, в остроге сгноить, чтобы к чужому рук не протягивал, — сказал мужик с трубочкой.

— А вот подойдет съемка, — продолжал кашевар, — ведь сколько эти черти окаянные пожрут! Он налопается, это мало, да еще пойдет надкусывать да бросать.

— А там еще всякие кумовья будут приходить. Тому дай, другому дай, пропади они пропадом. У тебя, говорит, много. Из чужих рук всегда много кажется. У, сволочи, чтоб они подошли, господи батюшка, прости мое согрешение.

— Теперь, чем ближе к съемке, тем хуже, — сказал мужик с трубочкой. — Забор плоховат. При помещике, конечно, народ не такой разбойник был, а теперь нешто так надо огораживать? Вот капиталу нету. Мы уж гвоздей набили. Все какой-нибудь брюхо распорет, тогда другой раз не полезет.

— Да и собак хороших надо бы достать. Вот кабы таких раздобыть, как прежнего барина, вот тут и ку-мовья бы задумались в сад иттить яблок просить.

— Собака родства не знает, — отозвался прохожий, подмигнув.

— Пустить бы на проволоке через весь сад да в голоде держать, чтобы лютей зверя были, — вот бы тогда... — говорил кашевар с мечтательной улыбкой, грозя кулаком в пространство.

— Первый сорт был бы... Ну, прощевайте пока, — сказал прохожий и пошел.

Сначала около шалаша было тихо. Потом послышался крик:

— Ай-яй-яй, держи!

За криком выстрел и бабий голос:

— Злодеи! Ироды! Когда на вас чума, на окаянных, придет, чтоб вы околели!

И голос малого:

— Все кишки вам, дьяволам, выпотрошу. Охотники на чужое лезть.

А потом уже около шалаша:

— На бегу стрелял — ниже взяло...

На вокзальной платформе, заваленной

узлами, мешками и прочей пассажирской рухлядью, сидел и лежал народ, дожидавшийся поезда.

— Когда поезд придет? — спросил, войдя на платформу, рабочий с сундуком и чайником через плечо.

— А черт его знает, — неопределенно отвечал малый в картузе, к которому он обратился.

— Вот дьявола-то... — сказал раздраженно рабочий, оглядываясь по сторонам.

— Мы, батюшка, третий денечек тут сидим, — проговорила старушка в туфлях и шерстяных чулках, — балакали вчера, что должен быть поезд беспрерывно, знающий человек говорил, да вот, знать, не угадал.

— Придет, бог даст... — сказал сидящий рядом с ней на мешках лохматый мужичок в накинута на плечи без рукавов пубенке.

Рабочий, не слушая, смотрел по сторонам.

— А это какой поезд?

— Это в другую сторону, батюшка, третий звонок давно пробил, да гайку, говорят, какую-то на паровозе потеряли.

— Чего стоим? — кричали из окон стоявшего поезда пассажиры.

— Гайку не найдут никак...

— Растерялись, на весь поезд одна гайка... голь несчастная.

— Ехать не едет, а вылезть по своему делу боишься — уйдет, — говорила растрепанная женщина в расстегнутой кофте, с нечесаными волосами, выглядывая на обе стороны из вагона. — Звонки-то еще будут? — спросила она у проходившего толстого кондуктора.

— Сколько ж тебе звонков еще надо, пробило три, ну и сиди, жди.

— Им и трех мало... — сказал какой-то веселый мужичок в лапотках, с ножичком на поясе, свертывавший папироску.

— Голубчики, идет!.. — закричал как зарезанный малый в картузе и бросился в вокзал за вещами.

Вся платформа зашевелилась.

— У меня как сердце чуяло, что придет, — сказала старушка в туфлях, торопливо собирая свой мешок. — Как-то теперь, господь даст, сядем.

— На каком пути остановится? — кричали разные голоса.

— На втором пути, за этим поездом, — спокойно сказал толстый кондуктор, махнув рукой в сторону второго пути.

Все озадаченно остановились перед загородившим дорогу поездом.

— Вот этот тут черт застрял еще на дороге... Скоро ли тронетесь-то, окаянные! Стоят поперек дороги, и неизвестно что, не то в обход иттить, не то ждать.

— Сейчас уедут, им только гайку найти, — сказал, подмигнув, веселый мужичок.

Вдали засвистел паровоз. Пассажиры вдруг, точно спасаясь от кого-то, бросились к своим мешкам и сундукам рассыпной толпой в обход и под колеса стоявшего на пути поезда, потерявшего гайку.

— Куда вы, оглашенные, под поезд лезете! — кричали на них из окон. — Трогаемся сейчас, подавим всех.

— А вы что тут распространились на самой дороге? Зимовать, что ли, собрались?

Лохматый мужичок необычайно проворно пролез по головам ломившихся на площадках людей и сел на краю крыши, спустив вниз ноги в лапотках.

— Что на голову становишься! — сказал, поглядев на него с усилием вверх, рабочий, который ухватился рукой за железную скобку через плечи других и висел на ней.

— Пройтить негде было, батюшка, — сказал мужичок и, увидев барахтавшуюся внизу в общей свалке старушку, закричал:

— Эй, тетка, тетка, на тебе, хватайся за подпояску. Держись, тащить буду. Ну, вот...

— Эй, кто там опять?! Тьфу! Что за дьяволы, сказано — не лазить по головам! — закричал вне себя рабочий, когда старуха покрыла его голову своей юбкой.

Малый в картузе тоже вскочил на крышу и, стоя у края, кричал:

— Выше господ залезли!

Старушка, отдышавшись, устроилась около трубы.

— Ну вот, и слава тебе господи, сели. Только с непривычки дюже высоко.

— Обтерпишься...

Пришедший поезд дал свисток и дернул один раз, потом другой, потом медленно попятился назад. Все затаили дыхание.

— Только бы с места взял.

— Самое главное... а там разойдется, бог даст, — говорили на крышах.

Наконец паровоз часто запокал, медленно тронулся, шипя на обе стороны паром, выпускаемым из паровоза низко по земле, и увозя вагоны, платформы, груженные лесом и облепленные народом.

Малый в картузе стоял посредине крыши и кричал на поезд:

— Пошел, пошел, разгоняй, разорви его утробу!

— А ездить как будто похуже стало, — сказал лохматый мужичок, — взбираться дюже трудно.

— Зато спокоен...

— Про это никто не говорит.

Висевший внизу на площадках народ недоброжелательно поглядывал на крыши.

— И прежде были господа, и теперь господа, — сказал какой-то мужичок, посмотрев снизу на сидевшего на крыше солдата с револьвером.

— Расселись там на хороших местах-то, — сказала злобно какая-то баба с молочным жбаном, прилипшая внизу к дверной скобке.

Вдруг поезд, тяжело поднимавшийся на подъем, неожиданно рванул вперед и остановился.

— Ой, мать честная, — раздалось с крыши, — вот было чебурахнул-то!

— Держись, время такое...



— Что стал? Ай потеряли что?

— Должно, силы нету.

— Вот и опять станция, — сказал веселый мужичок. — Тут бы по всей линии тракторов настроить, в самый раз было бы.

— Что же вы, дьяволы, сидите! — закричал шедший от паровоза кондуктор. — Видите, машина не берет, не можете слезть?..

— И так вывезет!.. — крикнул, стоя на крыше, малый в картузе.

— «И так вывезет»... Что ты, на лошадь, что ли, засел, болван не понимающий. Слезай к чертовой матери!

— Под горку идет хорошо, а вот как навзволок, так мука с ним одна.

Все сошли на насыпь. Поезд постоял с минуту на месте, подергался судорожно и пошел назад...

— Матушки! Куда ж это он?

— За картошкой поехал... гайку не потеряй!.. — крикнул вслед машинисту веселый мужичок.

— Ежели спешить некуда, еще ничего, — можно и подождать.

— Да, подождать. Хорошо вам на крыше-то, — злобно сказала баба с жбаном, — а тут все молоко разлили, да еще проквасишь его, покуда довезешь.

— А ты пешком иди, баба молодая, чего машину зря мучаешь, — сказал веселый мужичок.

— Только вот оскалиться и уместе...

— Пошел!.. — крикнул кто-то.

Несколько человек бросились наперерез к поезду и с озверелым видом, работая локтями, стали пробиваться на крышу.

— Ах, дьяволы, опять самые хорошие места займут.

— Садись, не зевай! Черт вас побери, окаянные. Разинули рты! — крикнул кондуктор.

— А мы думали — остановится.

— Останавливайся для вас, а потом опять сначала разгоняй. Вот бестолочь-то окаянная, ну никак к порядку не приучишь. Весь свет обойди, другого такого народу не найдешь.

Старушку затерли, и она, потеряв туфлю, успела только повиснуть на подножке. Лохматый мужичок,

опять раньше других вскарабкавшийся на крышу, увидев старушку внизу, крикнул ей:

— Висишь, тетка?

— Вишу, батюшка, слава богу.

И она о плечо поправила съехавший на глаза платок, так как обе руки ее были заняты держанием за скобку...

Поезд пошел, прибавляя ходу. А сзади бежали, спотыкаясь, с мешками и испуганно махали руками те, кто не успел на ходу прицепиться.

— Догоняй, догоняй, тетка! — кричал малый в картузе, держась за трубу, как за мачту. — Ах ты, мать честная, вот так подвезли тетеньку!

Какой-то человек в бабьей кофте посмотрел на оставшихся и сказал:

— Ну, беда теперь с плохими ногами.

— Тут и с хорошими голову потеряешь.

— Вот как народу поскидает побольше, все, может, лучше пойдет.

— И то как будто расходиться стал.

— Разойдется... Тут под горку.

Все замолчали и, оглядывая свои мешки, стали прочнее усаживаться.

— ...Не тяни за плечо... — раздался голос снизу, где висели, как виноград, люди на подножках.

— Потерпишь, что же мне, оторваться, что ли... — сказал другой голос.

— О, господи батюшка, того и гляди, руки оборвутся. А тут этот домовой разогнался. Куда его леший так понес? Холера проклятая!

— На кульерском едем!

Поезд, шедший под уклон, все прибавлял ходу и наконец так разошелся, что поднял за собой целый ураган крутившихся в воздухе бумажек и пыли.

Вагоны дребезжали и ныряли из стороны в сторону.

Разговоры на крышах прекратились. Пассажиры притихли и, как гонщики, плотнее надвинув шапки и сощутив глаза, смотрели вперед.

— Куда его нечистые разнесли!

— Эй, куда ты так рассскакался! Головы, что ли, сломить всем хочешь! — кричали с крыши машинисту.

— «Рассскакался», — передразнил с тормоза утрюмо кондуктор, стоявший, как в метель, с поднятым от пыли воротником шинели. — Что ж он изделает, когда тормоза не действуют? Не понимает ни черта, а тоже глотку дерет.

— А тут какого-то черта догадало еще крышу полукруглую сделать. Ухватиться не за что.

— Что ж они не могли хоть какие-нибудь держалочки устроить?

— Нешто они об публике думают!..

Впереди показался полустанок. Кондуктор схватился было за тормоз, покрутил несколько времени, потом плонул и махнул рукой. Поезд пролетел мимо платформы. Стоявшие плотной стеной на платформе люди сначала удивленно смотрели, потом стали испуганно махать руками и кричать:

— Стойте, стой! Куда же вы? Нас-то захватите!

— Никак не можем, гайка на отделку развинтилась! — крикнул веселый мужичок. А малый в картузе, подняв вверх руку, точно у него был кнут и он скакал на лошади, кричал во все горло:

— Шпарь, шпарь его! Вот как распатронули!

Поезд, далеко прокатившийся за полустанок, наконец остановился.

— Ну нет, это уж бог с ним, с этим удобством, — сказал человек в бабьей кофте, лежавший на животе около трубы, обхватив ее обеими руками, — лучше уж внизу тесноту потерпеть да живым остаться. А то сейчас чуть-чуть не стряхнуло.

— Да, на крыше хуже, — сказал лохматый мужичок, протирая обеими руками глаза и сплевывая. — Пыль очень, и сердце с непривычки заходится.

— У вас там, у чертей, наверху заходится, а вы попробовали бы тут пошли, повисели, — раздался снизу озлобленный голос бабы с молочным жбаном. — А то расселись там, как господа.

— Ну, вы, что же там ждете? К подъезду, что ли, вам прикажете подавать! — крикнул кондуктор на пасса-

жиров, озадаченно стоявших на платформе полустанка. Те, схватив свои мешки, испуганно бросились к поезду.

— Вот окаянный народ-то, каждому объясняй да еще по шее толкай, а чтоб самим к порядку привыкать, этого — умрешь, не добьешься.

1919



**П**осле описи скота, часть которого потом

отобрали на мясо по разверстке, из города опять приехали какие-то люди и, созвав собрание, объявили, что требуется составить списки на детей дошкольного возраста.

Мужики переглянулись, стоя в темной, закопченной, как баня, школе.

— Это как же?.. Ребят описывать?

— Не описывать, а составить списки, — ответили приезжие.

— Один черт.

— Заезжают... — сказал кто-то сзади. Все беспокойно оглянулись назад.

— То на скотину накинудись, а уж теперь к ребятам подобралась.

— Что ж, ребят, что ль, теперь отбирать будете? — сказал сзади насмешливый голос.

Приезжие, занятые своими бумагами, ничего не ответили.

— Отбирать не отбирать, а теперь чего-нибудь жди.

— Списки составлять так... — сказал один из приезжих, взяв со стола лист бумаги и глядя на него.

Все замолчали, подобралась и тесной толпой подались вперед, как бы боясь пропустить объяснение.

— ...До пятилетнего возраста отдельно, до семилетнего — отдельно. А остальных вовсе не надо. Поняли?

Все стояли молча.

— Впрочем, будем обходить по дворам и записывать на месте, а то нагородите черт знает чего, и не разберетесь потом. Объявляю собрание закрытым.

— А позвольте спросить, на какой предмет необходимости это требуется? — спросил лавочник, член сельского комитета.

— Для отображения сведений на предмет обеспечения, статистики и педагогических целей, а там последуют дальнейшие распоряжения, — сказал человек с листом, не взглянув на лавочника, и стал собирать бумаги со стола, как собирает их судья, только что произнесший приговор, не подлежащий ни кассации, ни апелляции.

— Опять отображение... Когда же это кончится?..

— Можете идти. Ребятишек приготовить сейчас же.

Бабы, выскочив из школы, бросились по выгону к своей улице с таким ошалелым видом, что проезжавшие в телегах мужики, придержав лошадей, испуганно посмотрели вверх и по сторонам, как смотрят при звуке набата.

— Вот очумела и не знаю, куда его девать!.. — слышался бабий голос из одних сенец.

— Да, уж не знаешь, с какого бока укусит.

Не прошло пяти минут, как бабы со съехавшими с голов платками, сталкиваясь на бегу, бросались в избы, волокли что-то оттуда на задворки в руках и под мышками, как вытаскивают добро на пожаре. А из конопляников слышался сплошной вой и плач ребят.

— Идут!..

Бабы бросились из конопляников и, став у порогов изб, тяжело переводя дух, ждали комиссии.

Когда комиссия пришла, сопровождаемая лавочником, и разложила в избе на столе листы, хотела записывать, оказалось, что этот двор бездетный. В следующих дворах тоже не было ни одного ребенка. Попадались, да и то изредка, только более крупные, лет двенадцати-тринадцати.

— Что же, у вас детей ни у кого нету?

— А когда рожать-то было?.. То война была, а то...

— А кто же это у тебя кричит?

— Это у соседки, батюшка...

— Черт знает что, во всей деревне ни у кого ребят нет, а откуда же это крик такой стоит?

— Может, с нижней слободы заплзли, батюшка...

Зашли в крайнюю избу, но в ней на пороге стояла испуганная молодая баба и только твердила:

— Он не годится, батюшка, совсем не годится... Ни рук, ни ног не подымает.

— Кто не годится? Куда не годится?.. Все равно, теперь болен, после поправится...

— Эти, брат, разбирать не будут, — сказал голос из толпы, молчаливо следовавшей за комиссией.

И только у Кузнечихи оказалось целых пять человек. Когда вошла комиссия, она, как сидела на полу, ища в голове у старшего, семилетнего, так и осталась.

— Накрыли... — негромко сказал кто-то.

Записали всех пятерых. Вместо матери возраст показывала молодая соседка, так как сама Кузнечиха не могла выговорить ни одного слова.

— А твои ребята куда делись? — спросил с недоумением лавочник у одной молодки.

Та метнула на него глазами и, показав кулак из-под полы, быстро проговорила:

— У меня не было. Это сестрины были...

— Черт знает что... — сказал лавочник, пожав плечами.

— Тут и мараться-то не из-за чего было, — проговорил приезжий, посмотрев в лист.

Когда комиссия ушла к лавочнику пить чай, в конопляниках опять пошла работа. Одни тащили обратно в избы люльки, другие растерянно бегали по конопляникам, а третьи кричали на них:

— Что по чужим конопям-то шаркаешь!..

— Малого потеряла, вот что!.. О господи батюшка, ведь вот тут около межи положила.

— В кучу надо было складывать, а то поныряли в разные места, теперь сами не найдут. Да конопей сколько, нечистые, потолкут.

— Вот чей-то ребеночек!.. — кричали в одной стороне.

Какая-нибудь баба бросалась туда, но сейчас же, махнув рукой, повертывалась обратно:

— Не мой, мой в красненьком колпачке.

— Расползались все по конопям... Ну, беда чистая...

— Куда тебя нечистый завел?! У, дьяволенок!

— А ты что, вот нашла паю, тогда будешь знать, — говорила другая, ведя за руку мальчишку лет трех, который, скривив рот и загнув к глазам руку, едва успевал за ней.

И только владелицы грудных младенцев несли свой груз спокойно, изредка недовольно оглядываясь на метавшихся соседок.

— Не жизнь, а каторга: то скотину сгоняешь, то ребят прячешь; только и дела, — говорила молодка с грудным.

— У тебя-то что: схватила люльку под мышку и айда с ней. А вот пойди, повертись: двое на руках, двое за подол держатся, да одного еще потеряла.

— Нет, все-таки ловко обернули. Это после скотской описи образовались. В пять минут.

— Это еще не сразу смекнули, а то бы...

Все были довольны. Только Кузнечиха сидела у водовозки на траве и голосила в голос: сколько ребят было, столько и записала, захватили с поличным. Около нее стояли в кружок и смотрели на нее.

— Другой раз будет остерегаться. А то нарожала целую кучу, думает, так и надо... Нет, брат, прошло время.

— Попала баба ни за что, — сказал кто-то.

— Но сказать по совести, все-таки с ребятами не в пример легче, чем со скотиной. Эти хоть расползлись, не велика беда, а когда годовалого бычка, бывало, тащишь на веревке, а он тебя под зад двинет, аж глаза на лоб выскакивают.

— С ребятами много способней.

— Тогда все-таки много скотины побрали.

— Врасплох налетают, нешто сразу сообразишься. На улице показался лавочник.

— Все, кто записал ребят, в субботу идите в город.

Все невольно оглянулись на Кузнечиху.

— А что там будет?..

— Обеспечение получать на семилеток, одежду, обузу...

Некоторое время все молчали. Наконец кто-то раздраженно плюнул и сказал:

— Вот жизнь-то окайнная, ну никак не угадаешь.

А Кузнечиху уж снова обступили и завидовали ей: «Одна из всей деревни не ошиблась».



# Крепкий народ

Эпоха 20-го года

**П**оследние сто верст поезд шел целых

трое суток. Пассажиров то выгоняли за дровами, то заставляли идти пешком на подъемах.

Народ был набит везде: на лавках, на полу, под лавками, в уборных, на площадках, на крышах.

В последнем вагоне сидел какой-то смешливый парень, который все время что-то рассказывал, а рядом с ним — человек, мучившийся желанием курить. Табак у него был, а спичек во всем вагоне не было ни у кого.

— Ведь это что ж, мои матушки, когда же мы домой-то приедем! — сказал он.

— Поспеешь.

— Курить до смерти хочется. Пешком бы пошел, да мешки эти окаянные!

— Не расстраивай компании, — сказал веселый малый. — А мы прошлый раз из Харькова ехали, муку везли, вот горя-то хватило. Приехали на одну станцию, там не пускают в вагон, солдаты едут, так мы трое суток высидели, а потом по шпалам до узловой, а тут дождь... Как замесилась у нас эта мука!.. Мокрые все, как черти, и на спине тесто волокем. Смех, ей-богу!.. Так тесто и привезли.

— Братцы, нет ли спичек у кого?

— Нету. Уж десятый раз спрашиваешь. И так от духоты умираешь.

На крыше вагона послышалась какая-то странная возня.

— Вот кого пробирает-то, мать честная, — сказал неселый парень, засмеявшись и показав пальцем на потолок, — эти не задохнутся...

— Воздуху много...

Возня на крыше продолжалась, потом послышался треск, как будто выламывали что-то.

— Матушки, уж не жулики ли забрались! — сказал бабий голос откуда-то из угла.

— Эй, что вы там беспокоитесь? Ай сидеть неловко?..

— Зазябли дюже, чайничком погреться, — сказал совершенно явственно голос сверху, так что все даже удивленно подняли вверх головы.

Через минуту вдруг кто-то вскрикнул, точно его ущипнули. А мужичок, глодавший корочку хлеба, испуганно схватился за волосы и удивленно посмотрел вверх.

— Что ты? Ай муха укусила? — спросил веселый парень.

— Муха... Чтой-то с потолка.

Еще один вскочил и тоже схватился за макушку, в испуге нагнувшись, стал ожесточенно вытряхивать что-то из волос, как вытряхивают запутавшуюся пчелу.

— Что за черт, огонь!.. Откуда ж это?

Вдруг с потолка посыпался целый столб искр. Все, давя друг друга, шарахнулись в стороны.

— Куда вы! Ай очумели. Баба, ты мне совсем на колени села.

— Прижечь тебя вот так-то, куда угодно сядешь. Огонь, не видишь!

— Ну что ж, что огонь. Значит, так и будешь теперь на мне сидеть?

— Мать честная, как сгорим все, вот будет потеха-то! — сказал парень. — Ну, как ни поедешь, все что-нибудь да выйдет.

Все, нажимая друг на друга, старались держаться подальше от того места, куда падали искры. Только человек, хотевший курить, стоял с сигаркой и с надеждой и ожиданием смотрел на потолок.

— Топить, что ли, стали?..

— Нешто на крыше топят?.. И кому теперь топить.

Искры перестали сыпаться. Все на минуту успокоились. Поезд, скрипя, медленно двигался вперед. Потом остановился на минуту и опять тронулся.

— Ну, ну, батюшка, налегни еще раз, — говорил старушечий голос откуда-то из-под лавки.

— До последнего издыхания, можно сказать, работаем, — сказал веселый парень, — трое суток вот так едем, а я еще на гармошке сыграть могу.

— Народ крепкий...

— Мы с фронту когда ехали, думали — не доберемся живыми, уж и на вагоне и под вагонами ехали. А потом сунулись в один поезд, а там белые сидели... Спасибо, на хорошего человека наткнулись: двинул нам по шее два раза и больше ничего. Отпустили.

— О, чтоб тебе!.. Опять посыпалось.

— Да что они там? Постучи-ка в потолок.

Молодой красноармеец, лежавший на верхней полке для вещей, перевернулся на спину и стал каблуками колотить в потолок.

— Чего вы там?.. — послышалось с крыши.

— Чтой-то от вас огонь сыплется?

— О! А мы думали — там закрыто. Поверни ручку.

— Ах, черт, что делают! — сказал красноармеец.

— Что они там?

— Да вентилятор выломали и огонь развели, чайник в нем кипятят.

— Эй, вы что, сдурели, что ли, — еще сожжете всех! — закричали в вагоне.

— Ничего... А то холодно дуже, сил никаких нет.

— Идите чай пить, — крикнул с крыши другой голос.

— Чай пить... Вот вагон спалишь, вот тебе будет чай. И как черт их пригадал над нашим местом... А податься некуда. Баба, ты мне скоро на голову сядешь!

Остальные пассажиры, на которых искры не падали, спокойно сидели и смотрели на потолок.

— Нельзя ли огоньку у вас там? — крикнул человек, хотевший курить.

— Обходи с парадного ходу...

— Эй, дядя, дядя, горишь! — крикнули мужику, у которого, спасаясь от искр, сидела баба на коленях.

Мужик испуганно спихнул бабу с колен.

— Ой, мать честная!.. Вот, домовой, уселась, — черт из нее портки прожег.

— Постой, голубчик, не туши, дай прикурить, ради Христа!..

— Что ты, очумел, что ли, — от живого человека прикуривать хочешь!

— Посиди целый день не куримши, так от мертвого прикуришь.

Поезд уже тащился едва-едва и все время дергал, отчего пассажиры каждую минуту кланялись.

— Тетка, что ж не крестишься? — спросил веселый парень.

— Зачем?

— Что ж зря-то кланяться? Заодно бы уж и помолилась.

— Год назад говорили, что пяти месяцев не выдержим, всему крышка будет: дороги станут, народ перемрет, — сказал человек в чуйке, — нет, все еще ползаем.

— Отчего так?

— Народ крепкий.

Поезд вдруг рванул, как бы из последних сил, и остановился.

— ...Кончился... — сказал кто-то.

В дверь вошел человек, обвязанный башлыком, и сказал:

— Вылезайте к черту, дальше не пойдет.

— Как не пойдет! А куда приехали-то?

— Черт ее знает. Никуда не приехали. Дров опять нету.

Все стали вылезать.

— Эй, ты! — закричали машинисту. — Куда у тебя дрова деваются? С маслом, что ли, их ешь?

— С маслом... Накидают хворосту и вези их.

На крыше сидели занесенные снегом, обвязанные башлыками, платками, тряпками люди.

— Чайку-то нам не оставили? — крикнул веселый парень. — Идите-ка поразмяться, дровец потаскать.

Поезд стоял около леса. Начинало темнеть. Поднимался ветер, и среди снежной пустыни слышался только жидкий шум от ветра в высоких соснах.

— Какие тут, к черту, дрова, что ж мы, ему по палочке, что ли, собирать будем? Около деревень, а не около лесу надо останавливаться.

— Мы тоже так-то помучались. Сторожка подвернулась, всю и разобрали. Смеху что было!

— Вот небось хозяин-то пришел домой щец похлебать...

— Смех смехом, а вот как застрянем, еще подохнем тут с голоду.

— Ничего. Зато сами хозяева: воду наливаем, дрова собираем, машинист у нас — малый хороший, — сказал парень и крикнул машинисту: — Эй, дядя, лошадь-то твою поить еще не скоро? А то там на крыше чайник горячий есть.

— Ну, сыпь, сыпь за дровами... Мать честная, ну и снег! — сказал красноармеец, бросаясь с насыпи и увязая почти по пояс.

— Мягче работать! — крикнул парень, бросаясь вслед за красноармейцем. — Держись организованно!

— Так-то вот на фронте пришлось дрова собирать, а мы, братец ты мой, рваные были, кто в чем; как начали нас стрекать откуда-то из пулемета, мы целую ночь в снегу и пролежали, потом встали — у кого нога отморожена, у кого — рука. Потом подкрепление подошло, мы как двинули их!.. Командир наш валенки в снегу увязил — так босиком как пустится вдогонку! Смеху что было!..

— Нашел! — крикнул кто-то в лесу.

В лесу оказались напиленные и сложенные в казаки дрова. Все стали длинной вереницей таскать их к паровозу.

— Дядя, прикурил теперь? — спросил веселый парень.

— Прикурил...

— Ты бы в карман огоньку-то с собою взял... да сел бы поближе к паровозу.

Какой-то мужик в лапотках и разорванном армяке, только что принесший свою охапку, стоял перед паровозом и говорил машинисту:

— Ты под горку-то хоть когда поедешь, не топи, а то палишь небось всюю...

— Учи еще... Что ж ты палок каких-то приволок! — крикнул машинист на другого. — Вот и вози их тут, чертей.

— Сгорят...

— Ну, садись, садись, едем! — крикнул машинист, нысунувшись и поглядев назад вдоль поезда.

Пассажиры бросились в вагоны и на крыши.

— Чайник-то долили? — крикнул парень на крышу.

— Долили... Вас бы вот около него погреться послать, — сказал недовольно человек в нагольном тулупе, усаживаясь спиной к трубе.

— Когда-нибудь дойдет черед и до нас. Когда под мосты проезжать будете, поклониться не забудьте. А то намерен приехал поезд на станцию, троих с крыши сняли, — сами тут, а голов нету. Смех, ей-богу. Под мостом проезжали да зазевались, ну и сняло.

— Сам стронешься? Или подпихнуть?

— Садись, садись, — недовольно отозвался машинист, — и когда этот чертов народ уходится только.

— Под горку-то не топи, — озабоченно крикнул из окна мужичок в рваном армяке.

— Ежели такая музыка еще года два пройдет, неужто живы будем, не подохнем?

— А то что ж. Нам только попривыкнуть маленько, а там ничего... Вишь вон... — сказал солдат, обвязанный башлыком, указав на парня, который, уперши одну руку в бок, а другую лихо закинув за затылок, выплясывал перед пожилой женщиной, сидевшей на мешке. — Его пополам разрежь, а он все плясать будет.

— Да что ты, домовой, одурел, что ли! — крикнула женщина, когда парень наступил ей на ногу. — Тут плакать впору, а он...

— Тетка, не падай духом... Эй, небесные жители! Разводи огонь, кипяти чайник!

[1920]

# Рябая корова

Когда делили помещичий скот,

то прежде всего решили наделить беднейших.

Степан, выбранный в комитет за то, что у него была душа хорошая, казалось, торжествовал свою давнюю мечту. Он ходил как именинник, возбужденно-радостный и улыбающийся. Все остальные мужички вполне согласились. У них было такое выражение, как будто они только затем и брали, чтобы отдать тем, кто нуждается.

Беднейшие были тоже за то, чтобы их наделить коровами.

Против были только те, у кого и своих коров было много: прасол, огородник да еще, очевидно, Иван Никитич, хозяйственный, аккуратный мужичок. Он хоть и не выражал прямо своего мнения, так как всегда был осторожен, но видно было по всему, что он не одобряет общего настроения.

Но их было такое ничтожное меньшинство, что на них никто и не обращал внимания.

— Предлагаю даром скотину не раздавать, а положить плату, — сказал, выйдя на середину, лавочник.

— А деньги куда пойдут? — спросил голос из толпы.

— Деньги положим в комитет. Будем составлять общественный фонд для потребления всех граждан, — ответил лавочник и отошел в сторону, как окончивший свое дело.

Все переглядывались и не знали, что сказать, ожидая решения от того, кто выскажется первым.

— Что ж, вали, — сказал Федор, отличавшийся хорошим характером и прежде всех всегда соглашавшийся со всяким предложением, каково бы оно ни было.

— А по многу на каждого придется? — спросил молчавший все время Иван Никитич, свертывая папироску.

— Чего придется? — спросил возбужденно-нетерпеливый Степан.

Иван Никитич не сумел объяснить, что он разумел под своим вопросом, и молчал.

— Вали, — сказали остальные, кроме прасола и огородника, которые сидели в сторонке на бревнах и, пощипывая бороды, смотрели на облака, как будто совсем не интересуясь этим вопросом.

— Кто за то, чтобы наделить беднейших? — крикнул Степан.

Все, кроме прасола, огородника и Ивана Никитича, подняли руки.

Причем Иван Никитич сделал было тоже движение поднять, но какое-то неопределенное, так что можно было подумать, что он поднимает руку, и то, что он хочет почесать в голове.

— Большинство за то, чтобы наделить. Кто против? Против не поднялось ни одной руки.

— Кто воздержался?

Тоже ни одной руки.

— Принято единогласно, — сказал поспешно Степан, точно боясь, как бы не передумали.

Подошел еще народ, и все отправились в усадьбу делить.

Степан шел впереди, за ним лавочник со счетами, потом беднейшие, за беднейшими средние мужики, а в самом хвосте — приятели, длинный молчаливый Сидор и маленький Афоня.

Вывели первую корову. Досталась беднейшему Захару Алексеичу.

— Веди, брат. Помогай бог. Дешево досталась.

— Вот эта бы на молоко хороша была, — сказал про себя прасол.

— Ежели кормить хорошо, — сказал огородник. — А разве он ее прокормит?

— Граждане, не ваше дело. Отходи, не мешайся.

— Мы и не мешаем. А промеж себя говорить ты нам запретить не можешь.

Вторая корова досталась Котихе, тощей, грязной бабе.

— Вот эта на мясо бы в самый раз.



— Граждане, не говори под руку, — крикнул Степан, когда заметил, что после слов прасола глаза всех оглядывались более внимательно на коров.

Когда вывели третью корову, подбежали, запыхавшись, чужой мужик и две бабы.

— Голубчики... — только и могли выговорить бабы, не зная, на каких коров смотреть, на тех, что выводили из закут, или на тех, что уводили со двора.

На них оглянулись.

— Чьи вы?

— Молчановские.

— Что вам?

Бабы или не смогли ответить, или не тем были заняты: их глаза были прикованы к выведенной рябой корове с огромным выменем. Одна из баб подбежала и начала торопливо щупать корову, не глядя ни на кого.

— Ай, батюшки, а хороша-то... Голубчики...

— Что ты, ай очумела?

— Да чего вам надо-то? — спросил Андрюшка-солдат, оттащив бабу сзади за хвост от коровы.

— Слышь, что ли... говори.

— Закостенела...

— Коровку нам... — сказала другая.

— Не надо ли еще чего?..

— Овцу надо, — быстро сказала баба, которую Андрюшка все еще держал за хвост шубы.

— Сразу дар языка вернулся. Вот дать тебе под хвост хорошую, не будешь в чужой огород лезть, — сказал, не выдержав, прасол, вступая в круг.

— Товарищ, не выражайся, — сказал Степан, — у нас теперь нет чужого, все общее.

Огородник только посмотрел на него со своего бревна.

— Общее-то общее, — негромко сказал Иван Никитич, — а попадет все одним, а у других мимо рта проплывает.

— Ты чьей волости? — спросил вдруг недавно подошедший Николай-сапожник, председатель комитета.

— Да вашей же волости. Мы — молчановские.

Николай спросил так значительно, что на него все оглянулись.

— Вы беднейшие или нет? — спросил он с таким выражением, с каким врач спрашивает больного, есть у него жар или нет.

Та баба, которую держал Андрюшка, отмахнулась от него и распахнула полушубок обеими руками, так что треснули крючки.

— Вишь? Во те крест!.. — и оглянулась, ища, не видно ли тут где церкви.

Под шубой никто не увидел ничего особенного, и неизвестно было, зачем она распахнулась. Но этот жест, видимо, всех убедил в чем-то.

— Придется дать... — сказал Николай. И он, сплюнув, отвернулся.

Все озадаченно посмотрели на него.

— Что ж, вали, — сказал Федор. — Ежели бы не нужно, не просили бы.

— Ну, вали, — сказали остальные.

— Запиши их в книгу.

Бабы увели рябую корову. Иван Никитич долго смотрел ей вслед. Другие тоже посмотрели.

— А рябая корова-то хороша, — сказал как бы про себя Иван Никитич.

— Да... — согласился кто-то. — Теперь во сне всю ночь будет сниться.

— С таким выем за корову 300 целковых можно взять, — сказал прасол и сплюнул.

— Черт их подвернул под руку.

— И не видно, откуда зашли.

— Вон откуда, от поповой риги шли, — сказал Николай-сапожник.

Все посмотрели по направлению к поповой риге.

— Поплыли наши коровушки, — сказал чей-то голос.

— Подожди, поплывет и хлебушек.

— Хлебушек, говорят, тоже поплывет, — сказал Афоня Сидору.

— Это пойдите вы к черту, — крикнул вдруг прасол. — Дурачкам дай волю, они всех по миру пустят. Ведь корова-то молочная, а вы ее кому даете? Что ж он, ее доить, что ль, будет?

Все посмотрели на корову.

— Что это за порядок такой, что одному дают, а все, которые прочие, без ничего остаются? — сказал Иван Никитич. — Ведь ежели бы ее зарезать да разделить?..

— Только и разговору, что об этих беднейших, — сказал огородник. — Еще чертей навязали на шею, скоро их обувать, одевать заставят.

— Какой это дурак выдумал? Поровну надо все делить.

— Граждане! — сказал лавочник, — Постановлено на общем собрании. И отменить постановление может только общее собрание.

— Собирай собрание, — закричал прасол. — Мы их сейчас...

— Что же тебе собирать, когда все налицо!

— Вопрос ставится на голосование, — сказал лавочник. — Кто за то, чтобы...

Сзади поднялось несколько рук. Лавочник посмотрел на них и остановился.

— Еще ничего не сказано, а вы руки тянете! Опустите сейчас.

— Ох, поскорей бы уж, — сказал бабий голос.

— Кто за то, чтобы дать беднейшим?.. — крикнул лавочник.

Несколько рук, не разобравшись, взвились кверху, но сейчас же опустились опять.

— На людей гляди! — сердито сказал прасол, посмотрев в их сторону.

— Теперь надо самому беднейшему. Андрея Грюна надо наделить. Деньги можешь заплатить?

— Какие ж у меня деньги, — сказал тощий разутый Андрей, — вот оно вишь... — И он тоже, как та баба, распахнул свой рваный кафтанишко.

Все переглянулись и, не зная, что сказать, молчали.

— После заплатишь, — сказал Степан, махнув рукой.

— Известное дело, — согласился Федор, — что с бедного сейчас брать?

— Успеет еще, — сказали другие голоса.

Чем больше выводили коров, тем больше оживлялся Степан.

— Нам бы только беднейших поставить на ноги, — говорил он суетливо.

— Беднейших на ноги хотят поставить, — сказал негромко маленький Афоня Сидору, с которым они стояли в стороне молча.

— Кто за то, чтобы беднейшим... не давать? — крикнул лавочник.

Сразу вырос целый лес рук.

— Эй, бабы, по две руки не поднимать! — крикнул лавочник.

— Это я за свекра.

— А вы-то чего поднимаете? — спросили у беднейших, которые тоже подняли руки.

Те нерешительно опустили руки.

— Нам, стало быть, не надо?

— Не надо.

— Принято большинством! — сказал лавочник и махнул рукой.

— А нам-то куда теперь? — спросил Андрей Горюн, подойдя к прасолу.

— Вам куда? К чертовой матери, вот куда, — ответил прасол.

— К чертовой матери послали, — сказал Афоня Сидору.

[1920]

## Зеленая армия или умные командиры

На вокзале играла музыка и развевались

красные знамена — отправляли поезд на фронт. Только что кончились речи комиссаров, призывавших к стойкой защите молодой свободы, и был дан свисток к посадке.

В последнем товарном вагоне сидели у раздвинутой двери три солдата: один — бородатый, с ленивым и унылым видом, куривший и сплевывавший за дверь, другой — добродушный, круглолицый, в старой шинели без крючков, перехваченной ремнем из сыромятной кожи с железной пряжкой. Он с улыбкой оглядывался на всякого, кто к нему обращался. Третий был молоденький солдатик в рваном картузе, перевернутом козырьком назад, только что сбегавший за кипятком.

Потом к ним подсел железнодорожный машинист с корзиночкой, заложенной вместо замка палочкой.

Паровоз протяжно загудел. К вагонам подошли солдаты с ружьями и начали закрывать двери.

— Ну-ка, убирай ноги-то, двери закрывать велено.

— Что тебе закрывать? — сказал молоденький солдатик, споласкивающий кружку для чая.

— Двери, что...

— Коли надо будет, сами запрем.

— Не «коли надо будет», а сейчас велено. Ты что, иностранец, что ли, порядков не знаешь? Принимай ноги к черту.

И с шумом задвинул широкую дверь, заложив пробоем снаружи.

— Вот черти-то, — сказал молоденький солдатик, которому едва не прихватило дверью ноги, — что это они уродничают-то?

— Нет, это уж теперь порядок такой, — отозвался круглолицый, — сначала было отправляли не запи-

рамши, только речи эти перед отправкой поговорят, музыка проиграет — и пошел. А потом получилось неудовольствие: на место, бывало, приедут, хватятся — командиры и комиссары тут, а солдат половины нету.

— Разбегались? — спросил молоденький.

— Разбегались.

— Небось шумели, когда запирать-то стали?

— О, спаси, царица небесная! А потом комиссары пришли и говорят: «Это мы не из-за вас, а из-за несознательных элементов запираем». Ну, утомонились, а потом привыкли, и горя мало, как будто так и надо.

— Привычка — первое дело.

— Да что они рано заперли-то? Скушно сидеть, когда поезд стоит. Эй, вы, черти, отоприте! — закричал молоденький солдатик, стуча в дверь рваным башмаком, который надевался у него, как калоша.

— Сиди, сиди там, — слышались снаружи голоса проходивших по платформе людей. — Зеленые, что ли?

— Да.

— На фронт?

— Ну да.

— Ну и сиди-знай, выпустят, когда надо.

— Это с непривычки темно, а полчаса просидишь, обтерпишься и ничего. Вон и так уж видно стало, — сказал круглолицый. — А на больших станциях выпускают. Ну, конечно, присматривают. Я уж из третьего места еду. Сейчас из Воронежа.

— Выпускают? Это хорошо. Я главное дело насчет харчей, а то хлеба дюже мало купил.

Все помолчали.

— А вы откуда? — спросил круглолицый у борода-того.

— Мы сейчас прямо из лесу. После мобилизации почесть всей деревней сидели.

— Уговаривать, небось, приезжали?

— А как же. И из уезда, и из губернии. Все свободы, говорят, потеряете.

— Вот-вот, это первое дело, — сказал, улыбаясь, круглолицый. — Ну, а вы что же?

— Что же мы... Известно что — к чертовой матери. Шкура дороже свободы.

— Это первое дело, чтобы народ согласный был, сознательный, а не вразброд.

— Да... А только тут и эта сознательность не помогла, — сказал бородатый, почесав спину. — Они, домовой их задуши, с другого конца обошли: «Вот вам, говорят, неделя сроку; если свободу защищать не пойдете, всех ваших поросят отберем». А у нас в деревне свиней много.

— Ну, вы что же?

— Что же, вот и поперли все.

— Добровольно?

— А то как же еще.

— Попрошь, когда до поросят добираются, — сказал молоденький.

— А хорошо в Воронеже-то было?

— Хорошо, — отвечал круглолицый, выплескивая чай из кружки на пыльный пол, — харчи были хорошие, хлеба давали вволю. А не знавши, до этого тоже не хуже вас в лесу сидели.

— Командиры, значит, умные попались, вот и харчи хорошие были, — отозвался бородатый, уныло оглядывая светившиеся в стенах щели.

— А кашу давали? — спросил молоденький.

— И кашу давали. Мы требовали. Народ все подобрался вот не хуже вашего, дружный, сознательный, как чуть порции убавят, так все, как один человек, поднимается.

— Солидарные были? — спросил молчавший в стороне машинист.

— Чего?

— Солидарны, говорю, были, организованы?

Никто ничего не ответил.

— Это покамест тут, по городам, стоишь — сыт, а на фронте, пожалуй, наголодуешься за мое почтение, — сказал бородатый, лениво почесав черную волосатую руку.

— Нет, на какой фронт попадешь, да ежели командиры умные попадутся, насчет харчей не беспокойся.

— А на каком фронте положение сейчас плохо? — спросил машинист, сняв для прохлады фуражку и покачивая ею между колен.

— Особо плохого нигде нет. Конечно, насчет харчей спервоначалу лучше восточного не было. Когда у белых стояли, там одной баранины было столько, что собакам половину вываливали, а потом кур, поросят пошли чистить — что попадется, то и лупи.

— Где брали? — спросил машинист.

— Где... где берут-то?... — сказал недовольно молоденький солдатик, охладев в своем возбуждении.

Все промолчали, недовольно оглянувшись на спрашивавшего, как на человека из чужой среды.

— Это, значит, вроде как мы, когда в 1914 году набег на Германию делали?

— Одинаково.

— Эх, лучше западного фронту не было. Уж и поелись мы там, мать честная! Сколько опосля ни воевали, ну прямо — никуда не сравнить. Нигде таких харчей не было. Скотина разведена такая, что и во сне этого не увидишь. Овощи всякой полны огороды. В домах не по-нашему — свиньи да телята, а чисто и музыка есть.

— Вот бы куда попасть-то!

— Да... А командир у нас умница был. Вот, говорит, ребята, даровую науку заграничную можете произойти. Есть чему поучиться, на что посмотреть.

— Есть? — переспросил молоденький, жадно слушая.

— Да. И спервоначала ничего почесть не трогали. Ну, прямо руки не налегали.

— Что за причина?..

— С непривычки, — сказал бородатый.

— А потом осмелели, как дорвались, как пошли чистить этих коров да свиней тридцатипудовых, только шерсть летит.

— Сразу науку произошли! — воскликнул молоденький. — Ах, здорово! На много хватило?

— Нет, на месяц. А когда после нас Орловский полк пришел стоять, чуть с голоду не подошли, вроде, говорят, как в пустыню попали.

— На свежие места всегда надо ладиться.



— Первое дело.

— Вот на южном тоже хорошо было, когда в первый раз туда гоняли. Сахару сколько давали! Наши все туда зарились. Но, правду сказать, народу там полегло до ужаси.

— Да это уж что там... без этого нельзя.

Все помолчали.

— А там кто бьет-то? — спросил машинист.

— Чего?

— Кто, говорю, бьет, против кого сражались?

— Сражались-то?.. А бог ее знает, мало ли там, — отвечал круглолицый. — Иные по целому пуду сахара оттуда с собой привезли.

— И не разбегались?

— Нет.

— Командиры, значит, дельные были, воодушевить умели?

— Чего?

— Командиры, значит, говорю, умные были.

— Вот, братец ты мой, какие умные были, ну просто... Как только сурьезное время подходит — в наступление иттить, — так сейчас двойную порцию. Сахару-то по куску дают, а тут — по четыре.

— Вот это, значит, головы, народ понимают.

— У нас насчет этого сахару тоже вышло дело, — проговорил молоденький. — Сперва по два куска на день выдавали, а потом вовсе отменили. А тут подошло наступление, самое сурьезное: либо мы их, либо они нас. А народ у нас тогда подобрался тоже дружный, сознательный, все из лесу были — бородачи! Не пойдем, кричим, давай сахару!

— Без сахару и хорошие харчи доброго слова не стоят, — сказал бородатый.

— Да, не пойдем да и только. Тут прискакали коммиссары, давай речи говорить: свобода, мол, гибнет, помещики опять на шею сядут. А мы — свое: давай сахару!

— Ах, здорово. Дружный народ!

— Народ на редкость подобрался дружный, особенно насчет харчей. Прямо не подходит. Поговорили, поговорили — ни черта. Так и уехали. Смотрим, скачет

сам старый командир. Умница был... Ну, думаем, сейчас распекать начнет — десятого под расстрел. Что ж ты думаешь?.. Стал на бревно, обвел всех глазами и говорит: «Я, говорит, знаю, товарищи, что все вы доблестные защитники свободной страны и так как цените свободу больше всего, то с радостью, говорит, пойдете защищать ее от всех поработителей. А насчет сахара не беспокойтесь: я уж приказал не только не отменять, а еще по лишнему куску выдавать. И мяса, это особо.».

— А! Скажи пожалуйста! Тут, небось, ура! — сказал, растроганно улыбаясь, круглолицый.

— Что тут было!.. На руках понесли. Гимн!.. — сказал молоденький, взмахнув руками и взявшись за затылок.

— Человек с головой, вот и понесли на руках.

Поезд остановился.

— Эй, вы, черти, целы, что ль, там? — слышался голос снаружи.

— Заперли, так поневоле цел будешь...

— Ну, на следующей станции кормежка и табак с сахаром выдавать будут.

— О, черт! Вот здорово-то! — крикнул, подпрыгнув, молоденький.

— К умному попали, — сказал бородатый, — у такого не разбегутся, хоть без замка отправляй. — И стал смотреть в щелочку одним глазом.

— Да... ум-то нужен не только, чтоб на фронте держать, а чтоб до фронта еще доставить.

— А как же. Вот у нас был один командир, ох и мастер насчет этой доставки. Сколь же он нашего брата на фронт перетаскал. В лес к нам приходил один, не боялся. Придет, папирос, табаку на опушке разложит — подходи, православный народ. Пойдешь, бывало, поговоришь, человек хороший, одежда, обуза, ну и пойдешь за ним. А там на станции покормят хорошенько и прямо марш под замок добровольцем, и дальше. И все вот таким манером, на запоре, когда этого еще и в заводе не было. Иные, бывало, и речи там и все, а он, первое дело, глядел, чтобы перед отправкой всего нам вдоволь: харчей хороших, табаку.

Но зато уж из-под замка никуда. Бывало, дорогой на станции подойдет и крикнет в дверь:

— Сыти?

— Сыти, — кричим, сразу по голосу его узнавали.

— Ничего больше не надо?

— Ничего, — кричим. И любили ж его, страсть!

— Умный человек, дело хорошо понимать может, вот и любили, — сказал бородатый.

[1920]



# Нераспорядительный народ

**Какой-то человек в картузе и с плетеной**

сумкой, с которыми ходят на базар за провизией, подошел к запертому магазину. Загородившись ладонями, чтобы не отсвечивало, он постучал в грязное запыленное окно, пробитое пулей и заделанное деревянной нащепкой.

Из двери выглянул другой человек, в кожаной куртке, и сказал:

— Подожди немножко, пианино кончу чистить, тогда вместе пойдем.

Дверь опять закрылась, человек с сумкой остался ждать и, поставив сумочку на порог, стал свертывать папироску.

Шедшая по другой стороне улицы старушка с веревочной сеткой, в которой у нее болталось несколько морковок, увидев стоявшего перед магазином человека, вдруг остановилась, посмотрела на вывеску, потом по сторонам на другие вывески и торопливо, точно боясь, как бы ее не опередили, пробежала через улицу. Присмотревшись из-под руки на человека, стоявшего у магазина, она пристроилась стоять сзади него с своей морковью.

— Давно стоишь, батюшка?

— Нет, сейчас только пришел, — ответил неохотно и недовольно мужчина.

Старушка хотела еще что-то спросить, но только посмотрела и не решилась.

— О, господи батюшка, вот до чего довели, ничего-то нигде нету. Бегаешь, бегаешь от одной очереди к другой. Вчера шла так-то мимо одной, не стала, а там, говорят, мыло выдавали. Сейчас уж бегом бежала.

— Теперь становись, не зевай, — сказал какой-то старичок с трубкой, подошедший вслед за старушкой.

— Вот то-то и дело-то... Вишь, двух минут не просто-яли, а уж трое набежали. Вот и четвертый.

— Теперь пойдут.

— Что выдавать-то будут?

— Сами еще не знаем.

— Что-нибудь выдадут. Зря не стали бы народ собирать.

Прибежала какая-то растрепанная женщина с мешком из дома напротив. Она хотела было занять пятое место, но проходившие мимо двое мужчин опередили ее.

— Набирается народ-то.

— Наберутся... вчерась около нашей лавки до самого бульвару протянулись. Последним даже товару не хватило.

— Вот из-за этого-то больше всего и боишься.

— На что очередь? — спросила, запыхавшись, полная дама в шляпе.

На нее недоброжелательно посмотрели. Никто ничего не ответил.

— А ты, матушка, становись лучше, а то покуда будешь расспрашивать, другие заместо тебя станут, а под конец попадешь и не достанется ничего.

— Спрашивает, ровно начальство какое... — проворчала про себя растрепанная женщина, — люди раньше пришли — молчат, а этой сейчас объявляй.

— Вот видишь, я и правду говорил, — заметил старичок, когда вслед за дамой встали еще три человека.

Пришедший раньше всех мужчина с сумкой оглянулся на выстроившихся сзади него и спросил:

— На что стоите-то? Что выдавать-то будут?

— Бог ее знает, — ответил старичок, — там объявят.

Мужчина с сумкой посмотрел на старичка, ничего не сказал и, повернувшись, приложился к замочной щелчке и посмотрел внутрь магазина.

— Вот это так — «сейчас», — сказал он сам с собой, посмотрев на часы, — уж двадцать минут прошло.

— Теперь, батюшка, везде так-то долго.

— Что вы весь тротуар-то загородили — через вас, что ли, ходить, — кричали прохожие, набежав на очередь, и озадаченно останавливались.

— А куда ж нам деваться?

— Куда... по стенке становись, а то, вишь, всю улицу заняли.

— О, господи батюшка, и откуда ж это столько народу берется?

— Прямо как чутье какое.

— Один узнал, а за ним и все идут. — сказал старичок.

— Какие это умники выдумали. Бывало, пошел, купил что надо, и никаких. А теперь стоим, а зачем стоим, неизвестно. Когда отойдут, тоже никто не знает.

— Ай спросить пойтить.

— От этого скорей не будет.

— Нет, ежели надоедать начнут, все, может, поскорей повернутся.

— Раз в какой час положено, в такой и отпирать будут.

— А в какой положено-то?

— Я почему знаю, что ты ко мне пристал?

— Эй, ты, дядя передний, спроси-ка, когда отпустить нас начнут, у самой двери ведь стоишь.

— Мне-то какое дело. — сказал тот угрюмо. — вам нужно, вы и спрашивайте.

— Вот черти-то, для себя не могут постараться. Будет стоять два часа, а пойтить спросить толком — силком не прогонишь. А ведь раньше всех приперся.

— Что ж, ему бы только пораньше местечко захватить.

— И чего, окаянные, в самом деле измываются над народом, соберут с утра, а выдавать к обеду начинают.

— Не напирайте там, что вы очередь-то спутали, теперь и неизвестно, где кто стоял.

— Нарочно путают. Ведь теперь задние наперед пролезут.

— Списки бы надо делать или еще как. А то, вишь, народа набилось сколько, разве уследишь, кто где стоял. Раз знают, что народа в этом месте много, значит, надо списки какие-нибудь или еще как.

Подбежала какая-то запыхавшаяся женщина, вся исписанная меловыми цифрами: на спине стояла большая цифра пять, а на груди и на рукавах другие цифры.

На нее все молча посмотрели. Только барыня посторонилась и, отряхнув рукав, сказала: «Пожалуйста, не прислоняйтесь».

— Не начали еще выдавать? — спросила женщина.

— Нет...

— А вы что ж, не меченные стоите?

— Нет.

— Новый магазин, значит. Мы сначала тоже путались, до драк доходило. А теперь заведующий прямо выходит и подряд на всех проставляет. В одной очереди пометили, в другую идешь.

— Сейчас устроим, — сказал какой-то здоровенный малый, вынув из кармана штанов кусок мела. — Без заведующего управимся.

— Спасибо, умный человек нашелся. Покрупней, батюшка, ставь.

— В лучшем виде будет; получай, — сказал малый, выводя у старухи во всю спину цифру 20.

— Сразу дело веселей пошло.

— Как же можно, порядок.

— Что ж это тебя размалевали-то так? — спросил старичок у женщины с цифрами.

— Это у меня на сахар, пятнадцатым номером иду, это на керосин десятый вышел, это на мануфактуру... — говорила женщина, глядя себе на грудь и водя по цифрам пальцем. — Господи, как бы по этому номеру не пропустить.

— Ну, где ж тебе написать, когда на тебе живого места нету, — сказал малый, подходя с мелом к женщине.

— А на спине, батюшка, местечка не осталось?

— Спина — свободная.

— Ну пиши, родимый, там.

— Если бы заведующие-то были с головами, — сказала дама в шляпе, — распределили бы как-нибудь по алфавиту, каждый бы свое время и знал, не метили бы, как арестантов, мелом и не стояли бы целыми часами.

— Опять не понравилось, — сказала растрепанная женщина, подставляя свою спину малому и недоброжелательно из-под низу выглядывая на даму в шляпе.

— Ждать не привыкли, — сказал из толпы насмешливый голос.

— Тут в одной кофтенке стоишь, жмешься и то ничего не говоришь, а она целый магазин на себя напятила и то уж ножки простудила.

— Куда вы, черт вас... Дугой на середку улицы выперли... Отвечай за вас! — крикнул солдат с ружьем. — Так вот прикладом и поддам. На что стоите-то? — спросил он, посмотрев на вывеску магазина.

Все только молча испуганно оглянулись на него. Никто ничего не ответил.

— Языки проглотили. По стенке становись.

— О, господи батюшка!

— Кабы народ-то был распорядительный, сейчас пошли бы, расспросили толком, когда отопрут, что выдавать будут, и не стояли бы зря целый час.

— Да, порядка нету. И за что, черти, мотают, мотают народ, нынче в одном месте выдают, завтра в другом. Я что-то никогда и не видал, чтобы тут выдавали. Там музыка какая-то стоит.

— Они этим не стесняются.

— Что за черт, провалился, что ли, в самом деле, — сказал передний мужчина с сумкой и постучал в дверь.

— Сейчас, сейчас, — послышался голос из магазина.

— Осенило, наконец, — сказали сзади из толпы, — целый час простоял, прежде чем постучать догадался.

— Это еще милость, мы вчера шесть часов так-то стояли, — сказал старичок с трубкой.

— Отпирают. Номера гляди. Женщина, куда полезла!

— Черт ее разберет, она вся размалевана.

— Да куда ж вы прете-то. Цифры эти по пол-аршину накрашили, обрадовались, как прислонится, так и отпечатывается. Наказание.

Дверь открылась, и все, забыв про номера, сплошной лавиной двинулись к дверям. А передние, оттолкнув мужчину с сумкой, ворвались в магазин, где человек в кожаной куртке чистил пианино.

— Чтой-то?... Куда вы, ай очумели!..

— Проходи, проходи в середку, там скорей до дела доберешься.

Но человек в кожаной куртке уперся коленом в живот дамы в шляпе и вытеснил всех назад.



— Чумовой какой-то народ стал, — сказал он, выйдя из магазина к роптавшей толпе. Он запер на замок магазин и пошел по улице с дожидавшимся его человеком.

— Куда это они?

— Эй, куда пошли-то? Что вы, смеетесь, что ли?

— А вы чего тут выстроились? Обалдели.

— Вот мучают, проклятые, народ, да на-поди, — сказала растрепанная женщина. — Час целый простояли, все номера проставили, а они вышли и, как ни в чем не бывало, пошли себе.

— Народ нераспорядительный. Тут бы с самого начала пойтить и толком расспросить, почему держат народ, когда отпускать начнут.

— А то час целый простояли, вымазались все, как оглашенные, а они вильнули хвостом и до свиданья.

— Это еще милость, час-то, — сказал старичок, — мы вчера в одном месте целых шесть простояли.

На улице, около дверей домового

комитета, уже с шести часов утра толпился народ. Какой-то человек стоял с листом и вписывал туда фамилии подходивших людей.

Проходивший мимо милиционер с револьвером на ходу крикнул:

— Вы своих гоните на площадь, а там укажут. После работы всем работавшим будут выданы значки. — И ушел.

— Зачем-то, миленькие, народ-то собирают? — спросила, подходя, старушка лет семидесяти.

— Ай ты не записывалась еще? — сказал малый в сапогах бутылками, в двубортном пиджаке.

— Нет, батюшка...

— Что ж ты зеваешь! Сейчас уж погонят. Записывайся скорей.

— Господи, чуть-чуть не опоздала, — говорила старушка, отходя после записи, — голова как в тумане, совсем заторкали.

— Скоро ли погоните-то? — кричали нетерпеливые голоса.

— А куда иттить-то?

— Чума их знает. Таскают, таскают народ...

— Не таскают и не чума их знает, — сказал бритый человек в солдатской шинели, — а предлагают всем сознательным гражданам идти на праздник труда.

На него все испуганно оглянулись и замолчали. Только какая-то торговка, в ситцевом платье, с платочком на шее, сказала:

— Взять бы сговориться всем и не ходить, что это за право такое выдумали.

— А добровольно идти или обязательно?

— Добровольно, — отвечал человек с листом, — с квартиры по одному человеку.

— А ежели не пойдешь, что за это будет?

— Черт ее знает... Говорят, значок какой-то выдавать будут.

— А у кого не будет значка, тому что?

— А я почему знаю, что ты ко мне привязалась, у коммунистов спрашивай. Гоняй их, чертей, да еще объясняй все. И так голова крутом идет, — проворчал человек с листом.

Торговка в ситцевом платье задумалась, а потом сказала:

— Взять бы сговориться всем да не ходить.

— Ты тут сговоришься, а на другой улице не сговорятся, вот и попала, — сказал бывший лавочник в старых лаковых сапогах.

— А тут значок еще, — говорили в толпе. — Черт его знает, может быть, он ничего не значит, а может, без него никакого ходу тебе не будет. Вот теперь калоши, говорят, выдавать скоро будут... Придешь получать — значок ваш предъявите. Нету? Ну и калош вам нету.

— Это-то еще ничего: а как вовсе тебя вычеркнут? — сказал кто-то.

— Откуда?

— Там, брат, найдут откуда.

— Ну, кончайте разговоры и айда на площадь — в ряды стройся!

— Чисто как на параде, — сказал чей-то насмешливый голос.

— Это еще что... А в прошлый раз нас коммунист гонял, так песни петь заставляли, вот мука-то.

— Равняйся! — крикнул человек с листом, задом отходя на середину улицы, как отходит командир, готовящийся вести свой полк на парад.

— Старуха, что ты тыкаешься то туда, то сюда! Раз командует равняйся, значит, должна становиться. По улице идите; куда на тротуар залезли?

— О господи батюшка!..

— Шагом!.. Марш!.. Куда опять на тротуар полезли? Что за оглашенные такие!..

— Да я беременная...

— Так что ж ты затесалась сюда. Усердны, когда не надо. С квартиры по одному человеку сказано, а их набилась чертова тьма.

— Без калош-то оставаться никому не хочется, — сказал чей-то негромкий голос.

— Домой иди, ведь сказано тебе... — говорили беременной.

— Значка, боюсь, не дадут.

— Вот окаянные, разум помutilи этим значком. Бабка, не отставай!

Когда подходили к площади, навстречу показался еще отряд с оркестром музыки и с красными знаменами. Встречные шли, переговариваясь, с веселыми лицами и даже приветственно помахали платками и шапками.

— Этих уже окрестили, — сказал бывший лавочник. Вдруг передние остановились.

— Чего стали? — кричали задние, поднимаясь на цыпочки.

— Не знают, куда дальше гнать. Пошли спрашивать.

— Тут бы лопаток с вечера наготовить, работу загодя придумать, и отделались бы все в два часа, — проговорил какой-то волосатый человек. — А теперь жди, стой.

— Пусть руки отсохнут, ежели лопатку возьму, — сказала торговка в ситцевом платье.

— Знаем мы, как они лопатки выдают, — привезут по одной лопатке на пятерых и ладно.

— И слава богу, по крайней мере руки не поганить об такую работу.

— Не очень-то слава богу. Скажут, не работала — без значка и останешься.

Торговка сердито замолчала, потом, немного погодя, сказала:

— Я не виновата, что у них лопаток нету, а раз я была, значит, должны значок дать.

— С ними пойдй потолкуй. Скажут: в очередь бы работала.

— Лопатки везут. Разбирай, не зевай, — торопливо крикнул кто-то.

Все бросились к телеге. А впереди торговка в ситце-

вом платье. Она схватила за конец метелки, которую держала другая женщина.

В воздухе замелькали руки, лопатки, метелки. Слышались голоса испуганных и прижатых к телеге людей.

— Чего вы! Ай одурели? Эй, баба, что ты, осатанела, что ли! Ты ей так руки выдернешь, — кричали на торговку.

Милиционер, схватив двух женщин сзади за хвосты и оттягивая их назад, говорил:

— Успеешь! Обожди! Обожди!

— Совсем взбесился народ! Ктой-то еще про калоши тут вякнул. Наказание, ей-богу.

Бритого человека в солдатской шинели в первую же минуту сбили с ног, и он, чтобы не быть раздавленным, залез под телегу и выглядывал оттуда.

— Так его, черта, не проповедуй, — крикнул кто-то.

Торговка в ситцевом платье отвоевала лопатку, а другая, вырывавшая у нее, сорвав себе руку, грозила ей из-за телеги кулаком и кричала:

— Я те дам, как из рук вырывать, паскуда поганая. Взбесилась совсем, с руками рвешь.

— А ты не цапайся раньше других. Одна уж готова все ухватить.

— Шагом марш!

— Вот и отмеривай улицу, — говорил какой-то трубочист с метелкой на спине, — до сорока лет дожил, троих детей имею.

Минут через пятнадцать опять остановились около площади.

— Что опять стали?

— На место пришли. Пошел спрашивать, что-то опять, знать, не так.

Все смотрели на площадь, которую, переговариваясь и смеясь, с вспотевшими лицами мели мужчины и женщины.

— Празднуют, — иронически сказал лавочник. — Вместо того, чтобы сговориться всем и уйти, гнут себе спину. Эх, лошадиное сословие!..

— Куда ж ты их пригнал сюда? — крикнул стоявший на площади высокий человек с лопаткой в руке.

— А я почем знаю?.. Мне сказано сюда...

— Что, у них там шарики, что ли, в головах не работают — уж третью партию ко мне присылают. Я и с этими-то чертями не знаю, что тут делать.

— Что, ай назад? — спрашивали у провожатого.

Тот нахмуренно подходил, ничего не отвечая. Потом вынул платок, стер им вспотевший лоб и, оглянувшись зачем-то по сторонам, хмуро и неопределенно махнул платком вдоль улицы:

— Пошел туда!..

— С вечера бы надо придумывать работу, — сказал опять длинноволосый человек.

— Мы прошлый раз так-то помучились. Народу нагнали пропасть, не найдем никак, что делать, да шабаш. Все заставы обошли. До шести вечера ходили. Спасибо, провожатый хороший попался — все-таки выдал значки.

— Что ж вы бродите до двенадцати часов, как сонные мухи! — крикнул какой-то военный, быстро проезжавший на лошади, как ездит управляющий, осматривая в поле работы. — Пристанища себе нигде не найдете?

— А что ж, когда отовсюду гонят, — сказал угрюмо провожатый.

— Голова-то не работает ни черта, вот вас и гонят. Поворачивай назад. Идут молча, словно утопленники...

— Вот к этому ежели бы попали, беспреренно петь заставил бы, — сказал лавочник. — Из этих самых, должно.

— Как же, так и повернул, — проворчал провожатый, когда военный скрылся за поворотом. И продолжал вести дальше.

Увидев на углу пустыря разваленный дом, он остановился и крикнул:

— Перетаскивай кирпичи к забору да засыпай ямы. Только проворней, а то ежели до трех часов не кончите, значков не выдам.

— Слава тебе господи, наконец-то определились.

— Да, спасибо, домишко этот подвернулся, а то бы до вечера ходили.

Все лихорадочно принялись за дело. Один рыл лопатой, а пятеро стояли сзади него в очереди и поминутно кричали на него:

— Да будет тебе, не наработался еще!

— Уж как дорвется — не оттащишь. Бабушке-то дай-те поработать, уважьте старого человека...

А проходившие мимо говорили:

— Усердствуют... Вот скотинка-то...

Когда кончили работу и стали выдавать значки, оказалось, что старушке не хватило значка.

— Какой же тебе значок, когда тебе больше шести-десяти лет, могла бы совсем не приходить.

— Господи батюшка, ведь вы ж меня записали. Вот все видели.

— Не полагается. Поняла? Свыше пятидесяти лет освобождаются от работы. А тебе сколько?

— Семьдесят первый, батюшка.

— Ошалела, матушка, приперла.

— Стоит в голове туман какой-то, ничего не поймешь, — сказала старушка.

— По тротуару теперь можно итти?

— Можно...

— А значок на грудь прикалывать или как? — спрашивала беременная.

— Это ваше личное дело.

Все возвращались веселой толпой со значками на груди и смотрели недоброжелательно на встречающихся прохожих, шедших без значков.

— Все прогуливают, ручки боятся намозолить, — сказала торговка, — и чего с ними церемонятся? Хватили бы их на улице да посылали.

А старуха спешила сзади всех и бормотала:

— Вот стоит в голове туман — ничего не поймешь...

## Дружный народ

Дня через два после храмового

праздника пришла бумага из волостного совета с приказом возить дрова на государственный завод.

— Каждый гражданин должен свезти по шести возов, — сказал председатель на собрании.

Все переглянулись и молчали.

— А ежели не повезешь, что за это будет? — спросил кто-то из задних рядов.

— Отсидишь, а потом вдвое свезешь.

— Так...

— Это, значит, на манер барщины выходит? — сказал еще один голос.

— Не на манер барщины, а на манер повинности.

— Не в лоб, а по лбу... — подсказал Сенька-плотник.

— Граждане, надо головой работать! — крикнул председатель. — Раз государство об вас старается... (он взял линейку в руку и стал махать ей в такт своим словам) предоставляет вам по силе возможности, значит, должны вы понимать или нет?

— То-то вы много предоставили... — слышались голоса с задних скамеек.

— Не много, а по силе возможности... школа у вас есть.

— Да в школе-то этой ничего нету...

— Больница у вас есть? — продолжал председатель, не слушая возражений. — Народный дом у вас есть?

Поднялся шум.

— Я вот сунулся как-то намеренно в больницу, а с меня — пять миллионов, — кричал, надрываясь, рябой от оспы мужичок, поднимаясь с своей лавки и выставляя вверх обмотанный грязной тряпкой палец.

— Граждане, тише! После поговоришь. Что рассказывался с своим пальцем. Не видали мы твоего пальца, —



кричал секретарь, став около стола рядом с председателем.

— Граждане, предлагаю выполнить наряд... в такое тяжелое время сознательные граждане...

— Что там? Какой еще наряд?

— Нарядили уж и так. Довольно. А то дальше будете наряжать, и вовсе без порток останемся, — кричали уже со всех сторон.

— Слушай... Что за дьяволы, не утомонишь никак! Предлагается возить дрова...

— То наряд, то дрова...

— Это все одно и то же, черти безголовые.

— Нипочем не вези.

— Дружней взяться — ни черта не сделают.

— Им только поддайся, они потом все жилы вытянут.

— Да кто они-то, черти?

— Вы, кто же больше.

— А кто нас выбирал-то?.. Итак, граждане...

— Дружней... — торопливо сказал кто-то вполголоса, как регент на клиросе дает знак певчим, чтобы они неожиданно грянули многолетие.

— Не повезем. К черту. Баб своих запрягай! — заревели голоса.

— К порядку!!

— Еще раз...

— Не повезем. К дьяволу... баб своих запрягай!

— Ох, ловко, — дружный народ.

Председатель зажал уши, плюнул и отошел к окну от стола.

— Ты в больницу, говорят, иди, — рассказывал кому-то рябой мужичок, — прихожу, а с мене пять миллионов — цоп! Да я, говорю, весь палец тебе за три продам.

— В последний раз предлагаю собранию везти...

— Дружней...

— Сами везите, мать... Насажали на шею.

— В таком случае объявляется, что каждый отказавшийся должен будет свезти вдвое. — Председатель закрыл книгу и пошел к выходу.

Все зашевелились, поднялись, надевая шапки и застегиваясь.

— Что-то у вас кричали-то дюже? — спросил проходивший мимо сапожник с хутора, когда мужики вышли из школы.

— Хотели веревочку было нам на шею накинуть...

— Они, что ли?

— А то кто же...

— Ну?

— Ну и ну, видишь, вылетел как ошпаренный.

— Тут, брат, так подхватили... — сказал рябой мужичок, — что надо лучше, да некуда.

— Значит, дружный народ.

— Страсть... аж сами удивились. Это ежели бы спервоначалу схватились, так ни разверстки, ни налогов никаких нипочем бы не платили. Мы знаем свое, а вы там как хотите.

— А больниц ваших нам, мол, тоже не нужно. Премного вами благодарны, — подсказал рябой мужичок, затягивая зубами узел на пальце.

— И что же, значит, ничего теперь против вас не могут? — спросил сапожник.

— Да ведь вот видишь, чудака-человек.

— А ничего за это не будет?..

Тот, у кого спрашивал сапожник, полез в карман за кисетом и ничего не ответил. Все затихли и смотрели на него с таким выражением, как будто от него зависело все.

— Говорит, что вдвое свезти придется, — ответил наконец спрошенный.

— Ах, черт, — значит, гнут все-таки?

— Три года еще гнуть будут, — сказал чей-то голос.

— Кто сказывал?

— На нижней слободе считали.

— Меньше и не отделаешься.

— Да...

— А по сколько возов-то отвозить?.. — спросил шорник.

— По шести.

— А ежели не повезешь, значит, по двенадцати?

— По двенадцати.

— Премия... — сказал Сенька. — А ежели опять не повезешь — двадцать четыре. Так чередом и пойдет.

— А наши дураки все повезли, — сказал сапожник.  
 — Народ недружный.  
 — Ежели бы мы спервоначалу на больницы не польстились, — сказал рябой мужичок, — мы б теперь — ни налога, ничего...

Наутро шорник встал раньше обыкновенного. И прежде всего выглянул из сенец сначала в одну сторону улицы, а потом — в другую. Но через избу он увидел чью-то голову, которая также выглядывала из сенец. Шорник спрятался.

— Черт ее знает, шесть да шесть — двенадцать, двенадцать да двенадцать — двадцать четыре... мать пресвятая богородица, подохнешь...

— Свези полегонечку, чтоб никто не видел, — сказала жена.

— Там кой-то смотрит.

Жена вышла и увидела две головы, которые спрятались в тот момент, как только она стукнула дверь.

— Что, как уж там запрягают, — сказал шорник, — нешто на этих окаянных можно положиться.

— А как вчерась порешили-то?

— Порешили, чтоб ни боже мой, нипочем не везти.

— Ну, ты запряги на всякий случай, а там видно будет, — сказала жена, — распречь всегда можно.

— Запречь можно. От этого худа не будет. Надо только через сенцы пройти, а то со двора увидят.

И он пошел на двор. Но сейчас же остановился, прислушиваясь.

— Но, черт, лезь в оглобли-то, куда тебе нечистый гне... — крикнул кто-то на соседнем дворе, и послышался такой звук, как будто крикнувший спохватился и прихлопнул себе рот рукой.

— Ах, дьяволы, не иначе как запрягают, — сказал шорник и стал лихорадочно искать шлею и уздечку. Надел уздечку на лошадь, направил ей уши и потянул за повод к оглоблям. Но лошадь, вытянув за уздечкой шлею, не переступала оглобель.

— Но, черт, лезь в...

И шорник, испугавшись, прихлопнул рот рукой.

— Куда запрягаешь? — крикнули с соседнего двора.

— За водой.

— А я уж думал...

— А ты?

— За травой... лошадям.

Вдруг кто-то пробежал по улице и крикнул:

— Ах, дьяволы, — с нижней слободы-то поехали...

— Кто?

— Да все. Сначала Захарка-коммунист, а потом один по одному еще человек пять. А тут как увидели, что они уж к мостику подъезжают, у всех ворота растворились и прямо на запряженных лошадях все и выкатили, словно лошади так в запряжке и родились. Словом, не хуже хороших пожарных. Теперь все поскакали.

— Ах, сволочи...

И в этот же самый момент ворота всех дворов на верхней слободе, растворившись на обе половинки, хлопнули с размаха об стенки и, как на параде, голова в голову, выкатили лошади, запряженные в дровяные дроги, и понеслись догонять нижнюю слободу.

— Спасибо, запряг, — говорил шорник своему соседу, погоняя свою лошадь, — а то бы попал, вишь вон, какой народ.

— Беда...

— Куда всей деревней едете? — спросил у мостика встречный мужичок, придержав лошадь и оглядывая бесконечную вереницу подвод.

— За дровами на казенный завод...

— Вот это здорово взялись. Зато в один день кончите. А у нас один едет, пятеро не едут. А тут вытянулись, любо глядеть.

Ах, дружный народ.

[1920]

## Скверный товар

**П**оезд уже часов пять стоял перед

вокзалом, весь набитый народом.

В разбитых окнах виднелись лица, спины, мешки. Каждую минуту из вокзала выбегали все новые и новые пассажиры. Увидев, что поезду уже полон, с перепуганными лицами вскрикивали:

— Матушки, уж тут набились!..

И бросались на площадки, на буфера с таким видом, как будто через секунду поезд должен был трогаться.

Но паровоз стоял потухший, темный, и на нем не было видно ни души.

— Давно сели?

— Часа три уж, как сидим.

— Что ж он не идет-то?

— Не собрались еще, значит. Давеча хоть машинист на паровозе копался, а теперь и он чтой-то затих. Эй, ты что там, спать, что ли, лег? — кричали с буферов машинисту.

— Это вот так прстоишь еще часа два и, с места не тронувшись, свалишься, — говорил человек в овчинном тулупчике, стоявший одной ногой на буфере, другой — на площадке, соединяющей вагоны, и держащийся руками за лесенку, отчего у него был такой вид, как бывает у человека, когда он лезет на дерево.

— Два места занимает и то недоволен, — сказал малый, сидевший между вагонами на мешке.

— Вот обыскивать пойдут — все довольны останутся.

В самих вагонах пассажиры сидели совершенно молча, не выказывая никакого нетерпения и любопытства к тому, когда тронется поезд, как будто были до-

вольны тем, что попали в вагон, и боялись заявить о своем существовании, чтобы кто-нибудь не пришел и не выгнал их. Только изредка среди общей тишины слышалось:

— Что ты на коленки-то садишься! Тетка!..

— Прут, батюшка.

— Когда ж тронется-то? — сказала беспокойно старушка, везшая баранью ногу, завернутую в мешок.

— Еще не обыскивали.

— А строго обыскивают?

— Да ничего себе... Тут есть один комиссар, с серьезной вухе ходит, — ежели на него нарвешься, забудешь, как мать родную зовут.

— А бабы вот как его бояться, ну просто... иная обомлеет вся и слова сказать не может.

— О, господи батюшка, — сказала молодая женщина в полушубке. У нее почему-то широко были расставлены ноги, что на нее то и дело кричали:

— Да стань ты, ради Христа, потесней! Что ты раскорячилась-то? Одна полвагона занимаешь.

Женщина делала вид, что становится теснее, но ноги оставались опять так же широко расставлены.

— Беременна, что ли? — спросила тихо и сочувственно сидевшая около нее на уголке лавки старушка с бараньей ногой.

— Нет, ничего... — ответила уклончиво женщина и сейчас же отвернулась к окну, точно боясь продолжения разговора.

Старушка оглядела ее фигуру, потом, посмотрев на ее живот, сказала:

— О, господи, во всяком положении едут.

— Главное дело, не знаешь, что можно везти, чего нельзя.

— В том-то и дело. В одном месте одно отбирают, в другом — другое. А иной с голодухи накинется — все из рук рвет. И вот как только к вагону подходишь, так тебя лихорадка начинается трясти. Только об одном и думаешь: куда спрятать.

— Иной раз пустой едешь, а голова по привычке все работает.

— Ну, да теперь народ наострился. Намедни иду, гляжу, впереди меня баба, у нее кишки выскочили, волюкуются. Я крикнул даже с испугу, а она подхватила себе кишку под юбку и пошла, как ни в чем не бывало. После узнал: спирт в велосипедной шине везла.

— А что, батюшка, баранью ногу пропустят? — спросила старушка.

— Заднюю или переднюю? — спросил солдат в рваной шапке.

— Заднюю, кормилец...

— Навряд...

— Прямо изведешься, покуда доедешь, — сказала старушка, вздохнув и осмотревшись по сторонам.

— Слава богу, хоть темнеть начинается, в темноте все, может, лучше схоронить можно.

— Они осветят...

— Господи, может, как-нибудь обойдется, не будут обыскивать.

— Хуже всего, когда вот так сидишь и гадаешь: будут или не будут?

— Идут! — крикнул кто-то.

По вагону пробежала судорога последних приготовлений и послышался бабий голос:

— Да это нога моя — что ты, очумел, что ли!..

И все затихло. Крайние от окон смотрели на платформу, где двигался колеблющийся свет фонаря, с которым шли какие-то люди к вагонам от вокзала.

— Ой, кажись, прошли...

— Матушка, царица небесная, спаси и защити, — говорила старушка с бараньей ногой.

— Эй, баба, да что ты в самом деле так растопырилась!

— А ты, батюшка, не кричи, — сказала старушка, — женщина тяжелая, а ты локтем суешь.

И, обратившись к женщине, прибавила:

— Хорошо, что хоть безо всего едешь, а я вон тряусь над своей ногой, извелась вся.

Женщина, ничего не ответив, опять отвернулась к окну.

— Да чего она нос-то все воротит? — сказала толстая женщина, сидевшая рядом со старушкой.

— Скрывает, должно. Небось налетела, сердешная, на какого-нибудь разбойника. Ведь теперь народ какой пошел, слизнул и до свидания.

Вдруг поезд неожиданно тронулся.

— Пошел, пошел!.. — закричали все с таким выражением, с каким обреченные на гибель в океане мореплаватели и уже свыкшиеся с этой мыслью кричат: земля, земля!..

— Матушка, царица небесная, услышала сироту, родимая! — говорила старушка, одной рукой держа баранью ногу, другой крестясь.

— Подожди еще радоваться-то, — сказал солдат в рваной шапке, — они по дороге обыщут. Мы как-то прошлый раз ехали, выпустили не обыскавши, а потом посереде поля остановились и пальбу подняли. Все думали, что неприятель какой напал, об вещах об своих позабыли, они тут и заявили. Особливо бабы боются стрельбы этой. Как подготовку со стрельбой издеают, так у всех баб бери что хочешь; и спрятать забудут. А на другой раз мы тоже ехали, муку везли. Устроили они это подготовочку, а мы — не будь дураки — все под вагон с своими мешками. Высидели, куда они по вагонам прошли, и опять в вагон.

— Господи, где ж тут, целую науку произойти надо, — сказала толстая женщина.

Вдруг в дверь послышались три редких удара. Стоявший около двери старичок в большой шапке с трубкой испуганно отшатнулся.

Дверь отворилась. Вошел человек с фонарем и, подняв фонарь в уровень с лицом, стал водить им по вагону, освещая лица сидевших в темноте пассажиров.

Все, замерев, сидели, стояли неподвижно, как стоят овцы, когда в овчарню входит мясник с фонарем в одной руке и с ножом в другой. Только полные страха глаза, блестевшие в полумраке от света фонаря, все были устремлены на вошедшего.

Человек поводил фонарем по лицам и, ни слова не сказав, ушел.

— Ой, господи!.. — вырвалось у кого-то.

— Что ж он ушел-то?



— Хотят сначала умять как следует.

— Вот это хуже нет: войдет, посмотрит, фонарем поводит, а тут вся душа в пятки ушла.

— Дяденька, пропусти меня, Христа ради, — говорила женщина, туго увязанная платком и с валенками под мышкой.

— Куда ж тебя пропустить, — по головам, что ли, пойдешь?

— Да мне в уборную, господи батюшка.

— В уборную... Там и без тебя полно, вишь — хлопцы сидят, закусывают.

— Бабы уж открыли кампанию. С фонарем показаться не успели, как их начало прихватывать.

Женщина с валенками остановилась в нерешительности.

— Подожди, молодка, до завтра, куда спешишь? — сказал голос из угла.

— Да, теперь беда с этим: как нарочно, когда нельзя, тут и прихватывает. А особенно, когда еще боишься, тут и вовсе избегаешься.

— Тут и рад бы избегаться, да некуда.

— Сядь, матушка, а я постою, — сказала старушка с бараньей ногой.

Но женщина замахала руками и отказалась почему-то.

— А может, еще так проедем, не будут обыскивать? — сказал голос откуда-то сверху.

— Кто их знает.

— Господи, везешь за триста верст пять фунтов сахара, а измучаешься, сил просто никаких нет.

— Сахар — самый скверный товар: и тяжелый, и сыплется, и сырости боится.

Дверь вагона открылась. Вошел другой человек с фонарем. Опять все замерли, остановившись на полуслове. Человек поводит фонарем по лицам и ушел.

— Глянь, опять ушел.

— И все молча, окаянные.

— Когда же обыскивать-то начнете?!

— Дяденька, пропусти в уборную, Христа ради, — послышался бабий голос.

— Ну вот, одна утомилась, теперь еще другая.

— Это, ежели с фонарями тут будут ходить, они у нас тут всех баб перепортят.

— Баб-то перепортят ли, еще неизвестно, а что бабы тут все перепортят — это уж верно.

Вдруг поезд пошел тише, тише и наконец совсем остановился.

— Матушка, что это?

— Не что это, а сыпь под вагон! — крикнул солдат в рваной шапке. И он ринулся с своим мешком к двери. Все, давя друг друга, бросились за ним.

— Тише, ай взбесились!

— Беременную не задавите.

— Теперь, брат, не до беременных, — говорил какой-то солдат, волоча по полу куль муки и наезжая им на пятки ломившихся в двери людей.

Все ссыпались под вагон. Поезд стоял посреди голого поля, занесенного глубоким снегом. Крутом глядела мутная ночь и белела необъятная снежная пустыня.

— Что ж долго не стреляют-то? — сказал кто-то, выглядывая из-под колес.

— Должно, без подготовки решили.

Остальные все сидели совершенно молча и только тоже изредка выглядывали из-под колес.

Мимо прошли ноги каких-то людей с фонарем по направлению к паровозу. Потом послышались голоса:

— Может, как-нибудь доедем до станции потихонечку? — сказал один.

— Попробуем, — отвечал другой.

Солдат в рваной шапке прислушался и, почесав за ухом, сказал:

— Чтой-то, кажись, промахнулись.

— Что там? — крикнули из окна.

— Заклепка какая-то на паровозе выскочила.

— Тьфу ты, черт! — сказал солдат, плюнув. — Полежай скорей обратно!

Все бросились кучей из-под вагона, так что проходивший мимо кондуктор отскочил с испугу как ошпаренный и крикнул:

— Откуда вас черт вынес?!

Но пассажиры, не слушая, карабкались в вагон.

— Беременной-то помогите! — крикнул кто-то.

Вдруг, едва только уселись, обе двери вагона на двух концах одновременно растворились... Раздался лязг ружей. Вошли солдаты, а за ними два человека с фонарями.

— ...Вот оно, подошло... — сказал кто-то в дальнем углу.

Один из вошедших был черный человек в лохматой папахе с серьгой в ухе. Он быстро осмотрелся и указал рукой на мешок, сказав коротко владельцу:

— Развязывай... Мука?.. Удостоверение!.. Нету?.. Забирай!..

И он стал быстро обходить вагон, иногда неожиданно указывая на вещи, мимо которых он, казалось, прошел, не заметив. Это еще сильнее действовало на пассажиров. В вагоне была мертвая тишина. Только слышалось:

— Мясо?.. Удостоверение!.. Нету?.. Забирай!..

— Батюшка! У меня только задняя нога!..

— Переднюю в другой раз захватишь. Забирай.

— А ты что? Чего глаза вытаращила? Что везешь? — сказал он, подойдя к женщине в полушубке и наведя ей фонарем в лицо.

Та смотрела на него и не произнесла ни слова, точно онемев.

— Эх, пропади они пропадом, какой это ребенок будет, когда этак вот... — сказал голос из темного угла.

Комиссар перевел свет фонаря на живот женщины и сказал:

— Что же не скажешь?.. Эй вы, что ж уселись, не можете женщину посадить! Садись.

— Ей сидеть нельзя, — сказал голос из темноты.

Комиссар повернулся от нее и, увидев толстую женщину, крикнул:

— Ну, выпускай кишки, живо!

— Какие кишки? Что ты, угорел?!

— Что намотала на себя?

— Нет, это верно, она толстая, это жир, — заговорили кругом.

Комиссар, махнув рукой, отошел.

— Ну, прямо хоть не ездят! — сказала толстая женщина. — Смотрят на тебя, щупают.

— С него тоже небось спрашивают. Что ж ты, развалишься оттого, что тебя пощупал человек по ошибке?

— Да их человек двадцать за день так ошибется.

— Тоже не всякая от природы толстая... Намедни комиссар подошел к какой-то толстой, не говоря худого слова, — шасть к ней под подол — и вытащил десять фунтов солонины. Она и похудела.

Комиссар ушел. В вагоне сразу стало шумно. Все оживленно заговорили.

— Прямо, ровно после исповеди, полегчало, — сказал солдат в рваной шапке, зажегши спичку и посветив ею кругом.

Вдруг женщина в полушубке, стоявшая неподвижно и со страхом смотревшая вслед комиссару, ахнула и схватилась за низ живота.

— Чего ты? Ай скинула? — спросила испуганно полная женщина. Женщина что-то ответила ей и, припав лицом к окну, заголосила.

— А, пропасть тебя возьми!.. С испугу, значит, — сказала полная женщина.

— Что там у нее? — спросили пассажиры.

— Сахар намочила.

С минуту в вагоне было молчание.

— Много?

— Целые десять фунтов, — мешочек промеж ног привязан был. Одна станция, говорит, до дома оставалась, за триста верст везла.

— Ну, самый, самый скверный товар, накажи бог, — сказал солдат в рваной шапке. — Другое что — хоть высушить можно бы, а этот только хуже расползется. Моя невестка намедни соль везла, такая же история вышла. Ну, что ж делать — не без соли же сидеть, покропили, покропили святой водой и пустили в оборот.

## Терпеливый народ

По борьбе с грязью была объявлена

неделя чистоты, и около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками.

Ожидающие, нахохлившись под дождем и топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию.

— Теперь мыть еще всех затеяли, вот каторга-то, — сказал кто-то.

— Ведь это что за подлость: гонят народ силком да и только. Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому обеда выдавать не будут.

— А мыло дают? — спросил обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа идти дальше.

— Дают, — сказал кто-то неохотно, — по восьмушке на человека.

Обросший человек поспешно стал в очередь.

— Замылись на отделку, — сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину. Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто.

— Скоро ли пускать-то начнете? Что вы их там дюже долго моете? Старуха, ты куда приперла?

— В очередь, батюшка...

— С мужиками в баню иттить?..

— А нешто это в баню?.. Тьфу! Вот нечистый-то подшутил, — сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску.

— Эх, мозги курьи!..

— Неизвестно еще, у кого курьи. Они вот такие-то станут, потрутся, а у тебя белья, глядь, нету.

— Из-за этого больше всего боишься в баню-то ходить: воруют очень, и опять же вошь.

— Вошь замучила, — сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке.

— Да что вы все прислоняетесь! — крикнул на него нервный господин.

Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полую полушубка нос.

— Это правда, что замучила, — повторил он.

— А где мыло будут выдавать? — спросил обросший человек.

— Сейчас при входе.

— Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться.

— Тоже, брат, за мылом пойдешь, глядишь — штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело.

— Прошлый раз один так-то помылся: вышел одеваться, как есть тут: все! Даже порток нижних не оставили. Уж выпросил юбку у сторожихи. Так бабой и пошел.

— Вымыли... нету ни у кого, вот и воруют, — сказал мужичок в полушубке. — Ведь вот рубаха — четвертый месяц ношу.

Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка.

— Плотней становитесь! Что вы там ворота оставляете! И так на середку улицы выпятились! — крикнули сзади.

Мужичок опять пододвинулся к господину.

— Впускают! — торопливо крикнул кто-то.

Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга, тесной толпой стали напирать на дверь.

— Мыло получай...

— А можно мыло получить, а в баню не ходить? — спросил обросший человек.

— Нет.

— Придется иттить... ах, головушка горькая.

— Опутали здорово. Не хочешь иттить, да идешь, — говорили в толпе.

— Да проходите вы скорей там! Сперлись, как бараны, а ходу нет. Да еще разговоры завели.

— Стоп! Довольно, — сказал служащий, — следующая партия, ожидай.

— Так и знали... О, господи батюшка. А уйтить нельзя.

— Да уж отделался один раз, да и к стороне.

— И мыло, жалко, не получишь.

— Не очень-то к стороне. Они, говорят, кажные две недели будут теперь гонять.

— И народ все терпит... Господи батюшка!

— Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они бы показали.

— Следующая партия!

Все, давя друг на друга, бросились в открывшуюся дверь.

В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей...

— Вещи берегите! — крикнул банщик.

Все, притихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям.

— Черт ее знает, — сказал обросший человек, проходя в мыльню, — мыла дали столько, что только голову хватит помыть, а домой нести нечего.

— А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься, — сказал грязный мужичок, — а сам так-то. Я уж нынче четвертый раз тут.

— Тут, бывало, ванны, штуки всякие, — говорил волосатый парень, намыливая голову, — подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде как дождь.

— Это-то и сейчас есть, вон, около стены.

— Что ты дергаешь-то из всех сил! — кричал банщик на здорового малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку.

— Не льется что-то ничего...

— Не льется, — значит, испорчено, а ты уж совсем своротить хочешь? Вот чертов народ-то!

Грязный мужичок сидел на своей лавке около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу, потом сказал:

— Вшей теперь небось сколько намыли, страсть!

— Чего сидишь, не моешься, — крикнул на него проходивший банщик, — только место зря занимаешь.

Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы.

— Хоть для виду поплескаться, — сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним. — А мыло домой старухе снесу рубахи постирать.

— Только из-за мыла и ходишь, — отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик.

— Уж очень чистотой донимать стали, прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить.

— Народ терпеливый, вот и заставляют.

— За вами, чертями, не смотреть, так вы все навозом обрастаете, — сказал, покосившись из-под рук, намыливавших голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка.

Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказал.

— От вшей, говорят, будто тиф разводится, — сказал кто-то.

— Слава тебе, господи, всю жизнь с ними ходили — ничего, а теперь вдруг на-поди, развелся.

— Это, хочь, правда.

— От вши — тиф, а от клопа холеру объявят, — сказал насмешливый голос.

Какой-то человек сидел весь обмазанный глиной и втирал ее в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил:

— От болезни, что ли, от какой?

Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза.

— От какой болезни, что ты брешешь!..

— Глиной хорошо застарелую грязь берет, — сказал тощий человек с синяком на ноге. — Я прошлый раз тоже мылся.

— Мойтесь скорей, дома поговорите! — крикнул банщик. — Следующую партию пускать надо.



Все усердно принялись полоскаться.

— Да, совсем запаршивел народ.

— Плохо смотрят, — сказал человек с солдатскими усами. — С таким народом строго надо: агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть, как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать да в холодную. Это особо.

— Что ж это, значит, каждую неделю белье менять да стирать? Ловки другими распоряжаться, — крикнули сзади.

— Они об этом не думают. Благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеют по стенам, а каково рабочему человеку...

— Ах, чтоб тебя черти взяли!.. — вскрикнул обросший человек. — Только горячей водой на него плеснул, а оно все расплозлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца. Только мылся задаром.

— Кончайте скорей! — крикнул банщик. — Люди ждут, а вы тут лясы точите! Что ж ты, в бане был, а ноги как у лешего, — грязные — сказал он, остановившись перед грязным мужичком.

— Что-то не отмываются, батюшка; в другой раз глинки захвачу.

И когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаясь к соседу:

— Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги. И народ все терпит...

# Бессознательное стадо



коло городской станции толпился

народ в ожидании, когда откроют кассу. Некоторые пришли еще до рассвета и, сидя на каком-нибудь приступочке, сторбившись и спрятав руки в рукава, оглядывали мутными глазами бежавших по тротуару прохожих.

— Осоловели... — говорил кто-нибудь из проходивших мимо. — Давно сидите?

— Со вчерашнего дня, — неохотно отвечал кто-нибудь из ожидающих.

— Говорили, купоны какие-то выдавать будут, чтобы меньше ждать, — вот и думали их захватить, с вечера прибежали в очередь за купонами за этими.

— Так.

— А главное дело — съезд этот замучил.

— Какой съезд?

— А вон, напротив, в театре. Милиционер на нас взъелся, что много дюже народу собралось, и списки запретил составлять, — сказал сидевший на ступеньке человек с бельмом на правом глазу.

— Стараются. Через край перехватывают, — проговорил стоявший у стены пожилой человек в очках, обмотанных на переносице черной ниткой, и подмигнул на находившегося невдалеке милиционера.

— Только бы для дома хорош был, — сказала соседка, — с честным-то нынче хуже наплачешься.

Тот оглянулся на говорившего, но ничего не сказал. В это время к нему подъехал конный милиционер в шапке с шишаком и сказал:

— Гляди, чтобы не очень толпились. Вот еще черт их догадал тут билеты выдавать. Пусть становятся так, чтоб видно было, что это очередь, а то только беспорядок один. И чтобы списков не составляли, а то машут этими листами, не разберешь что. А там ругаются.

Говоривший это уехал. А милиционер подошел к ожидавшим и сказал:

— Граждане, будьте добры стать в очередь, а то с меня требуют. И пожалуйста, как-нибудь без списков обойдитесь.

— Еще новая мода... — сказал человек в очках.

— Кто списки составляет? — спросила, подбежав, запыхавшись, дама в шляпке с пером и с портфелем в руках.

— Никто не составляет. Запретили.

— Кто это запретил? Что за безобразие! Вздор какой! — Она торопливо и решительно открыла портфель и вынула лист бумаги.

— Он честью просил, — сказал кто-то из толпы.

— Если у вас о какой-нибудь глупости честью попросят, так вы уж и размякли, — сказала раздраженно дама.

И она с шумом разорвала лист.

Милиционер, дрогнув, оглянулся на шуршание бумаги и подошел сейчас же к даме.

— Гражданка, уберите бумагу.

— Это еще почему?

— Не приказано.

— Возмутительно! И все стоят, молчат! Стадо какое-то бессознательное, им что ни прикажи, все делают.

— А ты, матушка, не кипятись, — сказал какой-то старичок в отрепанном тулупчике с вылезшим енотовым воротником. — С него требуют, он исполняет. А ежели исполнять не будет...

— ...пошел к чертовой матери, — подсказал стоявший рядом со старичком рабочий, свертывавший папиросу.

— Вот то-то и дело-то. А раз человек по-хорошему попросил, отчего не сделать, — продолжал старичок, мельком взглянув на рабочего,

— Правильно! — сказала несколько голосов из толпы.

— Ежели каждый будет только с своим умом соображаться, черт ее что и выйдет.

— Вот то-то и оно-то. Мы каких-нибудь полдня тут стоим и поехали дальше, без записи обернемся как-

нибудь, а у него жена и дети. Об этом тоже надо подумать.

— Верно, — сказала женщина в платке. — Надо и о другом, а не только о себе думать.

— А как же. А то чуть тебе коснулись, боже мой!

— Она думает, что шляпку нацепила, так ей все дороги открыты.

— Вот такие-то самые — не дай бог. Все только об себе, — говорили в толпе.

— Тут дело не в шляпке, а в том, что надо рассуждать, что разумно и что неразумно, а не подчиняться всякому... — сказала раздраженно дама и, не договорив, отвернулась.

— Она опять свое.

— А ты, матушка, лучше не рассуждай, а об другом подумай, — сказал старичок в тулупчике.

Стоявший у стены господин в котелке переглянулся с дамой и, презрительно усмехнувшись и покачав головой, достал из кармана газету и развернул ее.

Милиционер испуганно оглянулся:

— Гражданин, уберите бумагу.

— Да что вы привязываетесь! Газету достаю.

— Черт вас разберет, что вы там достаете, — проворчал милиционер, остановившись, — а из-за вас упадет.

— Уж минуты не может без своей газеты обойтись, — сказала женщина в платке, раздраженно поведя плечами и недоброжелательно посмотрев на господина, читавшего газету. — Человек честью просит уважить, так нет, назло вот буду читать и бумагой шуршать.

— Такие — уважают, от них жди.

— Вот и читать, мол, не хочется, а буду в руках держать, потому что законом запрещено, — продолжала женщина.

— Эй, эй, куда там становишься! — крикнул рабочий на женщину с ребенком.

— Куда надо, туда и становлюсь.

— Не куда надо, а на чужое место лезешь.

— А у тебя замечено, что ли, это место! Коли это твое место, ты тут и стой.

— Правда, он тут стоял. Чего разбрехались! — заговорило несколько голосов.

— Нет, без записи хуже нет, — сказал кто-то. Некоторое время все молчали, потом вдруг заговорили:

— В самом деле, какого черта они выдумывают, а ты мучайся. И так ночь не спамши.

— На него обижаться нечего, — сказал старичок в тулупчике. — Человек простой, необразованный, может, и лишнего перехватил, что ж изделаешь-то? Ведь он не нахальничает, а честью просит.

Все опять замолчали.

— Прежде, когда продукты в магазинах выдавали, номера мелом на спинах писали, — сказал рабочий, заплывавая в руках докуренную папироску.

— Правильно, — согласился старичок в тулупчике и обратился к милиционеру: — Эй, почтенный, а что, ежели мы тут мелом орудовать будем?

— Чего?

— Ежели, говорю, мелом писать будем, это — ничего?

— Где писать?.. Все равно запрещено, — торопливо прибавил он.

— На своих спинах прежде разрешали, когда продукты выдавали.

— На спинах — сколько угодно, а только листов чтоб не было.

— Разрешил. Я говорил, что хороший человек. А что ежели требует, так это тебя на его место поставь, ты тоже так будешь.

— Верно, верно. Не шуршите вы там бумагами. Приспичило...

— Вот бессознательное стадо, — сказал господин, тихо обращаясь к даме в шляпке.

Та махнула рукой и отвернулась.

— Стойте, — крикнул рабочий, — зачем одежду марагать? Мы и без мелу в лучшем виде управимся. — Он вынул из кармана огрызок химического карандаша и, посплюнявив его, ни слова не говоря, подошел к стоявшему у самой двери сонному человеку, первому в очереди.

— Давай руку...

— Зачем тебе руку? — спросил тот озадаченно.

— Давай, говорю. Плешь на ладонь и растирай. Так... Ну, вот тебе номер. Первым стоишь?

— Первым, милый.

— Ну, первым и пойдешь.

— Спасибо, родной.

— Второй номер, подходи.

— Вот молодец-то! — сказала женщина. — И человека тревожить не надо, и самим хорошо.

— Черт знает что! — сказал господин с газетой.

— Ничего, батюшка, после сотрешь, — сказал старичок в тулупчике.

Все подставляли свои руки, плешнув предварительно в ладонь, и отходили, как в церкви отходят после благословения и прикладывания к кресту. Только какой-то высокий старик с длинной седой бородой и староверским видом вдруг воспротивился:

— Не хочу антихристову печать ставить.

— Да какая тебе антихристова! Сам же и напишешь свой номер.

— Не хочу...

— Ну, вот возьмите его... Десятый номер кто?

— Я, батюшка, — сказала старушка, продираясь через толпу.

— Получай и ты. Что ж ты полную ладонь-то наплевал! — крикнул рабочий, остановившись в затруднении перед солдатом в рваной шинели. — Вылей!

— Что ж ему, слюни вольные, — сказал кто-то.

— Черт ее знает, написали и неизвестно что, — говорил человек в чуйке, поднеся близко к глазам и разглядывая свою ладонь, — не то четыре, не то семь. Грамотеи...

Когда очередь дошла до дамы с господином, оба покраснели и заявили, что будут стоять без всякой записи и чтобы от них отстали.

— Ай обиделись? — спросил кто-то из толпы.

— Да. Беда с этими господами. Что ни шаг, то обида.

Когда господин с дамой хотели занять место в очереди, стоявший впереди человек в чуйке выставил локоть и, тихонько оттеснив им даму, сказал:

— Нет, уж вы без номерочка-то в конец станьте, а то опять путаница пойдет.

И так как касса уже открылась, дама, возмущенно переглянувшись с господином, пожала плечами, подошла к рабочему, писавшему номера, и протянула руку.

— Надумали? — спросил тот. — Вот вам карандашик, сами можете поплевать и сами проставить: из уваженья!

Все стояли, держа бережно правую руку, чтобы не стереть номер; когда кто-нибудь, увидев знакомого в очереди, подходил поздороваться, тот подавал левую руку.

— Ай поранили чем? — спрашивал подошедший.

— Нет, номер боюсь размазать.

— Ну что, устроились? — спросил дружелюбно милиционер, подойдя к очереди.

— Устроились, — сказали все дружно.

— Еще лучше, чем с листом, батюшка, — сказала старушка в платке.

— Лист-то, глядишь, забельшат куда-нибудь, ты и остался, а тут сам себе хозяин, ходишь с номером и знать никого не знаешь.

— А главное дело — человека не обидели, — сказал старичок в тулупчике.

## Гостеприимный народ

Поезд с солдатами, схавшими

с Туркестана, остановился на маленьком полустанке и в продолжение суток не двигался с места.

— Вот мерзнешь, как собака, — сказал худощавый солдат в рваной шинели, съезжившись и спрятав руки в рукава. — Одежи нет, дров тоже нет, — прибавил он, оглядываясь по сторонам.

— Дядя, дровец так-то не будет?

— Нету, — отвечал проходивший мимо железнодорожный сторож с бляхой. Он остановился и посмотрел на солдат. — Шпалы, какие были, все солдаты пожгли, доски — тоже.

Сторож оказался хороший, словоохотливый человек, с ним закурили трубочки, разговорились.

— На нашу долю только одни заборы, знать, остались, — сказал другой солдат в куртке с короткими рукавами, сшитой не по его росту.

— Вроде этого...

— Это чей забор-то там?

— Жителя одного здешнего.

— Ничего не поделаешь, придется его ломать, больше ничего не осталось.

— Народу уж очень много едет, — сказал сторож, — тут всего было, а теперь — чисто... Ну, вы полегоньку ломайте, а я отойду, а то неловко. Затем и приставлен, чтобы смотреть. Самого-то нет, в город уехал. Раньше ночи не придет.

Солдаты пошли. Через минуту послышался хруст раскачиваемого на подгнивших столбах забора. А еще минут через пять все сидели по другую сторону вагонов, на полотне дороги, прилитой, как всегда около вокзалов, черной нефтью, и грелись у костра.

— Обладили. Крашеный-то хорошо горит.



— Крашеный — на то что лучше, — согласился сторож.

— Щиты вот тоже хорошо горят.

— Щитов больше нет, да и ничего больше нету...

— Ох, головушка горькая, — сказал кто-то, вздохнув. Все замолчали.

— Вот проснется завтра хозяин, хватъ.— забора нету.

— Видней будет, окна от свету загораживает, — сказал солдат с короткими рукавами.

— Что, если б захватил на месте, вот крыть-то начал бы, да еще сволок бы куда следует.

— Нет, — сказал сторож, — теперь привыкли, обошлись и ничего.

— Хорошие стали?

— Ничего, обошлись. Особливо, если не нахальничать. Вот ведь я, скажем, к тому приставлен, чтобы за добром за казенным смотреть, а вы обошлись по-хорошему — я ни слова.

— А мы из Туркестана едем, так там другим концом повернулись. Спервоначалу вот какие были хорошие, ну просто... Словом сказать, у них там есть такой закон, что, ежели гость к тебе пришел — хоть тот же солдат, скажем, — обязан его напоить, накормить — и все бесплатно.

— Бесплатно? — сказал сторож и отодвинулся на корточках от дыма, чтобы слушать, не отвлекаясь.

— Бесплатно.

— Гостеприимный, значит, народ?

— Страсть!

— Это еще что... Там есть такой закон, что, ежели гость похвалит, скажем, шубу хозяйскую — халат поихнему, — пондравится ему, то хозяин должен отдать ее.

— Гостю-то?!

— Да.

Остальные солдаты сидели вокруг костра и молчали, копая изредка в огне палочкой, как люди, знающие уже все это. А кругом чернела осенняя ночь, и тускло светились огоньки затерявшегося в степи полустанка.

— Да, вот это так народ. И много от них так-то пользовались?

— Много... — неохотно отвечал худощавый. — Это еще начальство мешало, сколько назад отобрали.

— Зачем же отбирать-то, коли закон такой?

— Вот спроси...

— Бывало, наешься, напьешься и начнешь хвалить: и халат хорош, и то, и другое.

— И не совестились?

— Спервоначалу, конечно, понемножку брали, все как будто неловко. А потом, когда видим, что все смекнули, тут уж некогда разбирать: нахваливаешь, что под руку попало.

— А они что же? — спросил жадно сторож.

— А что же они издают, когда у них закон такой? Известное дело, чуть не волком воют.

— А слушаются все-таки закона-то?

— Слушаются. Народ хороший, помнящий. И вот, братец ты мой, так их обчистили, что надо лучше, да некуда. И сначала, бывало, как нас увидит, так к себе зазовет и уж угощает тебя до отвала, а потом сидит и ждет, что похвалишь.

— Ждет?! Вот это народ.

— А потом как стали охапками от них волоочь, тут уж прятаться начали.

— Против закона, значит, уж пошли?

— Чудак-человек, вдрызг отобрали.

— Спрячешься, когда своими руками свое же добро отдавать, — сказал солдат с короткими рукавами.

— На человека по одному одеялу не оставили, — продолжал худощавый. — И все по закону, а не то чтобы нахальничать как.

— Раз люди хорошие, гостеприимные, надо с ними поблагородней стараться, — заметил сторож.

— То-то и дело-то. Ну, да оно и по-благородному не плохо вышло. Только потом уж — крышка: иной раз хвалишь какую-нибудь овцу паршивую, а он ровно оглох. Тогда уж воровать стали.

— Живо в православную веру перекрестили.

— А то как же. Ну, да и они тоже скоро смекнули, как с нашим братом обходиться: потом палку какую-нибудь возьмешь, так он норовит тебя к комиссару стащить.

— Скажи, пожалуйста, до чего переменялся народ! Сразу к порядку приучились.

Вдруг около домика, откуда приволокли забор, слышался в темноте скрип телеги. Потом замолк, точно ехал и, сбившись, остановился, отыскивая дорогу. Потом послышалось восклицание:

— Господи Иисусе! Куда ж это меня занесло? Дома на печке заблудился. Эй, народ! Какая эта станция? — крикнул он солдатам.

— Скажи, что Арсеньев, — шепнул сторож солдату, — мне надо отойти. Это сам хозяин. Знакомый мне...

— Арсеньев! — крикнул солдат с короткими рукавами.

— Что за черт!.. — донеслось от дома. И через минуту вдаль, в свете костра показался человек в поддевке и с кнутом.

— Разум, что ли, отшибло — спутался впотьмах, своего дома не найду.

— А сюда не залил грешным делом? — спросил худощавый солдат, щелкнув себе пальцем по шее, и, сморщившись от дыма, посмотрел на подошедшего.

Тот ничего не ответил на это и только водил глазами по сторонам.

— Все, как есть, на месте, — сказал он, но вдруг увидев под ногами свой забор, почесал висок и, ничего не сказав, пошел обратно. Только когда отошел шагов на десять, слышно было, как он со злобой плюнул.

— Ушел, что ли? — спросил из-за вагона сторож.

— Ушел... Нашел дом-то. А то он его по забору искал, да сбился, — сказал солдат с короткими рукавами.

— И ничего не сказал? — спросил сторож.

— Ничего. Только плюнул. И то уж отошедши.

— Ведь ежели бы прежде на него наскочил, он бы тебя в волостное сволок, все бы потроха у тебя обобрал. А сейчас — как будто так и надо.

— Отвыкли уж. В новую веру перекрестили, — сказал солдат с короткими рукавами.

— Одни отучаются, а другие приучаются.

— На кого, значит, как... — сказал сторож.



тряд, схавший в деревню за хлебом,

разместился в двух товарных вагонах.

Трое красноармейцев высмотрели себе местечко на пустой товарной платформе и поместились со своими ружьями и сумками в кондукторской будочке.

— И ветру нет, и кругом хорошо видно, — сказал один в бараньей шапке с лентой пулеметных патронов, перекрещенных на груди, как у дьякона орать, когда он выходит к царским вратам перед причастием.

— Хорошо бы тут чайку попить, — сказал другой, высокий рябой малый, усевшись под защиту будки на свою холщовую сумку и держа стоймя в коленях снятое ружье.

— Мужики напоят, — сказал третий, с подвязанным глазом, подмигнув при этом здоровым глазом.

— То-то тебя уж третьего дня напоили — глаз-то подвязал.

— Оттого, что командир дурак был. Скажи на милость: пошли на реквизицию днем и еще делегатов вперед послали. Так и так, мол, товарищи крестьяне, идем хлеб у вас отбирать.

— Да, ума немного, — отозвался красноармеец с патронами. — Мы с своим всегда ночью ходим.

— А как же, днем только дурак какой-нибудь пойдет. Вот они сейчас, конечно, в набат, сбежались со всех деревень и давай нас бузовать. Я-то хорошо хоть глазом отделался.

— На реквизиции первое дело надо врасплох заставить, — сказал рябой, начищая рукавом ствол ружья.

— И прямо со стрельбы начинать. Вот мы тоже ходили: как с вечера залегли округ села, выждали, пока стемнело, мы тут и пошли барабанить со всех концов. Вот, братец ты мой, потеха-то была!

— Живо разбудили.

— Что тут было, господи твоя воля. Выскочили они — кто куда. И первое дело скотину сгонять.

— Вот-вот, это у них — первое дело.

— Так мы, братец ты мой, как пошли — в полчаса нареквизировали столько, что другой, может, в два дня не соберет. И что ж ты думаешь, смех смехом, а мы целый отряд на это на восточный фронт отправили.

— Иначе с ними и нельзя, — сказал хмуро рябой, — а ежели по-благородному приди и скажи: так и так, мол, революция гибнет, ежели по десяти пудов со двора не дадите, опять в кабалу пойдете — нипочем не дадут.

— По пуду не дадут! — сказал возбужденно красноармеец с патронами.

— У нас тоже сначала ездили было не хуже попов каких-то, — сказал угрюмо, глядя в сторону, рябой, — ораторов высылали, «товарищи крестьяне, долг вас призывает»...

— Ну да, известная чепуховина, — сказал красноармеец с патронами, ждавший поскорей услышать суть дела.

— Да... так ни шута толку. Они, окаянные, пока ты перед ними расписываешь, всех баб мобилизуют и все попрятнут. Оратор еще свою музыку не кончил, а у них уже все чисто.

— В конопляниках больше прячут...

— Да, первое дело — в конопляники иди, — сказал красноармеец с подвязанным глазом.

— Потом-то мы уже смекнули и после речей этих прямо в конопляники — шмыг!.. И тащишь, что бог послал. Да и то сказать, тут нужно работать, покамест не опамятовались, а то ворон будешь считать — и вовсе с носом останешься.

Поезд подъехал к станции, и в задних вагонах стали торопливо размещаться какие-то люди в шапках и с ружьями.

— Это еще какие?

— Должно, тоже в деревню.

— Нет, их чтой-то мало дюже, — сказал рябой, мельком взглянув на садившихся.

— Вы куда? — крикнул красноармеец с патронами, которому под впечатлением разговоров не сиделось.

— С этим поездом, реквизиция по вагонам, — сказал, не взглянув на него, черный солдат, стоявший у вагона и следивший за посадкой.

— Говорит и не смотрит, черт, — сказал хмуро рябой.

— Должно, начальник отряда.

— Господа... — отозвался опять недоброжелательно рябой, — им тут хорошо по вагончикам-то прогуливаться, а вот в деревню бы прогулялись, вот бы узнали.

— Да, там хуже, чем на войне: поймают и живьем в землю.

— Это у них один разговор. Немало вашего брата туда запрятали.

— А по вагонам здорово, — сказал красноармеец с патронами, — я ездил, бывало, как видишь, много такого народу подобралось, поезд в поле остановишь, для порядку постреляешь вверх, потом иди — что хочешь бери.

Вдруг поезд остановился, и со стороны задней части поезда загрохотали выстрелы.

Красноармеец с патронами и другой, с подвязанным глазом, вскочили и бросились на край платформы смотреть.

От поезда в разных направлениях, волоча за собой мешки по траве, бежали мужики, бабы к ближнему лесу.

— Ох, здорово подкараулили! — крикнул солдат с патронами и вдруг закричал тонким залиvistым голосом, с каким борзятники скачут за зайцами:

— Ая-яй! Держи! Лови!

Даже хмурый рябой повеселел, как старый, потерявший во все веру музыкант веселеет и улыбается сквозь свою хмурость, когда услышит знакомый мотив, напоминавший ему веселое время.

— Только, черти косопузые, что же они сообразили — около лесу-то пригадали остановиться, — сказал он.

А красноармеец с патронами кричал и топал от нетерпения ногами.

Когда поезд тронулся и все затихло, он нагнулся с платформы и крикнул по направлению к задним вагонам:

— Много набрали?

— Хватит... — донесся недовольный голос.

— Да, вот это служба, — сказал красноармеец с патронами, — мне только месяц пришлось так поработать, а потом прямо в деревню назначили, черт бы ее подрал.

— Оно тоже и в деревне иной раз не плохо выходит. Подгадывай, когда ярмарка или базар, — так и в деревне хорошо будет.

— Это верно, лучше нет. Расставят по всей площади эти горшки да колеса, лошадей отпрягут, оглобли вверх — и пойдут глазеть по базару.

— Вот тут и вали...

— На что лучше!

— Тут война идет, все с голоду дохнут, а они лопают себе господскую свинину да горшками на базаре торгуют, а за разверсткой поедешь — все бедные, ни у кого ничего нету.

— На базаре уже без ошибки будет, — сказал красноармеец с патронами, — мы один раз так-то (он усмехнулся и покачал головой) как налетели на этот базар, как начали в воздух палить, а наш командир — чужак был! — кричите, говорит, что немцы. Какие тут немцы... Ладно, мы палим, а сами во всю глотку. Немцы, немцы, спасайтесь!.. Что тут было... Как лошади пошли скакать промеж телег, да по горшкам, бабы-торговки, эти — кто куда. А мы гикнем, гикнем, да залп в воздух. Сколько тут нам досталось всего — не перечесть.

— И скажи, братец ты мой, вот теперь как образовали немножко, так иной раз сами привозят. Стали закон понимать.

— Закон без битья ни за что не поймешь, — сказал рябой, — это уж такая штука.

Все замолчали.

А рябой посмотрел на солнце и сказал:

— К ночи приедем. Как раз. Жалко, что месяц будет.

# Нахлебники

**Д**ворник сидел на табурете среди

наброшенных на полу обрезков кожи и чинил сапоги. На другой табуретке сидел его приятель, истопник из соседнего дома, в старом пальто и с черными от сажи руками.

— К тебе из тридцатого номера приходила жена музыканта этого, — сказала, войдя в комнату, жена дворника, маленькая старушка в теплом большом платке, завязанном под плечи на спине узлом. — Христом богом просила помогнуть дровец ей расколоть.

Дворник ничего не ответил, с сомнением посмотрел на кусок кожи, который он взял из ящика, и, бросив его обратно, стал рыться, ища более подходящего.

— Ну, прямо смотреть на них жалко, — сказала старушка, уже обращаясь к истопнику. — дров наколоть у ней силы нет, а мужу — музыка, говорит, не позволяет. Белье стирать не умеет, хлебы ставить тоже. Уж намерении сама пришла ей поставила.

— Вот нахлебники-то еще, наказал господь, — сказал дворник.

— Да, уж кто с мальства к настоящему делу не приучен, тому теперь беда, — сказал истопник, покачав головой.

— Прямо несчастье с ними, — продолжала старушка, размотав с головы платок и бросив его на стол. — Это у нас знаменитость, говорят.

— Теперь знаменитостью этой никого не удивишь, — сказал дворник.

— Не очень, стало быть, нуждаются?..

— Да, теперь дело подавай. А то коли дров колоть не умеешь, знаменитостью своей не согреешься.

— Господи батюшка, в квартире у них холод, грязь... живут в одной комнате, так чего у них в ней нет: и кор-



зины, и сундуки, и посуда; прямо как морское крушение потерпели.

— А что ж музыкой-то — не зарабатывает?

— Теперь зарабатывает тот, кто работает. А у них всю жизнь только финтифлюшки да тра-ля-ля.

— Отчего ж не позабавиться, — сказал истопник мягко, — господь с ними. Вреда ведь никакого от них...

— Играй себе, пожалуйста, против этого никто не говорит, да для всего надо время знать. А то вот теперь серьезное время подошло, а они...

Истопник хотел что-то возразить, но дворник перебил его:

— Намедни еще горе: труба у них в железной печке развалилась. Опять прибежала. Подмазывай им трубу. Вот то-то, говорю, кабы муж работать умел, тогда бы лучше было, а то и себе плохо, и людям вы в тягость. Так что ж ты думаешь — разобиделась. Он, говорит, всю жизнь работает, его вся Европа знает. Затряслась вся, да и в слезы.

— А сама, сердешная, все на мясо смотрит — обедали мы, муж из деревни свинины привез. Я говорю: что это вы смотрите? Она покраснела вся, завернулась и ушла.

— Уж очень их трогает, что прежде на них чуть не молились, а теперь дрова заставляют колоть, — заметил дворник. — Кто работает, тот и сейчас сыт и тепел. Возьми хоть прачку, какие деньги зарабатывает.

— Потому, дело нужное.

— Вот то-то и оно-то...

— Вот у нас тоже в нашем доме актриса... — сказал истопник, улыбнувшись и покачав головой, — забыл, как ее... Тоже, говорят, в свое время на всю Европу была. Так, бывало, господи... Иностранцы к ней приезжают, цветов одних сколько... В газетах печатали, как пошла, как села...

— Теперь, брат, цветы отменили...

— Под категорию не подходят?

— Вот-вот...

— Они осенью добивались в одну категорию с рабочими попасть. Чтобы хлеба больше выдавали.

— Работа трудная?..

— Это-то они знают... — сказал дворник, — нет, ты сначала пойди поработай, а то все в нахлебники норовят.

— Господи, да ведь есть-то хочется, — сказала старушка.

— Ежели теперь без работы всех кормить, так и дельные которые все с голоду подохнут.

— Вон, опять сюда идет, — сказала старушка, посмотрев в окно.

— Э, черт, полезут теперь. Не пускай, скажи, что дома нету.

Жена дворника, растерявшись, вышла в переднюю.

Из передней послышался женский голос, взволнованно говоривший: «Ради бога, хоть немного, а то мужу нельзя колоть, у него сегодня вечером концерт. Замерзаем положительно».

— По музыкам бы не ездили, вот бы не замерзали, — проворчал дворник.

— Да ведь для вас же, дикари, звери, о, боже мой, — крикнул из передней женский голос, и наружная дверь хлопнула.

Старушка, расстроенная до слез, вошла в комнату.

— Говорил, не пускай, — крикнул сердито дворник.

— Да она только в переднюю и вошла-то...

— И в переднюю пускать не надо. «Для вас же»... сами навязываются, а потом попрекают.

— Вон, вон, сам вышел с топором.

Все подошли к окну и стали смотреть.

Из подъезда вышел с топором седой господин с длинными волосами, в шляпе. В руках у него был топор и толстое березовое полено.

— Ну-ка, господи благослови, в первый раз за дело взяться, — сказал дворник.

Седой господин поставил полено около порога и, зачем-то посмотрев на свои руки, стал колоть. Дворничиха вздохнула и сказала:

— Ну, беда тому чистая, кто с малых лет к настоящему делу не приучен.

## Плохой председатель

На собрании жильцам дома было

объявлено, что с нынешнего дня начинается санитарная неделя и они обязаны вычистить все лестницы в доме и весь навоз со двора.

— Уж не знают, что и придумать, — сказала женщина в платке.

— То три месяца не заставляли, а то вдруг, пожалуйста, в одну неделю все им вычищай, — говорили разные голоса.

Все вышли во двор и стояли в ожидании, когда заставят работать.

— Кабы знали, что чистить придется, не валили бы зря. А то около черных ходов такие горы навоза, что промеж них как по коридору ходишь. Нешто их вычистишь!

— Председатель дюже хорош, не мог вовремя запретить. А теперь вот и гни спину.

— Что за нескладный народ, — сказал рабочий в суконном картузе, — кабы каждый аккуратно убирал за собой, ничего бы и не было, а теперь, вишь, какие горы.

— Председатель должен был смотреть за этим. Мы почему знали.

— Что ж ты, без председателя-то не знала, что перед дверью навоз валить нельзя, десяти шагов не могла сделать, до ямы донести! — сказал рабочий, обращаясь к женщине в платке.

— Это с верхних этажей в форточки вываливают. Ты разберись сначала, а потом и говори!

— Из верхних само собою, а ты вчера с порога горшок выливала.

— Я выливать стала, когда тут другие навалили.

— По сколько же теперь часов заставите каждого

работать? — недоброжелательно спрашивали у вышедшего председателя.

Председатель, высокий худощавый человек в солдатской шинели, суетливо оглянулся по двору, как бы проверяя, много ли собралось народу.

— Надо так пригадать, чтобы в неделю все кончить, — сказал он.

— То-то вот, кабы за делом-то смотрел, каждый день заставлял бы чистить, тогда бы по пяти минут на человека, больше бы не пришлось работать, а теперь целую неделю спину гни, — сказала женщина в платке.

— А сами-то вы где были? Кто вам запрещал чистить?

Женщина сердито промолчала, а потом сказала:

— Раз кто за этим смотреть поставлен молчит, что ж с нас-то спрашивать? Вы должны заставлять.

— Где ж ему заставлять. Его не боится никто. Вишь, вон собрался народ и стоит неизвестно чего.

— Когда ж работать-то начнем? — закричало уже несколько голосов.

— Так что ж вы не начинаете? Лопатка в руках есть, чего вам еще? — отвечал суетливо председатель, оглядываясь по сторонам и ища себе лопатку. — Дайте-ка мне лопаточку.

— Да вы заставляйте работать-то... а он лопатку ищет!

— Прямо смотреть тошно. Крикнуть не может как следует.

Все подошли к наваленным горам навоза и стали нехотя копать.

Председатель тоже принялся работать.

— Эх, прежний-то председатель был молодчина. Бывало, выгонит всех на работу, сам до лопатки не дотронется, а только стоит и кричит на всех.

— Да, у того не стали бы почесываться, — сказала женщина в платке. — Тот, как чуть что не так, сейчас — штраф, а не то вовсе в милицию. У того из окна помоев не выплеснешь, а если и выплеснешь, так, бывало, сначала раз десять оглянешься.

— Тот, бывало, сядет, сигарку в зубы и только кроет всех. И работали — в лучшем виде. Самим же лучше:

час отворочаешь, зато потом иди на все стороны. А тут вот будем через пень-колоду валить до вечера, а там дома работы по горло.

— Тут бы двинуть матюгом, сразу бы у всех руки развязались, а то копаешь, ровно сонный.

— Прямо работать противно, — сказала женщина в платке.

— Да, уж как не боишься человека, дело плохое. Вчерась тротуары чистили; объявили, чтобы к двенадцати часам собрались, а то его в милицию посадят. «Убедительно, говорит, прошу — не подведите». Вышел в двенадцать — ни души. Давай сам скрести.

— У прежнего, бывало, за четверть часа до срока все на местах. А как опоздал, лишних два часа работать заставит, да еще благословит тебя, — сказала женщина в платке. — Бывало, женщин и то такими словами кроет, ежели что не так, — и никто не обижался.

— Не обижались, потому что порядок.

— А у этого до того дошли, что на чердаке накат на дрова подпиливать стали, да все вторые двери на черных ходах пожгли, а он только все уговаривает да воззвания вывешивает.

— А в квартирах-то что делается? Прежний председатель цыпленка не позволял держать, а теперь кроликов развели, коз, — сказала женщина в платке. — Я поросенка купила, ташу его на третий этаж к себе по парадной лестнице, нарочно, чтобы на него не налететь (он по черной ходит), а, глядь, он как раз тут и идет навстречу. Этот домовый у меня сигает, из рук вырывается, а он загородился газетой, будто читает, и прошел, ничего не сказал, словно не видал.

— Может, и правда не видал?

— Какой там не видал, когда этот демон у меня чуть через перила не пересигнул, уж поперек его за живот схватила.

— Да, человечка господь послал.

— Ну, ей-богу, ничего не сделаем нынче, — сказала раздраженно женщина в платке, — вот уж целый час, как вышли, а работать еще не начинали.

— С таким председателем никогда не начнешь.

— Эх, смотреть противно. Стоим все как варенные.

Ежели б прежний-то был... Тот бы церемоний разводить не стал. Как двинул бы...

— Сразу бы заходили, — бодро сказало несколько голосов.

— Как же можно. Веселей дело бы пошло.

1920





Эпоха 1918 г.

**Т**рофим, штукатур, придя в волостной

совет на собрание, растерянно спросил:

— Баб-то, говорят, порешили?..

— Каких?

— Да жен законных...

— Хватился... Еще на прошедшей неделе. Все, которые венчались до совета, тем — крышка.

— Да я со своей старухой тридцать лет живу, — сказал печник, — куда же я ее теперь девать должен?

— Куда хочешь, а чтобы не было ее, — сказал Митька рыжий.

— Ежели дурацкая голова чего не понимает, должна молчать, — сказал член совета. — Никто их не гонит, а требуют только, чтобы печать приложили.

— К чему печать?

Тот подумал и сказал:

— К чему положено...

— Нет, там и про старых чтой-то говорили, — сказал штукатур.

— А про старых-то, что развод допускается.

— Ну вот, это самое... Да ведь это и прежде было, на счет разводу-то...

— Прежде ты должен был, может, года три лазить за ней с свидетелями, чтобы застать ее на нехорошем деле, а теперь разводишься, когда хочешь. Только подай заявление и выставь причину. А она из-за плохого обращения уйти может.

— Из-за какого обращения?

— Ну, ежели, скажем, поколотишь.

— Что же это? Значит, я теперь и бить уж не могу?

— Ругать даже не имеешь права.

— Свою-то собственную?! — сказала несколько голосов.

— Богом-то даденную?! — крикнул Прохор Степаныч, читавший в церкви за дьячка.

— Вы уж очумели с этим богом, — сказал с досадой солдат Андрюшка, которому нужно было что-то узнать от члена совета. — Так, значит, ежели я хочу развестись, могу я выставить причину, что я ее бил? — спросил он.

— Это она должна выставлять против тебя...

— Она?

— Ну да.

— А насчет имущества как? Ежели я с ней развелся, а у нас с ней — корова. За кем корова останется?

Член совета некоторое время молчал, потом сказал:

— Ежели выставишь причину, что жена виновата, то за тобой.

— А насчет новой как? — спросил Андрюшка.

— Насчет какой новой? — крикнул с досадой член совета, махнув рукой на штукатура, который тоже приставал к нему с чем-то. — Говори громче, не слышать ничего!..

И, сморщившись, вытянул шею вперед к Андрюшке, сидевшему на задней скамье.

— Я говорю, ежели я женюсь и у новой жены корова, чья она будет?

— Общая... покамест вместе живете... и... ну, конечно, муж всему голова.

— А ежели я со старой порешу, с новой повенчаю?

— Мы не венчаем. Венчает поп. Мы только печать приложим.

— Значит, из закона выскочил, а назад уж никак? — спросило сразу несколько голосов.

— Из какого тебе «закону»? — сказал член совета. — Гражданским браком живи.

— Да я гражданским-то, может, каждый божий день живу.

— Живешь, да без печати... И ежели у нее корова есть, ты до нее касаться не имеешь права. Печать сначала приложи. Понял?

— Понял... прямо голову потеряешь, как в лесу, на-кажи бог.

— Много народу мучается. Третьего дня столяр из



слободы со своей старухой разводился, так смотреть жалко было. Вот как жили, ну просто... Сам даже заревел.

— А из-за чего вышло-то?

— Невесту нашел. Две коровы при ней, полушубок, почесть, новый, да ржи пятьдесят пудов.

— Две коровы?..

— Да... Ну, и баба уж очень хороша... толстомордая, здоровая, лешего своротит, мешки пятипудовые таскает. А эта хоть и хорошая была баба, смиренная, но много дробней. Он своих две коровы привел да ее две.

— Мать честная...

— А прочно это будет?.. — спросил Андрюшка.

— Что?

— Да вот насчет имущества-то?

— А много у тебя за ней?

— За старой?

— Нет, за новой.

— Корова одна, холста пятьдесят аршин, поддевка суконная да сахару фунтов десять.

— Что ж со старой, ай поругались?

— Нет. Дробна очень. Хлебы ставит — мешка не может поднять.

— А, это другое дело.

— Намедни Иван Андронов пришел из солдат, хватился — ни жены, ни коровы, ни полушубка — ничего. Жена замуж за другого вышла и все туда перевезла. Теперь судится. Намедни встретил ее нового мужа. «Отдай, говорит, мне корову с полушубком и черт с тобой совсем». А тот говорит: «А что ж, говорит, я даром, что ли, брал бабу-то твою, она вон даже пахать не может. Бабу бери, если хочешь». Так и не отдал ни коровы, ни полушубка. Теперь как суд... Человек прямо готов руки на себя наложить.

— Об чем балакаете? — спросил кузнец, подходя.

— Да так, об коровах.

— Айдохнут опять?!

— Да нет, какой там дохнут... об разводе.

# Итальянская бухгалтерия

Семья из пяти человек уже третий

час сидела за заполнением анкеты... Вопросы анкеты были обычные: сколько лет, какого происхождения, чем занимался до Октябрьской революции и т. д.

— Вот чертова работка-то, прямо сил никаких нет, — сказал отец семейства, утерев толстую потную шею. — Пять каких-то паршивых строчек, а потеешь над ними, будто воз везешь.

— На чем остановились? — спросила жена.

— На чем... все на том же, на происхождении. Забыл, что в прошлый раз писал, да и только.

— Может быть, пройдет, не заметят?

— Как же пройдет, когда в одно и то же учреждение; болтает ерунду.

— Кажется, ты писал из духовного, — сказал старший сын.

— Нет, нет, адвокатского, я помню, — сказал младший.

— Такого не бывает. Не лезь, если ничего не понимаешь. Куда животом на стол забрался?..

— Что вы, батюшка, над чем трудитесь? — спросил, входя в комнату, сосед.

— Да вот, все то же...

— Вы уж очень церемонитесь. Тут смелей надо.

— Что значит — смелей? Дело не в смелости, а в том, что я забыл, какого я происхождения по прошлой анкете был. Комбинирую наугад, прямо как в темноте. Напишешь такого происхождения — с профессией как-то не сходится. Три листа испортил. Все хожу, новые листы прошу. Даже неловко.

— На происхождение больше всего обращайтесь внимание.

— Вот уж скоро три часа, как на него обращаем внимание... В одном листе написал было духовного — бо-

юсь. Потом почетным гражданином себя выставил — тоже этот почет по нынешним временам ни к чему... О господи, когда же это дадут вздохнуть свободно!.. Видите ли, дед мой — благочинный, отец — земле-владелец (очень мелкий), сам я — почетный дворянин...

— Потомственный...

— То бишь, потомственный. Стало быть, по правде-то, какого же я происхождения?

— Это все ни к черту не годится, — сказал сосед, наклонившись над столом и нахмурившись. — А тут вот у вас как будто написано на одном листе: сын дворничихи и штукатур.

— Нет, это я так... начерно комбинировал...

— Несколько странная комбинация получилась, — сказал сосед, — почему именно дворничихи и штукатур? Напрашиваются не совсем красивые соображения.

— Да, это верно.

— Ну, пропустите это, а то только хуже голову забивать, — сказала жена.

— Ладно, делать нечего, пропустим. А вот тут того, еще лучше: следующий пункт спрашивает, чем я, видите ли, занимался до Октябрьской революции и чем содействовал ей. Извольте-ка придумать.

— Участвовал в процессиях, — сказал младший сын.

— Э, ерунда, в процессиях всякий осел может участвовать.

— Писал брошюры, — сказал старший.

— А где они?.. Черт ее знает, сначала, знаете ли, смешно было, а теперь не до смеха: завтра последний день подавать, а тут еще ничего нет. Придется и этот пункт пока пропустить. Теперь: имеете ли вы заработок? Ежели написать, что имею, надо написать, сколько получаю. Значит, ахнут налог. Если написать, что вовсе не имею заработка, то является вопрос, откуда берутся средства. Значит, есть капитал, который я скрыл. Вот чертова кабалистика. Итальянская бухгалтерия какая-то.

— Вот что, вы запомните раз навсегда правило: нужно как можно меньше отвечать на вопросы и больше прочеркивать. Держитесь пассивно, но не активно.

— Прекрасно. Но ведь вам предлагают отвечать на вопросы. Вот не угодно ли: какого я происхождения? Это что, активно или пассивно?.. А, Миша пришел, официальное лицо. Помоги, брат, замучили вы нас своими анкетами...

— Что у вас тут? — спросил, входя, полный человек в блузе, подпоясанной узеньким ремешком.

— Да вот очередное удовольствие, ребусы решаем.

Пришедший облокотился тоже на стол, подвинул к себе листы и наморщил лоб. Все смотрели на него с надеждой и ожиданием.

— Что же это у тебя все разное тут? — спросил он, с недоумением взглянув на хозяина.

Тот, покраснев и растерянно улыбнувшись, сказал:

— Да это мы тут так... комбинировали, чтобы посмотреть, что получается?

— Хороша комбинация: на одном листе — почетный гражданин, на другом — из духовных... Да ты на самом деле-то кто?

— Как — кто?

— Ну, происхождения какого?

— Гм... дед мой благочинный, отец землевладелец (очень мелкий), сам я...

— Ну и пиши, что из духовных. Вот и разговор весь.

— А вдруг...

— Что «а вдруг»?

— Ну хорошо, я только сначала начерно.

— Вот тебе и все дело в пять минут накатали; ну, я спешу.

Когда полный человек ушел, хозяин утер вспотевший лоб и молча посмотрел на соседа.

— Как он на меня посмотрел, я и забыл, что он мне шурин. О господи, всех боишься. Спасибо, я догадался сказать, что начерно напишу. Вишь, накатал.

И он, оглянувшись на дверь, разорвал лист и отнес клочки в печку. Потом, потянувшись, сказал:

— Нет, больше не могу, лучше завтра утром на свежую голову.

Выходившая куда-то жена подошла к столу и заглянула в анкету. Перед ней лежал чистый лист.

— Ничего не удалось написать?

— Только возраст.

Когда жена ночью проснулась, она увидела, что муж в одном белье и носках сидел за столом и, держась рукой за голову, бормотал:

— Ну хорошо, ежели допустим, что свободной профессии, то какой?.. Если я писал брошюры, и они сгорели... Ну, возьмем сначала: Отец мой — землевладелец, дед — почетный дворянин, сам я — благотворитель. О боже мой, сейчас на стену полезу!

1921



## Плохой человек



коло усадьбы, принадлежавшей

бывшему генералу Андроникову, сидели мужики, кто с топором, кто с пилой.

Проезжавший мимо в телеге мужичок придержал лошадь и крикнул:

— Что собрались? Ай делить хотите?

— Собрали, вот и собрались, — сказал один высокий, тощий мужик, сидевший на бревне.

Проезжий соскочил с телеги, замотал за угол грядки вожжи и подошел к сидевшим.

— Кто собрал-то, советчики, что ли?

— А то кто ж.

— Ломать велят?

— Да... — неохотно отозвался тощий мужик и стал смотреть куда-то в сторону. Остальные сидели, лежали на траве с таким ленивым видом, с каким поденщики дожидаются прихода старосты, чтобы по его приказанию становиться на работу.

— Известное дело, человека обижать не хочется, — сказал проезжий и, сев на бревно рядом с тощим унылым мужиком, стал свертывать папироску, положив кiset на колени.

— Кабы хороший-то, ничего. Хороших давно уже всех разнесли. А вот такой подлюга, как этот, — тут задумаешься.

— Плохой, стало быть, был?

— Надо хуже, да некуда.

— Потому и цел до сих пор, — сказал угрюмо черный мужик с курчавой бородой, — а то бы давно разделили.

— Этот вот какой был!.. — торопливо и возбужденно проговорил чистенький мужичок в новеньких лапотках. — Бывало, овца мимоходом на его землю заскочит — штраф. Телка какая-нибудь только хвостом

над его зелеными махнула — штраф. Ни в чем спуску не было.

— Да еще нагайкой отлупит, ежели на самого нале-  
тишь, — прибавил как-то безучастно унылый мужик.

— Остерегайся, значит?

— Покуда некуда...

— Где ж он теперь-то?

— Да вот слух прошел, будто помер.

— Теперь, значит, вали смело, — сказал проезжий, подмигнув на постройку.

Все лениво молчали.

— Смело, да не очень, — сказал уныло мужик, поче-  
сав бок. — Как приедет, подать их сюда, скажет, суки-  
ных детей.

— Чудак-человек, ведь помер, откуда ж он возьмет-  
ся-то?

Унылый мужик ничего на это не ответил.

— Намедни пришли сарай ломать, — сказал чистень-  
кий мужичок, — только, господи благослови, взялись за  
дело, слышим — колокольчик на большой дороге. Как  
шарахнем все в разные стороны. Да по конопиям... А куз-  
нец наш — домовый его задави — бежит сзади, да как  
гокнет, гокнет. Держи! — кричит. Мы и вовсе очумели.  
Со страху боишься оглянуться, да и разум отшибло.  
Опомнились только, когда на большую дорогу выскочи-  
ли, да председатель навстречу: куда вы, мать вашу так!  
Куда, не слышишь, говорим, колокольчик. Ну что ж, что  
колокольчик. Почта. Ай обалдели?

— Значит, нагонял холоду? — сказал с удивлением  
проезжий.

— Нагонял... — неохотно ответил унылый. — У дру-  
гих все разобрали, да самих разогнали, а у этого чер-  
та, вишь, все цело. А кто борону какую утащил сперво-  
началу, так пуще глаза ее берег: ежели перевернется,  
чтобы прийти и сказать: вот, мол, ваше превосход-  
ительство, собственноручно сберег от разграбления, не  
так, как другие прочие. Да еще сторожа к усадьбе по-  
ставили, целую зиму кормили.

— Хорошего человека не опасаясь, — сказал чер-  
ный мужик, — а этот что лихая собака: ты его тронул, а  
потом он тебя...

— Вот председатель-то нас погнал, а сам гдей-то в кустах задержался.

— Тувалет справляет, лапти еще не обул... — сказал насмешливый голос.

— Ежели, мол, приедет, так мое дело — сторона, граждане сами захотели, а я письменного разрешения не давал.

— Ох и лих домовой был, царство ему небесное, — сказал возбужденно чистенький мужичок. — Бывало, от него уж ничего не упрячешь. Лучше всякого урядника найдет. Бывало, сговоримся всей деревней к нему в лес по лыки иттить. Пойдем, нарежем, спрячем, готово. А он кого-нибудь одного призовет к себе, вынесет стакан водки. Пей и говори, кто по лыки ходил.

— Ах, едят-те мухи. Ну, ну!..

— Ну и ну — все и выложишь ему.

— Вот подлый человек-то! — воскликнул с изумлением проезжий. — А ежели запереться и не говорить ему, что ж он мог сделать?

— Черт его знает...

— Как он есть сволочь, так от него всего можно ждать, — сказал угрюмо черный.

— И таким манером всех нас в кулаке держал. Бывало, лошадь мужицкую на своих зеленях увидит — лошадь к себе на двор, а тебя нагайкой.

— Без свидетелей?..

— И при свидетелях бывало. Он этим не стеснялся.

— Ну, это значит, не на таких наскикивал, — сказал проезжий, — тут бы его так закатать можно, что — мое почтение.

— Закатали один раз. По сию пору помним... — сказал черный. — А у того, кто закатывал, и теперь еще это место чешется. Налетел на него генерал — на выгоне было — да при всех исполосовал арапником. Мать честная. Глядим, наш мужик только моргает да перевертывается.

— Чтоб не по одному месту попало?

— Вот-вот. Ну, мы все, как один человек: подавай жалобу, поддержим, все в свидетели пойдем. А того не смекнули, что допрашивать свидетелей-то поодиночке будут. Ну, конечно, каждый думал, чтоб врага себе



не нажить: отопрусь, мол, — мое дело сторона, другие все равно покажут, и все равно этому черту сидеть не миновать и без меня. Да все и показали, что не то что аrapником, а пальцем не тронул. А потом этого голубчика разложили в волости за клевету, да сами же держали и драли. Вот он какой черт был...

— Поддержали, значит, да не за то место. Ах, господи, какие дела.

К разговаривающим подходил молодой парень в пиджаке и еще издали кричал:

— Ну, чего ж расселись? Когда ломать-то будем?

— Вишь, орет... Начальство себе какое поставили, — сказал черный и прибавил: — За нами дело не станет. Сломать всегда успеем.

— Сломать недолго, — сказало неохотно несколько голосов.

— Разбирай амбар. На школу пойдет.

Несколько человек поднялись и подошли к амбару. А чистенький мужичок проворно взобрался с топором на крышу и начал отдирать тесину.

— Вишь, черт, настроил...

— Что же, хлеб вольный был. Три тройки держал. Бывало, за версту шапку перед ним скидаешь, перед чертом.

— А зачем шапку-то скидал? — сказал председатель.

— Зачем... Зачем скидают. Грому, звону этого не оберешься.

— Взять бы ссадить его, сукина сына, всыпать горячих, потом опять посадить. Катай, мол, дальше.

— Поклон нашим свези... — подсказал чистенький мужичок с крыши.

— Ну, вали, вали, после поговоришь, — крикнул председатель.

— А ты что же не работаешь? Ты начальство и должен первый.

— Кто начинает, тот и отвечать будет. А то как приедет...

— Да помер же, говорят тебе русским языком, черт.

— Мало, что помер... А кузнеца опять нету. Как языком трепать да народ пужать, так это он мастер.

Председатель взял лом и тоже залез на крышу. Он поддел ломом под тесину и отодрал ее. Когда она упала на землю, кто-то сзади сказал:

— Ох, мать честная, аж сердце оборвалось...

И все почему-то молча оглянулись по сторонам.

— Ну-ка, другая легче пойдет, — сказал чистенький мужичок и стал за конец отгибать тонкую гнущуюся тесину.

— Человек-то уж очень сволочной был...

Вдруг откуда-то из-за кустов раздался хриплый старческий голос: «Вы что тут, сукины дети, делаете? А?»

У чистенького мужика обломила тесина, и он, не удержав равновесия, слетел, взмахнув руками, в крапиву. И сейчас же вскочил с таким ошалелым видом, как бы выбирая, в какую сторону бежать. А мужики, шарахнувшиеся к конопляникам, побросали топоры, но в это время упавший оглянулся на кусты и плюнул.

— Чтoб тебя черти взяли!

Все посмотрели на кусты и тоже плюнули. Там стоял кузнец.

— Шея-то целая? — спрашивал кузнецу чистенького мужичка.

— Цела... Самого бы так-то... Света невзвидел, ду-мал — ума решаюсь.

Опять принялись за работу. Несколько времени все работали молча. Потом черный мужик посмотрел на сваленные доски, высморкался через пальцы в сторону и сказал:

— Здорово наворочали. Вот как приедет генерал, посмотрит, какие это, скажет, сукины дети тут наработали. Подать их сюда! Да к становому.

— Хватился, дядя... Становых-то теперь и на свете нету.

— Мало что нету.

— Ему и станového не надо, а призовет какого-нибудь одного, выйдет с палкой, говори, скажет, сукин сын, кто это наработал?

— Вот сразу работнички и объявятся, — сказали все в один голос.

На вокзале была давка и суета.

Около кассы строилась очередь. И так как она на прямой линии в вокзале не уместилась, то закручивалась спиралью и шла вавилоннами по всему залу.

В зале стоял крик и плач младенцев, которые были на руках почти у каждой женщины и держались почему-то особенно беспокойно.

А снаружи, около стены вокзала, на платформе стоял целый ряд баб с детьми на руках. Бабы в вокзал не спешили, вещей у них не было, товару тоже никакого не было. Но около них толкся народ, как около торговков, что на вокзалах продают яйца, колбасу и хлеб.

— Вы что тут выстроились? — крикнул милиционер. — Билеты, что ли, получать — так идите в вокзал, а то сейчас разгоню к чертовой матери.

Бабы нерешительно, целой толпой, пошли на вокзал. Плача в зале стало еще больше.

— Да что они, окаянные, прорвало, что ли, их! — сказал штукатур с мешком картошки, которому пришлось встать в конце очереди, у самой двери.

У одной молодой бабы было даже два младенца. Одного она держала на руках, другого положила в одеяльце на пол у стены.

— Вишь, накатали сколько, обрадовались... в одни руки нехватишь. Что встала-то над самым ухом?

— А куда же я денусь? Да замолчи, пропасти на тебя исту! — крикнула баба на своего младенца.

— Прямо как прорвало народ, откуда только берутся. Вот взъездились-то, мои матушки.

— И все с ребятами, все с ребятами. Еще, пожалуй, билетов на всех не хватит.

— Очень просто. Глядишь, половина до завтрашне-

го дня останется. Вот какие с младенцами-то, те все уедут, — без очереди дают.

— Ах, матушки, если бы знала, своего бы малого прихватила, — сказала баба в полушубке.

— Попроси, матушка, вон у тех, что у стены стоят.

— А дадут?..

— Отчего ж не дать? За тем и вышли.

— За деньги, брат, нынче все дадут, — проговорил старичок в серых валенках.

Баба подошла к стоявшим у дверей и, вернувшись, сказала:

— Четыре тысячи просят...

— Креста на них нет, вчера только по три ходили, — сказала старушка.

— Кошку в полушубок заверни и получай без очереди, за младенца сойдет.

— Не очень-то, брат, завернешь, щупают теперь.

— Я тебя только что видел, никакого малого у тебя не было, — кричал около кассы милиционер на бабу, — откуда ж он взялся?

— Откуда... откуда берутся-то? — огрызнулась баба.

— Ну, кто с ребенком, проходи наперед.

— Вон их какая орава поперла. Вот тут и получи билет. И откуда это, скажи на милость? После войны, что ли, их расхватило так? Прямо кучи ребят. Там карга какая-то старая стоит — тоже с младенцем. Тьфу! Кто ж это польстился, ведь это ошалеть надо.

— Теперь не разбираются.

— Вот опять загнали к самой двери, — сказал, плюнув, малый с мешком.

— Возьми, батюшка, ребеночка, тогда тебя без очереди пустят, — сказала баба, владелица двух младенцев.

— Черт-те что... придется брать. Что просишь?

— Цена везде одинаковая, родимый: четыре. А в базар по пяти будем брать.

— Что ж это вы дороговизну-то какую развели? — сказал штукатур, поставив свой мешок и отсчитывая деньги.

— А что ж сделаешь-то...

Штукатур отдал деньги и взял ребенка на руки.

- Головку-то ему повыше держи.  
И баба взяла запасного младенца с пола.  
— Ай у тебя двойня? — спросила соседка.  
— Нет, это невестки. Она захворала, так уж я беру.  
Две тысячи ей, две мне.  
— Исполу работают... — сказал старичок, подмигнув.  
— Почему ребята? — шепотом спрашивали в толпе.  
— По четыре ходят.  
— Обрадовались!.. Все соки готовы выжать, спекулянты проклятые. Ведь вчера только по три были.  
— По три... а хлеб-то почему?  
— Прямо взбесились, приступу нет. Неделью назад мы со снохой ехали, за пару пять тысяч платили, а ведь это что ж, мои матушки...  
— Да, ребята в цену вошли, — сказал старичок, покачивая головой, — теперь ежели жена у кого хорошо работает, только гребни деньги.  
— Страсть... в десять минут всех расхватили.  
— Это еще день не базарный, народу едет меньше, и то беда.  
— А вон какая-то кривая с трехгодовалым приперла. Куда ж такого лешего взять?  
— Возьмешь, коли спешить нужно.  
— Это хоть правда.  
— Опять чертова гибель народу набралась, — говорил в недоумении милиционер, — вне очереди больше, чем в очереди. Куда опять кольцом-то закрутились. Черти безголовые! Раскручивай! Эй, ты, господин хороший, что не к своему месту суешься! — крикнул он на штукатура. — Ступай взад, тут бабы стоят.  
— Я с ребенком...  
— А черт вас возьми... ну, стой тут.  
— Что ж ты его вниз головой-то держишь, домоной! — закричала молодка, подбежав к штукатуру. — Вот ведь оглашенные, ровно никогда ребят в руках не держали.  
— Что ж ему, деньги заплатил, он уж и думает...  
Открылась касса. Народ плотной толпой, всколыхнувшись, подвинулся вперед. Пробежала какая-то торговка с жестянкой, посовалась у кассы и пошла искать

конец очереди. К ней подбежала кривая баба с трехгодовалым ребенком. Торговка прикинула его на руках и отказалась было, но потом, махнув рукой, завернула мальчишку в шаль с головой и пошла наперед.

— Сбыла своего? — сочувственно спросила старушка в платке у кривой.

— Только и берут, когда ни у кого ребят не останется, — сказала с сердцем кривая баба. — В базарные дни еще ничего, а в будни не дай бог.

— Тяжел очень. С ним час прстоишь, все руки отсохнут.

— Матушки, где же мои ребята?! — крикнула молодка, владелица двух младенцев.

— Теперь гляди в оба. Намедни так одну погладили.

— Вот он я, тут стою! — крикнул штукатур, приподнявшись на цыпочках из толпы.

— А другой там?

— Оба целы. Мы сами семейные.

— Старайся, старайся, бабы, — на Красную армию! — крикнул какой-то красноармеец, посмотрев на бесконечную очередь баб с младенцами.

— Да, бабы взялись за ум.

Штукатур, получив билет, пришел сдавать ребенка.

— А чтоб тебя черти взяли!.. Весь пиджак отделал.

— Оботрешься, не велика беда.

— Тут и большой-то покуда дождется, того гляди... что ж с младенца спрашивать.

— Чей малый? — кричала какая-то женщина, тревожно бегая с ребенком на руках. — Провалилась, окаянная!

К кривой бабе подбежала торговка и, с сердцем сунув ей малого, сказала:

— Лешего какого взяла, не выдают с таким. Только очередь из-за тебя потеряла.

Старичок в валенках посмотрел на нее и сказал:

— Ты бы еще свекора на руки взяла да с ним пришла.

## Дубовая снасть

**П**робил уже третий звонок, и поезд

должен был трогаться. Старушка в черной шали, сидевшая на крайней лавке вагона, перекрестилась, глядя на окно. Потом посмотрела на соседей и сказала:

— Ну, теперь немножко осталось, сейчас доедем.

— А я вот молочка дорогой по дешевке купила, — сказала женщина в беленьком платочке. И показала на бутыл, стоящую на лавке.

Все посмотрели на бутыл.

— Не скислось бы.

— Нет, теперь не больше часу осталось.

— А больше часу и не выдержит, — сказал мужчина в поддевке, похожий на прасола.

— Ежели задержки не будет, довезу, бог даст.

— Что ж он не трогается-то?

— Не готово что-нибудь.

— Чтой-то тут под нами копаются.

Все высунулись.

Под окном, около оси вагона, сидели три человека на корточках, в засаленных пиджаках, и что-то рассматривали под вагоном.

— Черт ее знает... — сказал один из них в кожаном картузе, — дойдет или не дойдет? — И полез в карман за кисетом с табаком.

— Вишь, вон она как, — сказал другой, сидевший с длинным молотком, каким на станциях пробуют колеса.

И постучал по колесу.

— Да...

— Белобородов, на консуляцию! — крикнул человек в кожаном картузе.

— Что там?

— Да вот рессора лопнула и вагон на колесо садится. Доедем?

Подошедший человек в забрызганном грязью брезенте тоже присел на корточки четвертым в ряд. И несколько времени молчали.

— Шут ее разберет... — сказал он и с недоумением некоторое время продолжал смотреть на рессору, как смотрят на павшую среди дороги от неизвестной причины лошадь.

— Вишь, вон она как... — отозвался опять человек с молотком и еще раз постучал.

— Да... Может, еще и доедет.

— Скоро ли поедем-то? — крикнула женщина с молоком.

— Подождите вы там, не до вас. Сидите, ну и сидите.

— Нет, не доедет, — сказал вдруг человек в брезенте.

— О?

— Ей-богу, не доедет. Чудак-человек, ты посмотри, вагон-то совсем на колесо сел. Как под горку пойдет, так все к черту в щепки разнесет.

Все задумались, продолжая сидеть в ряд на корточках. Человек в кожаном картузе поднялся и крикнул на смотревших из окон вагона:

— Уходите все к черту из этого вагона, отцеплять будем.

Все лица мгновенно скрылись из окон.

— Матушки, места не найдешь, — кричала какая-то баба.

И все стали высыпаться из вагона и карабкаться на площадки других вагонов.

— Господи батюшка, может, доехали бы как-нибудь, — говорила женщина с молоком.

— А пожалуй, ничего, — сказал человек в брезенте.

Человек в кожаном картузе опять сел на корточки.

— О?

— Да, ей-богу. Ежели клин хороший загнать, в лучшем виде будет.

— Что ж, попробуем, а там видно будет. Ну-ка, Болдырев, принеси клин какой-нибудь.

Мужик в форме стрелочника побежал и через минуту вернулся с деревяшкой.



— Что ж у тебя, мозги-то ворочаются или нет? — сказал человек в кожаном картузе, взяв деревяшку и глядя на принесшего.

— А что?

— А «что»... Чертова голова, что ж ты и тащишь со-сновую. Ведь это машина или нет?

Стрелочник посмотрел на вагон и ничего не ответил.

— Дубовую-то не мог найти?

Принесли дубовый клин и стали забивать.

— Да, машина, брат, дело сурьезное, это тебе не те-лега, — говорил человек в брезенте, глядя, как забива-ют клин. — Тут без дубового и не подходи, как начнет махать — версты не проедет.

— Понимает он тебе это. Вот и понадейся на таких чертей, поручи им. Да будет тебе гвоздить-то, что ты ему всю голову размуслачил.

— Вернее будет. А то махнет всех под откос, мы ж еще виноваты будем.

Кругом стоял народ: мужики, бабы, лущившие се-мечки, и смотрели, как забивают клин.

— Опять можно садиться? — спросила женщина с молоком.

— Куда ты лезешь? Смерти, что ль, никак себе не найдешь, — крикнул на нее стрелочник, бегавший за клином.

— Она молоко везет, целую бутылъ, боится, скиснет.

Стрелочник посмотрел на бутылъ и замолчал.

— Ах ты, господи батюшка, — говорила женщина, беспокойно оглядываясь, — может, ничего, как-нибудь.

— Ну, так и быть, садитесь, может, дойдет, — сказал человек в брезенте.

— А как перебьет всех?

— Что ж изделаешь-то. Как перебить, так и пере-бьет. Этого не угадаешь.

— От судьбы не зарекайся, — сказал голос из толпы.

— Кажись, должен дойти, снасть дубовая, — ска-зал стрелочник, пристально глядя на рессору.

— Ну, значит, и толковать долго не об чем. Пошел. А там видно будет.

— Кому видно-то будет? — спросил, подмигнув, ве-сельый купчик в пиджаке.

На него рассеянно оглянулись и ничего не сказали.

— Ладно, попробуем.

Все бросились в вагон.

— Слава тебе господи, — крикнула женщина с молоком. — Тише ты, домовой, бутыль разобьешь. Вот народ какой, ей-богу, и крушенья не будет, а без молока приедешь.

— Не садитесь дюже на этот конец, — крикнул человек в кожаном картузе, — уходи с этой лавки.

— Да я, батюшка, легкая...

— На машине ты едешь или нет?.. Что ж ты и уселась над худым колесом. Вас, чертей, не останови, вы и навалитесь все на одну лавку.

— Ничего... снасть дубовая.

— Дубовая... сама-то ты дубовая. Вам — телегу немазаную, а не на машине ездить. Ну, ни черта не понимает этот народ.

— Готовы, что ли? — крикнули с паровоза.

— Сыпь, Рожнов!

Перед самым отходом поезда в больной вагон вскарабкалась старушка и, увидев пустую лавочку, проворно уселась. Но сидевшие на противоположной закричали на нее в три голоса:

— Нельзя на эту, рессора худая!!!

Старушка как обожженная отскочила и села на другое место, опасливо оглядываясь на пустую лавочку.

— Ну, слава тебе господи, может быть, довезу молоко... Матушки, чтой-то заскребло!

— Ничего, обойдется.

— Рожнов, не гони очень, на остановках поглядывай.

— А промежду остановок что?.. — спросил купчик из вагона.

— А промежду?.. Это там видно будет...

# Буфер

(Шутка)

Посвящается Ивану Михайловичу Москвину

I. Гражданин, вы обвиняетесь в том,

что на станции Кашира среди бела дня украли буфер.

II. Чегой-то?

I. Украли, говорю, буфер... часть вагона, предохраняющая от столкновения, такие чутунные тарелки на стержне.

II. ...А, да, да. Это точно было.

I. Значит, признаете?

II. Отчего ж не признавать-то, что было, то было.

I. Вы чем занимаетесь?

II. Все тем же...

I. То есть как все тем же? Чем именно?

II. Рыбку ловим.

I. Так зачем же вы буфер-то украли?

II. А то с камнем дюже неспособно.

I. Что с камнем неспособно?

II. Это я про лодку. Мы теперь с лодки ловим. Без лодки по нашим местам неспособно.

I. Так при чем же все-таки тут буфер, не понимаю. Для грузила, что ли?

II. (Смеется.) Куда ж такое грузило... Это тогда целую свинью на крючок сажать нужно.

I. Так зачем же?

II. А с ним много способней. Господа у нас сейчас какие там живут, так у них на лодках... как его... якорь этот. А мы до этого все с камнем обходились. Все портки об него обдерешь, вот поглядите, пожалуйста. Как зацепишь — тррр! — и готово. А буфер гладкий и за дно хорошо держится.

I. А раньше чем занимались?

II. Все тем же (утирает нос рукой). Я лучше голодный просижу, а уж рыбки половлюсь. Охотник до ужасти...

I. А раньше до этого вы не судились?

II. Чегой-то?..

I. Вот тут за вами еще дела числятся, говорю. Гайку для грузила вы никогда не отвинчивали?

II. Какую гайку?.. А, энту-то? Давнопшнюю? Это Иван Михалыч меня ославил. Он такого наблаговестил, что и половины того не было. Они у нас под Каширой летом на даче живут. Они и Борис Борисыч Красин. Охотники, сейчас умереть! Ну, да у них и снасти... Им бутер воровать незначем. Известное дело — господа.

I. Теперь господ нету, пора, кажется, знать.

II. Как же это нету. Я вместо якоря этого с камнем езжу, на леску весь хвост у кобылы обдергал, а они окромя того что у них снасть первосортная, номерная, еще на пуколках ездят... Небось для меня не приготовили...

I. Так вы на этом основании народное достояние расхищаете? С гайки начали, а теперь уж за буфера ухватились. Скоро целыми вагонами таскать начнете!

II. Вагоны для нас неподходящи.

I. То-то вот — неподходящи... А что подходяще, то все сопрете?

II. Как придется.

I. То есть как это — «как придется»?

II. Да так, таскаешь-то не для воровства, а потому что вещь нужная. А она иной раз лежит без пользы... не хуже этого бутера.

I. А у вас он с пользой?

II. А как же. Ведь вот целый месяц ловлю, портки-то целы.

I. Помолчите, мне нужно записать.

II. А, ну, ну... (Некоторое время молчит, потом усмехается и качает головой.) Для грузила... ведь скажет тоже, ей-богу. Это тогда целую свинью на крючок сажать нужно.

I. Замолчите вы.

II. Я ничего... Иконки-то нету, отменили, знать. А вот с рыбкой это не пройдет. Без молитвы ни шута не поймаешь. Господин, а вы все-таки запишите, что без бутера нам никак невозможно. Вообще тяжелое и гладкое что-нибудь, чтобы было, чтоб за дно цеплялось, а

порток не рвало... А Иван Михалыч Москвин тоже охотники, сейчас умереть! Как приедет, так сейчас ребят наших себе прикомандирует; выползков ему все несут. Он, ежели для рыбы, всякое дело бросит...

I. Ну, вот что: я сейчас буду протокол писать, так чтобы у меня не врать, меня не проведешь, я, брат, тоже рыболов.

II. О?! (Крестится.) Наконец-то на своего брата попал. А то, верите ли, господин, бывало, судишься, так это не судьи, а дрянь одна; ему говоришь про выползка, а он тебе не понимает, что такое есть выползок. Так это не судьи по-нашему, а просто дрянь. У вас-то на выползков ловят тут?

I. (Пишет.) Ловят... А вы, значит, и еще судились, кроме гайки?

II. Скрозь. И все из-за рыбы. Сколько я из-за нее потерпел — перечесать невозможно. За кольцо судился, на станции вывернул (лески очень хорошо отцепляет). Потом за капусту. Ночью после дождя пошел к соседу в огород за выползками, да капусту потолок. Месяц опять сидел. А все почему? Потому что судьи в своем деле ни аза не понимают. Вы вот, как рыболов, все рассудите, а они что?

I. Один, братец ты мой, вред от тебя. Какой же ты гражданин, скажи на милость! Революция была, все кверху тормашками перевернулось, а ты как сидел на своей рыбе, так и сидишь. В революции-то участия не принимал небось?

II. Я тут лодку делал...

I. Опять глупость. Какой ты деревни?

II. Запишите Климовой, как раз супротив коровьего перехода. (Судья пишет.) А у вас-то тут рыбка есть?.. (Молчание.)

I. Вот ты по своей глупости делаешь черт знает что, а теперь приходится возиться с тобой, протокол писать. А это выходит по статье, не совсем для тебя приятной...

II. Уж вы смотрите так, как... Ох и половились же мы в прошедшем году. Вот, братец ты мой, рыба шла, откуда что балось!

I. Да подожди ты... (Говорит про себя.) На месяц придется...

II. Чегой-то? (Молчание.) Вы-то что тут → на выползка или на простого червяка ловите?

I. Когда ты, наконец, утомонишься? Революцию проспал, обществу от тебя пользы никакой, капусту чужую топчешь, гайки отвинчиваешь...

II. Да что вы все об гайке об этой?

I. Неужели тебе никогда в голову не приходило бросить это занятие, ведь сколько ты из-за него терпишь...

II. Придираются очень... Ведь из-за гайки этой чего только не наплели на меня: и злой умысел, и кража. А там никакой кражи не было, не хуже этого... как его, бутера. Господа ловят — ничего, на пуколках разъезжают, а как мужичок себе полез, так не ндравится. Мне почесть все судьи говорили: брось да брось. Вот и вы тоже. Что ж, я много наловлю? Рыбы-то, слава тебе господи, на всех хватит. Рыбу жалко, вот и придираются. Конечно, ежели сам рыболов, вот завидки и берут.

I. Вот что, приятель, твое дело плохо: ты рецидивист...

II. К-как?..

I. Рецидивист. Упорное расхищение народного достояния. Гайка там, капуста и прочее.

II. Так, так... Гайка эта, значит, теперь на всю жизнь пошла?

I. Да. А сейчас тебя придется отправить...

II. Опять сидеть?!

I. Опять. Иди в коридор, подожди там.

II. Покорно благодарю. Значит, нам одна линия: и при царе сидели, и теперь сиди. Тоже рыболов... сволочь! Господи, когда ж это жизнь посвободнеет? (Уходит.)

[1922]

# Две пасхи

ОШИБКА

**П** о борьбе с религиозными предрассудками

объявлено было устроение комсомольской пасхи.

В уездном отделе образования с самого утра шла работа: клеили, красили, расчесывали лен на бороду Саваофа, шили сарафан для богородицы.

Каждые пять минут вбегал заведующий и с наивным видом начальника, которому кажется все легко, покрикивал:

— Скорей, скорей, ребята! Что вы копаетесь до сих пор!

Режиссер в закапанных краской штанах и в валенках, с утра ничего не евший, недовольно огрызнулся и ворчал на каждое замечание:

— Говорили, с факелами пойдем, а сунулся в отдел за керосином, там говорят: «Где раньше был, перед самым праздником лезешь».

— Что ж святых-то мало сделали? — сказал заведующий.

— А льны на бороды выдали? Что ж мы их, бритыми пустим?

— Из пеньки сделайте, откуда ж я вам льна возьму.

— То-то вот — из пеньки. Устраивай им пропаганду, бога ниспровергай, а тут... ну, какая это, к черту, пародия на Саваофа! — сказал режиссер, отходя и издали глядя на унылого малого с привязанной бородой. — Чертей тоже неизвестно из чего делать. Да народу небось никого не будет.

— Народу тьма будет, — сказал заведующий, — потому что идейная пропаганда. По городу везде расклеено объявление и сказано, что бесплатно всем.

— Ну, вот и не пойдет никто. Им раз плюнуть; пришлют из центра постановление, а тут весь избегаешь-

ся, прежде чем достанешь, что нужно. Куда богородица-то делась?.. Вот она. Что ты шляешься! С клеем, что ли, за тобой ходить! Где тебе подклеивать?

— Ну, вы поторапливайтесь, правда, а то вовсе ерунда выйдет...

— Что ж ты мантию-то наизнанку напяливаешь?! — крикнул режиссер. — Чертова кукла!

— А кто ее знает... — сказал унылый малый.

— «Кто ее знает»... По звездам-то не можешь разобраться?! Что ж они у тебя, под низом будут?

Он стоял перед унылым малым с банкой клея в руках и с раздражением смотрел на него.

— А держава где у тебя?

— Вот ламповый шар дали из читальни.

— Опять — ослы!.. Что ж ты впотьмах с ламповым шаром-то будешь? Раскокаешь его, а там и читать не с чем. И так одна лампа на всю читальню осталась. А плакаты готовы?

— Черт их знает, — сказал помощник заведующего и пошел в соседнюю комнату, где на полу и на столах ребята рисовали краской плакаты.

Один лохматый малый, со светлыми, совсем белыми волосами, обтер кисть о подол рубахи и оглянулся на других, как оглядывается в мастерской живописец, меняя кисти, чтобы дать себе отдых. Буквы у него в конце каждой строчки уменьшались и загибались книзу.

— Что ж ты не мог рассчитать наперед-то, балда! — крикнул ему помощник заведующего. — И потом: что же ты пишешь? «Нам не нужны небесные дядки»... Мягкий знак-то проглотил? Ведь тебе же написано, дураку. Одной строчки грамотно списать не можешь!

Малый только посмотрел на образец и на свое писание, потом, немного погодя, проворчал:

— Нешто за каждой буквой угоняешься...

— Иван Митрич, — сказал с раздражением подошедший режиссер, — что же это за хвосты чертям выдали, посмотрите, пожалуйста. Я просил толстых веревок, а они прислали сахарной бечевки. Что они, смеются, что ли, над нами?!

— Ну, скрутите в несколько раз, только и всего. А Будда китайский сделан?



— Сделали. Это самый трудный. Уж с чайницы скопировали.

— Ну и ладно. Только, Будда, ты ведь должен на корточках сидеть. Где он? Слышишь, Будда, ты на корточках сиди.

— Ну, готовы? — крикнул заведующий. — Я вам подводу велел приготовить. До монастыря на ней ступайте. А то погода такая, что не дай бог. Чертям-то пока накинуть бы что-нибудь дали. А то замерзнут.

Все стали выходить.

— Стой, стой! Оторвешь! — раздался испуганный голос в темноте.

— Что оторвешь? Чего стал? Проходи.

— На хвост наступил. Пусти, говорят!

— А ты распускаяй больше. На руку-то не мог перекинуть?..

У подъезда стояла телега, на передке которой бочком сидела, нахохлившись, какая-то фигура, держа вожжи в руках.

— Плакаты взяли?

— Взяли... Какой тут черт — плакаты, зги божией не видать.

— Ну, трогай! Будда, на корточках сиди, пожалуйста.

— Едем, а зачем едем — никому неизвестно, — говорил режиссер, — носу своего не видно, а мы с плакатами и в гриме.

— Не надо было про идейное говорить — никто не придет, — сказал помощник заведующего, — особенно когда первый раз устраиваешь.

— Пожалуй...

Телега, подскакивая на обтаявших камнях, ехала вниз по улице. В густо нависшем тумане, из которого падали редкие капли дождя, едва заметно, мутно светились кое-где окошки домов да на углах улиц редкие фонари.

— Да, напрасно про идейное объявили... — сказал кто-то еще раз.

— Не буду я больше сидеть на корточках, какого черта! — сказал Будда.

— Э, ну тебя совсем, сиди, как хочешь.

Черти уже начинали мерзнуть и стучать зубами. Когда подъехали к монастырю, там все было темно. Лошадь отправили обратно, и, выбрав посуше местечко, стали подпрыгивать, чтобы согреть ноги.

— Ну конечно, ни один черт не пришел, — сказал с раздражением режиссер. — Теперь грим от дождя расползется — все на чертей будем похожи.

— И как это черт его надоумил про идейное написать...

— Да... Теперь вот что: подождем, когда будут сходиться к заутрене, тогда и начнем.

— Хоть бы поскорей утренняя начиналась, — сказал Саваоф, пряча от холода то одну, то другую руку в карманы, в которых он держал ламповый шар. — Вот этого черта навязали еще. Все руки об него обморозил...

Все стояли на пустой темной площади перед монастырем и приплясывали от холода. Из калитки дома напротив вышла была какая-то тень, но сейчас же шаркнулась обратно.

— Когда ж заутреня-то начнется? Уж половина двенадцатого.

— Через полчаса. На Пасху всегда в двенадцать начинается.

— Погреться бы куда-нибудь пойти, да неловко. Пойди у церковного сторожа спроси, когда начнется, а то что-то странно: полчаса до начала, а там еще никого нет.

Один из чертей, придерживая хвост, побежал к сторожке, постучал в окошечко, что-то поговорил через стекло, стараясь не попадать в полосу света, и вернулся.

— Вот это так угодили. Это лучше идейного: утреня-то по-старому в двенадцать, а по-новому — в два часа начинается!..

— Тьфу!.. Ведь это околеешь тут до двух часов. Лошадь как на грех еще отпустили. Ноги вдребезги промокли. Пойдемте в сарай, что ли, погреться, там все-таки не так мокро.

Все, пробравшись в ворота стоявшего на площади сарая, отыскиали ошупью впотьмах сваленную в углу

прошлогоднюю солому и присели на корточках, сбившись для тепла в кучу.

— Вот как хозяин заглянет сюда с вилами... — сказал режиссер, — вот тебе будет представление!..

— Ах, черт! Вот устряпали штуку. Хоть бы один дьявол вышел. А ведь объявление небось все читали.

По площади кто-то проехал на телеге. Слышно было, как разбрызгивалась грязь, смешавшаяся со снегом. Потом телега вернулась обратно.

— Ребята, где вы? — послышался голос заведующего.

— Здесь...

— Утренняя, оказывается, в два часа...

— То-то вот — оказывается...

— А я езжу по всей площади, ищу вас. Чтой-то вы сюда забились?

— Забьешься...

— Ах, черт, вот маху дали. Никто не пришел?

— Ни одной души. Тут нужно бы музыку пропустить сначала, потом ребят накрасить всеми цветами, тоже пропустить. И чтоб места — ограниченное количество.

— Это верно... Замерзли небось?

— Еще бы не замерзли. Мокрые все, как собаки.

— Ну, садитесь скорей, нынче уж не стоит. Черти небось зачоченели совсем. Будда, садись как следует, что ты все на корточках!

— Озяб очень...

Все стали молча рассаживаться на телеге. Вдруг послышался звон разбитого стекла. Кто-то плюнул и сказал:

— Так!.. Чтоб тебя черти взяли!

— Что там?

— Державу разбил.

— Эх, тюря! Последний абажур...

— Ну садитесь, садитесь. Ой, черт, что это мокрое попало под сиденье?

— Это мой хвост, — сказал один из чертей.

— Так оторви его к дьяволу, что ж ты распускаешь его, когда и без того все мокрые.

Обратно ехали все молча. Только заведующий покачал головой и сказал:

— И как это меня черт угораздил — не понимаю.  
— Что?  
— Да вот ошибку эту допустил: про идейное-то упомянул.

## II ПУСТЫЕ ГОЛОВЫ

Вечером, накануне Пасхи, когда в пригородном селе допекались последние куличи, около народного дома толкался какой-то народ, подставляли лестницы, что-то устраивали. А потом на фронтоне дома ярко вспыхнули красные электрические звезды.

— Что там такое? — спрашивали друг у друга редкие прохожие.

— Э, пустые головы... ребята все пропаганду свою устраивают против бога. Люди в церковь собираются, а они — черт ее что.

— Наши мужики грозились, что ежели они будут безобразничать, то соберутся и исколотят всех.

— Ну, да слава богу, на нее, на пропаганду-то эту, внимания никто не обращает: в прошедшем году ни одного человека не было; поездили, поездили, да так и вернулись ни с чем. Хотели было перед церковью безобразие устроить.

— Нынче, кажись, чтой-то еще придумали. Гимнастику будут у всех на глазах делать, музыка будет...

На улице показался отряд мальчиков со знаменами и барабаном, направлявшийся к народному дому.

Из калитки выскочила молодая баба в накиннутом на голову платке.

— Тьфу ты пропасть, думала, солдаты идут, — сказала она.

Но все-таки остановилась посмотреть. Шедшие по краю мостовой прохожие тоже остановились и стали смотреть.

— На что время тратят... Вместо того, чтобы делом заниматься, а они...

— А все-таки ладно идут, — сказал кто-то. — Малыши, а любо глядеть.

— Намуштровались за год-то.

— Глянь, еще идут! — крикнула стоявшая у калитки женщина в полушубке.

Показался еще отряд, более взрослых.

— И девки туда же! Ах, пустые головы. Вместо того, чтобы в семье праздник встречать по-христиански, они антихристу в лапы лезут.

Где-то за углом заиграла музыка, и на площади показался еще отряд с оркестром музыки. У калиток стал показываться народ.

— Какое безобразие! Под великий праздник музыка. О, господи, как только терпишь, милосердный, — сказала, вздохнув, пожилая женщина.

— Стараются музыкой завлечь, — сказал кто-то. — Только бы шли — они на всякие штуки пуститься готовы.

— Не очень-то пойдешь... Там, говорят, по билетам да за плату.

— О?! Значит, что-нибудь особенное придумали, раз плату положили.

— Да, говорят, сочинили какую-то штуку.

— О, пропасти на них нет, — сказала пожилая женщина, вздохнув, — религию не почитают, старших не уважают...

Все замолчали и смотрели вслед уходящим отрядам.

— А дорогие билеты? — спросил кто-то.

— Если пораньше захватить, и дешевые найдешь. Старикам и старухам, говорят, вход бесплатный.

Пожилая женщина хотела было еще что-то сказать, но промолчала. Потом немного погодя спросила:

— А с каких лет?

— Что с каких лет?

— Да вот бесплатно-то?

— Ну, как сказать... вот тебя пропустят. А ежели помоложе, то плати.

— Нет, скажи пожалуйста, как выровнялись ребятаю... И сурьезные какие. Идут, ровно тебе настоящие солдаты.

— Говорят, к попу приходили рясу просить, — сказала женщина в платке.

— Зачем?

— Что-нибудь выдумали...

— Взять бы хворостину хорошую... Что за поношение!

— Ну, да ведь все равно народу-то никого не будет.

Перед пустыми стенами поноси, как хочешь.

— Нет, туда что-то побежали, как будто.

— Такие же пустые головы, как они.

— Говорят, будто дьячок послал жену смотреть, как нашего попа представлять будут.

— Небось попадья придет, не утерпит. Вот бы поглядеть, как она себя будет чувствовать.

— Ей и стоит...

На улице показалась группа взрослых.

— Куда вы? — крикнули им от калитки.

— Пойти посмотреть, что эти умные головы творять будут.

— Попа, говорят, будут изображать?

— Там и попадья попала...

— О? Подождите, вместе пойдем.

— Нет, это правда, надо пойти посмотреть. Ежели безобразие какое, то прекратить. А то их оставили без больших, они там черт знает что разведут.

— Куда бежите? — крикнуло несколько голосов от калиток, когда шедшие подходили к концу улицы.

— Хотим безобразие это прекратить, — ответило несколько голосов.

— И хорошее дело.

— А ты, бабушка, куда?

— Да вот посмотреть хочу, что эти разбойники будут делать. Может, после этого и жить больше нельзя.

— А денег откуда возьмешь?

— Нам бесплатно, кормилец, объявили.

— Это другое дело...

— А ведь иные, поглядите, как на настоящее представление идут.

— Чтой-то старух-то сколько привалило?

— Им бесплатно.

— Небось рады эти молокососы, что к ним столько народу идет смотреть. А того не понимают, что идут над ними же смеяться, — говорили в толпе, которая уже приближалась к освещенному театру.

Из театра вышло несколько ребятишек. Увидев приближающуюся толпу, они бросились обратно. Слышно

было, как торопливо, испуганно захлопнулись двери и как зазвонил телефон.

Толпа остановилась около театра.

— Что ж они заперли-то?

— Должно, рано еще. Ждут, когда наберется побольше.

Простояли минут десять.

Вдруг послышался дребезг колес по мостовой. Кто-то быстро ехал к театру. Оказалось, что это начальник милиции с двумя милиционерами. Они быстро осадили лошадь у подъезда и выскочили с таким поспешным видом, как будто прискакали по чьему-то вызову.

— Вы что тут собрались? — спросил подозрительно начальник милиции у толпы.

— Билетов ждем. Да что ж они, товарищ начальник, назначают в десять часов, а уж сейчас больше десяти, — сказал крайний человек в поддевке.

— Да еще в середку не пускают. Ведь теперь не лето.

— Час простои́м да и разойдемся...

— Тьфу, черт! А я уж думал... — сказал начальник и не договорил.

— Прикажите пускать начать. До каких же это пор ждать! — слышались еще голоса.

— Сейчас распоряжусь.

— Матушки, милиция! — крикнул кто-то из темноты, и в свете фонарей показались фигуры бегущих к театру людей.

— Отпирают! Не напирайте там! — кричал какой-то человек в рыжей меховой шапке.

Люди, спершись в дверях и выставив для защиты боков локти, проламывались в открывшиеся двери. А в дверях стояли милиционеры и кричали на всех:

— Граждане, осадите! Других подавите.

— А вы пропускайте. Чего вы держите! — кричали сзади.

— Напирай сильнее. Старухи, не толкайтесь под ногами, куда вас лихая столько натащила! Вам в церкви место, а не тут. Старый человек, а тоже лезешь!

— Им бесплатно, — сказал кто-то.

— Батюшки, а меня пропустят? — спрашивала пожилая женщина у человека в рыжей шапке, к которому ее прижали грудь с грудью в толпе.

Человек в рыжей шапке, отклонившись головой назад, чтобы несколько издали посмотреть на лицо женщины, сказал:

— Навряд... молода. О, черт их возьми, ну прямо все бока растолкали.

— Там, небось, в зале-то, никого нету. Они нарочно давку такую устраивают. Ведь это какой народ: где тесно, он туда и прет.

— Сама-то зачем прешь?

— Я раньше пришла.

А стоявшие сзади смотрели на ломившуюся толпу и говорили:

— Ну, прямо за людей стыдно. Нарочно пошла посмотреть на народ.

— Я тоже. А учителя пришли с таким видом, как будто на какое важное дело идут. Да проходите вы там, сейчас уж небось начнется! — крикнула женщина в вязаной шапочке.

— Куда ж тут проходить? — сказал раздраженно рабочий, которого сдавили со всех сторон так, что он, положив локти на плечи старух, точно плыл, куда его несло течением. — Вы-то чего сюда приперли?

— Это не ваше дело, — сказала женщина в вязаной шапочке. — Устраивается не для вас одних, а для всех.

— Для всех ежели устраивать, так тогда кому нужно — не попадет.

— Поставили бы хорошую цену, вот бы тогда приздумались, а то бежит всякий, кому не лень. Да еще старух этих набилось. Откуда они взялись только?!

— Граждане, не напирайте! — кричал милиционер. — Временно закрываю двери, а то давка.

И он закрыл двери.

— Вот тебе здравствуйте! Ждали, ждали и опять ждать. Пришли, еще утренья не начиналась, а уж теперь небось половину отслужили, а у них еще народ весь не прошел.

— Да еще места не достанешь... — говорили в толпе.

Минут через десять двери открылись. Какая-то старушка юркнула было внутрь, но милиционер поймал ее за хвост и вытеснил обратно.



— Граждане, не толпитесь, расходитесь — нету мест больше. Не приказано.

— Тыфу! Чтоб тебя черти взяли, — сказал кто-то, — два часа стоял.

— А может, стоячие, батюшка, есть? — сказала старушка.

— Нету стоячих! Все вышли. В церковь лучше иди.

Некоторое время непопавшие все еще стояли перед закрывшимися дверями, словно дожидаясь чего-то. Потом медленно стали расходиться.

— Откуда идете? — спрашивал кто-нибудь по дороге.

— Да вот ходили было посмотреть, что эти пустые головы там устроили.

— Видели что-нибудь?

— А ну их к свиньям! Нешто туда пробьешься, кабы у них организация была, какая следует. Знают, что народу будет много, и не могли места заранее распределить. Теперь вот утреню пропустили.

1922—1923

**Р**азнесся слух, что священникам

запретят служить и запечатают церковь.

Когда собрались на собрание в школу, все были взволнованы, а печник, не дождавшись, когда откроют заседание, крикнул из угла от печки, где он стоял:

— Вы что же это, нехристи окаянные, уж до веры, знать, добрались?

— До какой еще веры? — сказал председатель.

— До такой... церкви прикрыть, что ли, надумали?

— Церковь может быть закрыта только в том случае, ежели не представите списков верующих и не подадите в совет.

— Попробуй только, закрой...

— Сами черту продались и нас хотите к нему на сковородку?

Председатель, нахмутив брови, смотрел в разложенную перед ним бумагу и делал вид, что не слушает и не слышит. Но потом поднял голову, некоторое время смотрел на печника и сказал:

— Об чем разговор?

— Об чем... знаешь... об чем...

— Граждане, вопрос о церкви сейчас будет обсуждаться в свой черед. Прошу не нарушать, Иван Никитьев, молчи.

— Нет, брат, где молчали, а тут — подожди. Как до веры дошли, тут вам крышка.

— Кончил, что ли? — спросил председатель.

— Кончил... когда только вы, черти, кончитесь.

— Ну и ладно. Так вот об церкви вопрос... слушайте вы там... дома поговорите.

Все оставили разговоры и подобрались, как подбираются в церкви, когда кончается проповедь и начинается опять богослужение.

— Ну, так вот: никто вашей церкви касаться и не воображает, а требует только, чтобы составили списки, кто верующий. А то, может, тут и верующих никого нет.

— Как это нет. Все верующие.

— Что ж мы, басурмане, что ли?

— Нас только со счета сбросьте, — сказали молодые.

— Да уж об вас не толкуют. Об вас давно черти плачут.

— А коли все верующие, так пишите заявление, — сказал председатель, — что хотите иметь церковь, и подписывайтесь.

— Что ж ее иметь, когда она у нас есть.

— Для порядка, чертова голова. Вы налог за нее прежде платили в консисторию?

— Платили. Ну?..

— Ну, вот и ну... и теперь надо платить. Вот вам лист, тут напишите заявление и ответьте на вопросы, когда подписываться будете.

Все замолчали и, приподымаясь на цыпочки, заглядывали через плечи других на переданный лист, который лежал на первой от председательского столика школьной парте.

— А какие вопросы-то?

— Там увидите. Заявление пиши сверху, — сказал председатель сидевшему на первой скамейке малому с нечесаными вихрами, в старом полушубке с новыми рукавами.

— Бумаги не хватит, тут все не упишутся, — сказал малый.

— Не хватит, еще дадим. Пиши: «Заявление... Мы, нижеподписавшиеся, составляем из себя группу верующих, на основании чего представляем список о желании иметь церковь...»

— Постой, скоро дюже, — сказал вихрастый малый, не поднимая головы от бумаги.

— А ты не очень разрисовывай-то... «иметь церковь для отправления религиозных богослужений». Ну, кто верующий, подписывайтесь. Да еще: «обязуемся содержать на свой счет и платить причитающиеся налоги».

Никто не двигался.

— Чего подписываться, когда тебе русским языком

говорят, что все верующие, черт! — крикнул печник с своего места.

— Вот и подписывайся иди, когда верующий. А то кричишь больше всех, а толку нет.

Все быстро оглянулись на печника.

Одну минуту он колебался, потом с ожесточением плюнул и стал пробираться с шапкой в руке через толпу, одним плечом вперед.

— Ну, где тут... — сказал он, положив шапку на лавку и засучив рукав поддевки.

— Вот отседа, — показал вихрастый малый и передал ему ручку.

— Расписался?..

— А то что ж...

— Постой, куда идешь-то?.. Отвечай теперь на вопросы, — сказал председатель.

Печник остановился и посмотрел вполуборот на председателя.

— На какие еще вопросы?..

— Сколько у тебя душ?..

— Четверо, ай не знаешь?..

— Земли сколько?

Ближние от стола молча посмотрели друг на друга.

— А земля тут при чем? — сказал после некоторого молчания Иван Никитич.

— Для порядка, вот при чем.

— Четыре надела... Ну, что будет дальше?

— Коров сколько?

— Ах, нечистые... — послышался тревожный голос.

Печник молчал. Все замерли. Вдруг он взял шапку с лавки и, утерев рукавом капельки выступившего пота, ни слова не сказав, пошел к печке.

— Куда пошел-то?.. Коров сколько? Говори!

— Две коровы... — отвечал печник, не оглядываясь и идя на свое место под устремленными на него взглядами.

Все смотрели на него так, как смотрят на проигравшегося в пух человека, идущего от игорного стола к выходу.

— Зачем же это коров-то? — послышался тревожный голос.

— Для сведения. Может, ты берешься содержать церковь, а у тебя ни черта нету.

— А много на нее нужно-то?

— Миллионов по десять с человека, — сказал председатель.

— По гривеннику, значит, — не много... Зачем же тогда корову-то всю описывать?

— А что ж, мы хвосты, что ли, одни будем описывать? Ну, подходи следующий, кто там...

Но те, к кому обращались, или в это время не туда смотрели и не видели, что это им говорят, или не слышали.

— Петр Степаныч, записывайся, на крылосе ведь поешь.

— Мать честная, уж поименно пошли выкликать...

— Эй, не выходить там! Когда кончится, тогда можете, — крикнул председатель, поднявшись со стула и глядя через головы к двери, которая вдруг стала каждую минуту отворяться и затворяться.

— Не выходить, дьяволы! — крикнул вдруг в какой-то ярости от печки молчавший все время печник. — Христопродавцы!..

На него все посмотрели опять с тем же выражением скрытого любопытства и сострадания, избегая встречаться с ним глазами.

— Ладно, — сказал вдруг громко Прохор Степаныч, стоявший в середине. И, махнув рукой, стал продираться через толпу к столу.

— Господи, не боится... — сказал бабий голос в задних рядах. За Прохором Степанычем вышел Сема-дурочок, за которого по неграмотности расписался вихрастый малый. А он сам в это время стоял перед столом, держа шапку у груди, и, улыбаясь, оглядывался по сторонам, как будто его чем-то отличили.

Но у него не было ни коров, ни овец — ничего.

— Кончили, что ли? — спросил председатель. Все молчали и оглядывались друг на друга.

— Из пятьсот душ — верующих только три человека, один процент, и того не будет, — сказал председатель, посмотрев в бумагу через стол.

— Ежели бы все записались, тогда бы отчего не за-

писаться, — говорили между собой в толпе, — а то попадешь не хуже Ивана Никитича.

— Главное дело, прямо, не говоря худого слова, за корову уж цепляются.

— Обдерут...

— Да... а они здорово попали. Где ж им двум справиться. Сема не в счет. У него, окромя души, ничего и нету, да и та убогая.

— Это что там?.. Ну, скажем, ты запишешься четвертым. Опять же только четверо.

— Только один из всех и постоял, как следует, не сдался. Пошли ему, господи, — говорили старушки про Ивана Никитича. — За одно это все грехи простятся.

— Церковь остается за вами, — трое граждан являются ответственными.

Все стали расходиться, стараясь пройти подальше от того места, где стоял печник.

— Продали, сукины дети, со всеми потрохами, — сказал печник.

Когда председатель с книгой шел домой, за церковью, в темном переулке, вышли ему навстречу одновременно две фигуры, одна с правой стороны, другая с левой.

Это оказались печник и Прохор Степаныч.

— Тьфу ты, черт, испужали до смерти. Чего вам?

Печник хотел что-то сказать, но, увидев перед собой Прохора Степаныча, ничего не сказал.

Прохор Степаныч тоже хотел что-то сказать, но, увидев перед собой печника, закусил губы и ничего не сказал.

Потом вдруг оба в один голос спросили:

— Домой, что ли, идешь?

— А то куда же...

— Косить-то завтра начинать будешь?.. — опять в один голос спросили оба и с ненавистью взглянули друг на друга.

— Надо начинать.

— Так... погода подходящая. Ну, надо домой идти, — сказал один, но не шел, точно чего-то выжидая.

— Ну, ладно, я пойду, — сказал другой, но тоже не шел и раздраженно косился на первого.

Дошли до председательской избы, постояли и разошлись, завернув один за один угол, другой — за другой.

Печник, зайдя в сарай, домой не пошел, а остановился выждать некоторое время. Потом выглянул из-за угла и встретился глазами с Прохором Степанычем, который выглядывал из-за другого сарая напротив.

— Тыфу ты... Нету никакой возможности, — сказал Иван Никитич и пошел домой.

В воскресенье, за полным отсутствием верующих в приходе, председатель запирает церковь. Кругом стоял народ и гудел. Старушки утирали слезы.

— За отсутствием верующих в приходе церковь объявляется закрытой, — сказал председатель, — и передается в народное образование для устройства просветительных целей.

— Глянь! Он опять свое. Вот окаянные-то! Христо-продавцы. Ведь ему русским языком долбили, что все верующие. Когда ж это кара на них придет, на отступников.

— И за что прогневался на нас батюшка, отец небесный, — говорили старушки, со слезами глядя на запертую церковь.

**П**рачка сидела во дворе под

развешенным бельем, чесала растянувшегося белого поросенка и разговаривала с соседкой.

— Вот только своей собственности и осталось, — сказала она.

Соседка вздохнула.

— У всех так-то...

— Но, в добрый час сказать, уж такой поросенок вышел, что и не думали и не гадали. Совсем заморух был, худенький, маленький, а теперь вишь какое сокровище.

— Ест-то хорошо?

— На еду ленив. Мы уж, почесть, насильно кормим. Понемножку да почаще. Вишь, шалун, что делает.

— Любит, когда за ушами чешут, — сказала соседка.

— А спит совсем как человек. У нас для него половинок в углу постелен, так он возьмет, ляжет, а голову к стенке прислонит. Прямо хоть подушку подкладывает.

— Без себя по двору не пускайте, а то живо свистнут.

— Сохрани бог! Я уж его ни на шаг от себя не отпускаю. Чисто в гувернантки на старости лет нанялась. Часа по два с ним гуляю. Ах ты, мошенник, посмотрите, что делает, раскинулся как. Ну, прямо как человек.

— Вы бы детишек заставили покарать, что ж все сами да сами?

— Э! Пропasti на них нету, нешто их дома удержишь? Прибегут, полопают и опять тягу.

— Да, по нынешним временам дети — крест господинь.

— Уж и не говорите, такая обуза! Маленький хворал намедни, думали с мужем — господь приберет. Нет, выздоровел. Ведь все-таки пять человек, как хотите.

— Да, наказание... А знает вас?

— Васька-то? По голосу узнает! Как только услышит,



что я говорю на дворе, если куда уходила, так сейчас о себе голос подает. А намедни я на базар ходила, он соскучился без меня, как услышал, что я иду, передние ноги на подоконник положил и смотрит в окно. Ну, прямо как человек! Только вот нынче что-то мало как буд-то ел. Уж трясешься над ним незнамо как.

— Еще бы, господи. Лето продержите, а зимой зарезать. Ведь в нем пудов пять потянет. По вашему двору тут штук пять можно бы развести. А муж-то ваш не занимается этим?

— Охотник! — сказала прачка. — Как с фабрики придет, все с ним возится, чешет его, а намедни сам купал.

— Как же, матушка, в нем одного сала пуда на два к зиме будет.

Калитка отворилась, и мимо сидевших пробежали в дом два мальчика босиком, с грязными, загорелыми ногами. Поросенок, испуганно хрюкнув, вскочил и сел на толстый зад.

— Чего вы, ошалелые, носитесь! — крикнула прачка. — Куда шлындраете! Ну, что испугался? Не тронет никто.

— Да, с детьми беда, — сказала соседка, — сколько с ними тревог да хлопот, не дай бог!

— А ну их, я уж махнула рукой, только бы на глазах не вертелись!

— Нет, я про то, что шляются неизвестно где, неизвестно с кем, и прямо не ребята, а какие-то разбойники.

— Известно, без призору. Ведь прежде, бывало, куда он вырастет, то с него десять шкур спустишь, а теперь его пальцем не тронь. А без битья нешто можно? Мы росли тише воды, ниже травы, и то в неделю раза два драли, не то что за дело, а просто для порядка. А эти ослы теперь палки и не пробовали.

Из домика выбежали ребятишки с удочками и кусками хлеба в руках, от которого откусывали по дороге, и побежали к калитке.

— Что вы каждую минуту лопаете? — крикнула прачка. — Вот наказание, столько летом едят, что сил никаких нет.

— Пробегаются, вот и едят, — сказала соседка.

— Ну прямо, поверите, ничего не наготовишься. Ис-

пекла третьего дня белый хлеб, целый каравай, нынче уж чисто, горбушечки подбирают. Когда эта прорва только насытится. И за что наказал господь: у людей один малый, много — два, а тут орава в пять человек. И ничего с ними не случается: ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Ведь это десять лет пройдет, прежде чем от него польза какая-нибудь будет, от старшего. А там младших — четыре рта, да еще какой вырастет. А то будет разбойником да мошенником.

— Только бы для дома хорош был, — сказала соседка, — с честным-то нынче хуже заплачешься.

— Это хоть верно... — Она помолчала, потом усмехнулась: — Ведь вот обед мужу подавать надо, сейчас придет с фабрики, а сижу с этим мошенником, привязалась к нему, словно он ребенок мой...

— Я бы сама так нянчилась, как же за такими не ходить: по времени в нем и пуда не должно быть, а уж в нем сейчас, небось, одного сала фунтов тридцать будет.

Во двор вошел муж прачки, мастер с фабрики, в парусиновом картузе и с руками, запачканными в нефти.

— Обед не готов небось? — крикнул он.

— Сейчас подогрею, — сказала жена, — не ори!

— И какими только делами вы, дьяволы, заняты! Спину гнешь с утра, придешь домой не жрамши, а тут ничего не готово, — кричал он, идя к жене. Но, увидев, что она чешет поросенка, замолчал и с не остывшим еще раздражением остановился. Потом присел на корточки.

— Ну, ты, — сказал он.

— Что ты лапами-то своими грязными хватаешь, только вымыли ведь.

— Не беда, еще вымоем, — сказал муж и, захватив в паху поросенка толстую складку, сказал: — Нагулял, мошенник, нагулял... накушался.

Через минуту жена вышла и крикнула:

— Ну, иди, лопай, десять раз, что ли, мне подогревать! То один придет, то другой. А этих окаянных с голоду поморю, весь день лопают, а как обед, так нет никого, пропади они пропадом. Господи, когда же это избавит царица небесная! Смерти, что ли, на них нету?

# Землемеры



КОЛО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА ТОЛПИЛИСЬ

мужики. Сидели на бревнах, на траве, курили и говорили о том, что земли становится все меньше и меньше, скоро жрать нечего будет.

— Чтой-то, братцы, народ собирают? — спрашивали вновь подходившие.

— Землю делить...

— Опять делить?! Ай новой где прирезали?

— Да, новой, кусок хороший вчера с неба свалился.

— У Степана Плотова жена двойню родила. Просит две палки дать. А там еще кой у кого.

— Тьфу! Черт их дери. И так земли нету, а тут еще эти черти каждый год новых ребят катают.

— Теперь двойнями пошли, а скоро целыми пачками начнут работать.

Вышел землемер и, поздоровавшись, сказал:

— Ай земли очень много, что никак не разделитесь.

— Земли столько, что телушка по своей земле бежит, а хвостом над чужой махает, — сказал мужик.

— А что же у вас эта-то гуляет? — спросил землемер, указав на задворки и бугры, спускавшиеся в лощину к речке.

Все испуганно оглянулись по сторонам.

— Где гуляет?

— А вон голый бугор, от гумен до самого ручья.

— А... Это неудобная, тут бугор. Она спокон веку так лежит. Ее пахать нельзя, лошади тяжело.

— Алопатою вскопать?

— Лопатой у нас не копают. Это все равно что на покос с ножницами иттить.

— Такой-то неудобной-то у нас сколько хочешь, — сказали мужики, — вон сейчас за деревней выгон начинается, так там десятин семьдесят будет.

— Тоже в буграх весь? — спросил землемер.

— Нет, ровный как стол.

— Чего же вы его не пашете?

— У нас выгонов не пашут. Лугов тоже опять нету. Зарились было на соседний лужок, тут деревенька у нас, хотели у них оттягать. Не вышло дело.

— Что ж, они на суде выиграли?

— Нет, тут же на лугу и выиграли, — отвечали мужики, — они с ружьями пришли, а у нас только колья были.

— Ежели сена мало, так свеклу бы сажали. Это лучше всякого сена.

— Свеклу у нас не сажают.

Все вышли за село. Впереди землемер с председателем. Сзади него несли треножник и астролябию в чехле, несли так, как носят икону, держа впереди перед собой на вытянутых руках.

— Вон он, батюшка, потянулся, — сказали с раздражением мужики, показав на бесконечный выгон за деревней, покрытый мелким обглоданным кустарником и сухими кочками.

— Уж очень под неудобную много отходит. Ведь под этим выгоном небось десятин пятьдесят пропадает.

— Я в третьем годе заплошал, свой дальний клочок не пахал, а нынче пошел, глянул — мать твою... лес вырос в аршин, вот такой березняк. Так и пропал выгон. Теперь леса дожидаясь.

— Лет тридцать всего и подождать, — сказали сзади. — А до того сроку за грибами туда ходи.

— Только и остается.

— А до чего до земли жадны, — сказал кто-то, — ох как жадны! Иной из-за вершка готов горло прорвать.

— Надо как-нибудь добывать. Откуда же ее возьмешь?

— А вы бы работали лучше, — сказал землемер.

— Бедному — сколько ни работай... Вон богатые — как у них бабы гладкие, — так они, лежа на печке, работают. Зимой таким манером поработал, глядь, весной две палки земли получил, не хуже Плотова. А с нашими бабами, что на одной картошке сидят, нешто земли добудешь.

Землемер поставил треножник и прилаживал аппарат, а около него стояли мужики и смотрели.

— А поперек с цепью, что ли, ходить будем?

— С цепью, — отвечал землемер, занятый аппаратом.

К нему подошли мужики с Ивановской слободы и сказали тихонько:

— Вы с цепью нас пошлите, а то эта земля Ивановской слободы, если их самих послать, они меньше покажут, потому соседи и чтоб им за наш счет больше досталось.

— Ну, идите, кто хотите.

Только что приложили цепь и сделали лопатой отметку, как сейчас же десяток голосов закричали:

— Эй, эй, где копаешь?!

Державший конец цепи Степан Гладов с Ивановской слободы сначала посмотрел на землю, потом на мужиков.

— А что?

— То, что на целый вершок украл. За такие дела кишки выпустим. Детями донимаешь, да еще обжулить норовишь! Отнимите у него к черту.

Цепь взяли мужики с Алексеевской слободы. И пошли мерять. И как только они протаскивали цепь во всю длину, так все бросались смотреть головами вместе, как бросаются, когда играют в орлянку и смотрят, как упала монета.

— Эй, эй, что на целую четверть брешешь! — закричала Ивановская слобода. — Головой об землю хочешь?

— Что это они ошибаются-то дюже? — спрашивал маленький подслеповатый мужичок, дергая крайнего за полу.

— Земля, должно, неровная. Кочки.

— Что ж он с машинкой-то, там?

— Направляйте получше, а то тут то четверть лишняя, то четверти не хватает, — кричал малый в шапке землемеру, который стоял на бугорке и нацеливался трубкой, прищурив один глаз.

— Сколько всего там вышло?

— Двести шестьдесят сажен и еще кусочек лаптя на два.

— Тьфу!.. Ведь весной меряли — двести восемьдесят было. Куда ж она делась-то?

— Что же вы с машинкой? Может, не в ту сторону вертите?

— А что?

— Да дюже мало получается.

— Я тут ни при чем, — сказал землемер и опять припал к трубке.

— Он тут ни при чем, а нам хлеба сеять негде. Ведь это и по три палки на человека не хватит.

— Может, машинка-то его за кочки цепляется, вот и выходит мало.

— Тут каждый вершок дорог, а у него вон на десять сажен меньше вышло.

— Верно, у него мера неправильная. Меряй поперек загонов лаптями.

— Правильно, чем ходишь, тем и меряй. Что господь дал, от того не отказывайся. Заходи.

Передом пошел высокий мужик в длинной рубахе, испачканной сзади в навозную жижу, за ним малый в шапке. И скоро человек двадцать, заложив руки назад и согнувшись, глядели себе под ноги и, шепча что-то губами, гуськом двигались по полю.

— Вот она, земляца-то, — потом и кровью достается матушка.

Проходившие по рубежу бабы с мешками травы остановились и стали смотреть, прикрыв глаза руками от солнца. Землемер тоже оторвался от трубки и некоторое время смотрел на странную процессию.

— Что это они там?

— Трубу вашу проверяют.

— Чем?

— Лаптями, чем же больше.

— Сколько вышло? — спрашивали у каждого кончавшего мерить, когда тот, закрывши глаза, шевеля губами и отмахиваясь, чтобы не сбили со счета, выходил на дорогу.

— Поперек загона семьдесят шесть лаптей.

— Ау меня шестьдесят семь, — сказал высокий мужик.

— Черт!.. А лапти-то у тебя какие? Ведь ты из избы только выйдешь, а уж лапти на станции.

— А что неудобной-то много нынче выкинули?

— С десятину будет.

— Вот оно, вот. Прямо на глазах тает земля. Откуда се теперь брать. Вся надежда на баб.

— А мне, может, сейчас уж заодно палку выделите, — сказал Анисим, богатый мужик с Ивановской слободы. На него удивленно оглянулись.

— Это почему такое?

— Да у меня сын...

— Какой у тебя сын?

— Баба на сносях ходит.

— Черт, да ведь не родила еще. Может, он еще дохлый будет.

— Как угодно, — сказал Анисим, — а может, и двойня будет. Лучше бы давали сейчас на одного, тогда больше просить не буду.

— Ну прямо только и остается, что втемную играть.

— Давайте лучше сейчас, — сказал кто-то. — А то уж очень пузо у бабы велико, как бы на двойню, правда, не налететь.

— Ну что там, не вышло по три палки?

— Никак. Немножко больше, чем по две с половиной. Да и то чтой-то у всех разное получается.

— Мерку на нее какую-нибудь одну правильную надо выдумать.

— Это правильно. Мера чтобы одна была, — сказали все. — А то тут и машинка, и цепь, и лапти. Да лапти-то еще у всех разные.

— Правильно. Надо чей-нибудь один лапотъ взять. Вот этот черт со своей трубой уедет, тогда сызнова начнем.

— Ох, господи батюшка, с самого утра не жрамши.

— А ты как же думал, земляца-то достается?

— Лопатой, говорит, бугор копай, — сказал маленький мужичок, покачав с усмешкой головой, — тут на хорошей-то земле сохой поковыряться время не выберешь.

## На верхней слободе в трех семьях

заболело сразу несколько человек. Совет послал в город за доктором, а домашние заболевших за коновалом, который никогда не отказывался от практики и не затруднялся никакими болезнями, будь его пациент лошадь или человек.

Двое больных оказались в семье портного. На заваulinке его избы сидели — он сам, старушка Марковна и печник, когда пришел коновал.

С заросшей до глаз седой бородой, с кожаной сумочкой на поясе, на которой было изображение лошади из белого металла, весь обвешанный какими-то ремнями, коновал прошел молча и мрачно мимо сидевших прямо в избу, не поздоровавшись ни с кем.

Портной пошел за ним.

— Вот в городе один доктор на человека, другой на лошадь, третий еще на что-нибудь, а наш Петр Степаныч не разбирает — и лошадей, и людей, всех валяет.

— Молодчина.

— Голова очень работает. И строг.

— Без этого нельзя. Ежели доктора не бояться, это уж последнее дело, — сказал печник.

В избе портного лежало двое в жару. Коновал подошел к ним и несколько времени строго смотрел на них. Портной несмело выглядывал из-за его плеча.

Коновал бросил смотреть на больных и недовольно, подозрительно обвел взглядом стены. Они были только что выбелены, в избе было подметено.

— Когда белили? — спросил коновал, поведя заросшей шеей в сторону хозяина.

— Вчерась побелили.

— Зачем это?

— Почисте чтоб было.



— Что — почище?

— Да, вообще, чтобы... Доктор в прошлом году говорил, чтоб первое дело — чистота.

— Уж нанюхались... Чистотой, брат, не вылечишь.

— Вылечишь не вылечишь, а приостановить... — сказал несмело портной, — чтобы э т и не разводились.

— Кто — эти?

— Кто... Что от болезни разводятся.

Коновал только посмотрел с минуту на хозяина, ничего не сказал и, отвернувшись, стал на столе раскладывать свои лекарства, доставая их из кожаной сумочки.

— Что ж, лекарство-то одно и то же, что вчера с колове давали, Петр Степаныч? — спросил портной.

— А тебе какого ж еще захотелось?

Лечебные средства у него одни и те же: что для лошадей, то и для людей. Поэтому, если лошади молчат при его лечении, то люди кричат не своим голосом или лезут на стены; при разных болезнях одни и те же средства. Но чем болезнь сильнее, тем доза больше. Причем если со здоровыми он суров, то к больному подходит с выражением палача, у которого есть личные счета с преступником. Пронизавши его как следует взглядом, коновал засучивает рукава на своих узловатых жилистых руках и принимается мазать мазью. А когда больной начинает пересчитывать всех святых и поминать родителей, коновал отойдет, опустит засученные руки, посмотрит на него и скажет:

— Взяло... Кричи, кричи больше, с криком боль выходит.

Докторов он ненавидит какою-то острой ненавистью, смешанной с презрением, во-первых, как конкурентов по практике, во-вторых, как явных и наглых обманщиков.

Вдруг сидевшие на завалинке прислушались: из избы послышался крик и причитания, как будто у кого-то добрались до живого места.

— Взяло... — сказал печник, послушав еще немного. — Сейчас должно выйти. Скажи, пожалуйста, как дерет, словно шкуру с него спускают.

— А ведь уж без памяти совсем лежал и голоса не подавал.

— Тут, брат, мертвый в память придет.

— Да, уж этот работает без обману.

Из избы вышел портной и, махнув рукой, сел на завалянку.

— Не приведи бог, — сказал он, — болеть плохо, а уж лечиться вовсе — другу и недругу закажешь.

Через минуту вышел и коновал. Но не как врач, окончив лечение, выходит, чтобы успокоить родственников, а как строгий обвинитель. В руках у него был какой-то пузырек с больничным ярлыком.

— Это что у тебя? — спросил он у портного.

— Да это так... Прошлый раз в город ездил, в больнице дали.

— Что ж, там всем дают, кто и не просит? — спросил иронически коновал.

— Нет, да ведь как сказать-то... все думается.

Коновал ничего не сказал, только поболтал лекарство, посмотрел его на свет и забросил далеко в крапиву.

— Теперь думаться не будет, — сказал печник. И прибавил: — Это верно, что доктора не могут, фасон один.

Коновал долго молчал, потом сказал нехотя:

— Какие доктора... Есть доктора, которые помогают. А только теперь их нету. Одно жулье да шантрапа осталась. Нетто он тебя может понимать? У этих, как чуть что — за чистотой смотреть или хуже того — в стекла рассматривать.

— Отвод глаз, — сказал печник, набивая трубку.

— Чистоту соблюдают, чтобы эти не разводились, — сказал нерешительно портной.

Коновала даже передернуло, как будто дотронулись до больного зуба:

— Кто эти?

— Козявки, — сказал портной. — У каждой болезни свои козявки.

Коновал плюнул и стал мрачно себе набивать трубку. Этим дуракам что ни скажи — все ладно. Вот и ломают перед ними комедию: ручки помогут, фартучек наденут и про козявок наговорят с три короба.

— Насчет чистоты это верно, — сказал печник, улыбувшись, и покачал головой. — Был я в городе в боль-

нице, рассадил себе на базаре руку вилами. Пошел... Так они — первое дело — мыть. Один раз вымоет, ваткой оботрет, потом опять давай сначала.

— А себе руки мыл? — спросил коновал.

— Мыл, мыл, как же. И перед этим и после этого, — сказал печник, — ровно ты не человек, а обезьян какой-нибудь.

— Ну вот. Прежде лечили — очков этих не втирали. Бывало, фершел Иван Спиридонович — с боком или поясницей придешь к нему, — так он рук мыть не станет или ваткой обтирать, а глянет на тебя как следует, что мороз по коже пройдет, и сейчас же, не говоря худого слова, — мазать. Суток двое откричишься и здоров. А ежели рано кричать перестал, опять снова мазать.

— Здорово драло?

— Здорово... — неохотно отозвался коновал, — ежели бы такого вот стрикулиста, что теперь в городской больнице орудует, промазать как следует, двух дней бы не выжил. Уж на что мы крепки были, а и то...

— Да, это здорово.

— Прежде денег даром не брали.

— А вот глухой у нас был, — сказал печник, — вот работал-то — страсть. Не слышал ни черта. Это что ты ему там про свою болезнь говоришь — как в стену горюх. Да он, если бы и слышал, так все равно бы слушать не стал. У него своя линия. Все, бывало, шепчет что-то. И столько ж он всякой чертовщины знал, заговоров этих! Ты что-нибудь ему поперек дороги пошел, а там, глядишь, по всей деревне червяк сел на капусту, или саранча полетела. Бывало, молебнов двадцать выдуюм всей деревней, покамест остановим. Либо выйдет ночью за околицу, шепчет что-то, а наутро лихо-манка начинает всех трясти. Вот какие люди были.

— Да, не осталось уж такого народу, — сказала со вздохом старушка Марковна.

— Верить перестали.

— В одно верить перестали, их на другом поймали, — отозвался коновал. — Им бы теперь только чтобы все поученому было, а что там в середине, об этом разговору нет. Вместо лекарства капсульки какие-то пошли. Хоть ты их горстями глотай — ничего не почувствуешь.

— Верно, верно, — сказал печник. — Да вот далеко ходить незачем: моя старуха намедни пошла в больницу, ей там каких-то каточков дали. Так, маленькие — с горошину. Разгрызешь его, а там вроде как зола с чем-то.

— Небось все поела? — спросил, покосившись, коновал.

Печник осекся.

— Нет, штуки три съела и выбросила. Ни шута толку. «Лучше бы, — говорит, — я к Петру Степанычу добежала...»

— А отчего же не добежала? На чистоту позарилась?

— Нет, побоялась, от мази кричать дюже будет.

— Нежны очень стали. Хотуть, чтоб я лечил и чтоб без крику обходилось. Через что у тебя болезнь-то будет выходить, коли ты кричать не будешь? Об этом ты не подумал?

— Да, это хоть правильно...

— То-то вот — правильно. Покамест с тобой говоришь, у тебя правильно, а как отвернулся, так опять черт ее что. За больницу кто руку в совете тянул?

— Да это что ж, не я один, там все поднимали, — сказал печник.

— Значит, и все дураки непонимающие. Прежде ребят крапивой драли до самой свадьбы, а теперь они над вами командуют. Оттого у вас и козявки разводятся. Прежде об них и слуху не было. А как только вот эти стрикулисты в фартучках да в очках появились, так и козявки откуда-то взялись. Фартучки да очки есть, а лекарства настоящего нету. Прежде какие мази были! Человека с ног валили, а не то что козявок. А теперешние и козявки не свалят. Какое же это лекарство, когда в нем силы нету? А уж туману, туману...

— Уж это покуда некуда, — сказал печник. — На медни кузнец ходил в больницу, кашлял дюже. Пришел. «Плюнь», — говорят; «хорошо, отчего же, можно», — плюнул. А они потом давай в стекла рассматривать.

— Козявок искали, — негромко сказал портной.

Коновал подавился дымом.

Все некоторое время молчали. Потом портной спросил:

— Ну, а насчет наших как, Петр Степаныч, поправятся?

Коновал в это время выколачивал о бревно трубку; выколотив и почистив ее гвоздиком, он сказал:

— Как кричать кончут, тогда еще приди.

1923



# Несмелый малый



коло магазина с разбитыми

наружными стеклами, заделанными досками, была давка.

Дожидавшиеся на улице люди в самодельных суконных башмаках, с холстинными сумками за спинами, всунув руки в рукава, топтались на месте от холода и всякий раз поворачивали головы к входной двери, когда кто-нибудь выходил оттуда со свертком. Некоторые приотворяли дверь и заглядывали в магазин. Но стоявший у двери малый в фартуке сейчас же нажимал дверь на всунувшуюся голову и выпирал обратно.

— Что, выдали? — спрашивали выходивших из магазина.

— Не знаю, матушка, не разберешь, — сказала старушка лет семидесяти и стала разворачивать бумагу.

— А тебе что нужно-то было?

— Рубаху старику да шапку, а они, вишь вот, пеленки зачем-то дали да крючков.

— С пеленками-то немножко опоздали, — сказал какой-то рабочий, — сколько тебе годков-то?..

— С самого утра стояла, — сказала, не ответив рабочему, старуха.

— Народ недовольный, — сказал опять рабочий, — чего же тебе еще хочется, что не нужно, и то дают, а тебе все мало. Да еще из первых рук получаешь.

— Да, вот только языками трепать.

— А сколько всего было, — заметила пожилая женщина, — готового платья, мехов всяких; на целый свет хватило бы.

— А тут в первый год разбазарили, что, кроме крючков да пеленок, ничего нету.

— И куда все девалось? — проговорила другая старушка, стоявшая с ордером на пальто.

- Куда, известно, куда... Кабы народ-то честный был!..
- Контролера бы поставили, когда такие жулики.
- А за контролером кому смотреть?
- Кабы народ-то честный, разделили бы все по-божески, на десять лет бы хватило, сиди на печке да ешь пироги.
- Дров много выйдет, — сказал рабочий, — не протопишь.
- Ведь это какую совесть надо иметь, чтобы в такое время воровать.
- Теперь только и воровать, — сказал какой-то малый.
- Вот они все такие-то, молодые-то.
- Нет, у меня, бог милостив, — сказала старушка, — сыночек есть, так, можно сказать, ничего к рукам не пристало.
- Такие редкость.
- Хоть и трудно жить, ну, что ж сделаешь-то, зато совесть чиста.
- А вот около нас соседи... — сказала полная женщина, — муж на складе служит, так прямо доверху сундуки завалили.
- Хорошо живут?
- Хорошо. Все есть, и мука белая, и сахар.
- Да... Конечно, ежели на хорошее место попал, вот и гребет.
- Да теперь иначе нельзя, — сказала полная женщина, — ты не возьмешь, другие утащут.
- Верно, верно, — сказала несколько голосов, — оттого и воруешь, что кругом жулики, честного человека с огнем не найдешь.
- Нет, вот мой, благодаря бога. — сказала старушка.
- Проходи пять человек, — крикнул малый, открыв дверь. — Куда лезешь? Сказано пять.
- Да я с краешку только, а то ноги замерзли.
- Дома погреешь.
- Вишь командует. Ему хорошо в тепле-то. А ты за каждым пустяком стой на морозе.
- Попал на хорошее место, больше ему ничего и не надо. Вишь, и валенки и поддевка.
- Вот бы на такое место попасть, — сказал малый.

— Тоже — по человеку, — заметила старушка. — Вот мой сыночек-то служит в учреждении... выговорить только вот не могу. Так вот там на складе тоже и одежда всяка и лекарство.

— А что же ты тут стоишь-то?

— Да уж очень совестливый. Около него, можно сказать, горы добра, и другие небось в обе руки хватают, а он все как будто совестится.

— Коммунист, что ли?

— Нет, бог милостив, а так, несмелый очень.

— Только место зря занимает, — сказал, плюнув, малый.

— Вот мать-то и стой на морозе.

— А там, глядишь, пеленки выдадут, — сказал рабочий.

— Я вот уж и сама так-то... ведь не говорю, чтобы нахальничать, а так, хоть бы что необходимое. От этого казна не обеднеет.

— Известное дело, если один человек возьмет, много ли там... это другое дело, когда ежели не судом тащить начать, — сказала полная женщина. — У меня вот племянник в аптеке служит, так и то все-таки хоть порошков принесет. Ну, там хоть вещи-то все неподходящие, иной раз приволокет какую-нибудь стлянку, ее и приспособить-то куда — не знаешь.

— Теперь все годится.

— То-то вот, посмелей да похозяйственней, он об доме помнит, — сказала старушка. — А матери облегчение.

— Как же можно, — место, надо сказать, паршивое, аптека — одно слово, а мы на одни порошки два пуда хлеба наменяли.

— Умный человек и на плохом месте хороший оборот сделает, — сказал бывший торговец.

Старушка вздохнула, потом, помолчав, сказала:

— Да. Вот иной раз лежишь ночью и думаешь: царица небесная, матушка, за что ж ты наказала, на старости лет маяться заставила. Иные бога молят, чтобы на такое место попасть, а тут место как раз такое, а все ничего нет. Другой какой-нибудь в бюро около карточек трется и то, глядишь, только и знает — муку домой таскает.

— Это есть такие. Головы работают здорово, — ска-



зал бывший торговец, — оттого, что смальства приучен к делу. Иной только из пеленок вышел, а уж смотрит, как бы сварганить какое-нибудь дельце. Или руку куда-нибудь запустить.

— Ведь вот сейчас бы жить, горя не видать, а я с самого утра в очереди стою ему же за пальтом.

— Пальто, это хорошо.

— Что ж пальто, когда под пальтом-то ничего нету?

— Легче будет, — сказал рабочий, высморкавшись в сторону.

— Будет оскалиться-то. Выбирай лучше на вате, оно и для зимы годится и весной носить можно. А то за мехом погонишься, а осенью надеть нечего.

— Сама так-то думаю.

— А что же он там-то не мог как-нибудь?..

— Как не мог... Да вот пойдя, нету смелости.

— Что досталось? — крикнули около них, когда из магазина показалась новая партия.

— Что не нужно, то и досталось, — сказал недовольно высокий мужчина. — На ордере меховая шуба, а тут вязаную кофту дали да крючки на придачу.

— Вот этими крючками, окаянные, донимают. Суют все да на-поди.

— Проходи еще пять человек!

Старушка, спохватившись, заторопилась и, торопливо перекрестившись, с испуганным лицом, скрылась за дверью.

— На вате выбирай, — крикнула ей вслед полная женщина.

— Чего они крючками-то задушили совсем? Третий раз уж получаю.

— Кто их знает. Стало быть, заменяют что-нибудь.

— Они как наладят что выдавать, так и гонят подряд, покамест все не опростается.

— Ах, головушка горькая. И крючки-то какие, посмотри, ради Христа, ржавленные, железные, откуда только выкопали. И из-за этого добра стой пять часов. Куда же это хорошее-то подевалось?

— Да вот мои соседи не станут пять часов стоять, — сказала полная женщина. — Намедни принес кусок сукна, а в нем аршин двадцать пять.

— Ведь вот есть такие места, попадают люди.

— Да, кому счастье.

— Умному человеку везде счастье, — сказал бывший торговец. — А вот такой дурак, как у этой старушки, что за пальтом ушла, так такого куда ни сунь, толку не будет.

— Старушка идет. Слава богу, хоть не задерживают. На вате взяла?

— На вате... Наволочек дали да крючков взамен. Наказал господь дитем. У всех люди как люди, а это уродина какая-то окаянная. Вот приду, суну в рыло эти крючки-то... Прости, господи, мое согрешение.

1923

# Инструкция



коло выхода на платформу, где

проверяли на дачный поезд билеты, сперлась толпа пассажиров с коробками и корзинками. В середине стояла женщина с корзиной и птичкой в клетке.

— Да проходите, что вы там заткнулись-то? — крикнула она.

— Билеты смотрят...

— Тут смотрят, в поезде смотрят, господи батюшка.

— Народ уж очень замысловатый стал, одним разом его и не проймешь. А теперь еще инструкция такая вышла, чтобы багаж смотрели лучше, а то иной полхозяйства нацепит, полвагона им загородит и везет бесплатно. Казне убыток.

— Мой багаж сколько ни смотри, — сказала женщина, показав на птичку.

— Как придется...

— Ну, ну, после поговоришь, проходи! — крикнул контролер, подняв глаза и посмотрев через очки на очередь. — Билеты предъявляй. Эй, стой! С птицей — куда пошла? Билет.

— Ведь я показывала...

— На птицу билет.

— Как на птицу? На птицу нету.

— Ну, и проезду тебе нету.

— Господи батюшка, да как же это?

— Инструкции читать надо: на мелкий домашний скот должны отдельный билет брать.

— Да какой же он скот? Что ты, ошалел?

— Много не разговаривай. Не дурей тебя люди. Приравнивается к скоту. Поняла? Что ж, на твою птицу отдельный закон, что ли, писать? Отправляйся в багажное отделение, там с тебя взыщут за птицу, квиток на нее дадут, вот тогда и приходи, — сказал контролер.

Он впихнул женщине в руку ее билет и, махнув напутственно рукой в дальний конец платформы, стал опять пропускать народ, боком поверх очков просматривая билеты.

— А как на поезд опоздаешь?

— Поспеешь...

И когда женщина с птичкой, подхватив на руку подол, побежала, он посмотрел ей вслед и сказал:

— Все спешат куда-то, а спроси куда, она и сама не знает.

— Эй, эй, с птицей!.. Куда полезла? В очередь становись.

— Да я на этот поезд. Мне только птичку свешать!

— Все равно. Порядок должна соблюдать. А то ишь, черти, все норовят в обход зайтить.

— Катаются себе с птичками от нечего делать, а тут по делу стоишь часа три!

Женщина ничего не ответила и встала с клеткой в очередь.

— Щегол, что ли? — спросил, заинтересовавшись, морщинистый старичок в больших калошах.

И так как женщина ничего не ответила, он прибавил:

— Я уж вижу, что щегол.

— Ты что тут встала? — сказал усатый носильщик в фартуке с бляхой. — Ведь она у тебя еще не вешана, а ты за квитанцией становишься! Вон куда иди!

Женщина испуганно бросилась к весам, с которых два дюжих парня сваливали свешанные кули с солью.

Человек в двубортном пиджаке хотел взвалить мешки с овсом, но женщина с птичкой подбежала к нему.

— Голубчик дяденька, уступи мне свою очередь. Мне на этот поезд. Я в одну минуту, мне только птичку свешать. В ней и весу-то всего ничего.

— Ладно, уступи ей, багаж не велик.

Женщина торопливо протискалась к весам. Около весов стоял весовщик и, вынув из-за уха огрызок карандаша, что-то соображал и записывал на изрубленном прилавке.

— Тебе чего?

— Свешать надо...

— Кого свешать?

— Да вот этого вот...

— ...Ты бы еще блоху принесла! Вот черти-то безголовые!

— На господский манер пошли, чтой-то без птичек уж и ездить не могут, — говорили в толпе, в то время как весовщик, взяв клетку, ставил ее на окованную железом платформу.

— Эй, весы смотри не обломи! — крикнул какой-то малый в рваных башмаках, лежавший на мешках с овсом. — Да что ж ты с клеткой-то вешаешь! Ты живой вес показывай.

— Для казны старается...

Весовщик ничего не отвечал и выбирал самые маленькие гири. Подержал их на ладони, посмотрел вопросительно и бросил обратно.

— Да поскорей, господи батюшка, а то я из-за вас на поезд опоздаю!

— А ты выбирала бы, что везти. А то тащите что попало, вот и нянчайся с вами, ломай голову... Ну, не тянет, дьявол! — воскликнул он. — На самую последнюю зарубку поставил!

— Ты бы уж вешал вместе с ней, она бы как раз к вашим весам подошла, баба сытая...

— На первую зарубку годится, — подсказал малый с мешков.

— Долго вы меня тут будете мучить? Пропадите вы со своим весом!

— Они долго держат, зато без ошибки получишь, — сказали из толпы.

— Скоро ты там с весами, Кондратьев? Чего застрял?

— Да вот бьюсь тут над этим домовым.

Дверь деревянной загородки отворилась, — подошел другой человек в форменной фуражке и остановился в затруднении перед щеглом, стоявшим на весах.

Щегол, нахохлившись, понуро сидел в клетке и смотрел одним глазом, закрыв другой белой пленкой.

— Больной, что ли, он у тебя? — спросил человек в форменной фуражке.

— Демон его знает, хоть бы вовсе подох...

Ожидавшие своей очереди, видя, что около весов собрался зачем-то народ, тоже подошли и, окружив весы, молча смотрели на щегла.

— Вот дьявол-то, ничем его не возьмешь! — сказал весовщик, плюнув.

— А на последнюю зарубку ставил?

— Кой черт — на последнюю! Он и без зарубки ничего не тянет. Нету в нем весу.

— Вес должен быть. Без весу ничего не бывает.

— Долго вы меня тут будете морить?

— Сейчас, подожди. Не твякай под руку.

— ...А то ошибется пуда на полтора — свои придется платить, — подсказал опять малый с мешков.

— Может, спросить заведующего, без весу пропустить?

— Не полагается без весу. Инструкция. Да спросить можно... Иван Митрич, — крикнул человек в форменной фуражке, — нельзя ли груз без весу принять?

Из окошечка кассы высунулось удивленное лицо и сказало:

— Что ты, очумел, что ли? Читал инструкцию?

— Ну, вот видишь.

— Эй, ты, баба, что ты там сватаешься? Целый гурт скота, что ли, у тебя? — кричали задние. — Что у нее там?

— Птица.

— Много?

— Одна только.

— Так какого же черта она там присохла!

— Вот окаянная-то, того и гляди, поезд уйдет...

— Пишут тоже инструкции, — говорил весовщик, — на глаз нельзя, а на весах — ничего не тянет. Успеете, куда прете? Только вот и дела, что ваши мешки вешать... Вот навязался-то демон, ногтем его придавить, а вишь, сколько народу держит, погляди, пожалуйста, уж на улице стоят.

— Ну вот что... вот тебе квитанция, как за пуд багажа, и уходи ты отсюда от греха, а то ты у нас тут все перебуровишь, — сказал человек в форме, отдав женщине квитанцию и махнув на нее рукой.

На платформе загудел паровоз.

— Матушки! — крикнули стоявшие в очереди и, давя друг друга, бросились на платформу.

— Ушел, ушел!

— Ах, сволочь окаянная, всех посадила!

— И откуда ее черти принесли?..

— Лихая ее знает. Овечкой прикинулась, пролезла.

— А с чем она была-то?

— С домашним скотом, говорят.

— С каким там скотом, с птицей... И птичка-то пустяковая...

— Пустяковая, — сказал малый с мешков, — таких пустяков с десяток принесть, вот тебе все движение на неделю — к черту...

1924

**П**ортниха ползала по полу около

выкроек с булавками в зубах, когда пришла ее родственница узнать об обещанной комнате.

— Ну что, или не умерла еще?

— Да нет... Теперь только оглохла еще совсем.

— Что тут будешь делать, куда деваться. Вещей пропасть, да собак двух еще Андрея Степановича угораздило привести. Голову скрутили эти собаки.

— А доктор что говорит?

— Доктор говорит, что при последнем издыхании. Хотя сказал, что с этой болезнью иногда долго живут, если припадки не будут повторяться.

— Ну, он дурак и больше ничего, — сказала расстроенно женщина.

— Может быть, пройдешь, посмотришь сама?

В дальней комнате в углу на кровати лежала ссохшаяся старушка с восковым заострившимся лицом и неподвижно смотрела перед собой, коротко и часто дыша.

— Пришла справиться о вашем здоровье, тетушка.

— А?

— О, черт... О здоровье, говорю, пришла узнать.

— Спасибо, матушка. Сын родной забыл, а ты вот, племянница, не забываешь.

— Как себя чувствуете?

— Все так же... Оглохла только. За доктора спасибо. Уж так успокоил меня. Говорит, вы с этой болезнью еще лет пять... проживете...

— С ума сошел, идиот, — сказала женщина.

— И мне сразу стало лучше, успокоилась.

— А припадков не повторялось больше?

— Нет, бог милостив... как капель каких-то дал, так сразу легче стало.





Дружеский шарж на Пантелеймона Романова,  
сделанный неизвестным художником



Мать писателя Мария Ивановна (стоит) с младшей дочерью и сестрами. Снимок конца 1890-х гг.



**А.М. Шаломытова-Романова**  
(1943 г.)



**П.С. Романов**  
(середина 1920-х гг.)



**Речка Упа, на берегу которой родился и провел детство будущий писатель. Сюда писатель возвращался часто — не только на рыбалку, но и для литературной работы**

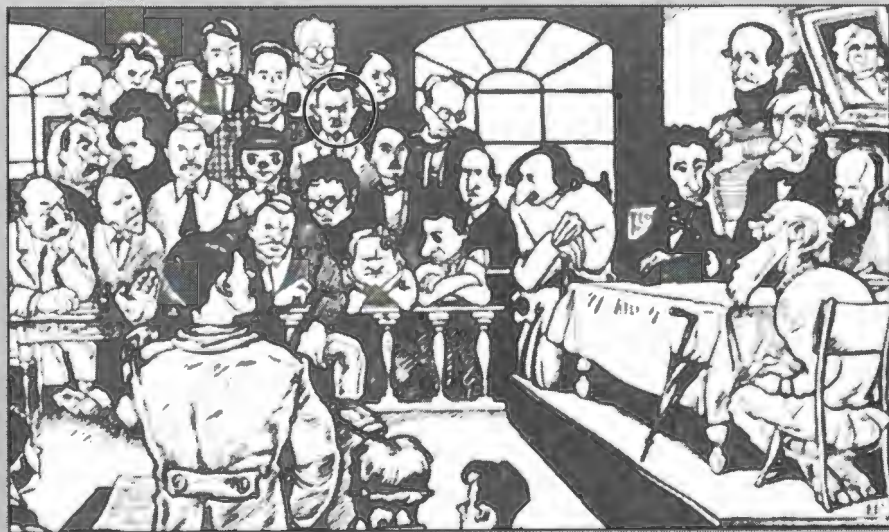




Снимок Москвы начала века. Сюда по настоянию своей будущей жены балерины Большого театра А.М. Шаломытовой в 1919 году переехал Пантелеймон Романов



А.В. Луначарский и А.М. Горький, 1929 г.  
А.М. Горький высоко ценил творчество П. Романова. В 1918 году А.М. Горький напечатал несколько сатирических рассказов П. Романова в своей газете «Новая жизнь». А с А.В. Луначарским писатель познакомился во время своей работы (1920—1921 гг.) в детской колонии. Руководила этой колонией жена Луначарского Анна Александровна



Карикатура Н.И. Гатилова. «Современная литература перед судом читателя», 1927 г.  
 «За столом защиты: А. Луначарский; слева направо, первый ряд, писатели: Серафимович, Маяковский, Гладков, Зощенко; 2 ряд: Березовский, Безыменский, Яковлев, Сейфуллина, Вс. Иванов, Либединский, Лидин; 3 ряд: Арт. Веселый, Новиков-Прибой, Эренбург, **П. Романов**, Пильняк; 4 ряд: Леонов, Орешин, Бабель и А. Толстой. Направо, за столом экспертизы писатели-классики: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Л. Толстой. На переднем плане — рабочий общественный обвинитель»

ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ

# ТРИ КИТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРА»  
РИГА, УЛ. СВОБОДЫ 8

ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ

# АРАБСКАЯ СКАЗКА



ПЛАТУ ДВАУСЬ  
СВЯТАЯ ПИЛ-38  
8

НАЧЕРА

25

ОКТЕБРА

## ЗАЛ БИРЖИ

## ДВА ВЕЧЕРА

ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ

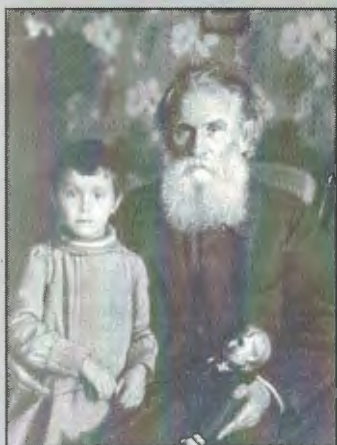
ПАНТЕЛЕЙМОНА

# РОМАНОВА

АВТОРА ПРОСЛАВИЛИ ПИСЬМА ЖЕНЩИН,  
СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ, РУСЬ И ДР.

Книжки можно приобрести со скидкой 15 % до  
1 мая с. г. в магазине «Писатели Р. С. С. Р.»  
(Москва, 27) от 10 час. утра до 6 часов вечера.  
Книжки, стоявшие в магазине 50 % скидки предоставляются в  
период, следующий за проведением акции: от 12-6 с. до 25 февр.





Великий русский актер Иван Михайлович Москвин был одним из лучших исполнителей рассказов П. Романова. Именно ему писатель посвятил свой рассказ «Буфер»

В.Г. Короленко был первым читателем и критиком ранних произведений П. Романова и в 1916 г. напечатал в своем журнале «Русские записки» рассказ молодого писателя «Русская душа»



На снимке (слева направо) П.С. Романов, В.Е. Ардов и А.М. Арго перед выступлением в Доме культуры Ярославского резинокомбината. Январь 1936 г.



П.С. Романов. Один из последних снимков



На снимке на переднем плане — Аркадий Гайдар и А.И. Вьюрков, воспоминания которого публикуются в этом томе



В дверь заглянул легкомысленного вида упитанный мужчина в распахнутой шубе, с шапкой на макушке. Он, с наивным удивлением подняв брови, шепотом спросил, приподнимаясь на цыпочки и заглядывая через спинку кровати:

— Что, разве не умерла еще? А я уж вещи привез.

— Да ты с ума сошел!

— Я же вчера вечером звонил. Анна Петровна сказала мне, что кончается.

— Она каждый день кончается.

— Значит, недоразумение... Но Барановы, милочка, тоже не соглашаются нас дольше держать.

— Анна Ивановна, а то, может быть, в коридоре разрешите, — сказал мужчина, — нам бы только вещи поставить. Ведь не будет же она до самых праздников жить! Смешно!

— Право, не знаю. Доктор сказал, что она может долго прожить.

— Ручаюсь вам, что больше трех дней не выживет. Старушка веселенькая, она живо соберется.

— Ты вот говоришь, а такие случаи уж бывали, — сказала хозяйка. — Вот через дом от нас старушка... тоже дыхания уж не было. Ну, люди набожные. Хотели проводить как следует... да и комната нужна была. Гроб по случаю купили, продуктов загодя на поминальный обед закупили. Сладкий пирог испекли. Она все дышит. Ну, не пропадать же продуктам, позвали знакомых да и съели этот обед за упокой ее души. А она и посейчас еще жива.

— Какого черта людей держите? — сказал, войдя, ломовой извозчик в полушубке и с кнутом. — Торгуются из-за трешницы, и провожжаешься с ними целый день. Да еще кобелей этих навязали, драку посередь двора затеяли.

— Сейчас, сейчас, подождите. — И он в шубе пошел к старушке.

— Главное-то, что припадки, говорят, совсем прекратились, — говорила жена, озабоченно следуя за ним.

— Сейчас обследуем. Ну, как здоровье, тетушка? Как мы себя чувствуем? Она в самом деле как колода глу-

хая. Как здоровье, говорю, не тем будь помянута? — сказал мужчина, нагибаясь над постелью.

Старушка слабо повела головой и сказала чуть слышно:

— Спасибо, родной... то хуже, то лучше... Доктор хорошо помогнул, успокоил, говорит, проживу еще.

— Кого успокоил, а кого и нет, — сказал мужчина в шубе, — припадков-то не было больше?

— Нет, батюшка.

Мужчина выпрямил спину и озадаченно посмотрел на жену и хозяйку.

— Однако положение становится действительно пикантно, — сказал он. — Она что-то и дышать, кажется, легче стала. Тетушка, дыхание лучше стало?

— Лучше, родной, лучше.

— А сколько ей лет, между нами?

— Восемьдесят.

— Восемьдесят? Ну, уж это свинство. В таком случае вот что, — сказал он вдруг, что-то соображая, — нам бы только диван сюда втиснуть да комод. Они тут свободно уставятся, а мелкие вещи в коридоре побудут. К празднику она, может быть, все-таки раскачается. А пока мы ее в угол задвинем, и ладно.

— Вот это другое дело.

— Тетушка, мы вам диванчик привезли и комодик, — сказал мужчина, нагнувшись над постелью, — диванчик веселенький, цветочками.

Старушка подняла на него слабеющие глаза и проговорила:

— Сын бросил на старости лет... А тут племянники... лучше своих... и доктора, и комоды...

— Волоки сюда! — крикнул мужчина ломовому и, мигнув жене, чтобы она бралась за кровать, в миг задвинул кровать со старушкой в дальний угол.

Когда несли комод и диван, мужчина в шубе крикнул:

— Ставь кресло на комод, стулья на стол, банки эти давай на окна. А это на пол сваливай!

— Что же вы ее загородили всю, к ней не проберешься, — говорила хозяйка, стараясь через вещи заглянуть на старушку.

— Ничего, старушка обстановку любит. Хотя, действительно, густо вышло... ну да ничего, такова жизнь. Ну, тетушка, выздоравливайте. Чтобы к празднику непременно. Сладкий пирог за нами.

1924



**М**ужики сидели на бревнах, ничего

не делая и лениво разговаривая. Некоторые слонялись около задворок с таким видом, как будто томились от безделья и не знали, что придумать, чтобы занять себя.

Крыши многих изб были раскрыты и оставались непоправленными. В стороне на бугре виднелся начатый и брошенный на половине стройки кирпичный завод: стояли поставленные стропила, зарешеченные орешником, и лежала сваленная солома для крыши, которую уже наполовину растащили.

К мужикам подошел приехавший из Москвы на побывку столяр и, оглянувшись по сторонам, сказал:

— Что ж это вы так живете-то?

— А что? — опросили мужики.

— Как «а что»!.. Ровно у вас тут мор прошел: крыши раскрыты, скотины у вас, посмотрел я в поле, мало, да и та заморенная. А сами сидите и ничего не делаете. Праздник, что ли, какой?

— Нет, праздника, кажись, никакого нет... — ответили мужики.

— По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет, — сказал столяр, — вишь — облачились.

Мужики молча посмотрели на свои старые рваные кафтаны. А крайний, с широкой русой бородой, как у подрядчика, сказал:

— Поневоле облачишься: из волости, говорят, нынче ктой-то приехал.

— Из какой волости?

— Из нашей. Ты что, чисто с неба свалился? Откуда сейчас-то? — спросил другой худощавый мужик, посмотрев на солнце.

— Из Москвы.

— А, ну тогда другое дело.

— Да, черт ее знает, до каких пор это будет, — сказал третий, черный мужик, покачав над коленями головой.

— Покамест полоса не пройдет.

— Ведь это черт ее что: сидишь без дела, пропади ты пропадом.

— Что ж у вас, дела, что ли, нет, — сказал столяр, — вы хоть крыши-то сначала покройте.

Никто ничего не ответил, даже не взглянул на крыши. Только черный мужик, не поднимая головы, сказал:

— Тут у кого покрыты — и то хоть раскрывай.

Из соседней избы вышел длинный, худой мужик, босиком, почесал бок, стоя на пороге, посмотрел по стоконам, потом прошел через дорогу к кирпичному заводу, там зачем-то постоял и опять пошел в избу.

— Эй, дядя Никифор, ай не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграем...

— ...Пока полоса не пройдет... — подсказал худощавый. — К кирпичу-то дюже близко не подходи, а то, говорят, из волости приехали — увидят, запишут...

— Ничего чтой-то не поймешь, — сказал столяр.

— Чтобы понимать, для всего науку надо проходить, — ответил худощавый мужик. — Мы вот прошли, теперь понимаем. И что, братец ты мой, что значит, судьба оканная: прежде сидели, ничего не делали, потому кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя.

— А в чем дело-то?

— Да борьбу эту выдумали насчет кулаков. А тут на местах на этих так хватили здорово, что не то что кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают — «Кто у вас кулак?» Говоришь: нету кулаков, мы их всех вывели. — «А кто самый богатый?» — Самых богатых нету. — «А кто лучше других живет?» — Такой-то... — «А говоришь, кулаков нету?..»

— Вдумали кирпич с кумом жечь на продажу; а они приехали — цоп!.. В кулачки, говорят, себе метите? Пчел было развели, они приехали, опять — цоп!

— Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрют, норовят в кулаки записать, — сказал худощавый.

— А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им провалиться.

— Обрадовались?..

— Да, — сказал черный мужик, — теперь утихомирились: веешь себе лопаточкой — оно и тихо, и без убытку.

— И пыли меньше... — подсказал опять худощавый.

— Вот, вот... Ах ты, мать честная. Бывало, в поле выйдешь — урожай. Слава тебе, господи!.. А наемдни я поглядел — рожь хорошая. Мать твою... думаю, вот поведет. Такая выперла, что прямо хоть скотину на нее запускать, от греха.

К говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасливо посмотрел на столяра, потом узнал его, поздоровался и торопливо спросил у мужиков:

— Кто нынче кулак? Чей черед? Из волости приехали.

— Эй, Савушка! — сказал худощавый, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина на левой ноге у него совсем отвалилась ниже колена. — Эй, Савушка, твой черед нынче.

— Какой к черту черед, когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете. Ни самовара, ничего нету.

Пришедший мужичок посмотрел на очередного и сказал:

— Не подойдет... Куда ж к черту, когда у него портки все прогорели.

— Мало чего — прогорели. Все равно черед должен быть, — ответил черный, — самовар у Пузыревых возмешь, а портки полушубком закроешь, оденешься.

— Он и полушубок-то такой, что через него только чертям горох сеять.

— Сойдет... Вот тоже моду завели...

— А что? — спросил столяр.

— Да все насчет кулаков. Уж им чтой-то представляться стало. Как приедут из волости или из города, так первое дело требуют кулаков, чтобы у них останавливаться. Ну, известное дело, и самовар, и яйца давай, и обедом корми, и на лошадях вези. Навалились на трех наших мужиков побогаче, каждую неделю раза по два с бумагами прискакивают. Мужики,

конечно, волком воют. Теперь уж очередь кулацкую установили.

— Чтоб по-божески, значит?

— По-божески, не по-божески, а ведь они по одному так всю деревню переберут, всех с корнем выведут, а ежели по очереди — все еще как-нибудь, бог даст, продержимся. А главное дело, работать не дают. Крышу на сарае покрыл — сейчас к тебе два архангела: «В богатеи, голубчик, пробираешься?»

— Что ж это, по декрету, что ли, так требуется?

— Какой там — по декрету! По декрету — все правильно: и работать можешь смело, и хозяйство даже улучшать.

— А может, там один декрет для нас, а другой для них пишут и инкогнито его присылают?

— ...Навряд... А там, кто ее знает.

Из совета вышел какой-то человек и крикнул:

— Эй, куда провожать? Сейчас выйдет. Избуготовьте.

— Мать честная, пойтить похуже что надеть. Спасибо, хоть по будням ездят. А то в праздник бабы разрядятся, ну беда с ними чистая. Иная на две копейки с половиной настряпает, а издали думаешь, у нее золотые прииска открылись.

— Ну, Савушка, беги, беги. Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмешь. Да коленки-то прикрой, черт!

— Дали бы ему хоть портки-то надеть.

— Ничего, скорей из кулаков выпишут.

Савушка сбегал за самоваром и яйцами. Потом пошел к совету.

Приезжий в кожаном картузе с портфелем вышел на крыльцо и, узнав, что кулак уже дожидается его, посмотрел на него и сказал про себя:

— Кажись, доехали сукиных детей. Дальше уж некуда.

## Стихийное бедствие

**В** деревне Глазовке в саду, принадлежащем

обществу, оказался небывалый урожай яблок. Ветки деревьев пригнулись от тяжести плодов до самой земли. Каждое утро собирали целые вороха падалиц около главного шалаша и не знали, что делать с яблоками.

По саду метался какой-то мужичок в лапотках с трубочкой, пригнулся, заглядывал куда-то из-под руки вдаль под ветки и кричал:

— Подставь под нее подпорку-то, не видишь! Опять раздерет ведь дерево. Ох, мать честная, и откуда ее навалилось столько!

Потом, увидев ехавшие воза с яблоками, бросался туда и опять кричал:

— Куда ж вы их везете! Черти!

— В овраг, куда же их.

— Сам знаю, что в овраг. И попрете через деревню?! Объезжай кругом, через плотину. Ни черта голова не работает.

— Дядя Игнат, говорят, комиссия сейчас придет, — сказал подошедший мужичок в зипуне, босиком, с засученными штанами.

— А черта — мне эта комиссия. Тут вот хуже комиссии. Ишь, матушка вылезла. С голоду будудохнуть, на такую должность не пойду.

В воротах сада показалось несколько человек, в картузах, в поддевах, уполномоченные от общества.

— Ну и урожай!!! — сказал один, подняв бороду и поведив глазами по деревьям.

— Без урожая плохо, а с урожаем еще хуже, — сказал другой.

Все подошли к длинным пирамидальным ворохам и остановились.



— Пудов тысяча будет, — сказал председатель комиссии.

— Больше. Тут все две будет.

— Игнат! — крикнул председатель. — Пойди-ка ты сюда.

— Игнат, тебя кличут! — сказал разутый мужичок.

— Слышу, сейчас... Только ходят, осматривают.

— Что ж это ты с яблоками делаешь?

— А что?

— Ведь ты их все сгноил?

— Я их не гноил. А как ежели две недели лежат под дождем, так что ж им больше делать.

— А почему они у тебя под дождем лежат? Подвал на что?

— Везде насыпано. Ведь их какая сила.

Пошли к подвалу.

— Что же, они у тебя и тут все протухли? — сказал председатель, поведя носом.

— Как же им не протухнуть. Кабы они на вольном воздухе лежали. Ведь их вон какая сила, — сказал опять Игнат и ткнул пальцем в яблоки.

— Сила... вот ты и должен...

— Что ж должен... Тут одного ярового было больше тысячи пудов.

— А где ж они?

— Где... под бутром. Тут, что ли, оставлять?

— Ты б назывался кому-нибудь. А то сидишь небось так.

— Кому? Вот какая-то баба куренка принесла, выменяла на полмеры, да и тот хромой.

Все оглянулись на куренка.

— Это ежели за все яблоки один куренок пойдет, ему цена не меньше десяти тысяч целковых.

— Ну, прямо беда, ей-богу, — сказал председатель, разведя руками. — Засыпали и засыпали прямо с головой.

— Эй, дядя, яблоки у вас никому не нужны? — крикнул он проезжавшему мимо сада прасолу, у которого в задке телеги лежал, завернув голову, молоденький теленок.

Тот придержал лошадь, молча снял шапку, подумал, глядя в сторону, потом сказал:

— Кажись, не нужны. Так, может, на куренка на какого обменяешь...

— На куренка... У нас вон у самих бегают.

— Говорят, за рекой будто неурожай, туда требуют.

— Туда верст тридцать?

— Все сорок будет.

— Ну вот... Ведь на нее ящики нужно, — сказал председатель, — а без ящиков она не дойдет небось.

— Нипочем. Вся вдрызг потрясется. А много у вас?

— Прямо беда. Задушила на отделку. И откуда столько выперло; сад уж лет пять, знать, не окапывали, не поливали ни разу. А он, вишь, врасплох захватил — не знаем, что делать.

— Ежели бы сложиться всем обществом по пятерке, досток бы купить, ящиков наделать...

— Никто не даст, — сказали все. — А там еще небось за паровоз платить надо будет. Вот на месте не купит ли кто.

— На месте трудно, — сказал, подумав, проезжий.

— Ах ты, мать честная, что делать! Прежде, бывало, от ребят стережем, а теперь хоть бы они лопали, оканные, и те не жрут, заелись.

— Свины, может, будут есть, — сказал проезжий.

— Свиной мало водим...

— Мало того, что прибыли от них никакой, а еще убыток. Намедни санитарная комиссия, лихая ее возьми, наворачнулась. Вы, говорит, тут холерную эпидемию разводите. Теперь вон в овраг возим, по тридцать копеек за подводку платим.

— Сколько нынче свез? — спросил председатель у сторожа.

Тот лениво посмотрел на солнце и сказал:

— До обеда уж четвертый раз поехали.

— Вот оно, вот — трижды четыре — двенадцать, мать честная, — три рубля шестьдесят! Ведь это что ж, разорение, мои матушки!

— Беда, — сказал проезжий.

— Спасибо хоть за съемку натурой берут, а то бы всю деревню по миру пустили.

— Человека бы найти какого-нибудь, — сказал уныло член комиссии.

— Это первое дело. Без человека нельзя.

— А где его найдешь?

Все задумались.

— Деревня-то большая у вас?

— Деревня большая, шестьсот душ.

— Так.

— Главное дело, у нас урожай на хлеб плохой. Тут бы ежели эти яблоки продать, два урожая хлеба на них закупить можно бы.

— Это как раз...

— А тут за них, за эти яблоки-то — черт бы их взял, эти комиссии, — глядишь, сотенную за лето выложить придется. Две тысячи пудов под бугор свалить тоже средства хорошие нужны.

— Да, без капиталу нельзя.

— А вот у часовни чей-то сад: вот орудуют-то, матушки мои! Целыми обозами в Москву гонят.

— Может, человека нашли?

— Кто их знает.

— А может, урожай меньше.

Проезжий поехал, а комиссия присела у ворот на бревне покурить.

— Прямо, можно сказать, стихийное бедствие, — проговорил председатель, посмотрев на яблоню, увешанную яблоками. — Бывало, червяк хоть на нее нападёт, градом бьет, а нынче как заколодило — ничего.

— Вот еще какие-то едут. Эй, дядя, яблочка не нужно?

Ехавшие три мужика остановили лошадей.

— Живот чтой-то болит, — сказал один, посмотрев на яблони.

— Нешто для почину, — сказал другой. — Сыпь — картуз возьму. Почему?

— За картуз — пятак.

— Копейки довольно. Ведь у вас яблок-то сила.

— Черт бы ее подрал, эту силу. Со всех концов за нее платишься. Меньше пятачка нельзя, — сказал он вдруг решительно.

— До следующего поедом, — сказал мужик, трогая лошадь.

— Ну, давай, давай, черт с тобой. Сыпь, Игнат.

— Эй, гнилого не клади.

— По нечаянности.

— То-то, брат. Капиталистом заделался, торгуй по совести. Теперь деньги получай. Смотри, сосчитай, не ошибись, — сказал парень, трогая лошадь.

— Постой, постой, постой, — крикнул председатель, что-то вспомнив, — а человека у вас нету там какого-нибудь?

— Какого вам?

— Да вот с яблоками распорядиться.

Парень подумал, потом сказал:

— Нет, нету.

— Как на грех, свиной мало, — сказал один член комиссии.

— Вот то-то и дело, что хуже этого яблока товару нет: захватит врасплох — и конец. Свиной тоже в одно лето не родишь. А там свиной наготовил, глядишь — яблок нету. Вот и угоняйся за ними.

— Прямо разоренье, ей-богу.

— А я так смотрю: весь его к чертовой матери надо, а то еще таких урожаев два-три, ведь это петля на шею!

## Тяжелый седок

Из подъезда пятиэтажного дома

вышел какой-то очень полный человек в шубе с бобровым воротником.

Стоявшие на углу извозчики задержались, и штуки три сразу подкатили к подъезду.

Первый был на маленькой мухортой лошаденке.

Толстый человек с сомнением посмотрел на лошадь и сказал:

— Что же это у тебя лошадь-то такая?

— А какой же ей еще быть?

— Такой... ведь это кошка, а не лошадь.

Извозчик утер нос рукавицей и сказал:

— Ничего... Она глядеть только, что кошка, а ежели ее разогнать, в самый раз будет.

И когда седок сел и они поехали, извозчик прибавил:

— Вот только дворники, дурацкие головы, все снег счищают. Чуть нападёт снежку, как эта саранча налетит и опять все до мостовой сдерет. Вишь, вот, заскребло. Эй, Черт Степаныч, — крикнул он дворнику, который надсаживался, скалывая лед с мостовой, — что ж ты и дерешь до живого мяса?

— До какого это живого мяса?

— До такого... ездить-то по чем?

— А ты бы еще толще себе седоков-то выбирал. Вишь, черта какого отхватил. Нешто по такой дороге можно таких возить! Ошалеть надо! Ведь это что, сукины дети, как лошадей мучают, — прибавил дворник, когда извозчик отъехал на некоторое расстояние, — мерин какой взвалился... Нет того, чтобы лошадь по себе выбирать... Сволочи!

— Извозчик, что вы не подадите заявление, чтобы снег до камней не счищали, — сказал толстый седок, обращаясь к извозчику.

Извозчик в своем большом, не по его росту, синем кафтане и старой меховой шапке, мех которой торчал со-сульками в разные стороны, точно его иссосали котята, каждую секунду дергал локтями, приподнимался и чмокал губами. Он некоторое время молчал, потом сказал:

— Что ж подавать, все равно ни черта не выйдет.

— А вы пробовали?

— Что ж пробовать-то?.. Теперь и ездить-то всего один месяц осталось.

— И в один месяц лошадь задрать можно.

— Когда седоки легкие, не задерешь.

Проходившие два парня, увидев толстого, сказали:

— Мать честная, и на каких хлебах только эти черти пухнут? Жали-жали их, а они опять, как ни в чем не бывало: то людей мучали, а теперь на лошадей навалились.

Извозчик повернулся к седоку и сказал:

— Все насчет вас.

— Поезжай, поезжай. Этак на тебе в два часа не доедешь.

— Да вы и на другом не доедете... Покамест на колесах ездил, все одни худощавые попадались, а как зима пришла, так и навалились одни туши, — проворчал он про себя.

— Спасибо, все-таки хоть меньше таких стало, — сказал один из парней. — А что, если бы перевороту не было, всех бы лошадей вдрызг порезали. Вишь, надрывается, бедная. Ведь по делу — она должна на нем ехать, а тут он на нее забрался.

— Деньги есть, вот и забрался. Он на кого хочешь заберется.

Лошаденка, надрываясь, скребла по камням и на горке в узком месте совсем остановилась. На рельсах стоял испортившийся вагон трамвая, и проехать можно было только в одну лошадь.

— Ну, чего же там стал? — закричали, наехав, задние.

Извозчик, привстав, настегивал лошаденку кнутом, она дергалась во все стороны и не могла свезти саней.

— Ах, мать честная... — сказал извозчик, поправив шапку, и, повернувшись, посмотрел с сомнением на седока, потом покачал головой и сел.

— Что ж ты сел-то? Ну тебя, братец, я слезу лучше, — сказал толстый человек.

— Постой, постой, сейчас сил наберется и стронется. Ведь вот племя-то проклятое. И снегу никакого нету, а он скребет. Вишь, вылизал. Чтoб у него, окаянного, все печенки перевернулись!

— Что там стали-то? — кричали сзади, где уже набралась целая вереница саней. — Трамвай, что ли, дорогу загородил?

— Какой там трамвай, туша какая-то едет, лошадь прямо из сил выбивается, стронуть не может.

— Какая туша?

— Да седок очень тяжелый.

— Ах, сволочи!

— Эй, дядя, что ж ты, уторел? — сказал, подойдя, милиционер.

— А что?

— «А что?» — сажаешь-то таких по этакой дороге.

— А что ж мне, с голоду, что ли, подохнуть, когда на меня все такие наваливаются, уж другого нынче такого везу. Вот жизнь-то окаянная!..

— Окаянная... а ты по себе бы дерево рубил. Видишь, какая дорога, а наваливаешь сверх меры. Вот штрафовать вас, сукиных детей, за истязательство животных.

— Что ж мне, весы, что ли, с собой возить? — сказал упрямо извозчик.

— Весы... а на глаз-то прикинуть не можешь? Ведь из него три человека выйдет. Движение-то вот остановил все. Ну? Чего моргаешь-то?

— Я тут ни при чем, с седока спрашивайте.

— С седока... Пешком-то не могли оба пройти?

— А кто ж со мной поедет-то, если я буду все пешком приглашать. Эй, мол, дядя, не хочешь за рублевку до Страстного рядом с санями пройтить? Выдумывать-то мастера. Вы б вот лучше не велели дворникам до мостовой скалывать.

— Они поступают на основании распоряжения, а ты должен сообразоваться, таких чертей не возить.

— Вот черт-то: сел посередке и запрудил все, — говорили сзади.

Около саней с толстым человеком собралась толпа. Все стояли в кружок и смотрели на него, как смотрят на вагон, сошедший с рельс.

— Где ж ему по камням ездить. Для него особую дорожку насыпать надо.

— Ты бы снежку-то под него подсыпал, — крикнул кто-то дворнику, — ведь все равно стоишь, ничего не делаешь.

— Тут подсыплешь, а дальше опять камни. Что ж я, за ним по всей Москве с лопаткой и буду бегать?

— Таких на вес бы принимать. Да норму определить: как против нее пуд лишнего, так вдвое драть. А то ежели их по головке гладить, они так расплодятся, что все движение в городе остановят. Вишь, вон, сколько народу ждет, а он сидит, как будто не его дело, — говорили кругом. — У, сволочь... Прямо все сердце переворачивается.

— Э, ну тебя к свиньям, — сказал толстый человек, вылез из саней и, сунув извозчику рублевку, пошел пешком.

Лошадь сразу тронулась. Движение возобновилось.

— Вот все дело и было в нем, а дворники тут ни при чем, — сказал милиционер.

— Что это тут было-то? — спрашивали задние, поравнявшись с толпой, которая все еще стояла и смотрела вслед толстому человеку.

— Что было... вон черт пошел! Как сел поперек дороги, так и запрудил все.

— По такой дороге всех людей на зиму взвешивать бы надо. Как больше, скажем, пяти пудов, так из Москвы — к чертовой матери.

[1925]



## Заколдованные деревни

На заседании волостного исполкома

решено было начать самую решительную и жестокую борьбу с непрекращающимся злом — курением самогона.

— Какого им лешего нужно, не разберешь, — сказал председатель, — и развлечения всякие, и грамотность вводим, и народные дома. Наконец даже и тридцатиградусную стали гнать, а они все эту отраву хлещут.

— Слаба и дорога, — сказал негромко кто-то из членов, — с нее больше на двор пробегаешь, с этой тридцатиградусной-то.

— Что там?

— Да это я тут с товарищем... Этой две бутылки надо пить, а той, первача, одной хватит... — проговорил тот же голос, но уже тише.

— Без ошибки, — ответил его сосед.

— Так вот, товарищи, — продолжал председатель, — все эти недели борьбы ни черта не стоят. А надо организовать тройку да отправить инкогнито. А то объявишь неделю, а они все, сукины дети загодя попрячут, а там опять пошла музыка.

— Правильно. Да надо Федора-ямщика взять, он все эти гнезда знает, сразу разыщет.

— Оно, положим, их разыскивать нечего, — сказал председатель, — что ни изба, то гнездо, небось у самого... — председатель не договорил, оглянувшись при этом по сторонам, как бы смотря, нет ли посторонних. — А тут, главное дело, с поличным захватить, и ежели пьяный, то прямо везти в волость, мы с ним тут распорядимся. Особливо надо приналегнуть на деревни Семеновское и Стрешнево: сколько туда ни посылали, все им как с гуся вода — гонят по-прежнему, да и только.

— Туда надо самых надежных послать, а то там прямо чертовщиной какой-то пахнет.

Выбрали трех членов исполкома и послали.

— Товарищ Матюшин, — сказал председатель, стоя на крыльце, в то время как члены тройки садились в сани и запахивали тулупы, точно партия охотников, выезжающих на волчью облаву, — товарищ Матюшин, главное дело, старайся с поличным захватить, и, ежели пьяный какой попадется, сейчас же его на этих лошадях отправляйте сюда, а сами оставайтесь там, чтобы время не упускать. А ты, Федор, показывай им места, и как наберется партия пьяных, так клади в сани и волоки сюда.

Ямщик, сидевший на облучке в тулупчике с подвязанным воротником и ждавший, не оглядываясь, когда усядутся, повернул голову к председателю, высморкался, утер полый нос и тогда уже сказал:

— Ладно, потрафим.

— Трогай.

— Спасибо тепло оделись, а то бы в поле прохватило, — сказал второй член, угрюмый человек с большими усами.

— Градусов двадцать будет.

— Это ежели по Реомюру мерять, товарищ Матюшин, — сказал третий член, маленький человек в шапке с наушниками и с удивленно приподнятыми бровями, — а по Цельсию еще сильнее будет.

— Черт их возьми, — продолжал второй член, — сейчас бы сидеть в теплой комнате, а тут изволь... И отчего это, скажи на милость, такая гадость и так развелась, что сладу никакого нет? Ведь понимает человек, что вред себе и государству делает, а отстать не может. В чем тут причина?

— Не может, — повторил председатель тройки.

— Невежество, товарищ Матюшин, — сказал третий член, — ведь он пьет самодельщину, а того не сообщает, что она, как не очищенная от посторонних примесей, причиняет вред для здоровья.

— Ну, да теперь здорово взялись за это дело. Скоро прикончим. И то уж заметно поддаются.

— Как сказать... — заметил ямщик, отвернув с одной стороны воротник тулупа и повернувшись на коз-

лах к седокам. — Это правда, что в иных местах здорово скрутили. А вот эти две деревеньки — Семеновское да Стрешнево, что председатель изволил говорить, — так их никакая сила не берет.

— В чем причина? — спросил второй член.

— Черт их знает... как заговоренные. Сколько туда ни ездили, ни шута толку.

— Может, взятки давали, товарищ Матюшин? — сказал полувопросительно третий член.

— Этого сказать не могу, — отвечал ямщик. Он доехал до перекрестка и спросил: — Куда ехать-то?

— Сыпь в Семеновское, что ли!

— А не опасаетесь? — сказал ямщик и, потянув за левую вожжу, повернул лошадей на другую дорогу.

Когда подъехали к деревне, председатель спросил:

— В какую избу пойдём?

— В какую угодно, — отвечал ямщик, — нигде ошибки не будет. Вот хоть с этой начнем.

И он указал пальцем на почерневшую избу с развалившимся крыльцом.

— Ну, я пойду, налажу дело, а вы маленько тут посидите и подъезжайте. Я сделаю вид, что желаю выпить, а как вы подъедете, бутылки под лавку спрячу, там ищите. Чтоб хозяин не догадался. Да они что-то и не очень боятся. Ну, прямо как заколдованные, ей-богу!..

Ямщик ушел, а председатель тройки товарищ Матюшин показал пальцем на развалившееся крыльцо и сказал:

— Вот что пьянство делает с человеком.

— Достойно сожаления, товарищ Матюшин, — сказал третий член, — первая, можно сказать, по богатству страна в мире, а они как свиньи живут. Надо вот почаще ездить, чтоб каждую неделю все волости...

Минут через пять они тронули лошадей, разогнали их и, едва поравнявшись с избой, прямо на ходу выскочили и бросились в избу.

За столом сидел ямщик. На столе, кроме чайной чашки, ничего не было. На лавке, поодаль от стола, сидел сам хозяин. Он даже не вскочил, а как-то равнодушно посмотрел на вбежавших.

Члены тройки заглянули под лавку и вытащили бу-

тылку.

— Довольно шутики шутить! — сказал председатель тройки. — Вот что, голубь, изволь собираться, поедешь в волость.

Хозяин нехотя поднялся с лавки, ища шапку.

— А там у тебя что?.. — сказал второй член и, заглянув в печку, вытащил еще три бутылки.

Хозяин даже не оглянулся, продолжая искать шапку и почесывая спину.

Второй член, ставя бутылки на стол, посмотрел их на свет и вдруг остановился, точно чем-то пораженный.

— Что ты? — спросил третий член.

Тот не отвечал, продолжая стоять в том же положении. Потом уже, спустя некоторое время, проговорил:

— Ну и мастера, черт их подери!.. Москву видно!..

— Что, слеза?.. — сказал, подойдя, ямщик.

Третий член подошел, посмотрел бутылки на свет и тоже замер.

— Я такой не видывал, товарищ Матюшин, — сказал он наконец.

Через час тройка устроила такую же облаву в Стрешневе. Арестовали еще двух человек и отобрали еще семь бутылок.

Второй член поставил все одиннадцать бутылок в ряд на стол, присел перед ними на корточках и прищурил глаз, рассматривая их на свет.

Третий член тоже присел рядом с ним на корточки, председатель ходил по избе и, сморщившись, потирал озябшие руки. А ямщик стоял с шапкой и кнутом в руках и говорил:

— Объезжай всю губернию, такой другой водки не сыщешь. Что семеновская, что стрешневская. Потому они на нее, можно сказать, все силы положили.

— А, товарищ Матюшин! Заместо того, чтоб об строительстве думать, они вот что делают...

— Семеновская хороша тем, что светла очень, а стрешневская, — продолжал ямщик, — хоть и помутней будет, но берет, братец ты мой... вот как берет — с одного стакану садишься на карачки.

— Вот эта? — спросил второй член, показав на бу-

тылки.

— Эта самая.

— Да, слеза... — сказал задумчиво второй член.

— Они прежде, чем гнать, на мороз ее выставляют, потом очищают всякими средствами, вот она, как роса божия, и выходит, — продолжал опять ямщик, — но... конечно, на любителя. Иной все готов отдать, чтоб ему водка светлая была, чтоб сквозь нее Москву видно было, а другой требует, чтоб первое дело ошарашивала и мозги как следует разворачивала.

— Товарищ Матюшин, погляди: видишь, вот это семеновская, а это стрешневская. Сразу видать разницу. Прямо как отрезало.

— Ах, сукины дети, — сказал второй член, — ведь вот не смотри за ними, так они самих себя пропьют... И что за народ! В чем причина?

Председатель тоже присел на корточки перед бутылками и, покачав головой, сказал:

— Да, дошли... А на вкус какая, говоришь, лучше? — спросил он ямщика.

Ямщик подумал, потом сказал:

— На скус?... Как сказать... На скус почесть одинаковы, а вот насчет крепости — конечно, стрешневская.

Через полчаса председатель тройки велел ввести арестованных.

Когда те вошли, на столе стояли в ряд девять бутылок, а члены тройки, сидя на лавке и положив в ряд головы подбородками на стол, смотрели на бутылки и говорили:

— Вишь, насколько мутней... ты на нее, не знавши, посмотришь и за эту, за светлую ухватишься, потому, думаешь, посторонних примесей меньше. А ежели ты человек с пониманием, спец... конечно, тебе с ней делать нечего; той нужно две бутылки, а с этой с одной до дела дойдешь.

— Сколько у нас бутылок-то?

Председатель стал считать, тыкая пальцем в каждую бутылку, но на третьей бутылке попал в промежуток и сбился.

— Поправей бери, — сказал ямщик.

— Мать честная, палец даже отчегой-то раздвоился! — сказал председатель.

— Это с морозу, товарищ Матюшин.

— А, приятели!.. — крикнул председатель, увидев стоявших у двери арестованных. — Что скажете хорошенького? Вы, говорят, тут вроде как заколдованные? Мы с вас это колдовство снимем. Вот ночку в холодном сарае в волости посидите, само соскочит. Надо работать не покладая рук, а вы... Ой, черт возьми!.. Вот, брат, забрало!..

— Да, вот тебе мутновата...

— И как это вы, черти, ухитряетесь такую гнать? Вот забирает, вот забирает!.. Ах, провались ты...

— Что за черт: шестнадцать бутылок на столе! — воскликнул второй член. — Кто это еще наставил?

— Восемь. Это с морозу кажется, — сказал третий член.

— Ну, видно, садитесь, попейте в последний разок, — сказал председатель, — а там — не взыщите... Да... страна, можно сказать, нищая, все силы напрягает с этим... строительством, а вы вместо того, чтоб... нехорошо! И себе вред делаете и... молодому поколению вред делаете.

— Вот так-то бы ездить каждую неделю, — сказал третий член, — вот бы... они тогда...

Председатель поискал глазами и, увидев ямщика, проговорил:

— Федор, ты, значит, того... доставь их в целости.

— Потрафим...

— Пей, не церемонься! — крикнул председатель на арестованных. — Мы, брат, люди простые. Что провинились вы — это верно. За это ответите, а сейчас — пей и никаких! Потому мороз здоровый, а там помещения для вас прохладное приготовили. Федор, стотовь-ка там лошадей.

— Да секрет нам свой откройте, чем вы заколдованы... — сказал второй член.

— В чем, правда, причина? — говорил третий член, глядя перед собой и покачиваясь неожиданно то назад, то вперед, точно его толкало что-то. — Страна богатеющая, народ, можно сказать, молодой. а вот.. вот завелась эта язва. и идет все дуром.

Через полчаса ямщик вошел в избу. Члены тройки рядышком, ткнувшись ничком, лежали головами на столах, а мужики с шапками в руках стояли у дверей.

— Ай уж готовы? — спросил ямщик.

— Кажись, дошли, — ответили мужики.

— Ах ты, мать честная... Ну, подсобите, видно.

Четверо мужиков подхватили под руки лежавших, взвалив каждого из них грудью к себе на спину, и, взявши за перекинутые через плечи руки, поволокли к саням, как таскают кули.

Третий член на секунду очнулся и, шумно вдохнув воздух, сказал:

— Заместо того, чтобы об строительстве, они вон что делают...

— И в чем причина?..

1925

## Технические слова

На собрании фабрично-заводского

комитета выступил заведующий культотделом и сказал:

— Поступило заявление от секретаря ячейки комсомола о необходимости борьбы с укоренившейся привычкой ругаться нехорошими словами. Всемерно поддерживаю. Особенно это относится к старшим мастерам: они начнут что-нибудь объяснять, рта не успеют раскрыть, как пойдут родным языком пересыпать. Получается не объяснение, а сплошная матерщина.

Все молчали. Только старший мастер недовольно проговорил:

— А как же ты объяснишь? Иной только из деревни пришел, так он, мать его, ничего не понимает, покамест настоящего слова не услышит. А как полыхнешь его — сразу как живой водой сбрызнут.

— Товарищи, бросьте! Семь лет революции прошло, первые годы, когда трудно было, вам не предлагали, а теперь жизнь полегче пошла. Ну, если трудно, выдумайте какое-нибудь безобидное слово и употребляйте его при необходимости. Положим так: «Ах ты, елки-палки!...»

Старый мастер усмехнулся и только посмотрел на соседа, который тоже посмотрел на него.

— Детская забава...

— Да, уж не знают, что и выдумать.

— Трудно будет, не углядишь за собой, — сказал рабочий с серебряной цепочкой на жилетке. — Ведь они высказывают, не замечаешь как.

— Товарища попросите следить.

— Что ж он, так и будет следом за тобой ходить, товарищ-то этот? Он тебе в рот наперед не залезет, а уж



когда двинешь, что он сделает; это не воробей, за хвост не поймашь.

— Да, это верно, что не замечаешь. Я как-то в театре с товарищем был, — сказал другой рабочий. — Ну, разговорились в буфете, барышни тут крутом. Я всего и сказал-то слова два: гляжу, барышни как брызнут чего-то. То теснота была, дыхнуть нечем, а то так сразу расчистилось, просто смотреть любо. Вздохнули свободно. Только товарищ мне говорит: «Ты, — говорит, — подержался б маленько». — «А что?» — спрашиваю. — «Да ты на каждом слове об моей матушке вспоминаешь».

— А вот за каждое слово штраф на тебя наложить, тогда будешь оглядываться, — сказал заведующий культотделом.

— Правильно. Память очистит.

— На самом деле, пора ликвидировать. А то наши ребята в девять лет, можно сказать, образованные люди, а мы все с матерщины никак не слезем.

— Никак!.. Иной раз даже самому чудно станет: что это, мать твою, думаешь, неужто уж у меня других слов нету!

— Вы только сначала плакаты везде развесьте, чтобы напоминало.

— Это тогда всю Москву завесить ими придется, — проворчал старый мастер.

— А что — на фабрике только нельзя или вообще?.. — спросили сзади.

Заведующий культотделом замялся...

— За городом, пожалуй, можно, ежели никого поблизости нет.

— Вот это так! Мне по морде, скажем, дали, а я, значит, опрометью кидайся на трамвай — и за город. Отвел там душу и тем же порядком обратно.

— Да еще выбирай местечко поглуше, чтобы кто-нибудь не услышал, — сказал насмешливый голос. — Уж как начнут выдумывать, так с души воротит.

— Итак, товарищи, принято?

— Попробовать можно...

— Клади со служащих по рублю, с рабочих — по полтиннику.

— Что ты, ошалел, что ли! — закричали все в один голос, и даже сам заведующий культотделом. — Это всех твоих кишок не хватит.

— Ты по копейке положи, и то в неделю без штанов останешься, — сказал старший мастер и прибавил: — Ну, прямо слушать тошно, как будто малые ребята, каким серьезным делом заняты. А что производство от этого пострадает — это им нипочем.

— Итак, товарищи, с завтрашнего дня...

— Как с завтрашнего дня? Дай праздники-то пройдут, а то за три дня все месячное жалованье пропустишь.

— Верно, уж проведем по-христиански, а там видно будет.

Через неделю в мастерские зашел директор. Два крайних парня сидели у станков и ничего не делали.

— Вы что ж? — спросил директор.

— Недавно поступили... Не знаем, как тут...

— А старший мастер почему не объяснит?..

— Он начал объяснять, а потом чегой-то плюнул и ушел.

— Позовите его...

Показался старший мастер, на ходу недовольно вытирая руки о фартук.

— Займись с ними, что же ты? Производство страдает, страна напрягает все усилия, а у тебя без дела сидят. Так нельзя.

— Сам знаю, что нельзя, — ответил мрачно старший мастер и подошел к парням. — Ну, чего же вы?.. гм... гм... тут не понимаете?.. Елки-палки!.. Ведь тебе русским языком!..

Он не договорил и плюнул.

— Ну, что же? — сказал директор.

Старший мастер посмотрел на него, потом сказал:

— Отойди-ка малость.

— Зачем? — спросил удивленно директор, однако отошел в сторону.

Старший мастер оглянулся по сторонам, потом помялся около парней и, отойдя от них, сказал:

— Ежели им объяснить, чтобы они поняли, тут меньше рублевки не отделаешься.

Директор оглянул рабочих, подошел поговорить, но тот, с которым он заговорил, в середине разговора вдруг осекся и оглянулся по сторонам.

— Что вы как вареные нынче? — сказал директор.  
— Недовольны, что ли, чем?

— Нет, ничего...

— А что же, в чем дело?.. Комсомол налаживает работу?

Старший мастер, посмотрев исподлобья, сказал:

— Налаживает... Скоро так наладит, что никто ничего делать не будет.

— А почему прогулов на этой неделе больше?

— На стороне много работали, — сказал председатель фабзавкома.

— Это почему?

— Поистроились маленько, прирабатывали...

— На что поистроились?

Председатель не знал, что сказать, и оглянулся на подошедшего заведующего культотделом.

— На культурные... цели.

— Так, милый мой, нельзя. Вы на культурные цели сбор делаете, а материальная сторона терпит убыток. Это я тогда ваши культурные цели к... матери пошлю. Ни в чем меры у вас нет. Вот хоть бы взять эти плакаты: вы их столько повешали, что куда ни ткнешься, везде они в глаза лезут. Намедни приехал замнарком, осмотрелся этак издали в зале и говорит: «Хорошо посмотреть, сколько у вас плакатов. Это что — лозунги?» А я, признаться, не посмотрел да и говорю: «Лозунги». А потом к какому плакату ни подойдут, а там все про матерщину. Гляжу, уж мой замнарком что-то замолчал. Я ему диаграммы показываю, а он издали махнул рукой и говорит: «Не надо, я уж читал»...

— Конечно, надо и за этой стороной смотреть, потому что эта позорная привычка так въелась, что сами часто страдаем от нее. Вот у нас было один товарищ, ценный работник, доклады хорошо читал по истории революции, но слова одолевали. Бывало, читает, все ничего, как до московского восстания дойдет — так матом!.. Так вот я говорю, что против этого ничего не имею и даже сам всемерно содействовать буду. В са-

мом деле, пора ликвидировать это безобразие. Особо старшие мастера, они, мать их... ни одного слова сказать не могут без того, чтобы...

— Две копейки с вас, товарищ, — сказал подошедший к директору секретарь ячейки комсомола.

— Какие две копейки?

— За слова. Обругались сейчас.

— Когда я ругался? Что ты, мать!..

— Восемь, как за повторение.

— Да пойдя ты...

— Да ну их к черту, гони их! — закричали вдруг все. — Осточертели!

— Эти молокососы еще вздумают на голове ходить.

— Прямо тоска уж взяла — к кому ни подойдешь, все молчат. У него спрашиваешь про дела, а он, как чумовой, оглядывается по сторонам, потому этими двумя копейками до последнего обчистили.

— Верно! От мастеров от старших не добьешься ничего, объяснять совсем перестали.

— Покорно благодарю... — сказал старший мастер, — я вчера за свое объяснение восемь гривен заплатил...

— У меня пять человек детей, работаю с утра до ночи, — сказал рабочий с цепочкой, — а я должен ругаться: «Елки-палки»... Прямо вспомнить стыдно, ей-богу. Только что вот на воздухе в праздник и очухнешь немного.

— Нет, уж вы, пожалуйста, свое дело делайте, а нам работу не портите, — сказал директор, — а то вы опыт устроили, а завод за неделю только восемьдесят процентов производительности дал.

— Молокососы, — закричали сзади, — об деле не думают... только страну разорить... и так нищие.

— Пиши резолюцию, — сказал директор.

«Ввиду невозможности быстрой отвычки от употребления необходимых в обиходе... технических слов, считать принятую культотделом меру преждевременной и слишком болезненной, вредно влияющей на самочувствие и производительность». Какую меру — в протоколе упоминать не будем. Так ладно будет?

— В лучшем виде! Завтра же на полтора процента нагоним! — крикнули все.

А старший мастер повернулся к заведующему культотделом, посмотрел на него и, засучив рукава, сказал:

— Ну-ка, господи благослови — бесплатно!

1925



**П**редседатель правления одного из

советских учреждений сидел у себя в кабинете, потом встал и стал зачем-то мерить комнату шагами вдоль и поперек.

Вымерив, остановился, погладил затылок и посмотрел вопросительно на стену, обведя ее всю взглядом.

Потом вышел из кабинета и, заглянув в соседнюю комнату, где сидели машинистки, тоже провел глазами по стене.

Потом позвал управдела.

— Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этих двух комнат можно одну сделать? Тогда бы тут заседания правления можно было устраивать. А машинисток наверх перевести.

Управдел тоже посмотрел вопросительно на стену, постучал по ней пальцем и сказал:

— Можно. Стену эту высадить — пара пустяков. И обойдется не дороже сотни, много — полторы, с отделкой.

— Ну, вот и прекрасно.

Через неделю председатель ходил по комнате, соединенной из двух в одну, мерил ее шагами и говорил:

— Вот это комната, так комната! Только что-то она уж очень велика вышла?

— Это так кажется с непривычки, — сказал управдел. — Только вот машинистки недовольны, говорят, что их в собачью конуру законопатили.

— Потерпят, что ж делать-то!

А еще через неделю председателя перевели в другое учреждение.

Заступивший его место новый председатель пошел обходить учреждение для знакомства со служащими. Наверху к нему подошли машинистки и сказали:

— Нам здесь очень тесно, нельзя ли нас устроить там, где мы прежде были?

— А где вы прежде были? — спросил новый председатель.

— Внизу, где ваш кабинет.

Председатель спустился вниз и стал мерить шагами свой кабинет. Потом позвал управдела. Когда тот пришел, он сказал:

— Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этой одной комнаты две можно сделать? А то машинистки жмутся наверху в этой клетушке.

Управдел обвел комнату взглядом и сказал:

— Пара пустяков. Ведь тут прежде стена была, возобновить ее ничего не стоит.

— Ну, вот и прекрасно. Теперь очень смотрят за тем, чтобы учреждения поэкономнее расходовали средства, а тут под кабинет председателя целый зал отведен. Это нам не по карману. А дорого это будет стоить?

Управдел почесал висок и сказал:

— Жалко, что мы не предусмотрели: у нас для этого материал был, пожгли его весь. Теперь придется покупать. Да я думаю все-таки, что не больше трехсот рублей обойдется.

— Тогда валите, лучше один раз истратиться, да потом сэкономить, а главное, машинисток жалко.

— Ладно, — сказал управдел.

А председатель стал вымеривать комнату шагами.

— Это кто же ухитрился тут стену-то сломать? — спросил он, кончив мерить.

— Прежний председатель, — отвечал управдел.

— Это значит, чего моя нога хочет?

— Вроде этого.

— Что ж, у нас как на это дело смотрят: деньги казенные, значит — вали! Небось кабы его собственное предприятие было, он не стал бы кабинеты по десяти сажен разгонять.

— Да, ведь, конечно, как говорится, казна не обеднеет.

— Добро бы для людей делал, а то для собственного комфорта.

Через две недели председателя сменили.

Поступивший на его место новый призвал к себе всех служащих и спросил, не желают ли они высказать каких-нибудь пожеланий, так как он человек новый и не знает местных условий.

Служащие сказали, что особенно жаловаться ни на что не могут, только вот по вечерам собираться нигде, читальни нет.

И все увидели, как председатель поднял голову и стал водить глазами по стенам кабинета.

— В соседней комнате что? — спросил он.

— Комната для машинисток.

— Так. Ну, идите, а я подумаю.

— Что тут будешь делать! — говорил управдел, когда они все вышли из кабинета. — Прямо невидимая сила какая-то тянет их к этой стене.

— Оно, конечно, каждому на первых порах хочется деятельность проявить и служащих убогатворить, — сказал регистратор, — вот у нас, где я прежде служил, один председатель составил себе план работ, бараки деревянные для рабочих строить, а после, который на его место пришел, посмотрел на эти деревянные бараки да и говорит: «Это к чертовой матери! Тут нужно каменный корпус строить, а деревянные бараки — один перевод денег». Ну, и сломали.

— Это верно, сколько я ни замечал, если один что-нибудь начал, а на его место другой пришел, то ни за какие коврижки по прежнему плану делать не будет, — заметил управдел, — самолюбие в этом отношении огромное. Каждый рассуждает так: ежели я по чужому плану делать буду, то подумают, что я своего не могу придумать. И не дай бог часто начальство менять, вот какой расход от этого — хуже нет.

— Это верно, — сказал регистратор, — ежели какое учреждение мало-мальски слабовато в финансовом смысле, то больше двух председателей в год не выдержит. Прогорит, как пить дать.

— Ежели уж только какого дурака найти, который будет смиренно сидеть, то ничего. А ежели чуть мало-мало человек деятельный, он, первое дело, глядит, за что бы ему зацепиться. Вот у нас уж на что дело маленькое. А как новый поступил, так его и тянет, так и пошел по комнатам ходить, нюхать, нельзя ли чего ко-



вырнуть. У нас, кроме этой стены, и тронуть нечего. Так они прямо как мухи на мед на эту стену.

— Они одной стеной по миру пустят. Их человек пять за год сменят — вот тебе и готово дело! Оно, конечно, можно бы сказать, — продолжал управдел, — а потом, как рассудишь, — какое мне дело, еще потом в обиде на тебя будут, что вмешиваешься в распоряжения начальства, — ну и молчишь.

— И черт их знает, прямо как домовый над ними подшутил — воткнулись все в эту стену.

— Во что ж больше у нас воткнешься-то, не наружные же стены ломать, — сказал регистратор, обтирая перо о подкладку куртки, потом об волосы.

— Иван Сергеевич, вас председатель кличет, — сказал курьер, просунувши голову в дверь.

— Что-то, кажись, клюнуло, — сказал управдел и пошел к председателю.

Новый председатель стоял у стены и постукивал по ней суставом указательного пальца.

— Что эта стена, толстая или нет? — спросил он управдела.

— Нет, не очень, вершка на два, я думаю.

— Вот служащие жаловались, что собираться негде. Может быть, ее того.. Тогда получится хорошая большая комната.

— Это идея, — сказал управдел. — Высадить ее — пара пустяков.

— Ну, вот и прекрасно.

— Готов! — сказал управдел, вернувшись в канцелярию. — Прямо как муха на липкую бумагу попал! Ах, сукины дети, разорят вдребезги. Да и дом уж очень обезобразили: сарай какой-то посередке.

Через неделю в отчете, поданном председателю, стояло:

«За слом стены — 150 руб.

За восстановление стены — 300 руб.

За слом стены — 170 руб.»

— Теперь не миновать четвертого ждать, — сказал регистратор, — еще триста за восстановление заплатим, дом и в порядке опять будет!

**Х**озяйка рылась с артелью на огороде,

когда прибежала ее племянница и сказала, что пришли в квартиру какие-то люди и требуют хозяев.

— Господи боже мой, что им нужно-то?

— Уж не обмеривать ли комнаты пришли? — сказала соседка.

— Спаси, царица небесная... К нашим соседям пришли с рулеткой, обмерили, а потом выселили. Кубату-ра, говорят, не сходится.

— Вот, вот, все про кубатуру про эту говорят, чтоб она подохла!

— А может, с обыском? Не прячь ничего, а то хуже: все отберут.

— Вот до чего запугали, ну просто...

Хозяйка, вытирая о фартук руки, тревожно пошла к дому. У порога стояли, дожидаясь ее, трое молодых людей,

— Вы хозяйка?

— Я... — сказала та, испуганно глядя то на одного, то на другого.

— Позвольте осмотреть квартиру.

Хозяйка с испуганным лицом открыла дверь. Все вошли. В это время с огорода с растрепавшимися волосами прибежала прачка и испуганным шепотом успела сказать хозяйке:

— Мандат спроси...

Хозяйка растерянно оглянулась и, нерешительно продвинувшись вперед, только было хотела спросить мандат, как один из пришедших молодых людей в кожаной куртке сказал товарищу:

— Рулетку взял?

— Взял, — отвечал тот.

Хозяйка побледнела и, в растерянности оглянув-

шись на стоящий в дверях любопытный народ, попятилась к двери.

— Вот это было налетела... — сказал кто-то негромко в сенях.

— Теперь пропала.

Хозяйка еще тревожнее оглянулась в ту сторону, откуда было сказано, потом, как бы желая загладить свою вину, выразившуюся в намерении спросить мандат, сказала, обращаясь к молодому человеку в кожаной куртке, который был, очевидно, главным:

— Может быть, выслать народ-то, батюшка?

— Пусть остаются: чем больше народу, тем лучше. Меряй стену, — сказал он товарищу.

Тот размотал рулетку и стал мерить. Хозяйка со страхом смотрела на рулетку.

— В этом сундуке что у вас? — спросил главный.

— Белье, батюшка, тут ничего кроме белья нету...

— Откройте!

— Вот только еще мыла два кусочка положила вчера, да мучицы...

— Откройте! Сами увидим, что вы тут положили.

Хозяйка открыла сундук.

— А сахар зачем тут? — спросил, строго нахмурившись, главный.

— Да это я, батюшка, два фунтика положила от мышей.

— Когда положен?

— Вчера... нет, третьего дня.

— Меряй сундук, — сказал главный, обращаясь к товарищу с рулеткой. Тот удивленно взглянул на приказывающего, но сейчас же стал мерить, покрутив головой и сказавши про себя: «Черт ее что...»

— Кладовые показывайте!

— А сундук-то, батюшка, останется? — робко спросила хозяйка.

— Сундук при вас останется, — отвечал главный. — Можете его держать сколько угодно.

Пошли осматривать кладовые.

Осмотрели там два сундука, причем хозяйка все загораживала один. Но и его приказано было открыть. В сундуке был сахар, белая мука... Хозяйка,

держась за сердце, стояла, побледнев, и ждала результатов.

Все затаили дыхание.

— Сейчас скажет «забирай» — и крышка, — слышался сзади голос соседки. — Спаси, царица небесная...

— Ничего, это подходит, — сказал главный, закрывая крышку сундука.

Хозяйка торопливо подняла глаза к потолку и, облегченно вздохнув, перекрестилась.

— А этот обмеривать не будете?

— Нет, на глаз видно.

— Это, значит, ничего, батюшка, подходит? — спросила она робко, не потому, что не расслышала, а от радости, как бы желая показать, что она так чиста и невинна сердцем, что не боится переспросить.

И когда главный ответил, что подходит, она в приливе неудержимой радости почувствовала потребность уже самой показать даже то, чего и не спрашивали:

— Вот сюда, батюшка, вот еще сундучок осмотрите. Тут у меня посуда есть, серебро, только немного, конечно, что сама своими мозолистыми руками добывала.

— И это подходит, — сказал главный.

— Да к чему подходит-то, спроси, — сказал тихо сосед. Но хозяйка досадливо отмахнулась от него и опять украдкой перекрестилась.

— Господи батюшка, а уж мы так напуганы, все приходят какие-то неделикатные, каждый фунт сахару отбирают.

— После нас ничего уж не отберут. Держите все, что мы осмотрели, и никуда не прячьте и не перепрятывайте.

— Спасибо, батюшка.

— Благодарить не за что. Мы исполняем долг и только. Какие жильцы в квартире? Прислуга есть?

— Что вы, что вы, какая прислуга, — воскликнула испуганно хозяйка, — я всю жизнь своими руками...

— Ладно, сами служите?

— Нет... то есть да... У меня и все служат.

— Все?... Значит, нетрудового элемента нет?

— Нет, нет, боже избави...

— Смотрите, приду завтра днем проверить. Если до

пяти часов кто-нибудь дома окажется, тогда... Ну, все, кажется.

— Коза есть еще, батюшка.

— Коза не подойдет, — сказал главный, подумав.

— Отчего, батюшка... Все же держат... налог заплатила... — говорила, побледнев, хозяйка.

— Впрочем, все равно. Где она?

Осмотрели и козу.

— Ну, слава тебе господи, — говорила хозяйка по уходе молодых людей. — Все, говорят, подошло.

— Да к чему подошло-то? — спросил опять сосед.

— Это уж их дело.

На другой день около дома был переполох. Вся квартира была обокрадена.

Побежали искать хозяйку, нашли на огороде. Но она, увидев людей, почему-то бросилась от них и убежала.

— Уж не умом ли помешалась? — сказал сосед.

— Ей кричат, что обокрали, она ничего не понимает и твердит, чтобы уходили: пяти часов еще нет. За коим чертом ей пять часов понадобилось?

Когда она пришла и увидела, в чем дело, то схватила себя за волосы и осталась в таком положении.

— Взяло дюже здорово, — сказал сосед.

— Мандат надо было спросить.

— Она и хотела спросить, а они рулетку вынули. Ну, она и прикусила язык.

— Все, говорят, подошло, — сказал сосед, взяв себя за бороду. — Да к чему подошло-то? Вот вся суть-то в чем была.

— Сама, окаянная, все показала, — сказала наконец хозяйка с тем выражением, с каким причитают над умершим сыном, причиной смерти которого считают себя. — Пять часов на огороде высидела.

— А что ж козу-то не обмеряли? — спросил сосед, подмигнув.

— На глаз прикинули, — сказала прачка. — Ах, головушка горькая! Чиновники приходят, их за жуликов принимаешь — попал! Жулики пришли, их за чиновников принял. Опять попал. Вот жизнь-то заячья!

**М**илиционер 65-го участка, Иван

Митрохин, попавший на свой пост после именин свояченицы, стоял, прислонившись к воротам.

— Хуже нет после водки пиво пить, — подумал Митрохин. — И оторопь какая-то берет, и в глазах чтой-то представляется. А чего бояться? Улица и есть улица, а против жуликов у меня револьверт есть.

Но вдруг вся кровь застыла у него в жилах: прямо на него шли два чудовища на четырех лапах. Шли они как-то странно, старались, видимо, держаться середины улицы, но их все сносило к тротуару, где был наметен снег.

Митрохин выхватил было револьвер, но вспомнил, что если это нечистая сила, то револьвером не поможешь, потом вспомнил, что он даже и не имеет права верить в нечистую силу.

Чудовища приближались. И у него мелькнула мысль, что это вырвавшиеся из зоологического сада медведи.

Он спрятался в ворота и ждал. Медведи поравнялись с воротами, и он ясно услышал долетевшие до него слова.

— Да, нынче напробовались, — сказал один из медведей.

— Ох... — сказал другой, хотел еще что-то прибавить, но только махнул лапой и пошел дальше.

Услышав разговор, Митрохин несмело подошел.

— Граждане, остановитесь! — сказал он, заступив дорогу.

Гражданами он назвал их наугад. Но это действительно оказались два неизвестных ему гражданина, которые шли на четвереньках.

— Почему не по правилам ходите?

— Пробовали уж всячески, — сказал один, стоя на четвереньках и подняв голову.

Он поправил наехавшую на глаза барашковую шапку и сказал заплетающимся языком:

— Сначала шли по правилам, да все морды себе обколотили.

— А главное дело, — сказал другой, не поднимая головы, — крутит какая-то нечистая сила на одном месте. Из одного угла, должно, больше часу не могли выйти.

— Принужден задержать, — сказал Митрохин, — протокол составим, а потом вас к народному судье, значит, попросят.

— Нас судом не возьмешь, — сказал один, все еще стоя на четвереньках и утерев рот рукой.

— Судом всякого возьмешь, — сказал милиционер, — потому республика того... напрягает силы, а вы на четвереньках ходите.

— Чудак, ей-богу, — сказал другой, — на чем же нам больше ходить? Посадить тебя на наше место, так ты тоже так пойдешь.

— А вы кто такие будете?

— Дегустаторы, — сказал первый.

— Как?

— Вот и так. Все равно тебе не понять.

— А не понять, так идите. Откуда идете?

— Со службы.

— Какие же вы работники, когда пьяны оба, как стельки. Хорошо было бы, если бы я тоже так-то?

— Потому и пьяны, что идем со службы.

— Не разговаривай. Давай руку, подсоблю идти.

— Что ж, я на трех ногах, что ли, буду идти!

— На двух должен идти, как все прочие граждане республики, — сказал строго милиционер.

— Прочие, да не мы...

— Тьфу ты, черт! — сказал милиционер. — Ну, ничего не понять. Как, говоришь, вы называетесь-то?

— Дегустаторы.

Милиционер, выставив вперед одно ухо, выслушал, потом, махнув рукой, сказал:

— Идите, там разберемся.

Милиционер пошел вперед, но тут почувствовал еще раз, что после водки пиво никак не следует пить.

— Эй ты! — крикнул один из арестованных. — Что ж ты крутишь? Куда тебя лихая в сугроб занесла, улицы-то тебе мало?

— Какой сугроб, тут никакого сугроба нету, — сказал милиционер, вытряхивая из рукава снег, так как он ткнулся в ограду и проехал рукавом по ее карнизу. — Какое же с вами дело пойдет, какие вы строители республики, — говорил он, подвигаясь по стенке. — Как же это вы так надрызгались?

— Сверхурочные работали, — сказали арестованные. Милиционер оглянулся, посмотрел на них, потом, ничего не сказав, плонул и пошел дальше.

— Всяких пьяных водил на своем веку, а таких чертей отродясь не видывал, — сказал он потом.

Когда пришли в милицию, он вошел к дежурному и сказал:

— Пьяных привел.

— Опять пьяных? Ну, прямо измордовал бы их, сукиных детей!.. Кто они?

— А черт ее знает, кто... — сказал милиционер, — и не разберешь. Только по разговору и узнал, что люди.

— Давай сюда, — сказал дежурный, — мы им покажем.

Когда арестованные, все перепачканные в снегу, со съехавшими на глаза шапками, которые они все силились поправить руками в варежках, вошли, дежурный, сидя за столом в железных очках и глядя поверх их, спросил:

— Кто такие?

— Дегустаторы... — ответил один.

Милиционер быстро взглянул на дежурного.

— Такого слова нету. Откуда шли?

— Со службы.

— С какой службы?

— Со склада.

— Значит, напились при исполнении обязанностей?

— Конечно, мы не зря пили.

— Один туман, — сказал милиционер тихо дежурному.



Дежурный, видимо, не знал, какой еще вопрос задать, и потому только, озадаченный, смотрел на арестованных.

— А почему так поздно шли?

— Сверхурочные работали.

— А почему напились? — спросил дежурный, хлопнув рукой по таракану, который, выскочив откуда-то, хотел было перебежать стол наискось.

— Потому и напились, что сверхурочные работали, — ответили арестованные.

— Вот тут и разбери их, — сказал милиционер.

Дежурный отклонился на спинку стула.

— Да в чем ваша служба-то состоит?

— В чем... вино пробуем, сорта определяем... один там дороже, другой тоже дороже.

Милиционер с дежурным живо переглянулись.

— Черт возьми!.. Так это, значит, служба?

— А ты что же думал! Известное дело — служба.

— Ч-черт возьми!..

— Ну, и как же вы пробуете?

— Да так, полагается только рот полоскать и выплевывать.

— Вино-то выплевывать? — спросил с недоумением дежурный.

— Ну да.

— Это что ж, издеваться над человеком? — сказал, сплюнув, милиционер. — Пополоскал-пополоскал да и выливай? Черта с два вылил бы я тебе! А вы-то, неужто выплевываете?

— Как придется... Да оно, когда разные сорта пробуешь, так и не выплевывавши наберешься хорошо.

— Разные — это как есть, — сказал милиционер. — Особенно водку с пивом.

— И значит, каждый божий день вот в таком состоянии? — спросил дежурный.

— Нет, так только — когда сверхурочно.

— А по своей воле сверхурочно работать можно? — спросил милиционер.

— Да ведь если работа есть — отчего же!

— Дня б ни одного не пропустил, — сказал милиционер, утерев рот.

— Садитесь, чего ж стоите-то, — сказал дежурный. — Вон, стало быть, какие должности-то еще есть!.. Значит, пей, и никто тебе ни черта сделать не может. Вот это служба. А сейчас с нас требуют, чтобы пьяных особенно преследовать, потому пьянство огромный вред республике делает... Хулиганство там и прочее. Ведь вот вы на четвереньках шли, значит, мы вас должны были бы забрать. А вы, глядь, по должности на четвереньках-то шли.

— А что, ежели совсем не выплевывать? — спросил милиционер.

— Тогда и на четвереньках не дойдешь, — сказали арестованные.

— Здорово!

— Ну, что ж, у нас ночевать будете или проводить послать?

— Нет, сами доберемся как-нибудь.

— А завтра, значит, с утра прямо начнете?

— С утра.

— Ну и служба... Скажи пожалуйста!

Когда арестованные, придерживаясь друг за друга, пошли по стенке из участка, дежурный и милиционер долго смотрели им вслед, потом дежурный крикнул:

— А вакансии у вас так-то нету там?..

— Все забито.

Милиционер почесал в затылке и, выбежав за ушедшими на крыльцо, крикнул:

— А сдельно у вас не выдают?..

**В** комнату, занимаемую водопроводным

слесарем, постучали. Вошла полная дама в накинутой на плечи шубе и, очевидно, не зная, кто здесь хозяин, обратилась к сидевшим за столом монтеру и истопнику:

— Пожалуйста, будьте добры прийти, у нас вода течет из крана. Там, вероятно, пустяки, только винтик какой-нибудь подвинтить.

— Вон хозяин.

Слесарь, рывшийся в стенном шкапчике, сначала ничего не ответил, потом недовольно сказал:

— Некогда сейчас.

— Пожалуйста, будьте добры... может быть, потом, когда освободитесь.

— Ладно, там посмотрим.

— Ну, так я буду ждать вас. А вы уж, пожалуйста, сегодня...

Когда полная дама ушла, монтер подмигнул ей вслед и сказал:

— Обращение какое: «Вы, пожалуйста». Вот и мы в господа попали.

— Нужда всему научит, — сказал хозяин.

— Зарабатываешь-то хорошо?

— Да зарабатываю ничего. Надоедают только очень. Сами ни черта не умеют и лезут со всякой ерундой. Работа все пустяковая.

— Ежели у человека голова с мозгом — пустяковой работы не будет, — сказал электрический монтер. — У меня брат тут недалеко живет, так у него винтиков не бывает, он тоже водопроводчик — как позовут чинить, — а придет, посмотрит и скажет: воду запереть придется, потому что надо в котельное отделение идти. Да и то, кто ее знает. Завтра попробуйте, пус-

тите воду. На другой день прибегают с благодарностью.

— У, черти безголовые, прямо смотреть противно, — сказал угрюмо слесарь.

— Вот возьми ты хоть эти пробки электрические, кажется, малый ребенок разберется, как и что: взял, проволочку вставил, и готово дело. А у них как электричество потухнет, так за мной. Когда придешь, так всей семьей соберутся, ровно как на чудо какое смотрят, когда пробки меняешь. Сам барин тебе свечкой светит. А никогда не спросят, как это делается.

— Совестьятся, подумаешь, что хлеб у тебя отбивать хотят, — сказал, усмехнувшись, истопник.

— Нет, это уж так... Теперь вот до чего напуганы: иной раз возьмешь для смеху, вынешь пробки и ждешь, что будет. Прежде, бывало, горничную пришло: «приказали исправить», а теперь сами прибегают: «пожалуйста, вы»... — не хуже этой барыньки.

— Верно, верно.

— Да иной раз, если некогда, еще скажешь, что, мол, так скоро нельзя, тут в котельное отделение надо идти да винты на базаре покупать.

Истопник засмеялся.

— Какое ж тут котельное отделение с пробками-то?

— Все равно, им что ни скажи.

Даже слесарь усмехнулся и еще раз повторил: «котельное отделение», ведь выдумают, ей-богу.

— Это верно, — сказал, усмехнувшись, истопник.

— Смирные уж очень стали. Куда что делось? Бывало, раз позвали, отправляйся немедленно, а сейчас скажешь: подождите — и ждет в коридоре. Ну-ка, стой, сейчас попробуем...

Монтер вышел в коридор и через минуту вернулся.

— Закинул удочку, — сказал он, подмигнув.

— Ай вывинтил? — спросил истопник. Электрический монтер только молча кивнул головой и, загородившись ладонями от света, стал смотреть в окно.

— Сейчас из пятьдесят второго номера прибегут.

— Чудак...

Через минуту за дверью послышался шорох, потом грохот поваленной кадки.

— И в коридоре потушил, — сказал монтер.

Все засмеялись и стали смотреть на дверь и ждать. Вошла пожилая дама.

— Пожалуйста, будьте добры, у нас электричество погасло.

— Давно? — спросил, нахмурившись, монтер, как нахмуривается доктор при заявлении пациента о болезни.

— Нет, только сейчас... мы ничего и не делали с ним, даже не дотрагивались... оно само... совершенно само.

— Само ничего не бывает. А ручкой с пером в него не совали?

— Какой ручкой... Что вы... нет, нет...

— Все лампы погасли или часть?

— Все, все, нигде не горит.

— Это дело плохо. Придется... в котельное отделение идти, — сказал, подумав, монтер. — Завтра приходите.

Дама ушла, поблагодарив.

Истопник упал животом на кровать, а угрюмый слесарь сказал:

— Смех смехом, а теперь только этим и зарабатывать...

**С**реди немногих пассажиров в вагоне

ехал рабочий, который перед каждой станцией просил сидевшего с ним на одной лавке румяного студента посмотреть за вещами, а сам исчезал и после второго звонка опять появлялся, на ходу утирая ребром ладони рот.

— Это прямо сил никаких нет — не берет, да и только, — сказал он.

— Что не берет? — спросил студент.

— Не пьянею отчего-то. На каждой станции прикладываюсь, и хоть бы что... Вот наказал бог!

— А разве хорошо, когда пьяный?

— Какой там — хорошо, когда все нутро выворачивает.

— А зачем же нужно-то?

— Да домой еду, — ответил рабочий. — Вот шесть гривен как не бывало, а у меня в голове даже не шумит. Что ни рюмка — то гривенник. Теперь уж бутылку начать придется, вот еще рубль двадцать.

— Рад, что ли, что домой едешь? — спросил опять студент.

— Какой там — рад... жена больная лежит, а тут корову покупать надо, денег нету. А ведь у нас народ какой... ежели ты, скажем, человек работающий, хороший и все такое, а домой приехал трезвый, тихо, спокойно, со станции пришел пешочком, то тебе грош цена, никакого уважения, и смотреть на тебя никто не хочет. А ежели ты нализался до положения, гостинцев кому нужно и кому не нужно привез, да сам на извозчике приехал, тебе — почет и всякое уважение.

— За что ж тут почет-то? — спросил студент.

— А вот спроси!.. Потому что темнота. Что глупей этого: денег и так мало, жена больная, а тут извольте

пить да потом песни орать во все горло, как по деревне поедешь, да сквернословить. Хорошо это или нет? Человек я тихий, водки не люблю, безобразия тоже никакого не выношу, а что сделаешь?.. Все потому, что темнота окаянная.

— Что ж сделаешь — порядок, — сказал мужичок в новеньких лапотках, сидевший напротив.

Поезд остановился у станции. Рабочий высунулся в окно и посмотрел на платформу. Из вагона вылезали двое рабочих, оба пьяные. Один поддерживал другого. Они тащили волоком свои мешки по платформе и горланили песни.

— Вишь вон, — сказал рабочий, кивнув в их сторону, — кому везет... Они, может, и выпили-то всего на грош с половиной, а шуму — не оберешься, от всех почтение: коли пьяны, значит, хорошо заработали. А тут вот два целковых ухлопаешь, а толку нет.

— А может, напускают на себя? — сказал мужичок.

— Черт их знает! Может, и это. И отчего не берет, скажи, пожалуйста? — сказал опять рабочий, пожав плечами. — Уж без закуски пью, а все ничего толку. Только жжет нутро, пропади она пропадом, а больше ничего. Мать честная, скоро слезаты!.. — прибавил он. — Намедни приехал трезвый, и пошли разговоры... К жене потом кумушки ее приходили и все расспрашивали, ай меня с работы прогнали, ай я не люблю ее и бросать хочу. И чего только не наплели...

— Это конечно, — сказал мужичок в лапотках, — всякому будет думаться: домой с работы человек приехал и трезвый — что-нибудь не так. Поди объясняй потом, а на тебя все будут посматривать да про себя думать. Порядок не нами заведен — не нами и кончится.

— Может, для компании, старина, со мной выпьешь, а то одному уж очень противно, ей-богу. Главное дело, еще утро, добрые люди только на работу поднимаются, а тут изволь...

— Это можно, — сказал мужичок. — Я с молодых лет тоже плоховат на вино был, но с годами втянулся, теперь — ничего.

И он, запрокинув бороду вверх, стал, моргая и глядя в потолок, пить из горлышка.

Рабочий смотрел на него, как смотрит врач, давший больному микстуру.

— Ну что? — спросил он, принимая бутылку. Мужичок погладил живот и сказал:

— Взяло...

— Поди ж ты... На кого, значит, как... А у меня только и толку, что потом всего наизнанку выворачивает. Доктора говорили мне у нас в больнице, что катар у меня и ни капли мне пить нельзя.

— Здоровому человеку, конечно, ничего, — сказал старичок, — а вот больному — тяжело.

— Прямо мука-мученская, — сказал рабочий, покачивая головой и посмотрев на бутылку, которую он все держал в руках. — Вот сейчас до самого дома травиться буду. Ведьдохну прямо. Этак еще раза три домой съездил — и готов. А как приеду, значит, первое дело — родню поить. Самому бесприменно пьяным надо быть. Потом пойдем по всем кумовьям, там надо пить тоже как следует.

— Как же можно, на смерть обидишь, — сказал старичок и сам уже попросил: — Дай-ка еще глоточек, мне уж немножко осталось, сейчас дойдет.

Рабочий сначала сам, запрокинув голову, отпил несколько глотков, потом, утерев с отвращением рот, передал бутылку старичку.

Старичок пил, а он продолжал:

— И откуда эта темнота окаянная? Скажи, пожалуйста, от попов и от религии отрекись, от этих порядков никак не отмотаешься. Вот сейчас меня, к примеру, взять: заработал деньжонок, домой бы приехал, по хозяйству бы справил что-нибудь, корову, глядишь, купил бы, а вот чертовщины всякой везу. Одной колбасы полпуда! Ведь это с ума сойти надо! Да водки этой, пропади она пропадом, сколько. А сам драный хожу. Ой, мать честная, уж приехали? Что пил, что не пил... Ах, провалиться тебе, даже в голове ни чуточки не замутилось! Тьфу!

— Нет, я, кажись, слава богу, дошел, — сказал мужичок, — и на чужой счет и немного выпил, а вышло в препорцию.

Они собрали свои мешки и, когда поезд остановил-



ся, пошли выходить. Студент подошел к окну и стал смотреть на платформу.

Вдруг он увидел, что рабочий, поддерживаемый мужичком, шел, шатаясь по платформе, волоча мешок по земле, размахивая свободной рукой и пьяным голосом орал песни. Потом закричал:

— Извозчик! Подавай, с-сукин сын, ехать хочу! Чего собрались, туды вашу мать?! — крикнул он на стоявших и смотревших на него мужиков. — Ну, смотрите, не запрещаю!

Те посторонились и молча смотрели. А один, высокий с черной курчавой бородой, сказал:

— Дошел, хорош. Ах, сукин сын, — прямо земля не держит, — молодец! Чей-то такой?

— Семена Фролова из слободки.

— Здорово живет. Ах, сукин сын, погляди, что выделяет!

— Вот это не даром отец с матерью растили. Сейчас приедет домой — и себе удовольствие, и другим радость. А тут гнешь-гнешь спину... Тьфу!

1926

# Неподходящий человек



КОЛО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА НИКОГДА

еще не было столько народа, сколько собралось в этот раз.

Мужики сидели на траве около крыльца, собирались кучками и возбужденно говорили.

— Что, еще не приходил?

— Не видать.

Из переулка показались два человека, которые шли по направлению к совету.

— Вот он!

Все, сразу замолчав, повернули головы к подходившим.

— Нет, это не он, — сказал кто-то, — это наши московские ребята, вчера съехали.

— Он скоро и не покажется.

— С мыслями собирается... — сказал насмешливый голос.

— Он бы раньше с мыслями собирался, думал бы, как с народом жить.

Московские подошли, сняв картузы, поздоровались и некоторое время оглядывали собравшихся.

— Чтой-то у вас такой гомон идет? — спросил один из них, хромой на правую ногу, надевая опять картуз.

— Так... Перевыборы.

— Председателя сейчас ссаживать будем! — возбужденно сказал юркий мужичок в накинутах на плечи кафтанишке.

— Ай не задался?

— Да. Неподходящий.

— Коммунист, что ли?

Тот, к кому случайно обратился хромой, лохматый мужик, сидевший на бревне, не сразу и неохотно сказал:

— Бывает, что иной раз и из коммунистов человек попадается.

— А в чем же дело?

— Да не подходит, вот в том и дело, — сказал юркий мужичок. И, присев перед лохматым на корточки, приложился прикурить от его трубочки.

— Мы вот прежнего проморгали, а теперь целый год этот тер нам холку.

— А, стало быть, хороший был прежний-то?

Юркий мужичок хотел было ответить, но очень сильно затянулся дымом и сквозь слезы только махнул рукой.

— Жулик!.. Такой жулик, какого свет не производил. Но брал тем, что человек был простой, обходительный. Он и выпьет с тобой, и детей пойдет у тебя крестить.

— В казенный лес дрова с нами воровать ездил, — сказал лохматый с своего бревна.

— Да... Вот только одна беда — что жулик да сюда заливал.

— Зато слово держал, — сказал кто-то. — Если он тебе что сказал, пообещал, будь покоен.

— Насчет этого правда. Ежели ты ему бутылку поставил и он пообещал тебе, ну, налог там скинуть или что, так уж будь покоен. На кого другого накинёт, а тебя не тронет.

— А главное дело, народ не мучил, — сказал лохматый.

— Но жулик, это уж верно. Такая бестия, что дальше некуда. Что ни начнет делать, все у него перерасход. В Москву поедет, так он таких себе командировочных наставит, словно один на двадцати лошадях ездил.

Из совета вышел человек в сапогах и суконной блузе.

— Граждане, на собрание, — крикнул он.

Никто не отозвался. Только юркий мужичок переглянулся с хромым и сказал:

— Из этой компании... Секретарь. Скоро бабью юбку наденет.

И прибавил громко:

— Что ж иттить-то, дай начальство подойдет.

— Кого ж на их место выбирать будете? — спросил хромой.

Юркий мужичок вздохнул, почесал в голове, потом ответил:

— Пржегного придется, Ерохина. К нему вчерась уж на поклон ходили.

— Теперь, пожалуй, куражиться начнет.

— Вскочит в копеечку, — сказал кто-то.

— Ну, и вскочит, что ж сделаешь-то.

— Как же это вы налетели на нового-то? — спросил хромой.

— Как налетают-то... Сменить решили. Сил никаких не стало, все обворовал. А нового-то не наметили. А тут подобралась партия их человек пять. Мы думали, выборы сразу будут, и хлебца пожевать не захватили. А они сперва давай доклад читать. Томили, томили — у нас уж прямо глаза на лоб полезли.

— Одобряете?

— Шут с вами, одобряем, говорим, только кончайте свою музыку, а то все животы подвело.

— Ну, поднимайте руки, сейчас конец.

Подняли.

— Теперь, говорят, можете расходиться. Благодарим за доверие.

— Не на чем, говорим. А позвольте узнать, за какое доверие?

— А председателя, говорят, выбрали.

— Какого председателя?

— А вы за что руки тянули?

— Мать честная, мы так и сели. Что ж, значит, руку поднял, тут тебе и крышка?

— Не крышка, говорят, а председатель. Плянули мы на него, а он коммунист.

— Идет!! — крикнул кто-то.

Все оглянулись.

Через выгон к совету шел бритый, худощавый человек в белой рубашке, запрятанной в брюки, с галстучком и широким поясом, в карманчике которого у него были часы на бронзовой цепочке.

— По новой моде... — сказал кто-то недоброжелательно. — Ведь он, может, и ничего человек, а вот надо вывернуть наизнанку: люди рубаху из порток, а я в портки запрячу.

— Здорово!.. — сказал пришедший, поднимаясь на крыльцо.

Все расступились. Никто ничего не ответил, только ближние нехотя сняли шапки.

У стола в совете сидели двое: один в блузе, выходивший на крыльцо, другой в вылинявшей от солнца стиральной косоворотке.

Председатель подошел к ним и, что-то говоря, стал доставать бумаги из брезентового портфеля. Потом поднялся человек в блузе и сказал:

— Прежде чем производить перевыборы, товарищи, заслушаем доклад председателя.

— Это опять головы мутить? — крикнул кто-то сзади.

— Опять, дьяволы, оседлают! — сказал еще голос. — Куда ж это Ерохин делся?

— Они вот сейчас примутся читать, а уж когда у тебя глаза на лоб полезут — они тут и подвезут не хуже прошлого разу. Дочитались до того, что глаза у всех, как у вареных судаков, стали.

— Уморят.

— Установить очередь, — торопливо оглянувшись и подернув на плечо съехавший кафтанишко, крикнул юркий мужичок, который сел рядом с хромым, — чтобы половина тут сидела, а половина на улице. А то опять до дурману доведут.

— Правильно.

Председатель взошел на возвышение и, разобрав исписанные листы, прочел, обведя глазами собрание:

— Организационный период...

— Листов-то сколько, ведь это с половины глаза заводить начнешь, — сказал, покачав головой, юркий мужичок. И когда началось чтение, он нагнулся к хромому и зашептал:

— Вот как печатным словом донимает — просто сил никаких нет. Мы как, бывало, жили: рожь, овес уберешь, картошку выкопаешь и вались на всю зиму на печку. Никакого тебе дела, никакой заботы. Только скотине корму дать. А там праздник пришел, свинью зарезали, в церковь сходили. И знать больше ничего не знали.

— А теперь дня не пройдет, чтобы тебя не дергали, — сказал лохматый, — то в волость выборным идешь,

часов до пяти слушаешь, то в город делегатом каким-то едешь. А двоих намердны и вовсе в Москву услали. Этих одних комиссий сколько... намердны в город собираюсь, а меня не пускают: нынче, говорят, заседание мопров, явка обязательна.

— А что это такое?

— Мопры-то? Да это какие-то два стрекулиста из Москвы приезжали.

— Строительная часть... — прочел председатель.

— Ах, сукин сын, народ как мучает! Мать честная, уж наши носами клевать начали, — испуганно сказал юркий мужичок и толкнул впереди сидевшего черного мужика, которого начало уже покачивать вперед, точно его перевешивала голова. — Сидор, выходи на улицу, очумеешь. Выходи, говорю, — очажнешь, тогда придеешь.

И когда тот пошел к двери, юркий мужичок продолжал:

— Вишь, измывается. Хоть последний час, да мой. И отчего это, скажи на милость, когда разговор идет, то хоть сколько хочешь можешь слушать, а вот как чуть что писаное, или того хуже печатное, так никаких сил нет.

— Укачивает? — спросил хромой.

— Страсть! Теперь попривыкли малость, а спервоначалу, бывало, начнет, пяти минут не пройдет — мы все как куры, так и валимся. А он всю зиму нас вот так морил: то доклад, то ревизия, то и вовсе черт ее что...

— За Ерохиным жили — ничего не знали, все за тебя обдуманно и сделано, — сказал лохматый. — Бывало, когда налог платить, так он раз десять перед сроком пробежит по деревне: «Эй, кричит, граждане чертовы, не зевай, срок подходит». А этот вывесит бумажку, раз объявит, и кончено дело. Сам об себе и должен помнить. А там хватишься — домовой тебя в живот! — все сроки прошли, пеня с тебя пошла.

— Да уж насчет этого Ерохин был молодец. Целый год живи — ни о чем не думай. Ни собраний этих, ни комиссий за весь год не было, а у него все протоколы написаны, что слушали, что постановили. А там и не было никого, все сам писал.

— Народ, стало быть, не беспокоил?

— На этот счет молодец. И самая образцовая волюсть была. Придешь в совет, а у него на стенах листы, и в них разными красками столбики да круги. Только вот одна беда: на водку слаб да руки длинные. А этот все читает, читает... Ведь пошлет же господь такое наказание!

— Тем лучше: сам себе яму роет, — сказал лохматый.

Вдруг в дверях послышался какой-то шум и показался человек в распахнутой поддевке. Он нетвердой рукой перекрестился на угол, где прежде висели иконы, и сказал громко:

— Все заседаете, мать вашу так?

— Гражданин! Вы куда пришли? — крикнул председатель.

— Ой, ты тут еще, я и не видал, — сказал пришедший и, махнув рукой, ткнулся на свободное место.

— Ах, сукин сын, уж нализался, — сказал юркий мужичок. — Что ж он не мог до конца выборов-то потерпеть. Прежний председатель, — прибавил он, обращаясь к хромому, — каждый день пьян. Неужто он за прошлый год столько нахапал, что по сию пору хватает?

— Пункт двенадцатый: общий итог отчетного года... — прочел докладчик. — Граждане, не выходите! Сейчас конец — и перевыборы начнутся.

— Сейчас, сейчас, только воздуха глотнуть.

Вся левая сторона сидевших в совете вытеснилась на двор, а на их место сейчас же пришла новая партия со двора. Минут через пять вернулись и эти.

— Сыпь теперы!

Человек в булзе, сидевший за столом президиума, встал и сказал:

— Прошу назвать кандидатов в председатели. А если вы одобряете старого, то можете переизбрать его.

— Антона Ерохина! — крикнули голоса.

— Значит, вы выражаете недоверие прежнему председателю?

— Ничего мы не выражаем, а не надо нам его.

— Нельзя ли объяснить почему?

— Потому что — неподходящий, вот и все, — проворно крикнул юркий мужичок и, обернувшись назад, шепнул: «Поддерживай!»

— Антона Ерохина! — заревели голоса.

Человек в блузе пожал плечами и, обратившись к Ерохину, сказал:

— Может быть, выразите собранию благодарность, товарищ, за оказанное вам доверие?

Вновь избранный протеснился падающей походкой вперед и взобрался на возвышение, с которого сошел читавший доклад председатель.

— Выражаю... — начал было вновь избранный, но потом усмехнулся и, махнув рукой, крикнул тоном выше: — Что, вспомнили, сукины дети, Антона Ерохина?

— Вспомнили! — ответили голоса и громче всех юркий мужичок.

— Ну, смотрите теперь... Выражаю!

— Поневоле вспомнишь, — сказал опять юркий мужичок и прибавил: — Ах, головушка горькая, оберет теперь все, сукин сын.



# Шведская машина



коло вокзала на площади со сквером

посередине стоял автобус, а около него — целая толпа пассажиров, которые почему-то не решались садиться.

— Что ж не садятся-то? — спросила старушка с арбузом подмышкой.

— Шофер пьяный.

— О, господи батюшка!

— Обидели небось чем-нибудь — вот и пьян, — отозвался рабочий с мешком. — Ведь это ежели образованного человека чем тронули, так он сам сумеет так напакостить, что век будешь помнить, а нашему брату что?.. Только всего и облегчения, что матюшком пустишь или пьян напьешься.

— Ну что за безобразие, задерживают из-за пьяного! — крикнула нервная дама в шляпе с ягодами.

Рабочий посмотрел на нее.

— Конечно, как господа, так они по душе к тебе не подойдут, ежели ты, скажем, выпил и на должность пришел, или замедление из-за тебя какое вышло. Тут, боже мой, пыль поднимут!.. А сам и едет-то всего либо на именины, либо в карты играть... А свой брат, рабочий, никогда не осудит. Иной раз толкает тебя как следует кто-нибудь, хочешь его смазать за это, а как увидишь, что пьяный, так сердце и отмякнет сразу, еще и через улицу переведешь.

— Правильно — сам в таком положении будешь.

— Ну, садитесь, что ли, — сказал кондуктор.

— А как же, батюшка, шофер-то пьяный? — сказала старушка с арбузом.

— Что ж сделаешь-то...

— А не опасно?

— Чего опасно? — сказал рабочий. — Это тебе не машина, с рельс не сойдет.

Все полезли садиться.

— Кажется, ни в одной стране такого безобразия встретить нельзя, — сказала дама с ягодками на шляпе.

— Наша страна — особенная, милая моя, — сказал рабочий.

— Трогаемся, что ли, Сидоров? — крикнул кондуктор.

— Трогаемся!.. Стой, тут чтой-то не повернешь ничего... Вот машина-то чертова! — отозвался утрюмо шофер, который с недоумением дергал то за одну ручку, то за другую. И его все толкало то вперед, то назад.

— Безобразие! Должно быть, никогда не уедем! — крикнула дама с ягодками.

— Никакого безобразия тут нету, а просто пьяный человек, — сказал рабочий. — Пьяный, он все равно как дите несмысленное, что ж с него спрашивать. Ты спрашивай, когда он трезвый будет. А я скажу, что когда человек выпимши, душа у него не в пример мягче. Вон барыньке не терпится, а мне хоть тоже спешить надо, а я молчу.

— Вы сами, кажется, не совсем трезвый...

— В точку!.. Правильно. Не совсем трезв. И вот я человека понимаю. У меня сейчас врагов нету, а у барыньки все враги.

— Ну-ка, батюшка, я свой арбузик тут в ногах положу, а то дюже тяжело держать.

— Клади, матушка, что хочешь клади. Вот барынька ягодки себе нацепила, а душу человеческую не чувствует, потому что...

— Пожалуйста, не касайтесь моих ягодок!

— Кормилица, не касаюсь! Я только говорю, что человека тебе не понять, хоть ты и с ягодками. Нет того, чтобы подойти к пьяному человеку и расспросить, что, мол, ай горе или беда какая? Так ты этим так душу перевернешь, что он тебя, как матери родной, ласки твоей не забудет.

— Вот и подите к нему.

— И пойду.

— Ай обида какая? — спросил рабочий шофера.

Тот, держа одну руку в кожаной рукавице на руле, другой с досады махнул и плюнул.

— Э, сволочи... — сказал он, — с самого начала ездил на хорошей машине, глядел за ней, можно сказать, как за дитем за своим. Теперь ее отобрали и дали вот этого лешего. Та была немецкая, а это шведская...

— Хуже, стало быть, шведская-то?

— Как же можно сравнивать?! На той, бывало, едешь и спокоен. Раз ты ее направил, она как по ниточке идет. А эта... во, во, вишь, ну... куда ее черти воротят?! У, сволочь!

Действительно, машина делала такие неожиданные скачки и повороты, что пешеходы бросались от нее в стороны как ошпаренные, а пассажиры только икали и обнимались друг с другом.

— Да, ндравная, значит? Я уж вижу, что у тебя горе. Ни с того ни с сего человек не напьется.

— На немецкой машине едешь, хоть тебе какая канавка тут будь — ничего. А эта, трясушка окаянная, на каждой рытвине так подбрасывает, что все печенки перевертываются... Вон, канавка впереди... На немецкой ты бы ее и не заметил, а погляди, что сейчас будет...

Шофер прибавил ходу, и через минуту у всех пассажиров колени и руки взлетели кверху, а шляпы и картузы наехали на глаза.

— Ой, что это!

— Что за безобразие! Матушки мои! — раздались крики.

А старушка, обнимая всех пассажиров, каталась по всему автобусу за своим арбузом.

— Видал?.. Вот на каком черте ездить заставили.

— Да, это хуже нет.

— Старуха, что ты тут шарить?! — крикнул кто-то.

— Крышечку, батюшка, ищу.

— Какую крышечку?

— От арбуза. Он у меня с вырезом...

— Вот ведь чумовая какая, завезла в переулок, теперь отсюда не выберешься. А главное дело, зло берет.

— Да как же, милый. Они вот не понимают. Они думают, что рабочий человек — та же машина, его куда ни посади, он все везти будет. А тут душу надо разбирать.

— Станут они тебе разбирать... Ведь вот немецкая-то, она мне все равно что сестра родная была, каждый винтик в ней знал! Господи, бывало, едешь — вот что значит машина!.. — бывало, едешь, руки с руля снимаешь, везет себе, матушка, прямо, как по ниточке, а эта, демон, так и гляди за ней... вишь, вишь, мудрует! Ты ее вправо гнешь, а она влево берет. Вот наказал бог!

— А что, ежели на этой руки с руля снять да одноёе пустить? — сказал рабочий. — Вот небось накуролесит-то!..

— Вот погляди, что будет?

И шофер, сняв руки с руля, откинулся на спинку сиденья.

Машина дрогнула, как вздрагивает буйная лошадь, почувствовав ослабевшую узду, потом подкинула всех раза два и, круто завернув направо, вынесла на площадь и понеслась сначала налево, потом направо, потом опять налево и прямо на извозчиков, стоявших на углу. Извозчики, встрепенувшись, начали нахлестывать лошадей, бросились в разные стороны с таким видом, точно на площади появился не автобус, а тигр.

— Стой, стой, куда?! Держи! Что за наказание!

— Сидоров, что ж она у тебя? Куда ты опять поехал? Перебьешь всех!

— Видал? — сказал опять шофер.

— Да, ндравная, сволочь.

— Им — наказание, а мне, они думают, сладко! У, стерва поганая! Вот заехала, не повернешь тут в этой тьме крошечной... Придется кругом.

— Куда поехал-то, Сидоров? — кричал кондуктор.

— Сиди, молчи знай, покамест вовсе шею не сломал.

— Ягодки-то у барыни теперь, поди, растерялись совсем, — заметил про себя рабочий, покачивая головой.

Минут через десять машина, крякнув два раза и опять надвинув на глаза пассажирам шляпы и карты, подъехала к остановке.

— Ну, милый, спасибо тебе, — сказал рабочий шоферу, — доехал и не заметил как, так поговорили славно.

— Хорошая ты душа, — сказал шофер, — вот как от сердца отлегло, ну просто как маслом смазали. А то все только, как на собаку, кричат! Дай тебя поцелую. Спасибо! На немецкой когда ездил, ни разу вот с таким человеком не встречался.

## Крепкие нервы

**К**акой-то человек в распахнутой шубе

и в шапке на затылке, видимо, много и спешно бегавший по делам, вошел в банк и, подойдя к окошечку, в котором выдавали по чекам, сунул туда свою бумажку.

Но бумажка выехала обратно.

— Это что такое? Почему?

— У нас только до часу.

— Тьфу!..

Вежливый человек в черном пиджаке, стоявший за лакированным банковским прилавком, увидев расстроенное лицо посетителя, спросил:

— Вам что угодно?

— Да вот получить по чеку опоздал. Присутственный день до четырех, а по чекам у вас прекращают уже в час выдавать.

— А это, видите ли, для удобства сделано, — сказал человек в пиджаке. — Каждое учреждение принаравливается к тому, чтобы экономить время.

— А вон напротив я получал, там до двух открыто.

— Очень может быть. У каждого свой порядок. Вон, например, нотариус, что рядом с нами, — если вам нужно заверить подпись или что-нибудь другое в этом роде, то нужно поспевать до половины первого. А если за углом — там тоже нотариус, тот до половины третьего.

Около кассы с чеками послышался шум.

— Какого же это черта, ведь я неделю тому назад получал, было до двух часов открыто.

Человек в пиджаке бросился туда, как бросается пожарный с трубой к тому дому, которому угрожает опасность.

— Чего вы беспокоитесь?

— Прошлый раз, говорю, получал, у вас до двух часов было открыто.

— А когда это было?

— Когда было... неделю тому назад.

— Совершенно правильно. Неделю назад выдавали до двух часов, а теперь переменили.

— Тьфу!!!

Посетитель вылетел из банка и хлопнул дверью так, что задрожали стекла.

— И отчего это народ такой нервный стал? — спросил человек в пиджаке, вернувшись к своему собеседнику, — жизнь, что ли, так изматывает?..

— Возможно; я вот на что уж спокойный человек, а побегал нынче с утра и таким зверем стал, что — уж признаюсь вам, — если бы вы не оказались таким вежливым, я бы, как тигр, бросился.

— Это вредно, — сказал человек в черном пиджаке, — ведь у меня после перемены часов в день человек до двадцати прибегают и все вот так плюют, как этот, что ушел, и как вы изволили плюнуть. А мне — плевать! Относись спокойно, вежливо, как требует служба, и все будет хорошо. А то посетители будут плевать да я буду плевать, тут пройти нельзя будет. Вон, еще заявился. Вам что угодно?

— Деньги по этой бумажке можно получить? — спросил человек в тулупчике.

— Можно-с. Только выдавать будут с двух часов. Кассир в банк ушел. Сядьте вон там в уголок, там вы никому мешать не будете.

— Что ж, я и буду целый час сидеть?

— Погулять можете.

Человек в тулупчике сел, нахохлившись, в уголок, около урны для окурков.

— Крепкие нервы — первое дело, — сказал человек в пиджаке, возвращаясь к своему собеседнику. Но его прервали ввалившиеся один за другим сразу пять человек. Одним нужно было получить по чеку, другим еще по каким-то бумажкам.

— Вы садитесь тоже туда же в уголок, вон где дремлет человек в тулупчике, вы отправляйтесь домой пообедать, потому что поздно пришли, вы можете прогуляться, а можете тоже в уголок сесть.

— А мне куда же деваться? — спросил с раздражением последний.

— А что у вас?

— Мне деньги внести.

— Тоже в уголок. Кассир еще не приходил.

— Тьфу!!!

— Да, крепкие нервы — первое условие плодотворной работы, — сказал опять человек в черном пиджаке, возвращаясь к собеседнику.

— Ну что, работа-то идет все-таки хорошо? — спросил тот.

— Как вам сказать... не очень. Народ, что ли, недисциплинированный стал, не поймешь. Поплешь посыльного, всего и дела на пять минут, а он целый день прошивается. Вот сейчас послал по спешному делу, там самое большее, на четверть часа всего и дела, а его, изволите видеть, уже второй час нету. А в банке напротив по таким делам до двух часов, значит, вся музыка откладывается на завтра. Чего он, спрашивается, собак гоняет?

— Черт знает что такое! — сказал еще один вошедший посетитель. — Введь третьего дня приходил, мне сказали, что до часу, а я привык до двух получать и забыл совсем.

— Привыкнете, — вежливо сказал человек в пиджаке, — с первого разу не запомнили, со второго запомните.

— Нельзя ли у вас тут подождать, а то мы ходим там взад и вперед по улице, к нам уж милиционер стал что-то присматриваться, — сказали двое отправленных на прогулку.

— Сделайте ваше одолжение. В уголок пожалуйста. — И, обратившись к своему собеседнику, прибавил: — Тихий ангел пролетел... вы в такой час попали — кассира нету, эти прекратили выдачу, те еще не начали... В уголке уже всех, знать, укачало.

Собеседник посмотрел на сидевших в уголке и увидел, что пришедший первым человек в тулупчике склонился вперед и, упершись шапкой в стену, дремал. За ним, упершись ему головой в спину, закрывал и опять открывал мутные глаза человек с портфелем в обтрепанном пальто.



— А вот не будь у меня крепких нервов, нешто бы они так смирно сидели? Вот что из пролетарского элемента, те много лучше: легче засыпают. И против долгого ожидания не возражают. Сядет себе и сидит, кругом посматривает. Иной часа два высидит, поспит тут у нас — и ничего. А вот умственные работники — не дай бог! Минуты на месте посидеть не может. А о сне и толковать нечего.

Дверь отворилась, и вошел посыльный с сумкой из серого брезента.

— Вот он, извольте радоваться! Где тебя нечистые носили?

— Где носили!.. В конторе в этой только до часу справки дают, туда опоздал, а по этим синеньким бумажкам только с трех часов начинают.

— Тьфу!!!

**В** государственном писчебумажном

магазине стояла перед прилавком очередь человек в пять.

Продавец выписывал чеки и путался в чековой книге, подкладывая листы переводной бумаги.

— Поскорей, батюшка, — говорила подслеповатая старушка в большом платке, стоявшая первой в очереди, — что ты уж очень долго копаешься-то?

— Что копаюсь! Листы слипаются, дуешь-дуешь на них целый день, даже губы заболели. А тебе что нужно-то?

— Да мне конверт за копейку.

— Синий или белый?

— Белый, голубчик. Да ты мне без бумаги отпусти, что ж бумагу из-за копейки тратить, ее больше испишете, чем товару продадите.

Продавец, нагнув голову, посмотрел на старуху поверх очков.

— Ты в какой магазин пришла? — строго спросил он.

— Как в какой? Ну, в казенный...

— Не в казенный, а государственный. Тут об каждой копейке должны отчет дать. Поняла?

— А я, батюшка, заплачу кассиру копейку, а он тебе крикнет, что я заплатила, ты и запишешь.

Продавец, еще ниже нагнув голову, снова посмотрел на старушку поверх очков.

— Что же, мы и будем, как сычи, перекликаться?! Какая, подумаешь, наставница выискалась. То-то бы тебя за отчетностью смотреть поставить, одного крику не обобрался бы. Получай вот лучше.

— Это что же, все три листа мне?

— А то сколько же?

Старушка с сомнением посмотрела на листы, где было написано: год, месяц, число и на большом пространстве с линейками стояло: «1 коп. — 1 коп.». Потом нерешительно пошла к кассе.

Продавец иронически посмотрел ей вслед поверх очков.

— Наш народ к отчетности приучить — все равно что в новую веру его окрестить, — сказал он, уже обращаясь к следующему покупателю, черному гражданину в очках и в больших валеных ботах с торчащими из-под шубы ушками.

— Не привыкли, — ответил тот, пожав плечами.

— Оно, конечно, невежественному человеку кажется, что все это напрасно: товару на копейку, прибыли от него и вовсе одна десятая копейки, а расходу тоже, глядишь, на полкопейки, да еще рабочее время сюда причесть: иной раз слюнявишь-слюнявишь пальцы — покупатель уже на двор захочет, пока ты эти листы разберешь. Зато мы убытку не боимся. Ведь по нашей торговле взять бы нас да по шее. Потому что наторговали всего на два шиша с половиной, а расходу столько, что нас всех, что тут есть, ежели со всеми потрохами продать, того не выручишь. А мы спокойны: ревизия приедет, первоначально схватится за голову, пыль поднимет. Один дефицит сплошной. А мы на это: «Извольте отчет поглядеть сначала, а кричать потом будете». Как выволокешь им вот этакую стопочку да покажешь, они попрыгают-попрыгают, и сказать нечего. Еще руку пожмут в благодарность за строгий учет.

— Значит, отчеты влетают в копеечку? — спросил следующий покупатель, маленький человек без шапки, с поднятым барашковым воротником.

— А как же не влететь-то?

— Иван Сергеевич, рубля не разменяете? — спросил кассир.

— А у вас-то неужто нет?

— Да нету еще, не набралось ничего, — сказал кассир, с недоумением отодвигая то один ящик, то дру-

гой. — Вот нелегкая принесла, товару на грош, а хлопот от тебя не оберешься. Сейчас, подожди тут. Сядь вон на диванчик.

Кассир ушел куда-то.

— Мы-то еще ничего, — сказал продавец, — обороты у нас пустяковые, а вот какой-нибудь трест возьмите или фабрику — вот где дела-то делают!.. Мне знакомый один рассказывал — у них в тресте девятьсот тысяч один отчет стоил. Вот это я понимаю. На трех извозчиках везли! Весь баланс их к черту полетел из-за одного этого отчета. Зато прямо ахнули все: до самой малейшей мелочи, до десятой доли копейки все выведено. Вы, конечно, может быть, не интересуетесь этим, но ежели на знающего человека, на специалиста, то восторгаться только можно и больше ничего, потому что это — прямо надо сказать — художник!

— Зря, значит, ни одного шагу не сделано?

— Зря-то, может быть, целые версты сделаны, а только вся суть в том, что все обозначено. Мало того, что весь баланс сведен, а видно еще каждую копейку с самого ее зарождения, как она, матушка, шла по всем линиям и по всем инстанциям. Ведь это — художественное произведение. Если на любителя, конечно.

— Сколько же времени такой отчет разбирать надо? — спросил маленький человек.

— Сколько... да нисколько. Нешто его разберешь! Чтобы его разобрать и проверить в точности, это еще сто тысяч надо. Вот разбогатеем, тогда, может быть, будем и проверять. А то ведь это всех своих бухгалтеров да счетоводов на полгода надо засадить.

— Сдельно бы отдать, — сказал высокий человек.

— Разменял, батюшка? — спросила старушка, когда показался кассир, считая на ладони деньги.

— Разменял. Получай. Лист этот вон туда передай, а этот возьми себе.

— Зачем, родимый?

— Для памяти.

— Хорошо, милый, возьму.

— Товару на копейку всего, а уж разговору — не оберешься, — сказал кассир, бросив деньги в ящик, и не-

довольно посмотрел вслед старушке, когда она в своих валенках и платке поворачивалась в дверях, закрывая их за собой.

— Вам что позволите?

— Мне пачку бумаги и конвертов. Да! Еще перышек копеек на пять.

— На это хоть не обидно чек писать: с лихвой расход на него покрыли. А вот такие-то вот, копеешники, прямо по миру пустят, все соки высосут! Она вот пришла, повертелась, товар свой ухватила, а того не понимает, что от нее убыток казне.

— А что, при больших отчетах уж небось не смошенничаешь? — спросил маленький человек.

Продавец, выпятив нижнюю губу, неопределенно пожал плечами:

— Как сказать... при нашем небольшом деле, когда весь отчет, скажем, весит не больше десяти фунтов, конечно, обжулить нельзя. И ежели недобросовестного человека на наше место посадить, который уж с молоком матери привык хапать, так тот двух месяцев не просидит — сбежит: копейки не утащишь. Хоть и прибыли не добудешь, но зато и самому попользоваться не придется. А там, где отчеты на пуды идут, там много свободней. Иной раз так-то сидят-сидят над проверкой, потеют-потеют и через три года выведут заключение, что налицо явная растрата. Сейчас посылают арестовать такого-то. А его уж родные давно за упокой поминают. Хапнул, поблаженствовал, сколько нужно, да на тот свет и удрал. Ищи-свищи... И чем больше дело, тем больше пудовые отчеты любят. И не то чтобы жулики были, совсем даже наоборот, есть честные до святости — но художники своего дела. Ежели бы им запретить писать отчеты, а учитывать по балансу в две минуты, какой процент прибыли дало предприятие, так все бы разбежались. Это погибель! Вам счетик требуется?

— Нет, я для себя беру.

— А что же, и для себя на память можем написать. Бумагу-то все равно бросать. Вон какая кипа. Это всего за неделю. А оправдала ли она себя — это еще вопрос.

— Вам при каждом бы магазине фабричку маленькую бумажную построить, — сказал маленький человек, — чтобы чеки эти перерабатывать и опять в дело пускать.

— При каждом — это слишком жирно, а вот объединиться бы в трест магазина по три, — сказал продавец, — это бы дело!

1926



**П**ублика в трамвае была взволнована

хулиганской выходкой какого-то парня, который прорезал у бабы мешок с мукой, и, несмотря на вопли бабы и возмущенный крик перепачканных пассажиров, мука вся вытекла.

Все возмущенно говорили о том, что хулиганство растет и что с ним плохо борются.

Какой-то старичок в очках и с поднятым воротником пальто говорил о том, что это чисто русское явление, и начал объяснять, откуда оно происходит.

— Но почему же это только у нас? — спрашивал другой пассажир, у которого вся спина в муке и от него сторонились все как от зачумленного, — чем питается хулиганство?

— Чем питается... Хулиганство ничем не питается, а хулиганы питаются водкой.

— Вот он и трезвый, а весь вагон так убрал, что выйдем сейчас на остановке, на нас, как на зверинец, будут смотреть.

Вагон остановился. Все стали молча выходить, только изредка слышалось:

— Не трясите тут, что вам не терпится! Вот сойдете, тогда и трясите, сколько хотите.

По тротуару шли два парня и несли какие-то столбы на ножках, похожие на те, что при приеме новобранцев употребляются для измерения роста. Они что-то сказали друг другу, оглянувшись на спешившую по тротуару толпу, потом сошли с тротуара и поставили свои столбы — один с одного, другой с другого края улицы. Потом оба сделали руками преграждающий жест.

Публика, густо шедшая по обоим тротуарам, в недоумении остановилась и стала смотреть то на парней,

то на перепачканных в муке людей, выходивших из трамвая.

— Что такое? В чем дело?

— Придется обождать, — сказал один из парней и, уставив получше подставку на камнях мостовой, стал закуривать папироску.

— Да что? В чем дело-то? — спрашивала высунувшаяся вперед женщина в платке с керосиновой бутылкой под мышкой — Мне спешить надо.

И она сделала было движение пройти. Парень преградил ей дорогу:

— Гражданка, не нарушайте правил, успеете керосину купить.

Женщина подалась назад.

— Черт знает что, остановили всю публику. Вот дурацкие распоряжения-то.

— А может, на что-нибудь нужно, — сказал голос из толпы.

— Конечно, если бы не было нужно, останавливать бы не стали, — сказала еще несколько голосов.

— Может быть, грабеж какой случился... Вон, вишь, трамвай подошел, все, как черти, белые оттуда вылезли. Может быть, громилы?..

Все с удивлением и подозрительностью следили за испачканными в муке пассажирами и старались отходить подальше, когда кто-нибудь из них останавливался рядом.

— Чисто русское явление, — сказал старичок с поднятым воротником, обращаясь к близстоявшему человеку в котиковой шапке, — взять и остановить движение, почему, зачем — никому не известно.

Так как у него вся пола была в муке, то человек в котиковой шапке ничего ему не ответил и только посторонился несколько от него.

Набегавшие сзади на остановившуюся толпу пешеходы тревожно поднимались на цыпочки и, заглядывая поверх голов, спрашивали, почему не пропускают.

— Черт их знает! Каких-то людей в муке привезли, только что же они их распустили? Должно быть, задержат хотя.



— Молодой человек, долго нам стоять? — спросила дама в шляпке у ближнего парня.

Тот медленно оглянулся на нее, сплюнул после затяжки и сказал:

— Не терпится? Все поскорей проскочить хочется?

— Конечно, хочется. Что же здесь без толку стоять?

— По-вашему — без толку... — сказал иронически парень.

— У нее толк один, — заметила иронически и недоброжелательно женщина в платочке с портфелем, — в магазин сбегала, всяких разносолов да тряпок купила и — на диван.

— Слушайте, станьте к сторонке куда-нибудь! — кричали на человека с вымазанной спиной. — И где вас черт носил только, все вымазались.

— Не очень с ним разговаривай, их, должно быть, задерживать будут, — сказал негромко человек в теплой куртке и кожаной шапке.

— Ни в одной стране невозможно такое безобразие, — говорил старичок уже сам с собой.

Он ходил взад и вперед, и так как от него сторонились все, то он очистил себе пространство среди толпы и прохаживался по нему, как по комнате, а кругом него стояли и смотрели на него, как стоят в круг на бульваре, глядя на ученого медведя.

— Все сам с собой что-то говорит, — сказал один голос.

— А может, они и не громылы, а душевнобольные?

— Может быть.

— Ах, черт их возьми! Спешить надо, а тут изволь стоять.

— Ванька! — крикнул один из парней другому. — Пляди, чтобы через проходной двор не проскочили.

Милицейский стоял на площади и с удивлением оглядывался на толпу, несколько раз делал движение подойти, но, очевидно, не решался оставить свой пост на перекрестке, где было большое движение, и он регулировал его красной палочкой, поднимая ее над головой.

— Я так-то прошлый раз шел, смотрю, всех тоже вот так и остановили. Что такое, в чем дело? Оказывается, толпу снимали для кинематографа.

— А ведь они не имеют права?

— Конечно, не имеют. А все стояли.

— Потому что — обыватели, а не граждане.

— Да ведь вы сами сейчас стоите.

— Стою, потому что неизвестно, может быть, нужно. Если мы никаким распоряжениям не будем подчиняться, тогда что же это выйдет.

— Никаким там не распоряжениям, а просто громил на каком-то мучном складе поймали, из-за них и держат. Отобрали бы их сразу, всю публику не останавливали бы.

— Вот вы и скажите им: так и так, мол, вы делаете дурацкие распоряжения, а публика им не желает подчиняться, — сказал из толпы иронический голос.

— Не напирайте, не напирайте, становитесь в затылок, — сказал один из парней.

— А долго еще стоять-то? — спрашивали его задние.

— Я почему знаю, — ответил недовольно парень, — как выйдет распоряжение, так и пойдете.

К милиционерскому на площади подошел другой милиционерский и, указав ему пальцем на толпу, что-то сказал. Тот посмотрел по указанному направлению и направился к толпе.

— Ванька, снимайся! — крикнул, мигнув, ближний парень и обратился к толпе: — Вон милиционер идет сменять нас, может, скоро отпустит.

Оба подхватили на плечи свои столбы и юркнули в переулок.

— Скоро нас отпустите? — слышались вопросы, когда милиционерский подошел к толпе.

— А вы что стоите? — спросил тот озадаченно.

— Поставили, вот и стоим.

— Кто поставил?

— А мы почему знаем... Двое каких-то мальх.

— Это чертовня какая-то, — сказал в затруднении милиционер, — нам ничего неизвестно.

— Так что можно идти?

— Отчего ж нельзя? Конечно, можно.

— В чем же дело-то было? — спрашивали со всех сторон.

— В чем... Два хулигана позабавились...

— Ну что за безобразие!.. Почему не борются с этим злом?!

— И почему эта гадость только в России держится? — прибавил старичок в муке.

1926



## Хороший начальник

**В** канцелярию одного из учреждений

вошел человек в распахнутой шубе с каракулевым воротником и, посмотрев на склонившиеся над столом фигуры служащих, крикнул:

— Здорово, ракалии!..

Все вздрогнули и сейчас же испуганно зашипели:

— Тс! Тс!..

Вошедший с недоумением посмотрел на них:

— В чем дело?

Два человека — один в синем костюмчике и коротеньких брючках, другой в коричневом френче, сидевшем складками около пуговиц на его полном животе, — поднялись со своих мест и, подойдя к посетителю, поздоровались с ним и на цыпочках вывели его из канцелярии.

— Пойдем отсюда.

У вошедшего был такой недоумевающий вид, что он даже ничего не нашелся сказать и послушно дал себя вывести.

Его провели по коридору и посадили на деревянный диванчик.

— Вот теперь говори.

— Вы что, обалдели, что ли?

— Ничего не обалдели. Перемены большие, — сказал толстый. — Новый начальник.

— Ну и что же?

— Вот и то же, вот и сидишь на диванчике, из канцелярии тебя выставили, — сказал тоненький в коротких брючках.

— Да, кончилось наше блаженство, — продолжал человек во френче. — Мы теперь не свободные взрослые люди, а девицы из благородного института или, лучше сказать, поднадзорные, за которыми только и

делают, что смотрят в оба глаза. Теперь о прежнем-то своем вспоминаем как об отце родном. Вот была жизнь! А как новый поступил, так и запищали.

— Возмутительно! — сказал служащий в коротеньких брючках и, оглянувшись на обе стороны коридора, сказал пониженным голосом: — Как поступил, так первое, что сделал, — распорядился, чтобы служащие по приходе расписывались...

— Автографы очень любит... — вставил толстый.

— Да, автографы... а лист у швейцара лежит до десяти часов с четвертью. Как опоздал к этому сроку, так не считается, что на службе был. Что это, спрашивается, за отношение? Что мы — взрослые граждане или дети, или, того хуже, жулики, которых нужно в каждом шаге учитывать и ловить? Дальше, если ты, положим, хочешь пойти, по делу службы даже, в город, то должен написать ему записку, по какому делу идешь, и должен представить результаты сделанного дела. Потом: в канцелярии никаких разговоров. Если пришли, положим, знакомые, вот вроде тебя, то никоим образом в канцелярии не разговаривать, а отправляйся в приемную и кончай разговор в одну минуту.

Человек в коротеньких брючках даже встал и, стоя против посетителя, сидевшего в своей шубе на диванчике, упер руки в бока и посмотрел на него, как бы ожидая, что тот скажет. Но не дождался и продолжал:

— Доверия совершенно никакого к служащим! Если ты принесешь бумажку на подпись, так он ее раз десять прочтет, управдела позовет, спросит все основания, и тогда только подпишет. Все страшно возмущены. В особенности этими автографами и запрещением входить посторонним в канцелярию. Что мы, не такие же граждане, как он сам, не сознаем интересов государства? Ты подумай. Ведь это же оскорбительно, когда тебе на каждом шагу тычут в глаза, что ты жулик; если за тобой не смотреть, то ты со службы в город будешь бегать, вовремя на службу утром не приходить, в канцелярии разговоры с знакомыми разговаривать! Ведь мы же интеллигентные люди! К чему эти жан-дармские приемы?

— Да, это не совсем приятно, — сказал человек в шубе.

Он еще что-то хотел прибавить, но вдруг оба его собеседника толкнули его и, вскочив, стали против него и начали плести что-то такое, отчего у посетителя на лице появилось определенное выражение испуга, как будто у него мелькнула мысль, что не спятили ли оба эти голубчика...

— Вы, товарищ, подайте заявление... во вторник будет заседание коллегии, там рассмотрят, — говорил один.

— Это вам не сюда нужно было обратиться, вы пойдите лучше в Цветметпромторг, — говорил другой, все время делая страшные глаза и косясь при этом куда-то назад.

По коридору к ним шел человек с остренькой бородкой, в синей блузе, с портфелем. И чем он ближе подходил, тем больше человек в коротких брючках работал глазами, а толстый тем усерднее убеждал посетителя подавать заявление. Наконец оба вздохнули и, посмотрев вслед человеку с портфелем, когда он отошел на значительное расстояние, сказали оба в один голос:

— Видал фрукта?

— Этот?

— Ага...

— А я думал, что вы оба спятили.

— Спятишь... даже пот прошиб.

— А с прежним хорошо было?

— Ох, лучше не вспоминать, сердце не растревать... Вот был человек! Прямо как поступил, так призывал нас всех и сказал: «Товарищи, я назначен к вам начальником, но прошу помнить, что, уважая вас, я не признаю этого слова. Вы не хуже меня знаете, что от вашей работы зависит благосостояние республики, и это сознание для вас должно заменять всякое начальство».

— Выражения-то какие! — подхватил человек в коротеньких брючках: — «Не признаю этого слова!» Вот, брат! Вот это доверие, вот это уважение к личности.

— Да, здорово. И хорошо жилось?

— Ну, что там и говорить... Людьюми себя, одним словом, чувствовали, а не поднадзорными, как сейчас, какое-то самоуважение появилось. Бывало, идешь на службу без всякого неприятного чувства, как к себе домой, знаешь, что никто тебя проверять не будет, расписываться не заставят. Сейчас утром бежишь и то и дело часы вынимаешь, как бы не опоздать! А тогда, бывало, идешь спокойно и не думаешь: когда ни приди, никто тебя учитывать не будет. Бывало, раньше двенадцати часов и не приходили. Да и работу возьми: разве мы так работали, как теперь, когда точно каторжные сидим, не разгибая спины? Бывало, кто-нибудь из знакомых зайдет, с ним посидишь-поболтаешь, потом в город пойдешь, как будто по делу службы — все равно тебя никто учитывать не будет.

— Да, таких начальников поискать... Вот этот сейчас прошел, так оторопь какая-то берет, как только увидишь его, а прежний, бывало, что он тут, что его нету — никто внимания не обращает. Бывало, когда уходят служащие, одеваются в раздевальне, так затолкают его. А он скромный такой, стоит в уголке, дожидается. Так последним и уходит.

— Да, приятный был человек...

— Еще бы не приятный... А возьми бумаги — когда принесешь ему, бывало, на подпись и начнешь объяснять, он только, бывало, скажет: «Вы говорите так, как будто я вам могу в чем-нибудь не доверять». Вот ей-богу! А записку там какую написать попросишь для знакомого. Он только спросит: «Вы ручаетесь за него?» — «Еще бы, конечно!» И готово — ничего больше не скажет и подпишет. Сколько народу он от всяких неприятностей избавил — не перечесть!

— Да, вот наша беда в том, что у нас хорошие люди почему-то не держатся, — сказал посетитель.

— Не держатся... — повторили оба его собеседника. — В чем дело?

— А где он сейчас-то?

— Прежний-то? Под судом. Как приехал Рабкрин, как начал раскапывать — оказалось, что служащие за делом проводили только одну треть рабочего времени, что по его запискам какие-то жулики свои дела

устроивали и еще там — всего не перечесть. Мы-то знаем, что он тут ни при чем. Ну, да ведь это в счет принимать не будут. Там сентименты не нужны. Да, такого начальника уж не будет... — сказали оба, вздохнув.

1926





## Слабое сердце

**В** одном из столичных учреждений

по лестницам ходили ломовики в тяжелых сапогах, сносили вниз столы, шкапы, пыльные связки бумаг и клали их на воза, чтобы везти в другое помещение.

Между ломовиками совалась старушка в большом платке и из-под рук заглядывала вверх по лестнице, где сновали взад и вперед люди, и шептала про себя:

— Господи батюшка... как в лесу.

— Пусти, старуха, ногу отдавлю. Что тебе надо тут?

— Пособие, батюшка, пришла получать.

— Вниз иди, двадцатый номер.

Старушка пошла вниз. И через некоторое время внизу послышалось:

— Что мотаешься под ногами? Вот шкапом-то ах-нем тебе на голову, и дух твой вон.

— Пособие, батюшка...

— Вверх иди, — сказал проходивший с разносной книгой человек в валенках.

— Я уж была там, кормилец.

— На каком этаже? — строго спросил проходивший.

— На четвертом, батюшка.

— Выше иди.

Старушка пошла наверх.

— Это какой этаж, кормилец?

— Третий... Ты опять уж сюда явилась?

— Я только что на низ сходила, милый,

— Ну, сходила, и слава богу.

— А теперь вот опять сюда прислали.

— Очень нужна ты тут.

Старушка вошла на четвертый этаж и остановилась отдышаться. На продавленном диванчике, под которым была видна выскочившая пружина и рогожа, сидел какой-то болезненный человек.

— Дожидаешься, батюшка?

— Отдыхаю, — сказал человек.

— Я вот с утра уж пришла. Избегалась наотделку.

— Что надо-то?

— Посobie получать, да никак не найду, где.

— Сейчас устроим... Послушайте, — сказал мужчина, обращаясь к пробежавшему человеку с портфелем, — где бы тут старушке посobie получить?

— Черт его знает. Где-нибудь тут надо искать, — сказал тот, остановившись и с недоумением оглянувшись по сторонам. Потом опять побежал.

— А в двадцатом номере не были? — спросил он, остановившись.

— Ходила уж туда, цифры все шли, шли подряд, а потом на восемнадцатом номере оборвались, и уперлась я в какой-то закоулок, не знала, как выйти. На старом-то месте я уж приладилась получать, а теперь на новое переехали, никак не потрафишь.

— Я тоже, — сказал человек, сидевший на диване. — Только на другой конец города зря прошел.

— Что за черт!.. Мой стол увезли, оказывается? — закричал, выскочив в коридор, мужчина в шубе и без шапки. — Извольте радоваться, положил туда шапку, теперь шапка уехала. Хоть платочком появляйся.

— Что ж это, тут всегда такие хлопоты?

— Всегда. Переезжают.

— А часто, значит, переезжают-то?

— Часто. То одно учреждение от другого откалывается, а то два в одно сливаются. Да и изнашиваются очень. Вот хоть наше учреждение взять: дали помещение хорошее, а через месяц обои изорвались, вместо стекол фанера везде, да еще каким-то манером водопроводные трубы лопнули, затопило всех, по комнатам уж на досках плавали. А то иной раз помещение какое-нибудь понравится, так и идет.

— Ну, теперь отдохнула, пойду дальше, — сказала старушка.

— А вы обратитесь в справочное бюро, — сказал пробежавший обратно человек с портфелем. — Вам все и укажут, а то ходите как слепые.

— А где оно, родимый?

— Черт его знает, кажется, пятнадцатая комната внизу.

Старушка поблагодарила и пошла вниз.

— Вниз-то хоть иттить легче, — сказала она с ласковой улыбкой, обращаясь к двум ломовикам в фартуках, тащившим конторку.

— Вот бы и ходила все вниз, а то зачем-то наверх лезешь!

— Да что ты все трешься тут? Проходу от тебя нет, — крикнул другой.

— Справочное бюро, милый, ищу.

— Да ведь ты другое что-то искала...

— А теперь это велели искать, родимый.

— Что ж ты, подряд, что ли, взяла? Ну, проходи, проходи.

— Скажите, пожалуйста, — слышался внизу голос старушки, — где тут справочное бюро?

— Двдцатая комната, кажется, была, посмотри там.

Старушка подошла к 20-му номеру и прочла: информационное бюро.

Постояла, потом отошла, сказавши:

— Знать, уж чтой-то новое въехало.

Она опять полезла наверх, потом уселась на окне.

— Вот, как сердце слабое, хуже всего, — сказала она, увидев своего собеседника, спускавшегося вниз.

— Не дай бог. Сердце пуще всего, — а мне, оказывается, опять через весь город иттить. Их куда-то к заставе бросило.

— Переехали?

— Только вчера. Две недельки побыли тут — и дальше. Ну, да тут хоть гор нет, доберусь. Пойду, а то еще, глядишь, там не застанешь, за две недели много воды утекло.

Два мужика спускали вниз тяжелую конторку и застряли на повороте лестницы.

— Вишь, черт их, потрохов сколько набрали, да еще повернуться негде.

— Ну-ка, заноси свой бок, сейчас ходко пойдет. Так, пошло.

Что-то хрястнуло.

— Чтой-то там?

Передний, озабоченно оглянувшись, поставил свой конец на пол.

— Какую-то штучку тут отсадили.

Мужики ушли. За ними прошли какие-то барышники, тащившие под мышками охапки бумаг в синих папках.

— Куда господь несет? — крикнул им поднимавшийся навстречу по лестнице человек.

— Сливаемся с Соцвосом!..

Лестница опустела. Прошел вниз мужчина в пальто, без шапки, повязанный платочком, как повязываются на похоронах, чтобы не простудить голову, и, наткнувшись на старуху, спросил:

— Вам что надо тут?

— Справочное бюро, родимый.

— А в нем что?

— А кто его знает, батюшка!

— Как кто его знает! Что вам нужно-то?

— Пособие, батюшка.

— Так это — финансовый отдел надо... Хватилась — он уже теперь небось к Театральной площади подъезжает.

Старушка озадаченно посмотрела вниз по лестнице.

— Так это, значит, его, батюшку, у меня на глазах носили. Куда ж теперь-то мне бежать?

— Сретенский бульвар, шесть, — сказал человек и, поправив на голове платочек, пошел вниз.

Старушка посмотрела ему вслед. Потом села на ступеньку лестницы и сказала про себя:

— Отдохну немножко, потом пойду, покамест сердце не ослабело.

# Плохой номер



коло остановки трамвая набралась

длинная очередь. Впереди стояли женщины в платках, за ними старушка в шляпке и повязанном поверх нее теплом платке, потом толстый гражданин и подбегавшие под конец человек пять парней в теплых куртках и сапогах.

— Сейчас начнется сражение, — сказала одна из женщин, выпростав рот из повязанного платка и оглянувшись назад, на очередь. — И отчего это такое наказание?

— Это самый плохой номер, — ответила другая, — с ним и кондуктора-то измучились. Ни на одном номере столько народу не садится, сколько на этом. Каждый раз светопреставление, а не посадка.

— Усовершенствовать бы как-нибудь...

— Как же ты его усовершенствуешь?

— Вон, идет. Уродина проклятая!

— Эй, бабы, — крикнули парни, — работай сейчас лучше, губы не распускай.

Все подобрались и смотрели на подходящий вагон, как смотрит охотник во время облавы на показавшегося зверя. Некоторые выскочили было вперед, чтобы перехватить его во время движения.

— Бабы, вали! — крикнули парни. — Подпихивать будем.

Едва вагон остановился, как все бросились к нему и стали ломиться на площадку.

Несколько секунд были слышны лишь приглушенные звуки сосредоточенной борьбы. Только изредка вырывалось:

— О господи, душа с телом расстаётся... Да что вы остановились-то?!

— Ногу не подниму никак, — говорила старушка в шляпке с платком.

— Васька, подними ей ногу! — крикнули сзади.

— Две версты крюку в другой раз дам, а на этот номер не сяду.

Наконец все втиснулись, и только парни висели на площадке. А один, расставив руки, держался ими за железные столбики и животом нажимал на старушку.

— Васька, просунь подальше эту старуху, а то ногу поставить некуда.

— Господи боже мой, ведь перед вами живой человек, а не бревно! — кричала старушка в шляпке. — Что вы меня давите!

— Потому и давлю, что живой, живой всегда подастся. Вот и прошла, — сказал парень, всунув в дверь старуху, которая, скрестив прижатые к груди руки, как перед причастием, даже повернулась лицом назад, и ее течением понесло внутрь вагона.

— Кондуктор, отчего такое безобразие тут всегда?

— Оттого, что номер плохой, — сказал тот недовольно, — все номера как номера, а этот собака... сил никаких не хватает.

— А исправить никак нельзя?

— Кого исправить? — спросил недовольно, покосившись из-за голов, кондуктор.

— «Кого»!.. — вагон.

— Язык болтает — голова не ведает, что... Вагон и так исправный. Дело не в вагоне, а в номере. На других номерах никогда столько народу не бывает, а тут постоянно, как сельди в бочке. И откуда вас черт только наносит сюда, все на один номер наваливаетесь! Прямо работать нету никакой возможности.

— Раз народу много, вот бы и надо... — сказал голос какого-то придушенного человека.

— Что «надо»? — переспросил иронически кондуктор.

— Как номер плохой, так тут ничего не выдумаешь, — прибавил минуту спустя кондуктор. — Да и народ тоже... на этот народ все горло обдерешь, кричами.

— Русский человек без крику не может. Тут для этого особого кондуктора надо.

— Да ведь тоже и у кондуктора горло не железное. А вот бы радио установить, чтобы со станции на остановках всех матом крыть.

— Они останавливаются-то не в одно время; что же ты во время движения ни с того ни с сего и будешь крыть?..

— Можно предупредить, что это к следующей остановке относится.

— А почему вагонов не прибавляют?

— Потому что второстепенная линия — движение небольшое, — сказал недовольно кондуктор.

— Какое ж, к черту, небольшое, когда мы все ребра себе переломали.

— Мало что поломали — определяется по статистике, а не по ребрам.

— Батюшка, ослобони! — крикнула старушка из середины.

— То-то вот — «ослобони»!.. А зачем лезла на такой номер, спрашивается? По зубам бы выбирала. Села бы, вон, на четвертый.

— Куда ж я на четвертый сяду, когда он совсем не в ту сторону?

— Еще разбирает, в какую сторону, — проворчал недовольно кондуктор. — Ну, что же там, вы! Олухи царя небесного, ведь вам сказано наперед потесниться!

— Нельзя ли повежливее?

— Садись на другой номер, там повежливее будут.

— Вы, кажется, навеселе?..

— На этом номере только пьяному и ездить, никакой трезвый не выдержит, — отозвался кондуктор и прибавил: — Ах, окаянные, ну и народ! Ежели на них не кричать без передышки, они на вершок не подвигнутся.

— Голубчик, крикни на них посильнее! — послышался голос старушки. — Совсем ведь смерть подходит.

— Криком тут много не сделаешь, — ответил недовольно кондуктор и мигнул водителю: — Панкратов, стряхни-ка!

Вагон, летевший под уклон, вдруг неожиданно замедлил ход, и все пассажиры, стоявшие в проходе, посыпались друг на друга к передней площадке.

— Боже мой! Что же это?! Что случилось?!

— Да ничего не случилось, — сказал кондуктор, — вот стряхнул всех — теперь свободнее стало.

— Слушайте, нельзя ли потише?! — крикнул какой-то гражданин, сидевший на скамейке, у которого шапка слетела через задинку назад.

— Потише ничего не выйдет, — отозвался кондуктор. — На другом номере, конечно, можно и потише, а тут народ так образовался, что его только вот когда под горку разгонишь да остановишь сразу, ну, тогда еще стряхнется. Они стоят на особый манер приспособились: на других номерах человек стоит себе как попало, а тут он норовит вдоль вагона раскорячиться. Подика его сшиби, когда он одной ногой в пол упирается!

— Вот пять лет езжу на этом номере, — сказал толстый человек, — и каждый божий день такая мука.

— И десять лет проездишь, все та же мука будет, — сказал кондуктор. — На этом номере за три года пенсию выдавать надо.

— А ничего с ним сделать нельзя? — спросил опять кто-то.

— Это не с ним, а с народом делать надо. Да и с народом ничего не сделаешь; ежели только перебить вас половину, тех, что на этом номере ездят, — ну, тогда, может быть, послободнеет.

Вагон остановился на остановке, и на задней площадке опять завязалось сражение.

— Проходите наперед, ведь там вышли! — кричали снаружи.

— Кондуктор, не пускайте же больше, скажите, что мест нет! — кричала какая-то женщина в вагоне, у которой шляпка от тесноты перевернулась задом наперед.

— Пускай лезут, — ответил кондуктор, — ведь если бы ты там, а не тут была, другое бы совсем говорила.

— Передние, проходите дальше! Кондуктор, крикните же им.

— У меня уж голос пропадать стал от крику, — сказал кондуктор, — а вот сейчас тронемся, тогда и разровняемся.

И когда вагон тронулся и разошелся под уклон, он крикнул:

— Панкратов, стряхни их, чертей, как следует!..





коло обвалившегося деревянного

дома, выстроенного два года назад, стояла толпа тесным кружком, головами внутрь, и что-то рассматривала.

— Что такое там? — спрашивали вновь подбегавшие.

— Грибок нашли.

— Какой грибок?

— А вот дом отчего обвалился. Сейчас инженер говорил.

В середине толпы стоял рабочий с техническим значком на фуражке, очевидно железнодорожник, и рассматривал что-то невидимое, держа двумя пальцами, как рассматривают блоху.

— Вот он, сволочь. — сказал рабочий, — поработал два года — дом и загудел.

К нему наклонились головами.

— Что ж не видно-то ничего? — спросил малый в больших сапогах.

— А ты увидеть захотел? Наставь трубу хорошую, вот и увидишь.

— Самоварную — на что лучше, — сказал кто-то.

— А какой он из себя-то?

— «Какой»... да никакой, просто на вид — плесень, и больше ничего.

— И целые дома валит?!

— А как же ты думал... Он как заведется, так и начинает точить, — вишь, вон, целую слободу для рабочих выстроили, а спроси, надолго это?

Из дома напротив вышла женщина с подоткнутым подолом и с помойным ведром и крикнула:

— Ну, чего тут выстроились, чего не видали? Настроили тут. Двух лет не прошло, как он завалился...

— Ты бормочешь, а сама не знаешь что, — сказал железнодорожник, — вот на другой год у нее завалится, а виноваты мы будем. Поди, объясняй вот таким-то — отчего дом у нее завалился.

— ...а дома на стену повесить ничего нельзя — все зеленое делается.

Железнодорожник посмотрел грустно на женщину и сказал:

— Чертушка! Ведь у тебя грибок и есть, самый настоящий.

— Чего?

— Грибок, говорю, у тебя.

— Поди ты кобыле под хвост! — сказала женщина, плюнув. — Борода в аршин выросла, а он все зубы чешет.

Она еще раз со злобой плюнула и ушла.

— Не понимает!.. У нее грибок растет, а она только плюется.

— Вот от этого-то невежества все и горе. Тут не то что отдельные дома, скоро целыми улицами начнет валиться, — сказал человек в двубортном пиджаке.

— Да, ядовитый, сволочь, — сказал малый в больших сапогах, растирая что-то на пальцах. — Вот у нас, на нашей улице, четырехэтажный дом рухнул, до крыши еще не довели, а он, сволочь, его уж обработал.

На него покосились.

— Что ж, он и камень, что ли, грызет?

— А нешто дом-то каменный был?

— А какой же тебе еще?..

— А что ж, он и каменный своротит, — сказал кто-то.

— А как же его узнавать, что он есть? — спросил малый.

— Как узнавать? Воткни топор в стену: если вода выступит, значит, он тут и есть.

— Слюни, сволочь, пускает?

— Я уж не знаю, что он там пускает, а только если жижа выступит, значит, он тут.

— Ну, пропало дело, — сказал человек в двубортном пиджаке. — У нас целую слободу выстроили, у всех слюни пускает.

— Теперь на постройку без трубы и не показывайся, — сказал малый в больших сапогах.

— А ежели его сушить начать? — спросил кто-то.

— Кого сушить? — спросил, недоброжелательно покосившись, железнодорожник.

— Да вот его-то...

— Сверху высушишь, а он в середку уйдет.

— Ежели эта гадость завелась, так ее не высушишь, — сказал кто-то. — Ежели только сжечь, ну, тогда еще, может быть.

— Вот бы этой бабе, что ведро выливала, услужить... вон она опять вылезла. Эй, тетка, хочешь, у тебя грибок выведем?

— Жене своей выведи, косолапый черт!..

— Обиделась...

— Темнота... Живет человек и не знает, что небось какой-нибудь год и осталось ей, а потом не хуже этого вот. Тоже вот так-то соберется народ, а она, ежели ее не придушить, будет вопить на всю улицу, на строителей все валить. Ты ей про грибок, а она на стену лезет.

— Вон, материал везут.

Все оглянулись: в стороне по мостовой ехали мужики с подводами.

— Тоже небось захватили его. А сидят себе, зевают по сторонам, как будто так и надо.

— Эй, вы, чертушки! Небось заразу везете? — крикнул им малый.

Передний мужик натянул вожжи.

— Чего?

— То-то вот — «чего»... Пойдем-ка, поглядим.

Все толпой подошли к возчикам.

— Дай-ка топор-то, — сказал малый в больших сапогах.

— На что тебе топор?

— Да ну, давай, много не разговаривай!

Мужик нехотя дал топор.

— Слезай к чертовой матери.

— Что ты, ошалел, что ли?

— Слезай, не разговаривай.

— Да руби, чего ты на него смотришь! — крикнули из толпы.

Мужик как ошпаренный отлетел от своих дрог с лесом. Малый размахнулся и всадил топор в бревно. Все бросились, головами вместе, смотреть.

— Во-во! Пустил слюни, пустил! — закричали ближние.

— Ах, сволочь! Скажи пожалуйста!

— Ну, садись, дядя, вот твой топор. Добро хорошее приволок, нечего сказать!

Мужик молча сел, тронул лошадь и долго поглядывал с опаской на бревна, точно ожидая, что они под ним взорвутся, потом, оглянувшись на толпу, плюнул и хмуро поехал дальше.

## Иродово племя

На бирже губернского города была

толкотня и давка. На решетчатом диванчике, стоявшем около стены в темном коридоре, сидела женщина в красной шали, замотанной одним концом вокруг шеи, мужчина в поддевке и белых валенках и рабочий в шапке с незавязанными, мотающимися на ушниками.

— Вот третью неделю хожу, а толку — ни черта, — сказал мужчина в белых валенках. — А все почему? Потому, что у кого есть сват или брат или, скажем, знакомство, тот получает. А наш брат — только облизывается. С виду все хорошо: все равны и все по справедливости, а на поверку выходит — черт-те что. А все отчего? Оттого, что гражданской сознательности нет. Если бы они для себя нанимали, так они бы все кишки перевернули у человека, прежде чем ему место дать, а тут дело не их, а государственное, значит — черт с ним, пихну какого-нибудь зятя или тестя, а знающий человек на диванчике посиди.

— Это верно, чего там, — сказал рабочий, куривший папиросу и смотревший прямо перед собой в пол.

— А уж барышень этих везде напихано — прямо не знаешь, откуда они берутся, — отозвалась женщина.

— Вон, вон, пошел, — сказал мужчина в белых валенках, указав на какого-то молодого человека, который сначала стал было в очередь, но через минуту достал какое-то письмо в запечатанном конверте и стал водить глазами по дверям. А потом подошел к уборщице в мужской куртке, несшей корзину для бумаг, и что-то спросил у нее, продолжая бегать глазами по дверям.

Уборщица указала ему на дверь последней комнаты и пошла. А молодой человек направился к указанной двери.

Потом, через пять минут, застегиваясь и едва сдерживая улыбку от каких-то приятных мыслей, прошел мимо сидевших на диванчике и, хлопнув дверью, размоловшейся от постоянного хлопанья, скрылся.

— Этому бабушка уже наворожила, — сказал мужчина в белых валенках, — вот иродово племя-то! Для этих ни очереди, ничего! Шмыг прямо в кабинет — и готово дело.

— Хлопот немного, — сказал рабочий. — К нам на завод, бывало, таких присылают, которые ни в зуб толкнуть. А его заведующим назначают. Он прежде, глядишь, кондитером был, а его пускают по литейной части. Все потому, что протекция.

— А ему что ж, — сказала женщина, — деньги платят, вот и ладно. Я бы сейчас сама не знаю куда пошла бы, только бы жалованье платили. Пити-есть тоже надо!

Мужчина в белых валенках недовольно оглянулся на женщину и несколько времени смотрел на нее.

— Вот от таких рассуждений у нас и идет все дуром. Все смотрят не как на свое собственное, а как на чужое: только бы урвать кусок, а что от моей работы пользы не будет — это не мое дело. А ежели бы мы были настоящие граждане и строители своего отечества, то мы иначе бы к делу относились. Примерно, меня назначают и дают еще хорошее жалованье, а я говорю: извините, мадам — или как вас там, — я в этом деле слабоват, а есть люди, которые достойнее меня. Вот не угодно ли такого-то назначить вместо меня. А я посижу.

— Все штаны просидишь, — сказала недовольно женщина.

— Оно, конечно, — сказал рабочий, разглядывая свой порванный сапог, — кабы все было по справедливости, тогда отчего не посидеть. Потому знаешь, что как твой черед придет, тебя на настоящее место посадят. А как вот такой, что с конвертиком приходил, проскочит раньше тебя, поневоле зачешешься.

— Опять несознательность, — сказал мужчина в белых валенках, — мы сами должны смотреть за этим. Вот он шмыгнул в кабинет, сейчас бы надо за

ним, захватил с поличным да скандал поднять, под суд их!

— У всех дверей не настоишься, — отозвалась опять недовольно женщина. — Ты его около этой двери будешь караулить, а он в другую проскочит. Нет, уж как все жулики, тут много не накараулишь.

— Вот оттого и не накараулишь, что так рассуждаешь. Государство обращается к нам, как к сознательным гражданам: «Помогите нам изжить всякое зло там или несправедливость, следите сами, содействуйте», — а мы только почесываемся. У нас перед носом подлость делают не только что государству, а у самих же из-под носу кусок хлеба вырывают, на который мы имеем право, а мы только посмотрим вслед — и ладно.

По коридору прошли торопливо две барышни в шубках, весело переговариваясь на ходу. Подошли к одной из дверей, поспорили из-за чего-то... очевидно, одна приглашала другую идти с собой, а та не решалась; потом первая скрылась в дверях, а другая осталась ждать.

— Вот они, иродово племя-то, — сказал мужчина в белых валенках, — повертят сейчас хвостами — и готово. Вот сейчас бы пойти в кабинет да спросить: на каком основании?

— А может, они совсем не за тем и пришли, — сказала женщина. — Что ж, так и будешь бегать за всеми? Ежели ей нужно, так она с другого хода зайдет.

— Вот оттого-то и не выходит у нас ни черта, что мы все рассуждаем, заместо того, чтобы...

Через несколько минут барышни вышли, еще более весело щебеча и смеясь, как смеются после неожиданного устроившегося дела, о котором даже мечтать боялись!..

— У него там брат служит, — сказала первая девушка. И они скрылись.

— Вот тебе и не за тем делом. Везде только и слышишь, что брат да сват.

Вдруг в очереди, где до того была тишина, послышался шум и крик.

— Что ж они мне дали-то?! — кричал какой-то человек в куртке, с недоумением глядя в полученную бу-

мажку. — Я записан был по столярному делу, а они меня в булочную посылают?

— Молчи, дурак, что ты!.. Благодарю бога, что дали, — сказал пожилой человек в подпоясанной теплой куртке, — тебе в булочной-то благодать будет. Будешь пироги есть да глазами хлопать, а ежели голова на плечах есть, так и там командовать можешь.

— Я ж ни черта не знаю по этой части.

— Кабы с тебя за это брали, что ты не знаешь, а то ведь тебе дают, чудака-человека!

Человек в куртке еще раз посмотрел в бумажку, почесал в нерешительности висок и, махнув рукой, пошел к двери, сказавши:

— Ладно, еще новая специальность будет.

— На что лучше, — отозвался стоявший за ним человек в солдатской шинели, — родился столяром, а помрешь булочником.

— Обернулся, — сказал, покачав головой, человек в белых валенках. — Далеко уйдешь с таким народом. Нечего сказать.

Вдруг проходивший мужчина в заячьей шапке взглянул на человека в белых валенках, несколько пригнувшись, чтобы лучше рассмотреть в полумраке коридора, и воскликнул:

— Иван Андреевич, ты? Какими судьбами?

— Ой, милый, вот встретились-то! Да вот пороги обиваю, целый месяц без места.

Человек в заячьей шапке отвел его в сторону и сказал:

— Да ведь тут мой зять, он тебя в два счета устроит.

— Какой? Федосеич?

— Ну да!

— Тьфу, пропади ты пропадом! А я тут все штаны просидел!

Оба скрылись в одной из дверей.

Через несколько минут оба вышли и, весело разговаривая, пошли к выходу.

— Черт-те что, — говорил мужчина в белых валенках, — вот подвезло! Я хоть ни черта не понимаю в этом деле, я ведь по сушке овощей, ну, да тут разбирать некогда. Ну, и спасибо тебе! Пойдем на радостях...



— Вот иродово племя-то, — сказал рабочий в шапке с наушниками, — надо бы за ними пойтить в кабинет, захватить на этом деле да скандал поднять, под суд их, сукиных детей!

1926



## Контрщик чугунолитейного завода

Кирюхин сидел в пивной с товарищем и жаловался ему:

— Почему, скажи, пожалуйста, по устройству государства мы вперед ушли, может, на тысячу лет вперед, а по образу жизни — сзади всех? За границей, говорят, рабочего и не узнаешь: в шляпе, манжетах ходит. А у нас!.. Ведь иной хорошее жалованье получает, сам бы мог одеться, семью приодеть, комнатенку, скажем, убрать, картину какую ни на есть повесить. Так нет! Не тут-то было. Все только на водку идет. И как жили прежде чумазыми, так чумазыми и остались. А грубость нравов какая!.. Чтобы он тебе вежливо ответил или, скажем, извинился по-культурному как-нибудь, так он, мать его, скорей удавится. По-благородному поступать — для него вроде как стыдно, как будто себя унижает. А вот безобразничать да в отрепьях ходить — это ничего.

— У нас на это не смотрят, — сказал приятель.

— Намедни про Америку читал — сукины дети! Ну, прямо как господа. Шляпу наденет, чистота, на окнах занавески! Потому — порядок такой. Будь у тебя хоть два гроша в кармане, а уж гапелки на шею или манжеты на руки ты обязан нацепить. Вот взять хоть меня сейчас: жалованье я получаю ерундовое, а ведь погляди, пожалуйста, все как следует: брюки — клеш, перчатки, башмаки со шнуровкой. А домой нынче поеду, граммофон везу, занавески на окна, жене шляпу. Ведь вот оборачиваюсь. Зато из всей нашей слободы — кто культурно живет? Один Кирюхин. Намедни, в воскресенье вышел — сам в перчатках, жена в пальте, перед встречными извиняюсь. Даже самому чудно, сейчас умереть!

Кирюхин расплатился, надел перчатки и вышел. Так как вдвоем выпили десять бутылок, то извиняться Кирюхину приходилось на каждом шагу.

— Во! — крикнул он. — Сейчас меня вон та морда толкнула, тут бы ее крыть надо почем зря да в зубы хорошенько двинуть, а только извинился.

— И как это ты терпишь?

— Как терпишь... вот терплю. Зато, опять повторяю, спроси, кто во всей слободе самый культурный? Кирюхин. Ну-ка, отстань немножко.

Приятель остановился. Кирюхин отошел от него шагов на пять и крикнул:

— Видно издали, что я конторщик?

— Не узнать. Прямо господин и господин.

— То-то, брат. А вот летом котелок надену — ахнешь.

Севши в вагон, Кирюхин долго укладывал на лавочке вещи — граммофон, занавески, коробку со шляпой — и все говорил сам с собой. Потом подсел к какому-то человеку в шубе с каракулевым воротником и сказал:

— Вот домой еду, всякой всячины везу. Ведь у нас как: жалованье получил — половину пропил. А я за весь месяц только разок пивка выпил, зато сам, видите, как хожу? И жену заставляю. Небось, со стороны и не видно, что я всего конторский служащий?

Сосед посмотрел на него и ничего не сказал. Кирюхин вынул щеточку с зеркальцем и, сняв шапку, начал зализывать щеткой вверх мокрые, вспотевшие волосы.

— Но с женой — беда... мука-мученская! — сказал он, держа щеточку и зеркальце в руках и взглянув на соседа. — Потому нашего брата к культурной жизни приучить — все равно что свинью под седлом заставить ходить. Ведь вот хоть та же жена. Другая бы бога благодарила, что у нее муж такой — впереди, можно сказать, всех идет. А у нас каждый божий день ругань, чуть до драки не доходит. Хорошо еще, что она у меня тихая, только тем и спасается, а то бы излупил как сидорову козу. Вот как я ее возненавидел — прямо сил нет. В городе посмотришь — барышни все в шляпках, ноготки чистенькие, — ну, культура, одним

словом, чистой воды. А эта сволочь подоткнет грязный подол, рукава засучит и только со своими горшками возится. И ничего-то она не понимает. Про Форда намедни ей все говорил. Как к стене горох. Не интересуется!.. Я об чем хочешь говорить могу. Вы вот ни слова не говорите, прямо как чурбан какой-то, а я разговариваю. А дай мне настоящего человека, я всю дорогу буду сыпать, только рот разинешь. Но жена — сволочь, ах, сволочь! Ну, что я, приеду сейчас, с кем мне поговорить, чем глаза порадовать? Нет, я вижу, не жилец я в нашем государстве. Уеду куда глаза глядят. Выучу языки и уеду. Вот, к примеру, взять наших партийцев... стараются что-то там, а все это ни к чему. Не с того конца.

На остановке в вагон вошла женщина. Кирюхин бросился снимать с лавки свои вещи.

— Мадам, садитесь, пожалуйста, сейчас ослобоню.

— Не беспокойтесь, я здесь сяду, — сказала женщина и села на другую лавку.

Кирюхин сел опять, усмехнулся и покачал головой.

— Ну, прямо чудно, ей-богу! — сказал он. — Добро бы хорошенькая была, а то ведь уродина какая-то, другой бы в такую харю только плюнул, а я вскакиваю: «мадам, пожалуйста», а она, небось, эта мадам-то, кроме мата ничего и не слышала на своем веку.

Минут через десять поезд остановился. Сосед взял вещи и вышел. Кирюхин пересел к другому и сказал:

— Вот сволочь, ну прямо бревно какое-то! Целую дорогу все я только один говорил, а он хоть бы слово!

Когда он приехал на свою станцию, то, проходя через вокзал, здоровался со знакомыми, высоко приподнимая над головой шапку и раскланиваясь несколько набок.

— Перчаточки хороши у вас, — сказал ему один из знакомых.

— Шесть с полтиной, — ответил Кирюхин, поставил вещи на пол и снял одну перчатку, чтобы дать посмотреть.

Выйдя на подъезд, он долго стоял и, прищурив глаза, как будто был близорук, оглядывал площадь со сто-

явшими на ней извозчиками. Те обступили его в своих длиннополых кафтанах с кнутами в руках.

Когда Кирюхин подъезжал к своей деревне, он смотрел на крытые соломой избы, завалинки, водовозки и на встречных баб, мужиков и чувствовал к ним какое-то необъяснимое презрение за то, что они ходят в полшубках, без воротничков и не могут рассуждать.

И ему стало жаль себя, что он один во всей деревне такой умный, живет такой культурной жизнью. И чем было больше жалости к себе, тем больше презрения ко всем, а в особенности к своей жене.

Конечно, хорошо сейчас приехать домой: жена человек, в сущности, хороший, не крикунья, не скандалистка, и будь он не так культурен, он бы чувствовал себя прекрасно.

Но ведь он как только увидит ее, так почувствует к ней неодолимое презрение и ненависть за то, что она простая баба, никакого разговора поддержать не может. Ей про Америку говоришь, а она не знает, что такое есть эта Америка.

Вот он везет ей шляпку. А вдруг она, как вырядится, будет чучело чучелом? Нет, если шляпка не поможет, то бросит он это дело к черту.

Разве ему такую нужно жену? Ему нужна нежная, тонкая, деликатная, — такая же, как и он сам. А эта — как ступа.

И когда сани подъехали к дому, он увидел Акулину, несшую свиньям помой, и крикнул ей:

— Эй, сволочь, не видишь, что муж приехал? Держи вот, подарок тебе, шляпа. Небось, и надевать-то не знаешь как. Эх ты, рыло!.. Навязалась ты на мою шею... Здравствуй! Детишки как?

## Хорошие люди

**Ж**ильцы квартиры №6 были на

редкость приятные и дружные люди. В крайней комнате по коридору жил доктор с семьей, полный и представительный человек, с большой, во всю голову лысиной, с толстым перстнем на мизинце, когда-то богатый, владелец большой лечебницы, дальше Марья Петровна, старая дама, из тех, что носят оставшиеся от прежних счастливых времен шляпки-чепцы с лиловыми выгоревшими цветами и лентами, эта старушка была добрейшее существо, хотя и с барскими традициями и замашками, но совершенно безобидными.

В середине коридора помещалась учительница музыки, Надежда Петровна, дававшая когда-то уроки в богатых домах, ходившая с длинной цепочкой, на которой у нее были маленькие часики за поясом, и, наконец, в конце коридора — вдовый инженер Андрей Афанасьевич Обрезков с дочерью лет шести, Ириной, которую все звали Аринушкой.

Эта семья была любимицей всей квартиры. Отец был прекрасный человек, отзывчивый, мягкий. Про него говорили, что он вполне «свой человек», несмотря на то что занимает хорошее место; в нем сохранились старые традиции.

Марья Петровна особенно благоговела перед Андреем Афанасьевичем и называла себя его сестрой, хотя в действительности их родство было очень дальнее.

Аринушка была удивительно ласковый и общительный ребенок, со светлыми, как лен, волосами с красным бантиком в них и коротком платьице, низко пережатом поясом. Она никому не надоедала и была всем только приятна. У нее была забавная и трогательная манера говорить языком взрослого человека. И

поэтому жильцы всегда старались вызвать ее на разговор, в особенности если приходил кто-нибудь из посторонних.

Если Аринушке было что-нибудь нужно, она всегда говорила так:

— Милая тетя Маша (всех квартиранток она звала тетями), милая тетя Маша, если это вас не затруднит, будьте добры пришить моей старшей кукле пуговицу к лифчику. Она скоро доканает меня своей неряшливостью.

И старушка, стараясь удержать улыбку, говорила на это:

— Ты очень распускаешь их и приучаешь к безделью; я вчера вошла в комнату, а они все три сидят, как поповны, и ничего не делают.

— Я не знаю, что такое поповна... Но у меня не хватает характера, — отвечала малютка.

В ночь на первое февраля жильцы всех комнат были встревожены и перепутаны: раздался громкий продолжительный звонок. Вошли какие-то люди в военной форме в сопровождении коменданта. Один остался у двери, а остальные с комендантом вошли в комнату Обрезкова. Потом увели его куда-то. Аринушка спала в своей кроватке за ширмой, откинув одну руку и положив на нее покрасневшую от сна щеку.

Обитатели квартиры, собравшись в комнате доктора кто в чем, так как все уже легло было спать, с бледными испуганными лицами обсуждали происшествие.

— В чем дело? За что могли взять Андрея Афанасьевича? — слышались тревожные вопросы.

— Может быть, донос... Господа, нет ли у кого-нибудь каких-нибудь записок Андрея Афанасьевича? Непременно уничтожьте, а то придут с обыском и скажут, что мы имели близкое отношение к нему.

— Да, да, это необходимо. Тщательно все проверьте у себя, даже если записана его фамилия, уничтожьте.

— Аринушку-то мы возьмем к себе. Придется ей сказать, что отец неожиданно уехал в командировку.

— Надо по возможности не оставлять ее одну, — сказал доктор, — я думаю, Марья Петровна возьмет на себя

это в те часы, когда нас нет в квартире. Мы уж попросим и все будем благодарны ей за это.

Старушка, испуганная и растроганная до слез, только махнула рукой, как бы говоря, какой тут может быть еще разговор о благодарности, когда это ее святой долг позаботиться о ребенке, тем более что она не чужая же Андрею Афанасьевичу, а сестра его.

Аринушке сказали, что папа неожиданно уехал в командировку, и тетя Маша будет теперь заботиться о ней в те часы, когда других жильцов нет дома.

И когда Аринушка пришла с гулянья, она прямо отправилась в комнату тети Маши и, остановившись на пороге, сказала, разведя руками:

— Тетя Маша, вам придется взять меня к себе с целой семьей: вон поповны, как вы их называете, не хотят оставаться одни в пустой комнате. Вы разрешите передать им приглашение?

Старушка с растроганной улыбкой и со слезами прижала ее к своей груди.

— Зови, зови их, малютка, уж как-нибудь разместимся.

Вечером пришел комендант и сказал, что, по-видимому, дела Андрея Афанасьевича плохи: комнату велели запечатать, а девочку передать какому-нибудь лицу, имеющему близкое отношение к Обрезкову.

— Это уже сделано, — сказали жильцы, оглянувшись на Марью Петровну.

— А вы какое имеете к нему отношение? — спросил комендант.

Марья Петровна по-старушечьи покраснела шеей и растерянно сказала, что никакого отношения к гражданину Обрезкову не имеет, а просто заботится о ребенке, которого любит.

— А ведь вы, кажется, его сестра, — сказал комендант.

— Какая же я сестра? Никогда не желала быть его сестрой, — сказала растерянно Марья Петровна.

Комендант молча и, как показалось Марье Петровне, испытующе посмотрел на нее и, ничего не сказав, ушел.

По уходе коменданта жильцы, собравшись в комнате доктора, опять тревожно обсуждали положение.



— Вы заметили, как он странно с нами держался? — сказала учительница музыки Надежда Петровна.

— Да, с ним нужно быть осторожнее, а то он нас всех может припутать к этому делу.

С этого времени в квартире установилась какая-то напряженная тишина. Уже не собирались, как прежде, все в одной комнате, как будто с такой мыслью, что если кого-нибудь из жильцов арестуют, то чтобы не сказали потом, что они целые вечера проводили в трогательном единении, двери комнат, прежде всегда открытые в коридор, теперь все время были закрыты.

Однажды Аринушка вернулась с прогулки, Марья Петровна не было дома, и дверь ее, против обыкновения, оказалась заперта.

Аринушка пошла к учительнице музыки.

— Тетя Надя, где же тетя Маша? Ее дверь заперта, и я оказалась без пристанища. Разрешите хоть у вас посидеть.

— Она, наверное, скоро придет, — сказала как-то странно растерявшаяся Надежда Петровна. — Покушай вот молочка, детка... только я сейчас уйду, побудь, милая, в коридоре, пока не вернется тетя Маша, я тебе сейчас устрою поуютнее.

И она сгоряча вытащила в коридор свое большое мягкое кресло, самую лучшую вещь в ее комнате, дала Аринушке книжку и ушла, запев на ключ дверь своей комнаты.

Когда вечером пришла Марья Петровна, она увидела, что ребенок сидит один в пустом коридоре в кресле и, свернувшись в комочек, спит, книжка «Всегда будь готов» соскользнула с колен на пол. Кукла, раскинув свои тряпичные руки, лежала навзничь на коленях девочки.

Марья Петровна на цыпочках прошла мимо девочки в свою комнату и заперла за собой дверь на ключ.

На следующий день с утра в квартире никого не оказалось, девочка, выпив молока, занялась своими игрушками, которые оказались возле нее в кресле. И так как она была тихий и кроткий ребенок, то сидела в уголку и неслышно копалась в своем хозяйстве.

Каждый из приходивших жильцов, увидев ее в конце коридора, сейчас же принимал почему-то деловой вид и торопливо проходил в свою комнату.

Один раз Аринушка встала и пошла навстречу вернувшемуся со службы доктору.

— Дядя Саша, скажи, пожалуйста, что это случилось с людьми, я все одна и одна сижу, — сказала девочка со своей обычной забавной интонацией взрослого человека.

Доктор испуганно оглянулся по сторонам и испуганно сказал:

— Запомни раз навсегда, что я тебе не дядя...

И ушел в свою комнату, заперев за собой дверь.

Девочка долго стояла перед захлопнувшейся дверью, как будто силясь что-то понять, потом поковыряла пальчиком штукатурку и пошла в свой угол. Долго сидела в кресле, сжавшись в комочек, совершенно неподвижно, потом заснула, свесив через ручку кресла голову и правую руку.

Часто в квартиру заходил комендант и, пройдя по коридору, уходил обратно, ничего не сказав,

— Что ему нужно? — спрашивали шепотом друг друга жильцы.

— Может быть, хочет проследить, кто имеет близкое отношение к Обрезкову?..

Жизнь в квартире от присутствия в ней девочки стала невозможна. Каждый из жильцов, когда встречался с молчаливым взглядом ребенка, как-то терялся, преувеличенно ласково заговаривал с ней, стараясь в то же время выдумать какой-нибудь предлог, чтобы поскорее отойти. Или делал вид, что не заметил одиноко сидящего в коридоре ребенка, и поскорее проходил в свою комнату.

Девочку не умывали уже целую неделю, а сама она не могла достать до крана. И спала она, сидя в кресле, не раздеваясь. На шее у нее был темный круг грязи, а между пальчиками рук образовалась какая-то корка.

И каждому из жильцов приходилось делать вид, что он не замечает ни того, ни другого, потому что тогда придется для девочки делать все, даже ставить ей пищу было мучительно. Она ни о чем не спрашивала,

не допытывалась о причине изменившегося к ней отношения.

Она только молча смотрела своими большими детскими глазами на того, кто подходил к ней и ставил кружку молока на окно.

Поэтому каждый из жильцов, чтобы не доставлять себе лишних мучений, или старался ставить молоко, когда девочка спала, или вовсе не ставил его, надеясь, что остальные квартиранты не бесчувственные же люди — вспомнят о девочке.

В первое время жильцы возмущенно и тревожно обсуждали положение ребенка, говорили о бездушии государственной машины. И каждый особенно горячо говорил, как бы этим стараясь показать перед другими и перед своей собственной совестью, что он прикладывает к этому делу максимум энергии и забот.

Но чем дальше, тем меньше касались в разговоре девочки, по какому-то молчаливому соглашению обходя этот вопрос.

Каждый держался от ребенка дальше и был с ним холоднее, как бы боясь, что тот обрадуется ласке и будет ходить хвостом, так что со стороны можно будет подумать, что он имеет близкое отношение к тому, за кем ходит.

Но была удача в том, что Аринушка оказалась на редкость чутким ребенком. Она как будто поняла, что с ней что-то случилось, о чем не следует расспрашивать. И когда заметила, что от нее сторонятся, сама уж не подходила ни к кому. Так что стало гораздо легче проходить мимо нее, делая вид, что не замечаешь ее. Нужно было только не смотреть в ее сторону, чтобы не встречаться с ней глазами.

Самое ужасное было взглянуть в ее большие, с длинными ресницами, синие, как небеса, глаза.

Один раз кто-то из жильцов сказал, что голова девочки полна насекомых и нужно ее вымыть. И все горячо сказали, что вымыть необходимо.

А учительница музыки, улучив момент, когда девочка была в кухне и чего-то искала на пустых полках, взяла от нее кресло, тщательно осмотрела его, обчистила и поставила ей другое, с прорвавшейся клеенкой

и вылезшими пружинами. Потом бросила еще свой старый коврик от постели.

Аринушка, вернувшись, молча посмотрела на кресло, потом на дверь тети Нади. Но сейчас же развлекалась пружинами, которые долго дрожали и качались, если трогать их пальцем.

Так как в кресле было больно спать от пружин, то Аринушка спала эту ночь на полу, на коврике, положив рядом с собой младшую куклу, которая, на ее взгляд, сегодня выглядела совершенно больной. Она тщательно одевала ее своим, едва доходившим ей до колен пальтишком и долго старалась прикрыть свои ноги концом коврика.

Один раз Марья Петровна, вернувшись домой, хотела было пройти мимо поспешным шагом занятого человека, как все усвоили себе за это последнее время, но машинально взглянула в сторону кресла.

Девочка, очень похудевшая и побледневшая, сидела в уголке кресла и молча смотрела на старушку. И вдруг из глаз ее скатилась одна большая, крупная слеза.

Старушка вбежала в свою комнату, упала лицом на кровать, и все ее старческое тело задергалось от прорвавшихся рыданий.

Прошло очень много времени. Она все лежала вниз лицом. Но вдруг она вздрогнула и подняла настороженно голову. В дверь послышался слабый стук. Она открыла. На пороге стояла Аринушка в своем грязном, жалком виде. Она робко посмотрела на старушку и сказала:

— Милая тетя Маша... если я вас не очень обижу, дайте мне хоть малюсенький кусочек хлебца... Я очень... очень хочу есть.

— Ребенок ты мой несчастный! — воскликнула с болью старушка. — Возьми вот, кушай, вот тебе еще, вот..

Она всунула девочке в подставленные по-детски пригоршни ломтик хлеба, баранок и торопливо сказала:

— Только иди, детка, туда, иди к себе в креслице, и кушай там.

Она выпроводила за плечо девочку и опять захлопнула дверь.

\*\*\*

На другой день жильцы, как громом, были поражены известием, что с Андреем Афанасьевичем, отцом Аринушки, произошло недоразумение. Его спутали с каким-то бандитом, однофамильцем, и он завтра возвратится. Первой опомнилась учительница музыки Надежда Петровна и бросилась к Аринушке.

— Детка, милая моя, папа завтра приезжает! Пойдем скорее мыться, чтобы встретить его по-праздничному.

Все женщины, взволнованные, обрадованные, обступили ребенка и наперерыв старались сказать ему ласковое слово, потом повели в ванную, а Мария Петровна, которой не хватило около девочки места, занялась приготовлением завтрака для нее.

Даже доктор, который совсем был здесь лишним, несколько раз подходил к двери ванной, где мыли девочку, и, поглаживая лысину, опять отходил.

**К**урьер одного из советских учреждений,

сидя в коридоре на диванчике с решетчатой спинкой, вертел в руках какой-то пакет и говорил с раздражением:

— Ну вот, где его нелегкая носит! Уж часа два, знать, как ушел, и все нету, а тут пакет срочный к двум часам надо доставить.

Сидевший рядом с ним человек в рваном пиджаке и больших сапогах, очевидно, дожидавшийся, когда откроют кассу, повернул к нему голову и сказал:

— С народом беда, все норовят прогулять.

— Он гуляет, а дело из-за него стоит, — сказал курьер, не оглянувшись на говорившего. — И все равно мухи сонные ходят! А наших, вон, барышень возьми, нешто это работа! Все только в бумаги смотрят сидят.

Он махнул с раздражением рукой и откинулся на спинку диванчика, потом повернулся к собеседнику.

— А все потому, что строгости настоящей нет. Бывало, начальник войдет, так дрожат все, а нынче начальник — не пищи, а то сам вылетишь, вот и идет все дуrom. Ведь в одиннадцать часов ушел! Где может пропадать человек?

Из кабинета напротив вышел служащий в пиджаке и косоворотке и, наткнувшись глазами на курьера, удивленно сказал:

— Товарищ Анохин, ай уж снес?

— Какой там снес — не ходил еще! Сухов куда-то запропастился, отойти нельзя. Ведь вот сукины дети!..

— Ты смотри, опоздаешь так. В такую лужу тогда посадишь, что и не выпутаешься.

— Да нет, опоздать не опоздаю, еще полтора часа времени есть — только досада берет, что головы пустые, ничего с ними делать нельзя.

Служащий ушел, а курьер продолжал:

— Сейчас кажный против прежнего вдвое меньше работает. У нас уж чего только не делают — и номерочки придумали, чтобы все вовремя на службу приходили, и расписываться заставляли — ни черта не выходит. Вот этот Сухов пошел — там всего на десять минут дела, а он второй час где-то путается — пойди его учти. Конечно, человек рассуждает таким манером: «Прохожу я час или десять минут, все равно я больше того, что получаю, не получу».

— Я вот кассира второй день дожидаясь, — сказал человек в пиджаке, — вчерась сказали, что в банк ушел за деньгами, а покамест он ходил, четыре часа подошло, кассу закрыли. Сейчас тут сидит, а кассу все не открывает, потому что, говорит, счета какие-то проверяет.

— А у тебя у самого небось там дело стоит! — сказал курьер.

— А как же! Меня там двадцать человек десятников дожидаются, а тех, своим чередом каждого, небось человек по пятьдесят рабочих ждут. Я тут папироски вторые сутки курю, а они небось там тоже покуривают... Беда... А вот уж на серый хлеб перешли.

— С таким народом и на черный перейдешь, — сказал курьер и вдруг вскочил с места. — Вот он, лихо-манка его убей! Где тебя душило? — крикнул он на вспотевшего малого в картузе, который показался в дверях с разносной книгой.

Малый снял картуз, утер рукавом лоб и, огрызнувшись, сказал:

— Где душило!.. Нешто их поймаешь. Один придет, другого нет. Накладную выписали — подписать некому. А тут — глядь, закрыли. Там до часу только принимают.

— Э, черт!.. Ну, сиди тут, сам понесу, вам поручи — и не обрадуешься.

Курьер снял с гвоздя картуз и пошел к двери.

— Пойду и я, видно, — сказал человек в пиджаке.

— Отдать бы нас на выучку к немцам, — сказал курьер, когда они вместе вышли на улицу, — вот это был бы толк. Вон, погляди, пожалуйста, как работают, —

сказал он, указав на стройку, по которой ходили мужики в фартуках, — ты погляди, как он идет: вишь, нога за ногу заплетает.

— Что ж, он строит не себе — вот и ходит так.

— Да он и себе-то стал бы строить, все равно то же было бы. Вишь, теперь вовсе остановился, зевает на прохожих.

Когда курьер с человеком в пиджаке повернули за угол, в углублении около стены дома они увидели толпу: стоявшие сзади приподнимались на цыпочки, стараясь заглянуть в середину.

— Чтой-то там? — сказал курьер.

— Так на что-нибудь глазают, — сказал его спутник.

Курьер поднялся на цыпочки. Там стоял человек и показывал машинку для резки овощей. Он брал морковь, всовывал в трубочку, вертел ручку, и из машинки выскакивали фигурные кружочки морковки. Все стояли и смотрели, подходили новые зрители и, приподнявшись на цыпочки, замирали на месте, глядя, как выскакивают кружки.

Покупать никто не покупал — очевидно, машинка никому не была нужна.

Некоторые, бежавшие очень поспешно, очевидно по срочному делу, тоже вдруг останавливались и стояли довольно долго, с сосредоточенным молчанием глядя на выскакивавшие кружки.

— Купить, что ли, хочешь? — сказал спутник курьера, дернув его сзади за рукав.

— Нет, так, посмотреть. Куда ж мне ее? И придумают тоже. Вот людям делать-то нечего. Вместо того чтобы полезное что выдумать, они вон фигурки из морковки выдумали резать. Ой, мать честная, как бы не опоздать, — сказал испуганно курьер и хотел отойти, но в это время продавец сказал:

— А теперь я переставлю эту пружинку сюда, беру яблоко, кладу об это место, и что происходит...

Курьер остался на месте, чтобы посмотреть, что произойдет. Но у машинки что-то испортилось, и продавец, сконфузившись, стал исправлять ее, а из публики стали доноситься иронические замечания.

— Села... — сказал кто-то.



— Покамест на машинке настругаешь, без машинки уж пообедать успеешь.

Остальные стояли и покорно ждали, когда будет исправлена машинка.

— Ну, это никогда не дождешься, — сказал курьер, повернувшись, несколько человек отошло было, но в это время машинка оказалась исправленной.

— Теперь смотрите, что будет, — сказал продавец.

— А, будь ты неладен, — сказал курьер, — просто-ишь тут, потом сломя голову бежать придется. — И стал смотреть, как яблоко начало вертеться на машинке и с него длинной полосой сходила кожа.

Иронические возгласы замолкли, повернувшиеся было уходить — остановились опять.

— Ведь что глупей всего, — сказал курьер, покачав головой, — машинка мне эта ни на черта не нужна, самому спешить нужно, а вот стоишь и смотришь. Вишь, сколько народу собрал, а у людей дело поважней его машинки. У, сукины дети!..

И он хотел было уходить, но в это время сзади кто-то сказал:

— Старичок, посмотрел — отходи, дай место другим, ведь все равно не купишь.

— Тут места не заказанные, — сказал курьер обиженно и упрямо продолжал заслонять собой дорогу хотевшему посмотреть человеку.

— Вот черт-то, — сказал человек, желавший увидеть машинку, — старый человек, а недотрога.

— Они тоже старые всякие бывают, — отозвался кто-то. Курьер упрямо продолжал стоять, не оглядываясь, не обращая внимания на выпады против него.

— Теперь кладем сюда репу!..

Курьер машинально взглянул на городские часы, бывшие напротив, и вдруг, расталкивая толпу, бросился чуть не бегом по улице.

— Что он, очумел, что ли? Вот чумовой черт! — говорил какой-то человек, прыгая на одной ноге, так как курьер отдал ему ногу.

— Так и знал, что опоздаю, — говорил курьер сам с собой. — Закрыто!

Когда он через полчаса вернулся измученный на-

зад, служащий в косоворотке стоял в коридоре и с нетерпением поглядывал в окно на улицу. Увидев курьера, он бросился к нему.

— Где тебя черти душили?

— Где душили... нетто их, чертей, на месте найдешь! Один придет, другого нет. А тут два часа подошло — глядь, закрыли.

1926



# Народные деньги

**В** одном из промышленных советских

учреждений был поставлен вопрос о катастрофическом положении дела.

По плану должен был получиться доход в 500 тысяч, а на деле получился убыток на те же 500 тысяч.

— Чтоб тебя черти взяли! — говорили члены правления. — Ведь как пригадало-то ловко: копеечка в копеечку подсчитали, только — наоборот.

Делу был дан ход. Приехали комиссии.

— Почему такой убыток?

— Акто его знает... Шло как будто все ничего. Мы уж под прибыль двести тысяч заняли, а тут как нечистая сила подшутила...

Стали проверять. Оказалось, что на каждом складе, где достаточно быть одному приказчику, были и заведующий, и конторщик, и машинистка, и курьер.

— Где же такую ораву просодержать! Вам еще к этим пятистам нужно добавить от казны, — сказали члены комиссии.

— Мы просили, а нам отказали, — сказали члены правления. — Бьешь, бьешь...

Лица, возбудившие это дело, в один голос показывали, что расходы производились старым правлением в высшей степени непроизводительно. Каждый член правления все норовит устроить своих родственников да знакомых, всюду протекции, без сильной бумажки не поступишь, а ежели у кого есть бумажка, так его сразу берут, нужен он или не нужен.

Особенно волновались два преданных делу работника — длинный Хрущов и маленький Таскин.

— Вы посмотрите, товарищи, — кричал Хрущов членам комиссии, — посмотрите, сколько одних столов! И все, кто здесь сидят, — пятьдесят процентов по протек-

ции: то родственники, то знакомые, то по запискам от важных лиц. Вот как соблюдается режим экономии, вот как расходуются народные деньги!

Служащие ходили испуганные, ожидая сокращений.

— Поддерживайте! — говорили им члены правления. — А то если нас прогонят, то и вы все полетите.

И служащие согласились поддерживать, так как каждому пить-есть надо.

— Поддерживайте! — кричали служащим Хрущов и Таскин. — Если мы старое правление свалим, то наладим дело с одной прибылью без дефицита, и в благодарность за поддержку из вас никого не уволим, так как производство будет расширено.

И служащие согласились поддерживать, так как пить-есть каждому надо.

Старое правление было смещено, и назначение получили Хрущов и Таскин.

На другой день к ним пришел делопроизводитель и сказал:

— Товарищи, моя сестра была нагло уволена прежними арапами. Необходимо восстановить справедливость, принять ее обратно.

— Где она? Давай сюда, — сказал Хрущов.

И, когда пришла сестра делопроизводителя, Хрущов привел ее в канцелярию и сказал:

— Вот жертва произвола прежних арапов, которые в учреждении завели кумовство и увольняли работников, не имевших сильной протекции. Предоставляю ей место с повышением.

Раздались дружные аплодисменты.

Потом к Таскину и Хрущову стали приходить их родственники и знакомые. Они, даже не заходя в правление, сначала ходили по учреждению и с интересом осматривали его, как осматривают дом, доставшийся по наследству.

Но, когда Хрущов и Таскин говорили им, что не могут их взять на службу, они обижались и говорили:

— Хорош родственник, помнит о своих родных, нечего сказать. Пока мы ему были нужны, так он около нас околачивался, а теперь нос задрал и сделать

для нас ничего не хочет. А почему же сестру делопроизводителя взял? Чужих устроить можно, а своих нельзя.

Потом к Хрущову пришли родственники жены, сначала отказал им. А дома — надутые физиономии и целый скандал. Пришлось двоих взять.

Когда этих взял, тогда к Таскину пришли три родственника и при его отказе указали на то, что Хрущов ведь взял своих родственников, почему же он не может?

Пришлось скрепя сердце взять и этих троих.

Потом пришли с записками от важных лиц.

Им отказали.

Но они сказали, что почему им отказывают, а своих родственников принимают?

Пришлось взять и этих. Потому что, если им отказаться, сам недолго продержисься. А пить и есть надо.

А потом в правление пришел делопроизводитель и сказал:

— Как же нам быть-то?

— А что?

— Да столов не хватает.

— А, черт... ну, посадите по два человека за стол.

— Какой там — по два, когда уж в иных местах по три сидят. Такая скученность, что дышать нечем. Ведь люди по шести часов в учреждениях сидят.

— Может быть, поубавить немного? Ведь тут много родственников прошлого правления.

— Неудобно... Они же на нашей стороне были. Лучше столов еще заказать, кстати, столяры тут внизу толкуются, точно святым духом учуяли, что пожива им будет.

В правление вбежал Таскин и торопливо сказал:

— Черт возьми, вот положение, ей-богу! Надо еще одного человека устроить. Ну, прямо, понимаешь, сил никаких нет! Им толкуешь, что невозможно, что учреждение — это не вотчина, деньги не мои, а народные, — нет, они знать не хотят. Да еще намекают на то, что свинью мне подложат, заметочку в газеты дадут. Что тут делать?

— Что делать? Придется взять, — сказал Хрущов. — Хорошему человеку отказать можно, а вот таким сво-

лочам — опасайся. А чтобы штатов не раздувать, придется отдавать ему сдельно.

— Да ведь этак вдвое дороже выйдет!

— И втрое заплатишь, по крайней мере, расход в другую статью можно перевести. А то что же у нас на один штат-то сколько выходит! И так вон столярам сейчас целый подряд на столы дали. А ради этого план производства пришлось расширить. Хорошо его на бумаге расширить, а как на деле будем расширять — неизвестно.

А между тем уже начиналось брожение. Почти открыто кричали, что это не учреждение, а какая-то вотчина, что правление принимает на службу своих родственников и по разным записочкам, от ворот, а через биржу труда поступить и думать нечего.

Разговор этот подняли те, кому было отказано. Его поддерживали те, кто оказался обиженным. В особенности сильно волновались три преданных делу работника — Суцев, Ласкин и Шмидт.

И когда столяры привезли столы к учреждению, они кричали, показывая на столы из окна:

— Вот как расходуются народные деньги! И все это для кого? Все для своих протеже. А моего брата вышвырнули в два счета, человека, который за них же стоял. Посмотрите на склады, сколько там народу: заведующий, да еще при нем заместитель, да два бухгалтера, да две машинистки, да три счетовода, да два курьера!! Да еще мы знаем, что сверху штата напихано, работа сдельно отдается... Поддерживайте, мы их к черту спихнем.

— Что же, мы вас поддержим, а вы потом половину из нас прогоните?

— Мы боремся не с вами, а с заправилами, которые мотают народные деньги.

— Тогда — другое дело.

Делу дан был ход. Приехали комиссии. Стали проверять. Оказалось катастрофическое положение: рассчитано было прибыли на семьсот тысяч, а оказалось убытку на те же семьсот тысяч.

— В точку!.. Как при прежних, только цифры больше... Копейка в копейку подгоняет. Ну, прямо нечистая сила работает. А мы уж под будущую прибыль триста

тысяч заняли. Дом, что ли, на нехорошем месте стоит, черт его знает, в чем тут дело...

— Нет, тут не в месте дело, — кричали Суцев, Ласкин и Шмидт. — а в том, что деньги народные. Кабы они на свои деньги дело вели, так небось не набрали бы столько народу, а из каждого бы последний сок выжимали. А раз деньги народные — вали и свата, и брата, и записочников. Тут миллион чистой прибыли должно быть, а у них семьсот тысяч убытку. Да и как убытку не быть — и автомобиль у них, и командировки черт ее знает куда, и чего только нет. Одним словом, народные деньги. Поддерживайте, надо изжить эту заразу!

Через неделю были назначены перевыборы правления. Все отмечали безусловную правоту и мужество выступавших Суцева, Ласкина и Шмидта и возмущались запутанными объяснениями прежних арапов — и раздутыми штатами.

А внизу, прячась от проходивших по лестнице, толклись почему-то столяры и поглядывали наверх, где производились перевыборы.

— Вы чего тут собрались? — спросил швейцар.

— Так... ожидаем...

[1926]

# Непонятное явление

В пятницу, на следующий день после

пожара, в кооперативе было созвано собрание по вопросу о причинах полного краха предприятия.

Всю жизнь деревня Пронино ездила за покупками в город за двадцать верст.

— Трубку закурить — за спичками в город скачи, ведь это никаких сил не хватит, — говорили мужики.

Пользуясь таким положением дела, Прохор Фомичев, толстый мужик в жилетке и в ситцевой рубаше на выпуск, открыл свою торговлю и стал доставлять необходимые предметы, накидывая пятак на фунт.

Все были довольны.

Но когда подсчитали, сколько они всей деревней несут этих пятачков Фомичеву, то пришли к выводу, что они круглые ослы. Если есть головы на плечах, то отчего не устроить так, чтобы пяточки были целы?

Сорганизовались. Сложились и выписали товару, открыв потребительскую лавочку против лавки Фомичева, через дорогу.

— Смерть кулаку и частному предпринимателю! Не брать у частного торговца!

Заведующим лавкой выбрали Афоньку-гармониста, инвалида гражданской войны. Выбрали из тех соображений, что, во-первых, он парень на все руки — гармошки чинит, часы, керосинки; бенгальский огонь даже зажигать может. А во-вторых, у него хозяйства нет, все равно он дома сидит: ему немножко приплатить, он и будет торговать.

— Можешь торговать? — спросили его мужики.

— Вот г...! Что тут, мудрость, что ли, какая, — сказал Афонька. — Часы-то чинить позамысловатей дело, и то справляюсь.



На другой же день после открытия около потребительской сидела на траве и на завалинке целая толпа.

— Мать честная, народу-то собралось, — говорили проходившие. — Что это вы сидите?

— Дожидаемся.

Все сидели с баклажками для дегтя, с бутылками для керосина, курили и водили глазами то в одну, то в другую сторону.

— Ай, заперто? — спрашивали вновь подходившие.

— Заперто.

— А где ж Афонька-то?

— Керосинку, говорят, попу понес, в починке была.

— Да не керосинку, а заводную игрушку.

— И игрушки чинит?

— Чинит.

— Ну и голова... А когда он в лавке-то бывает?

— Да ведь это как придется. Вчерась, говорят, прямо с утра был.

— Когда починки нету, он, почесть, все время тут. Вчерась моя старуха хорошо попала, так в пять минут вернулась, а нынче, вот, не угадали — так третий час сидим.

— Эй, что вы там? Идите, отпущу, — кричал с порога своей лавки Фомичев.

— Подыхай там. На черта ты нужен, — отвечали мужики, даже не оглянувшись, и когда показался в конце деревни на своем костыле Афонька без шапки, с вихрами нечесаных волос, мокрых от пота, точно он только что купался, на него закричали в десять голосов:

— Эй, что же ты! Не успели тебя за дело посадить, а ты уж собак гоняешь. Вот будем у частного торговца брать, тогда посвистишь.

— А черт с вами, берите, мне-то что, — отвечал Афонька. — Давно бы уж дома сидели, чего ж вы ждете-то тут?..

— Затем тебя, осла, и посадили, чтобы у него не брать.

— А коли затем посадили, так терпи, — отвечал Афонька. — Что ж я вас, целый день должен караулить да по одному отпускать? По крайней мере, вот набралось сразу, всех гуртом и отпущу.

— Да, черт этакий, ведь мы уж третий час тебя, лешего, дожидаем, на дворе скотина не поена стоит.

— Потерпит...

Афонька выше всего ставил свое мастерство механика. Когда ему приносили в починку гармонику или часы, он долго осматривал, сидя на завалинке с отставленным в сторону костылем, раздвигал и сжимал около уха мехи гармоники, как бы пробуя, не идет ли где воздух. Клад на завалинку и смотрел на нее так, как смотрит ветеринар на лежащее больное животное, потом опять брал в руки.

И видно было, что для него самые блаженные моменты были те, когда он исследовал причину порчи, а против него стоял в молчаливом и напряженном ожидании владелец, стараясь по лицу мастера угадать, какой будет приговор.

И самое большое удовольствие для Афоньки было сказать равнодушным и тем сильнее действующим тоном:

— Кончилась твоя музыка, нельзя починить...

Потом, когда обескураженный владелец робко просил, чтобы он хоть не совсем починил, а так, лишь бы как-нибудь играла, Афонька говорил:

— Ладно, оставь, еще погляжу.

Тут он чувствовал себя жрецом, чувствовал свою власть над людьми и свою значительность, потому что умел то, чего, кроме него, не умел никто.

А торговлю он презирал, как свое унижение, потому что тут никакой мудрости не нужно: дурака посади — и тот торговать будет; а он, мастер, будет вкладывать в нее всю душу?! И он нарочно относился к ней так, чтобы видно было, что он выше этой торговли, что в ней не нуждается и не с его способностями тратить на нее целые дни. Да еще играть роль приказчика!

Его свободная натура никак не ладила с бухгалтерией, своевременной доставкой товара. Он ничего не записывал, никакой отчетности не вел.

— Продал и продал, что же его записывать. Когда товар в лавке, его записывать нечего, потому что он без того тут. А когда он продан, его записывать нечего, потому что его все равно нету.

— Тогда ответишь. Взыщем.

— Взыскивай, — говорил Афонька и, повернувшись задом к собеседнику, наклонялся, показывая ему известную часть и прихлопывая по ней ладонью.

Собеседник взглядывал по указанному направлению и видел там одну заплату и две дыры до голого тела.

Эти дыры могли иметь два значения: с одной стороны, они служили доказательством честности, с другой — указывали на невозможность взыскания.

На порученное ему дело он смотрел спустя рукава и сам был полным бессребреником. Так что, когда через неделю после открытия лавки пришел один из членов правления и попросил осторожно в кредит товару, Афонька сказал:

— А мне что?.. Бери: мое, что ли?..

— Записывать-то будешь, что ли? — спросил член правления, сам насыпая себе белой муки.

— Чего там записывать...

— Ну, я тогда еще чайку с фунтик возьму.

— Вали.

На другой день пришли остальные два члена правления и довольно долго возились в лавке, насыпая и укладывая мешки.

А потом пришел мужичок — один из пайщиков, у которого была в кармане пятерка, но жаль было менять ее.

— В долг отпустишь?

— А что мне, жалко, что ли: лавка-то ваша, а не моя.

А там, узнав, что в лавке отпускают в долг, побежала и вся деревня.

— Держись, Фомичев, — говорили мужики лавочнику, который одиноко сидел в своей лавке, — видал, обороты какие делаем!

Главное свойство, самое ценное свойство Афоньки была его полнейшая бескорыстность. К деньгам он относился почти с презрением, и все знали, что ни одной общественной копейки у него не пристало к рукам. И когда кто-то недели через две после его определения на должность приказчика повернул его спиной к свету, заплаты и дыры были на своем месте.

Особенностью Афоньки, как заведующего лавкой, было то, что он никогда не спрашивал долгов. Возможно, что при этом он рассуждал так:

— Они хозяева, их лавка, и ежели они берут, значит, знают, когда отдать.

А может быть, он и вовсе не рассуждал.

— Керосин есть? — спросил какой-то покупатель через три недели после открытия лавки.

— Нету керосина. Деготь есть.

— Деготь мне не нужен, я уж другую неделю за керосином хожу.

— Ну, и третью походишь, что ж, из-за одного твоего керосина в город ехать? Возьми вон напротив, через дорогу.

На четвертую неделю после открытия лавка стояла пустая.

— Вот это так оборот, — говорили мужики, — а боялись, что сбыту не будет. Эй, что ж ты спишь, за товарами не посылаешь? — кричали Афоньке.

— Денег нету.

— Целую лавку расторговал, а денег нету? Придется ревизию делать.

Пришла ревизия. Но так как Афонька ни за кем не записывал, кто брал в долг, то ревизия не могла обнаружить тех, кто так бессовестно отнесся к общественному достоянию.

— Кто в долг брал? — спрашивает ревизор.

Все только стояли и оглядывались по сторонам и друг на друга, удивляясь, какой жулик народ пошел.

— Придется взыскать с тебя, — сказал ревизор, обращаясь к Афоньке.

И все увидели, как Афонька молча повернулся задом к ревизору и показал ему то, что обыкновенно показывал всякому, кто говорил о взыскании с него.

Ревизор машинально посмотрел на это место и увидел то, что все и раньше видели: заплату и две дыры.

||

Тогда решили, что уж лучше заплатить как следует, но нанять правильного человека, который бы це-

лый день сидел в лавке, в долг бы не отпуская и вел отчетность.

Выбрали Кубанова, бывшего председателя, которого по приказу из города сняли с места за превышение власти. Этот человек был рожден для власти и, побыв полгода председателем, нашел свое истинное призвание. Он верил, что без строгости и порядка не может идти никакое дело. Был оскорблен, когда его сняли. А когда выбрали в заведующие, он только сказал:

— То-то, черти, поняли теперь...

Сделавшись заведующим, он показал во всей силе, что такое власть даже на таком посту, как заведующий потребительской лавкой. Когда покупатели подходили к лавке, у них зубы начинали стучать, как будто они шли не за товаром, а к прокурору, который вывернет им всю требуку наизнанку и вымотает все кишки.

Кубанов всегда сидел и читал газету. При входе какой-нибудь старушки, не опуская газеты и не глядя на покупательницу, кричал:

— Что надо?

— Ась?

— Говори, зачем пришла?

— Я, батюшка... мне, батюшка...

— Что?! Говори проворней, чего мнеши! Что у тебя, язык отнялся? Ну?

— Хунт керосину...

— А откуда твой сын деньги берет? Я вот доберусь до вас, обнаружу. Все наружу вытяну. В церковь ходишь? Попа на дом принимаешь? Да ты, брат, не заикайся, а говори! Налог заплатила? Нет? А откуда же у тебя деньги? Я, брат, все знаю. В сберегательную кассу кто ходил? Мне отсюда все видно! Обо всем будет доложено. Вот твой хунт керосину. Получай и в другой раз не попадайся.

Старуха выкатывалась без памяти из лавки и всю дорогу крестилась и оглядывалась.

Кубанов смотрел на свое назначение как на право вникать во все области жизни граждан и относился к покупателям, как начальник к подчиненным, от которых требовал прежде всего проявления страха.

Самое большое удовольствие для него было видеть, как они трепещут от страха и как язык у них сразу делается суконным от одного его окрика.

Дело свое он тоже презирал, как и Афонька, ставил его на последнее место. А на первом у него была строгость и порядок. К потребностям покупателей относился тоже с презрением и на их требования смотрел как на блажь.

— Что ж ты мне даешь, я чаю просила, — говорила какая-нибудь молодка.

— Бери, что дают. Нету чаю. Не ройся. Принудительно бери, а то плохо идет! Не разговаривать, а то будет доложено. А тебе чего?

— Керосину.

— Напротив, через дорогу.

У этого заведующего ревизия нашла полный порядок в отчетности, но и полный застой в торговле. Товару никто не брал, несмотря на то что правление снизило цены на 20% против Фомичева.

— Фомичев, а ты жив еще? — спрашивал кто-нибудь.

— Живы-с, — отвечал Фомичев, стоя на пороге и снимая картуз.

— А как же ты торгуешь-то? Там на 20% сбавили.

— Бог помогает.

— Ну, что за черти окаянные, это кулачье! Прямо черная магия какая-то, — говорил, покачивая головой, спрашивавший. — Чем же тебя доконать, Фомичев?

— Вам видней, — отвечал Фомичев.

И когда официально, в ударном порядке, была объявлена война частной торговле, стало очевидно, что Фомичеву приходит конец.

На него наложили такой налог, что все ходили и говорили:

— Теперь крышка. Вот это борьба так борьба. Теперь подрывать не будем. Если это заплатит, тогда еще столько же наложить надо.

— Что, не выдержишь, Фомичев? Конец, брат, тебе?

— Что ж сделаешь-то, — отвечал Фомичев.

А так как денег у него не хватало, то отобрали весь товар.

— Вот теперь поторгуюем. Кого бы это в заведующие угадать, получше выбрать? Надо такого, чтобы операции мог производить.

III

Третьим заведующим выбрали Зубарева, бывшего заведующего волостным финотделом, который до того был доверенным какого-то магазина в Москве, но получил расчет за широту кругозора, по его объяснению.

Зубарев — человек с сильно зализанным бобриком и всегда тревожно возбужденным лицом, которое он постоянно вытирал комочком платка, как будто пробежал без передышки верст десять, и поминутно задирал вверх бобрик маленькой щеточкой.

Войдя первый раз в лавку, он окинул полки глазами и бросил:

— Операций не вел. Это сиделец, а не заведующий был. Все дело в операциях. Помещение ни к черту! Строиться надо.

Строиться ему не дали, но отвели под лавку народный дом. Зубарев выломал стены, вставил цельные окна, завел стулья для посетителей, устроил несколько отделений и накупил таких товаров, каких прежде не видывали: шляп, картин в рамах, зонтиков. И даже зачем-то один цилиндр.

Когда у него спрашивали, зачем это, он отвечал:

— Вы бы посмотрели у Мюр и Мерилиза, там еще не то есть. А то вы сидите на одном керосине, больше ни черта не знаете. Вас обламывать надо.

— А что ж ты так размахался, откуда денег будешь брать?

— А операция на что? У вас операций не делали, вот товар и дорог был, да заваль целыми месяцами лежала.

Для операций потребовалась лошадь с экипажем на рессорах.

Часто на этом экипаже приезжали какие-то люди. Зубарев показывал им, сколько у него товара, а потом подписывал какие-то бумаги. Это был первый заведующий, который со страстью был предан самому делу. Но предан был не как делец, а как художник.

А когда пошли покупать, то увидели, что товар дороже, чем в городе.

— Что же это вы дерете-то так? — спрашивали мужики.

— Операция и накладные расходы, — отвечал Зубарев, задирая вверх свой бобрик щеточкой. — Ведь ваши, прежние-то, что селедками да керосином торговали, в городе все брали, а я за зонтиками нарочно в Москву гонял.

— Черт бы их побрал, эти зонтики, — говорили мужики, — брать их никто не берет, а денег на них уйма идет.

— Уж очень оборот мал, — говорил Зубарев, — нетто это оборот? Вот у моего хозяина в Москве, вот это было дело. А тут мараться не из-за чего. Охоты работать нету никакой. Тут бы трест запустить. Вообще оживить надо.

И когда Зубарев начал оживлять, то оживлял он в одном месте, а результаты сказывались в другом.

Проходившие через неделю после этого мимо лавки Фомичева мужики разинули рты от удивления: лавка была полна товара. А сам Фомичев сидел на табуретке около порога и поглядывал по сторонам.

— Аи, опять воскрес?! — восклицали проходившие.

— Извиняюсь, опять.

— Как же это ты?!

— Помощью божиею и нашего начальства.

— Откуда же товару столько взял? Из города?

— Нет, в городе дюже дорого, нам не по карману. В своем кооперативе по операциям пустили для оживления обороту.

— А почем торгуешь?

— На пять процентов дешевле, чем у них.

— Как так? Себе в убыток?

— Нет, убытку нету. У них очень накладные расходы велики и опять же операции эти. Они за зонтиками-то в Москву нарочного посылали, а мне к ним только через дорогу перейти. Вот окрепну, тогда оптом у них и закуплю все. Всего-то мне, пожалуй, и не купить, зонтики-то пушай при них остаются, нешто только в бесплатное приложение пустят, а вот насчет бы керосину и мануфактуры.



— Как дела идут? — спрашивали у Зубарева.

— Дела — ничего. Совсем с пустяковым дефицитом месяц кончаю.

— Как с дефицитом? Ведь товар-то продал весь?

— Весь дочиста. У меня не залежится. Только зонтики и задержались.

— Так где ж прибыль-то?

— Прибыли и не должно быть. Я на показательное веду, — отвечал Зубарев.

— Что на показательное?

— Да вот, чтобы другие пример брали, — отвечал Зубарев. — А что дефицит, так нешто без субсидии можно! Вот отпусти мне казна тысяч пятьдесят, вот я бы разделал! А то нешто можно с такими накладными расходами и без субсидии.

А через день он уже кричал на собрании:

— Граждане, поспешите с дополнительными взносами на предмет покрытия дефицита.

— О, чтоб тебя черти взяли!.. Ревизию надо! Взносы делаем, а керосину другую неделю нету.

— А, черти, об ревизии заговорили! — сказал тогда Зубарев, пряча в карман щеточку с зеркальцем. — Я вам покажу ревизию. Не сумели оценить человека, а! Я бы вам горизонты открыл, а вы, сиволапые, только об керосине думаете. Что вам дался этот керосин! Хамы! Керосин да керосин, прямо работать противно. И... подите к черту! Оборвали крылья, с самого начала оборвали! Все ночи не спал, думал горизонты открыть, а вы... Что ж, вам лучше Афонька-то был? Он об деле на грош не думал, только гармошки свои чинил. Или Кубанов?.. Он одной антирелигиозной пропагандой вам все кишки наизнанку выворачивал. А я молчу. Нешто я не вижу, что вы все в церковь ходите, и опять же иконы у вас висят? Ведь ничего не говорю. Как будто и не мое дело. А дело возьми! Где такие окна найдешь? В губернском городе, болван, — больше нигде. А я вам в деревенской лавке устроил. Цилиндр вам, ослам, выписал. Вы небось его сроду не видали. Так бы и подошли, не видамши.

В лавку вошел обтерханный мужичонка, с кнутовищем в руках, утер нос, осмотрел и сказал:

— Керосинцу так-то не будет?

Зубарев только молча плюнул и ничего сначала не ответил. Потом ткнул пальцем в дверь и сказал:

— Напротив керосин... через дорогу. А ревизией меня, брат, не запугаешь. Ежели вы самое святое у человека не могли оценить, тогда мне на все наплевать. Вам деньги дороже человека. Ну и черт с вами. Когда ревизия?

— На будущей неделе в среду.

В среду должна была состояться ревизия, а в понедельник сгорел кооператив.

— Туда ему и дорога, — сказали мужики, — развязал руки. Это у кого деньги жировые, тем можно с жиру беситься — кооперацию устраивать.

— Да, видно, не ко двору. В чем, братец ты мой, тут дело?

— Явление непонятное на все сто процентов.



дин из пионерских отрядов

захолустного городка был взволнован неприятным открытием: пионер Андрей Чугунов был замечен в систематическом развращении пионерки Марии Голубевой.

Было наряжено следствие, чтобы изобличить виновного и очистить пионерскую среду от вредных элементов, так как нарекания на молодежь приняли упорный и постоянный характер со стороны обывателей.

Говорили о том, что молодежь совсем сбилась с пути и потеряла всякие мерки для определения добра и зла. И конечно, в первую очередь объясняли тем, что «бога забыли», «без религии живут».

Что касается бога, то тут возражать нечего, а что касается некоторых лиц, подобных Андрею Чугунову, решено было на общем собрании принять самые строгие меры. Если попала в стадо паршивая овца, она все стадо перепортит.

Устроен был негласный надзор и слежка за ничем не подозревавшим Чугуновым.

Преступление еще более усугублялось тем, что Мария Голубева была крестьянка (жила в слободе, в версте от города). Какого же мнения будут крестьяне о пионерах?

Выяснилось, что он часто гулял с ней в городском саду, потом иногда провожал ее до дома поздним вечером.

Слежку за ним решено было начать с четверга вечером, когда в клубе позднее всего кончались занятия и можно было вернее предположить, что он пойдет ее провожать.

В этот вечер весь отряд нервничал. Все были настроены тревожно, подозрительно, и глаза всех невольно следили за Чугуновым.

Он был парень лет пятнадцати, носивший всегда куртку внакидку. Волосы у него были необыкновенно жесткие и сухие и всегда торчали в разные стороны. Он их то и дело зализывал вверх карманной щеточкой. Лицо у него было бледное, прыщеватое. Он всегда ходил отдельно от всех, около забора на школьном дворе, и на ходу зубрил уроки. В его наружности, казалось, не было ничего, что могло бы заставить предположить возможность такого преступления.

А Мария Голубева производила еще более невинное впечатление: она была тихая, задумчивая девушка, едва переступившая порог шестнадцатой весны. С красненькой ленточкой в волосах, с красным платочком на шее. У нее была привычка: вместо того, чтобы расчесывать волосы гребенкой, она мотала головой в разные стороны, отчего ее стриженные волосы рассыпались, как от вихря, а потом она просто закладывала в них круглую гребенку.

Ее почти никто не осуждал, так как видели в ней несознательную жертву. На нее только смотрели с некоторым любопытством и состраданием, когда она проходила мимо.

Все негодование сосредоточилось на Чугунове.

В четверг, после окончания занятий в клубе, отряженные для слежки два пионера делали вид, что никак не найдут своих шапок, чтобы дожждаться, когда выйдут Чугунов и Голубева. И всем хотелось видеть, что будет. Поэтому в раздевальне была толкотня. Шли негромкие, осторожные разговоры. И все посматривали на коридор. Вдруг кто-то подал знак, что идут, и все, дав друг на друга, выбежали на улицу.

В приоткрытую дверь было видно, что делалось в раздевальне.

Все столпились около двери и жадно следили.

— Товарищи, идите домой — двум товарищам поручено, они проследят и донесут, а вам тут нечего делать, — сказал вожатый.

Но все нервничали, волновались, и никто не двинулся с места. Потом вдруг бросились врассыпную и спрятались за угол: показался Андрей Чугунов с Марией.

Они не разошлись в разные стороны, как бы следовало им, жившим в противоположном друг другу направ-

лении, а пошли вместе в сторону окраины города. Ясно было, что Андрей отправился с ней до ее деревни.

Потом все увидели в полумраке вечера, как Андрей перешел по жердочкам через ручей и подал Марии руку. Она перешла, опираясь на его руку.

Два следователя запахнули от ветра куртки и осторожно шмыгнули вслед за ушедшими.

Оставшиеся чувствовали себя взволнованными всей таинственной обстановкой и тем, что Андрей идет сейчас, ничего не подозревая, а между тем за ним неотступно будут следовать две тени.

В этот вечер все долго не ложились спать, так как ждали возвращения следователей, чтобы узнать от них о результатах.

Мальчики и девочки долго сидели в столовой вокруг стола, с которого убрали посуду, и говорили тихими голосами, всякий раз замолкая, когда мимо проходил руководитель.

Его они не захотели мешать в это дело, пока не выяснится полностью вся картина.

В одиннадцать часов ребята вернулись. Все бросились к ним и начали расспрашивать, что оказалось, подтвердились ли обвинения? Те принялись жадно за еду на уголке стола и хранили глухое молчание. Они заявили, что до суда не скажут ни слова.

— Будет дурака-то валять! — сказал кто-то.

— Нет, товарищи, они правы; они, как поставленные официально, не могут удовлетворять простое любопытство, — сказал Николай Копшуков, один из старших в отряде.

Ребята замолчали и, стоя в кружок около ужинавших, молча смотрели на их лохматые макушки и жадно жующие рты, набиваемые гречневой кашей.

Все с еще большим нетерпением ждали теперь суда, который назначили на третий день после слежки, в воскресенье.

II

В общежитии с утра был такой вид, какой бывает в улье, когда выломают мед. Все как-то возбужденно, без всякой видимой цели сновали взад и вперед.

Дежурные принесли чаю и булок. Все наскоро напились чаю и побежали в верхнюю спальню, оттуда — в зал, где был назначен суд.

Десятки глаз провожали Чугунова, когда он шел в зал по вызову вожатого, все еще ничего не подозревая.

Президиум суда сел за выдвинутый на середину зала стол.

Ребята сели на окна и на лавки. В зал вошла беременная кошка, которую звали почему-то Мишкой, и стала тереться о ноги.

— Пионер Чугунов! — сказал председатель суда. Он при этом встал и, взлохматив вихор, покраснел, так как сидевший справа от него товарищ дернул его за рукав, чтобы он не вставал, а говорил сидя.

— Пионер Андрей Чугунов обвиняется товарищами в систематическом развращении своего товарища по отряду — Марии Голубевой.

— В чем дело? — сказал, поднявшись с лавки, Чугунов и, оглянувшись кругом, пожал плечами, как бы спрашивая всех — в здравом ли уме и твердой памяти заседающие за столом типы?

— Ты после дашь свои объяснения, — остановил Чугунова председатель. — Товарищи! — сказал он, повысив голос и взглядывая в сторону окон, откуда слышались негромкие голоса переговаривавшихся ребят. — Прошу внимания. Да прогоните к черту эту кошку! Товарищи, в переживаемый момент, когда молодежь обвиняют в распушенности и в том, что недостойно пионеров, мы особенно должны высоко держать знамя. А такие элементы, которые дискредитируют, должны особенно преследоваться и изгоняться из отрядов.

Чугунов сидел в накинутой на плечи куртке и пожимал плечами, как бы говоря, что все это хорошо, но какое к нему-то имеет отношение?

— Замечания некоторых товарищей вынудили нас устроить расследование дела, и полученный материал вполне подтверждает прежние заявления отдельных товарищей. Теперь разрешите допросить товарища Андрея Чугунова.

Председатель погладил ладонью волосы, как бы соображая, какие задавать вопросы.

Но сосед справа опять что-то пошептал ему.

— Впрочем, нет, — сказал председатель, — я сначала прочту, что видели третьего дня два товарища, которым дано было поручение от отряда проследить поведение Чугунова. Вот оно:

«В одиннадцать часов, когда кончились клубные занятия, то все пошли одеваться, а мы как будто потеряли картузы и задержались, чтобы все видеть. Вышел Чугунов вместе с Марией, и, когда она стала одеваться, он держал ее сумку и мешок, который она должна была нести домой, так как в нем была мука из кооператива.

Потом он пошел вместе с ней налево от школы, через ручей, где подал ей руку и перевел через этот ручей по бревну, как барышню. Потом пошли вместе дальше. Нам нельзя было идти близко во избежание того, чтобы они не заметили нас. И потому нам мало было слышно, о чем они говорили. Но слышно было, что о стихах. Причем осталось неизвестным, о своих стихах он говорил или о стихах известных поэтов. А потом взял у нее мешок и стал нести вместо нее. Потом долго стояли на опушке, и что они делали, было не видно, так как очень темно. Потом она пошла одна, а он вернулся, оставив нас незамеченными в кустах опушки».

Вот. Картина вся, товарищи. Перед нами налицо поведение, недостойное пионера, как позорящее весь отряд.

— Признаешь? — обратился он к Чугунову.

— Что признаю?

— Что здесь прочтено. Все так и было?

— Так и было.

— Значит, и через ручей переводил, и мешок нес?

— И мешок нес.

— А стихи чьи читал?

— Это мое личное дело, — ответил, густо покраснев, Чугунов.

— Нет, не личное дело. Ты роняешь достоинство отряда. Ежели ты свои стихи писал и читал их не коллективу, а своей даме, то это, брат, не личное дело. Если

мы все начнем стихи писать да платочки поднимать (а ты и это делал), то у нас получится не отряд будущих солдат революции, а черт ее что. Это не личное дело, потому что ты портишь другого товарища. Мы должны иметь закаленных солдат и равноправных, а ты за ней мешки носишь, да за ручку через ручеек переводишь, да стихи читаешь. А это давно замечено — как пробегутся в отряд сынки лавочников...

— Я не сын лавочника, мой отец слесарем на заводе! — крикнул, покраснев от позорного поклепа, Чугунов.

Но председатель полохматил волосы, посмотрел на него и сказал:

— Тем позорнее, товарищ Чугунов, тебя это никак не оправдывает, а совсем напротив того. Сын честного слесаря, а ухаживает за пионеркой. Если она тебе нужна была для физического сношения, ты мог честно, по-товарищески заявить ей об этом, а не развращать подниманием платочков и мешки вместо нее не носить. Нам нужны женщины, которые идут с нами в ногу. А если ей через ручеек провожатого нужно, то это, брат, нам не подходит.

— Она мне вовсе не нужна была для физического сношения, — сказал Чугунов, густо покраснев, — и я не позволю оскорблять...

— А для чего же тогда? — спросил, прищурившись, сосед председателя с правой стороны, тот самый, который вначале дернул председателя за рукав. — Для чего же тогда?

— Для чего?.. Я почем знаю, для чего... Вообще. Я с ней разговаривал.

— А для этого надо прятаться от всех?

— Я не прятался вовсе, а хотел с ней один быть.

— Один ты с ней мог быть для сношения. Это твое личное дело, потому что ты ее не отрываешь от коллектива, а так ты в ней воспитываешь целое направление.

— А если она мне свое горе рассказала?.. — сказал, опять покраснев, Чугунов.

— А ты что — поп?

— Я не поп. А она мне рассказала, а я ее пожалел, вот мы с тех пор и...



— Настоящая пионерка не должна ни перед кем нюнить, а если горе серьезное, то должна рассказать отряду, а не отделяться на парочки. Тогда отряды нечего устраивать, а веди всех к попу и ладно, — сказал председатель.

Сзади засмеялись.

— Вообще, картина ясна, товарищи. Предъявленное обвинение остается во всей силе неопровергнутым. Товарищ Чугунов говорит на разных языках, и поэтому нам с ним не понять друг друга. И тем больнее это, товарищи, что он такой же, как и мы, сын рабочего, а является разлагающим элементом, а не бойцом и примерным членом коллектива.

Ставлю на голосование четыре вопроса...

— Эй, ты, Мишка, пошла отсюда — посторонним воспрещается, — послышался приглушенный голос с окна.

...1. Доказано ли предъявленное обвинение в систематическом развращении пионером 11-го отряда Чугуновым пионерки Марии Голубевой?

2. Следует ли его исключить из списка пионеров?

3. Признать ли виновной также и Марию и

4. Следует ли также исключить и ее?

Голоса разделились. Большинство кричало, что если это дело так оставить, то разврат пустит глубокие корни, и вместо твердых солдат революции образуются парочки, которые будут рисовать друг другу голубков и исповедоваться в нежных чувствах. На черта они нужны. Такая любовь есть то же, что религия, т. е. дурман, расслабляющий мозги и революционную волю.

Любовью пусть занимаются и стихи пишут наэпманские сынки, а с нас довольно здоровой потребности, для удовлетворения которой мы не пойдем к проституткам, потому что у нас есть товарищи.

Меньшинство же возражало, что так совсем искоренятся человеческие чувства, что у нас есть душа, которая требует...

Тут поднялся крик и насмешливые вопли:

— До души договорились! Вот это здорово! Ай да молодцы! Мишка, а у тебя душа есть?

— У них душа стихов требует! — слышался насмешливый голос.

— Хулиганы!..

— Лучше хулиганом быть, чем любовь разводить.

— Товарищи, прекратите! — кричал председатель, махая рукой в ту сторону, где больше кричали, потом, нагнувшись к соседу с правой стороны, который ему что-то говорил вполголоса, он сказал: — Проголосуем организованным порядком. Артем, вышвырни кошку. И закройте дверь совсем, не пускайте эту стерву сюда.

При голосовании первого вопроса о виновности в систематическом развращении факт доказанности вины признан большинством голосов.

При голосовании об исключении некоторое незначительное меньшинство было за оставление. По постановлению большинства — исключен.

При голосовании о виновности Марии факт виновности признан большинством голосов.

По четвертому пункту большинство стояло за оставление, но с условием строгого внушения держать знамя пионера незапятнанным.

Чутунов молча снял свой красный галстук, положил его на стол и пошел из зала в своей накинута на плечи куртке. Человек десять пионеров сорвались с места и, крича по адресу оставшихся: «Хулиганы! Обормоты!» — пошли вон из зала за Чутуновым.

Председатель взял красный галстук, свернул его, бросил в корзину для сора.

И сказал: «Ушли, ну и черт с вами».

## Честный человек



битатели окраинного района,

Мышиной Слободки, впали в отчаяние от невозможности найти хорошего, дельного и честного заведующего.

Одного за другим сменили несколько заведующих кооперативом.

У одного в магазине постоянно была такая заваль, как будто ее несколько лет перед этим выдерживали, прежде чем пустить в оборот. Кофе в жестяных коробках, когда его открывали и нюхали, ничем не пахнул, только чихали от него, и вкуса, кроме неопределенной горечи, никакого не имел. А бумага на коробке была пожелтевшая и вся засиженная мухами.

— Откуда у вас мух-то такая пропасть? — спрашивали покупатели.

— Это в прошедшем году много было, лето жаркое очень стояло, — отвечал заведующий.

— А почему так дорого берете?

— За полежалое приходится брать. Что ж он, даром целый год лежать должен? — говорил заведующий. — Это тогда в два счета прогоришь. Ведь мне вот присылают товар, а вы не берете его, значит, я должен на другом нагонять.

— Год пролежал — дорог стал, а еще лет пять пролежит, к нему приступа никакого не будет, — говорили покупатели.

Следующий заведующий — Кладухин — оказался пьяницей, хвастунишкой и растратчиком. Через месяц ревизия обнаружила недостачу в пятьсот руб.

— Ну нету честных людей, хоть ты что хочешь делай. Куда деньги дел?

— А черт их знает.

— Где ты их держал?

— Да вот в этой жестяной чайнице. Где ж держать-то? Что у меня, банк, что ли? А то иной раз в кармане носил. Свои в правом, казенные — в левом.

— А попойки на чьи деньги устраивал?

— На свои.

— Откуда же у тебя столько денег? Свидетели показывают, что видели, как ты в пивной пачкой червонцев размахивал.

— Мало ли что размахивал... Это я из левого кармана взял. Что ж я, на вас работаю-работаю, и казенными деньгами помахать нельзя?

— Вот ты помахал, а их нету.

— Ну, еще наберутся... важность какая! А ежели вы меня уволите, то все равно новому заведующему не жить... Я ему такую штуку подведу, что не обрадуется. Я такой человек: раз меня обидели, то на нож полезу. Я против всякого могу улику подвести.

— Против честного человека не подведешь.

Тогда решили идти на поклон к обойщику, Ивану Трофимычу Щукину, славившемуся своей честностью.

Этот человек всегда ходил в худенькой поддевочке, был молчалив, честен, правдив и всегда порученное ему дело выполнял добросовестно.

И когда выслушивал заказчика, то поглаживал свою редкую бородку и смотрел задумчиво вниз. И только когда заказчик кончал говорить, он поднимал голову и, кивнув ею, коротко говорил:

— Хорошо, будьте покойны, — потрафим.

Когда к нему пришли и сказали о том, что его просят быть заведующим, он погладил бородку, посмотрел в пол, потом ответил:

— А как, ежели Кладухин мстить начнет? Наговаривать на меня?

— Да что там об Кладухине толкуешь?! Кто ему поверит-то? Сравнил тоже — себя и Кладухина... Мы ему и рта-то не дадим раскрыть, честного человека позорить.

— А я, главное, из-за того... С делом-то я справлюсь.

— Ну вот, значит, и кончено дело. Ведь ты у нас праведник, можно сказать.

И новый заведующий приступил к работе. Мыши-

ная Слободка вздохнула полной грудью: каждый месяц налицо была полная отчетность, всегда свежий товар и дешевле, чем в частных. А кроме того, человек приятный, разговорчивый. Ни одного покупателя не отпустит без того, чтобы не поговорить.

«Вот что значит честный человек», — говорили все. Правление ему к Ильину дню адрес готовит и подарок.

А Кладухин через неделю после назначения появился вдруг на площади перед кооперативом, стал к нему лицом и, погрозив кулаком, крикнул:

— Не жить!!!

На него посмотрели и только посмеялись.

Потом один раз на собрании, которое было в народном доме, где были все члены правления и пайщики, Кладухин появился на одну минуту и крикнул:

— Поздравляю! Выбрали заведующего! Вы еще ничего не знаете?..

Взмахнул шапкой и скрылся. Все беспокойно оглянулись.

Сам заведующий был тут. Он покраснел своей загорелой шеей и сказал:

— Ну, вот видите... Вот травлю и начал.

Тут все заговорили наперебой:

— Собака лает, ветер носит.

— Будь покоен и делай свое дело.

— Я к тому говорю, что вот ремесло-то свое бросил, заказчики к другим перейдут, а я без хлеба останусь.

— Об этом деле нечего толковать, раз сказано — кончено дело, спи спокойно. Адрес тебе к Ильину дню готовят, а ты про хлеб.

На другой день на улице появился опять Кладухин и, похлопав себя по карманам, крикнул:

— Вот они, документики-то, все тут.

Проходившие по улице остановились.

— Какие документики? Ты про кого это?

— Про заведующего про вашего. Насчет благонадежности и всего прочего.

— Поди-ка ты, братец, к черту!

— Я-то пойду, а вот вы-то где очутитесь, это еще неизвестно. Всех переписут, кто около него трется. Так-то, голубчики.

И Кладухин, посвистывая, пошел какой-то наглой, хулиганской походкой — руки в карманы и картуз на затылке — дальше.

— В чем дело? — спросили собравшихся проходившие члены правления.

— Да вот, болтают, что будто обнаружили какие-то «документики» против Щукина.

— Кто это брешет?

— Кладухин болтает все...

— Ах, сволочь поганая, до чего надоел!

Обыкновенно Щукин, когда не было покупателей, выходил посидеть на солнышке перед лавкой. И к нему всегда собирались человека три-четыре поболтать.

Месяца через два после его назначения, как-то в воскресный день Щукин тоже вышел посидеть на лавочке. Просидел целый день — никто не подошел. И когда он сам останавливал кого-нибудь из проходивших, тот, как-то виновато улыбнувшись, кричал:

— Некогда, жена родила. Бегу к повитухе.

Каждый думал так: «Конечно, человек честный, а все-таки лучше в сторонке подождать, чем это кончится. А то еще, чего доброго, сам попадешь. Скажут, что часто очень беседовал».

Если кто приходил в лавку, то тоже торопился и все оглядывался на дверь, точно боялся, не примечает ли кто-нибудь за ним.

— Ну что, дальше ничего не выяснилось? — спрашивал, встретившись на углу, один гражданин другого.

— Насчет документов-то? Ничего.

— Брехня, значит?

— Конечно, брехня.

— Ах, сукины дети, только найдешь хорошего человека, все тебе дело поставит, отчетность вся налицо, — так и начинают подкапываться да сживать. А там все дело опять развалят, — говорили члены правления.

— И сживут. А ежели ты на дороге попался, и ты туда же полетишь.

— Очень просто.

— А что улики-то какие-нибудь есть налицо?

— Улик никаких. Это-то и плохо. Кабы улики были, тогда бы мы еще посмотрели, что за улики такие. А тут, черт ее знает, может быть там, такое поведение, что десять человек за ним зашумят. Ведь уж за каждым какой-нибудь грешок да есть. Хоть себя возьми.

— Верно, верно.

Через неделю Шукина вызвали в правление. Члены правления были чем-то смущены и не знали, очевидно, как приступить к разговору.

— Вот что, голубчик... В профсоюзе ты состоишь?

— А как же...

— Ну так вот, пойди, милый, в свой профсоюз и возьми там бумажку, что... ну, что-нибудь вроде того, что ты человек честный и они, в некотором роде, как бы ручаются за тебя.

— Это зачем же нужно-то?

— А так, на всякий случай... Этот вот Кладухин распускает про тебя всякие слухи: оно, конечно, ему и не верит никто, а нам лучше, чтобы у тебя бумажка была.

Профсоюз, возмущенный сплетней, с восторгом выдал Шукину все, что требовалось.

Через два дня Шукин пришел в правление и сказал, что ему работать и жить не стало возможности. Все на него с какой-то опаской смотрят, переглядываются.

— В чем дело? Ежели я виноват — судите.

— Что ты, голубчик! В чем ты виноват?!

— А раз не виноват, то оградите. А то я в Центральный захожу как-то, а на меня там не смотрят, ровно я жулик, подойти боятся.

Шукин ушел. А члены правления задумались.

— Работает, сволочь, Кладухин-то, — сказал один.

— Да... до Центрального дошло. Как громыхнут оттуда, вот тогда этот черт свои документики-то и обнаружит. Небось подделал, сволочь...

— Это недолго...

— Может, уж он их там показывал...

— Черт его знает!.. Главное дело, не знаешь, есть они или нет. Идешь втемную. Конечно, честного человека надо бы отстоять... а когда не знаешь, против чего идешь, как тут будешь отстаивать?..

На Ильин день Щукина позвали в правление.

«Они бы не адреса подносили, а сделали, чтобы работать не мешали», — подумал Щукин.

— Вот что, милый, должны мы тебе сказать, что ни одного такого заведующего, как ты, у нас не было: честность, исполнительность, энергия — вообще все. И профорганизации подтверждают это, но оставаться тебе здесь неудобно, то есть держать нам тебя неудобно. Слухи так разрослись, что просто только и разговору везде что про тебя.

— В чем же я обвиняюсь?

— Как «в чем»? Да ни в чем. Что ты, бог с тобой! Просто неудобно. Могут сказать: «Про него вот что говорят, а вы его держите»...

Мышиная Слободка как громом была поражена известием, что заведующий Щукин уволен.

— Слава тебе господи, — сказали все. — Может, он и не виноват ни в чем, а все-таки подальше от греха не мешает. Все думается... И в лавку-то боишься ходить: пристаёт со своими разговорами, а там, глядишь, запишут...

— Вот ремесло-то свое бросил, чем кормиться будет? А на другую службу теперь никуда не возьмут.

— Кто ж после такой истории возьмет...

— Да, жалко, человек-то уж очень честный был!



# Легкая служба

**К** заведующему государственным

ювелирным магазином зашел приятель.

— Степановна, дай-ка нам чайку, — сказал заведующий и, очистив место для чая за столом, пригласил приятеля присесть.

— Что, ай мало работы? — спросил приятель, ища, куда положить шапку.

— Малость.

— Так что, служба не тяжелая?

— Служба, можно сказать, приятная, — сказал заведующий. — Только и вздохнул, когда в государственный магазин перешел. А вот когда молодым еще у Мозера работал, так не дай бог.

— Известно дело — хозяйчики, умели соки из нашего брата выжимать.

— Да... уж это что там... Бывало, весь день смотришь в оба глаза да еще ночью проснешься, весь потом обольешься, вдруг вспомнишь, что отпустил часы с непроверенным ходом или, скажем, какую-нибудь вещьцу с браком. А теперь принесут обратно часы негодные — я-то при чем, такие мне присланы, магазин казенный. Вон идет какая-то мадам, она вчера у меня часы покупала — наверное, обратно несет.

В магазин вошла дама в котиковой шубе и сказала, подавая заведующему коробочку с часами:

— Какие же вы часы отпустили, они в день на полчаса отстают!

Заведующий, не вставая, посмотрел на посетительницу и сказал:

— Что ж делать... Охотно верю, гражданка, я не могу за них отвечать — магазин не мой, а государственный: что мне присылают, то я и продаю. Оставьте, проверим. Фокстрот танцуете?

— При чем тут фокстрот? — сказала, испуганно покраснев, дама.

— При том, что трясете их очень, а часы еще новые, не обошлись. Оставьте, проверим.

— А когда можно будет прийти?

Заведующий, прищутив глаз, посмотрел в окно, подумал и сказал:

— Приходите через неделю.

— Только, пожалуйста, чтобы были как следует.

— Так будет, что лучше и быть не может, — сказал заведующий, галантно поклонившись.

Дама ушла, а он посмотрел на часы, покачал, усмехнувшись, головой и сказал:

— Если бы это у Мозера она так пришла, что бы тут было! Вот бы пыль-то поднялась! От такой штуки десять ночей бы не спал, да глядишь, со службы еще турнули бы: как так, у М о з е р а часы на полчаса в сутки отстают! А теперь ко мне в день по пяти человек таким манером ходят. Ну, конечно, повежливей скажешь, что отдам на проверку, она уж и рада. А вот тебе вся и проверка, — сказал заведующий, отправляя часы в свой ящик. — А вот еще одна идет.

В дверях показалась какая-то женщина в беличьей шубе и застряла в дверях, зацепившись за ручку двери своими покупками.

— Что же, вы мне часы исправили, а они опять вперед бегут?

— Не может быть, гражданка, целую неделю выверяли. Вы, может быть, их стукнули обо что-нибудь?

— Обо что же я их стукнула?

— Ну мало ли обо что стукнуть можно... — сказал заведующий, хитро улыбаясь, — позвольте-ка мне часики.

Он мягко взял своей сухой рукой золотые часы и открыл крышку.

— Признайтесь, что стукнули.

— Да уверяю вас — нет. Может быть, как-нибудь слегка, я не знаю...

— Ну, вот видите, слегка, а для таких часов и слегка вполне достаточно. И какие вы беспокойные... Ну, что такого, что бегут?

— Как же «что такое», когда их на пятнадцать минут каждый день приходится назад переводить — прямо никакой возможности нет.

— А вы сразу их на сутки назад поставьте, вот вам на целых два месяца хватит. Оставьте на две недели.

— Послушайте, ведь я уж на две недели их оставляла.

— Ах, на две уж оставляли?.. Тогда — на три, — сказал заведующий.

— Но нельзя ли скорее?

— Мадам, — сказал заведующий, — если бы был частный магазин, где к делу относятся спустя рукава, то я сказал бы вам на другой день приходить, а это магазин государственный, где все делается как следует.

— Ну, хорошо, только, пожалуйста, как следует сделайте.

— В лучшем виде будет, — сказал заведующий. И когда дама ушла, он, опуская часы в тот же ящик, куда опустил и первые, сказал:

— Отправлены на проверку.

— А покупателей-то много?

— Нет, теперь много меньше стало. Теперь больше покупают подержанные. Новых что-то бояться стали. По делу магазин можно бы на два часа открывать, вполне было бы достаточно.

— А не опасаясь, что магазин закроют?

— Ну, что же, меня в другой переведут, если я себя честным работником зарекомендовал. А за мной ни одного проступка не числится: на службу прихожу аккуратно, растрат у меня ни разу не было, с покупателями обращение деликатное, сам видал. Чего еще? Ежели бы меня сейчас опять к Мозеру посадили, я бы там через месяц чахотку схватил, ей-богу.

— Не дай бог, — сказал приятель. — Эти умели сок выжимать.

— Степановна, дай-ка еще чайку нам. Да, вот какие дела-то.

В магазин вошел какой-то человек с портфелем.

— Часы готовы? — спросил он торопливо.

— Готовы давно, пожалуйста, — сказал заведующий, — вчера еще из мастерской пришли — разрешили, я только проверю. Они что, отстаивали у вас?

— Да, немного.

— Так... ну, теперь не будут отставать, — сказал заведующий, что-то покопавшись в механизме.

И, когда покупатель ушел, он прибавил:

— Точные люди какие, подумаешь, немного отстают, а он уж тащит их. Это, если бы все их в мастерскую отправлять, от них житья бы не было. Ну, ежели уж совсем не ходят, тогда другое дело.

— Теперь городских часов много, — сказал приятель, — захотел узнать время, возьми да поворачи рыло: на каждой площади часы. А у меня так и вовсе перед окном.

Приятель посидели еще с час.

— Да, — сказал приятель, — вот небось завтра этот гражданин проснется, посмотрит на часы, а они, глядишь, махнут минут на двадцать. А тебе горя мало. В крайнем случае скажешь, что, мол, общая разруха, вследствие блокады частей не хватает.

— Да, — заметил гость задумчиво. — Я вот про свое книжное дело скажу: послал в Ленинград печатать книгу, так мне ее там четыре месяца держали, сам ездил, две банки чернил на телеграммы исписал. Ведь за такую штуку прежде бы неустойку какую содрали, а теперь никак его не укусишь, только и слышишь: через неделю получите. А наемдни приезжаю, говорят уже — через две. И так во всем.

— Да, — сказал заведующий, потом посмотрел в окно и прибавил: — Вот опять еще один идет. Э, черт их возьми, надоедают с этой проверкой — надо теперь на месяц оставлять.



коло трехэтажного дома, среди

наваленных досок и бревен, сидели рабочие, готовясь приступить к ремонту.

— Тут до самого верху придется подмости ставить, работы над ним пропасть, — сказал один в толстой куртке и шапке, посмотрев наверх.

— Да, работы немало, меньше двух месяцев и не сделаешь.

К ним, запыхавшись, подошел десятник и сказал:

— Ребята, а ведь дом-то, говорят, на слом пойдет...

— Как на слом?

— Да так. Два ведомства из-за него спорят. По одному должен ремонт быть, а по другому — его к черту надо, потому их план нарушает.

— А кого же слушать-то?

— Пока неизвестно. Сейчас борьба из-за этого идет. Наше ведомство говорит, что будет ремонтировать, потому у него все права на этот дом.

— А что ж они раньше-то сидели, ежели у них права? Схватились спорить, когда уж договор заключили и материалы закупили.

— Да они раньше и не знали про него, а как увидели, что собираются что-то орудовать над ним, так сейчас покопались в бумагах и сообразили, что имеют полное право предъявить свои права на него.

— Ах, головушка горькая, ну, видно, начинай, ребята!

К сидевшим поспешно подошел архитектор.

— Что ж вы сидите, полдня уж прошло, а у вас и не начато ничего, — сказал он, — по условию дом должны отремонтировать в два месяца.

— Да что же его ремонтировать, когда он, говорят, на слом пойдет? — сказали рабочие.

— Это еще неизвестно. Заседания коллегии не было. А мы обязаны к своему сроку сделать.

— За нами дело не станет. Ну-ка, Сидор, поддавай!

— Вот так работаем! — говорил через неделю десятник архитектуру. — Неделя только одна прошла, а мы уж весь верх отделали.

— Да, — сказал другой, в старой ватной жилетке без пиджака, — вон мы работаем, а там, глядишь, его судьба уже решена, дома-то нашего. А вдруг они опоздают, мы его отремонтировать успеем, пока они решать будут.

— Сломать никогда не поздно, — ответил рабочий в рукавицах. — Мы ремонтируем, а ломать другие будут.

— Ребята, ребята, поторапливайтесь, а то строительный сезон кончится, а вы будете по подмостям тут лазить! — крикнул снизу человек в фуражке с зеленым кантом. — Завитушечки-то эти получше сделай, чтобы нашу работу знали!

— В лучшем виде будет.

— Иван Семеныч, а ведь здорово работаем-то, ни одного дня не прогуляли! — крикнул сверху малый в обмотках.

— Весело глядеть, когда работа хорошо идет.

— Когда ломать будем, еще веселей глядеть будет, — сказал рабочий в рукавицах. — Уж третий дом вот так-то строим. Прошлый раз до второго этажа ремонт довели, а там опять другое ведомство вмешалось, сызнова начали, по другому плану дело ударилось.

— Что они, разных хозяев, что ли, ведомства-то эти? — спросил малый в обмотках.

— Известное дело — разных. Скажем, есть пути сообщения, есть народное хозяйство. У каждого — своя линия. Вот и орудуют.

— Ломали бы без ремонта, дешевле бы обошлось.

— Государству-то, конечно, дешевле прямо его сломать. Да ведь и то сказать — у каждого ведомства самолюбие есть. Раз оно имеет на него право, значит, и ремонтирует.

— А права потеряют — его сломают?

— Что ж сделаешь-то, и сломаешь. Ведь по закону ломать-то будут, а не зря. Вот в коллегии выяснят, кому им распоряжаться, тогда и обнаружится.

— Ребята, ради бога, завитушки получше делайте! — крикнул снизу человек с зелеными кантами.

— Да что вы об завитушках толкуете, будут вам завитушки в лучшем виде.

— Эй, черти, что ж гнилых досок-то таких напихали! — крикнул человек с зелеными кантами. — Прокофьев, поди-ка, брат, сюда. Ты что же это делаешь?

— Что делаю, все равно ему не жить. Что ж зря хороший материал-то гнать.

— Не жить... а если жить? Коллегия-то ведь еще не собралась. Что же тогда? Твоих полов на два года не хватит.

— В два года-то его десять раз сломать успеют. Нешто ведомств-то мало. На одном проскочил, на другое наткнется. Тут с самого начала бы надо какое-нибудь дерьмо ставить, тогда бы на одном материале сколько выгадали. Я вон за балки вчетверо дешевле заплатил. А ежели его ломать будут, что ж в них, разбираться будут, какие я балки поставил? А там, говорят, дело совсем плохо: наши проиграют.

— Ну, тогда вали. И правда, жалко хороший материал-то гнать.

— Вот то-то и дело-то. Вон еще досок привезли, уж из них сейчас труха сыплется, а куда они за милое пойдут. Нам же еще благодарны будут, что сэкономили.

Через месяц, когда уже были сняты леса, рабочие с утра толпились перед домом, заглядывали внутрь и, задрав бороды кверху, что-то смотрели, покачивали головами и толковали. В это время к ним, запыхавшись, подбежал человек с зелеными кантами и крикнул:

— Ребята, победа! Дом за нашим ведомством оставлен.

— Оставлен-то оставлен, да у него потолки загудели, — сказали рабочие.

— Как загудели?

— Да так. Доски-то гнилые ведь ставили, все насквозь и угнули.

— Ах ты, черт, не угадали!..

— Нешто угадаешь... А и то сказать: убытку все равно никакого: ежели бы он к ним перешел, то ломать бы

пришлось — значит, расход. А ежели теперь за нашими остался, поставить настоящие доски, вот и разговор весь, еще дешевле обойдется: то цельный ремонт и цельная сломка, а то только цельный ремонт и еще половина ремонта. В результате — экономия.

1927





## Плацкарта

Так как время было предпраздничное,

то на вокзале у кассы стояла целая толпа народа.

Женщина в большом платке с растерянным лицом стояла у кассы и, беспокойно оглядываясь, говорила:

— Господи, что как не сядешь?..

— Теперь можете быть спокойны, вагоны плацкартные, у каждого свое определенное место, можете спокойно идти и садиться. Никакой давки, никакого беспокойства.

— Получайте билет! — крикнули из окошечка. Женщина испуганно встрепенулась, точно ей крикнули, чтобы она приготовилась к судебному допросу.

— Батюшка, а это что же — другая бумажка-то?

— Вот это и есть та самая плацкарта, — сказал ей человек в теплой куртке, — раз она у тебя, то никто твоего места отбить у тебя не может. И никакой очереди не нужно. Хоть по городу иди гулять до самого отхода поезда.

Женщина с сомнением посмотрела на зеленую бумажку.

— Ой, господи, кажись, опоздали! — крикнула пробежавшая куда-то другая женщина с корзинкой. — Только полчаса до отхода, ведь говорила, раньше надо ехать! — кричала она на поспевавшего за ней малого в сапогах.

— Да что ты беспокоишься, ведь билет у тебя есть, плацкарта — тоже.

— Мало что есть, — сказала женщина с корзинкой. — А там небось очередь уж в две версты.

Женщина, стоявшая у кассы, оглянувшись испуганно на пробежавшую, подхватила свой мешок и бросилась за ней.

— Что ты как полоумная носишься! — кричали на нее со всех сторон, когда она натыкалась на людей.

— Опоздать боюсь...

— Да еще полчаса до отхода. Помереть еще успеешь, а не то что сесть.

— Батюшки, куда это такая очередь? — крикнула женщина, подбежав к последнему, стоявшему в очереди.

— На выход, на киевский поезд.

— Господи! Что ж теперь делать?!

— Становись за мной.

— А ну-ка, очередь до меня не дойдет, родимый?

— Билет есть?

— Есть... И эта самая штучка есть.

— Ну, так чего же тебе еще больше надо?

— Господи, все боишься...

— Куда вы залезли? — кричали где-то в середине очереди.

— «Куда залез!».. Куда залез, туда и залез... Я тут уж два часа место занял. Я только на минутку в город сбежал, вот спросите у соседа...

— Сосед тут ни при чем... должна быть живая очередь. А раз вы пробегали, так и отправляйтесь в хвост. А то скажите, пожалуйста, тут, почесть, с утра стоишь, на двор не ходишь — терпишь, а он заявился в город жене гостинцев покупать.

— Правильно! — сказали в толпе. — Это я пришел бы с самого утра, стал около самой двери первым, а потом поехал на квартиру кофий с кумой пить и перед самым отходом заявился бы: «я тут стоял»...

— Да чего вы беспокоитесь, ведь поезд-то плацкартный, — сказал кто-то.

— «Плацкартный»... — повторил насмешливый голос. — Вот бы и сидел дома до самого отхода, а то зачем-то за целый час прискакал.

— Пласкартный-то он пласкартный, а ежели губы распускать будешь, то и с пласкартой с этой насидишься. Ведь на корзинке не уедешь.

Женщина в платке слушала разговоры, беспокойно оглядывалась и бледными губами беспокойно твердила:

— Не уедешь, ей-богу не уедешь. Где ж тут — такая очередь. А там окаянные все какие-то наперед проска-

кивают! Не пускайте без очереди. Вон рыжего-то этого ушастого отгоните, что он там трется.

— Да не все ли равно... Вперед того, что полагается, не уедет...

— Вам, конечно, все равно... стал вперед всех, беспокоиться нечего.

— Товарищ милиционер, скажите, чтобы очередь лучше соблюдали! — раздались голоса, когда в зал вокзала вошел милиционер.

— Какая же вам очередь, ведь поезд-то плацкартный, — сказал недовольно милиционер. — Чего вы выстроились?

— Прежде всегда в очередь становились, — сказал чей-то голос.

— Мозги-то у тебя работают или нет? — сказал милиционер. — Что же ты будешь в очереди стоять, когда все равно твоего места никто не захватит, раз у тебя плацкарта.

Все замолчали. А когда милиционер отошел, сразу голосов десять закричали:

— Что же вы расстроили очередь-то! Куда вы лезете! У нас тут живая очередь.

— Он гостинцы ходил покупать...

— Господи, и отчего ж это порядку нет! Ведь измучаешься, покуда доедешь! Часа два тут стою, все бока отмяли.

— И отомнут...

— Какой же тут порядок может быть: пошел этот милиционер, посмотрел, видит, что безобразие, а не очередь, и как будто не его дело.

— А тут стоишь, почесть, с самого утра.

— Нет, нету порядка, — сказал какой-то человек с плетеным кошельком за спиной. — Когда я в германском плену был, то-то любо было посмотреть: ни давки, ни спешки, ни тесноты. А у нас все не могут добиться порядка. Начальство наше ни к черту не годится. Пришел, посмотрел и ушел.

— Организация плохая, вот и не могут. Ведь это что творится! Тут и в дверь-то не проскочишь, а не то что...

— Да, вот вам и плацкарта.

— Какие поумней, те с самого утра очередь захватили.

Вдруг вся очередь вздрогнула. Все схватились за свои мешки и впились глазами в какого-то проходившего к выходной на платформу двери человека в железнодорожной форме.

— Нет, еще звонка не было, — сказал кто-то, переведя дух и успокоенно опуская на пол мешок. — Еще пять минут.

Все поглядывали на круглые, освещенные изнутри часы с таким запуганным видом, как будто ждали землетрясения.

— Матушка, отпирают! — раздался чей-то испуганный голос с таким выражением, как будто говорил: «Убивают, спасайтесь на платформу!»

Вся лавина пассажиров ринулась к выходу.

— Родненькие! Что ж это делается?!

— А тебя куда черт нес, сидела бы дома или на лошади бы ехала!

Над толпой стояли вопли, как будто все пошли врुकопашную. А стоявшие сзади бросили свои места и, подхватив под мышки свои корзины и мешки, неслись к месту свалки, как будто поспевая на выручку.

— Никакого порядка! Что за безобразие, вы мне всю полу оторвали! — кричал человек в меховой шубе, вырывая свою полу, которую, точно в какую-то машину, утянуло в дверь за толпой.

— Ну почему ж в Германии-то порядок, там ведь все поезда с плацкартами? — сказал человек, бывший в германском плену.

— Значит, там плацкарты какие-нибудь другие.

**В** пригородной слободе был праздник,

и народ толпился на улице.

Вдруг кто-то закричал:

— Глядите, что делается-то!

Все бросились к крайнему сараю и увидели, что на луту, около лесочка, с остервенением возятся два человека. Они то падали, то вскакивали на ноги и били друг друга, причем один кричал, а другой бил молча. Видимо, один нападал на другого.

— Что за притча? — сказал кто-то. — Кто бы это мог быть?

— Один, кажись, наш Андрон Евстигнеев как будто.

— Да, похоже. Он, он, так и есть. Его шапка. Вон сшиб и шапку, — крикнула молодка в розовой кофте.

— Подрались, знать, за что-то.

— Пойтить разнять, что ли?

— Сами справятся, что ж лезть-то, может, он его за дело учит.

— Ежели это Андрон, то должно за дело, он чтой-то вчера свеклу продавал, да, кажись, гнилой навалил.

— Во́т народ-то пошел, — сказала старушка в беленьком платочке, тоже смотревшая на дерущихся, — из-за свеклы грех на душу берет, да еще по горбу попало, а там, глядишь, морду раскровенит.

— Морду-то ничего, а вот как двух ребер недосчитаешься, это дело хуже. Погляди, пожалуйста, как лупит! — отозвался пожилой мужичок, присаживаясь на бревно и закуривая папироску.

— У нас в прошлом годе так-то подрались двое на кулачки, так у одного все передние зубы и вылетели, а у другого почки отбиты. Так до сих пор согнувшись и ходит. Семена Стрежного сын.

— Знаем, рыженький такой.

— А то иной раз без глаза остаются, тоже хорошего мало.

— Ребятишки уж полетели.

— Это им первое удовольствие.

— Ведь убьет мужика, посмотри, пожалуйста, к березе его прижал!

— А что ж, и убьет. Нешто долго до греха? Человек уж когда озверееет, так себя не помнит, — сказал пожилой мужик, сидевший на бревне, — в прошедшем году так-то у нас двое в Семеновке подрались; ну, их розняли, когда уж увидели, что у одного глаз выбит. Так он с выбитым глазом еще догонять бросился того, да в обиду потом на всех, что розняли их. Он бы, видишь ли, ему показал, как глаз выбивать. А сам же кричал, народ созывал, вот не хуже этого. Вишь, орет... словно поросенка режут.

— Кажись, это Андрон. Ну, значит, за дело учит.

Побежавшие на место происшествия ребятишки пробежали уже половину расстояния; один из них споткнулся на кочку и растянулся во весь рост, потом вскочил и опять побежал.

— Вот кто любит на драку-то смотреть, морду в кровь себе разобьет и уж добежит посмотреть!

— Сам, небось, сидишь, смотришь. А если б ноги были молодые, еще, глядишь, тоже побежал бы.

— Мне и отседова хорошо видно.

— Теперь чтой-то стало выводиться, а прежде, бывало, как масленица, так все идут на бой. Бывало, как зареченские с нашими сойдутся стенка на стенку, так сколько морд раскровенят — ужаси! Ноги ломали. Иной озверееет, кол из горожи выдернет и пойдет крошить.

— Любили.

— Зато судов этих не знали! Посчитают друг другу ребра — и ладно. А теперь как чуть что — суд, милиционер...

— Да, теперь выводиться стало.

— Народ стал очень образованный; вишь, как праздник, так молодые все в город уехали — мячики там гоняют.

— Матушки, матушки, погляди, что делается!..

Вдруг все замерли: один из дравшихся упал на траву, а другой, что-то пошарив по его одежде и оглянувшись на подбегавших ребятишек, бросился в лес.

— Кажись, камнем по голове хватил...

Мальчишки, через минуту добежавшие до упавшего, окружили его и стали что-то кричать и махать руками; часть глядевших на драку бросили грызть подсолнухи и со всех ног кинулись на место происшествия, остальные же, тревожно переглянувшись, тоже пошли поспешным шагом.

— Долго ли до греха... хорошо, если без памяти лежит, а как если вовсе мертвый? — говорили разные голоса шедших торопливым шагом людей.

— Убили! Человека убили! — кричали ребятишки испуганными голосами.

Убитый лежал, раскинув широко руки, с проломленной головой.

Он казался ограбленным, так как у него был выворочен карман и сорваны часы, от цепочки которых осталось в петле пиджака только колечко.

И кстати тут увидали, что это совсем не Андрон, а неизвестный мужчина, очевидно, шедший к перевозу на реку. Убийство было, несомненно, совершено с целью грабежа.

Около убитого уже толпился сбежавшийся со всех концов народ. От слободы бежали еще и еще, как бегут при звуке набата на пожар.

— Ясное дело, что бандит, — говорили в толпе, — подкараулил в лесу и наскочил.

— Когда ж он убил-то? — спрашивали вновь подбегавшие со стороны другой деревни.

— Да вот сейчас только, при нас, — сказала молодка в розовой кофте. — Мы вон там на горочке все сидели.

— И мужики были?

— А как же, и мужики все были. Долго справиться не мог, мужик-то здоровый, должно, был. Уж потом, зная, камнем пригадал ему голову разворотить.

— Что ж на помощь-то не побегли? — спросила старушка, запыхавшаяся от бега.

— Да ведь кто ж его знал-то... Мы думали, что драка какая или за дело учит. Нешто угадаешь! А мы долго смотрели, мужик-то здоровый был, долго не сдавался.

— Ах ты, господи, ну как тут жить, когда людей прямо на глазах убивают.

— Ни закона не боятся — ничего.

— Небось, дети остались...

— А главное дело — не боялся, на глазах у всех был, — сказала опять молодка в розовой кофте, — мы всей деревней почесть стояли, он и внимания не обратил.

— Да... это уж последнее дело, — сказал, покачав головой, мужичок в поддевке. — Ну я понимаю — ночью, уж если, скажем, такой отъявленный человек, что ему ничего не стоит душу загубить, а то ведь днем, на виду у всех не побоялся!

— Вон милиционер идет.

— Когда совершено убийство? — спросил милиционер, оглядывая собравшуюся вокруг труппы толпу.

— Да вот сейчас только, — сказала несколько голосов.

— А кто-нибудь видел?

— Да все видели, — отозвалось опять несколько голосов, — при нас же и дело было.

— А почему же не воспрепятствовали?

— А кто ж его знал, что он убить хочет. Мы думали, он просто бьет его. Может, за дело учит.

— Мы думали, это насчет свеклы, — сказал чей-то голос.

— А он просил помощи?

— Как же, кричал здорово.

— Ну, и что же вы?

— А какая драка без крику бывает?

Милиционер некоторое время о чем-то думал.

— А вы где же были-то? — спросил он наконец.

— Да вон на горочке все сидели, — сказала молодка в розовой кофте.

— Упокой, господи, душу его, — сказала старушка, перекрестившись.

Милиционер вынул книгу и карандаш, потом присел на корточки и стал писать протокол.

— Убийство с целью грабежа? — спросил он, не поднимая головы.



— С целью, — сказала несколько голосов.

— При свидетелях?

— При свидетелях.

— Кто именно? — спрашивал милиционер, глядя вниз и держа карандаш наготове.

— Почесть вся деревня была, — отозвалось несколько голосов.

— Убийца скрылся?

— Скрылся.

— Тоже на глазах у всех?

— На глазах. Вот сюда, в лесок побежал.

Милиционер перевел взгляд в сторону леса и опять стал писать.

— Да это уж каким головорезом надо быть, чтобы на глазах всей деревни человека зарезать, — сказал кто-то.

— Теперь не найдешь!

— Где ж теперь найти. Лови ветра в чистом поле.

— Что ж, он долго его бил? — спросил милиционер, кончив писать.

— Долго. С четверть часа возился. Мужик очень здоровый был.

— Ну, ладно, двое останутся при мертвом теле, а остальные расходитесь.

Все стали расходиться, оглядываясь на труп.

Шедшая сзади всех старушка покачала головой и сказала:

— Вот грех-то... Ну, ежели бы ночью или в безлюдном месте, а то прямо на глазах у всей деревни. Как же он не боялся-то?

— Вот то-то и загадка-то, — отозвался кто-то.

**В** деревне Бутово, что стоит на

высоком загибающемся берегу реки, мужики издавна сдают свои избы под дачи. И те из них, кто строился в последнее время, приспособливаются к вкусам и потребностям дачников — городских жителей, благодаря чему эти постройки уже похожи на настоящие дачки, а не на крестьянские избы.

Только крайний от реки домик, принадлежащий ветхой старушке Поликарповне, во всех отношениях отстал от моды. Он покосился, покривился, крыльцо его, подпиравшееся столбом из кирпичей, одной стороной висело над полуобрывом, спускающимся к реке. Под этим крыльцом всегда собирались от жары чужие собаки, которые, разрыв прохладную в тени землю, лежали врасстяжку. Когда кто-нибудь, проходя мимо, свистал им, собаки только испуганно поднимали головы с мутно-красными от сна глазами, потом опять растягивались.

Это крыльцо уж давно грозило обрушиться и похоронить под своими развалинами случайных постояльцев. Да и весь домик с отставшими от старых рам стеклами в его трех окошечках и расшатавшиеся ступеньки крыльца говорили о полной немощи своей хозяйки.

Ветхость домика и ветхость самой хозяйки отпугивали дачников, и в то время, как все дачи в деревне разбирались, у Поликарповны большею частью оставалась свободной ее хибарка.

Каждый раз наниматели, обойдя сначала домик снаружи, говорили владелице, что они пройдут посмотреть еще другие, и на обратном пути, вероятно, зайдут и снимут ее хибарку. Но не было еще случая, чтобы они заходили на обратном пути.

Было только одно достоинство этого домика: это то, что он стоял крайним от реки на высоком известковом берегу, и с его крыльца далеко был виден каменистый загиб берега с полосой от разлива, проточенной в известковых камнях.

И если бы на месте этой развалюшки стояла исправная дачка, то не было бы отбоя от нанимателей.

Каждую весну у Поликарповны начиналась тревога: каждый прохожий городского вида заставлял с силой биться ее сердце. Она старалась нарочно не смотреть на него, чтобы зря не волноваться, но ее уши против воли напряженно ждали, не обратится ли он к ней.

— Ну, вот и дождно.

И вот наконец счастье пришло: из города зашел какой-то человек в серой кепке, с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах с короткими обтершимися голенищами. В руках у него были удочки, треножник и маленький чемоданчик.

— Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй, — проговорил пришедший.

Он, не торгуясь, снял комнату за тридцать рублей в лето и деньги тут же отдал все вперед, вынув их из старенького кошелька с медным ободком.

Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он занимается, постоялец ответил, что он художник, приехал сюда писать картины.

После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел на реку.

Был час, когда вода в реке почти неподвижна и зеленый луговой берег отражается в воде с зеркальной ясностью, а молодая трава в засвежавшем майском воздухе пахнет сильнее, и над всей окрестностью разлита предвечерняя тишина.

По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил треножник, а на него рамку с натянутым холстом.

— Как чудесно! — говорил он, вдыхая всеми легки-

ми тонкий аромат яблоневого цвета, смешанный с вечерней прохладой.

Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была превращена в народный дом, и только в ограде оставались по-прежнему яблони, которые буйно цвели почти каждую весну, и с крыльца был виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпанные крупным белым цветом.

Художник отступил шага на два от треножника и стал примериваться, чтобы вместе с лугами и рекой захватить уголок ограды с яблонями.

И с этого момента каждый вечер, как только тень от противоположного берега доходила до середины реки и вечерние радуги, отражаясь от воды, шли по столбикам крыльца, Трифон Петрович брался за свою картину.

Он был уютно-веселый и простой человек; Поликарповна с первого же дня привыкла к нему, как к своему, и даже скучала, когда он с удочками уходил на реку и его сгорбленная фигура, видневшаяся на светлом фоне реки с поднятой вверх удочкой, оставалась в полной неподвижности до самой темноты.

Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал:

— Мне все равно сейчас делать нечего, дай-ка я поправлю тебе крыльцо.

— Спасибо, родимый, если милость твоя будет, — ответила старушка.

И Трифон Петрович все время, свободное от писания картины, стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал калиточку.

— Чудно мне что-то, — сказала один раз Поликарповна, — пришел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне чинишь, будто ты и не чужой человек мне.

— А что ж, неужто все только на деньги считать? Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне, вот мы и квиты, — сказал он, засмеявшись.

— Теперь, милый, такой народ пошел, что задаром никто рукой не пошевелинет. Вон церковь-то закрыли,

о боге да и о душе теперь не думают, только для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у дружки, из рук вырвать.

— Ну, нам с тобой делить нечего: оба нищие и оба старые, нам только друг за дружку держаться, — говорил Трифон Петрович, обтирая кисть о халат и снова и снова переделывая нарисованные цветы.

— Что ты все поправляешь-то, батюшка?

— Никак не могу поймать... чтобы цвет был белый и чистый.

— Да ведь он и так у тебя чистый.

— Нет, все не то, надо, чтобы как живое было, вот чего добиваюсь.

Старушка помолчала, потом сказала:

— Ну, прямо я с тобой, как с родной душой.

— Ну, вот и хорошо.

Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего человека ей бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый, нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни времени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей гостинцев — конфеток, вареньица. А по вечерам долго сидел с ней на крыльце за чаем, и они, поглядывая на далекие луга, мирно разговаривали.

— Прямо с тобой душа отошла, — говорила Поликарповна, — а то уж в людей вера пропадать стала.

— Вера в человека — это самая большая вещь, — отзывался Трифон Петрович. — Когда эта вера пропадает, тогда жить нельзя.

III

Один раз Трифон Петрович уехал в город, а Поликарповна, убравшись, сидела на крыльчке. Подошел к ней проходивший мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечешко, известный пьяница и кляузник. Он несколько раз видел Трифона Петровича за работой и теперь, сев на ступеньку крыльца, завел раз-

говор на ту тему, зачем это ей постоялец задаром крыльцо чинит. Поликарповна попробовала было сказать, что человек хороший, вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце.

— Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет, либо из платы за квартиру вычтет, либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без всякой выгоды для другого стараться.

— Деньги он мне все вперед уж отдал.

— Отдал? Ну, значит, еще что-нибудь. Нешто обо всем догадаешься. Вон он работает по вечерам, а теперь насчет этого строго, охрана труда и все такое...

— Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову, — сказала с гневом Поликарповна, — нечего на хорошего человека каркать.

Нефедка ушел, Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев рот, перекрестилась как от искушения. Она думала о том, какую же мысль может таить Трифон Петрович против нее? А потом даже рассердилась на себя, что из-за слов ничтожного человека хоть на минуту допустила какое-то сомнение в хорошем человеке.

Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и вскинулась навстречу к нему от радости. Ей хотелось быть с ним еще ласковее, потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась.

— Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо: теперь хозяйки не отобьются от постояльцев, у меня рука легкая.

Когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликарповны тревожно екнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы он отдохнул, что уже поздно. Причине лицо у нее, когда она говорила это, было растерянное и испуганное.

А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те же мысли: чего можно ожидать? Ведь все деньги получены сполна. Конечно, ничего. И когда она

убеждалась, что ничего плохого быть не может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось легко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная, грязная тяжесть. А то вдруг через минуту сердце, с силой стукнув два раза, останавливалось, и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли: например, ей приходило в голову, что Трифон Петрович, может быть, работает над ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать:

«Я имею часть в этом доме, так как целое лето ремонтировал его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а ввиду того, что я работал по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, поэтому или плати мне сверхурочно, или вовсе выселяйся из моего дома».

А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство: у Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая; начиная с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. Хозяек охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом втрое, а так как народ все ехал, то стали уж хапать без всякой совести. Те, кто пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с досады руки или, совсем махнув рукой на совесть, набавляли на своих постояльцев, а если они не хотели приплачивать, выживали их всякими способами.

Один раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни.

— Бегала теленка искать, — сказала она, присаживаясь на нижнюю ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок. — Ну как, довольна своим постояльцем?

Поликарповна с удовольствием и радостью рассказывала о том, какого хорошего, редкого человека ей господь послал, что он с ней, как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает.

— Да, это редкость, — согласилась кума. — А у меня вон сняли комнату двое, муж с женой, я с ними и так и этак, старалась, угождала им во всем, а они в город поехали, четыре дня там пробыли, а потом, гляжу, вычитают за эти дни. Да ведь комната-то за вами, говорю, была. А они и внимания не обращают. Еще пригро-

зили, что донесут на меня, что я кулак, народ притесняю. Так, веришь ли, у меня все сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, кишки им все выпустила да на руку и намотала. Вот до чего!

— Нет, у меня прямо свой, родной человек.

— Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько с него положила-то?

— Тридцать рублей в лето.

Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза:

— Сколько?

Поликарповна повторила.

— Да ты, бабка, спятила совсем!.. У меня есть один, он у тебя с руками за сто оторвет, комнату никак найти не может. Теперь по полтора ста берут, по двести!

— Как по двести?.. — спросила едва слышным голосом Поликарповна. У нее почему-то пропал вдруг голос, вся кровь бросилась ей в лицо, стала медленно расплзаться по шее.

— Да так. Вон Демины, у них хатенка немного лучше твоей, а они за сто двадцать сдали.

— Как за сто двадцать?.. — опять так же тихо, как загипнотизированная, воскликнула старушка. — Да ведь раньше все дешево брали...

— Мало что раньше! Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. Старики не запомнят, чтобы когда-нибудь столько дачников было. Что же тебе, из-за чужого человека цену упускать, что он тебе, сын, что ли? Такого случая умрешь — не дожدهшься. Вон Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустили, знакомые, сколько лет у них жили, а к тому дело подошло, так они в два счета выкурили, а на другой день вместо прежних пятидесяти за сто тридцать сдали.

#### IV

Кума ушла, а Поликарповна осталась в невыразимом мраке. Вон к чему дело повернулось... Конечно, она не могла ни одной минуты заподозрить Трифона



Петровича в том, что он умышленно стал чинить крыльцо и приводить в порядок ее домишко с тем, чтобы, когда она заикнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невозможно было заподозрить в этом человека с такой хорошей душой.

Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей в копеечку. Семьдесят рублей убытку! Ведь если бы на месте Трифона Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше — дрянной человечешко, который бы выгрызал каждую копейку, тогда бы она ему, не церемонясь, прямо сказала начистоту:

«Вот что, мой милый, прошиблась я маленько, когда с тебя плату назначала, я думала, что народу не будет и придется мне одной все лето куковать, и назначила с тебя поменьше, чтобы ты к другим не ушел. А когда дачник полным ходом попер, теперь уже мне бояться нечего: или втрое, давай или выметайся, а то новый постоялец дожидается».

Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь человеку, который к тебе подошел, как сын родной, без всякой корысти, и сама же только что хвалила его по всей деревне?

И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, о душе распространяться. Распространилась на семьдесят целковых! Держалась бы подальше. И как в голову не пришло, что, когда деньги получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар поставил, и больше нас ничего не касается. А теперь, ежели она его выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, вишь, старая карга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою пачкает, хорошего человека выкурила.

И как только она теперь видела постояльца, когда он с удочками и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить, на семьдесят целковых можно себе удовольствие позволить. И идет, как будто не понимает. У, сволочь поганая! Господи, прости ж ты мое согрешение!..

Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поликарповны только раздражение, почти

ненависть. Чем человек этот был лучше по душе, тем для нее было только хуже, так как ей на этом приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видела в руках.

И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни был, ее мысль не могла забыть этих семидесяти рублей и того, что тот человек, который готов заплатить сто рублей, может уехать. И когда Трифон Петрович за чаем угощал Поликарповну привезенными из города конфетами, она конфеты брала, а сама против воли думала:

«За семьдесят целковых, конечно, можно конфетами угощать, за эти деньги можно бы и получше привезти. А то это чего выгоднее: по-душевному обошелся с человеком, конфеток ему на гривенник купил, а у него от этого язык не поворачивается свою сотню отстоять».

И хотя, если говорить по правде, тот же ремонт, который произвел Трифон Петрович, обошелся бы ей не дешевле семидесяти рублей, но она ведь не просила его об этом, ее хибарка и без ремонта могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, а добровольно делал, а за добровольное денег нельзя взыскать. А то это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присоседится, что-нибудь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверхурочное!.. А что он за водой ходит, так это девчонку какую-нибудь нанял за два рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть залейся совсем. Это подешевле обойдется.

А почему ей только сто рублей с того постояльца брать? Раз Кузнецовы сто тридцать, то и она может столько же назначить, ведь это до ремонта к ее домишку страшно было подойти, а теперь на него глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться. Ее раздражало каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые руки, чего она прежде как-то не замечала.

А он, как нарочно, ничего этого не видел. А тут кончил наконец свою картину и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от удовольствия: яблоневый цвет большими — белыми с розовым — гроздьями, как жи-

вой, был на первом плане картины, и от него веяло такой чистотой, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, чувствовался его аромат и запах вечерних, засыревших полей.

— Схватил! — сказал Трифон Петрович. И, обратившись к хозяйке, прибавил: — Вот осенью другую картину тут напишу.

У Поликарповны вся шея покрылась красными пятнами.

На следующее утро Поликарповна остановила проходившего за водой Нефедку и, позвав его к себе, сказала ему все, спрашивая совета, как поступить.

— Я говорил, что-нибудь тут да не так. Скажи, пожалуйста, чего это ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет работать, спину гнуть! Вот оно так и пришлось: он топориком-то потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против его не подымается. Тебе бы сейчас случаев пользоваться, что дачник густо пошел, крыть по чем зря да в сундук прятать, а у тебя против него руки связаны. Ну да вот что...

Он пьяным жестом сложил руки на груди, взяв себя ладонями под мышки, и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, сказал:

— Ставь, видно, мне четвертную на пропой души, и устрою я тебе это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени объявлю, чтобы он убирался подобра-поздорову. Потому что, ежели ты его не выставишь, а только плату на него накинешь, то тебя потом хуже совесть замучает смотреть на него, потому что ты старушка религиозная и душа у тебя совестливая.

— Верно, батюшка, замучает, — сказала Поликарповна, забрав подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком платочке.

Она как-то вся потерялась, даже осунулась и побледнела за эти дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным.

— Ну вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, мол, старушка богобоязненная, совестливая, самой ей

разговаривать с тобой стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью родной с ней обошелся, и потому она это дело мне препоручила.

— Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что за дачу он заплатил, отдавать придется?

— Ты с этим погоди, не юли, сами забежать вперед не будем, а там видно будет. Если еще бутылочку прибавишь, то и с этим как-нибудь справимся.

— А в суд, думаешь, не подаст, батюшка? — спросила старушка.

— Можешь быть спокойна. Не такой человек. Считал он тебя, можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалась сволочью, он просто плюнет и уйдет поскорее и ни о каких деньгах не вспомнит, ему смотреть на тебя противно будет, а не то что еще в суде с тобой разговаривать. А ты на этом деле целковых тридцать выгадаешь.

— Все сто, милый.

— Конечно, ежели бы на какого-нибудь жулика налетела, так тогда бы плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя в бараний рог согнул, а раз с таким человеком дело имеешь, тут вали смело.

Старушка горестно, озабоченно смотрела перед собой в землю, собрав рот в горсть, потом наконец, видимо, решившись, подняла привычным жестом руку ко лбу, чтобы перекреститься, как крестятся перед началом дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся потемнев, изменившимся голосом торопливо проговорила:

— Ну... делай, как говорил.

После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца пошла к дочери за реку.

Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по столбикам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из ограды доносилось свежее благоухание цветущих яблонь, которые от брызнувшего из облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых листьях и на снежно-розовых цветах.

В о внутреннем дворе тюрьмы,

где высокая стена примыкала к слепому, с решетчатыми окнами зданию, ходил истомленный жарою малый лет двадцати в нескладно сидящей гимнастерке не по его росту. Часовой. Несмотря на винтовку и гимнастерку, он совсем был не похож на военного. Ноги были какие-то кривые, как у деревенских парней.

Июльский полуденный зной выжег на дворе всю траву, и без того притоптанную ногами заключенных. На небе не было ни одного большого освежающего облака. Они таяли в пыльной, выцветшей синеве, едва зарождались.

В квадратном окне с решеткой появились сначала чьи-то руки, потом русая голова с выглядывающими сквозь решетку глазами заключенного.

Он сначала посмотрел на небо, потом по сторонам, приложившись щекой к самой решетке. Наконец остановился глазами на часовом и долго смотрел на него молча. Часовой тоже посмотрел.

— Вот жара-то, господи боже ты мой, — сказал заключенный.

Часовой сначала промолчал, только взглянул на окно, потом сказал, сдвинув назад фуражку и утерев лоб рукавом:

— Да, жара...

— Теперь бы где-нибудь искупаться, в деревне бы, — продолжал заключенный, — раздеться на зеленом берегу и — бултых! Или рыбки бы половиться, голавлей под кустами...

Часовой, не ответив, оглянулся по сторонам и поправил пояс, держась одной рукой за поставленное ружье, очевидно, вспомнил, что нарушает правила, разговаривая с заключенным. Но крутом никого не

было, а слова заключенного о купанье и рыбной ловле, видимо, затронули его.

— Рыбку бы на что лучше, — отозвался он. — Я до страсти рыбу ловить люблю.

С его лица сошло напряженное выражение часового, оно приняло спокойное, почти мечтательное выражение, и он продолжал уже сам:

— У нас речка под самой деревней, вся омутами глубокими...

— У нас тоже... — радостно подхватил заключенный.

— Вода чистая, как стекло, и голавли под кустами ходят, только черными хвостами пошевеливают...

— Вот, вот, у нас тоже...

— Бывало, в праздник с утра как уйдешь по луту, так на весь день... Травой пахнет, жаворонки поют, а ты по кустам ходишь и на воду заглядываешь, голавлей высматриваешь, — говорил мечтательно часовой.

— Вот, вот...

Оба замолчали. Часовой, задумавшись, смотрел, поворотив голову, куда-то в угол двора. А заключенный остановил свой взгляд на далеком крае синееющего сквозь пыльные деревья неба.

— А как речка-то ваша называется? — спросил заключенный.

— Быстрянка, — сказал, вздохнув, часовой.

— О! — воскликнул, удивившись, заключенный. — У нас тоже так-то, тоже Быстрянка. А ты какой губернии?

— Тульской.

— А уезда?

— Одоевского.

— Братец ты мой! Как же это? Так это, стало быть, она и есть. Ты из какой деревни? — крикнул заключенный возбужденно.

— Мишенской...

— Так оно и есть... А я из Богданова. Вы ниже, а мы выше. Ах, братец ты мой! Вот история... Ровно родного человечка увидел.

— Скажи пожалуйста! — удивился и часовой и глядел на заключенного, как на своего неожиданно най-

денного товарища и друга. У него совершенно изменилось выражение лица, и вместо полагавшегося в его положении безразличного каменного выражения у него появилась радостная улыбка, и все его нескладное деревенское лицо с вихрастыми, тонкими, как пух, волосами ожило и засветилось.

— За что ж ты сидишь-то?

— Так, за ерунду... нашего взводного по матушке в строю обругал.

— Подумаешь, дело какое!.. Каждый день друг дружку ругаем, скажи пожалуйста, кому какая беда. Вот что значит служба... всех держит... А что он, сукин сын, развалится, что ли, от этого.

— Вот я тоже так-то говорю. А три месяца отсидел со строгой изоляцией. Это мне амнистия вышла, а то бы еще больше закатали. Завтра последний день сижу, выпустят.

— О! Значит, опять на свободу!..

— Какая ж свобода... буду вот не хуже тебя караулить, или что другое заставят делать. Теперь бы на речку...

— Да... скажи пожалуйста, вот чудеса-то, оба с Быстрианки оказались. У меня как сердце чуяло, я с тобой разговаривать-то стал, хоть это строго запрещено. А вы как голавлей-то ловите?

— На хлеб, на донную. Подальше закинешь и сидишь за кустом, так просто, здорово живешь не поймешь, хитрющая рыба.

— У нас тоже так...

— А то побольше ребят, бывало, наберется, запрудим омут и примемся мутить, они все наверх и вылезут, тут их руками хватай.

— Вот, вот!

— А купаться, бывало, станем, — продолжал с мечтательной улыбкой заключенный, — разбежишься и прямо головой с глинистого берега вниз, в самое бучило. Или глиной начнем мазаться да по лугу бегать, покамест не обсохнешь, потом опять головой в воду!

— Как же, это первое дело.

— Места у нас просторные, луга заливные, озеро есть.

— Это Длинное, что ли?

— Вот-вот — что к винокуренному заводу подходит.

— Да знаю, господи, ведь это десять верст от нас, в город мимо него ездим, бывало, — сказал часовой, сняв фуражку и зачем-то рассматривая ее подкладку и в тоже время покачивая головой и улыбаясь такую же, как у заключенного, мечтательной улыбкой.

— А приедешь, бывало, на базар, на верхней площади телег стоит целое тебе море, и чего, бывало, не навезут — и горшков всяких, и кадушек липовых, и поросят. А в лавках калачи, баранки, ведра новые. Бывало, соточку пропустишь и едешь домой через мост. А в городе ко всенощной звонят.

— Да, хорошо... — сказал часовой с тою же улыбкой. — А тут вот из-за такого, можно сказать, пустяка человека три месяца продержали.

— Больше бы продержали! — воскликнул с силой заключенный. — Это я под амнистию подошел.

— Что ж этот взводный-то, материцыны, что ли, не слышал на своем веку?

— Вот и поди. Как попадет сюда человек, да чин какой-нибудь дадут ему, так уж он как не человек.

— Это верно. Об другом не помнит.

— Вот и ты, сам разговариваешь со мной, а ружье против меня держишь... Эх, сейчас бы на наши луга, — сказал заключенный, — с косой бы прогуляться. Бывало, косишь, с тебя пот ручьями льет, волосы все смokлись, жара, и только ветерок иной раз пахнет, а кругом простор, конца-краю не видно. Веселая работа, накажи бог! А вечер придет, от реки туман пойдет расстилаться, перепела во ржи. Я и перепелов ловить люблю. Аккуратненькая, подбористая птичка. Вот до чего я все это люблю, просто рассказать не могу.

Заключенный замолчал, потом затянул какую-то грустную песню высоким, бабьим тенорком, каким поют деревенские мужики. В этой песне была и тоска по бесконечным просторам, говорилось о какой-то девушке красной и о заре румяной. Он держался обеими руками за решетку, а сам смотрел на пыльное выцветшее городское небо, и песня заунывно и свободно лилась из-за решетки. Часовой тоже замолчал. Он при-



сел на чурбачок, поставил между ног ружье. Он, опустив голову, смотрел куда-то в сторону на вытоптанную и выгоревшую траву и о чем-то думал, быть может, о чистой речке Быстрянке, о бесконечных лугах и простой вольной жизни под деревенским небом.

Песня все так же однообразно-грустно лилась. Заключенный пел хорошо, проникновенно, он, переводя дыхание, как-то вздыхал в тон песне, и оттого еще больше от нее веяло тоской и жаждой простора и воли, думалось о своей неудачной жизни и хотелось чего-то прекрасного и необъяснимого.

Вдруг, нарушая ее очарование, резко по-тюремному прозвонил колокол на обед.

Часовой вскочил, оправил гимнастерку и фуражку. Его гладкий деревенский лоб, не привыкший ни к какому усилию мысли, наморщился какими-то неумелыми складками, придавая ему напущенное серьезное паучье выражение. Он как-то зорко оглянулся по сторонам и крикнул заключенному:

— А ну-ка, перестань петь!..

— Это почему? — сказал удивленно заключенный.

— Потому что законом запрещается, вот почему.

— Уйду я отсюда послезавтра, никакого закона мне твоего не надо.

И грустная, заунывная песнь опять полилась.

— Слышь, перестань, — крикнул часовой. — А то стрелять буду.

И он взял ружье на изготовку, вскинув его на руку.

— Ты что, сдурел, что ли? — спросил его заключенный. — Очнись маленько.

Он отвернулся и опять запел своим высоким тенорком, глядя перед собой в бесконечный горизонт бледно синеего неба.

— Слышь, вот те крест, говорю, что стрелять буду! — уже закричал с какой-то растерянностью и испугом часовой.

Заключенный не ответил, его глаза все так же смотрели в бесконечный простор синевы, и он продолжал все так же петь.

Часовой сделал какое-то движение, ружье вскинулось горизонтально, и раздался сухой стук, точно кто-

то ударил по пустому ящику. Песня оборвалась, и голова в окне за решеткой с тонкой струйкой крови из волос медленно сползла вниз, а руки, ставшие вдруг бледно-желто-восковыми, так и остались судорожно уцепившимися за решетку.

[1930]



## Дорогая доска

**В** деревне Храмовке после краткой

информации заехавшего на минутку докладчика по постановлению общего собрания было решено перейти на сплошную коллективизацию.

Когда после собрания мужики вышли на выгон, то поднимавший вместе со всеми за колхоз руку Нил Самохвалов сказал:

— Устроили... Я скорей подохну, чем в колхоз тот пойду.

— А чего ж руку подымал?

— Чего подымал... Кабы кто еще не поднял, я бы тогда тоже не поднял, а то все, как черти оглашенные, свои оглобли высунули. Где же одному против всех иттить.

— Так чего ж теперь-то шумишь?

— Того и шумлю, что на вас, чертей, положиться нельзя. Ну, да меня не возьмешь голыми руками. А что руку подымал, так, пожалуйста, хоть еще десять раз подыму, а все-таки не пойду. У меня одна лошадь пять тысяч стоит, дам я над ней мудровать? Потому это верный друг, а не лошадь.

После того разговора сельсовет объявил Нила Самохвалова кулаком и классовым врагом и постановил повесить над его воротами доску с надписью, что Нил Самохвалов — кулак и классовый враг.

— Какой же я кулак? У меня одна лошадь только. Ежели их было три или четыре, тогда другое дело.

— А сколько у тебя эта лошадь стоит?

— Сколько стоит... Пятьдесят рублей, ну, от силы семьдесят пять. Пусть только повесят эту доску, головы сыму! Да у меня и приятели есть, которые могут за меня постоять.

Но на другой день стало известно, что доску уж пишут. И пишет ее как раз один из приятелей Нила, кото-

рый даже обвел ее черной рамочкой и по углам за чем-то нарисовал цветочки и голубков.

Когда пришли ее вешать, сбежалась вся деревня смотреть на эту церемонию.

Нил говорил, посмеиваясь:

— Вешайте, вешайте... Недолго ей висеть. Посмотрим, где завтра доска та очутится. Небось ведь часового к ней не поставят.

Но вдруг он перестал смеяться. Председатель, повесив доску, сказал:

— По постановлению сельсовета за всякое снятие доски будет взыскан штраф в размере двадцати пяти рублей и за каждый день, в какой доска не будет висеть, — особо десять рублей.

— Ой, мать честная! — сказал кто-то. — Доска-то, выходит, дорогая...

Наутро к Нилу прибежал сосед и сказал:

— Снял все-таки доску-то? А не боишься, что заставят платить?

— Как снял?... — воскликнул, побледнев, Нил. — Я не сымал.

И бросился на улицу. Доски над калиткой не было.

— Ну да ладно, — сказал он сейчас же. — Мне-то чего беспокоиться. Кабы я был виноват. А то и позору бог избавил, и закона не нарушил. Какой-то добрый человек постарался. Могу только выразить свою благодарность.

Прошел день. Нил ходил и посмеивался, что так удачно вышло.

Но на другой день его вызвали в совет и сказали, что с него причитается тридцать пять рублей.

— Каких?..

— Вот этих самых... Двадцать пять за снятие доски, десять за то, что день не висела.

— Да ведь сымал-то не я?!

— Ничего этого не знаем. Должен смотреть.

— Ах, сукин сын, подлец... Только бы найти его, этого благодетеля, я б его разделал под орех... Что ж теперь, опять будете вешать?

— Нет, уж теперь сам вешай. Если до двенадцати часов не повесишь, то как за полный день пойдет, еще десять.

— Да где ж я доску-то возьму?!

— Сам напишешь, только и всего, небось человек грамотный. И чтоб точь-в-точь такая же была.

Через десять минут Нил бегал по всей деревне, стучал в окна и таким тоном, как будто у него загорелась изба, кричал:

— Ради господ, краски какой-нибудь!

— Какой тебе краски? — спрашивали испуганные соседи. — Одурел малый?

— Краски... доску писать сейчас буду.

— Разведи сажи, вот тебе и краска.

— Красной еще нужно на голубей, пропади они пропадом!

Наконец, весь избегавшись, загоняв жену и ребятшек, Нил достал черной и красной краски и уселся, как богомаз, выполняющий срочный заказ, писать, а кругом стояли зрители и советовали:

— Буквы-то поуже ставь, а то не поместятся.

— Ты «кулак»-то наверху покрупней напиши, а «классового врага» помельче пусти в другую строчку, вот тебе и уместится все. Так красивее будет и просторнее. А то ты всю доску залепишь, на ней с дороги и не прочтешь ничего. К самой калитке, что ли, подходить да читать.

— Какая же это сволочь сняла, скажи пожалуйста...

Нил слишком глубоко окунул кисть, которая была у него сделана из пакли, и на доску сползла жирная крупная капля.

— Икнула... — сказал кто-то из зрителей.

— Чтоб тебя черти взяли! — крикнул Нил, в отчаянии остановившись.

— Придется сызнова, а то даже некрасиво выходит.

— Да, вот буду вам еще красоту разводить. Ежели через полчаса повесить не успею, еще десятку платить. Да еще голубей этих писать, — говорил Нил.

— Да зачем голубей-то? — спросил кузнец. — Может, без них?

— А черт их знает, зачем... Не буду я голубей рисовать!

— Нет, надо уж в точности, а то еще заплатишь. Пиши уж лучше.

Нил, сжав зубы, принялся за голубей, но сейчас же голоса три сразу закричали:

— Что же ты ему хвост-то крючком делаешь! Что это тебе, собака, что ли?

— Где крючком? — спросил Нил, отстранившись от доски, чтобы посмотреть на нее издали.

— Где... ты вон пойди посмотри, как святой дух в церкви нарисован, что ж у него, крючком, что ли, хвост-то. Рисовальщик тоже...

— Это он его сделал на излете, — заметил кузнец, глядя издали на работу прищуренным глазом.

Наконец в половине двенадцатого доска была готова.

— Досрочное выполнение плана, — сказал кто-то, — требуй премиальных.

Нил ничего не ответил и, отстранив от себя доску на длину вытянутой руки, любовался своей работой.

— Что как опять — кто-нибудь назло снимет, — сказал кузнец.

— Попробуй только теперь кто... все кости переломаю, если увижу.

Доску повесили, все постояли, похвалили работу, сомневаясь только насчет голубей.

— А что, у них с лица воду, что ли, пить, — сказал кузнец, — сойдут и так.

— Пить не пить, а что ж хорошего, когда не разберешь, голубь это или собака.

Все разошлись, и только Нил стоял перед доской и, иногда прищурив глаз, отходил от нее, и то дальше, то несколько в сторону, как мастер, только что кончивший картину и после восторгов зрителей оставшийся с ней наедине.

— А ведь и то, на излете, — сказал он сам себе.

— Все еще стоит смотрит, — сказал кто-то.

— Что значит — сам-то сделал. На ту доску взглянуть не хотел, а от этой никак глаз не отводит.

— Как же можно, своя работа всегда мила, вот только как бы не свистнули опять.

Подошел вечер. Все гадали, как Нил будет охранять доску.

# Белая свинья

**В** деревню приехали сотрудники

Союзмеса для контрактации свиней.

В соседнем селе услышали об этом и, решив, что свиней будут отбирать бесплатно, порезали в одну ночь всех.

Осталась только у кузнеца одна большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.

Одна на всю деревню.

Он пожалел ее резать, решив положиться на судьбу.

А на другой день прошел слух, что с тех, кто порезал своих свиней, будет взыскан штраф, и, сверх того, они будут привлекаться к судебной ответственности за злостное уничтожение скота.

— Что ж теперь делать-то? — спросил кто-то.

— Что делать — теперь попали все, окромя кузнеца: и деньги получит, и под суд не отдадут.

— У нас тоже вдрызг всех порезали, — сказал мужик из ближней деревни, где был колхоз. — После вас к нам приедут, что будем делать?

— С тебя, Пузырев, с первого начнут, — сказал шорник. — Кузнец пойдет самый последний, его изба на самом краю.

— Едут!..

Все стояли и в волнении ждали, когда подъедут контрактанты, как ждут приезда следственных властей на месте убийства.

Пузырев, которому предстояло отвечать первым, вдруг юркнул в избу, наткнулся в сенцах на жену, шепнул ей что-то и бросился по задворкам на конец деревни.

Мужики с недоумением посмотрели ему вслед.

— Неужто сбежать хочет?

— Сам сбежит, баба останется, — говорили в толпе.

Приезжие, два бритых человека в кепках, остановили лошадь у избы Пузырева.

Вдруг на дальнем конце села послышался пронзительный свинной визг.

Приезжие переглянулись друг с другом, на их посиневших от холода лицах показались довольные улыбки.

— Есть! Товарищ Холодков! — сказал один.

— Помолчи, — сказал другой и погрозил пальцем, как грозит опытный охотник увлекающемуся сподручному, слишком оживившемуся при первых признаках близкого присутствия зверя.

Хозяйка Пузырева вышла из избы и пригласила приезжих обогреться и закусить.

— А хозяин-то дома? — спросили приезжие, наливая замерзшими руками водку.

— Дома, — ответила хозяйка, — он скотине корму дает.

Наконец вошел запыхавшийся хозяин и, поздоровавшись с гостями, повесил шапку на гвоздь у двери.

— Ну как, хозяин, насчет свиней у вас? У тебя, хозяин, есть?

Набившиеся в избу мужики замерли.

— Как сказать... — ответил хозяин, — много не можем, а одну представить можно.

Мужики с недоумением переглянулись.

— Ну и ладно, сейчас по стаканчику выпьем, поглядим и законтрактуем.

Приезжие выпили еще по стаканчику, надели кепки и, закусывая на ходу редькой, пошли на скотный двор.

Мужики чуть не ахнули: в закуте на свежей соломе лежала большая белая свинья с черной отметинкой на лбу.

— Хороша! Во сколько оценим, товарищ Холодков?

— Двести можно дать и пятьдесят авансу.

— Ну, пиши. И наружность обозначь: белая свинья с черной отметинкой на лбу. Хорошо, что она с особой приметой. Уж эту с другими не спутаешь.

Мужик из соседней деревни, вместе с другими тоже зашедший на двор, вдруг бросился на улицу, сел на свою лошадь и во весь опор поскакал к своей деревне.

— Пойдем теперь в следующий двор.

В следующем дворе им предложили по стаканчику молочка деревенского. Когда они кончали молоко, в избу вошел хозяин, который где-то отстал, и сказал:



— Напрасно охлаждаете себя молочком-то, только что с холоду и в нутро пущать холод. Лучше по косушечке опрокинуть.

— А ведь и то... Дрожь какая-то начинается.

Хозяин налил контрактантам по стаканчику и, когда они выпили, сказал:

— Свинья дожидается. К приему готова.

— Дожидается, так идем.

Приезжие пошли во двор и в углу на чистой свежей соломе увидели большую белую свиньку с черной отметинкой на лбу.

— Смотри, свинья в свиньку! — воскликнул товарищ Белов.

— Они у нас родственники.

— Только эта как будто маленько побольше, — сказал товарищ Холодков и прибавил: — О, мать честная, на голодный желудок, знать, здорово взяло.

— Эта на две недели будет постарше той, — сказал Кулажников.

— Сколько же за эту класть? — спросил Белов.

— Клади двести и семьдесят авансу. Пометь наружность, чтоб не спутать с другими и чтоб не подменили. Что это, у вас водка, что ли, такая крепкая, или оттого, что натошак?

— Известно, оттого, что натошак. Сейчас бы первое дело кусочком свежинки закусить, — сказал Кочергин, следующий по очереди. И когда контрактанты пошли к нему, он мигнул вышедшей жене, а сам бросился обратно в закуту. Через минуту послышался отчаянный свиной визг, какой бывает, когда свиньку тащат волоком, подхватив ее под передние ноги.

Товарищ Белов посмотрел с ослабевшей улыбкой на Холодкова и сказал:

— Попали на золотоносную жилу. Все наши московские магазины мясом завалим.

Он хотел чокнуться с товарищем, но промахнулся и, махнув рукой, выпил так.

Минут через десять в избу вошел хозяин и сказал, что свинья дожидается.

Контрактанты, не сразу отыскав кепки, пошли. А товарищ Белов, едва переступив порог, остановился, чем-то пораженный:

— Э, да тут целых две.

— Нет, одна, это натошак так кажется, — сказал один из мужиков, а хозяин избы злобно оглянулся на него и показал ему из-под полы кулак.

— Но эта одна двух стоит! Ох и здорова. Ставь триста рублей, товарищ Холодков, без всякого разговору. И особую отметину проставь, чтоб не спутать: белая с черной отметиной во лбу.

В следующем дворе были записаны две белых свиных с черными отметинами. Причем товарищу Белову сначала показалось было четыре, но Холодков поправил его, для верности пощупав даже свиной руками, причем еще удивился, что щупает разных свиных, а руки у него все сталкиваются.

— Вот дело-то пошло! — в восторге восклицал товарищ Белов.

Вдруг по дороге из соседней деревни показался мужик на телеге, гнавший лошадь во весь дух. Все узнали в нем того, который был здесь в момент приезда контрактантов. Остановившись у последнего кузнецового двора, приезжий вбежал, запыхавшись, в избу и крикнул:

— Ради господа, свинью скорей давай!

— Еще не отделалась, она у соседа принимает.

Обойдя пятьдесят дворов, контрактанты уселись за столом у кузнеца и, разложив перед собой ведомость, водили по ней неслушавшимися пальцами и говорили:

— Прямо голова лопается! После такой работы двое суток пить можно. Ведь это ежели всех этих свиных враз зарезать, целая гора мяса будет. Товарищ Холодков, пиши отношение.

Холодков взял карандаш, который все выкатывался у него из рук, и написал:

«Товарищ Никишин! Задыхаемся от свиных. Одних авансов выдали три с половиной тысячи. Свиных все как на подбор, одно слово экспортные, сами черные, а на лбу белая отметинка. Стремительно едем дальше, ожидаем таких же успехов».

## Замечательный рассказ

**П**исатель, прославившийся своим

юмором, принес редактору рассказ о том, как сотрудники Союзмяса контрактировали свиней в деревне. Мужики, порезавшие своих свиней, таскали со двора на двор единственную оставшуюся в деревне свинью. И контрактанты выдали под нее три тысячи пятьсот рублей авансов.

Редактор оказался очень смешливым человеком. Он при каждой удачной подробности рассказа хохотал, откидываясь на спинку кресла, и кричал, махая руками:

— Ой, не могу, уморил! Подожди, дай отдышаться...

Когда писатель кончил, редактор все еще несколько времени смеялся неунимавшимся смехом, потом сказал:

— Убийственный рассказ. В самом деле, сукины дети, настряпали магазинов по всей Москве, и, кроме плакатов, в них ничего нет. Какой же это Союзмясо, когда союз есть, а мяса нет? На несколько магазинов со всего Союза не могут собрать. А обратил внимание на эти плакаты? На первом стоят три жирных белых свиньи. Это в тридцатом году.

На втором за этими свиньями виднеются многочисленные спины их потомков. Это уже в тридцать первом году.

На третьем — весь горизонт заполнен свиными спинами. А магазины в тридцать первом году стоят заколоченными, и эти плакаты все пожелтели и засижены мухами. Хоть бы догадались их снять.

— Значит, одобряешь рассказ? — спросил писатель.

— Что же, я идиот, по-твоему, чтобы такого рассказа не одобрил?

— Когда печатать будешь?

- Что печатать?
- Рассказ.
- Какой рассказ?
- Да этот, конечно!
- Этот?.. Ну что ты, милый... Неудобно.
- Почему?

— Антисоветский рассказ. Сочтут за насмешку над нашим животноводством и квалифицируют как вылазку классового врага. Ведь ты в нем искажаешь действительность. У нас, насколько тебе известно, есть и плохое и хорошее, даже грандиозное, а ты выбрал один уродливый факт и приклеиваешь его ко всему животноводству.

— Почему же ко всему животноводству? Все знают, что у меня природа сатирика и что к рассказу нужно относиться условно, как к сатирическому произведению. Потом, об этих безобразиях и без того все знают.

— Мало что знают... Знают, да молчат. Вот что, в рассказе есть ценное зерно, и ты со своим талантом можешь его сделать великолепно. Переделай его или напиши снова, но так, чтобы в нем была диалектика, борьба положительного с отрицательным. И конечно, с победой положительного, потому что мы идем вперед, а не назад.

— Но неужели нельзя просто отдохнуть и посмеяться над остроумным рассказом? Сейчас люди очень устали. А смех больше всяких развлечений дает отдых.

— Искусство для нас не развлечение, — сказал, нахмурившись, редактор и сейчас же другим тоном, тоном настойчивого педагога, исправляющего ленивца, прибавил: — Поработай, поработай над рассказом в другом плане и приноси. Только этот не рви.

Через две недели писатель принес заново написанный рассказ о том, как в совхозах и колхозах сначала остро стоял вопрос животноводства, крестьяне уничтожали скот, чтобы не отдавать его в колхозы. Союзмясо послал опытных агитаторов, которые организовали из деревенской бедноты бригады, и после тяжелой борьбы задания стали выполняться, и наконец Союзмясо смог доверху завалить свиным мясом свои магазины.

— Замечательный рассказ! — воскликнул редактор. — Знаешь, чрезвычайно убедительно. Только вот напрасно насчет магазинов, что их доверху завалили мясом. Это не соответствует действительности. В остальном же превосходно. У тебя прекрасно разработана животноводческая проблема. Откуда ты все это почерпнул?

— Я прочел всю имеющуюся по этому вопросу литературу и на ее данных построил рассказ.

— Очень убедительно. Сейчас же сдаю в набор. Вот видишь, и сатирик при желании может написать рассказ, который по нынешнему времени всякий редактор у тебя с руками оторвет.

Потом, помолчав несколько времени, он засмеялся и покачал головой, видимо что-то вспомнив.

— А для первого варианта ты никакой литературы не изучал?

— Какая же там литература, там — жизнь, — сказал писатель.

— Да... остро и смешно. Уморил.

Когда писатель уходил, редактор остановил его и сказал:

— Вот что. Пятнадцатого числа у меня соберется кое-какой народ, все большие знатоки и любители литературы, твои горячие поклонники, отдохнем, поговорим об искусстве. Приходи и прочти свой рассказ.

В назначенный вечер редактор всем приходившим гостям говорил:

— Ну, сегодня вас уморю, будете благодарить.

— В чем дело?

— Не скажу. Сами узнаете.

Когда пришел писатель, редактор, фыркнув и зажав рот рукой, спросил шепотом:

— Принес?

— Принес.

— О, черт возьми, ну и будет потеха!

Писатель поправил очки и, несколько удивленно посмотрев на хозяина, хотел было спросить, какая потеха ожидается на вечере, но уронил шапку и не спросил.

Появление писателя в связи с неясными намеками хозяина заставило гостей насторожиться. Любители посмеяться толкали друг друга, когда после ужина писатель доставал из портфеля рукопись.

— Какая тема? — спросил кто-то из гостей.

— Тема — животноводческая проблема, — почему-то очень поспешно сказал хозяин, засмеявшись при этом во все горло, чем смутил автора. Тот с недоумением посмотрел на хозяина, но подтвердил, что действительно, тема рассказа — животноводческая проблема.

У дам при этом известии брови полезли наверх.

Но с первых же строк, трактовавших об отрешении крестьян от капиталистической психологии под влиянием агитации, все слушатели покатились со смеху, чем смутили и озадачили автора.

А хозяин так вздрогнул и передернулся, точно ему в открытый нерв зуба что-то попало.

Слушатели с улыбками переглядывались и перешептывались:

— Остроумная выходка — пародия на современную литературу.

— Да, да, обратите внимание, как он уловил язык, тон.

— Действительно остроумно, все написано по готовому рецепту, как пишут сейчас почти все. Очень удачно.

Так как чтение в том же тоне продолжалось, то все решили, что это, может быть, и остроумно, но перехвачено в смысле длительности. Но чтобы не обидеть не совсем удачных остряков — хозяина и автора, все стали усаживаться поудобнее, как это делают на длинных, утомительных докладах, чтобы хватило терпения и сил высидеть до конца.

Когда автор от описания прорыва перешел к восстановлению животноводства, слушатели стали переглядываться. Автор чувствовал общее движение, и хотя не видел через очки ясно лиц, но стал ощущать больше уверенности от сознания того, что, значит, рассказ производит впечатление. И голос его зазвучал ровнее и спокойнее.

Один из гостей наклонился к своему соседу и сказал:

— Уморит, подлец! Весь хмель из головы выскочил...

— Выскочит... Просто не знаешь, как реагировать. Как будто сделали из тебя дурачка, а тебе нечем даже защититься.

Когда чтение кончилось, воцарилось общее молчание, какое бывает, когда после длинного доклада председатель спрашивает: «Может быть, у кого-нибудь есть вопросы?»

Но этой фразы сказано не было, и все гости, точно после окончания проповеди, целой толпой повалили в переднюю. Удержать их не было никакой возможности. У всех оказались больны жены, дети...

Когда они все ушли, хозяин повернулся к озадаченному писателю и сказал:

— Ты что, издевался, что ли, надо мной и над всеми?

— А что? Чем?..

— Как это «чем»?! Зачем ты читал эту чертовщину? Кому это нужно? Я взял его у тебя для печати, а вовсе не для того, чтобы читать его людям, понимающим толк в литературе. Я просил тебя прочесть первый рассказ, а не эту макулатуру. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать таких простых вещей.

[1931]

# Блестящая победа



художник в парусиновой блузе,

испачканной красками, наскоро приводил в порядок свою мастерскую.

Он ждал посетителей из высоких партийных кругов, свидание с которыми ему устроили друзья. Эти друзья страдали за него, так как большой талант художника-пейзажиста, не могущего перестроиться в плане требований современной критики, гас от потери веры в себя и от наседающей на него нужды.

Он не мог написать ни одной картины, которая отвечала бы современным требованиям. В то время как его товарищи, менее известные, менее талантливые, безболезненно вышли на дорогу нового искусства и писали картины десятками, получая большие деньги.

В углу мастерской, заставленная другими картинами и мольбертами, стояла брошенная на половине, очевидно, одна из его прежних работ: угол балкона в деревенском доме, рама открытого в цветник окна и вдаль над спелым полем ржи серо-лиловая грозная туча, идущая с юга.

Это было так живо изображено, что, казалось, чувствовался сумрак от тучи и свежий запах приближающегося летнего дождя.

А в центре мастерской на мольберте стояло полотно новой, только что оконченной картины. Художник, наконец пересилив себя, написал большое полотно, на котором был изображен чугунолитейный завод.

Гигантская красная кирпичная труба, затем железный каркас завода с кранами и вагонетками и на первом плане — богатырь рабочий с обнаженным торсом и вздувшимися мускулами.

Послышался гудок автомобиля. Художник нервно подбежал к окну и посмотрел на высаживающихся лю-



дей — одного в военной форме, другого в штатском — в пальто, кепке и сапогах, и взволнованно сказал:

— Они...

Через несколько минут у входной двери раздался звонок, тот продолжительный и властный звонок, с которым входят власть имущие люди.

Художник бросился открывать.

Пришедшие не стали раздеваться и прямо вошли в мастерскую. Военный был высокого роста, с той спокойной неподвижностью лица, какая бывает у высокопоставленных людей, которые не чувствуют неловкости или необходимости быть стеснительно-вежливыми с хозяевами.

Штатский, более скромный и тихий человек, очевидно, выдвинутый из рабочих на высокий пост начальника искусств, часто поглядывал на военного, как бы справляясь с его впечатлением.

— Ну, покажите, покажите, — сказал военный, обращаясь к художнику, но глядя не на него, а на картину, как знатный заказчик глядит на исполненный мастеровым заказ.

— Вот, извольте посмотреть, — проговорил художник с красными от волнения щеками. Он с излишней суетливостью, которую сам видел в себе, как бы со стороны, бросился к картине завода и стал ее подвигать, чтобы дать наиболее выгодное освещение.

Военный, отставив одну ногу и несколько откинув назад голову, с прищуренным глазом, молча смотрел на картину.

Штатский тоже смотрел, изредка взглядывая на военного.

— Я здесь дал всю картину выплавки чугуна, — говорил торопливо художник, как бы боясь, что высокий посетитель отойдет от картины раньше, чем он успеет рассказать ему ее смысл. — Причем, обратите внимание, все детали завода изображены совершенно точно. Я работал над ней два месяца на заводе. Даже части машин и те технически совершенно правильны. Вот, например, паровой молот... обратите внимание. Это совершенно точное воспроизведение.

А это школьная экскурсия — сближение учебы с производством, — руководитель объясняет им процессы работы. Вот здесь с флагом — группа колхозников — шефов над заводом. Они пришли приветствовать рабочих по поводу выполнения плана. А вот это группа единоличников. Они стоят совсем в стороне.

— Как они рты-то разинули! — сказал, засмеявшись, военный.

Штатский, взглянув на военного, тоже засмеялся.

— Сразу видно, что единоличники, — сказал он, — в лаптях и в рваных полушубках...

— Я хотел показать завод не в индустриальном, а в социально-революционном его значении, — сказал художник, как ученик, которому неожиданно поставили лучший балл, и он с красными от радостного волнения щеками сам уже разъясняет свои достижения.

— А там дальше — шахта, из которой добывается руда. Ее в действительности там не было, но я соединил это для большей наглядности.

Военный еще несколько времени постоял перед картиной и, подавая художнику дружески руку, сказал:

— Поздравляю вас с блестящей победой над собой. Вот вы и перестроились и стали давать искусство, нужное эпохе.

Штатский тоже подал руку художнику, покрасневшему от похвалы.

— Как у вас со снабжением? — спросил военный.

— Плохо. Я не приписан ни к одному распределителю.

— Это мы все устроим. Художники, идущие в ногу с эпохой, не должны нуждаться ни в чем. А это что?.. Старые грехи? — спросил военный, увидев в углу пейзаж с грозой. — Или, может быть, и теперь пишете?..

Художник испуганно оглянулся и, весь покраснев, видимо, от мысли, что его заподозрят в некрасивом поведении, уже по-другому торопливо сказал:

— Да это старые грехи... пейзаж... я даже не кончил его... бросил уже давно, потому что почувствовал его полную ненужность.

Военный, не слушая, подошел к неоконченной картине и долго молча стоял перед ней, потом почему-то потянул в себя воздух и сказал:

— Дождем-то как пахнет!.. Долго работали над ней?

— Три года...

— Три года! — воскликнул штатский, посмотрев на военного. — За это время сколько полезных картин можно было бы написать.

— Ну, еще раз поздравляю, — сказал военный, не ответив на слова и взгляд штатского.

Достав перчатки, он хотел было идти, но от двери еще раз оглянулся на пейзаж.

— Да, определенно пахнет дождем и дорожной пылью, — сказал он с веселым недоумением, — а ни пыли, ни дождя нет, есть только холст и краски. Как вы достигли этого?

— Я об этом сейчас совсем не думаю и не интересуюсь, я весь сейчас в этой картине, — сказал художник, показав на картину завода, — И знаете, — с порывом приподнятой искренности сказал художник, — когда я ее написал, я вдруг почувствовал, что у меня нет оторванности и замкнутости в одиночестве, что благодаря ей я нашел путь к слиянию с жизнью массы, иду с ней, дышу одним с ней воздухом.

— А, это великое дело, — сказал военный уже от двери, все еще продолжая смотреть с прищуренным глазом на картину грозы. — Но лучше поздно, чем никогда. Душевно рад за вас.

Он подал художнику руку и пошел. Штатский точно так же пожал руку хозяину. И они оба ушли. Военный, садясь в автомобиль, сказал:

— Сколько я ни смотрю современных картин, просто оторопь и тоска берет. Какие-то наглядные пособия для школы первой ступени. А ведь среди них есть первоклассные мастера. В чем тут дело?.. Иногда даже приходит в голову нелепая мысль: «Уж не смеются ли они над нами?» Не может же в самом деле талантливый человек не видеть, какую бездарь он производит!

Он, видите ли, выписал самым точным образом все детали машин, на кой-то черта они нужны в искусстве, все тут соединил — и колхозников, и единоличников, и экскурсии. У нас в училище висели сытинские издания — так точь-в-точь! И зачем мы только тратим на эти заказы такие деньги?.. Для наглядных пособий

довольно бы работ учеников ремесленных школ. Бедность мысли и однообразие тем ужасающее: завод спереди, завод — сзади. Рабочий с молотом, рабочий без молота. И везде трубы, колеса, шестерни.

— Ну как же, Иван Семенович, у него все-таки строительство показано.

Военный замолчал, очевидно не желая вступать в пререкания.

Художник вернулся в комнату, нервно шершавя волосы с тем взволнованным и возбужденным видом, какой бывает у всякого художника, только что проводившего похваливших его работу гостей.

Художник, как бы проверяя какое-то высказанное посетителями впечатление, остановился перед пейзажем с грозой.

— Да, действительно, живет! — сказал он, при этом раздвув ноздри, даже потянул воздух к себе, как это делают, когда после душного летнего полдня зайдет с юга грозовая туча, над землей пробежит сумрак и в свежем воздухе запахнет дождем и дорожной пылью.

Он еще некоторое время постоял перед картиной, потом, вздохнув, перевернул ее лицом к стене и задвинул в самый дальний угол, чтобы предотвратить возможность попасться на глаза неожиданным посетителям.

Потом подошел к картине завода с его красной трубой и колхозниками, постоял перед ней и вдруг, весь сморщившись и взявшись обеими руками за голову, сказал:

— Позорно!.. Омерзительно!..

[1931]

# Картошка

(Посвящается головотяпам)

На дворе многоэтажного дома

с большими подвалами стояла толпа народа: рабочие в пиджаках, женщины в платочках, интеллигенты.

Все они смотрели в раскрытую дверь подвала с таким выражением, с каким смотрят на дверь дома, где лежит покойник.

— Что же с ней теперь делать-то? — спросила одна из женщин.

— Что с ней делать — это-то известно: конец ей теперь один, а вот как делать — это вопрос другой...

— Прямо жуть что делается, от Сенной площади слышно.

— Лучше не заблудишься, сразу домой дорогу найдешь, особенно ежели пьяный, — сказал рабочий в кожаной куртке с хлястиком позади.

Пробегавшие мимо ворот пешеходы испуганно хватились за носы и спрашивали:

— Чтой-то тут такое?

— Картошка, — равнодушно отвечал кто-нибудь.

— Что ж вы ее до чего довели?

— А ты лучше бы спросил — нас она до чего довела? Скоро всем домом руки на себя наложим.

— А с чего с ней это сделалось-то? — спрашивала рябая женщина в платочке.

— С чего... Помещение не приспособлено: в подвале трубы от отопления, ну, она и распустила слюни.

Во двор вошла бригада из пяти человек. Один из них, в распахнутой овчинной куртке и высоких сапогах, бодрым шагом начальника подошел к раскрытой двери подвала, откуда шел какой-то пар, и скрылся в этом паре. Но через минуту вылетел обратно.

— Ага, — сказал кто-то из толпы, — вышибло? Это, брат, тебе не канцелярия райкома.

— Вот что, — сказал бригадир, — это зараза, и больше ничего.

— Благодарим за разъяснение, — отозвался комендант в телячьей фуражке, — ты сейчас только сообразил, а у нас уже целую неделю форточек по всей улице открыть нельзя.

— Ну, и значит — конец ей один: на свалку. Или вообще как-нибудь уничтожить.

— А вот в том-то и вопрос, как ее уничтожить. Тут, брат, все средства перепробовали, всем своим хозяевам объявляли, что могут бесплатно брать сколько угодно. И те отступились.

— А вон видишь, лезут работнички-то. Хороши? — сказал он бригадиру, кивнув на дверь подвала.

Из подвала вышло человек десять жильцов дома, мобилизованных для переборки картошки. У всех глаза были мутные, осоловелые. Задний, интеллигент, очевидно ослабевший более других, остановился, повел глазами и уныло сплюнул.

— Что же так рано?

— Укачало очень... Туда только в масках противогазных лазить.

— Еще чего не хочешь ли? Пойди, опростайся, только всего и разговору.

Комендант, вдруг решившись, спустился в подвал. Но сейчас же выскочил оттуда и плюнул.

— Сволочи работнички, что же вы наделали?..

— А что?

— «А что»? Ведь вы на отобранную хорошую-то прелой навалили. Что цельную неделю отбирали, то вы в один день изгадили.

— А черт ее разберет, где она хорошая, где плохая. Она в грязь вся: что ее, на зуб, что ли, пробовать?

— Да ведь вам сказано: направо — хорошая, налево — плохая. А вы что?

— Да ведь это как стоять... Ежели туда передом — будет направо, а ежели задом, выходит налево.

Во двор вбежал какой-то человек с напряженным и растерянным выражением лица.

— Вам что?

— Извините, уборная где тут?

— Вы грамотный или нет? На воротах, кажется, ясно написано, что общественной уборной не имеется, — сказал комендант.

— А я было на ветерок бежал...

— Он «на ветерок» бежал. Тут, брат, этот ветерок по всей улице гуляет. Этак за три версты сюда будут прибегать.

Заблудший сконфуженно скрылся.

— И как на грех площадь близко, — сказал рабочий в кожаной тужурке. — Как базарный день — народу съедется пропасть; настоятся там за день, так не отошьешься: они все сюда, как мухи на мед.

Комендант встал с бревна, на которое присел было отдохнуть, и, подойдя к подвалу, крикнул:

— Ребята, ну, как у вас там?

— Страсти господни.

— Где тут хорошая? — послышался голос из подвала.

— Направо хорошая, налево плохая.

— А как направо: задом к двери или передом?

— Задом...

— Ну, значит, направо.

— Мать честная, а мы налево навалили.

Комендант бессильно махнул рукой и сказал:

— Черт с вами, валите, куда хотите, она все равно нас доконает, и задом и передом.

## Верное средство

**Н**а платформе маленькой станции

в ожидании поезда сидело несколько человек: малый лет двадцати в клетчатой кепке и теплой куртке с хлястиком, рабочий в кожаной куртке и человек в брезенте.

Малый в кепке грыз семечки и выплевывал очистки на доски платформы.

— Что ж ты соришь-то! — сказал рабочий, посмотрев на него.

— А что ж, подметут..

— Дурацкая голова, за всеми и подметать?

— Они за это деньги получают.

— Вот упорный человек-то, — отозвался человек в брезенте с мешком, сочувственно слушавший замечания рабочего.

— Не упорный, а просто мы уже привыкли, как свиньи: где посидели, там после себя навоз и оставили.

— Что в самом деле, будет тебе сорить-то, — сказала одна из женщин в платочке, — уж теперь ребят к чистоте приучают, а ты, вишь, дылда какой, этого не понимаешь.

— Да уж это в плоть и кровь у нас въелось, — сказал рабочий. — И отчего, скажи на милость, ни один народ, должно, в такой грязи не живет, как мы? Вон в Москве урны везде для окурков наставлены, а иной раз видишь, идет интеллигентный человек с папироской, докурит, потом оглянется и бросит окурочек на тротуар — лень ему до урны донести.

— Этот хоть оглядывается, а другие сидят рядом с этой урной и на пол бросают, — сказал человек в брезенте, — потому уж спокон веков привычка такая: поел — бросил, покурил — бросил.



— Ну что ж, хорошо это, словно свинья посидела, — сказала одна из женщин, обратившись к малому и указав на просоренную очистками платформу.

— Ему хоть кол на голове тещи. Теперь что-то плохо смотреть стали, а прежде, как только штраф за сор ввели, сколько народу нагревали: окурки бросит — готов, плати рублевку. Я бы не рублевку, а трешницу наложил, чтобы лучше помнили. А то это вроде как вторая природа, — сказал рабочий.

— Да, уж насчет сору и грязи наш брат первый человек.

— Возьми хоть нашего брата рабочего. Зайдешь в местком, сидят все в шапках, на столе всего навалено, везде окурки, грязь, курят, плюют, окурки бросают. Только вот в клубах чистоту строго держат.

— Небось, штраф?

— Штраф, первое дело.

— И никаких объяснений?

— Никаких! Ты ему объясняешь: нехорошо, мол, сорить, так он с тобой в рассуждения ударится, не хуже вот этого, — сказал рабочий, кивнув на малого, — а как сказал ему: ну-ка, плати, так куда твои рассуждения, куда весь форс денется!

— Да, это средство верное.

— Нас только этим и можно брать.

— Ну что ж, тебе легче стало от того, что ты насорил тут? — сказал рабочий, закуривая папиросу.

— Легче, — сказал малый. — Что ж, я и буду полны карманы очисток носить?

Из вокзала вышел милиционер в шинели внакидку и пошел по платформе. Проходя мимо сидевших, он остановился:

— Кто это набезобразничал?

Малый побледнел и так и остался с подсолнухом во рту, который он только что разгрыз.

— Это все он наработал, — сказал рабочий, — мы ему тут целые лекции прочли, а он в то время и еще горсти две слушил.

— Плати, — сказал коротко милиционер и полез во внутренний карман шинели за книжкой с квитанциями.

— Я больше не буду, дяденька, — заговорил мальй, — я забыл, что нельзя.

— Ничего, лучше будешь помнить, — отозвался рабочий. — Вот, ей-богу, до чего хорошее средство: десять человек ему сидели говорили и уговаривали — ничего, а подошел один, и не спорит, только прощения просит.

— Так только и можно обучить, — сказала одна из баб, — этот хоть озорничает, а другой просто по привычке валит все около себя.

Мальй, совершенно присмиривший, качая головой сам с собой, полез в карман и достал из кожаного кошелька рублевку.

— Вот тебе и заработал, — сказал он сам с собой.

— Ничего, зато в последний раз, теперь хорошо помнить будешь, — сказал рабочий и щелчком бросил докуренную папиросу на платформу.

Милицонер выдал малому квитанцию и повернулся к рабочему:

— Плати, — коротко сказал он.

Рабочий удивленно раскрыл глаза:

— Что — плати?

Милицонер молча указал на брошенный окурок.

— Чтоб тебе черти! Неужто это я бросил? Товарищ, я подниму!

— Плати!

Рабочий вынул кошелек и достал рублевку; молча взял квитанцию и пошел. Отойдя несколько шагов, он озлобленно махнул рукой и, плюнув, сказал:

— Насажали вас тут, чертей!

Человек в брезенте посмотрел ему вслед.

— Ничего, милый, лучше помнить будешь. И до чего верное средство, ей-богу! Даже спорить не стал.

## Теплый ветер

**Н**овый заведующий издательством

устроил совещание с писателями, на котором сказал:

— Мои предшественники вели, на мой взгляд, неправильную политику: они избегали изображения отрицательных явлений и иногда расписывали о необычайных достижениях там, где нужно было кричать «караул» и тащить этих достиженцев на скамью подсудимых.

— Аллилуйя, значит, петь достаточно? — спросил один из писателей, сдвинув очки на лоб и посмотрев на заведующего.

— Довольно, — сказал тот. — А то писать так, и только так, — значит представлять хозяину фальшивые счета...

Речь заведующего произвела на писателей глубокое впечатление.

— Наконец-то теплым ветром повеяло!

— Вот, например, — продолжал заведующий, — я знаю, что в сахарной промышленности назревает жестокий прорыв, потому что руководство попало к заведомым оппортунистам. Я предлагаю писателям проехать в сахарный район и написать повесть или лучше роман на тему об этом прорыве, чтобы общественность всколыхнулась от тревожного сигнала.

Итак, товарищи, за дело! Поезжайте, пишите не спеша и по совести.

Прошло пять месяцев. Однажды секретарь издательства вбежал к заведующему и, потрясая какую-то рукописью, крикнул:

— Вот она, матушка, получил!

— Что, или о сахаре?

— О нем, дьяволе!

— Ну и что?

— З-замечательно! Вот действительно теплым ветром повеяло.

Заведующий взял рукопись и ушел к себе. На другой день он позвал секретаря и взволнованно сказал ему:

— А знаете, ведь и в самом деле значительная по своей новизне и правде вещь.

— Верно, верно.

— И как ловко и беспощадно дана у него картина обжуливания, очковтирательства — и в отчетах по сдаче сырья и повышению процентов продукции и ударности выполнения плана. Тогда как в действительности половина выкопанной свеклы поморожена, а целая четверть ее осталась в земле. Вот вам и план.

— Да, да.

— И заметьте, что даже конца не смазал, не свел все к благополучному концу, как в добродетельных и идеологически выдержанных романах.

— То-то и ценно. Литература должна иметь право ставить в интересах той же власти тревожные вопросы при самом зарождении отрицательных явлений, а не после их разрешения административным путем. А то это все равно что вызывать пожарных, когда пожар уже потушен, — сказал секретарь. — Писатели в одно слово говорят, что теплым ветром с вашим выступлением повеяло. Теперь, говорят, можно и об энтузиазме писать.

Заведующий задумался, потом посмотрел на рукопись, как бы вспомнив о ней, и сказал:

— Да, именно теплый ветер.

Потом, почесав брови, прибавил:

— Только вот тут какое обстоятельство он взял председателя сахаротреста как оппортуниста и даже жулика. Но ведь это не газетная статья, а роман... значит, касается не одного конкретного случая, а является обобщением... Понимаешь, какие выводы из этого могут сделать?

— Понимаю, — сказал секретарь, — это выходит, по-нашему, что все председатели сахарных трестов оппортунисты и жулики.

— А почему только сахарных? — сказал заведующий. — Тут, брат, могут понять шире и обвинить нас в

том, что мы хотим такими представить вообще всех председателей всяких трестов.

— Это верно, — согласился секретарь и прибавил: — А почему только председателей трестов? Могут вывести заключение, что всех коммунистов хотим такими представить, потому что ведь председатели трестов-то — коммунисты.

Заведующий почесал в затылке.

— Да, вот это загвоздка. Неужели придется отказаться от романа?

— Невозможно! О нем, оказывается, уже везде раззвонили, все знают, что мы готовим замечательный разоблачительный роман. Председатели трестов и совхозов в панике, потому что у многих есть одинаковые грешки. Все боятся узнать самих себя в романе, а главное, боятся, как бы другие не узнали в них героев романа.

— Как же тогда быть?.. Может быть, его немножко сгладить? Как думаешь? Чтобы не было уж очень больших резкостей?

— А что ж, можно, — согласился секретарь.

— А роман от этого не пострадает?

— Нет, ничего, — ответил секретарь, не задумываясь.

— А вдруг автор не согласится на переделки?

— Нет, согласится, они у нас уже привыкли. Да ему и отдавать не нужно, у нас Михаил Иванович хорошо переделывает. Он уж приспособился к требованиям цензуры.

— Ну тогда великолепно, — сказал заведующий. — Обратите его внимание на то, что у автора изображена измена мужа, спутавшегося с фокстротной девицей, ревность жены. Все это жизненно верно, но как-то неудобно по отношению к коммунисту, какая-то обывательская психология. Жена стоит на морозе, чтобы нарочно простудиться. Как-то иначе это нужно сделать.

— Михаил Иванович учтет все.

— Потом, в романе половина свеклы осталась в подвале, подвоз организован безобразно, подводы ждут очереди по целым суткам и уезжают обратно. Где же тут хоть сколько-нибудь видна большевистская работа? Если такая работа показана в романе, то, значит,

речь опять идет не об одном конкретном случае, налицо опять обобщение.

— Понятно само собой.

— Ну, ладно, валите. Мне потом просматривать не нужно будет?

— Что ж после Михаила Ивановича просматривать? Я и то не буду.

Секретарь взял рукопись и пошел в отдел массовой литературы. Там в углу за небольшим столом сидел скромный и тихий, подслеповатый человек, с корявыми пальцами, желтыми от табака.

Секретарь положил перед ним толстую рукопись.

— К завтраму переделать: уничтожить обывательскую психологию у коммунистов, смягчить изображение главного героя и вообще, что требуется для цензуры.

Михаил Иванович только молча посмотрел на секретаря и, обтерши руку о штаны, подвинул к себе рукопись.

О книге стали говорить раньше, чем она появилась в печати, и с нетерпением ждали ее появления.

Председатель облисполкома, в районе которого был сахаротрест, одним из первых получил книгу. Прочел, в восхищении хлопнул по ней рукой и сказал:

— Вот как надо работать. А я еще сомневался в руководстве сахаротреста. Ведь с натуры писано: картина уборки свеклы одна чего стоит. Ни одного корешка не пропало. Мужики, охваченные энтузиазмом, везли ее в теплых одеялах до станции и тем спасли от мороза.

А женщина как благородно выведена. Ни ревности, ничего обывательского, простая логика: если ты меня разлюбил, разойдемся по-большевистски, иначе это мешает производству сахара.

И муж, попавший в сети белогвардейской шпионки под видом фокстротной девицы, сразу раскусил ее и отправил в ГПУ, так что она даже не успела ничего навредить. А он опять сошелся с женой. И производительность сахара поднялась до ста тридцати семи и одной четвертой процента.

В очередном заседании исполкома председатель поднял вопрос о занесении на Красную доску председателя сахаротреста и о даровании ему грамоты.

— Хотя в романе и не сказано, что это наш председатель, но все это прекрасно знают.

А через две недели после этого изображенный в романе председатель сахаротреста получил зараз две бумаги: одну о занесении его на Красную доску за блестящую работу в сахаротресте, другую с предложением явиться в ГПУ для дачи показаний о преступной деятельности в сахаротресте — о причине погубленной свеклы, часть которой осталась неубранной, часть померзла при доставке, так как подводы ждали очереди по двое суток на морозе. Дальше шли обвинения в утайке сырья при сдаче, в злостном разбазаривании его путем уплаты сырьем за работу и в срыве плана заготовок.

А еще через неделю заведующий издательством, в котором печатался роман, вызвал к себе секретаря, сначала молча показал ему книгу, вышедшую после переделок Михайла Ивановича, и газету с заметкой об аресте председателя сахаротреста, потом сказал:

— Наложили вы мне со своим Михаилом Ивановичем по самую маковку... Сволочи вы и больше ничего!..

[1932]

# Московские скачки

**П**о проезду бульвара вдоль трамвайных

рельсов растерянно бегало несколько человек с таким видом, с каким бегают охотничьи собаки, потерявшие след дичи.

— Что за черт, куда ж остановка-то делась?

— Вон она! Ее вперед на полбульвара махнуло.

Все бросились вперед и через минуту выстроились в очередь на новой остановке.

Их догнал какой-то веселый парень в кепке на затылке.

— Остановку-то опять перенесли? А я, собака ее возьми, минут десять на прежней простоял. Вон там уж опять народ собирается.

В самом деле, вдали, посередине бульвара, уж набралось человек десять. Нахохлившись под дождем, они терпеливо ждали. И как только показался трамвай, быстро построились в очередь.

Но трамвай прокатил мимо. Все удивленно смотрели ему вслед.

— Стойте, стойте! Куда ж поехали-то?

Потом, спохватившись, бросились догонять его на новой остановке.

Впереди неслась полная дама в черном пальто, с большим бюстом и в шляпе. За ней, перемахивая через лужи, малый с пустым мешком, за малым — рабочий, за рабочим — интеллигент в очках, со снятой кепкой в руке.

Веселый парень посмотрел на бежавших и крикнул:

— Московские скачки открыты! Ставлю на вороную в кепке!

Бежавшие подоспели к остановке как раз в тот момент, когда трамвай тронулся и уехал у них из-под самого носа. Полная дама, дышавшая как паровоз, отстала. Парень в кепке с досадой плюнул и сказал:



— Подвела, чертова тумба! Последней к финишу пришла. А с места как было хорошо взяла.

Рабочий покачал головой и сказал:

— Четвертый раз на завод опаздываю. С черной доски цельную неделю не слезаю. Вот все гоняю таким манером.

Полная дама, тяжело дыша, обратилась к стоявшим:

— Скажите, пожалуйста, для чего это каждый день меняют остановки?

— Для удобства публики... — огрызнулся интеллигент в очках.

— Зачем-то еще много промежуточных остановок отменили.

— У них буква «А» скоро вовсе без остановки по бульварам будет ходить. Кто сядет — тому премия.

Полный человек в шляпе, подбежав, растерянно посмотрел на табличку с номерами.

— Что это?.. Разве двадцать девятый здесь не ходит?

— Еще вчера кончился.

— Ну, я на автобусе... Черт возьми, и автобусную перенесли! — И полный человек, придавив шляпу ладонью, бросился куда-то вперед.

— Вот взбегались-то, — сказал рабочий, покачивая головой.

— Для толстяков теперь раздолье, — заметил парень в кепке, — бесплатная гимнастика. Денек так побега-ет, глядишь, сбавил кило два.

Подошел трамвай, и впереди толстой дамы кинулся откуда-то взявшийся сезонник с двумя мешками. Они у него были перекинuty на полотенце через плечо.

— Куда вы лезете! Вы последним подошли! — кричала полная дама, работая локтями в общей каше.

— Туда же, куда и все... — не кричал, а уже хрипел сезонник, так как и другой мешок перекинулся ему за спину и, оттягивая его назад, полотенцем душил за горло.

Вагон тронулся. Руки полной дамы соскользнули, она своей тяжестью оборвала целую гроздь пассажиров, висевших за ее спиной, и со всего размаха села в лужу.

Веселый парень схватился за затылок и сказал:

— Мать честная!.. Аж земля дрогнула!

Но в это время подошел еще вагон. Полная дама бросилась в него. Сзади на нее напирал штукатур, весь до ресниц белый от штукатурки.

— Не смейте прикасаться! Вы пачкаете! — кричала полная дама.

— Проходи, проходи! Сама хороша, вишь, как весь комод себе разукрасила.

И полную даму с грязным задом и белой спиной за-сосало внутрь набитого вагона.

— Утрамбуйте ее там покрепче! — крикнул парень и сейчас же заорал не своим голосом: — А вон дупят двое, глянь, глянь!

Все оглянулись налево. По проезду бульвара шел полным ходом трамвай, а наперехват ему от прежней остановки во все лопатки с шапками в руках неслись два гражданина, один в черном пальто, другой в желтом, верблюжьей шерсти, и в больших калошах.

— Вот это рысь! — сказал с восторгом веселый парень и крикнул: — Ставлю на гнедого в калошах!

Мещеров, заведующий, проходя

по коридору, наткнулся на кучку сотрудников, которые стояли в уголке и, надрывая животы, чему-то смеялись.

Хотя это был непорядок, но заведующий, слывший великолепным человеком, не сделал им выговора, а, как бы по-товарищески заинтересовавшись, подошел и спросил, в чем дело, наперед уже улыбаясь. Сотрудники, захваченные за бездельем, смутились. Стыдно было хорошему начальнику показаться в некрасивом свете: за болтовней и смехом в служебные часы.

Тогда один, покраснев, сказал:

— Да вот, товарищ Мирошкин замечательные эпиграммы пишет. До того талантливо, что просто сил нет.

— Что вы говорите, это интересно! — сказал заведующий. — На кого и на что он пишет?

— Да на все и на всех. Только некоторые из них очень... с политической стороны... просто неудобно.

— Ничего, ничего, в своей семье можно, вы ведь знаете, я как раз отличаюсь «гнилым либерализмом», — сказал, улыбаясь, заведующий.

— Ну, Мирошкин, прочти, не стесняйся, товарищ Мещеров не взыщет строго, — заговорили служащие, обращаясь к молодому человеку в узеньком пиджачке с короткими рукавами, из которых далеко выходили его красные руки.

Тот, сконфузившись, стал быстро отказываться, но на него надели уже все, и он, откашлявшись, прочитал:

«В одном нашем отделе  
Что-то не видно работы.  
Мало говорят о деле,  
А рассказывают анекдоты».

Заведующий, усмехнувшись, покачал головой, как качают при очень скользких вещах, и сказал:

— Остро, остро... А ну-ка еще что-нибудь. Про сотрудников есть?

— Есть, — сказал автор, поднял глаза кверху, подумал и сказал: — Вот:

«У нас есть общественник,  
Издает стенгазету,  
Любит блага естественные  
И предан Фету».

Заведующий расхохотался.

— Это, конечно, Степанов? Пишет о пятилетке, а сам нет-нет, да продекламирует лирические стишки.

— Товарищ Мещеров, а Степанов ведь обиделся.

— Чего ж тут обижаться! Я не обижаюсь, когда про мое учреждение пишут. Как у нас люди самолюбивы! Других критикуют с удовольствием, а как самих коснутся, так и не нравится. Нет, знаете, у вас, несомненно, сатирический талант, его надо развивать, я с удовольствием вам помогу. Нам сатира нужна. А на меня есть эпиграмма?

— Нет, не написал еще, — сказал автор, покраснев. Заведующему показалось немножко обидно: как будто выходило так, что его персону так мало занимала собой внимание сотрудников, что о нем даже не подумали.

— Ну, когда напишете, тогда скажете, — сказал он, уже несколько холоднее обращаясь к автору.

Наконец однажды один из служащих, подавая ему утром на подпись бумаги, сказал с застенчивой улыбкой:

— А Мирошкин все-таки написал на вас эпиграмму.

— А, это интересно. Что же он не придет и не прочтет?

— Стесняется. И... боится.

— Глупости, глупости, вы видите, как я отнесся даже к такой эпиграмме, в которой высмеивалась работа нашего учреждения.

Сотрудник ушел и через несколько времени привел автора, а за ним в кабинет набилось человек десять сотрудников, которые ободряюще подталкивали его. Некоторые из них даже сели в кресла для посетителей, как будто недоступный прежде для них кабинет начальника превратился в зал-кабаре.

— Ну, что же, говорят, написали и на меня?

— Написал, — сказал автор, покраснев, в то время как рассевшиеся в креслах сотрудники с видом гостей переглядывались с начальником. В кабинет заглянул управляющий делами и удивленно обвел глазами сидевших в креслах третьестепенных сотрудников.

— Петр Петрович, что же, все-таки отправлять Фролова в Ленинград?

— Нет, я, кажется, дам эту командировку другому.

— Очень рад, он совсем не годится.

— Подождите минут десять, я вам потом скажу.

И когда озадаченный управляющий, еще раз оглянув рассевшуюся компанию, вышел из кабинета, заведующий запер дверь и сказал:

— Ну, давайте, давайте!..

Мирошкин, у которого в его красных руках была свернута в трубочку тетрадка, проглотил слону в пересошем рту и прочел:

«Всем хорош наш начальник Мещеров,

Один лишь дефект: ноздри его, как пещеры».

Заведующий приготовил свое лицо на поощрительную улыбку, как его готовит человек, которому предстоит услышать что-нибудь про себя и он этой улыбкой хочет показать, что стоит выше мелкого самолюбия и умеет быть либеральным и объективным даже относительно вещей, направленных против него.

Но со второй строчки он почувствовал, что улыбка не удержится у него на лице.

Во-первых, его обидело то, что эпиграмма была явно дубовая и бездарная по форме, вторая строчка не ладилась по размеру с первой. А потом, и содержание ее как-то задело заведующего.

— Ну, это уж неудачно, — сказал он, — и мелко по содержанию, и никуда не годится по форме. Я думал, что вы возьмете какую-нибудь черту моего характера или деятельности, а вы взяли наружность. При чем тут наружность?

У сотрудников на лицах появились сконфуженные улыбки. Больше всех был смущен сам автор.

— Да, это у меня не совсем удачно... Я ведь не хотел читать, это вот они...

Несколько сотрудников, сидевших ближе к двери, сделали вид, что им что-то нужно, и вышли из кабинета, как выходят зрители при провалившейся пьесе.

— Вас слишком захвалили, — сказал начальническим тоном заведующий, — вот вы и снизились. — Он говорил это, а сам, видя обращенные на себя взгляды слушающих его сконфуженных сотрудников, вдруг почувствовал в своем носу странную неловкость.

И когда сотрудники, смущенные, покинули кабинет, ему вдруг захотелось посмотреть на свой нос и именно на ноздри, на которые он как-то никогда не обращал внимания. Он пошел в уборную и посмотрел в зеркало.

— Нос как нос, — сказал он сам себе, — но, в самом деле, ноздри как будто великоваты. И как это он сразу заметил, мерзавец, я всю жизнь ходил с ними и не обращал на это внимания.

Когда он вышел из уборной в коридор, где проходили сотрудники с бумагами и были посетители, он почувствовал еще большую неловкость в носу, какая бывает, если на нем есть какой-нибудь посторонний предмет, какая-нибудь наклейка. И он поскорее поспешил пройти людное место и войти в свой кабинет.

Его раздражало больше всего то, что он сам поддавался этому ощущению и никак не мог отделаться от него.

— Глупо еще то, что я расхвалил его слишком поспешно. Теперь будут говорить, что написанное про других я хвалил, а как у самого подметили правильную, но не совсем приятную черточку, так это мне не понравилось.

Даже выйдя на людную улицу, заведующий продолжал чувствовать наклейку на носу, ему уже казалось, что все встречные пешеходы смотрят на его нос.

— Что ты все нос трогаешь? — спросила его жена, когда сидели за обедом. — Болит, что ли?

— Нет, ничего, — ответил заведующий, покраснев. Придя на следующий день в учреждение и столкнувшись в коридоре с управляющим, он сказал:

— В Ленинград пошлите Фролова.

— Как Фролова, ведь он дурак форменный! Вы как будто хотели другого.

— Нет, пошлите его. А этого Мирошкина уберите от меня куда-нибудь, чтоб я его не видел. Это бесталан- ный, глупый и даже вредный человек.

## В крытом помещении Северного

вокзала стояла толпа пассажиров, ожидая выпуска на платформу.

То и дело вбегали запоздавшие с чемоданчиками в руках и растерянно спрашивали у стоявших:

— На Пушкино не выпускали еще? На Щелково куда становиться?

— По радио объявят, тогда узнаете, — отвечали спрошенные, кивком головы указывая на железный рупор под потолком.

Женщина с корытом посмотрела по указанному направлению и ничего не поняла.

Вдруг в рупоре что-то кашлянуло на весь вокзал и простуженным голосом сказал:

— Внимание!

— У, чтоб тебя... испугал до смерти! — вскрикнула женщина с корытом.

— Внимание... В двенадцать часов двадцать минут поезд отправляется на Пушкино. Идет передняя секция 9 платформы номер шесть. Выход на платформу через проходы БЕ, ВЕ.

И сейчас же кругом послышалось:

— В какие проходы: БЕ, ВЕ или ВЕ, ГЕ?

— Собака их разберет — БЕ, ВЕ или ВЕ, ГЕ. Пустили эти буквы вместо номеров, никогда ничего не поймешь.

— А что такое секция? — несмело спросила женщина с корытом.

Человек с портфелем недовольно оглянулся и сказал:

— Вот вам еще лекции читать о том, что такое секция... Ну, часть, отделение — понятно?

Женщина ничего не ответила, только посмотрела на человека с портфелем и отошла.



— На Пушкино проходы БЕ, ВЕ или ВЕ, ГЕ? — спрашивали друг у друга в толпе.

— Кажется, ВЕ, ГЕ. А впрочем, не знаю, — сказал человек в очках, — я в это время закашлялся и не разобрал.

— О господи...

Женщина с корытом, услышав вежливый ответ, подошла.

— Батюшки, а секция что такое?

— Какая секция? Кто говорил про секцию?

— А вот этот вот, — сказала женщина, нерешительно указывая на рупор под потолком.

— ...Не знаю... При чем тут секция?..

Вдруг открылось сразу трое дверей. Все бросились вперед, крича на тех, кто, растерявшись, не знал, в какие двери бежать.

— Что вы тыкаетесь под ногами — ни туда, ни сюда!

— Простите, не расслышал — БЕ или ВЕ?

Женщина с корытом, боком волоча его, бежала вместе со всеми занимать место в вагоне.

— Господи батюшка, целый день только и знаешь, что бегаешь...

— На корыте бы на своем ехала, коли бегать не хочешь! — крикнул наткнувшийся на нее человек с мешком картошки. — Только дорогу загораживаешь!

Все бежали почему-то к передним вагонам. Женщина остановилась, тяжело дыша, у заднего и сказала:

— Ведь вот совсем свободный вагон, куда ж они дальше-то все бегут?

— Это уж такая дурацкая манера, — согласился подошедший человек с чемоданчиком в чехле, — в вагон войдут, так ни за что не сядут на первое свободное место, а все лезут куда-то дальше.

— Ну, что же вы задумались? Проходите в вагон или с дороги пускайте! — закричало с десяток голосов подбежавших пассажиров. — Целую прачечную с собой захватила!

Все полезли в вагон и бросились занимать места.

— А думали — не сядем...

— Если бы в передние пробежали, ни за что бы не сели.

— Там ужас что делается, — сказала позднее подошедшая дама в шубке с пушистым воротником и с красным, точно из бани, лицом. И, шумно вдохнув воздух, села напротив женщины с корытом.

Та посмотрела на нее и несмело обратилась:

— Матушка, а что такое секция?

— Секция — это... ну, как сказать?.. Вот, например, художественная секция, научная, — ответила дама, неопределенно пошевелив пальцами в воздухе. И обратилась к человеку с чемоданчиком: — Как ей объяснить, что такое секция?

Человек с чемоданчиком вскинул к потолку глаза и задумался.

— Секция — это известный отрезок, часть, группа... Черт ее знает, не знаю, как точно определить. — И, посмотрев на часы, прибавил: — Через минуту трогаемся. Тут уж точно. Только почему они дают гудок и в тот же самый момент трогаются?

Действительно, ровно через минуту раздался короткий глухой звук, точно кто-то дунул в духовой инструмент.

— Как в аптеке! — заметил, улыбнувшись с другого диванчика, человек в полушубке.

Женщина с корытом перекрестилась.

— Сызмальства привыкла перед дорогой, — сказала она, как бы извиняясь.

А стоявшие на платформе мальчишки с коньками почему-то сначала удивленно посмотрели куда-то направо к голове поезда, потом, показывая пальцами на сидевших в вагоне, чего-то покатались со смеху.

— Вот вам молодое поколение, — сказала дама в шубке, — женщина перекрестилась перед дорогой, ее на смех подняли.

— Нет, они как будто и на вас показывают.

Женщина осмотрела свою шубку и, ничего не найдя на ней, сказала:

— Им все равно, на кого показывать, — лишь бы похулиганить. Что будет из этого поколения...

Прошла минута. Вагон не двигался. Мальчишки продолжали бесноваться перед окном. К ним подоспела еще подмога из трех человек.

— Ну, вот это правильно, — сказал человек с чемоданчиком, — дал гудок — пережди с минуту, а то трогаются в самый момент гудка, какой смысл, спрашивается, когда не успеешь даже повернуться.

Вдруг дверь с грохотом отодвинулась. Вошел железнодорожный служащий в валенках.

— Вы чего сюда забрались?!

— А что?

— То, что идет передняя секция! Передние три вагона ушли, а вы тут, как сычи, сидите.

— Чтоб вас черт побрал с вашими секциями!

— Недаром у меня как сердце чуяло, — сказала женщина с корытом, — у всех спрашивала — никто не знает... На каком это языке?

— Ну, теперь будешь знать, — сказал служащий, — с месяц у нас тут поездишь, всем языкам обучишься. Выметайся!

**П** етушихин, нервный и подозрительный

человек лет тридцати, ехал в дальний совхоз для обследования животноводства.

Разговорившись в вагоне с соседом, он рассказал ему, куда и зачем едет.

— Держите ухо востро, — сказал спутник, — я уж собаку съел на этом деле и скажу откровенно: большой поклонник вот этой книжки (он указал на книгу, которая лежала на столике). Старина и в некотором роде лубок, конечно, но возбуждает мысль здорово, и вы начинаете верхним чутьем чутать, если около вас какое-нибудь преступление. Советую на ночь почитать. А от себя добавлю и повторю: держите ухо востро и ничему не верьте, когда производите обследование. Если вас ведут в одну сторону, то, значит, собака зарыта совершенно в противоположной стороне. А главное, не пользуйтесь нашими обычными методами. Ведь вы знаете, как у нас: приедут на место, соберут весь штат и начинают беседу с массами. Это ерунда! У меня был один раз случай. Приехал я на обследование, Там заведомые были воры и растратчики. Что же я сделал?

Как приехал, никуда не пошел. С массами беседовать стал. Предъявил документы, полномочия и сижую. День сижую, два сижую! Никуда! Ни синь порох. Смотрю: их уж разбирать стало. Сойдутся потихоньку и все что-то говорят; в чем дело? Почему ничего смотреть не хочет? Значит — берегись. А я как вечер, так незаметно шмыгну и все хожу мимо окон, прислушиваюсь. Смотрю, собрались трое в конторе, дверь заперли и что-то шушукуются. Потом, гляжу, половицу поднимают и деньги туда прячут.

Наутро я выхожу, собираю всех служащих и начинаю им докладывать все про их начальство (в присут-

ствии, конечно, товарищей из партийной организации), потом иду к половине и поднимаю. Те, конечно, побелели и повинились во всем.

— Да, — сказал Петушихин, нервно пошершавив волосы, — я тоже думаю, что ревизию нужно производить косвенным, так сказать, путем, а не путем открытых осмотров и бесед. Я уже начинаю волноваться, знаете ли.

— Волноваться нечего, а помните правило: раз вас ведут в одну сторону — идите в другую и слушайте не то, что вам говорят открыто, а то, что говорят потихоньку и без вас. А книжечку на ночь все-таки просмотрите.

Выходя утром из вагона и отдавая спутнику книжку, Петушихин сказал:

— Да, знаете, книжка дельная — у меня точно другие глаза раскрылись: она научает каждой мелочи придавать значение.

Когда он приехал, директор совхоза хотел было вести осматривать хозяйство, но Петушихин испытующе посмотрел на него и сказал:

— Я устал с дороги, осматривать буду завтра. — Ему не понравилось, что директор очень уж спокоен.

Спать его положили за перегородкой. Через полчаса он уже храпел, притворившись спящим. Вдруг он испуганно открыл глаза и, затаив дыхание, стал прислушиваться к тому, что происходило в соседней комнате.

Кто-то вошел туда на цыпочках и тихо спросил:

— Спит?

— Укачался. Должно быть, дорогой растрясло.

— Что же, начнем?

— Давай, — послышался голос директора. Он на цыпочках прошел в дальний конец комнаты, выдвинул, очевидно, какой-то ящик. Что-то следом загромыхало. Потом установилась подозрительная тишина. Только директор сказал негромко:

— Главное — решительность! — И чем-то стукнул.

— Главное спокойствие! — ответил другой голос и тоже чем-то стукнул. «Я вам покажу — спокойствие», — мысленно сказал Петушихин и вдруг замер...

Послышался голос директора. Он сказал:

— А зря ты спустил обеих лошадок. Это все твой паршивый офицеришко напортил тебе.

— Ежели лошадок и спустил, зато у меня два трактора в целости, кормить не надо. А вот твоей женотдельше каюк будет! В другой раз не будет лезть, куда не следует.

— Пока ей еще каюк будет, а я ее на твоего наркома выпущу.

«Что же это такое? — почти с ужасом подумал Петушихин. — Да тут целая воровская шайка или даже бандитская, даже нарком попал в их сети... мокрым делом пахнет...»

Разговор продолжался целый час, потом опять что-то загремело, послышались шаги на цыпочках, и все затихло.

Наутро Петушихин под видом прогулки бросился на станцию и послал телеграмму-молнию с сообщением об уголовщине, которая свила себе гнездо в совхозе. Потом пришел домой.

— Как спали? — спросил директор, как ни в чем не бывало, войдя к нему.

— Спал плохо. Очень дурные сны видел, какие-то разбойники все снились. — И посмотрел, прищурившись, на директора.

— Это, должно быть, с дороги. Может быть, книги сначала посмотрите?

— Нет, я книг сначала не посмотрю, — ответил Петушихин. Директор, удивленный странной интонацией приезжего, озадаченно посмотрел на него.

— Тогда прямо пройдемте осматривать?

Директор вышел и, позвав помощника, пошел впереди ревизора куда-то вперед. Но Петушихин сейчас же, указав в противоположную сторону, сказал:

— Не хочу туда, ведите сюда.

Директор удивленно оглянулся на него и сказал:

— Да ведь там колхозная земля...

Петушихин покраснел.

— Ну, тогда в конюшню ведите. Кстати, что у вас делает женотдельша? — невинно спросил он.

Директор с помощником переглянулись.

— Какая женотдельша?

— Ах, у вас нет женотдельши. Хорошо. Это я только так спросил.

Директор с помощником опять значительно переглянулись. Когда вошли в конюшню, Петушихин долго смотрел на стоявших в стойлах лошадей, обошел их всех, потом опять вернулся и, не глядя на директора, жестким тоном сказал:

— Двух не хватает...

— Как не хватает?! — удивленно сказал директор. — Лошади все тут.

— Ах, все? Очень хорошо. А бывших офицеров у вас на службе никогда не было?

— Сохрани бог! Откуда вы взяли?

— Нет, я ничего... так только спросил. Бывали иногда случаи.

Подошли еще служащие, и Петушихин ясно увидел, как каждый его вопрос попадает, очевидно, прямо в цель и производит подлинную сумятицу во всей этой компании. Один раз он вполглаза увидел, как директор, переглянувшись со своим помощником и с остальными, показал себе пальцем на лоб. Это означало, что он от страха ума решается.

— А с наркомом у вас личного знакомства нет? — спросил Петушихин.

— С каким наркомом?

— Нет, ничего, я только так спросил, — ответил Петушихин. И, к своему удовольствию, увидел, как у всех служащих полезли глаза на лоб. — Больше ничего не буду смотреть.

После обеда, оставшись один на один с директором, он спросил:

— А о чем вы, между прочим, вчера вечером говорили тут с кем-то?

— Я ни о чем не говорил... Не помню.

— Что же, вместо вас духи, что ли, разговаривали? А почему вы мне тракторов не показали?

— У нас тракторов нет, мы только подняли вопрос о них.

— Очень хорошо. Только очень плохо, что у вас память слаба — забыли, о чем вчера говорили, пока я спал.

Директор вскинул глаза к потолку, пожал плечами и сказал:

— Да ведь мало ли, что говоришь за шахматами, всего не упомнишь.

— А при чем тут шахматы?

— Да вчера вечером, когда вы спать легли, мы с помощником партии две разыграли. Может, о чем и говорили...

Петушихин почувствовал, что у него по спине точно поползли муравьи.

— А при чем тут трактора, лошади, женотдельша, нарком?

— Женотдельшей у нас королева называется, фигура. Трактора у нас — туры, нарком — король. Офицеров еще не переименовали.

Петушихину подали телеграмму: «Сообщено прокурору. Комиссия выезжает».

У Петушихина выступил на лбу холодный пот.

[1935]



# Лошади английского короля

1

**К**омсомольцы-ударники, работавшие

в колхозе, жили на площади против церкви в бывшем трактире. Трактир был двухэтажный, с кирпичным низом и деревянным верхом, с фонарем на углу, с коновязями.

Бывало, в зимние вьюги забеленные снегом мужики сворачивали с большака на огоньки трактира, привязывали лошадей у коновязи и шли в своих армяках греться чаем и водкой, в то время как собаки, забравшиеся в сани, свернувшись клубочком на подстилке, спали, запорашиваемые мелким сухим снегом метели.

На первый взгляд в деревне не было никакого колхоза. Стояли обыкновенные избы. Одни из нового леса недавно построенные, другие с поросшими мхом крышами и кое-где прорастающей крапивой. Лежали перед сенцами кучи хвороста, брошенный на обрубке выщербленный топор, и стояли покрытые рядом водовозки с раскалившимися на жару обручами.

Но уже за деревней, на месте бывшего помещичьего гумна, обсаженного по канаве липами, виднелись сваленные бревна, кирпич и бочки цемента для стройки первой общей колхозной риги. А за ригой, где шла большая дорога, начинались поля. Направо от дороги шли широким холстом — без меж — зеленеющие колхозные озимые, налево — изрезанное на узкие полоски поле единоличников, неровное и шершавое, как голова, остриженная неумелыми руками и тупыми ножами: на одном загоне высокая и густая рожь, рядом с ним — низенькая и тощая, с плешинами и вымочками.

Колхозные поля с двух сторон огибали единоличные, как будто наступали и оттесняли их, грозя им ги-

белью. Года два назад колхоза, который прилепился на краю поля, никто не боялся. Работали там плохо, бывали постоянные споры и склоки из-за того, кому ехать пахать, кому гнать скотину, легкую работу получали родственники заведующего. Урожай стоял небурным в поле чуть не до снега.

Но уже в прошлом году изменились порядки, приехали из города ударники, работа в колхозе стала сдельной, каждый отвечал за свою часть, особенно отличившихся снимали и посылали их портреты в газеты. Потом прислали машины, и колхозный клин стал постепенно расти. Те, кто кричали против колхоза, стали потихоньку перебегать туда, и поле единоличников все больше и больше оттеснялось к большому оврагу и суживалось.

Насмешки сменились ненавистью, ненависть растерянностью. Новая сила жестко и упорно шла вперед, захватывая все новые и новые позиции.

— Не тем, так этим, — говорили особенно упорные мужички, — на карточки поймали дураков, лестно им, что сняли: они уж на все за это готовы.

Но потом перестали и говорить, а просто молча растерянно затаились и не знали, что делать, чтобы не прогадать, записываться или не записываться. Если записываться, то нельзя ли сохранить все свое имущество отдельно от колхоза, а иные говорили: «Все равно наша жизнь пропала, теперь делай с нами что хочешь».

II

В бывшем трактире кипела жизнь. Ударников было одиннадцать человек: шесть ребят и пять девушек, они работали при колхозе, объединявшем шестьдесят дворов. У комсомольцев не было принципа специализации по линии личного призвания, все обязаны были делать всякую работу, но наравне с этим у каждого было свое ответственное дело: один ведал постройкой риги, другой был трактористом, третий организовывал работы с единоличниками, четвертый вел огородное дело. Тянувшиеся прежде за дворами полосы коноп-

ляников были распаханы под один клин и засажены свеклой, капустой и помидорами, которых никогда прежде здесь не садили.

Если среди них был художник, музыкант, то он делал то же, что и другие, и, кроме того, давал свою продукцию, если она имела значение и для общей работы. Его талант не расценивался как какой-то высший дар, требующий к себе особенного отношения. Отношение было одинаковое как к тому, кто занимался свеклой, так и к тому, кто обладал творческой способностью, на нее смотрели не как на его личное, а как на общее дело группы. И если это дело могло быть полезно колхозу в самом широком смысле — это было хорошо, но если требовалась для общего дела в данный момент простая физическая сила, то каждый, будь он хоть гений, в первую очередь должен был давать ее в помощь ударной работе, так как в этот момент главным была ударная работа.

Перед трактиром висел снятый с церкви колокол, в который звонили к началу работ, к обеду, к ужину. И около него всегда в это время торчали двое-трое деревенских мальчишек. Как только дежурный выходил звонить, они бросались к веревке и звонили до тех пор, пока кто-нибудь не запускал в них веником из окна.

Ребята жили внизу, девочки наверху, куда вела деревянная лестница с выточенными столбиками перил. Завтракали и обедали в бывшей лавке за большим деревянным столом, сидя на досках, положенных на бочки. А готовили в садике за домом, где была выкопана ямка и над ней поставлены из трех кольев, связанных сверху проволокой, козлы для котелка.

Когда дежурные чистили картошку и готовили завтрак, из соседнего двора всегда являлся гладкий толстый поросенок, которого прозвали Прогульщиком. Он подъедал все, что ему бросали, и так привык к ребятам, что бегал за ними, как собака. Стояло жаркое засушливое лето. Дождя не было уже около месяца. На дорогах лежал толстый пухлый слой пыли, которую поднимали и крутили вихри. А когда ехал обоз, то пыль закрывала повозки и лошадей, и только чуть виднелись мелькавшие в ее облаках дуги.

Пары лежали невзметанные, потрескавшиеся, по ним бродила тощая скотина и сбивающиеся в кучу, головами в середину от мух, овцы. Мужики все ждали дождя, но потом один за другим стали выезжать на пар и поднимать сохами залубеневшую землю.

Ударники около сарая на траве налаживали полу-ченый трактор, который что-то капризничал. Около него стояла кучка мужиков и ребят. Сначала они молчали, потом, видя неудачу, стали смелее и начали от-пускать иронические замечания. Поросянок все лез к машине и мешал исправлять. Когда его прогоняли, шлепая по толстому задку, он, как упрямый баловень, визжал на весь двор, но не уходил.

— Заело... — сказал один из единоличников, смот-ревший, как комсомолец в фартуке (он же завхоз Ле-бедев), весь перепачканный в нефти, возился с ма-шиной.

— На нем только на свадьбу ездить.

— Да и то кобылу запрягать надо.

Наконец в нем что-то застучало, запокало.

— Андрей, садись, — сказал завхоз Лебедев, отходя с французским ключом от трактора, — возьми Шурку с собой, начинайте от риги.

Тракторист вскочил на машину с прицепленным к ней плугом, и она тронулась по улице к церкви, потом на гору к кладбищу.

— Ах, черт, и на гору прет, — крикнул кто-то не то с разочарованием, не то с удивлением.

— Придумали.

— Они то придумают, что и не обрадуешься.

Тракторист был красивый юноша лет девятнадца-ти, с засученными по локоть рукавами белой рубаш-ки. У него были светлые волосы, давно не стриженные и начавшие уже курчавиться и завиваться сзади. На лице — здоровый румянец, разлившийся по всей щеке сквозь летний загар, как бывает у чистых и здоровых молодых людей.

Он был сын знаменитого художника, учился в вузе и уже второй год работал летом в колхозе.

Трактор выехал на кладбище, неуклюже боком пе-ревалился через плоскую канаву и пошел вдоль доро-

ги. Четырехлемешный плуг зарылся сошниками в сухую землю и отворачивал сразу аршинную полосу пашни.

Кое-где на загонах виднелись единоличники, крутившиеся со своими сохами на узеньких полосках, и погоняли кнутах и руганью напрягшихся из последних сил лошадей.

Шура в голубой майке, зашнурованной на груди тесемочкой, и в синей юбочке шла рядом с трактором, переговариваясь с Андреем, они подъезжали к пахавшему сохой мужику по другой стороне дороги. Он остановил лошадь и ждал их приближения.

Андрей знал его, это был Голубев, закоренелый собственник, крепкий хозяин, который ни за что не хотел расстаться со своим хозяйством. Лошадь у него была гладкая и раскормленная.

Он прежде шумел и говорил, что помрет на своей полосе, а не уйдет с нее. Но когда колхозное поле стало расти и приближаться к его полю, он замолчал и как-то пугливо замкнулся.

Андрея поразило выражение лица Голубева, он стоял без шапки, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Спина у него потемнела от пота. Он смотрел не с удивлением, не со злобой, как можно было ожидать, в его глазах была глубокая безысходная тоска, как у обреченного, при виде приближавшегося трактора, какая, вероятно, бывает у осажденных в крепости, когда они видят подвезенное новое оружие осады.

— Хороша у нас лошадка, дядя Семен? — крикнул ему Андрей.

Тот ничего не ответил и вдруг с неожиданным озлоблением изо всех сил стал стегать кнутом свою вспотевшую лошадь.

III

— Андрей, тебе письмо, — крикнула одна из девушек, когда он вернулся с пахоты.

Андрей взял письмо за уголок пальцами, испачканными в нефти, и, осторожно разорвав конверт, стал читать.

— Знаменитый отец заболел и требует моего приезда, ну, там посмотрим, — сказал он, сунув письмо в карман стянутых ремешком брюк, и пошел было в садик, где готовили обед при участии Прогульщика. Но по дороге завернул в столовую, которая служила также клубом и читальней. Там на стенах висели рисунки и плакаты его работы, он, очевидно, от отца унаследовал необыкновенную способность к живописи.

Отец сам руководил его художественным развитием и три года прилежно занимался с ним. Он старался внушить сыну, что тот, у кого есть призвание к чему-нибудь, должен целиком отдаваться ему и двум богам не служить. «Нужно, говорил он, совершенствоваться так, чтобы производить только «первый сорт», а не третий».

Когда Андрей впервые написал большой этюд, отец взволнованно сказал: «Береги себя, ты призван давать человечеству только первый сорт. Из-за этого стоит пожертвовать всем остальным».

По приезде в колхоз Андрей начал было писать красками большой пейзаж: летний полдень в поле у дубовой рощи, сонный зной, в мглистом небе неподвижные облака, и тень, и солнечные блики среди листвы. Все это было сделано необычайно живо, но он остановился на половине, сказавши себе:

— Такие штуки размазывать по нынешним временам — дело неподходящее.

И всецело отдался плакатам и карандашным рисункам. Его плакаты сверкали то живым острым юмором, то в них сквозили искры большого темперамента, темперамента пропагандиста. Один из рисунков, например, изображал работающий в поле трактор и несколько деревенских лошадей, которые, стоя в кучке, с ужасом смотрели, как трактор оворачивает сразу аршинную полосу пашни, выражения у лошадей были настолько разнообразны и комичны, что все колхозники перебивались в столовой и только покачивали головами и усмехались.

— До чего же здорово малый представил — прямо как живые!

Рисунки Андрея были небрежны, но в них всегда была какая-то неожиданность, отсутствие шаблона и

необычайная яркость основной мысли. Он не относился легкомысленно к своему творчеству. Видно было, что он живет им, придает ему большое значение, только как-то по-своему. Ни одного большого общественного события, ни одной кампании не проходило без того, чтобы они тотчас же не отражались у него на бумаге.

Андрей вернулся в сад, где на суку яблони был привешен чугунный рукомоиник с двумя носочками. Андрей поглядывал на ребят, сидевших около котелка, и стал мыться.

— Ты бы в речку помыться-то сходил, мы бы тебя за ноги подержали, — крикнули ребята.

— Сойдет и так, вот вы мне лучше штаны доставайте, а то эти на пенсию просятся.

— Выписали тебе штаны, — сказал завхоз Лебедев.

— Звоните к обеду, — крикнули девушки из дома.

— Что же звонить-то, когда и так все тут.

— Прогульщик, открывай шествие.

## IV

Через неделю Андрей получил второе письмо, в котором отец писал, что уезжает за границу лечиться и хотел бы проститься с сыном.

— Старика сантименты заели, — сказал Андрей, однако поехал с тем, чтобы вернуться на другой же день.

Отец его был знаменитый художник прошлого. Всю свою жизнь он был только художником и ничем больше. Он отдавал своему призванию все силы, вся остальная область жизни для него не существовала. Андрей помнит его когда-то стройную фигуру в домашнем бархатном пиджаке с белыми воротничками и большим галстуком-бантом, великолепную голову с седеющими волосами, всегда блестящие и живые глаза. Он был сыном большой богемы, любил друзей, тонкое вино и свою работу. Несмотря на частые увлечения, сохранил детскую чистоту сердца и наивность в житейских вопросах. Ничего не копил, не собирал, был беспорядочен и широк в веселье.

Его мастерская была точным отражением его сущности. При входе в нее поражало гигантское окно, занимавшее чуть ли не всю стену огромной мастерской. Вместо штор тяжелый, с бахромой занавес на медных кольцах, у окна несколько мольбертов с начатыми картинами. Около стены широчайший диван. Обивка местами была потерта и порвана, но на нем были набросаны великолепные подушки из тонкой парчи, горевшие яркими пятнами. Тут же стояла простая глиняная печь, на ней грязная посуда и дрова на полу, в углу великолепный старинный шкаф с редкостным фарфором, за ним сваленные в угол старые палитры, тряпки, пустые тюбики и всякий хлам.

Посредине мастерской стоял простой деревянный стол, около которого виднелась мебель всех сортов, начиная от редкого резного кресла XVI века и кончая безовым обручком.

Днем никто никогда не осмеливался беспокоить мастера, обыкновенно работающего часов по десяти без перерыва, зато в былые времена ночью никто не спрашивал, можно прийти или нет. И все художники, писатели и просто друзья шли, как к себе домой, в особенности зимой, и засиживались до утра за деревянным столом у затопленной печи.

Мастер (его так звали с оттенком товарищеского добродушия и в то же время почтительности все друзья) был вечно живой, вдохновенный, всегда блестящий юмором и неиссякаемым огнем воодушевления. Порой оно переходило в настоящее вдохновение, когда разговор касался волновавших его вопросов искусства и судьей, и человека. Тогда он становился серьезен, по-особенному загорался, из артиста превращался в какого-то мудреца и говорил о том, что жизнь прекрасна только тогда, когда у человека есть призвание как высший подвиг.

Работал он, всегда упорно добиваясь со всей полнотой выразить то, что видало его воображение. В этой работе было больше страданий, чем наслаждений, и никто бы не узнал в нем в эти минуты того жизнерадостного человека, которого видели за товарищеской беседой. Главной темой его творчества было человечес-



кое лицо и все отражения человеческих чувств и страстей на нем во всем их многообразии. Но он всегда стыдился того, что собственно дало ему славу: своих психологических этюдов и женских портретов. Они пользовались европейской известностью. Все же то, в чем он видел свое Главное, не доходило до зрителей и оставляло их холодными. Это понимали и ценили только редкие единицы. Мастер считал, что это естественно, и говорил:

— Лучше дать самое большое немногим, чем укоротить себя из-за многих.

Последние годы он стремился воплотить одну идею. Это была идея — дать человека «высшей ступени», как он говорил. Воплотить образ мудрости или гения как последний предел возможностей человечества.

Андрей помнил отца сравнительно молодым и вечно бодрым с его манерой как-то свободно и широко сидеть в кресле, причем он всегда закладывал большой палец левой руки в кармашек жилета, а правой поглаживал свою остроконечную бородку и слушал собеседника, закинув немного назад свою красивую голову.

Когда Андрей вошел в мастерскую, отец сидел в глубокой задумчивости перед картиной. Это была его последняя, по времени, картина. На ней был изображен человек, сидевший на камне, под ногами у него, внизу, расстилалась бесконечная даль, как бы весь мир.

Художник, не сразу заметивший появление сына, встал и торопливо накинул на картину покрывало из парусины и повернулся к вошедшему на вращающейся табуретке.

Андрея поразила происшедшая в отце за эти два месяца перемена: лицо его похудело, осунулось, взгляд стал острым, как у тяжелого больного.

— Приехал все-таки! — сказал мастер, подавая дружеским жестом сыну похудевшую руку, на которой тот заметил странную между набухших жил старческую желтизну.

— Приехал, а ты что — умирать собрался?

— Нет, думаю это отсрочить. Меня отпускают за границу лечиться.

Андрей невольно остановил свой взгляд на другой, стоявшей у стены, давно заброшенной, неоконченной картине: в комнате дачного загородного дома открытое окно в темный сад с сиренью, около дивана стоит молодая женщина перед столиком, на котором два нетронутых прибора, и в тени около двери уходящий мужчина в пальто и шляпе. Лицо женщины выражало острое страдание и в то же время сознание полной невозможности возвращения того, что было. Ее опущенные руки были ярко освещены лампой, а лицо было в тени зеленого абажура. Этот абажур, столик с рубиново-красным вином, внутри которого горела золотая искра, налитые и невыпитые стаканы, освещенная сирень в темноте окна — изумительно передавали настроение картины.

— Не хочется умирать, — сказал отец, делая вид, что не заметил впечатления, произведенного картиной на сына. Он расправил после сидения когда-то широкую грудь и привычным жестом засунул палец в кармашек жилета. Андрей, точно с какою-то новостью для себя, увидел, что грудь отца стала узка и спина старчески костляво сгорбилась.

— Не хочется умирать, когда основная мысль только что стала уясняться тебе, — повторил художник, бросив при этом взгляд на завешенную парусиной картину.

Парусина не закрывала всего полотна, и внизу видно было написанное карандашом название картины: «Мудрость».

Андрей, увидев эту надпись, усмехнулся. Старик заметил.

— Что тебе смешно?

— Да нет, ничего, — ответил сын, улыбнувшись так, как улыбаются, когда не считают нужным серьезно говорить.

Это было самое оскорбительное. Если бы сын спорил, говорил дерзости с самонадеянностью юности, старался обратить отца в свою веру, было бы легче и приемлемее. Но сын не хотел заводить споров, очевидно, не потому, что считал невозможным убедить отца, а просто потому, что ему казалось нестоящим делом убеждать таких ненужных людей, как отец.

— Нет ли у тебя чего-нибудь поесть, а то я с утра ничего не ел.

— Вон возьми, там яйца и молоко.

Мастер подошел к шкафу с фарфором и сказал:

— Не знаю, как я оставлю все это, береги до моего возвращения.

Он доставал и гладил руками вещи.

— Чудак ты, — сказал сын.

— Смотрю я на тебя и ничего не понимаю, — сказал отец, — я всю жизнь любил все красивое, красивые вещи, красивую одежду, а у тебя наоборот: расстегнутый ворот, засученные рукава, ты считаешь себя культурным человеком, а культура всегда начиналась с костюма.

— Культура у меня началась с другого места. Ворот расстегнут потому, что так удобнее работать, и костюм мне нужен для работы, а не для священнодействия, — и прибавил совсем другим тоном, указывая ложкой на неоконченную картину с молодой женщиной: — Какова сила, какова живость-то, и этот полусвет от абажура! Как ты это схватил?

Глаза отца загорелись.

— Значит, ты все-таки чувствуешь?

— А почему ты думаешь, что не чувствую?

— Потому что не работаешь над собой. Ты пошел бы дальше меня, — сказал с горечью отец, — ведь вот эта твоя вещь... ты не знаешь ей цены.

Старик вынул из шкафа, очевидно, бережно сохраняемый этюд работы сына: деревенский мальчик около колодца, обхватив обеими руками ведро с водой, пьет и в то же время наблюдает за своим отражением в воде.

— Я тратил на такие вещи не меньше года, а ты написал ее в неделю.

Сын, занявшись яйцом, даже не взглянул на этюд.

— Ерунда, — сказал он, — вроде твоего фарфора. Дорогой папаша, сейчас не такое время — у нас пожар. Мы не имеем права писать и писать долго такие прекрасные вещи с изумительно переданной душевной драмой этой очаровательной дамы или этого наблюдательного молодого человека с ведром. Если бы я стал

писать такие вещи, я первый назвал бы себя подлецом и сукиным сыном. У нас пятилетка.

— Каждый должен иметь свою внутреннюю жизнь и служить общему делу тем, в чем его призвание, — сказал отец.

— У нас нет личного призвания, у нас у всех должно быть общее призвание: в оставшиеся два года построить социализм. Ты вот уткнулся в свое личное искусство и больше ничего не знаешь, и жизнь отказывается тебя признать. А мы сейчас и кузнецы, и художники, и трактористы. Я вот и художник, и тракторист, и фельетонист. Алес пошлют сплавлиять, поеду сплавлиять лес.

— Как же ты тогда устроишь свою личную судьбу?

— А личной судьбы у нас никакой нет. Но не беспокойся, я не умру с голода, так, как ты умирал, когда в молодости устраивал свою «личную судьбу» в Париже. Ты был один, а я не один.

— Значит, искусства как самооценности вам не нужно?

— Не нужно, папаша. Некогда. Нам нужны не вообще ценности, а ценности, необходимые нам для ударной стройки.

— Тогда вы получите от человека только третий сорт, — сказал мастер.

— Давай сюда и третий сорт, он иногда дороже первого, если к делу.

— Ты знаешь, я годами совершенствовал свое мастерство для того, чтобы создать вечные вещи, а не третий сорт, — сказал старик, — некоторые вещи я писал восемь лет, потому что человечество хранит один первый сорт.

— Долго очень. Да и что толку от того, что оно его «хранит»?

— Тогда тебе остается писать плакаты.

— Да я и так уже пишу их. Главное, чтобы действовало в том направлении, в каком нужно сейчас.

— Я всегда говорю «мне нужно», — заметил отец, — а ты говоришь только: «нам нужно».

— Вполне естественно: у меня нет «я», у меня есть «мы», — сказал сын, пожав плечами, и продолжал: — Если действует, значит, хорошо. А будет ли у меня на

картине рука выписана немножко лучше, немножко хуже — не все ли равно. Я пишу то, чем масса живет в данный момент. И моя задача заставить ее жить этим сильнее, крепче. Всю ее сколотить, хотя бы на один момент, в одно целое. Я это делаю. А ты пишешь в течение десяти лет то, чем живешь только ты один и до чего никакого дела нет массе.

— Я делаю то, что вечно. Что нужно сегодня и что будет нужно через пятьдесят лет.

— Ну, я экономнее тебя, — сказал Андрей. — Твоей вечностью будут жить на протяжении этих пятидесяти лет десятки — это ничто. А на протяжении одного момента десятки и сотни тысяч — это уже сила! Чувствуешь! Двигать всю эту массу одновременно, хотя бы на один момент, а не ждать в течение пяти—десяти лет ничтожных одиночек.

— Слава богу, — сказал иронически отец, — сегодня ты снизошел до серьезного разговора со мной.

— Отчего же изредка не поговорить серьезно. Тем более что мы с тобой разрешаем сейчас кардинальный вопрос искусства.

— Быть ему или не быть? — спросил отец.

— Да, — ответил сын, — быть ему или не быть.

— Но это не только вопрос искусства, этот вопрос посильнее, это вопрос о судьбе высших ценностей человека: о совершенстве и о гении. Нужны вам они или не нужны?

— Нет, не нужны, папаша. Гении всегда единицы, и мы в данный момент недостаточно богаты, чтобы заниматься доведением отдельных единиц до высших степеней совершенства. Твой принцип — совершенство, вечность и единицы, а наш принцип: масса, ударный момент, хотя бы и без гения.

— И ты не допускаешь в человеке собственного пути? Значит, ты делаешь личность только подсобным рабочим средством для ваших целей.

— В ее же интересах. У нас, повторяю, папаша, пятилетка, если личность займется «собственным путем», она отстанет и окажется в неприятном одиночестве. Вроде тебя, например. У тебя гениальные картины, — он улыбнулся, — а ты нам не нужен, папаша.

— Да не называй ты меня этой идиотской кличкой! Я прежде всего самому себе нужен, — сказал с раздражением мастер.

— А это твое личное дело. Но с точки зрения того же искусства ты опять-таки поступаешь неэкономно. Вот ты по своему пути дошел до своей основной мысли, как ты говоришь, и написал вон то словечко, — сказал Андрей, занятый яйцом, и указал движением локтя на надпись на картине. — А это ни к чему. Это не метод нашего времени. Это ручная кустарная работа — усовершенствовать единицы до первого сорта. У нас эпоха фабричной работы. Лучше, то есть опять-таки экономнее организовать в данный момент тысячи и поднять их до уровня хотя бы второго сорта, чем дожидаться единиц. У нас метод другой.

— Фабричный? — иронически подсказал отец.

— Именно фабричный, в противовес ручному, кустарному, — ответил спокойно сын.

— А ты знаешь, что ценится высоко именно ручная работа, а фабричная является синонимом дешевизны и шаблона?

Сын улыбнулся.

— И вот благодаря этой-то дешевизне ею пользуются массы, она вошла в обиход. Редкие же уникамы искусства в жизнь никогда не войдут, они слишком дорого стоят и ими будут пользоваться только единицы, а что сильнее, масса или единица?

Отец несколько времени молча смотрел на сына, сидя в кресле, потом сказал:

— Значит, вы сознательно сейчас идете на третий сорт?

— А почему нет? Когда у тебя пожар, ты, наверное, предпочтешь заливать его из самого обыкновенного ведра, чем дожидаться заграничной машины из города. У нас теперь пожар, и нам сроку до конца пятилетки осталось два года. Мы тоже ставим себе вопрос: быть или не быть? И позволяем себе удовольствие со всей дерзостью утверждать: быть! Но для этого нам нужен наш метод, пустить в дело всю массу и по пути поднимать ее от третьего сорта выше и выше, хотя бы до него она и не дошла. А твой, несмотря на всю его возвышен-

ность и великолепие, нас не доведет не только в два года, а и в пятьдесят лет.

V

Перед отъездом у мастера собрались его друзья. Все смотрели картину, где была изображена молодая женщина, говорили о необычайно схваченном выражении и жалели о том, что картина осталась неоконченной.

Но мастер сказал, что больше не будет писать таких картин, а будет писать только то, что соответствует его теперешнему сознанию, и давать выражение тому высшему, чего он достиг, хотя бы это было понятно только единицам.

Он показал последнюю картину, сняв с нее парусину, и ждал, что скажут зрители. Они долго смотрели, потом один из них сказал:

— Вы задумали великую вещь, это апофеоз человеческой личности, но для восприятия этой вещи нужна большая культура личности. Ее поймет только Европа.

— Я там ее буду заканчивать. Мне еще не даются глаза.

Мастер уезжал с грустным сердцем и, укладывая свои чемоданы, шутил:

— Я еду вторично завоевывать славу на Запад. Запад признал меня с моими пустячками, когда я был молод. Теперь я состарился и везу ему дар своей старости. Итак, старые друзья, до свиданья и до свиданья, молодая Москва. На меня напало слезливое настроение, но это ничего, такая минута, а на глаза я всегда был слабоват, сейчас я закажу машину, и вы проводите меня на вокзал буйной ватагой, как бывало прежде в нашей старой Москве.

Он обнял каждого из друзей, с тревогой посмотрел на шкаф с фарфором, утер глаза и, как-то молодецки надев выцветшую широкополую шляпу, пошел впереди всех на подъезд.

Быстро мелькали улицы, переулки и московские тупики, знакомые дома, с которыми были связаны какие-нибудь воспоминания. Мастер показывал на них друзьям. То и дело возвышались остовы строящих-

ся новых зданий, везде были разворочены улицы для прокладки новых трамвайных путей, везде стояли машины для настилки асфальта, как будто Москва строилась заново после пожара. Мастер смотрел по сторонам и говорил:

— Буйная молодость! Москва в нынешнем году уже не та, что в прошлом. Она из старой стала молодой, а я из молодого превратился в старого.

Когда он стоял в коридоре вагона у раскрытого окна, у него на глазах были слезы, и он, уезжая, долго махал платком остающимся друзьям и Москве, которую любил больше, чем друзей.

## VI

Мастер с волнением подъезжал к Парижу, где не был пятнадцать лет. Он вышел на Северном вокзале, и первое, что поразило его как живое воспоминание, это запах Парижа — запах бензина и машинного масла, автомобилей на наглаженном до блеска асфальте.

Темные, точно закопченные копотью столетий громады парижских домов с мелкими круглыми трубами на крышах высились ровными стенами по сторонам бульвара. И бежала, заливая освещенные улицы с магазинами и кафе, вечно возбужденная парижская толпа, изредка останавливаясь и скапливаясь при переходах через улицу, по которой непрерывной вереницей в несколько рядов катились, перекликаясь на разные тона, авто.

А по утрам на сонных еще улицах появлялись на своих тележках фермеры в шляпах и жилетках и развозили по рынкам зелень, рыбу и обрызганные водою цветы.

Все это в тот же миг расхватывалось бойкими, кокетливыми торговками и раскладывалось на столиках под прохладными навесами рынка с их подметенным и политым асфальтом полом.

Париж был тот же, что пятнадцать и тридцать лет назад.

Еще по дороге с вокзала мастер увидел в окне магазина репродукцию одной из своих ранних психологи-



ческих картин. Ему это было приятно, и сразу родилась бодрость: здесь его знают и ценят.

В Париже он сразу очутился в атмосфере поклонения. Ему говорили, что, конечно, его место в Европе, которая привыкла уважать свободу личности и ценить людей, отмеченных печатью таланта и гения.

Все говорили о его знаменитых женских портретах. Мастер хотел было сказать, что он отказался от этого рода искусства, но не сказал, потому что это потребовало бы пространных объяснений.

Мастеру передали, что богатый русский промышленник, еще до войны поселившийся в Париже, желает устроить пышную встречу русскому таланту, что он позовет на вечер видных иностранцев и представит им великого мастера.

Мастер вдруг по-старому почувствовал себя знаменитым и ощутил необыкновенный прилив сил и уверенности в себе.

«Там мне собственный сын сказал, что мое мастерство не нужно, а здесь меня вот как встречают», — подумал он.

За ним пришел один из художников, чтобы отвести его на вечер промышленника.

И когда мастер стал надевать пальто, художник с некоторым испугом спросил: разве он так и пойдет в пиджаке, без фрака?

Мастер улыбнулся, ему показался смешным и детски наивным этот промелькнувший у художника испуг.

— Неужели это может иметь какое-нибудь значение? Ведь люди собрались, чтобы видеть меня, а не фрак, которого, кстати сказать, у меня и нет. А если меня позовут не на вечер, а к завтраку, мне опять нужно иначе одеваться. Честное слово, мне немножко смешны ваши священнодействия.

— Ничего не поделаешь — Европа, — сказал художник.

Промышленник занимал целый особняк, обставленный с необычайной роскошью. Но везде было удручающее обилие позолоты на карнизах, на потолке, даже на дверях. Все комнаты были заполнены старинными и редкими вещами, и мастер почему-то подумал

о том, сколько, наверно, бывает расстройств каждый раз, когда какая-нибудь вещь разбивается, сколько споров между мужем и женой о том, что купить еще и как расставить. Ему показалось нелепо, что люди находятся в плену у вещей...

Его ждало большое общество, ему действительно устроили пышную встречу.

Хозяин был высокий седой старик с густыми черными бровями, европейского вида, во фраке. Жена его — стареющая, но не желающая, очевидно, сдаваться женщина, с готовой, преувеличенно любезной улыбкой. По всему было видно, что она поддерживала в доме весь тон, соответствующий их богатству и положению.

Когда мастер подходил к хозяевам, он уловил несколько испуганный взгляд хозяйки, который она бросила на его пиджак, так как все мужчины были во фраках. Этот взгляд задел его. Уж не стесняются ли они за него перед своими гостями? Может быть, для них талант является только тогда достойным уважения, когда он богат.

У мастера пробудилось совершенно новое ощущение, незнакомая ему раньше советская гордость: там никто не придавал его костюму значения больше, чем ему самому, и он с задором молодости пожалел, что не надел просто своей блузы. Это, наверное, произвело бы впечатление уже целой катастрофы.

Стол подавлял богатством и обилием яств. Зернистая икра стояла в серебряных вазах со льдом.

Это были не вазы, а целые ведра, которые кричали о богатстве хозяина.

Хозяйка успокоилась, очевидно решив, что пиджак должен производить впечатление оригинальности: ведь имя настолько громкое, что никто из присутствующих иностранцев не примет его за бедного. Но ее успокоила кучка художников-соотечественников, которые густо уселись на дальнем конце стола, и один, в несвежем фраке, с лохматыми волосами и подозрительно красным лицом, начал с того, что сразу подвинул к себе ведро с икрой. Этих людей обыкновенно не приглашали на большие приемы, а определяли для них особые дни и во имя благотворительности изредка под-

кармливали. Поэтому она была раздражена на мужа за то, что он их пригласил.

Разговор за столом всецело сосредоточивался около знаменитого гостя. Говорили, что в Европе он развернет свой талант со всей его мощью, что Европа выше всего ценит редких выдающихся людей и, конечно, она создаст для него достойную обстановку. Говорили о громадных гонорарах, которые получают в Европе артисты, художники и писатели, рассказывали о том, кто из них купил себе большой дом или построил целый дворец.

И мастер почувствовал, что утешительные разговоры о гонорарах в значительной степени вызваны его пиджаком. В нем поднялось раздражение, он подумал:

«Разве я для того иду своим путем, чтобы мне за это платили? Разве для того я достиг высшего сознания, чтобы построить многоэтажный дом и сдавать квартиры?»

Ему стало неловко, дико, и он сказал:

— Я уже стар. И вопрос о гонорарах меня совсем не интересует в данное время. Мне нужно только иметь возможность делать то дело, которое соответствует моему теперешнему сознанию. Портреты — это внешняя сторона моего творчества, не имеющая ничего общего с его сущностью и только извращающая его.

Все насторожились и с глубочайшим вниманием слушали.

Вдруг с дальнего конца стола послышался голос лохматого художника, который был, видимо, уже окончательно пьян и, обращаясь к своим соседям, говорил негромко, но так, что все слышали:

— Капиталисты сегодня нас в виде исключения допустили... икра и все прочее... чтобы... воспользуемся... в другой раз все равно не позовут, мы талантливы, но у нас нет долларов, потому икра — не для нас.

Это уже пахло скандалом. Друзья испуганным голосом стали его уговаривать. Хозяйка, у которой лицо покрылось красными пятнами, и почетные гости из всех сил делали вид, что не слышат того, что происходит на дальнем конце стола. Мастер тоже сделал вид, что не слышит, и продолжал:

— Я совершенно отказался от того, что доставило мне славу. Может быть, мне это меньше даст в смысле гонорара, но этот вопрос, повторяю, меня совершенно не интересует. Достаточно, чтобы это дало мне возможность жить.

Все были озадачены и переглядывались между собой.

— Как отказались? Почему отказались?

— Художник, — сказал мастер, — если он настоящий художник, непрерывно органически растет и поэтому в конце своей жизни не может делать точь-в-точь то, что он делал в начале жизни.

— Но ведь ваши психологические этюды и портреты дали вам европейскую славу. Вы до сих пор самый непревзойденный портретист.

— Я обязан перед своей совестью делать не то, что считается модным, а то, в чем выявляется мое движение. Человечеству нужны только подлинные ценности, а не приспособленные ко вкусам эпохи или моды.

— Ни черта ему не нужно, кроме долларов, — опять сказал, к ужасу хозяйки, пьяный голос лохматого художника. — А мы, брат, не сумели попасть на золотую жилу и околеваем.

— Так что, вы совсем не будете писать нас? — спросила одна молоденькая и очень красивая женщина, покраснев и бросив испуганный взгляд на дальний конец стола.

— Совсем не буду. Я кончаю сейчас большую картину, которая является для меня последней ступенью моего пути.

— Это страшно интересно, — сказала несколько голосов, — вы нам покажете?

— Когда кончу, покажу.

## VII

Мастер поселился на той же улице, где он жил тридцать лет назад и где он начинал свою карьеру, когда после академии попал в Париж. Квартира была маленькая, из двух комнат, в одной была его мастерская, в другой стояла огромная парижская постель. Везде

валялись краски, холст, палитры, на столе — посуда. И в обеих комнатах царил сверхъестественный беспорядок.

Он усиленно работал над окончанием своей большой картины, совершенно отказавшись от всяких заказов и забыв о своем расстроенном здоровье.

Он почувствовал, что пришел такой момент его жизни, когда он не имеет права сделать ни одной уступки против своей совести.

Тридцать лет назад он сделал эту уступку. Это было время, когда он с опьянением работал над своими картинами, мечтал о славе, но картин не покупали, так как имя его никому не было известно. Денег не было, и его охватил ужас: он был один, как в пустыне, среди богатства, чудес искусств и множества людей. Он никому не был нужен, если бы он умер от голода, никто не заметил бы его исчезновения. Здесь каждый за себя. И он на свой страх должен был выкарабкиваться, чтобы не погибнуть.

Один раз в промежутке между работой над большой картиной он написал маленький этюд: в окне, положив подбородок на руки, сидит девушка и смотрит прямо в глаза зрителю, причем выражение лица странно двоилось — то казалось, что оно чуть улыбается наивной детской шаловливостью, то смотрит серьезно с грустным немым вопросом.

За этот этюд ему заплатили в ближайшем магазине двадцать пять франков и просили приносить еще. Он вдруг почувствовал себя богачом и зажил со всей беззаботностью молодости. Это было самое счастливое время его жизни. С этого времени он стал писать психологические этюды, потом женские портреты, которые принесли ему славу.

Эта легкая струя творчества уводила его в сторону от того, что он считал своим настоящим делом, но соблазн был слишком велик: измена перед собой давала ему возможность весело, приятно и в довольстве жить. И так было всю жизнь: когда он изменял своей высшей совести, тогда его прославляли и платили большие деньги, когда же он начинал давать то, что было его подлинной сущностью, это брали неохотно. Теперь он

почувствовал наконец, что, несмотря ни на что, он не будет производить того, что он считает для себя третьим сортом, и поэтому даст выпрямленный итог своей жизни — собранную им мудрость, которая человеку нужна вечно.

Наконец он пригласил знакомых для осмотра картины. Они пришли и с нетерпением ждали, когда он снимет покрывало с картины. Он сам, видимо, волновался, но старался казаться спокойным и говорил о посторонних вещах.

Наконец он подошел к картине и сдернул покрывало. В комнате воцарилось молчание. И нельзя было определить, то ли это было молчание восхищения, то ли молчание от незнания, что сказать по поводу картины.

На картине сидел живой человек в длинной ниспадающей одежде, во весь рост. Его взгляд был устремлен мимо зрителя, и каждый из присутствующих чувствовал какую-то неловкость, почти страх перед этим человеком и непонятным величием мысли, вложенной в эти человеческие живые глаза.

— Как называется картина? — спросил кто-то.

— «Мудрость», — ответил художник.

Опять воцарилось молчание.

— Ну как? — спросил мастер, внешне спокойно, но со сдерживаемым раздражением от долгого молчания и отсутствия ожидавшихся им знаков удивления и восхищения.

Тогда один старый седой профессор сказал:

— Вы написали великую вещь. Это, конечно, лучшее из всего, что вы сделали. Это единственное и потому вечное. Но покупателей здесь вы не найдете. Эта картина будет понятна немногим десяткам избранных, достигшим такой же, как вы, высоты духа. А они во всяком случае не смогут ее купить, потому что у таких людей капиталов не бывает, остальным же это непонятно, так как эмоции — достояние их, но не мысль. Когда вы давали им в своих психологических картинах эмоции, вас понимали, потому что они на девяносто девять процентов состоят из эмоций и на один из мысли. Здесь же вы даете девяносто девять процентов

высшей мысли, которой у них нет совсем. Чем же они будут воспринимать вашу картину? Если хотите пользоваться успехом и прежней славой — мой совет: продолжать работать в прежнем плане.

— Благодарю вас за откровенность, — сказал, усмехнувшись, мастер и закрыл картину.

## VIII

Из друзей мастера, оставшихся в СССР, кто-то узнал, что в одной из эмигрантских газет была напечатана статья о восторженной встрече, сделанной мастеру, и о том, что его новая картина вызвала неописуемый восторг европейской публики. На нее записались десятки желающих купить ее и предлагают баснословные деньги, на них знаменитый художник сможет купить себе доходный дом в Париже или загородную виллу. Газета прибавляла, что наш маститый художник сделал правильный выбор, ему обеспечена славная старость и свободное творчество.

Друзья переглянулись. А один из них сказал:

— Что же вы хотите... Европа!..

## IX

Желающих немедленно купить картину действительно не было, и финансовые дела мастера оказались на грани полного краха. Уже не было денег для того, чтобы заплатить за месяц за квартиру. Ему пришла мысль пойти к промышленнику попросить одолжить до того времени, когда он продаст свою картину.

Но его неприятно поразила мысль о том, что промышленник, видевший его картину, не торопился попросить продать ему ее.

Возможно было, что ему она ничего не говорила, а главное, она не была из того цикла картин, которые дали мастеру славу. Платить же за нее нужно было дорого, к этому обязывало имя мастера и его собственное положение мецената и миллионера.

Но он столько уже видел этих художников-соотечественников, у которых были имена, а потом они сошли

на нет. Он не отказывал им, покупал у них картины и приглашал к себе только в определенные дни, когда у них не было больших приемов с иностранцами, чтобы не скомпрометировать себя обществом бедно одетых людей. И эти люди знали об этом и даже рассказывали мастеру, но продолжали ходить в те дни, когда они не могли скомпрометировать хозяев своим присутствием.

Мастер решил позвонить промышленнику и поделовому переговорить с ним о деньгах. Но при этом сказал себе, что если он заметит в его тоне хоть долю оскорбительного снисхождения или равнодушия, он к нему не пойдет.

Он позвонил и попросил разрешения зайти повидаться. В телефоне он услышал самый приветливый голос без всякой тени оскорбительного равнодушия и желания отвязаться. Но ему сказали, что сегодня неудобно, а завтра он будет бесконечно рад видеть мастера у себя.

Мастер в хорошем настроении пошел на прогулку. Но когда он проходил мимо особняка промышленника, он увидел несколько авто, стоящих у подъезда. Он понял, что там сегодня большой вечер, на который его постеснялись пригласить, памятуя его первый визит в поношенном пиджаке.

Х

Когда среди беспросветного мрака отчаяния вдруг появляется надежда, она озаряет ярким светом всю жизнь. Начинает казаться, что и солнце светит иначе, и люди на тебя оглядываются ласково, а не так, как прежде, когда казалось, что они видят в тебе неудачника.

Один из друзей мастера пришел и сказал ему, что в Париже сейчас находится один его большой поклонник, богатый англичанин. Этот англичанин, узнав о том, что мастер здесь и что он написал новую картину, пожелал немедленно приехать и купить эту картину.

Мастер весь день чувствовал лихорадку волнения. От нетерпения он убирал комнату, переставлял без вся-



кой надобности вещи. Потом хотел сесть, но промахнулся поддержать за ручку кресла и упал на пол, схватившись за сердце. Он ехал сюда лечиться и совсем забыл об этом.

Он не помнил, сколько времени он лежал, но когда встал, то почувствовал в ногах необыкновенную слабость. Руки дрожали, а весь лоб был мокрый от холодного пота.

Хотел лечь, но тут раздался звонок. Пошел открыть. Это был его приятель. За ним шел высокий бритый человек. Мастер глазом художника схватил и отметил про себя, что англичанин входит с тем каменным спокойствием на лице, с каким входят скупщики в квартиру умершего.

Англичанин не говорил ни на каком языке, кроме английского, поэтому он вошел молча, молча поздоровался и стал водить глазами по комнате. То ли он искал чего-то, то ли удивлялся бедности знаменитого художника из русских, этих странных людей.

Мастера оскорбил этот вид посетителя, который пришел к нему, очевидно, как к товародержателю, а не как к личности. Он сразу замкнулся и сделался жестко-неприступным.

Когда англичанин смотрел картину, мастер невольно посмотрел на нее сотнями глаз таких же равнодушно-деловых людей, как англичанин, и ему показалась картина его ненужной. Он не понимал, как он мог так сильно жить ею, но он знал по опыту, что это только минута потери собственного зрения под влиянием соседства с человеком, которому чуждо и непонятно его творчество.

Англичанин смотрел на картину не больше минуты и опять стал водить глазами по комнате, потом что-то сказал.

Друг мастера перевел его: «Он говорит, что это, может быть, большая ценность, но она вряд ли будет иметь цену. Кроме того, он не видит в картине вашего стиля и спрашивает, нет ли ваших знаменитых психологических этюдов».

Мастер сделался вдруг светски любезен и с почти-тельнейшей улыбкой, адресованной к посетителю, сказал своему другу:

— Будьте любезны, мой друг, передать ему, что он не в мелочной лавочке. Здесь есть только то, что есть.

Англичанин удалился. Мастер закрыл картину и сказал:

— Мне хотелось бы вспомнить старину и посидеть с вами, милый друг, за бутылкой доброго вина. Пойдемте, здесь недалеко есть уютный ресторан.

Когда они, надев шляпы, вышли, мастер сказал:

— Никогда я еще не чувствовал такого оскорбления от необходимости торговать результатами своего творчества. Когда я писал психологические этюды, их можно было продавать, но то, что я написал сейчас, продавать уже нельзя. Но этот купец даже и не смотрел на картину, вы обратили на это внимание, здесь не знают ценности, здесь знают цену.

— Друг мой, вы же великий художник, как вы можете расстраиваться от того, что какой-то неизвестный вам человек так отнесся к вашей картине?

— Это минутная слабость от того, что я неожиданно увидел себя здесь окруженным темными людьми, которым совсем не нужно то, что я им принес. Это не темнота русского крестьянина, которая каждую минуту может сделаться светом, это темнота воспитанная и поэтому безнадёжная. Чем они живут внутри себя, что им нужно?

Они проходили по залитым огнем улицам, переполненным нарядной парижской публикой, среди бесчисленных магазинов: магазинов дамского белья, магазинов косметики, шелковых чулок, опять дамского белья, духов, кружев, элегантной обуви. Мастер долго шел молча, почему-то со странной внимательностью к толпе. Потом задумчиво сказал, как бы про себя:

— Конкурировать трудно. У них свои предметы первой необходимости. А ведь в этом городе, как нигде, собраны все чудеса человеческого гения и искусства, но они не являются предметом первой необходимости. Они только тщательно хранятся. И существуют только для обозрения, вроде египетских мумий, и для счета.

Он подумал, потом продолжал:

— Очевидно, человеческому гению суждено создавать свои ценности только вопреки желанию людей. В

этом великий соблазн, и не многие осиливают сопротивление человеческой темноты.

Они пришли в ресторан, и мастер, у которого было всего сто франков, со своей обычной широтой заказал бутылку шампанского и омары с майонезом. Они сели в уголке, на мягкий диван под лампой с розовым абажуром. На возвышении гремел джаз-банд, и за барабаном окруженный толпой веселящихся людей негр показывал свое искусство и сиял улыбкой удовольствия, поблескивая ослепительно белыми зубами и такой же ослепительно белой манишкой. Его черные руки в белых манжетах мелькали, как руки фокусника, то издавая звуки барабана, то деревянные звуки молоточков, и все это покрывал его голос...

## XI

До русских друзей мастера дошел привезенный кем-то потрясающий слух о том, что английский король, будучи в Париже, пожелал видеть последнее произведение великого русского мастера, купил картину за огромные деньги и подарил ему целый дворец на берегу моря для отдыха под старость. Когда этот слух дошел до Андрея, он сказал равнодушно:

— Я знал, что старик плохо кончит.

## XII

А в это время мастер, достигнув вершины своего пути, оказался точно в пустыне, всеми забытый и никому не нужный, кроме «вечности», как он иронически говорил себе.

Оставалось два-три человека таких же бедных и несчастных, как он, которые говорили ему, что создания его гениальны, что человечество будущего вспомнит о нем.

Но люди настоящего не вспоминали.

Денег совсем не было, и он только имел возможность через день питаться в столовой для бедных.

В один из ненастных дней мастер возвращался из дальней столовой, у него вдруг блеснула в глазах яр-

кая молния, в груди что-то сладко оборвалось, и он упал на мостовую.

Хоронили его на третий день в том же бедном квартале, где он жил. Гроб везла пара лошадей странной расцветки: они были, как зебры, испещрены длинными рыжими полосами по белому фону. Очевидно, они знали когда-то лучшие времена, сейчас же были худы и тощи, как клячи. За гробом шло только два человека, так же плохо одетых, как сам мастер в последнее время.

### XIII

До русских друзей мастера дошел слух о том, что он не захотел ехать в подаренный ему королем дворец на машине. Он не любил техники, и король, уважая желание великого художника, будто бы подарил ему пару лошадей какой-то редкой необыкновенной ветки. И кто-то видел, как он поехал на них в приготовленное ему место.

Друзья покачали головами и сказали:

— Какое счастье для него и для искусства, что он остался там. Подумайте, какая оценка, какое внимание...

— Что же вы хотите, Европа...

[1937]

# Землетрясение





# Землетрясение

Комедия в 3-х действиях

*(Издание пятое,  
девятая редакция)*

Действие происходит в глухом уездном городишке, куда еще не докатилась волна Октябрьской революции и куда съехались все бежавшие из столиц и имений. Дом уездного магната, фабриканта и пароходчика Кашина.

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КАШИН, РОДИОН АРХИПЫЧ, 65 лет. Крепкий старик. Под европейца. Осторожен, труслив, но когда дело идет о спасении шкуры, решителен и находчив.

АННА ФЕДОРОВНА, жена его, 50 лет. Из уездных дворян.

НАДЯ, дочь их. Сорванец.

ПЕТУХОВ, АРДАЛЬОН. Уездный драматург, режиссер, артист, поэт и художник.

БЕРЕЗКИН, ИВАН ИВАНОВИЧ. Полный. Несколько наивен. Вестник по призванию.

ПОКЛЕВСКИЙ, ВИКТОР ЛЬВОВИЧ. Граф, лишившийся поместьев. Камер-юнкерский мундир. Монокль. Лет 38-ми.

БАГРАТИОНОВА, МАРИЯ АРКАДЬЕВНА. Княгиня, помещица, выселенная крестьянами. Не отличает правой руки от левой. Изящна. Детская простота души. Лорнет. Лет 33-х.

ПАШКОВ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Капитан. Животен. Часто рычит.

МАРИЯ ПЕТРОВНА, его жена. Сухая, нервная, очень ревнива.

БЕРКУТОВ, ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, приехавший от голода из Петербурга интеллигент.

ЩИШИКИНА, ВАРВАРА. Мещанка.

АГАФОН, ее муж, приказчик Кашина. Пиджак, тяжелые сапоги, всегда молчит, неловок, ко всему равнодушен, кроме вопросов питания.

КОМИССАР.

ПОМОЩНИК КОМИССАРА.

БОРИС, товарищ детства Нади.

ФЕОКТИСТ, метрдотель из городского клуба.

ФЕКЛА, прислуга Кашиных.

ДВА СОЛДАТА.

ПЕВЧИЕ.

СВЯЩЕННИК. Веселый, общительный кавалер.

ДЬЯЧОК, служит с увлечением.

ГОСТИ — телеграфисты, барышни.

Ни одно из действующих лиц не смеется. Действие идет большею частью быстрым лихорадочным темпом. Все действуют тесно спаянным коллективом. Все на страшной серьезности, поглощенности событиями и тревого.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В квартире Кашина, празднующего свою серебряную свадьбу. Обстановка с претензией на роскошь. Зал, где готовят стол, убран для встречи серебряных молодых из церкви. Около двери передней стег в новом стиле с кругами и треугольниками. Яркие краски. «Привет серебряным молодым» и очень крупно: «Исполнено Ардальоном Петуховым». Портрет великого князя, рояль, золоченая мебель. На столе красные розы.

Идут спешные приготовления. Готовится стол под руководством Феоктиста. Работает Фекла. Надя с Борисом рисуют какой-то плакат на полу. Фекла считает приборы и все сбивается.

ФЕОКТИСТ. Проворней, проворней, Фекла растрепована, сели на все четыре лапы и ни с места...

ФЕКЛА. Ах, матушки, соль забыли.

ФЕОКТИСТ. То-то вот соль... С вами воду возить, а не стол сервировать.



НАДЯ. Феоктист, что вы по краскам-то шлепаете, не видите, что дело делают.

ФЕОКТИСТ. Какое дело-то? У папеньки с маменькой торжество, они его, может, двадцать пять лет ждали, а вы в церковь не пошли да еще рожи рисуете. Нашли время...

НАДЯ. Ничего не понимаешь. Это карикатура на союзников. Нос вот что-то не выходит.

ФЕОКТИСТ. И слава богу, что не выходит. Слыхали вон, какое в Москве-то коловращение? Мороженую картошку уже кушают. Вот они к чему приводят, эти носы-то... Ох, знать, идут уже. Проворней, проворней, вы!..

БОРИС. Ну, ладно, сойдет...

НАДЯ. Петухову надо показать. *(Ставит к столу под иконы.)*

ФЕОКТИСТ. Что ж под самые образа-то поставили?

НАДЯ. Ни черта... Пойдем. *(Убегают.)*

ФЕОКТИСТ. Уж очень круто выражаетесь... А еще барышня.

Входит Шишкина с мужем.

ФЕОКТИСТ. Думал, невесть кто... Раненько забрались, сударыня.

ШИШКИНА. Чего это?..

ФЕОКТИСТ. Ничего... То-то неучи прут раньше всех.

ШИШКИНА *(мужу)*. Повесь тут картуз-то, куда понес. Кажись, не опоздали. *(Молятся. Агафон косится на стол.)* Вот это помещение!.. Вот бы пожить-то! Одного белья сколько навешать можно, сарая не надо. Ведь это что ж, мои матушки, распространились как. *(Садится.)* Что ж ты к столу-то прямо уж пристроился. Сядь вот тут... Закуски много выставили...

Входят капитан с женой.

КАПИТАН. Или еще никого нет?

ШИШКИНА *(толкнув мужа)*. Поднимись, чего прирос... Здравствуйте, батюшка.

КАПИТАН *(с недоумением оглядывается)*. Здравствуйте... Не имею чести...

ШИШИКИНА (здороваясь с капитаншей). Мадам Шишикина, мой муж приказчиком на окладе у Родион Архипыча.

Капита и капитанша отвертываются.

ШИШИКИНА (мужу). Чего это они носы-то заворотили? КАПИТАН (осматриваясь). Прекрасно, прекрасно...

ШИШИКИНА (мужу). Садись, чего стал, как истукан.

КАПИТАН. Феоктист; а что, Петухов не был? Это его работа?

ФЕОКТИСТ. Его-с. Был, забегал на минутку, флаг это выставил и умчался. Прибывает народ-то...

Входят граф и Беркутов.

ГРАФ. Торжество еще не начиналось? Серебряные молодые еще не приезжали?

ФЕОКТИСТ. Никак нет, ваше сиятельство.

ШИШИКИНА (мужу). Встань... Здравствуйте, ваше сиятельство.

ГРАФ (вставляет в глаз монокль, с недоумением сторонится). Феоктист, кто это?

ФЕОКТИСТ. Уступка времени, ваше сиятельство: Родион Архипыч приказчика своего с женой пригласить пожелали. (Шишикина трогает руками приборы на столе.) Ну, что руками-то цапаешь? Пустили тебя в хоромы, а ты уж с лапами полезла.

ШИШИКИНА. Авось, не слиняет. (Мужу.) Так и будешь стоять? Сядь.

Входит Фекла.

ФЕКЛА. Певчие пришли. Куда их?

Вбегает, запыхавшись, Петухов в визитке с чужого плеча, с огромным галстуком.

ПЕТУХОВ. Певчие? Сейчас. Слава богу, не опоздал. Приветствую всех. (Здоровается.)

КАПИТАН. Петухов, что вы пропали?

ШИШИКИНА. А этот пострел и сюда втерся! (Мужу.)  
Чего ты встал-то?

ПЕТУХОВ (поздоровался). Тревожные новости...

ВСЕ (кроме Агафона и Шишикиной). Что такое? Что?

Входят Надя и Борис.

ПЕТУХОВ. Встретил Ивана Ивановича, он, запыхавшись, бежал через площадь и крикнул мне, что привезет какое-то ужасное, ошеломляющее известие. Так и сказал: ошеломляющее! Его приятель, начальник почтовой станции, сообщил.

ВСЕ. Да что? В чем дело-то? (Все собрались около Петухова.)

ПЕТУХОВ. Ничего больше не сказал. Махнул рукой и убежал. Как бы наше торжество не сорвалось.

КАПИТАНША. Началась мигрень... Серж, дайте одеколон.

ПЕТУХОВ. А может, еще пустяки. Не говорите серебряным молодым.

ВСЕ. А он-то придет сюда? Когда придет?

ПЕТУХОВ. Он сказал, что запоздает немножко. Да, певчие... Зови, зови их. Надо приготовиться. Вот что, господа: мы можем даже депутации выставить от всех, кажется, увы, уже бывших сословий.

Певчие вошли.

ПЕТУХОВ. А, вот они. Стихи разучили? Каковы стихи-то?

ПЕВЧИЕ. Стихи в самый раз... одно слово — авторские.

ПЕТУХОВ. То-то, брат, — Петухов. Ну, пока прокашляйтесь, просморкайтесь, сколько вам полагается, чтоб потом время не проводить. Главное, чтобы ансамбль. Господа, относительно депутаций...

НАДЯ. Да, Ардальон Степаныч, посмотрите — вот для клуба... ничего не выходит.

ПЕТУХОВ. Некогда... некогда... Старая школа. Вот теперь какие краски требуются... Так вот — смысл речи таков, что, мол, великая катастрофа политическая...

КАПИТАН. Землетрясение — образней будет.

ПЕТУХОВ. Не мешайте... Ну, пусть землетрясение... собрало в наш глухой, отдаленный городок весь цвет... Ну, одним словом, и так далее. От дворянства скажет граф, что, мол, богатством держалась наша страна, и мы, может быть, теперь бывшие, но еще кое-как сущие, приносим вам, и так далее... Скажете?

ГРАФ. Кажется, скажу.

ПЕТУХОВ. Так. Со счета долой. От интеллигенции Валерий Николаевич Беркутов — эсер и меньшевик. Идеолог. Учить не приходится.

БЕРКУТОВ. Эсер и меньшевик — такого сочетания не бывает.

ПЕТУХОВ. Ничего — для торжеству. От святого искусству Ардальон Петухов — знает, что сказать. От славной царской армии капитан и кавалер — честь и место... От мещанства и кулацкого сословия... (К Агафону.) Сумеешь что-нибудь сказать? Да не дергай его... Боишься? Ну, мы за тебя скажем.

Фекла бежит через сцену.

ФЕКЛА. Едут, едут, накажи господь.

ПЕТУХОВ. В самый раз...

КАПИТАНША. Серж, возьмите одеколон.

ПЕТУХОВ. Певчие, откашлялись? Гляди... Стихи моего сочинения, авторские, прошу обратить внимание. Ансамбль, пожалуйста. Граф, станьте наперед.

Входят серебряные молодые.

ШИШИКИНА. Не дергай носом. Возьми платочек.

(Петухов дает знак и управляет обеими руками. Певчие поют первые два стиха на мотив «Многие лета», а последние — что-то вроде «Со святыми упокой».)

Поздравляйте, торжествуйте,  
Двадцать лет уже прошло.  
Ах, года их не считайте —  
Для них время не ушло.

КАШИН. Весьма благодарен, господа. Не ожидал такого сюрприза... в такое тяжелое время.

АННА ФЕД. Очень, очень мило. Это все Ардальон Степаныч...

ПЕТУХОВ. Стихи моего сочинения. Маленькая неточность только вышла: двадцатипятилетие, а у меня сказано 20 лет. Пятерочку пришлось скостить для размера, а то стиха не получается.

АННА ФЕД. Нет, очень мило. Вы первый поэт, которого я вижу в натуре.

ПЕТУХОВ. Здорово: «первый поэт»... Повторить вторую половину на бис. (*Поют. Петухов управляет одной рукой, другой держит руку Агафона, чтобы он не выпил.*) Капитан, подождите, голубчик, — сейчас депутации пустим. Поднимаем бокалы.

ШИШИКИНА (*мужу*). Что ты всей пятерней-то ухватился, леший! Мизинец оттопырь. Вот так...

ПЕТУХОВ. Подняли?.. Приветствие от деятелей искусства скажет местный поэт, драматург, художник, артист и режиссер Ардальон Петухов. Достоуважаемый отец города, Родион Архипыч! Здесь, как щепки от великого землетрясения на уцелевшем островке, собрался весь, можно сказать, цвет. И вот этот цвет теперь приветствует вас. Я лично скажу от искусства: вы всегда были покровителем, и кабы не вы, нашему брату была бы рачья смерть, со святыми упокой. Это надо говорить по совести, потому что публика грошовая, ни черта не смыслит, печной горшок и т. д. Да здравствуют высокие покровители святого искусства!.. Певчие! Ах, года их не считайте... (*Певчие поют. Петухов чокается.*) Со счета долой. Следующий... От интеллигенции скажет эсер и меньшевик, Валерий Николаевич Беркутов. Валяй.

БЕРКУТОВ. Не бывает таких сочетаний.

ПЕТУХОВ. Да ну, что там, не ломайся.

ВСЕ. Просим, просим, говорите...

БЕРКУТОВ. Приветствуя серебряных молодых, я с удовольствием и радостью замечаю, что почувствовал здесь, на этом торжестве, то, чего раньше не чувствовал и жестоко отрицал: ценность семейных устоев, красоту национальных обычаев, религии и прочего. Мы

раскаялись, господа. Теперь, когда мы уже слышим гул чугунных шагов с севера, когда бурный поток грозит снести нас — не нынче-завтра, теперь...

ПЕТУХОВ. Что ты похоронную-то какую-то завел?

БЕРКУТОВ. Теперь мы поняли, куда мы шли и что сами своими руками подготовили гибель себе...

ПЕТУХОВ. Гибель, ура! Следующий...

БЕРКУТОВ. Дайте же договорить.

ПЕТУХОВ. И так хорошо, от дворянства скажет граф. Покороче.

ГРАФ. Приветствуя серебряных молодых, я должен сказать, что растроган и умилен. Приехав сюда из Москвы, из пасти дракона, я нахожу здесь во всей неприкосновенности старую жизнь. Я плакал при виде этого стола, этого портрета — символа нашего могущества.

ПЕТУХОВ. Не затягивайте. Конкретно...

ГРАФ. У меня ничего не осталось, кроме этого мундира и некоторых мелких вещиц, печатки и собачки из слоновой кости, но я, надев мундир, в этой остановке чувствую, что у меня в жилах течет кровь моих предков...

ПЕТУХОВ. Предков... Готово. Ура!.. Армия, жарь.

КАШИН. Что же ты, братец, никому не даешь договорить.

ПЕТУХОВ. Затянут очень... Жарь.

КАПИТАН. По-солдатски говорю: здоровья желаю на многие лета.

ПЕТУХОВ. Молодец! Коротко и ясно. А то до водки никогда не доберешься.

КАПИТАНША. Позвольте вас поздравить.

АННА ФЕД. Спасибо, дорогая.

ПЕТУХОВ. (Агафону). Ну, ничего не скажешь? Это самый тихий. От мещанства депутат. Не знает, что сказать. Одним словом, поздравляет. Подойди... Супруга его... Так...

НАДЯ. Молодое поколение за вас тоже баночку опрокинет.

АННА ФЕД. Надежда, откуда ты, скажи на милость, набралась таких выражений? Ничего не чувствует, ничего святого нет. Забыла, как называются такие люди.

ПЕТУХОВ. Попало барышне.

КАШИН. До глубины души, господа, растроган.

ПЕТУХОВ. Так и надо. Певчие! Ах, года их не считайте.  
(Поют и уходят.)

КАШИН. Я только не вижу еще двух дорогих гостей: Ивана Ивановича и нашей милой княгини. Она вчера приехала. Ее выгнали из ее пензенских имений, где я покупал у нее лес.

ГОЛОС. Ого, уже до Пензы дошло.

ГОЛОС. Батюшка, батюшка...

НАДЯ. Попы идут!

АННА ФЕД. Надежда! О, наказание!

Входят священник и дьячок с косичкой.

СВЯЩЕННИК. Мир дому сему.

ГОЛОСА. Благословите, батюшка, благословите.

СВЯЩЕННИК (благословляет). Дамского пола много...

Райские цветы. Весьма...

КАШИН. Ну, помолимся, а потом закусить.

Начинается молебен. Молодежь стоит сзади матери, ее разбирает смех, и это развлекает мать. Она все оглядывается, показывает им кулак и говорит в промежутках молитвы: «Олухи! Ослы! Перестанете вы или нет!» Дьячок поет и раздувает кадило, взяв от образов картон, на котором нарисованы карикатуры, вдруг замечает их и, продолжая петь, показывает священнику. Тот, покачив головой, передает их Кашиной.

АННА ФЕД. Что это такое? Надежда, это твои штуки?

НАДЯ. Ой, елки зеленые!

АННА ФЕД. Надежда! Что это за елки!

Надя убегает с карикатурой. Молебен кончается. Прикладываются ко кресту.

АННА ФЕД. (Петухову). А это, батюшка, все ваши художества, эти рожи?

ПЕТУХОВ. Нет-с, мое вот, с треугольниками. Новой школы.

АННА ФЕД. То-то вот, тебе 40 лет, шесть человек детей, а у тебя треугольники...

КАШИН. Прошу садиться, господа. Петухов, ну-ка.

Входит княгиня.

КАШИН. А, княгиня. Как раз к столу. Добро пожаловать.

Все встают и с интересом смотрят на нее.

КНЯГИНЯ. Здравствуйте, мой дорогой Родион Архипыч, Анна Федоровна.

ШИШИКИНА. Сесть-то не дадут как следует...

КНЯГИНЯ. У вас какое-то торжество?

КАШИН. Празднуем свою серебряную свадьбу.

АННА ФЕД. Одно двадцатипятилетие со своим соколом откатали.

КНЯГИНЯ. Откатали? Ну, видите, как хорошо.

Капитан рычит.

КАПИТАНША (*дергает за полу*). Серж, что с вами?

ПЕТУХОВ. Позвольте представиться: поэт, художник, артист, драматург и режиссер, или, как теперь говорят в Москве, постановщик Ардальон Петухов.

КНЯГИНЯ. Очень рада. Постановщик?.. Я непременно это запомню.

КАШИН. Ну что, братец, высказываешь. Вот позвольте вам представить: граф Виктор Львович Поклевский, наш батюшка, ну, а остальные там, это ерунда все.

КНЯГИНЯ. Вы из Москвы, граф? Ради бога, расскажите. Оттуда ужасные слухи. Что там? Большевики какие-то. Что это, партия, народность... греки какие-нибудь?

ПЕТУХОВ. Градусом повыше греков. Господа, внимание. Может быть, граф нам расскажет про Москву.

ВСЕ. Да, да. Ради бога... Расскажите... что там. Дайте стул графу.

ГРАФ. Да, это ужас... И ужас этот идет сюда. Особняк мой взяли, посадили туда каких-то развязных молодых людей, которые навешали там своих плакатов, флагов и с огнестрельным оружием дежурят у входа.

АННА ФЕД. Надежда, ты слышишь, что говорят?

НАДЯ. Что, мама?



АННА ФЕД. Навешали плакатов и развязных молодых людей. А ты, матушка, идешь по той же дорожке. Да, да. Ну, граф?

ГРАФ. На каждого гражданина определено 16 квадратных аршин, такие квадраты. И все богатые люди, чтобы спасти свои квартиры от вселения посторонних элементов — портных, рабочих, — принуждены брать к себе знакомых, родственников и ими заполнять эти... квадраты. Или делать вид, что заполнены... путем прописки мертвых душ.

ВСЕ. Как мертвых? Что такое? Что это значит?

ГРАФ. Так... Умрет какая-нибудь родственница, а ее пропишут.

КНЯГИНЯ. Боже мой, ужас какой! Вы слышите?

СВЯЩЕННИК. И мертвых во гробах посрамят.

ГРАФ. Потом нарочно во всех комнатах ставят кровати, кладут дрова. Одеваются возможно хуже, живут без прислуги, чтобы избавиться от налогов. А таких вещей (указывает на портрет), конечно, нигде не встретите. Даже охотнорядские купцы из предосторожности повесили у себя... Карла Маркса. Также и обстановку стараются сделать похуже.

БЕРКУТОВ. Чем хуже, тем лучше.

ШИШИКИНА (мужу). Я тебе зачем платок дала?

КАШИН. Значит, ежели я занимаю большое помещение, вот это, скажем, то ко мне могут поставить постельцев?

ГРАФ. И даже совсем вас выселить, поместив здесь учреждение. У них такое правило, чтобы вся площадь была заполнена... квадратами.

ВСЕ. Черт знает что!.. Возмутительно!..

КАШИН. А движимое имущество в каком положении?

ГРАФ. Если у кого много излишков, распределяют по знакомым. То же и с продуктами. А то отберут для каких-то детских домов и больниц.

КАПИТАН. Ну, это еще на каких знакомых налетишь, а то так распределишь, что без штанов останешься...

КАПИТАНША. Серж!

КАШИН. Да... Ну, Ивана Ивановича ждать не будем. Прошу, господа. Петухов, займись.

ПЕТУХОВ. Пожалуйте, пожалуйста... княгиня, граф...

АННА ФЕД. Садитесь, садитесь... граф...

Все садятся.

ШИШИКИНА (мужу). Не очень накидывайся-то. Ешь поаккуратнее.

ГОЛОС. Не беспокойтесь, пожалуйста... Княгиня, батюшка... Полная чаша, так сказать... Торжество настоящее. Великолепно!

СВЯЩЕННИК. Мне бы где-нибудь к райским цветам поближе.

Смех.

КАШИН. Тогда сюда, к княгине.

ГОЛОС. Ай да, батюшка, молодец!

ПЕТУХОВ. Господа, прошу внимания...

Агафон роняет вилку.

ШИШИКИНА. Что у тебя, у лешего, в руках ничего не держится.

ПЕТУХОВ. Господа! Ах, года их не считайте, за здоровье серебряных молодых. Ура!

ВСЕ. Ура, ура!

КАШИН. Искренно тронут, господа. (Садится.)

СВЯЩЕННИК. Да благословится обилие плодов и... цветов.

Вбегает Иван Иванович.

КАПИТАН. Иван Иванович пришел...

ИВ. ИВ. Господа! (Утирает впопыхах лоб красным платком).

Все оглядываются.

ИВ. ИВ. Господа, что я вам сообщу...

ВСЕ. Ну, ну, в чем дело? Да говорите же! (Вскочив из-за стола, все сбились в кружок около него, кроме Агафона, который продолжает есть.)

ИВ. ИВ. Господа, получено сообщение, что наш город... превращается в губернский... делается административным центром области, и сюда не сегодня-завтра для установления нового порядка приезжает... комиссар!

КАШИН (после нескольких секунд общего молчания). Обухом по голове...

ГОЛОСА. Что же это значит? И сюда? Боже мой! Я почувствовала... К тому идет... Вот это так сюрприз! Черт возьми!

НАДЯ. Да здравствует новая власть и никаких гвоздей!

АННА ФЕД. Надежда... Ты что, спятила? Это вот вы все... все от ваших треугольников... да, да, от треугольников, совершенно испортили всех детей.

КНЯГИНЯ. Я ничего не поняла... Наш город уж превратился или только превращается?

ГРАФ. Превращается, княгиня.

ГОЛОСА. Добрались, черт возьми!.. Ужасно!.. Бежать некуда.

КАШИН (с силой). Зарезали! Все отберут. 30 лет копил, ночей не спал, думал умереть по-христиански.

ШИШКИНА. Да будет тебе есть-то. Ирод!.. Положи сейчас вилку.

КАШИН. Ну, вот что. Мой папенька, царство ему небесное, первый жулик в городе был. Да и меня господь не обидел. И то сказать: дурак не наживет. С помощью святых угодников вынырнем. Плохо пришлось тем, куда в первый раз пришли, а уж мы наслышаны, знаем, как эти дела делаются. Дока на доку попадет.

ГОЛОСА. Правильно... верно.

БЕРКУТОВ. Я предложил бы устроить завтра маленькое экстренное совещание для решения некоторых вопросов идеологического характера, определить, так сказать, свою платформу.

ИВ. ИВ. Совещание? Что же, прекрасно. Господа, совещание...

КАШИН. Совещание, идеология — все это хорошо, но прежде всего нужно подумать о шкуре и об имуществе. Вот о чем. А впрочем, торжество так торжество. В один день ничего не случится. Садитесь, господа. А там придумаем. На то я сын Архипа Кашина.

ПЕТУХОВ. И компании... Позвольте с вами чокнуться. Княгиня, ваш бокал пустой.

КНЯГИНЯ (*идет к столу*). Я очень беспокоюсь о муже. Он едет из-за границы и может не найти меня. А при таких событиях, когда целые города неожиданно превращаются в губернии, быть столько времени одной — ужасно.

КАПИТАН (*рычит*). Княгиня, приказывайте, располагайте мною, нами...

КАПИТАНША. Серж, когда вы увлекаетесь, вы забываете, что с вами дама. Дайте одеколон.

ПЕТУХОВ (*капитану*). На веревочке, брат... Давай лучше рюмку. Эх!..

ГОЛОСА. Так, так его... Он бестия... Дамы мало пьют. Смотрите за дамами.

ГРАФ. Если ваш муж, княгиня, приедет сюда, мы, несмотря на ужасный момент, встретим его шампанским.

ГОЛОСА. Встретим... Непременно... Шампанским...

ГРАФ. Да, момент ужасный. Главное, что никуда не уйдешь от них. В Москву приехали, они туда. Сюда уехал, они — тоже сюда. Может быть, союзники что-нибудь?..

(*К Ив. Ив.*) Что, о союзниках ничего не слышно?

ИВ. ИВ. О союзниках? Нет, не слышно как будто. Это о каких же союзниках?

ГРАФ. Об англичанах, о французах... я не знаю, кто там должен...

ИВ. ИВ. Нет, о французах не слышно, по крайней мере, нового ничего — живут во Франции.

КАПИТАН. Господа, больше бодрости... Хочу чокнуться с Петуховым: стихи у него очень хороши.

ПЕТУХОВ. А, авторские... Сам не знаю, как меня осенило. В одну ночь накатал.

ГОЛОСА. Талант, мастер на все руки...

КАШИН. Господа, предлагаю тост... (*Петухов вскакивает*) за великого князя (*Петухов садится*), который проезжал через наш город и в благодарность за встречу прислал мне свое священное изображение. Ура!..

ГОЛОСА. Ура!.. Ура!..

АННА ФЕД. Ах, на новую скатерть. Солью, солью посыпьте.

ПЕТУХОВ. Это вы, Иван Иванович, своим животом.

ИВ. ИВ. Нет, это мой сосед.

ШИШИКИНА. У, леший! И лезешь через весь стол. Голову ты с меня снимешь.

ГРАФ. Господа, за столом красные розы — символ пышного расцвета и силы. Это наши милые хозяева. Пью за них.

ВСЕ. Ура!..

ГОЛОСА. Княгиня, пью за вас... Дамы, не отставать... Момент серьезный.

КАПИТАН. Княгиня, ваше здоровье...

КАПИТАНША. Серж, вы меня давите, Серж...

БЕРКУТОВ *(стучит о тарелку и, когда водворяется тишина, говорит стоя)*. Я пью за торжество здоровых начал. Мы не сменим своих позиций, и если жизнь — не слепой процесс, а в ней есть разум, то это торжество будет нашим.

ПЕТУХОВ. К черту все позиции! Ты — умный человек, но на время, брат, молчи. Вот рябиновой хочешь? Дайте ему рябиновой.

КАПИТАН. За прекрасных женщин...

ИВ. ИВ. Княгиня, вашего мужа шампанским встретим... встретим и напоим тем же шампанским.

КАПИТАН. Как, придет муж княгини?..

ГОЛОСА. Мадеру позвольте... Ваше здоровье... Иван Иванович, храбрее!

КАПИТАН. Господа, слушать прошу. Как придет муж княгини, так все навстречу с бокалами. Потому что это такая женщина... *(Рычит.)*

КАПИТАНША. Серж, я вам говорю самым серьезным образом. Возьмите одеколон.

ГРАФ. После того, как я видел светских женщин в валенках, курящих махорку, я думал, что жизнь для нас кончена. Нет, она не кончена, она начинается...

КНЯГИНЯ. Граф, вы безумный...

СВЯЩЕННИК. Здоровье хозяйки, хозяина, за русское хлебопашество... виноват — хлебосольство. *(Смех.)*

ИВ. ИВ. Господа, внимание...

Все замолкают.

ШИШИКИНА. Ты что это принялся хлестать-то? Поставь сейчас...

ИВ. ИВ. Господа, уподобимся, так сказать, мудрецам и не выпустим бокалов из рук, хотя бы почва сотрясалась под нами от подземных ударов. Иду к княгине. *(Идет и по дороге роняет бокал.)*

ПЕТУХОВ *(уже с галстуком набоку подбегает к графу.)* Ах, года, их не считайте... Пустите с дороги, Иван Иванович. Может, последний денечек в своем золотом воротничке-то гуляешь. Как придут с севера чугунные ноги и скажут: это что такое? Золотом шитый воротник? Подать его...

ГРАФ. Оставьте меня с своими глупыми шутками.

КНЯГИНЯ. Граф, он хороший... он постановщик!

ПЕТУХОВ. Да что ты кипятишься-то, голова! Ведь я по-просту, от души. *(Внезапно.)* Музыки! Душа моя жаждет наслаждений.

КНЯГИНЯ. Я сегодня хочу играть. *(Идет к роялю.)*

ПЕТУХОВ. Мазурка! Mesdames! *(Дирижирует. Танцы, говор. Священник под аплодисменты танцует с княгиней. Борис вскидывает Надю на спину. Она болтает ногами.)*

АННА ФЕД. Надежда! Что это за ужас! Я сейчас лягу в гроб.

КАПИТАН. Мать, оставь...

ПЕТУХОВ. Жарь в мою голову.

ГОЛОСА. Браво, браво...

АННА ФЕД. Если б не торжество, я сейчас бы прокляла тебя. Но завтра проклянута без всяких разговоров.

Резкий звонок. Фекла бежит открывать.

КАПИТАН. Это князь. Господа, бокалы... стройся.

ГОЛОСА. Да, да, бокалы. Где бокалы?

ГРАФ. Мне придется с белым флагом. *(Берет салфетку.)*

КАПИТАН. Как откроется дверь, так все: «ура»... Ну, вали. Ура!

ВСЕ. Ура!.. Да здравствует князь!.. Да здравствует...

Показываются: помощник комиссара и солдат с ружьем. Безумный переполох. Со стола хватают бутылки, блюда, прячут под стол, под диван. Слышны восклицания: «Боже мой... серебро... ложки прячьте... вино, вино». Капитан залез на четвереньках под стол, но у него видна задняя часть.

Петухов спрятал в камин вино и вымазался сажей. Граф завязал салфеткой золотой воротник и стал на авансцене лицом к зрителям. Анна Фед. сует всем серебро, ложки в карманы. Шишкина снимает с шеи золотые часы, кольца, браслет и все прячет в чулок. Священник в фуражке телеграфиста, убегает.

ПОМ. КОМ. *(на пороге передней, еще не видя того, что в зале).* Дом Кашина?

КАШИН. Да-с.

ПОМ. КОМ. *(тоном приказа, а не просьбы).* Позвольте осмотреть помещение для приехавшего из Москвы комиссара. *(Входя в зал.)* Это что здесь происходит?..

НАДЯ *(негромко).* Да здравствует Красная власть!

Все оглядываются.

ПОМ. КОМ. Что здесь происходит?

КАШИН. А это... это у нас маленькое семейное торжество по случаю 25-летия супружеской деятельности.

ПОМ. КОМ. Это что за народ?

КАШИН. Родственники и... и жильцы.

ПОМ. КОМ. Как это... Все жильцы?

КАШИН. Все-с...

ПОМ. КОМ. Где же они помещаются?

КАШИН. Все тут живут. Это мы только на время торжества прибрались... Вынесли постели и все такое.

ПОМ. КОМ. Вот это как раз бы для канцелярии подошло. А там что такое? *(Указывает на дверь в коридор, идет туда и натывается на графа.)* Это что такое?

ГРАФ. Горло...

ПОМ. КОМ. *(открыв дверь в коридор и в комнату).* И тут занято. Освободить. Завтра комиссар сам придет, посмотрит. *(Останавливается, точно принохаясь. Тишина.)*

Агафон громко икнул и схватился рукой за рот и за живот. Шишкина показывает ему кулак и сторожит его.

КАПИТАНША. Портрет... портрет...

Петухов, сильно захмелевший, схватывает стяг и старается им прикрыть портрет, но никак не справится — стяг его перевешивает.

ПОМ. КОМ. А что это у вас спиртом пахнет?..

КАШИН. Не знаю-с... Может статься, аптека близко... иногда ветерком доносит.

Ив. Ив. удивленно нюхает: из заднего кармана сюртука у него торчит серебряная разливная ложка.

ПОМ. КОМ. Только ежели эта аптека окажется чересчур близко, то смотрите.

КАШИН. Ни боже мой. В другом переулке. Ближе не подпускаем.

ПОМ. КОМ. *(увидев торчащую из-под скатерти часть капитана).* Гражданин... что вы там? *(Толкает портфелем; задняя часть скрывается под скатертью, потом показывается испуганное лицо.)*

КАПИТАН. Ложечка упала...

ПОМ. КОМ. А за грудь что держитесь? Ушиблись?

КАПИТАН. Точно так... ушибся.

ПОМ. КОМ. Тут, я вижу, многие ушиблись. Ну ладно, со временем разберем. Ту комнату освободить. *(Идет к двери, видит Петухова, борющегося со стягом.)* А это еще что?

ПЕТУХОВ. Новая школа...

Пом. ком. уходит. Кашин идет провожать.

КНЯГИНЯ *(после общего молчания).* Я ничего не поняла. Что это было?

КАПИТАН. Вот это самое...

Все, как прикованные, смотрят вслед ушедшим.

АННА ФЕД. Надежда голову сняла... Что же теперь будет? Они завтра придут и все займут, все отберут. *(Плачет.)* Господа, у кого ложки? *(Ей отдают ложки. Плачет и считает ложки.)*

ШИШИКИНА *(бросив ей на стол ложки).* Мы бедные...



КАШИН (*возвращаясь торопливо*). Пропали, детки... Граф, вас-то угораздило: с шампанским встречать выдумал.

ГРАФ. Это капитан выдумал...

КАШИН. Ну, вот что, в затылках чесать некогда, настало время действовать. Господа, Христом богом прошу, выручайте меня. Надо вот эту большую задрапировать. А то увидят такую храмину, прямо под канцелярию отберут.

АННА ФЕД. Спаси, господи...

КАШИН. Вот что: у вас квартирки маленькие, родных — что тараканов набито, к вам не пойдут, вас не тронут. Перебирайтесь завтра все ко мне. Христом богом прошу.

ПЕТУХОВ. Обременен семьей... семья обременена...

КАШИН. Да для виду только. На одни сутки! Они придут, увидят, что все занято, народу много, и уйдут. Граф, княгиня, вы, Иван Иванович.

ШИШИКИНА. А нам помещение дадите?

КАШИН. Всех прошу. Приезжайте пораньше и с утра за работу. Может быть, доживем еще до светлых дней. (*Крестится на икону.*)

## Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена представляет ту же квартиру, но в совершенно невозможном виде. В зале стоят кровати, как в больнице. Посредине — чугунка. Около каждой постели куча дров. В углу бревна, корыто и пр. Портрет великого князя заменен портретом Карла Маркса, но корона на раме осталась.

В панике таскают из зала золоченые стулья, расставляют вещи, что-то уносят, приносят, сталкиваясь в дверях. Спешно покрывают постели. Только Беркутов не принимает никакого участия и сидит с книгой и своими бумагами. Капитан в валенках, и у него пуговицы с орлами обернуты тряпочками красного цвета, но необрезанные концы торчат, как лопухи.

На сцене Петухов, капитан, граф, Иван Иванович, Беркутов, Анна Фед., Шишкина, капитанша.

ТОРОПЛИВЫЕ ГОЛОСА. Скорее, скорее... Подушки где?... Дров валите больше. Не толкайтесь... Портрет снять... Боже мой... Не оставляйте свободных мест... Что вы все на дороге... Спаси, господи... Валерий Николаевич, что же вы... Безобразие... Дров больше.

АННА ФЕД. Ради господи, скорее. Все ценное в спальню тащите, под кровать.

ГРАФ. У меня ничего не выходит.

АННА ФЕД. Помогите же графу. Где Родион? Боже мой! *(Убегает.)*

ШИШКИНА *(на графа)*. Что ты тут перья-то распустил по всему полу.

ГРАФ. Господа, зачем вы меня поместили рядом с этой женщиной...

КАПИТАН. Вот работа-то чертова... *(Сваливает на пол дрова.)*

ПЕТУХОВ. У меня лишняя подушка. Кому дать подушку?

ШИШКИНА. Давай, давай. Все давай.

ПЕТУХОВ. Вот это так постановочка, черт возьми! А вы, гражданка, кажется, слишком серьезно свою задачу поняли. Вы что, на весь век здесь устраиваетесь? Завидую этим существам. Пришла новая власть. Мы в панике, все перевернулось, а они, эти... амебы только благодушествуют. Вы, гражданка, — амеба. Поняли?

ШИШКИНА. Ты что привязался? Я те такую амебу покажу, что не опомнишься.

ИВ. ИВ. Я что-то надорвал себе... Ой...

БЕРКУТОВ. Чем хуже, тем лучше.

ГРАФ. Ну, я отказываюсь. И возьмите меня, пожалуйста, от этой женщины.

ШИШКИНА. Что топчешься-то на дороге? Пусти, говорят... *(Толкнув графа на постель, уходит.)*

ГРАФ. Я прошу перевести меня отсюда...

АННА ФЕД. *(входя)*. Ох, боже мой, ну, что вы там еще? Не до того.

Входит Кашин.

АННА ФЕД. Родион, куда же ты пропадал?

КАШИН. Солонину прятал и кое-что из ценного. У вас готово тут?

ГРАФ. У меня ничего не готово.

КАШИН. Главное, в спальню не пускать его. Я все туда сплавил. Ну-ка, тут как? — Кровати поставили, портрет переменили... Эй, олухи царя небесного! Что же вы корону-то оставили? В раме — что полагается, а над рамой-то, черт ее что... Ну-ка, Петухов, отломи.

ПЕТУХОВ. Что вы, зачем ломать. Как в Москве устроим. Ну-ка, Иван Иванович, у вас красный платочек, дайте-ка.

ИВ. ИВ. Какой красный платочек? А, да... вот извольте.

ПЕТУХОВ. Держите меня. *(Завязывает платком.)* Во всем иду в ногу с Москвой. А то сломаешь, глядь — рано. Отчетливо? Даже с бантиком.

КАШИН. Да, надо площадь прикинуть. Нет ли излишков. *(Оглядывает стены.)* Это никуда не годится. *(Все, не понимая, ходят хвостом за ним и тоже смотрят на стены.)*

ВСЕ. Что не годится? Где не годится?

КАШИН. Чисто очень, вот что. Скажет: сколько вас тут народу, и как сейчас только после ремонта, не заплеливали, обоев не порвали. Сразу и заподозрит, что жильцы не настоящие, а фигуральные.

ГРАФ. Да, это верно. В Москве так устраивают, что ни на одну лестницу войти нельзя: все помоями залито и в коридорах точно выгребные ямы.

КАШИН. То-то вот — выгребные ямы... У самих-то соображения нет... Ну-ка, Петухов... *(Плюет на стену и пачкает обои ногами. Петухов орудует щеткой, другие тоже работают.)*

ПЕТУХОВ. Окна бы разбить, тогда бы не засиделись тут...

Входит Шишкина с корзинкой.

ШИШКИНА. Что вы тут делаете, граждане?

КАШИН. О, чтоб тебя, испугала до смерти.

ШИШКИНА. Вы зачем квартиру мне портите? А? Убирайтесь к себе, там и пакостите.

КАШИН. Ты что, сухого гороха объелась? Что ты тут — хозяйка?

ШИШИКИНА. Теперь, брат, хозяев тут нету, были да все вышли...

КАШИН. Вот лешего-то еще себе на шею посадили. Ну-ка, сядьте, посмотрим, как оно выйдет.

Все садятся.

ПЕТУХОВ. Амеба, сядь, пожалуйста. Амеба, сядь.

КАШИН. Вот этот угол велик остается... велик.

ГРАФ. Можно сказать, что холодная стена, дует очень.

КАШИН. Да, правда... Нет, все равно велик. Много свободного места. Надо бы так заставить, чтобы как в хорошей больнице было.

КАПИТАН. Вот эта темпераментная особа распространилась очень. Ее бы сжать надо.

ИВ. ИВ. Это правда. Разрешите вас сжать немного.

ШИШИКИНА. Чего?.. Свою жену пойдя сожми. Мне, брат, 32 аршина полагается.

ГРАФ. Слышали?.. И меня заставили жить с ней рядом!

ПЕТУХОВ. Откуда, откуда это тебе 32?

ШИШИКИНА. А муж...

КАШИН. Где он у тебя?

ШИШИКИНА. За добром пошел, где... Вы тут за добром ходите, а он должен на месте быть. А то все разбежитесь, на осмотр приедут, а я и буду, как дурак, один на всех кроватях сидеть. Ну-ка, прикинем поперек... Петухов, тяни... Не очень, что ты обрадовался-то. Так... теперь вдоль.

ПЕТУХОВ. Сколько у вас там?

КАШИН. Ни то ни се. 12 аршин лишних. Хоть бы ребеночка какого достать.

ШИШИКИНА. У меня малый есть.

КАШИН. На него сколько полагается?

ГРАФ. В Москве 10 аршин определено.

КАШИН. Опять два лишних. Еще родить не собираешься?

ШИШИКИНА. На пятом месяце хожу.

КАШИН. Ну, вот на него и прикинем.

ПЕТУХОВ (*Шишикиной*). Передай ему, что и на него два аршина положили, может занимать свою площадь хоть сейчас.

КАШИН (*смотал рулетку*). Ох, про княгиню забыли. Что с ней делать? Кроватей больше нет...

Капитан рычит.

КАПИТАНИЦА. Серж, что за манера: как про женщину заговорят, так от вас всегда какое-то рычание доносится.

КАПИТАН. У меня катар желудка.

КАШИН. Ну, вот что, граф, вам придется уступить ей свою постель.

ГРАФ. Площади на нее не осталось.

КАШИН. Господи, да ведь на один вечер только. Придут, увидят, что все занято, и уйдут. Гражданской женой, что ли, назовите. Как хотите.

Капитан рычит.

ГРАФ. Ах, так... Да, это можно. Тогда вселение допускается без занятия отдельной площади.

КАШИН. Ну вот, ради господа, как-нибудь там устройтесь. Ну-ка, сядьте еще раз... (*Все садятся.*) Прямо голова кругом идет. Ну, кажется, ничего — сойдет.

Входит княгиня.

КНЯГИНЯ. Здра... Боже мой, что у вас, тиф?

КАШИН. Нет, кажется, ничего... А что?

КНЯГИНЯ. А вот это... эти...

КАШИН. А, нет — это мы примериваемся. Скоро должны приехать.

ПЕТУХОВ. Можно нам вставать, что ли?..

КАШИН. Можно. (*Все подходят и здороваются.*) Вот что, княгиня, голубушка... Да, вещи ваши где же?

КНЯГИНЯ. Вещи?.. Вот здесь: прибор для маникюра и пудреница. Успела взять только самое необходимое.

КАШИН. Ну, это потом. А сначала о главном. Княгиня, голубушка, мы тут декорацию устраиваем. Потерпите уж один вечер маленькое неудобство. Вам придется пере-

быть в этой комнате. А там мы вас определим, как следует. А комиссару скажем, что вы графа супруга, жена...

Капитан рычит над ухом Кашина, тот с досадой  
оглядывается.

ИВ. ИВ. Без отдельной площади...

КНЯГИНЯ. Жена без отдельной площади?.. Ничего не понимаю...

ПЕТУХОВ. Фиктивная, княгиня, вы даже ничего не почувствуете.

Капитан рычит.

КНЯГИНЯ. Что же, вы меня и спать с ним положите?.. Ничего не понимаю...

КАШИН. Боже избави... Что вы-с. Одна декорация.

КАПИТАНША. Серж, что с вами?

КНЯГИНЯ. Если это так нужно, то, конечно, я это сделаю. Где же мое место?

ГРАФ. Вот, пожалуйста, моя постель к вашим услугам. Зайдите с этой стороны, а то здесь эта женщина. Ужасное соседство. Неужели нельзя нас поместить иначе? Что за формализм!..

КНЯГИНЯ. А где же вы, граф, будете? Вы будете из-за меня терпеть неудобство.

КАПИТАН. Гм... Такое неудобство я бы каждую ночь согласился терпеть.

КАШИН. Ничего, потерпит. Ну, слава богу, обладили. С рук долой. Ну, ну, за работу, за работу...

Входит Агафон, тащит узел, клетку с гусями и самоварную трубу.

ВСЕ. Э... э... Что вы, с ума сошли! Уж гусей сюда притащил. К черту!.. Что за безобразие! (Шум.)

ШИШИКИНА. Граждане, пропустите гусей...

ГРАФ. Послушайте, что вы делаете. Ты, братец, неси гусей туда... понимаешь, откуда взял.

ПЕТУХОВ. К черту гусей! Что, в самом деле, со всякой дрянью жить?

ШИШИКИНА. Пустите гусей, а то сейчас все комиссару расскажу. *(Стихают.)* Давай сюда. Развесил уши. Скажите пожалуйста — с дрянью они не желают жить. Гуси им помешали. Что же они, поганые, что ли? Тега-тега, матушка моя...

КАШИН. Есть у тебя соображение или нет?

ШИШИКИНА. А что же мне их, соседям, что ли, оставлять? Они у меня занесли только что... У моего кума в Москве коза с поросенком в комнате живут.

БЕРКУТОВ. Чем хуже, тем лучше... Пусть гуси остаются. По крайней мере полюбуются на созданное ими положение. Поросенка у вас нет?

ШИШИКИНА. Нету поросенка.

БЕРКУТОВ. Жаль.

КАШИН. Ну, идемте. С продуктами надо распорядиться. Только смотри, Варвара, чтобы они у тебя не гадили тут...

ШИШИКИНА. А что ж им, на горшок, что ли, ходить... Да и запечатать — тоже не запечатаешь.

КАШИН. Я там все главное оборудовал. Оставил только для потребности. Надо всем по норме разобрать — оно и разровняется. А что сверх нормы, то в постели как-нибудь сунем. В комнате-то искать не будут. Небось, в амбары первым долгом заглянут, Агафонушка, ну-ка, пойдй, поможешь нам.

ПЕТУХОВ. Живая сила... Граф, идем. *(Беркутову.)* Хороший человек, этот граф.

БЕРКУТОВ. Вырожденец...

ПЕТУХОВ. Нет, хороший. А вы что же не идете?

БЕРКУТОВ. И никуда не пойду. *(Петухов уходит.)*

КНЯГИНЯ. Я ужасно боюсь, как бы в этот момент, когда ушли мужчины, не пришли бы эти ужасные... греки или меньшевики... я не знаю кто.

ШИШИКИНА. Вот еще китайскую богородицу посадили!

Поспешно входит Анна Фед., потом Надя.

АННА ФЕД. Варварушка, спрячь это поскорее к себе... серебряные ложки и кружева... Или вы, Марья Петровна.

ШИШИКИНА. Нет, нет, я спрячу.

НАДЯ. Все никак не попрячете...

АННА ФЕД. А ты ходишь, как будто бы тебя ничего не касается. Ведь для тебя же...

НАДЯ. Напрасно беспокоитесь. *(Уходит.)*

АННА ФЕД. Вот дочку-то бог послал... О, боже мой... Устроились, княгиня?

КНЯГИНЯ. Да, но ужасно странно. Как они мне сказали... кажется, фиктивная жена без площади. Ничего не могу понять, что делается.

АННА ФЕД. Сама как в лесу.

Мужчины тащат мешки. Все испачканы немного.

Графа нет.

КНЯГИНЯ. Что это, в амбаре будем жить?..

КАШИН. Норму к постелям кладите, чтобы на виду было. А что сверхнормы, то под перины. *(Капитан идет почему-то кругом, мимо княгини.)*

КАПИТАНША. Серж, здесь-то нельзя было пройти?

ШИШИКИНА *(на мужа)*. Куда на кровать-то валишь... Леший. *(На Анну Фед.)* Что щетку чужую ухватила, свою наживите.

Вбегают Фекла.

ФЕКЛА. Матушка-барыня, на углу люди какие-то стоят. Не они ли? Господи! Оторвались руки-ноги. *(Убегает.)*

АННА ФЕД. Боже мой. Родион, все ли спрятано?.. Скорее... *(Убегает.)*

КАШИН. Проворней, проворней. *(Подбегает к окну.)*

Идет спешная работа, носят мешки, банки с вареньем.

КАПИТАН. Оказалось, ложная тревога.

КАШИН. Под перины, под перины. Проворней. Петухов, стань-ка, братец, к окну и карауль. А вы все, чтоб лишней кутерьмы не было, как он появится, так по моей команде садитесь по местам, на кровати.

ПЕТУХОВ *(становится у окна, у кровати Шишикиной)*. Прислали вас покараулить немножко. Вы ничего не имеете против?

ШИШИКИНА. Не привязывайся, не видишь — дело делают. *(На мужа.)* Куда же ты опять навалил сюда, леший косолапый. Вот ирод-то!



ИВ. ИВ. Как же с этим? Тут что-то быющее и текущее. А, варенье, кажется.

КАШИН. Соображайте, господа.

КАПИТАН. Искусственные сооружения сделаем. Все это прямо на виду поставим и ковром накроем, в виде оттоманки.

КАШИН. Ну, хорошо, валите, валите. О, господи, твоя воля. 50 лет на свете прожил, такой гимнастики не делал.

ШИШИКИНА. А что же масла сливочного мало дали?

КАШИН. Вот леший-то навязался еще! У хозяйки спрашивай.

ШИШИКИНА. Да стол и два стула. Тоже богачи... сволочи...

КАПИТАН. Ну вот, готово. Только, господа, по рассеянности не сядьте, а то будет история. В особенности вы, Иван Иванович. Вам костюм другой надо. Этот толстит и очень приличен...

КАШИН. Да, насчет костюмов, господа, тоже надо.

ПЕТУХОВ. Идет!

Переполох.

КАШИН (*как командир при приближении снаряда*). Са-адись!

ПЕТУХОВ. Нет, нет, так показалось. Это наш пожарный.

КАШИН. А ты смотри глазами, а не этим местом. Ну да, так вот насчет костюмов.

ПЕТУХОВ. Моя визитка, кажется, не вызовет подозрений. Прошлых сезонов.

КАШИН. Это сойдет, и смотреть нечего. А вот вы, Иван Иванович, скюртук непременно долой и живот долой...

ИВ. ИВ. Как живот? Как долой?

КАШИН. Тьфу!.. Да ну... толсты очень. Это хоть ваше личное дело, а все-таки неудобно. Вы уж в последнее время разъехались, как копыта.

ПЕТУХОВ (*кричит*). Я говорил ему. Придерутся к животу, ей-богу придерутся.

КАШИН. Конечно, прямо бросится в глаза. Скажут, почему это у вас такой вид при всеобщем недостатке. В случае чего, скажите, что это у вас с детства... болезненная полнота или наследственное, что ли.

ИВ. ИВ. (*покорно*). Хорошо, скажу.

КАШИН. А вы, капитан... погончики и орден сняли?

КАПИТАН. Все в исправности.

КАШИН. И пуговицы обернули... Вот это хорошо. Только банты уж очень велики оставили. Франтовство тут не к месту.

КАПИТАН. Какой черт — франтовство. Вот эта чертова баба ножниц не дала.

КАШИН. А, ну, это другое дело. Вот с графом не знаю, что делать... В гостиницу он боится идти. Да у него там и ничего нет, кроме фрака...

ПЕТУХОВ *(он все время зевает на карауле, отчищает рукавом брюки; кричит)*. Еще собачка из слоновой кости.

ИВ. ИВ. Собачка тут ни при чем, о костюмах говорим.

КАШИН. Как нагрянут, а он у нас с этим воротником, — голову со всех снимет. Да где же он пропал?

ИВ. ИВ. Он мешки там сверху сбрасывает. *(Подбегает к двери)*. Граф, идите. Он испачкался.

Входит граф со щеткой, весь в муке.

КНЯГИНЯ. Что с ним? Он в машину какую-то попал?

КАШИН. Не пылите тут, постойте... Может быть, еще сойдет. Повернитесь-ка.

ГРАФ. Что сойдет, зачем повернуться?

ИВ. ИВ. Костюмы смотрим.

Граф повертывается; на спине пятерня, приложенная мучными пальцами.

ИВ. ИВ. Со спины-то ничего, а вот воротник не годится. Валерий Николаевич, как, по-вашему?

БЕРКУТОВ. В этом не компетентен.

ПЕТУХОВ *(кричит с места своего караула)*. Нет, это ни к черту не годится. Он всех провалит своим мундиром.

ГРАФ. Я все-таки ничего не понимаю... Что вы там смотрите?

КАШИН. Да, господа, так нельзя, граф, Иван Иванович, и вы, Валерий Беркутович...

ИВ. ИВ. Валерий Николаевич...

КАШИН. То бишь, Валерий Николаевич. Идите-ка переодеться, жена даст. С княгини, я думаю, не взыщется, она женщина.

БЕРКУТОВ. От тех, кого я принципиально не признаю, я прятаться не буду. А кроме того, если они тронут меня, трудового интеллигента, тем хуже для них: это лишний раз докажет, что они варвары.

КАШИН. Ну да, толкуй там — трудового интеллигента, — откуда это видно. Примут за биржевого маклера, вот тогда и посвистишь.

БЕРКУТОВ. Свистеть я во всяком случае не буду. Относительно этого можете быть совершенно спокойны и... оставьте меня в покое.

ИВ. ИВ. Ведь один вечер только.

ПЕТУХОВ. Сам толкует о солидарности и гражданской сплоченности, а как чуть до дела — так подводит всех.

КАШИН. Ну, я за вас отвечать не буду. Если чуть что — скажу, что знать вас не знаю. Отправляйтесь, господа.

ГРАФ. Переодеться? Я охотно переоденусь. Меня самого несколько беспокоит мой мундир. *(Забегает к княгине.)*

КАШИН. О-ох... Посмотрите-ка, чтобы не торчало ничего из-под матрацев.

КНЯГИНЯ. Что это — мука?

ГРАФ. Мука, княгиня... Вам удобно?

КНЯГИНЯ. Да... мне удобно, граф. Только я... я никогда не спала со столькими мужчинами... в одной комнате. Сделайте как-нибудь, чтобы я, не стесняя вас, могла прилечь, не раздеваясь, если придется сидеть всю ночь...

ГРАФ. Сию минуту, княгиня. *(Перегораживает пополам и вдоль постель простыней, привязав ее за углы к спинке.)*

ШИШИКИНА *(глядя, как граф привязывает)*. Свой своего всегда найдет. Уж снюхались...

Капитан рычит. Граф уходит.

ПЕТУХОВ *(капитану)*. Мука — мукой, а должно быть, дело будет. Ведь вот везет же этим идиотам.

КАПИТАН. Еще бы — привели да посадили на кровать. Привели бы ко мне...

КАПИТАНША. Серж...

КАПИТАН. Ну, что, «Сержо»? Что ты за мной по пятам ходишь?

КАШИН. Ох, черт возьми! С Феклой что делать? Как про нее сказать, кто она? Ну-ка, Фекла!

ПЕТУХОВ. Скажите, что родственница.

Фекла входит.

ФЕКЛА. Что надо?

КАШИН. Ну-ка, Фекла, поди сюда. Вот что, милая моя: новая власть запрещает держать прислугу.

ФЕКЛА. Понимаю, понимаю...

КАШИН. Ну вот. Поэтому ты, понимаешь, у нас больше не прислуга.

ФЕКЛА. Понимаю, понимаю... Как же это не прислуга?.. Господи батюшка, что ж вы мне раньше-то не сказали? Лето продержали, а теперь на мороз.

КАШИН. Да не в том дело, дура. Никто тебя не гонит, а стараются о твоей же пользе. Новая власть ненавидит рабочих, крестьян и вообще простой народ. И ежели, боже сохрани, узнают, что ты прислуга, крестьянка, то так, брат, зашумишь...

ПЕТУХОВ. В кандалы тебя закуют...

КАШИН. То-то... Так вот, если будут спрашивать, кто ты, говори, что наша родственница и живешь на отведенной площади, как и все...

ФЕКЛА. Так, так... Это, вот, на Воскресенской?

КАШИН. Да не на Воскресенской, а на 16 аршинах. И потом, ты это свое «барыня» да «барыня» брось. Во-первых, мы совсем не баре, а из такого же трудового сословия, как и ты, с такими же мозолистыми руками. *(Показывает ей свои руки. Петухов на карауле рассматривает свои руки.)* Можешь нас звать по имени или, лучше, гражданин и гражданка. И мы тебя будем звать: гражданка Фекла... Как тебя по отчеству-то?

ФЕКЛА. Меня-то?.. Ивановной звать.

КАШИН. Ну, вот, значит, — гражданка Фекла Ивановна.

ПЕТУХОВ. Гражданка Фекла Ивановна, примите приветствие.

КАШИН. Петухов!.. Тебя, братец, караулить поставили, а ты только в носу ковыряешь да встречаешь всюду, куда тебя не спрашивают.

ПЕТУХОВ (*обиделся*). Когда же это я в носу ковырял?.. (*Агафону.*) Вы вот в носу ковыряете, а на меня говорят! КАШИН. Замолчи, до вечера так не кончишь... Ну, так вот... о чем я говорил-то?.. Да. И теперь, брат, все равны и каждый должен другого уважать. Ну, вот... постой, рыло свиное, куда пошла-то? Никогда толком не выслушает, а потом напутает так, что сам сатана не разберется. Ну, впрочем, ничего больше, ступай.

Входит Анна Федоровна.

АННА ФЕД. Ну, вот, посмотри, обрядила кое-как... Ах, где же они?.. Да идите же, граф... ну, чего стесняться. Все это, бог даст, на один вечер.

Показываются переодетые граф и Ив. Ив.

КНЯГИНЯ. Боже мой, что это? (*Ищет лорнет.*)

ПЕТУХОВ. Лес мизараблес, из сочинения Виктора Гюго.

КАШИН. Постойте, вы тут... Об деле думаешь, как и что... Не хватили ли лишнего?

ИВ. ИВ. Вот я тоже думаю. В особенности, в отношении штанов. У графа с этой стороны тузики такие нашиты. Покажите, граф.

ГРАФ. Послушайте, что вы каждую минуту меня осматриваете?

КАПИТАН. Время такое... Повернитесь, повернитесь.

ИВ. ИВ. Вот видите: симметрично два тузика. У меня хоть гладко, слава богу, а у него вот что. Могут подумать, что декорация.

КАШИН. Нет, ничего, сойдет. Ну-ка, сядьте.

КНЯГИНЯ. Бедный, бедный граф...

КАШИН. Ничего, сойдет. Только не очень носитесь с своим облачением.

ГРАФ. Собственно, такой позор... нельзя... выносить больше одних суток. (*Пауза.*)

БЕРКУТОВ. А я предложил бы маленькое совещание. Собирайтесь, господа.

АННА ФЕД. Только, ради господа, варенье не раздавите. (*Уходит.*)

БЕРКУТОВ. Ну, собирайтесь, собирайтесь.

ПЕТУХОВ. Я больше не буду караулить, что в самом деле.

БЕРКУТОВ, Петухов! Ни на одно дело у вас не хватает выдержки. Что за безобразие! Стойте.

ПЕТУХОВ. Агафон, пойдем, братец, на совещание. Только без разрешения председателя, смотри, не говори.

БЕРКУТОВ. Предлагаю на повестку дня вопросы: 1) отношение к этим пришельцам, 2) методы борьбы с ними и 3) недопустимость помощи им в виде нашего участия в их деятельности. Во-первых, вопрос об отношении к ним, т.е. о признании или непризнании их. Для нас, конечно, решается в совершенно определенном смысле. Здесь никаких разногласий быть не может. Но из принципа свободы мнения ставлю на голосование. Дайте-ка звонок оттуда... Кто за то, чтобы признать их власть, поднимите руки. *(Петухов поднял, но, увидев, что он один, почесал за ухом и опустил.)* Единогласно. Пункт 2. Методы борьбы с ними. Здесь возможны и естественны, конечно, различные точки зрения. И поэтому, чтобы не получилось каши и разногласицы, предлагаю высказаться по данному вопросу. Кто просит слова?

Молчание.

БЕРКУТОВ. Ну что же, господа... Привыкайте говорить. *(Агафон кашлянул.)* Вы просите слова?

АГАФОН. Чего?

БЕРКУТОВ *(махнул рукой)*. Я совершенно не понимаю, что это — конфузливость или отсутствие всякого отношения к действительности? *(Молчание.)* Тогда я беру слово. Борьбу, как насилие одного человека над другим, я отрицаю, да она и не приведет к цели. Борьба же, как отказ от всякого участия в их деятельности, при единстве нашем и гражданской сплоченности, даст как раз желательные результаты. Мы устранимся от всякого содействия им. Лишенные нашей поддержки, так сказать, самого мозга, они не продержатся и недели, если бы даже союзники замедлили своим приходом. Но, насколько я знаю, они готовят сюрприз.

И все может перевернуться раньше, чем мы ожидаем... Поэтому мы должны воздерживаться от всякой деятельности, скрыть свои специальности, профессии, степень образования. Вообще все.

ПЕТУХОВ. А если чья-нибудь профессия аполитична?

БЕРКУТОВ. Все равно.

ПЕТУХОВ. А как с голоду подохнешь — тоже все равно?

КАПИТАН. Конечно, необходимо сделать некоторые оговорки.

ИВ. ИВ. Да, да, непременно, необходимо.

ВСЕ. Оговорки, оговорки... Родион Архипыч, оговорки.

КАШИН (как бы пробудившись). Где оговорки, какие оговорки? А, как хотите, как хотите.

ГРАФ. Это что, оговорки — термин какой-нибудь?

ИВ. ИВ. Термин. Прошу слова.

ПЕТУХОВ. Прошу слова.

БЕРКУТОВ. Петухов, я вас призываю к порядку. Вы беспрестанно звоните, как колокольчик, и мешаетесь больше всех.

ПЕТУХОВ. Прошу без личностей... Позвольте слово.

Беркутов звонит.

ВСЕ. Что вы высказываться совсем не даете? Только сам и говорит. Давайте другим слово. Сделал сам себя председателем и распоряжается. Кто его выбирал. Никто не выбирал. Самозванец! (Шум.)

БЕРКУТОВ. Прошу слушать...

ИВ. ИВ. Мне сейчас пришла удивительная мысль. Не дал сказать.

ВСЕ. Говорите, Иван Иванович. Просим, просим.

ИВ. ИВ. А вот теперь я забыл.

ПЕТУХОВ. Я сам себе беру слово. И вы меня своим звонком не запугаете.

ВСЕ. Просим, просим. (Стучат ногами.)

ПЕТУХОВ. Ишь, ловкие какие. Ты, говорит, ничего не делай. А ежели моя специальность аполитична? И я могу работать, не изменяя своим убеждениям. Я вот Гамлета, сочинения гражданина Шекспира, играю или короля Лира, его же. Это что — политично или аполитично? У меня сейчас жена без пальто сидит, а в

театре материалов ни черта нет, фанеры ни одного листа. Вы дадите мне все это?

БЕРКУТОВ. Петухов, я говорю принципиально.

ШИШИКИНА (на Петухова). Что ты окурки-то ко мне кидаешь? Что я за вами, за всеми чертями, подметать, что ли, буду?

БЕРКУТОВ. Подождите, вы там, женщина... как вас. Дело совести, Петухов, каждого поступать, как он хочет. Нам слабые элементы не нужны. А насильно мы никого принципиально заставлять не будем.

КАПИТАН. Вот это другой разговор.

ПЕТУХОВ. Так бы и говорили. А то вещь совсем невинная, аполитическая, а они все под одну грядку гонят.

КАПИТАН. Конечно. Вот у нас, например, есть часть оперативная и часть техническая. Между ними целая пропасть.

БЕРКУТОВ. Ну, довольно, господа. Я подвожу итоги. Пришельцев... не признавать. Отмежеваться от них совершенно. Держаться сплоченно. Не участвовать ни в их празднествах, ни в деятельности. Кроме того...

АННА ФЕД. Господа, господа... (Все вскакивают в испуге.) Спрячьте еще один мешочек.

ИВ. ИВ. Каждую минуту испуг. Позвольте, у меня на кровати есть свободное местечко.

АННА ФЕД. Только не прижимайте к себе, а то испачкаетесь. Мышка дырочку тут проточила.

ИВ. ИВ. Хорошо, хорошо, я его животиком кверху.

БЕРКУТОВ. Кончайте скорее, Иван Иванович.

ПЕТУХОВ. Ой, голубчики! Идет, идет!!!

Переполох. Ив. Ив. от поспешности испачкал весь живот в муке. Резкий звонок.

КАШИН. Са-адись!

Ив. Ив. от растерянности хочет сесть на искусственную кушетку.

ВСЕ. Варенье! Варенье!

Фекла бежит открывать.



ВСЕ. Куда она, куда? Подведет всех... Назад, Фекла, назад.

КАШИН. Пошла обратно и сиди там, не показывайся. Петухов, открывай. Открывай, говорят, — не съедят. О, господи, владыко...

КНЯГИНЯ. Греки?

Входит комиссар, 2 солдата останавливаются в дверях.

КОМИССАР (*в недоумении останавливается*). Это что... больные?

КАШИН. Никак нет, все слава богу...

КОМИССАР. Что же это — все жилыцы дома?

КАШИН. Все-с...

КОМИССАР. Дом чей? Ваш?

КАШИН. Мой-с, т. е. не мой, а так...

КОМИССАР. Как «так»?

КАШИН. В аренде держим... все вместе... коллективно.

КОМИССАР. Сколько свободных комнат?

КАШИН. Свободных нет. Все по норме занято.

КОМИССАР. Как нет? Вчера мне сказали, что есть.

СОЛДАТ. Вон эту приказано было освободить.

КАШИН. Там спальня помещается. Это мы с женой занимаем.

КОМИССАР. Сколько же вас всего народу?

КАШИН. 14 едоков... да один еще ожидается... вот у этой женщины.

КОМИССАР. Странно, что вы считаете и то, чего еще на свете нет... Почему так тесно живете? Всегда так?

КАШИН. Всегда-с. Мы шиковать не любим. Сами трудовой народ, небогатый, и кому негде жить — милости просим... Вот этот вот (*указывает на графа*) шлялся без места, без крова, пришел к нам, мы и его приютили.

Граф вставляет в глаз стеклышко, смотрит на Кашина и пожимает плечами.

ШИШИКИНА. А мне прикажите стол выдать да стульев. А то вон дали какого-то лешего. Нешто на таком сидеть можно... Поглядите, пожалуйста.

КОМИССАР. Это уж не мое дело. Впрочем, выдайте ей стол.

КАШИН (*грозит кулаком Шишкиной*). Слушаюсь...  
КОМИССАР (*идет и, остановившись, несколько времени смотрит с недоумением на Ивана Ивановича. Тот ежится, стараясь втянуть живот*). Отчего у вас такой вид?  
ИВ. ИВ. (*никак не может начать говорить*). С детства такой.  
КОМИССАР. Ничего не понимаю. Как это с детства?  
ИВ. ИВ. Болезненное...  
КОМИССАР. Что болезненное?  
ИВ. ИВ. У меня батюшка из трудового элемента...  
КОМИССАР. При чем тут батюшка?  
ИВ. ИВ. (*утирая пот*). Наследственное... У него тоже такой толстый живот был...  
КОМИССАР. Да я не о животе... Почему вы весь в муке?  
КАШИН. Это известка. Работал по соседству...  
КОМИССАР. Давно здесь живете?

Кашин показывает Ивану Ивановичу три пальца.

ИВ. ИВ. Третий день...

Кашин показывает кулак.

ИВ. ИВ. То есть третий год!! Вот, ей-богу, как ошибаешься... (*Обращается к своим, усиливается смеяться*). Третий год, а я говорю третий день.  
КОМИССАР. Да, уж лучше не ошибаться... Компания довольно пестрая... А эта гражданка какого происхождения? (*Указывает на княгиню*).  
КАПИТАН (*из толпы*). Неважного...  
КОМИССАР. То есть как это неважного? Это вы сказали?  
КАПИТАН (*струсив*). Я не то хотел сказать... Мать ее, бедная трудовая женщина, налетела на какого-то сильного, и вот... получилось недоразумение.  
КНЯГИНЯ. Кто на кого налетел? Ничего не понимаю...  
ГРАФ. Успокойтесь, княгиня.  
КОМИССАР. А где же она помещается у вас?  
КАШИН. Как-с? Вот здесь. Вместе с этим. Гражданская жена без отдельной площади, есть еще муж, тот где-то шляется, так она себе этого облюбовала.

КНЯГИНЯ. Как облюбовала? Что облюбовала? *(Ей делают знаки.)* Но невозможно же так...

КАШИН. Женщина... Стесняется еще. И потом, немножко того...

ГРАФ. Не волнуйтесь...

КОМИССАР. А это что за перегородка?

КАШИН. Отгородились — он по ночам храпит очень.

ГРАФ. Ну, это уж слишком...

Комиссар идет к Беркутову.

КНЯГИНЯ. Ну вот, видите, он и про вас. Он бог знает что наговорит.

ГРАФ. Это для него так надо.

КОМИССАР *(подходит к Петухову)*. А это что, больной?

ПЕТУХОВ *(поднимаясь)*. Расстроенный.

КОМИССАР *(несколько времени стоит сбоку Беркутова. Тот сидит, не оборачиваясь)*. А вы кто? Эй, послушайте, гражданин! Вам говорят? Что он, глухой, что ли?

КАШИН. Нет, как будто все время хорошо слышал. Может, вдруг что-нибудь... *(Толкает Беркутова.)* Послушайте...

БЕРКУТОВ. Я слышу, но отвечать не желаю.

КОМИССАР. А, ну, оставьте его. Мы после отдельно побеседуем. *(Оглядывается.)* А почему у вас постели такие высокие, это что — местный обычай?

КАШИН. Обычай-с... и крыса. Крыса очень по полу бегает... так мы повыше...

КНЯГИНЯ *(испуганно подбирает ноги и оглядывает пол в лорнет)*. Мученье какое-то... Это правда, что крысы, или это для него?

ГРАФ. Для него... Успокойтесь.

КОМИССАР *(указывая на спальню)*. Ну-ка, я посмотрю пойду там...

Все испуганно переглядываются.

КАШИН. Там мы с женой и две старушки-родственницы помещаются. Там не убрано...

КОМИССАР. Ничего. *(Идет в дверь, все с испугом смотрят туда.)*

ПЕТУХОВ. Попали...

КНЯГИНЯ. Что он про меня наговорил! Это ужас какой-то. Я и налетела, я и облюбовала. Что значит облюбовала?

КОМИССАР *(входя)*. Там довольно свободно... Вот что, граждане... *(хочет сесть на искусственную кушетку.)*  
ВСЕ *(с воплем испуга)*. Ай!.. Не садитесь, не садитесь... варенье.

КОМИССАР. Что такое?

КАШИН. Ножка сломана.

КОМИССАР. Граждане... Новая власть устанавливает новый порядок. Кто к ней придет на помощь искренно, без всяких экивоков, она примет всех с радостью. И беспощадно будет расправляться с теми, кто в это трудное время будет вставлять власти палки в колеса. Многие напяртали продукты, товары, муку... и распространяют по городу нелепые слухи.

КАШИН. Таких разбойников прямо хватать и в холодную.

ШИШКИНА *(негромко)*. Ах, чтоб тебе лопнуть, брешет и не сморгнет...

КОМИССАР. 10-го числа будет торжественное шествие по городу, смотр нашим силам. И тогда мы увидим, кто с нами, кто против нас. А в 12 часов будет регистрация граждан для установления их профессии, происхождения и поимущественного положения. Кто хочет работать — подать заявление и принести документы... только настоящие. Регистрация и прием заявлений будет происходить в той комнате. Я остаюсь здесь... давайте вещи.

Все вскрикивают.

КОМИССАР. Что такое?

ПЕТУХОВ. Обрадовались очень...

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же обстановка. На сцене капитан, капитанша, Беркутов, граф, княгиня, Фекла, Агафон. Жилье Шишикиной огорожено фанерой.

Центр действия за сценой.

Все стоят, замерли и смотрят издали на окно, как бы боясь подойти. Стоят все вместе, только Беркутов несколько в стороне. Даже Агафон с селедкой в руках не то с тревогой, не то с любопытством тоже смотрит на окно со всеми вместе. Мимо окна проходят с флагами. Музыка, пение «Интернационала», усиливаясь, заполняют собою все.

Фекла крестится на окно.

Отдельные негромкие голоса: «Боже мой! Боже! Началось».

Вбегает Анна Фед.

АННА ФЕД. *(в безумной тревоге)*. Лампадки зажгите. Пелену от плащаницы на окно...

КАШИН *(вбегает)*. Идите сюда, смотрите, что делается...

*(Все уходят, кроме Агафона и княгини. Пение удаляется, но слышно ясно.)*

Центр действия в зале.

КНЯГИНЯ *(откинув с плеч шарф, которым была покрыта, старается застегнуть платье на спине)*. Нельзя в такое время крючки делать на спине.

ГРАФ *(поспешно вбежав)*. Что же вы, княгиня. Идемте...

КНЯГИНЯ. Я встать не могу... Помогите мне... Впрочем, нет, нет...

ГРАФ. Что такое?

КНЯГИНЯ. Все спуталось... Что стыдно, что нет — ничего не понимаю.

ГРАФ. В чем дело?

КНЯГИНЯ. Крючки на спине... Не могу достать.

ГРАФ. Какой вздор, какие пустяки. Теперь нам нечего стесняться. У нас впереди — ничего. Только ярко вспыхнуть и погибнуть... Позвольте...

КНЯГИНЯ. Вспыхнуть... Только поскорее... Ой, я не могу при нем... Отвернитесь... Слышите?..

АГАФОН. Чего это?

ГРАФ. Смотрите туда... в угол.

КНЯГИНЯ. Скорее, скорее. Должно быть, еще не при-  
выкла...

КАПИТАН (*вбегает*). Господа!.. О, черт их возьми!.. (*Убе-  
гает*.)

КНЯГИНЯ. Ай!.. Он видел...

ГРАФ. Все равно... Мы погибли — значит, все можно.

КНЯГИНЯ. Что вы делаете?.. Что вы, на глазах у этого  
человека?

ГРАФ. Теперь все равно... все равно...

Пение опять приближается. Вбегает капитан.

КАПИТАН. Господа, сюда... О, черт их возьми. Сил ни-  
каких нет...

(Входят Кашин, Анна Фед., капитанша, Беркутов, Фекла.

Опять видны флаги, знамена, и опять пение и музыка.

На сцене испуганное молчание. Фекла крестится.)

НАДЯ (*в дверях*). Наши знамена сюда давайте.

Показывается толпа молодежи и с пением проходит через  
зал в канцелярию комиссара.

АННА ФЕД. Проклятые... Будьте вы прокляты!

КАШИН. Все рушится... На родную дочь нельзя поло-  
житься. Петухова нет, Ивана Ивановича нет, и эта чер-  
товка слилась куда-то... Вишь, обстроились.

Входит Шишикина с красным флажком. Все поражены.

Голоса: «Что это? Смотрите! Смотрите!»

ШИШИКИНА. А вы мне, сейчас, чтобы стол был и два  
стула да занавески. А то я вас выведу на чистую воду.  
Как придет комиссар, возьму да сяду на ваше варенье.  
Награбили да напяртали. Нет, голубчики, прошло ваше  
время. (*Мужу*.) Что ты все лопаешь без передышки?

АННА ФЕД. Ах, паскуда!.. Родион! Ну-ка, голубушка, дай мне то, что я дала тебе спрятать.

ШИШИКИНА. Чего это?..

АННА ФЕД. Серебряные ложки и кружева.

ШИШИКИНА. Накося!.. Ничего я у тебя не брала, знать не знаю, глаза не видали, уши не слышали.

АННА ФЕД. Да что же это, разбой среди бела дня?

КАПИТАН. Вредная баба, а темперамент есть.

КАПИТАНША. Серж...

КАПИТАН. Ну, что «Серж»? Сам знаю, что я Серж. Если ты за каждым моим шагом будешь следить, я, брат, живо на все четыре стороны. Знаешь, теперь в комиссариат и готово. Я, наконец, тоже хочу свободы и настоящей женщины, а не сухой воблы.

КАПИТАНША. Ах, подлец!..

КНЯГИНЯ. Граф, станьте здесь... Что с ним, чего он не хочет?

ГРАФ. Сухой воблы, княгиня.

КНЯГИНЯ. Ничего не понимаю.

КАШИН. Ну, вы заварили еще кашу. Все валится одно за другим.

Входит Иван Иванович, усталый, измученный, с красным флагом из носового платка на тросточке.

ВСЕ. Это что еще такое? Иван Иванович?..

БЕРКУТОВ. Вы что же это делаете? Мы здесь боремся, а вы предательством занимаетесь? Нож в спину?

ИВ. ИВ. Сам не понимаю, как это случилось.

БЕРКУТОВ. Как вы туда попали?

ИВ. ИВ. Шел и увлекся общим подъемом.

БЕРКУТОВ. Вот извольте радоваться: подъемом увлекся. Ведь вам теперь руки подавать нельзя.

ИВ. ИВ. Как хотите... Верст пять обошел.

КАШИН. А Петухов куда делся?

КАПИТАН. Я вчера видел, он рисовал какой-то плакат. Хотел посмотреть, а он очень быстро прикрыл его и сказал, что сначала кончит и тогда уж покажет, а то его вдохновение может покинуть.

Из канцелярии в коридор выходит солдат и вешает плакаты: «Здесь регистрация», «Соблюдайте очередь», «Граждане,

не скрывайте своих доходов». Одновременно с ним из другой двери в коридор входит Петухов. Вытирает ноги и бормочет: «Вот выгваздался-то, черт их возьми.»

ПЕТУХОВ. Товарищи, комиссар еще не приходил?

В зале прислушиваются и, вскочив, подходят к двери слушать.

СОЛДАТ. Нет еще.

ПЕТУХОВ. Ах, как же быть?.. Я местный режиссер и художник, участвовал в процессии... Видите вот?.. И рисовал плакаты. Мне надо поговорить о дальнейшей работе.

КАПИТАН. Голос слышен, а слов не разберешь.

СОЛДАТ. Подождите, должен скоро быть.

Петухов прогуливается по коридору и, подойдя к двери, смотрит в щелку. Капитан тоже прикладывается, но сейчас же оба, точно обжегшись, отскакивают.

КАПИТАН. Осторожность и осторожность... Все, что мы здесь говорим, там подслушивают и подсматривают. Сейчас кто-то смотрел в щелку: детина огромного роста и зверские глаза.

КАШИН. О господи, привяжите языки. Вот соседство бог послал...

ПЕТУХОВ. Ну, уж вы, товарищ, сами передайте от меня заявление комиссару, а то мне нужно идти. *(Уходит.)*

КАПИТАН. Опять говорят... Стойте... Замолчали...

КАШИН. Надо дверь ковром закрыть.

КАПИТАН. Да, это не мешает...

Кашин уходит. Входит Петухов.

ПЕТУХОВ. Господа, у меня калоши уперли.

ВСЕ. Как? Откуда?

ПЕТУХОВ. Да вот отсюда, из передней.

ВСЕ. Черт знает что!.. Позор!..

ИВ. ИВ. Как же это... Я не понимаю... Неужели из нас



кто-нибудь?

КНЯГИНЯ. Может быть, они... сами как-нибудь пропали?

ПЕТУХОВ. Ну да, сами... Черт знает что!.. Только на прошлой неделе купил. Теперь ни за какие деньги не найдешь. Сейчас выгваздался, как шут, — по площади шлепал.

БЕРКУТОВ. А вы зачем на площадь попали?

ПЕТУХОВ. На какую площадь?

КАПИТАН. Да ведь вы сами же сказали...

ГРАФ. Может быть, тоже принимали участие?

ПЕТУХОВ. Что вы, с ума сошли? Ничего подобного. Прошел мимо, вот и все...

БЕРКУТОВ. А что вы вчера рисовали?

ПЕТУХОВ. Что рисовал? Пришло вдохновение, вот и рисовал, совершенно аполитический плакат с изображением рабочего.

БЕРКУТОВ. Ах, вот как!.. Даже рабочего?..

ПЕТУХОВ. А что же здесь такого? От кого это я слышу? Вы — эсер и меньшевик.

БЕРКУТОВ. Да к черту!.. Не бывает таких сочетаний.

ПЕТУХОВ. Все равно... Вы — эсер и меньшевик, и вам противен рабочий с молотом в руке? Странно... И потом, я с семьей сию безо всего, вчера проел свои брюки в полоску. Не говоря уже о том, что я лишен всяких творческих возможностей, у меня фанеры нет ни одного листа.

КАПИТАНША. Серж, не упusti места.

КАПИТАН. Сам знаю... Еще погромче кричи... *(Уходит.)*

ПЕТУХОВ *(увидев у Шишкиной загородку)*. Э, фанера! Откуда брали?

ШИШКИНА. Что ты ко мне лезешь? Что тебе надо?

ПЕТУХОВ. Где брали-то?

ШИШКИНА *(идет за щеткой)*. Я тебе сейчас покажу, где брали.

ПЕТУХОВ. Нет, нет, не надо, я так как-нибудь обойдусь.

В коридоре показывается капитан.

КАПИТАН. Товарищ, комиссар еще не приходил?

СОЛДАТ. Нет еще.

ПЕТУХОВ. Говорят! Тс!

КАПИТАН. Ах, как же быть? Я хотел было подать заявление о службе по технической части.

СОЛДАТ. Подождите, он должен скоро быть.

ПЕТУХОВ *(бежит на цыпочках к двери. Споткнулся и стукнулся в дверь лбом)*. О, черт возьми!

ВСЕ. Ну, что это... Как появился, так и пошло...

Капитан, вздрогнув, подходит к двери и прикладывается к щелке одновременно с Петуховым. Оба отскакивают.

ПЕТУХОВ. Налетел!

КАПИТАН. Что за черт. Та же рожа, что и отсюда смотрела. С ума, что ли, схожу?

ПЕТУХОВ. Детина огромного роста и зверские глаза. Это значит, все, что мы здесь говорим, там известно.

БЕРКУТОВ. Что ж тут удивительного? Очевидно, организована правильная слежка. Такие методы для них вполне приемлемы.

Входит Кашин с ковром.

КАШИН. Ну-ка, надо завесить, а то мы все тут как на ладони. Кто повыше? Куда капитан-то делся? Капитан!..

ИВ. ИВ. Капитан!.. Нету.

КАПИТАН. Хватились... Кто-то спровоцировал.

В зал входит комиссар. Его не видят.

КАШИН. Ну-ка, Иван Иванович, берите-ка вы. Лезьте повыше, повыше. Так... Мы этих гусей сейчас законпатим там.

Ив. Ив. стучит молотком. Шишкина вывешивает на загородке красный платок.

ПЕТУХОВ. Крепче, крепче!.. Пусть эта звериная рожа утрется.

КОМИССАР. Граждане! Над чем трудитесь?..

Немая сцена.

КАШИН. Коврик повесили. А то вам, может быть, хо-

лодно... дует отсюда.

КОМИССАР. Так, так... Нет, мне не дует, а вот как бы на вас оттуда не подуло... *(К Петухову.)* А вы что же это делаете, гражданин?

ПЕТУХОВ. Это я про одного знакомого.

КОМИССАР. Что про одного знакомого?

ПЕТУХОВ. Я сказал: звериная рожа утрется. Мы у него этот ковер стащили.

КОМИССАР. Да я не о том совсем, а вот вы карикатуры рисуете.

ПЕТУХОВ. Какие карикатуры ?

КОМИССАР. Плакат с изображением рабочего. Какую-то лиловую физиономию намалевали.

ПЕТУХОВ. Недостаток материалов... тяжелое наследство им... империалистической бойни. Кроме лиловой краски, во всем городе никакой другой не нашлось. Разрешите на два слова.

КОМИССАР. Хорошо, зайдите минут через пять... А это долой, сейчас регистрация начнется, и дверь придется открыть.

Ковер снимают. Комиссар уходит в коридор.

КОМИССАР *(дожидаясь его капитану)*. Что вам, гражданин?

КАПИТАН. Потерпел при царском режиме за убеждения. Всегда сочувствовал трудовым массам. Желал бы работать.

Все слушают у двери.

КОМИССАР. Я вас не знаю. Ответственного дать ничего не могу. Давайте заявление. Там посмотрим.

КАПИТАН. Вот заявление. Документы... затерялись.

ПЕТУХОВ *(в зале)*. Боюсь, что не сдержусь и наговорю ему дерзостей...

КОМИССАР. Попросите сюда гражданина Петухова.

СОЛДАТ *(входя в зал)*. Кто здесь Петухов?

ПЕТУХОВ *(оглядевшись по сторонам)*. Петухов! Ну я... а что?

СОЛДАТ. К комиссару.

Петухов торопливо крестится и идет к двери.

КОМИССАР. Что хотели сказать?

(Все напряженно слушают у двери. И вообще, когда в коридоре говорят, то в зале все замирает, и все внимание устремляется на дверь.)

ПЕТУХОВ. Мною написана (в три дня накатал) революционная пьеса, очень удобная для агитации среди широких масс.

КОМИССАР. Вы партийный?

ПЕТУХОВ. Нет, не очень. Но идеи в пьесе совершенно партийные. С Интернационалом в конце. Можно ставить на открытом небе, т. е. на воздухе.

КОМИССАР. Посмотрим. Только школу эту свою бросьте. А то вы, может быть, рисуете от чистого сердца, а получается черт знает что: какие-то наследственные алкоголики вместо рабочих.

ИВ. ИВ. Об алкоголе что-то говорят... Родион Архипыч, прячьте дальше...

ПЕТУХОВ. Мы на Москву опирались. Там подальше нашего махнули. Видел я, как там товарищи Островского обрабатывают — смотреть жалко: на фанеру уж перевели. А все оттого, что положение искусства очень тяжелое. Верите ли: грима и того нет. Свеклой да сажей из трубы вместо него орудуем. Костюмов никаких, даже естественных. Первый любовник у меня Ромео гражданина Шекспира в валенках с веревочными подметками играет. Да штаны вот, на этих местах зачине-ны, заплатаны — живого места нет. Как повернется к публике вот этим манером... ну, прямо сквозь землю провалиться. Разрешите приступить к работе?

КОМИССАР. Приступайте. Там посмотрим.

ПЕТУХОВ. За вас в огонь и в воду! Вы меня воскресили. Какое поле, какие широкие возможности! (*Скороговорной.*) Заявление я подал, документы затерялись. (*Быстро уходит.*)

Комиссар уходит в канцелярию.

ПЕТУХОВ (*входит в зал*). Какие широкие возможнос-

ти, какое поле!.. Эх, вот это помещение под народный дом пойдет... Все отсюда к чертям!..

ВСЕ. Ну, что?.. Зачем звал?..

ПЕТУХОВ (как бы очнувшись). А?.. Убеждал работать, конечно.

БЕРКУТОВ. Ну, и что же вы?

ПЕТУХОВ. Отказал... Начхать мне на него...

ИВ. ИВ. Так и сказали?

ПЕТУХОВ. Так и сказал: начхать мне на тебя!

ИВ. ИВ. Смотрите, вы хоть бы сдерживали себя немножко.

КНЯГИНЯ. Правда, мсье Петухов, какой вы безумный. Вы на него начхаете, а он может оскорбиться, и всем плохо будет.

Поспешно входит Анна Фед.

АННА ФЕД. Родион, посмотри, что там делается. К нам буквально весь город собрался.

(Быстро проходит Надя в куртке с револьвером.)

АННА ФЕД. Боже мой... создатель!

КАШИН. Ты что это шляешься? Это что за облачение?

НАДЯ. Некогда, некогда — после поговорите.

АННА ФЕД. Где ты пропадаешь?

НАДЯ. Дежури́м около арестованных.

АННА ФЕД. Что-что?

НАДЯ. Дежури́м около арестованных.

Общее молчание.

КАШИН. Надежда, постой, ради Христа... Сейчас регистрация... ты там свой человек... ежели будут спрашивать о происхождении, не подведи, скажи, что я бывший слесарь или лодочник. Впрочем, не надо. Замотался.

Надя уходит.

БЕРКУТОВ. Поздравляю.

АННА ФЕД. Прокляну.

КАПИТАН. Жанна д'Арк. Только с другой стороны.

КНЯГИНЯ. Я начинаю понимать все меньше и меньше.

Вбегает Фекла.

ФЕКЛА. Барыня, барыня...

ВСЕ. Тс... С ума сошла... Какая тебе барыня.

КАШИН. Рожь чертова... Чучело. Сколько тебе раз говорили, что мы все равные граждане и никаких барынь теперь нету. Ну, что тебе?

ФЕКЛА. Вот письмо Ивану Иванычу. Велели в собственные руки, чтобы, сохрани бог, не попало кому не следует. Так и сказали.

ВСЕ. Что такое? Какое письмо?

АННА ФЕД. Господи, что там еще такое?

ИБ. ИВ. А, это от моего приятеля, начальника почтовой станции. Он прошлый раз сообщил мне о прибытии этих гостей. *(Читает. На лице радостное изумление, схватывает шапку и тросточку с флагом.)*

ВСЕ. Куда? Куда? Что?

ИБ. ИВ. После скажу... сначала выясню наверное. Напрасно не хочу волновать.

ПЕТУХОВ. Эй, эй, а регистрация?

ИБ. ИВ. Регистрация? Вот что теперь для меня ваша регистрация. *(Плюет и убегает.)*

ВСЕ. Что такое? Ничего не понятно.

АННА ФЕД. Какие-то все стали сумасшедшие...

КАШИН. Ну, однако, гадать некогда, подготовиться надо. Да, а Фекла как же? Слушай, ты, растрепанная, еще раз: тебя сейчас будут спрашивать, какого ты происхождения, отвечай, что благородного, т. е. не очень благородного, а наша родственница. А про меня говори: «братец» — «братец сказал», «у братца живу»... Поняла? Да еще одеть ее надо как следует. Ну, мы, господа, пойдем готовить Феклу. Пойдем, старуха. Ох, святые угодники!

СОЛДАТ *(в коридоре кричит в дверь)*. С той двери заходите, там очередь.

Граф подбегает к двери и, держась за ручку, смотрит в щелку. Солдат открывает в зал дверь и вытягивает к себе графа, который в испуге убегает.

СОЛДАТ (*входя в зал*). Граждане, приготовьте документы и становитесь в очередь.

(Все идут через коридор в канцелярию. Беркутов остается.)

ПЕТУХОВ. Ну-ка, артиста пропустите без очереди.

ГОЛОСА. Куда? Назад!.. Какой там артист! (*Шум.*)

ПЕТУХОВ. На репетицию спешу, некогда. (*Шум.*)

СОЛДАТ. Тише! (*Тишина.*)

ГРАФ (*вернулся за документами. К Беркутову*). А вы что же?

Презрительное молчание.

ГОЛОСА. Что, что сказали?..

ГОЛОС. Говорят, кто не регистрируется, тому пайка не дадут.

МАЛЫЙ (*входя в зал*). А вы что же тут? Кто не регистрируется, тому пайка не дадут.

БЕРКУТОВ. Подлецы. (*Идет в коридор.*) Презренное стадо...

Капитан и Петухов увиливают в зал, хотя и с цифрами на спине. Не сразу видят друг друга.

ПЕТУХОВ. Э.. э... Вы здесь?

КАПИТАН. Гм... А вы?

ПЕТУХОВ. Я тоже здесь. Что же вы туда не пошли? Документы сдавать?

КАПИТАН. А вы что не пошли?

ПЕТУХОВ. Не хочется что-то... заленился.

КАПИТАН. А как же вы потом будете?

ПЕТУХОВ. Да так уж как-нибудь...

КАПИТАН. Говорят, пайка не дадут, кто не запишется.

ПЕТУХОВ. Пусть не дают. Да у меня и аппетита что-то в последнее время нет.

КАПИТАН. Аппетита... Посмотрите-ка мне в глаза.

ПЕТУХОВ. А что? Ничего, красные только немножко.

Приходит солдат: «Бумага из волости комиссару!»

КОМИССАР (*выходя, просмотрел бумагу*). Прекратить регистрацию. Мне сейчас надо выехать.

Из канцелярии выходят. Недовольное ворчанье.

Вбегает в зал Иван Иванович.

ИВ. ИВ. Господа, господа...

ПЕТУХОВ и КАПИТАН. Тс. Какие господа?

ИВ. ИВ. Товарищи... Впрочем, к черту товарищей. Господа! Капитан царской армии!! Ваше высокородие!!!

ВСЕ. Тс. С ума сошел!

ИВ. ИВ. С ума можно сойти от такой новости.

ПЕТУХОВ. Да говорите, в чем дело-то?

ГОЛОС. Ну что, в чем дело?

ИВ. ИВ. Ну, собрались все? Так вот... Бросьте вы все эти документы, уничтожьте, сожгите, вообще, к чертовой матери!

ВСЕ. Что? Почему?

ИВ. ИВ. *(потрясая записочкой, как документом)*. Сегодня утекают... Ихнее дело — швах... Не знаю, кто причиной — белые, зеленые, розовые или союзники, но факт остается фактом: заказаны спешно самые лучшие лошади.

КАШИН. Рассказывайте другим...

ИВ. ИВ. Как рассказывайте другим? Не омрачайте торжества, Родион Архипыч.

КАШИН. Вы торжествуете, а я погожу.

ГРАФ. Когда заказаны лошади?

ИВ. ИВ. К трем часам.

ГРАФ. Вот поэтому и регистрацию внезапно прекратили...

БЕРКУТОВ. Что же, естественный конец неестественных претензий.

ПЕТУХОВ. Черт возьми! Естественный конец... А кто же теперь будет?... Господа, к черту скептицизм. Качать Ивана Ивановича.

ВСЕ *(кроме Кашина)*. Качать, качать...

КАПИТАНША. Серж, качайте же.

ПЕТУХОВ. Ох, и тяжел же, мать моя! *(Ив.Ив. отбивается.)* Агафон, голубчик, помоги.

ИВ. ИВ. Что вы!.. Что вы! *(Качают.)* Ой, уроните, ой, не надо! Ой, никогда не буду!

Быстро входит комиссар, одетый в дорогу.



КОМИССАР. Что здесь такое?

Уронили Иван Ивановича.

КАШИН. Да это так... именинник он у нас, семейное торжество.

ПЕТУХОВ. Торжествуем по поводу низвержения самодержавия!

КОМИССАР. Что это вы каждую минуту торжествуете? Каждый раз какое-нибудь торжество. Вот что, граждане... *(Все настораживаются.)* Мне нужно выехать в уезд. К ночи я вернусь.

Все переглядываются, перемигиваются. Какие-то восклицания в роде: «так, так... дай бог час».

КОМИССАР. Что такое? Вы что, гражданин? Живот болит?

ИВ. ИВ. *(сконфуженно)*. Ушибли маленько.

КОМИССАР. Ну, так вот. Если во время моего отсутствия будут какие-нибудь штуки и упражнения в фантастических рассказах, какие уже теперь местные купцы распускают по всем углам про новую власть, то ответите за все это вы. Не взыщите тогда. Счастливо оставаться.

КАШИН. Дай бог час...

ВСЕ. Счастливый путь.

Комиссар уходит. Все припадают к двери. В момент окончания речи комиссара в коридор входят Надя и Борис, одетые в дорогу.

БОРИС. А папаша с мамашей?

НАДЯ. Плевать.

КОМИССАР *(входя)*. Ну, едем...

НАДЯ. Едем.

КОМИССАР. Что же, родительского гнездышка не жаль? *(Надевает варежку.)*

НАДЯ. Плевать, и никаких гвоздей!

КОМИССАР. Только ведь легкомыслия, должно быть, много.

НАДЯ. Вот, ей-богу, нет... *(Уходит.)*

ПЕТУХОВ. Удрали... Мать честная, удрали...

ГОЛОС. Съехал... господи, создатель!

ПЕТУХОВ. Да здравствует свобода!

КАПИТАНША. Серж, не отставайте.

КАПИТАН. Да здравствует свобода!

КАШИН *(стоявший неподвижно)*. Факты мне подайте... Факты!

ВСЕ. Какие же факты еще надо? Удивительно... Что вы? Странно даже.

КАШИН. Валерий Николаевич, ваше мнение?

БЕРКУТОВ. Свое мнение я уже высказал. А вы из собственной вам предосторожности можете подождать до завтра.

ПЕТУХОВ. К черту бескрылую предосторожность. Сейчас все к чертям, гимн и бал! Вот как по-нашему.

ГОЛОСА. Правильно. Верно.

КАШИН. Позовите-ка Феклу...

Петухов и капитан бросаются в кухню.

ШИШИКИНА. Это что же, нас-то теперь, значит, за пятки и на мороз? Нет, подождите, у меня ордер.

КАШИН. Я тебе такой ордер покажу, что не опомнишься.

ШИШИКИНА. Нет, осклизнетесь! Уплотнять меня можете, а выселять никакого права. У меня младенец.

Входит Фекла, которую ведут под руки Петухов и капитан. Она в своем наряде.

ФЕКЛА. Что, братец?

КАШИН. Какой тебе к черту братец! Ошалела?

ФЕКЛА. Что угодно, гражданин?

КАШИН. К дьяволу гражданина! Да сними ты к черту этот идиотский наряд... Пугало огородное какое-то! Вот что: все это отсюда долой — гусей, кровати, чутунку. Я теперь хозяин в своем доме. Опять хозяин, черт возьми!.. *(Набожно крестится.)*

ШИШИКИНА. Только тронь, я тут такую пыль подниму, что не обрадуешься.

КАШИН. Уедешь ты отсюда или нет? *(Берет щетку.)*

ПЕТУХОВ. Гражданка-амеба! Вас просят об освобождении не принадлежащей вам площади, которую вами, ввиду осадного положения, временно уплотнили. А теперь благородно просят о выходе. Алле! Фиты!.. Не помогло. Антракт... Тогда другое средство. Дайте-ка *(берет щетку)*.

ШИШИКИНА *(спокойно)*. Вот возьму тебя поперек, задеру штанишки да всыплю по первое число.

ПЕТУХОВ. По первое... У, грубая скотина.

КАПИТАНША. Серж, что же вы стоите?

КАПИТАН. Позвольте-ка... Ну-с, дверь видишь?

ШИШИКИНА. Вижу!

ПЕТУХОВ. Открыть надо. *(Бежит открывать.)*

КАПИТАН. И только?

ШИШИКИНА. А что же еще?

КАПИТАН. Но движения в себе никакого не чувствуешь? Тогда — направляющее средство. *(Берет щетку.)* По линии АВС — гоп!

ШИШИКИНА. Только тронь — сейчас крик подниму. После первого сентября выселять не имеете права, я женщина тяжелая. *(Капитан подходит со щеткой.)* А-а-а-а-а-й! Караул!.. А-а-а-й!

КАПИТАН. Тьфу ты, пропасти на тебя нет.

ПЕТУХОВ. Ну-ка, капитан... Маневр на классовой психологии. Акт третий. *(Схватывает клетку с гусями и бежит с ней к двери.)* Муж, за ней!

ШИШИКИНА. Ай, ай!.. Куда понес? Куда? Ай, ай, ай! *(Бежит, подобрав юбку.)*

ПЕТУХОВ *(возвращается, запирает дверь)*. Теперь эпилог. *(Схватывает ее вещи и бросает в окно.)*

АННА ФЕД. Ну, слава богу.

ПЕТУХОВ. Реставрация закончена. А что же чего полагается? Хозяин, как же это? От Мамая вас избавили, а вы?

КАШИН. До чего ты, братец, надоел. Ну, ладно, поди в погреб, в старый, знаешь?

ПЕТУХОВ. Знаю, знаю.

КАШИН. Только одну бутылку, не больше.

ПЕТУХОВ. Будьте покойны, обладим. Вали, все долой отсюда, ставьте стол. Я сейчас. *(Отодвигают кровать, ставят стол.)*

КНЯГИНЯ. Все уже кончилось? Ушли эти греки или как?.. Да, меньшевики.

БЕРКУТОВ. Большевики, княгиня. Это несколько иное, чем меньшевики.

КНЯГИНЯ. Я, по обыкновению, путаю. А разве есть и те и другие?

КАПИТАН. Есть. По росту различаются.

КНЯГИНЯ. Как по росту? Ну, вы все шутите. Он шутит? Ну, какой злой. Я ведь, правда, очень плохо разбираюсь в этих вещах. А где же союзники?

БЕРКУТОВ. Союзников нет, княгиня. Очевидно, один их призрак напугал наших угнетателей.

КНЯГИНЯ. Ах, союзников нет... Один их призрак...

Входит Петухов с бутылками под мышками, в руках, в карманах, за жилеткой. Навеселе.

ПЕТУХОВ. Вот они, мамочки мои!

КАШИН. Я ведь тебе одну бутылку говорил принести.

ПЕТУХОВ. Ну, обсчитался... *(Ставя бутылки, капитану.)* Коньяк, брат, 20-летний. Ты попробуй. *(Дышит.)* От одного духу голова кружится.

БЕРКУТОВ. Товарищи!

ВСЕ *(изумленно оглядываются)*. Что такое? Что вы?

БЕРКУТОВ. Ой, ради бога, простите. Господа!

ПЕТУХОВ. Вот теперь все так-то переучиваться приходится?

БЕРКУТОВ. Господа, я хочу сказать несколько слов. Наша первая национальная доблесть — это способность самокритики и покаяния.

ПЕТУХОВ. Верно... *(Наливает на кровати вино.)*

КАШИН. Петухов, молчи.

БЕРКУТОВ. ...И я не могу не отметить, что во время дней испытания некоторые из нас обнаружили не красивую трусость и полное отсутствие гражданского мужества...

ПЕТУХОВ *(указывая на капитана)*. Верно, верно...

БЕРКУТОВ. Я имею в виду Петухова,

ПЕТУХОВ *(удивлен)*. Виноват?..

БЕРКУТОВ. Этот субъект — какое-то воплощенное политическое легкомыслие, если не сказать больше... Не

успела прийти новая власть, как он уж примазался и стряпает пьесу ярко-революционного содержания...

ПЕТУХОВ. У меня уж патриотическая завтра будет готова.

БЕРКУТОВ. Тем хуже. Как вы, Петухов, сами не можете этого понять.

ПЕТУХОВ. Мою душу аршином не измеришь! В тот самый момент, когда я давал ему пьесу, во мне совершенно неожиданно произошел мгновенный переворот. И я опять возродился. За белые цветы нации — аристократию — княгиню и графа. Ура!

ВСЕ. Ура... Горько, горько!

ГРАФ. Господа, позвольте.

ВСЕ. Горько! Не отвиливайте. Просим... Требуем... Горько!.. (Шум.)

Граф целует княгиню.

ВСЕ. Молодец... Ура!..

ИВ. ИВ. Позвольте тост.

ГОЛОСА. Княгиня, за прекрасных женщин. Ура!

ИВ. ИВ. Послушайте, товарищи, граждане, господа...

ПЕТУХОВ. Вали, брат... (В совершенном опьянении.)

Слушать, черт вас возьми... О, господи... (Все замолкают.)

ИВ. ИВ. Предлагаю тост за... (Пожимает плечами.) Забыл, как называется.

БЕРКУТОВ. Что как называется?

ИВ. ИВ. Вы... вы как называетесь?

ПЕТУХОВ (кричит). Эсер и меньшевик!

ИВ. ИВ. Нет, не то... Да. За идеолога нашего Валерия Беркутовича...

ГОЛОСА. Ура!

ПЕТУХОВ. Все перепутал, брат ты. А впрочем, черт его возьми. Тост! За меня... За Ардальона Петухова.

КНЯГИНЯ. Граф, за постановщика.

ПЕТУХОВ. Вот, тронут. (Целует со всеми.)

Комиссар возвращается и проходит в канцелярию: «Это все товарищ Иванов тут панику устраивает. Возобновить завтра регистрацию».

ПЕТУХОВ (*хочет поцеловать княгиню, но, пошатнувшись, промахивается и целует графа.*) Пронут, черт вас возьми. А это кто такой? Иван Иванович, это ты, что ли? ИВ. ИВ. Это? Это я.

ПЕТУХОВ. Вот, брат, как развезло, мочи нет... (*Кричит.*) Завтра ставлю свою старую, т.е. новую, пьесу, патристическую, с гимном в конце.

ГОЛОСА. О, хорошо, отлично, с гимном. Молодец Петухов.

КАПИТАН (*уселся с Петуховым друг против друга.*) Ты — молодец.

ПЕТУХОВ. Я — талант!

КАПИТАН. Верно. Дурак, а талант. (*Целуются. Негромко Петухову.*) Гимн... Боже, царя храни.

Поют сначала едва слышно вдвоем; постепенно остальные, услышав, присоединяются. Княгиня садится за рояль. Петухов лежит грудью на столе, поет и размахивает руками. В коридор входят: комиссар, Надя. Комиссар слышит пение гимна, приоткрывает дверь в зал и дает знак Наде, чтобы она шла за солдатами. Та несколько времени, ошеломленная, стоит неподвижно, потом твердо, по-военному повернувшись, уходит. Комиссар входит в зал. Надя с солдатами занимает выход в переднюю. В зале не все сразу замечают комиссара, увидевшие немеют. Петухов после всех оглядывается и на высокой ноте  
в ужасе сползает со стула.

Конец

# Свежесть жизни

Из дневников и записных книжек







## Свежесть жизни

Из дневников и записных книжек

2 сентября 1905 г.

А.С. сказала: «Вот Вам новый сюжет» (т.е. чудовищно тяжелая жизнь). Господи, не понимает она, она думает, что я буду писателем-рассказчиком. Господи, нет! У меня замыслы совсем не такие. Я хочу сделать «свою литературу» «художественной наукой о человеке», где не может уже быть ни одной строчки «так себе», а для этого учиться, учиться!

*Конец ноября 1915 г.*

Везде я вижу одни мрачные лица, везде слышу только унылые речи; все разговоры о войне сводятся к одному: к чему продолжать воевать? Разве мы уже не побеждены? Можно ли верить, что мы когда-нибудь поднимемся вновь.

Эта болезнь распространяется не только в гостиных и интеллигентных кругах, а и среди рабочих и крестьян, где наблюдается атрофия патриотического чувства и желание поражения.

У крестьян упадок духа имеет и косвенную причину — запрещение алкоголя.

Одна из нравственных черт русских — это быстрая покорность судьбе и готовность склониться перед неудачей. Часто они даже не ждут, чтобы был произнесен приговор рока: для них достаточно его предвидеть, чтобы тотчас ему повиноваться. Они подчиняются и приспособляются к нему как бы заранее.

Никакое общество недоступно чувству скуки больше, чем общество русское; леность, вялость, оцепенение, растерянность, утомленные движения, зевота, внезапные пробуждения и судорожные порывы, быстрое утомление от всего, неутомимая жажда перемен, непрестанная потребность развлечься и забыться, бе-

зумная расточительность, любовь к странностям, к шумному неистовому разгулу, отвращение к одиночеству, пристрастие к болезненным мечтаниям и мрачным предчувствиям.

*Февраль 1916 г.*

Душевная чистота самая благоприятная среда для глубокого и тонкого познания. В прозрачной воде глубоко видно.

*1 марта 1916 г.*

Обдумывал «Детство». 5 лет я работал над ним неумелыми юношескими руками. Потом оставил на целых 5 — 6 лет. Теперь опять взялся. Если осилю — будет чудесное создание. Мне хочется воспроизвести всю красоту мира и чудесную свежесть жизни, которые доступны только детству.

*12 мая 1916 г.*

Как легковесны настроения общества, и как это общество близоруко, легкомысленно. Оно восхищается в печати теми казаками, которые в 1905 году драли это общество нагайками и будут драть в 1918. Самые левые газеты печатают портреты тех же казаков. Потому что теперь они средство защиты. Если средство плохо и дурно, не нужно прибегать к нему ни в каких случаях. Иначе это лицемерие и расхлябанность воли и мысли.

Все левые газеты, прежде стоявшие всегда и во всем в оппозиции правительству, во время войны стали некрасиво и глупо единодушны с правительством. Порыв... И все либеральные партии, за исключением самых левых, оказались предателями по отношению к русскому народу. Подали ему руку и завопили, что они ему помогут перерезать весь русский народ для благоденствия династии короля сербского Петра. Так как русский человек без идеала жить не может, то сейчас же был вытащен напрокат и идеал: «Борьба с милитаризмом, возвращение народам свободы». Эти господа возвращать свободу собрались, когда у себя шагу не могут сделать, слова не могут свободно сказать. Тут же общество решило, что все прежнее по отношению к

правительству забыть... И еще раз доказало это общество, что оно не определенная величина, а тестообразная масса, поддающаяся всякому давлению и принимающая какую угодно форму.

Газеты в один день из либеральных превратились в охраннические. И это от души. Душа у нас очень хорошая. Вмиг может от вспыхнувшего чувства всепрощения к бывшему врагу и свинье задрожать от внутреннего восторга.

Дальше, когда правительство, должно быть, в большей своей части состоящее из немцев, показало, что оно не намерено очень забывать свою линию и лезть христосоваться, когда оно своими расправами показало, что его позиция прежняя, все-таки общество, слишком разбежавшееся по пути самопожертвования, патриотизма и борьбы с насильником, варваром, врагом, не смогло уже остановиться и только переставило некоторые колесики в идеалах: мы сначала победим немца, а затем и с правительством посчитаемся.

И это стало оправданием всяческой помощи правительству. Депутаты народной свободы призывали дам жертвовать кольца, брелоки, чтобы на эти деньги посылать на убой русский народ.

Прозвучал лозунг: все для войны и война до конца. В особенности за это с беззаветной отвагой кричали всякие промышленники.

И это стало уже ходячей фразой. «Вот теперь мы с вами заодно, а потом посчитаемся». И здесь опять сказала русская растяпость. Они посчитаются после, народ заговорит, а сами в простоте души делают все возможное, чтобы народа этого осталось как можно меньше. Делают, словом, то же, что и правительство, цель которого перебить, извести как можно больше народа (для чего и посылают его без снарядов на расстрел немецкий), чтобы потом легче было справиться с остатками.

Либеральные партии (за исключением крайних левых и крайних правых) явили пример редкого всенародного предательства, провокаторства.

Все вожаки средних и либеральных партий, всякие члены правительственных блоков, члены совещаний, заводчики кричали: война до конца. И нельзя было не

кричать. Никогда не делали капиталы таких оборотов, никогда простые продукты, как сахар, мука и проч., не давали таких безумных барышей.

Война оказалась выгодна для всех. И красноречие патристическое расцвело небывало яркими красками. Не выгодна она была только для тех, у кого красноречия не было, не только красноречия, а слов, — кого гнали тысячами туда, чтобы их меньше было. Меньше! Как можно меньше! Хорошо, что ЭТИ предупредили нас, что они ПОСЛЕ с нами посчитаются. Но, конечно, они просто по-дружески политично выдали нам план народной кампании. И план-то немудреный, как и русская сама душа. Не знаешь, где кончается святая простота и начинается продажность...

Газеты либеральные во время войны вели себя как подлинныe провокаторы. Писали о мощи, о победах, о душе, о бодрости и т.п. И ничего о том, о чем нужно писать, о том, что население боялось немцев гораздо меньше, чем русских войск, что казаки не сражались с немцами, а жгли и грабили свою Русь, насиловали женщин, детей, надругались над всеми. И все кричали о немецких зверствах. Скажут, об этом нельзя было писать. Тогда молчи. Так, чтобы за молчанием было слышно, о чем молчат. А не расписывай подвиги тех насильников, от которых кровью обливается и народ, и право, и свобода человека.

### *Середина 20-х годов*

Нельзя брать предметом творчества факт действительности, списывать с натуры даже тогда, когда этот факт значителен. Нужно посмотреть, какое явление под этим фактом кроется, и создать другой свой факт, который происходил бы из того же явления, что и факт действительности. Тогда у читателя нет легкомысленного отношения как к списанному. Ему это знакомо и не знакомо. Важно сбить его с толку.

Только теперь некоторые начинают понимать, что мною создано то, чего еще никто не создавал... Но как они мало знают, что зреет во мне. И «Русь» ведь только эпизод для меня, хотя Луначарский говорит, что никакого человеческого опыта не хватит на такую громаду.

и спрашивает, откуда же она? Из меня. Не я часть Руси, а Русь часть меня. Только небольшая часть. Как ясно я это чувствую. Как хорошо жить, когда чувствуешь все время себя на вершок от земли. Непрестанная, быстрая из сердца радость, бесконечная полнота и переполненность. Хочется на весь мир крикнуть: «Проснитесь, откройте яснее и радостнее глаза, идите ко мне. У меня есть столько, что хватит на всех».

Передо мной моя жизнь вся ясная, с необъятной задачей, божественно легко мною разрешающейся.

Я не пишу лирических излияний. Но это итог огромной полосы жизни. Это зрелый крик радости с достигнутой вершины.

Я проведу по миру такую борозду, которой не сотрет никто. Даже время...

«Русь» полностью не поймет никто. На это нужно несколько существований. Спрятать, уничтожить все мои записки к ней, являющиеся в значительной степени ключом к ней, или отдать их?

*7 октября 1929 года*

Кончил роман «Попутчик». Первой мыслью было написать роман «Вырождение», т. е. конец интеллигенции в плане вырождения. Я писал его два раза и все не загорался, и только когда стал писать в третий раз, почувствовал всю силу охватившего меня вдохновения. 310 стр. я написал в 31 рабочий день. Чувствую, что написал страшную вещь. «Последнюю главу из истории русской интеллигенции».

Какое у меня «политическое мирозерцание», какая «позиция» наконец?

Никакой. Одно время я загораюсь перспективами революции, в другое — я вижу ее в самом черном свете, в третье — еще как-нибудь. Но благодаря именно этому мне внутренне знакомы опытным путем все позиции, и я их только делаю материалом для себя, и отсюда моя пресловутая объективность и проникновение в человеческую душу, потому что моя душа имеет десятки лиц. И, в сущности, я все пишу из собственного опыта, так как по себе знаю и те, и другие, и третьи отношения к действительности.

Если бы я был практическим деятелем — гражданином в революции, я был бы благодаря этому свойству слабейшей пешкой. А так как эти мои «ощущения» идут не на практическое дело, а поступают в художественную лабораторию, я оказываюсь сильнейшим.

1931 г.

Эпоха мировой известности.

В России у милиционера больше власти и права на жизнь, чем у писателя с мировой известностью.

Меня не печатают, не переиздают. Я не знаю, чем мы будем жить. Последние деньги уходят на покупку продуктов по дорогим ценам в «коммерческих магазинах» со спекулянтскими ценами. Я не знаю, что будет дальше, и по присущему мне «легкомыслию» к обитанию в мирах иных (творчество) не задумываюсь над этим. Пишу «Русь». Написано уже 725 стр.

Я всегда шел только своим путем, не задумываясь о его «реализации» и практической выгоде.

Знакомые присылают нам из правительственного «закрытого распределителя» то кусочек мяса, то кусочек рыбы.

Был у Халатова, заведующего Госиздатом. Пошел поговорить о том (по настоянию Антонины), как они смотрят на меня и будут ли печатать «Русь», а также попросить приписать меня к распределителю для получения продуктов, так как уже масса писателей приписана туда.

Принял меня, сидя за столом, и не только не встал, а продолжал что-то писать. Очевидно, желая показать расстояние между собой — начальником и мною... кем? Я говорил, а он все писал.

Потом я раз пять звонил его секретарю, спрашивал, приписали ли меня к распределителю, и прося сказать об этом Халатову. Получался ответ, что секретарь ему «докладывал» уже сколько раз, и он ничего не ответил.

17 июня 1934 г.

Приезжавшие ко мне члены английского парламента, уходя, сказали: «Расскажем в парламенте, что видели Романова».

Приезжавшая норвежка называла меня великим писателем.

Приезжала датчанка, говорила о моей популярности в Дании. В Норвегии был поднят шум о том, что такой большой художник живет в СССР чуть ли не в подполье. Этого нет, но меня почти не покидает чувство какого-то позора. Мало денег, так как меня не переиздают. Я принужден выступать часто в такой компании неизвестных мелких актеров, певцов и ГАРМОНИСТОВ, что кровь приливает к щекам от стыда за это унижение. Но кормят меня только эти выступления, так как я за пять лет имею тираж 15 тысяч.

Мое утешение в том, что читатели жадно ловят мои книги, разыскивая их остатки повсюду. Мои выступления в Москве проходят с безумным успехом. Конференсье, выпуская меня, говорят: наш известный, наш любимый. Что за ерунда! Кто же я в конце концов?

18 июня

Приехал в Киев. Здесь какое-то распредел-бюро распределяет №№ в гостиницах. Мне дали на последнем этаже №. В подъезде и в первых двух этажах чистота — в моем грязь, сломанные ванны в коридоре. Какие-то сваленные доски. Резал телятину перочинным ножом и ел.

Вот это убивает всю энергию и создает противное, приниженное настроение какой-то унизости своего существования.

Администратор еще обрадовал: «Должен вас предупредить, что здесь прочитали неодобрительную московскую рецензию о вашем романе «Собственность», она исключена из библиотек, и вам не разрешается читать на заводах».

Какое жалкое холопство. Какой-то критик написал, и уже все с испугом отказываются, меня уже боятся. Ни своего мнения, ни своей оценки нет и в помине.

Одна моя отрада в том, что уже почти кончил IV и V части «Руси». В два года написал 50 листов.

А на лето ехать не с чем, приходится ехать в Киев, выступать за 300 р. вечер, по золотому курсу это 6 руб. Какое-то жутко-беспросветное настроение. Сижу в

«Гранд-отеле» в паршивом № 48 и бездумно смотрю в окно. Мне кажется, нет ничего, что могло бы сейчас доставить мне радость, оживить меня. Вероятно, это результат написанных за зиму 800 стр. Сейчас бы нужен полный отдых, а не выступления для заработка. Но и бездействие в таком состоянии мучительно...

Очевидно, я совершенно не приспособлен к бездействию. Поэтому я не могу с удовольствием отдыхать, точно во мне вертится постоянно какой-то маховик, не желающий останавливаться ни на минуту.

19 июня

Киев. Вчера публика слушала меня до 1 ч. ночи. Устроители были поражены. Сегодня проснулся рано... Вчерашней беспросветности нет и следа. Легкость, бодрость, уютные мысли...

Наша эпоха несет на себе печать отсутствия в людях собственной мысли, собственного мнения. Люди все время ждут приказа, ждут, какая будет взята линия в данном вопросе, и боятся выразить свое мнение даже в самых невинных вещах. Скоро слово «мыслить» у нас просто будет непонятно.

20 июня

Отвратительное ощущение от вчерашнего выступления. Зав. Домом работников просвещения, какой-то Файнштейн, запретил мое выступление в их клубе, так как где-то слышал, что о романе «Собственность» есть неодобрительная статья. Я читал в летнем саду у пищиков, где танцевали, гуляли.

Боже, где же предел унижению! А жить нужно.

В этом году исполняется мне 50 лет, и написано уже 17 томов.

От публики получаю трогательные записки на выступлениях. «Любимый, родной», — пишет какой-то мужчина. В записке говорится о впечатлении, которое произвела на него «Русь».

Когда я сказал, что вычеркнул из I ч. «Руси» около 200 страниц, в зале произошло движение. Я получил



записку, спрашивающую, неужели я вычеркнул «Смерть Тихона»? Когда я сказал, что глава оставлена, в зале раздались аплодисменты.

Сейчас пойду пить кофе в кафе напротив, а потом к агитпропу говорить о снятом вечере. Все равно ничего, кроме унижительного ощущения, не будет. Везде рабски-трусливые чиновники, не имеющие своего мнения. При этом держатся генералами, как будто ты его подчиненный, и он выдержит тебя добрых полчаса в приемной.

У меня нет честолюбия, я пальцем не пошевелю, чтобы добыть себе лишнюю популярность, но гордость моя, русского писателя, которого знает все-таки весь мир, — страдает непереносимо, едва только сделаешь какой-нибудь шаг.

Неужели люди всегда были такие?

Встретил здесь, в Киеве, незнакомого мне писателя, который работает «над Востоком» (Китай, Япония). Пишет двадцать лет и все «никак не попадает в точку». Они этой точки ищут все по сторонам, а не в себе. Все точки по сторонам видны для всех и никого не удивят, как неожиданность, ТОЧКА же внутри себя лежит тайно от всех, никто о ней не догадывается и не думает, не знает. Будучи же вскрыта, она сразу оказывается неожиданной, но близкой всем новостью, как бы собственным для каждого прозрением в самого себя.

21 июня

Просвещенцы испугались и отказались от вечера, сорвав мою афишу. Остальные клубы тоже отказались. Настроение — травимого зверя и ощущение полной бесправности. Ко всему этому администратор дал мне за выступление не деньги, а чек. Я вчера потратил утро, не получил. Сегодня с 9 утра пошел. Там толпа, крик, толкаются, лезут...

Решил пойти к Культпропу и рассказал о Файнштейнах и Берсонах. Оказалось, что мы где-то встречались. Он глаза вытаращил. Приказал вызвать этих субъектов и организовать мои чтения. Я вышел дру-

гим человеком. Вот почему писатель должен быть хорошо обставлен: только тогда у него будет правильное восприятие действительности... Стой, стой, тут какая-то ложь: я вчера еще говорил: «Хорошо, что я влачу такое недостойное моего имени существование (жена еще принуждена после серьезной операции работать, чтобы содержать семью), по крайней мере я вижу ту жизнь, какой живут 9/10 населения».

Когда ходил в банк, видел очередь шагов в 150, человек пять в ряд, она привела к хлебному магазину, где в дверях стоит милиционер и сражается с лезущими в эту дверь оборванными людьми. В магазине на красном полотнище надпись: «Да здравствует мировая революция!» Все, кто выходит с хлебом, на ходу жуют его, отламывая от куска...

### 23 июня

Когда ехал из Киева, в вагон вошла девочка лет 15 — 16 — живой скелет. Она села на лавку и сидела, опустив голову в стареньком платке и держа в руках какой-то маленький узелок. В лице у нее было поражающее выражение безразличия и какой-то покорности.

Моя соседка дала ей кусок хлеба, она низко поклонилась и сейчас же стала есть. Я дал ей четверть курицы. Вошел кондуктор и сказал ей, чтобы она уходила. Она покорно встала и пошла на площадку.

Я спросил кондуктора о ней, он сказал, что села не в тот поезд. Этот скорый и не останавливается на той станции, на какой ей нужно. «Что ж с ней делать, не выбрасывать же ее». При этом он махнул рукой, как бы выражая этим последний предел человеческого несчастья, при котором не хватает духа что-нибудь спрашивать с человека.

Я вышел на площадку и стал ее расспрашивать, как она поедет назад, ведь денег у нее нет (она голодающая и едет сама не знает куда)? Но почему-то ей нужна та станция, на которой поезд не остановился.

Я дал ей три рубля на билет. Она опять низко поклонилась мне, потом взглянула на меня и почему-то зарыдала.

У меня защекотало в горле, и я поскорее отстал.

Поля сплошь не засеяны, или рожь пересеяна овсом, сплошь поросшим сурепкой.

24 июня

В Москве, едва вошел в трамвай, вытащили из кармана 300 р.

25 августа 1934 г.

Лежу на диване в своем Пименовском. Читаю Блока «О литературе», такое ощущение, точно вышел на свежий, вольный воздух: человек пишет, не оглядываясь, то, что он думает, что чувствует, у него одно «руководство» — собственная мысль и собственная природа, выражающаяся в этой мысли. Какое отдохновение и радостное возвращение к чувству истины, совершенно утерянному нами в потоках лжи, подхалимства и полной утраты всякого стыда.

Приятно, что Пушкин останавливался в моем Пименовском переулке (у Нащокина). Я каждый раз смотрю на этот дом, когда прохожу мимо.

Я отличаюсь от всех своих современников-писателей тем, что я — единственный «исповедник сердца человеческого», потому что я всего себя отдаю миру. Как меня назвала одна женщина в письме — «водолаз душ человеческих». Мои современники описывают далекие (для души) видимые вещи, а я самые близкие для нее, но невидимые.

26 августа

Большинство наших писателей являются подголосками эпохи. И так как это пока является главной доблестью, то все стараются перекрычать друг друга в проявлении энтузиазма, оптимизма и бодрости.

В частной жизни мы остерегаемся и не очень доверяем тем людям, которые очень много и с большим темпераментом говорят о своей любви к нам.

В политике, очевидно, другая мера и цена этому. А главное — другое употребление.

Критика негодует на меня, что я все такой же, что я не сливаюсь с эпохой и не растворяюсь в ней, как другие.

Глупый критик оказывает плохую услугу той же эпохе, так как его идеалом являются безликие восхвалители, и только.

Только тот писатель своей эпохи останется жить для других эпох, который не потеряет в бурном потоке событий самого себя.

От писателя прочнее всего останется его дух. Если у писателя нет своего духа, от него ничего не останется, кроме «устаревшей» печатной бумаги.

Движению эпохи нужно противопоставить свою неподвижность.

В настоящем искусстве никогда не найдешь изображения того, что и как было в действительности. Там, наоборот, такие события и лица, каких совсем не было. Но каким-то образом о них сказано то, что читатель неведомым образом знает, что это правда, как правда есть в притче. Оно из тайных, никому не известных (кроме художника) движений души, свойственных людям данной эпохи, создает свои события, своих людей, и они, разнясь от реальных людей эпохи фабулой своих действий, оказываются таинственно родственны им каким-то внутренним смыслом своим, скрытым от посторонних глаз.

Именно художник имеет силу потому, что он не смотрит на то, что доступно всем.

Он открывает тайну, которую, сами не подозревая, носят в себе его современники, тайну несовершенных поступков, невысказанных мыслей, переживаний, которые должны были бы совершиться и высказаться в какой-то перспективе, от какого-то толчка, которого не хватает в действительной жизни для их выявления. А художник прозревает их и без толчка, и без реального их выявления...

Современники  
Пантелеймоне  
Романове





# А.М. Шаломытова-Романова

Человек, излучающий  
ласковую теплоту

«У ненависти есть одно средство —

уничтожать, убивать, а у любви есть множество возможностей созидать».

(Из записной книжки П.С.Романова)

Познакомилась с П.С. Романовым в г.Одоеве Тульской области в 1919 г. Приехала туда на летний отдых к подруге. Городок тихий, красиво расположенный на берегу реки Упы, весь в садах, масса фруктовых деревьев, и при каждом домике садик с цветами. Ведь всегда, когда идешь по улице (особенно если холодно или идет дождь) и заглядываешь в чужие освещенные окна, кажется, что именно там уютно и тепло. А может быть, от чрезмерной усталости и одинокой жизни в Москве мне захотелось остаться в тихом Одоеве и начать работу там. В то время в Одоеве жило довольно много интеллигенции, был даже открыт Университет, музыкальная студия и свой постоянный театр. По линии культурных мероприятий П.С. Романов сделал очень много в Одоеве. Подруга моя Е.В. Сумаротская тогда работала в отделе труда и знала, конечно, почти все население Одоева. «Тебе надо пойти в отдел народного образования. Там во внешкольном подотделе работает писатель Романов П.С., очень хороший писатель, прекрасно читает свои вещи и, кажется, хороший, приятный человек, пойд и поговори с ним», — сказала она.

Мы пошли в отдел Наробраза и по дороге к почте встретили Романова, тут же на почте на скамеечке у ворот я рассказала ему, что хочу организовать хореографическую студию и вообще все свое знание и умение приложить к работе в Одоеве. Работать при театре и открыть кружок для детей (тогда еще самодеятельности не было). Стала ему показывать свое удос-

товере́ние и мандаты. Тогда я работала как артистка балета в ГАБТе, в театре Худ. просветительных рабочих организаций, и хударком студии пантомимы и танца, и в техникуме кинематографии, и др. Он произвел на меня сразу большое впечатление своей ласковой теплотой и какой-то дружественностью, точно я была с ним сто лет знакома и ему можно все открыть и доверить. Такое впечатление он производил всегда в своей жизни, и редко кто не поддавался его личному обаянию. Стали обсуждать, что можно и нужно сделать для моего намерения, как отнесется к этому Наркомпрос и что можно организовать своими местными силами. Он пошел меня проводить домой, мы ходили по городу до вечера и все разговаривали. На другой и третий день мы встречались, составляли планы, сметы и осматривали помещение для занятий. Он очень много спрашивал о Москве и говорил: «Если у нас в Одоеве сейчас с революцией развернулось такое культурное строительство и такое тяготение к культуре пошло, то воображаю, какой ураган, какая буря бушует сейчас у вас в Москве». Я стала рассказывать ему о Москве и все больше и больше увлекалась, рассказывая, какие широкие пути теперь там всем открыты, какая масса новых исканий в искусстве, идет ломка отживших старых путей в театре, о работе в театре ХПСРО, где тогда работали Барсова, Закушняк, Озеров и др., и о том свежем воздухе, которым повеяло в бывших императорских театрах, где при царском режиме путями искусства ведали главным образом «чиновники особых поручений».

И то ли усталость прошла, а вернее, встреча с человеком, которым я увлеклась, с которым мы нашли такой большой контакт и столько горячих тем об искусстве, что мое желание поселиться в тихом Одоеве стало гаснуть. Я стала расспрашивать, в свою очередь, о его писательской работе. Помню, мы шли тогда по дороге в Жупань (бывш. имение Ширкович), а тогда там была школа, теперь же не знаю, существует ли Дом отдыха писателей. После моего отъезда П. С. Романов снялся на балконе, где мы говорили, и сделал снимок дороги, по которой мы шли.



Он говорил о работе над «Русью», которую начал в набросках в 1907 г. и которой он придавал громадное значение. Тут же он дал мне прочесть свою повесть «Детство» в рукописи, которая была впоследствии напечатана с посвящением мне в четырех изданиях. Последний раз в Гослитиздате после его смерти в сборнике «Избранное», вышедшем в 1939 г. Тут я поняла, что это его творческий рост, это его призвание и что писательство — дело его жизни. И что ему надо ехать в Москву и там работать, общаться с новыми людьми и быть в центре социалистической стройки. У меня у самой появился огромный прилив энергии и новые планы работы в самом широком масштабе. Мы стали все свободное время проводить вместе и поняли, что нам надо быть вместе — и что мы любим друг друга.

Отпуск мой кончился. Надо было уезжать... Как мне не хотелось расставаться, но впереди была близкая встреча, надо было многое сделать, чтобы она состоялась, и работать — работать рука об руку вместе на любимой работе. Сколько раз мы не понимали и даже смеялись друг над другом, больше ли мы горюем от расставания или восторженно живем и горим в будущем. Наконец я уехала. В начале августа в Москве я начала пробовать что-нибудь устроить для переезда П.С. в Москву. Это было нелегко, потому что в 1919 году работники с периферии могли переехать на работу в центр, если таковой в них нуждается и вызывает к себе какое-либо учреждение. Вскоре П.С. приехал в командировку в Москву на съезд по вопросам организации рабоче-крестьянского театра. Пробыл он в Москве около месяца и даже задержался больше возможного, но возвращаться было нужно. В день его отъезда у меня умерла мать Евдокия Афанасьевна Шаломытова, которая жила в Петровско-Разумовском. Было очень тяжело и с ним расставаться, и свежее горе — утрата матери — давило. Тут я как-то не умом и рассуждением, а всем своим существом поняла, что мы должны быть вместе, будем вместе и что наши жизни сошлись. Это была не простая влюбленность, а что-то новое, крепкое и нерушимое. Через неделю он написал, что и его мать Мария Ивановна Романо-

ва тоже скончалась и что ему более чем когда-либо нужна дружеская женская теплота и близость. Осенью 1919 года А.В. Луначарский организовывал техникум кинематографии и проводил много бесед с нами, будущими педагогами, о значимости кино. Тогда же я познакомилась с председателем кинокомитета Дмитрием Ильичом Лещенко. Я поговорила с Лещенко, и стала намечаться возможность вызова П.С. в Москву на место кинореферента в кинокомитет. Тогда в кинокомитете скопилось огромное количество старых фильмов, среди которых было бесконечное количество ненужной макулатуры, но все-таки их надо было все просмотреть, отрецензировать, потому что среди этого был и такой материал, который по тем или иным соображениям надо было сохранить. Я дала прочесть Д.И. Лещенко рассказ П.С. «Отец Федор», напечатанный в 1911 г. в «Русской мысли», и др. рассказы. Лещенко написал в Одоев, вызывая Романова в Москву. Это было принято хорошо, к этому хорошо и сочувственно отнесся председатель Одоевского Исполкома тов. Емельянов. Но в это время подступали к Туле и Курску белые деникинские банды. И сообщение всякое прервалось. Много помог А.В. Луначарский, которого я просила послать телеграмму в Одоев, потому что мои часто не доходили.

И к этому тяжелому и тревожному периоду нашей жизни относится самое дорогое и благоговейно хранимое воспоминание. Мне кажется, что я говорила по телефону с В.И. Лениным. Вышло это по моей счастливей судьбе так: я была на совещании ХПСРО. Директор театра тов. Е.К. Маленовская спросила меня, почему я так нервничаю, я рассказала ей о своих отношениях с П.С. и что сегодня коллегия кинокомитета Д.И. Лещенко поставит вопрос о вызове Романова в Москву. Но он, кажется, болен и на коллегии не будет, а мне дорог каждый день, и отсутствие вестей в связи с наступлением меня тревожит. Она сказала — вы позвоните в Кремль и вызовите Дмитрия Ильича. Когда меня соединили с Кремлем и я в волнении неразборчиво произнесла «Дм. Ильич», телефонистка спросила меня: «Вам верхний коммутатор?» Я не знала, что

это, и сказала — да! Меня соединили. Когда меня соединили, я услышала спокойный, немного больной голос, «я слушаю». Думая, что я говорю с Д.И. Лещенко, я стала, задыхаясь от волнения, выпаливать свои горести и тревоги. Меня слушали. Вот тут, когда я вспоминаю этот момент, я преклоняюсь перед терпением, заботой и вниманием к взволнованному человеку великого вождя Ленина. Он не рассердился, не положил трубку, спросил, кто говорит и кто мне сказал, что он болен и что в коллегии сегодня не будет. Я сказала — кто, и, думая, что со мной говорит Д.И. Лещенко, объяснила, что меня волнует и сложившаяся ситуация, и не разрешенный тогда вопрос в отношении Р. с его первой женой А.В. Вишневской, и то, что он может убежать в Москву. После некоторой паузы тот же спокойный голос сказал: «Вот что, товарищ, позвоните-ка завтра в 11 часов утра моему секретарю тов. Фотиевой». Тут я все поняла и упавшим голосом сказала — «простите». Всегда благодарю ту телефонистку, которая дала мне возможность и радость говорить с В.И. В 1940 году в ленинские дни я видела тов. Фотиеву в Театре Красной армии, рассказала ей все это, она подробно меня расспросила обо всем и сказала, что это могло быть. Все устроилось в октябре или ноябре 1919 г. Р. приехал в Москву работать над «Русью» и работать в кинокомитете как кинореферент. Жили мы тогда на Большой Садовой, 23, в безумно холодной комнате. Но работать в кинокомитете было невозможно. Я уговорила П.С. эту работу оставить, потому что он рисковал потерять зрение. Он с 10 до 4-х сидел в небольшой комнате перед самым экраном и смотрел картину, а вечерами и иногда ночами писал «Русь». Я настояла на этом, и наша жизнь сложилась так: утром, затопив бумагой или щепочками «буржуйку» (маленькая железная круглая печка), мы вставали, ели пшенную кашу на воде, и я отправлялась на уроки, а он оставался писать «Русь». Было немного выданных дров, но тратить их на топку не имело смысла, потому что большая комната с трех сторон была окружена холодным неотапливаемым пространством. П.С. сидел в моем драповом пальто, в валенках и имел

под рукой на столе варежки, которые по временам надевал согреть руки. Он все и всегда писал на машинке, сколько бы редакция ни переделывала: даже такую махину, как «Русь», девять редакций он провел на машинке. Он говорил, что он ясней видит, когда пишет на машинке. Когда я приходила с уроков, мы шли обедать в семью к хозяевам, у которых жили. Обед был неважный, даже, точнее говоря, голодный, и когда после обеда П.С. читал из «Руси» о еде, все развеселялись и говорили, «что обед стал как бы вкуснее и сытнее». Впоследствии через много лет мы вспоминали эту нашу голодную и холодную жизнь с большой радостью и подъемом. Это была пора, когда кругом кипела жизнь, старые ветхие одежды сбрасывались, мы были полны новыми планами и устремлениями, это была весна нашей жизни, такой полной и богатой внутренним содержанием. Сейчас, вспоминая этот период и всю мою прожитую с П.С. жизнь, говорю, что это была полная и внутренне богатая в течение 19 лет жизнь. Было горе, было и много большой радости. Горе забылось сейчас, а радость светится, и я благодарна П.С. за ту радостную жизнь, которую он мне дал. П.С. всегда говорил, что всякий человек должен иметь свой творческий путь, а не жить на чужом корме. И он мне много давал творческого подъема в работе, всегда интересовался ею и любил ее. И это еще больше поднимало мой энтузиазм и заставляло любить и ценить мою работу. Все это создавало нам хорошую дружественную атмосферу и редкие человеческие отношения. Из многих дорогих мне надписей, сделанных на книгах и фотографиях, больше других я ценю следующую: «Антонине Шаломытовой муж, друг и автор с любовью подносит вторую книгу «Руси» 20/IX-24 года».

то было лето 1921 года.

Под Москвою, в 35 верстах по Савеловской ж.д. разместилась колония им. Анны Александровны Луначарской (жены и друга Анатолия Васильевича Луначарского с юных лет).

Всех детей было до 500, удалось разместить их частью во дворце имения С.Н.Паниной и его пристройках (на пчельнике, на бывшей псарне, в бывших службах), а частью — в деревне в избах.

Дети были разделены на 12 отдельных колоний и пребывали под своими номерами. Занятия строго распределялись по часам: работа в огородах, в цветниках, по самообслуживанию и рядом занятия по предметам и искусствам.

За ходом занятий и воспитания детей в колониях внимательно следили и Анатолий Васильевич, и Анна Александровна, и по их инициативе был приглашен литератор Пантелеймон Сергеевич Романов, которому было поручено вести литературный кружок с детьми 13—15 лет.

Пантелеймон Сергеевич поселился тут же в колониях в одной из пристроек имения на бывшей псарне (там когда-то жили самые главные псары графа, это был основательный каменный дом в некотором отдалении от главного дворца).

Пантелеймон Сергеевич со своей супругой Антониной Михайловной Шаломытовой занимал скромную комнатку во втором этаже, превращенную в уютный чистый уголок заботами Антонины Михайловны.

До сих пор вспоминаются его занятия с кружками колонисток и колонистов по литературному оформлению виденного, пережитого, испытанного.

А «глядеть» и «видеть» было на что.

Имение с дворцом особого стиля, парком вдоль громадного пруда и капризной речки Учи, липовыми аллеями, густыми лесами, полянами и лугами, и вдали деревни, когда-то крепостных графа. Все сочеталось в исключительной монументальной красоте.

И Пантелеймон Сергеевич проводил участников своих кружков и научал «глядеть»... После его очень тонкой беседы все возвращались из давно привычного парка или уже знакомой мельницы — новыми. Они вновь увидели все это иными глазами и для этого искали и находили новые слова.

Работы кружка читались самими авторами на очередных собраниях «в зале у камина» (хотя летом он и не топился, но собрания по привычке проходили там «у камина»), в неприменном присутствии Анатолия Васильевича, который обычно приезжал в колонию каждую неделю к вечеру «субботы» и проводил все «воскресенье». Вот в эти-то часы его пребывания читались «произведения» кружковцев Пантелеймона Сергеевича. Присутствовали и Анна Александровна Луначарская, и все педагоги, ведущие колонии. Аудитория насчитывала 50 — 60 человек, примыкали и другие колонисты в возрасте кружковцев.

После прочтения шло обсуждение, разворачивались дебаты — сыпались со стороны слушателей и вопросы и замечания.

Всем этим тонко и умело руководил Пантелеймон Сергеевич.

Интересные горячие споры детей втягивали в высказывание и Анатолия Васильевича.

Не раз все устанавливали приятную неожиданность, получаемую из-под пера наших колонистов, а также заводилось отмечать особенные удачи в описании того или иного места этого роскошного уголка природы, подправленного рукой умелых парковых зодчих.

Особенно вспоминается «Плакунный овраг», отраженный в сочинениях нескольких кружковцев, с которыми вступил в состязание и сам Анатолий Васильевич.

«Плакунным» был прозван извилистый овраг с полкилометра длины, покрытый цветущим иван-чаем,

или кипреем, а в народе иван-чай в древности назывался «Плакун-трава», в руках «колдунов» трава эта играла роль целительную от скорби по разному поводу. Никто не догадывался, что известная доза «чая» всегда облегчает нервное утнетение.

Так вот, этот овраг явился темой для сочинения всех желающих: заслушали до десятка литературных этюдов молодежи, и всех поражало их наукообразие — никто не походил на другого, не было трафарета, и каждый подходил к теме по-своему, не выходя из рамок реализма.

И вдохновителем таких работ был Пантелеймон Сергеевич. Это был именно тот «Плакунный овраг», около которого подолгу сиживали «авторы» и который вдохновил их на интересные сюжеты и образы.

Впоследствии эти кружковцы заметно отличались в старших классах средней школы (тогда «второй ступени») своею оригинальной разработкой тем и крепкой образной прозой.

Вечер обычно кончался чтением рассказов Пантелеймона Сергеевича, которые он создал в первые годы революции. Эпизоды некоторых неполадок жизни в новой форме были главными темами. Они были проникнуты и юмором, и некоторой досадой на те или иные промахи («Гайку потеряли») или вызывали веселый смех от такого рассказа, как «Груз без веса» (канарейка в клетке, сдаваемая в багаж).

Чтение Пантелеймона Сергеевича незабываемо.

Это один из очень немногих поэтов-авторов (Блок, Маяковский, Луначарский), который читал так великолепно и неповторимо свои произведения. Секрет его читки пытались вскрыть, но это не удалось: просто, без нажима, без какой бы то ни было внешней аффектации, без добавочной мимики Пантелеймон Сергеевич достигал необычайных результатов: аудитория слушала его поглощенно и реагировала удивлением и бурным смехом.

А вызвать у публики смех удастся далеко не каждому чтецу.

Яркая память о Пантелеймоне Сергеевиче сохраняется и сохранится надолго.

# Александр Вьюрков

Все к нему относились с улыбкой

**П**ознакомился я с Пантелеймоном

Сергеевичем Романовым во время моей работы в Горкоме писателей в Доме Герцена, Тверской бульвар, дом 25, в 1931 году.

Я знал его по его рассказам, и мне было очень интересно встретиться с ним. Не помню, по какому случаю, но, кажется, он пришел получить ко мне справку, что он писатель и едет в Эртелевку отдыхать и работать. С первых же слов он произвел на меня исключительно хорошее впечатление своею мягкостью и простотой. Получилось как-то так — как будто мы с ним давным-давно знакомы. Чем я его смутил, так это отзывом о его рассказах. После этого я встречался с ним каждый раз, когда он приходил за чем-нибудь в Группком. Несколько раз он бывал на заседаниях Президиума, и, что надо отметить, все к нему относились исключительно любовно и с какой-то хорошей улыбкой, причиной которой были, по-моему, он сам и его рассказы. Если бы я мог, я значительно раньше сблизился бы с П.С. во время его поездок в Эртелево, куда он, будучи самым усердным поклонником его, не раз приглашал меня, но я был настолько связан работой в Группкоме, что так и не собрался туда. «А работать можно только там, — сто раз говорил мне П.С. — Вдали от людей, в тиши... А какие там яблоки!» Соблазнял он меня.

Каждый раз, когда он приходил в Группком, мы беседовали с ним о разных литературных новостях и немного сплетничали.

Спустя несколько лет он как-то пригласил меня к себе. Жил он тогда в Старо-Пименовском переулке. Помню, за столом тогда сидели — я с женой, художник В. Яковлев с женой и еще кто-то. Радужнее и госте-



приимнее редко кого встретишь. Как-то оживала вся обстановка в его присутствии. В этот вечер, кажется, он прочитал нам свой только что написанный рассказ: «Белая свинья». А читал он изумительно.

Я слышал, будто И.М. Москвин сказал, что Романов свои рассказы читает лучше, чем он. И до сего дня за П.С. осталась слава первоклассного чтеца. Когда я его спросил, чем он этого достигает, он мне ответил: «А я ведь учился. Специально «ставил» себе голос». А на вопрос, что он еще нового написал, П.С. мне сказал: «Не удовлетворяют меня маленькие рассказы. Собираюсь писать большой роман. Вы читали мою «Русь»? Думаю ее заново переработать. Не так ее надо было давать. Вот сейчас я засел за изучение истории империалистической войны, истории марксизма-ленинизма, и все, что я написал в «Руси», подлежит коренной ломке. Многое я допустил в ней ошибочного, неправильного. Видите, сколько я прочитал», — показал он мне на груду книг. Впоследствии он роман переделал.

Как-то мы с ним разговорились о методе работы писателя. И тут я узнал, что П.С. имеет на руках обширную работу под названием «Наука зрения». Прочтешь и увидишь, как писатель должен видеть окружающее». Когда я прочел его работу, у меня появилась мысль немедленно позвонить в ГИХЛ и сказать там о ней. «Обождешь, — сказал П.С. — я ее еще не закончил». Меня все время удивляло одно обстоятельство — не любил говорить П.С. о своих мелких рассказах. «Э, да это что!.. — отмахивался он от них. — Вот «Русь». Нет, я буду писать большие вещи».

Как-то я попросил его послушать меня. Он охотно согласился, и я ему читал свою семейную хронику «Подкидыш», охватывавшую время с 1858 г. по 1935 г. Размером в один печатный лист! «Пробую себя на малых, но больших вещах, П.С.» Когда я ему прочитал, он воскликнул: «Молодец! Читали вы 40 минут, а у меня такое впечатление, будто я прослушал роман в 400 страниц». «Согласны вы после этого взять надо мною шефство?» — спросил я. «Согласен. Работайте». Рассказ мой «Разведка» о М.В.Фрунзе «заиграл» только тогда, когда П.С. дал мне свои указания, именно те, о

которых он говорит в своей «Науке зрения». Я очень дорожил советами П.С., и потерю его я переживал очень тяжело... Большой умер писатель. Умер рано. За неделю до смерти, дома, а до этого в Кремлевской больнице мы обсуждали с ним задуманный им роман из жизни уездного училища. «Я напишу совсем не то, что написано о школе, — говорил он. — Вот встану, поедем с вами в Белев, половим рыбку, отдохнем, а потом и за работу». Как-то я ему сказал, что завел альбом с автографами писателей, и принес ему его, он мне вписал туда следующее:

**«НОВОЯВЛЕННОМУ МАСТЕРУ НОВЕЛЛЫ**

Дорогой Александр Иванович, чем

Это объяснить, что вы

Всех писателей поделали

поэтами. Вот и я свое

обращение принужден облечь в

стихотворную форму. Жму

Вам руку и желаю написать

еще в десять раз больше новелл!

23.XI.37. Ваш Пант. Романов».

Когда я с П.С. договорился, что буду читать ему все свои новые вещи, я прочитал ему свой рассказ «Барсучья сопка», напечатанный в журнале «30 дней». И после в письме к нему пожаловался, что я не быстро работаю, трудно мне работается. П.С. ответил мне в письме:

«Вы говорите, Александр Иванович, что Вам трудно пишется. Может быть. Но зато нам легко читается. Вчера я как вживую видел — ручей в лощине и мшистую полянку под елками, где ехала Наталья с матерью. Это очень хороший показатель, когда, помимо описания художника, для читателя явится своя картина Ваших рассказов — хорошая, легкая выдумка. Вы не поверите, если я Вам скажу, что завидую Вам. У меня ничего не выходит сейчас, а Вам — браво, браво!

Ваш Пантелеймон Романов 23/XI 37 г.».

П.С. пользовался симпатией всех знавших его товарищей-писателей. Но я не заметил, чтобы он в отдель-

ности дружил с кем-нибудь из них. От писательской среды П.С. держался в стороне. Был мил при встрече, но на дружбу не шел. Так что, чем я заслужил к себе такое отношение — не знаю. Но последнее время мы с ним очень дружили, и я, признаться, дорожил его вниманием и как художника и как человека. А художник он был большой и по-моему, еще не оцененный. Но во всяком случае П.С. в русской литературе остается, и рассказами его, как и рассказами Чехова, будут зачитываться многие и многие годы.

Был я у него на даче, недалеко от ст. Крюково, Октябрь. ж.д., гуляли. Он тогда уже был нездоров. Утомлялся. «Работайте над словом, А.И., — говорил он мне. — И учитесь подмечать то, что ускользает от взгляда других. Наша профессия — уметь видеть. Жаль, что моя «Наука зрения» не издается». В это время он написал комедию «Его жена» и ждал ответа от Станиславского. Вскоре ответ был получен, за смертью автора и самого Станиславского так пьеса и не увидела света. А П.С. особенно был рад одной детали в этой пьесе. На всем ее протяжении одно из действующих лиц произносит только одно слово: «Извиняюсь!» «Это «извиняюсь», — говорил мне П.С. — гвоздь пьесы! В смысле сценичности. Представляете, как будет хохотать публика». Рассказал он мне, как появился у него роман «Собственность». «Сначала я написал маленький рассказик, — говорил мне П.С. — а потом думал над ним, получился роман. А тема зародилась на даче, куда я поехал с одной знакомой. И пока я ждал ее на скамеечке и глядел на собственную дачку, у меня зародился рассказ».

## Виктор Ардов

Ему доступна была вся мыслимая палитра  
чувств и эмоций

**П**исатель Пантелеймон Сергеевич

Романов рано умер: ему было 54 года. При жизни он пользовался большой популярностью. И мне хочется записать мои впечатления от того, как талантливо умел читать свои рассказы Пантелеймон Сергеевич.

Неоднократно приходилось мне выступать вместе с П.С. Романовым в составе писательских групп перед слушателями Москвы и других городов. Иногда мы читали в маленьких населенных пунктах — в рабочих клубах Подмоскovie и других областей. И всегда признанным «премьером» наших вечеров был Романов. После него выступать уже нельзя было: Пантелеймон Сергеевич читал настолько сильно, смешно, где надо, а где надо — трогательно, что любая аудитория буквально отвечала овациями на его выступления.

У Романова была чисто народная русская речь. Он легко передавал говор крестьян и рабочих, интеллигентов и полуинтеллигентов. Родился Пантелеймон Сергеевич в Одоеве Тульской губернии. Там он и слушался этих неповторимых интонаций.

А насколько крепко въелся в П.С. Романова коренной русский быт, видно из одного забавного эпизода. В каком-то столичном клубе должна была выступать группа писателей. Я немного опоздал, и когда я появился в комнате за кулисами, которую отвели для выступающих, там уже сидел Пантелеймон Сергеевич. А на эстраде читал свои произведения Матэ Залка — его мы называли на русский лад Матвеем Михайловичем... Я спросил у Романова: что происходит в зрительном зале? И он ответил, лукаво улыбаясь, по-церковному:

— От Матфея чтение...

Когда ведущий объявлял, что слово принадлежит писателю Пантелеймону Романову, часто возникали аплодисменты, ибо многие знали, какое наслаждение их ожидает.

На эстраду неторопливо выходил пожилой человек с короткой бородой и пепельного цвета усами, скромно одетый. Он нес большой коричневый портфель. Надо заметить, что появление с портфелем в руках перед слушателями — дело рискованное: любая аудитория предпочитает, чтобы оратор говорил наизусть. Портфель часто сулит публике длинное и скучное чтение произведений, не приспособленных для исполнения с эстрады... Но Романов медленно и спокойно усаживался за столом, надевал на нос пенсне, медленно же раскрывал свой портфель и вынимал оттуда большую кипу бумаги. Он более трех минут мог искать на глазах у своей аудитории нужную рукопись. Раскроет ее и аккуратно утюжит руками листы, чтобы лежали как следует. Затем, повернув впервые лицо к залу, объявляет заглавие вещи... Читал Романов вводные абзацы ровным голосом. И не сразу неискушенные слушатели понимали, что перед ними — чтец поразительного мастерства. Но не проходило и пяти минут с того момента, как Романов методически и даже как-то скучно располагался за столом, — писатель уже вел за собою всех, кто сидел в зале. Даже те, что пришли сюда с намерением возражать и заранее не верили в силу слова, которое будет звучать с эстрады, и они были полностью покорены Романовым. Ему доступна была вся мыслимая палитра чувств и эмоций. Публика замирала, завороженная этим негромким тенором, который заставляет плакать или смеяться, негодовать или сочувствовать.

Существенно, что Пантелеймон Сергеевич умел трогать аудиторию не только произведениями, написанными щечено для чтения вслух (а у него были такие вещи). В его устах нейтральные, казалось бы, описания обстановки и пейзажа, ремарки автора, комментирующие диалог и психологию действующих лиц, звучали не только интересно, и очень значительно...

Несомненно, у Романова был большой актерский талант. И как чтеца я могу его сравнить только с А. Закушняком, В. Яхонтовым, Игорем Ильинским. Я слышал смешные рассказы П.С. Романова в исполнении великого артиста Иван Михайловича Москвина. Но, на мой взгляд, сам Романов читал эти вещи лучше. Чем же? Осмелюсь сказать: проще, ироничней, разнообразней.

В Малом театре и по сей день бытует определение, которое создано было знаменитым автором и рассказчиком прошлого века Иваном Федоровичем Горбуновым: читать толпу. Так вот, когда читал на разные голоса свои рассказы Романов, аудитория явственно различала всех персонажей, из коих эта толпа состоит. А смешно это было предельно! Именно — предельно: я никогда больше не слышал, чтобы кто-нибудь из писателей или артистов умел вызывать столько смеха у слушателей...

В заключительной части своих выступлений Пантелеймон Сергеевич читал просто смешные рассказы. Нет, не просто смешные, а гомерически смешные. Часть этих вещей вы найдете в книгах П. С. Романова, например рассказ «Инструкция» (горжусь, что у меня есть один том сочинений Пантелеймона Сергеевича с его доброй дарственной надписью). А иные из диалогов так и остались ненапечатанными. Но какие это веселые сценки!

Помню, например, «Плохой номер». Там речь шла о трамвае, который всегда был переполнен больше, чем другие маршруты. И вот неумная фантазия автора в кратких репликах несчастных пассажиров и трамвайной бригады выражала те немыслимые ситуации, в какие попадали все, кто имел смелость ехать на «плохом» номере. Там была выведена старушка; ее в давке очень сильно помяли. Старуха стонала и плакала, а ее строго укоряли:

— А зачем же ты лезешь в такой плохой номер? Садилась бы лучше на четвертый. Там всегда просторно...

— Мил человек, — возражала старушка, — да куда же я на четвертом номере приеду?

— Еще разбирается! — с возмущением отзывались вокруг...

Разумеется, в этой заметке нет возможности процитировать множество смешных — просто уморительных — реплик и выражений, которыми полны рассказы Пантелеймона Романова. Но сцены эти суть шедевры народного юмора. И если мы не можем сегодня услышать их в поразительном авторском исполнении, ибо в тридцатых годах еще не записывали голоса на магнитофон, то надо бы переиздать рассказы С. П. Романова и включить в такие книги многое, что прежде не было напечатано. Несправедливо оставлять в забвении такого талантливое писателя.

Февраль 1966г.

# Библиографический комментарий

**П**ервым опубликованным произведением

Пантелеймона Романова был рассказ «Отец Федор», который появился в журнале «Русская мысль» в 1911 году. До Октябрьской революции в журналах было опубликовано лишь несколько рассказов и повесть «Писатель». Первой книгой Романова стала первая часть эпопеи «Русь», вышедшая в издательстве М. и С. Сабашниковых в 1922 г. Начиная с 1925 г. один за другим выходят сборники рассказов писателя. В 1925—1927 гг. опубликовано первое Собрание сочинений в 7 томах. В 1928—1929 гг. выпускается Полное собрание в 12 томах, которое выходит повторно в 1929—1930 гг. Последняя книга, вышедшая при жизни писателя, — 4-я и 5-я части эпопеи «Русь» (1936 г.).

После посмертного издания «Избранного» (1939) книги писателя в СССР не выпускались вплоть до 1984 г., когда в Туле вышел сборник его произведений «Детство».

Как при жизни писателя, так и после его смерти многие рассказы и некоторые романы были переведены почти на все европейские языки. Наибольшей популярностью пользовались рассказ «Без черемухи» и роман «Товарищ Кисляков», издававшиеся десятки раз на различных языках.

Настоящее издание подготовлено главным образом на основе Полного собрания сочинений П. С. Романова (1929—1930), некоторых журнальных и книжных публикаций, не включенных в это собрание; кроме того, использованы архивные материалы из фондов писателя, хранящихся в РГАЛИ и ОР РГБ.

Все произведения расположены в хронологическом порядке (в соответствии с авторской датировкой); там, где авторской датировки нет, порядок расположения приблизителен.



Тексты даются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией; в отдельных случаях сохранены особенности авторского написания (преимущественно в прямой речи).

Некоторые рассказы, не публиковавшиеся при жизни писателя, печатаются по изданиям 1988—1990 гг., где впервые были обнародованы по рукописям из РГАЛИ. Комедия «Землетрясение» печатается впервые спустя три четверти века после последней прижизненной публикации. Рассказ «Шерлок Холмс» публикуется впервые по рукописи, хранящейся в РГАЛИ.

Материалы, вошедшие в раздел «Свежесть жизни», печатаются по рукописям, хранящимся в РГАЛИ и ОР РГБ.

Воспоминания в разделе «Современники о Пантелеймоне Романове» печатаются впервые по рукописям, хранящимся в РГАЛИ, и по изданию: Ардов В. Этюды к портретам. М., 1983. С. 140—142.

О Романове вспоминают:

Антонина Михайловна Шаломытова-Романова (1884—1959), балерина Большого театра в 1901—1933, педагог ГИТИСа и Школы-студии МХАТ, Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР;

Е. Соловьева, заведующая колонией им. А.А. Луначарской. Следует отметить, что детские колонии в СССР в предвоенные годы XX века являлись учреждениями не исправительными, а воспитательно-оздоровительными, первые такие колонии стали прототипами пионерских лагерей и вплоть до начала Отечественной войны сохранялись наряду с пионерскими лагерями, но для детей допионерского возраста;

Александр Иванович Вьюрков (1885—1956) — писатель, автор книги «Рассказы о старой Москве»;

Виктор Ефимович Ардов (1900—1976), писатель-юморист, автор многих рассказов, пьес, киносценариев.

Стоит подчеркнуть, что все эти воспоминания были написаны в определенную эпоху, и поэтому в некоторых из них ощущается сильный идеологический налет, стремление представить Романова вполне лояльно относящимся к существующему строю.

Действительно, он пытался его понять, но не все мог простить. В его дневниках эта позиция проглядывает четко.

Настоящее издание представляет собой наиболее полное собрание юмористических и сатирических произведений Пантелеймона Сергеевича Романова.

\*\*\*

В книге впервые публикуются несколько фотографий из фондов РГАЛИ и Музея МХАТ. Составитель и редакция выражают глубокую благодарность этим организациям за предоставленную возможность такой публикации.



Автор иллюстраций этой книги Александр Николаевич Умяров родился в Москве в 1949 году. Член Международной федерации художников ЮНЕСКО, председатель секции карикатуристов Творческого Союза художников России, лауреат и дипломант 150 отечественных и зарубежных конкурсов карикатур. Работы Александра Умярова находятся в частных

коллекциях в Болгарии, Бельгии, Италии, Китае, Индонезии, Бразилии, Японии, Турции. Они публиковались в «Нью-Йорк Таймс», во французском «Курьере», в японской «Санкей Синбунся», во многих газетах и журналах мира.

Литературно-художественное издание

**Пантелеймон Романов**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Художественный редактор *А. Мусин*  
Компьютерная верстка *Л. Кузьмина*  
Корректор *Е. Коротаева*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

*Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-кэнс»:*  
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.  
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

*Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-кэнс»:*  
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.  
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.  
[www.eksmo-kancs.ru](http://www.eksmo-kancs.ru) e-mail: [kancs@eksmo-sale.ru](mailto:kancs@eksmo-sale.ru)

*Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве  
в сети магазинов «Новый книжный»:*

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12  
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.  
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.  
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.  
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.  
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-61.

*ООО Дистрибуторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.  
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: [sale@eksmo.com.ua](mailto:sale@eksmo.com.ua)*

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:*

РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

*Сеть книжных магазинов «Буквоед»:*

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34  
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

*Сеть магазинов «Книжный клуб «ШАРК» представляет самый широкий ассортимент книг  
издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.07.2004.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/32. Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 36,96 + вкл.  
Тираж 7 000 экз. Заказ № 815

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15  
Интернет/Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)



# ВНИМАНИЕ!

У издательства «ЭКСМО» появился новый сайт, который мы с гордостью можем назвать полноценным веб-порталом!

[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

Теперь на нашем сайте вы сможете найти любые книги издательства «ЭКСМО», которые продаются магазинах.



Более 1500 авторов.

Новый современный форум.

Более 5000 новых наименований книг в год.

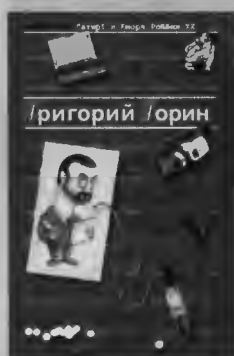
Все встречи с авторами, презентации, выставки.

■ Ссылки на официальные странички любимых авторов.

**С помощью нашего сайта Вы сможете найти СВОЮ книгу!**

**Самое яркое событие  
в литературной жизни  
России 2004 года!**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА  
РОССИИ XX ВЕКА  
В 50 ТОМАХ**







**В ближайшее время увидят свет книги  
Антологии**

**ЛЕОНИД ФИЛАТОВ  
АРКАДИЙ ХАЙТ  
ЭПИГРАММА  
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ**



Ученному  
и ~~публичному~~ и ~~книжному~~  
Дружеству и наследиям  
Горького

Дружеству ~~и наследиям~~  
Горького, ~~который~~ ~~который~~

и в ~~время~~ ~~написания~~

и ~~моя~~ ~~наследия~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

и ~~то~~ ~~то~~ ~~то~~

[illegible]

Учтиво  
и не раз  
спойте Казань  
Пом и наследия  
обращаю

Два часа в  
каждый год для  
нашего, который

своим со временем надвиги

наша работа  
и мы не должны  
быть, что Творец имеет

своего сына  
и сына  
и сына

и сына  
и сына  
и сына

и сына  
и сына  
и сына

и сына  
и сына  
и сына

и сына  
и сына  
и сына

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Пантелеймон Романов

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Большинство наших писателей  
являются подголосками эпохи.  
И так как это пока является главной  
доблестью, то все стараются перекричать  
друг друга в проявлении энтузиазма,  
оптимизма и бодрости.  
Критика негодует на меня, что я все  
такой же, что я не сливаюсь с эпохой  
и не растворяюсь в ней, как другие.

Пантелеймон Романов

ISBN 5-699-07957-2



9 785699 079575 >

Сатиры и Юмора России XX века